К1108363

ВАЛЕРИЙ ДЕМЕНТЬЕВ

Ересиарх

12/803. Прокофьев
11.6.11 ОКБ
13.05.2025 ОЭР

ВАЛЕРИЙ
ДЕМЕНТЬЕВ

Берегиня

КНИГА ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

К 1108363

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1988

ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина

рс
ББК84Р7
Д30
+ кр

Иллюстрации *Ю. Воронова*

Оформление *Ю. Боярского*

Д $\frac{4702010200-222}{М106(03)-88}$ 129—88 ББК84Р7

ISBN 5—270—00—131—4

© *Иллюстрации, оформление,* Издательство «Современник», 1988

БЕРЕГИНЯ

Березовым у нас зовут озерный берег. Если говорят: пойдем на Березовый, значит, держи на березу в селе Высоком — ее отовсюду видать. Так и повелось: Березовый да Березовый. Село Высокое всего в двух километрах от озера, а ведет к нему Черная дорога. В нашей местности у каждой деревни своя черная дорога, потому что сразу же за песчаным бугром начинается низина, болотная топь. В жаркие дни, когда дурманно цветет багульник, когда над головой стоит комариный звон, а под ногами чавкает темная жижа, только эта дорога и выведет тебя из зарослей ольхи.

Вот так и повелось: береза в селе Высоком известна всей округе — кто в озере по ней ориентир держит, кто с болота по Черной дороге к ней выбирается.

Стоит береза за крайней избой Евлаши Лопатиной; где кончается уличный порядок, там — на взгорке — она и стоит. По весне этот взгорок раньше других обсыхает. Поля в снежных заносах, дорога в наледи, а у Евлашиного крыльца — капель; здесь землей оттаявшей пахнет, здесь допоздна галдят деревенские ребятишки, играя в «чижа». Под избой-пятистенкой поставлены скамеечки — хорошо сидеть здесь высоковским старикам. Видать им и синеву небес, и Большую дорогу, уходящую на Вологду, и старую-престарую березу. Кора возле корней в трещинах, в наростах, но выше как бы прокопченный ствол светлеет, выбрасывает рогатины, подымает их к небесам и опускает из поднебесья темными длинными прядями, которые всегда раскачиваются на ветру.

Не возле этой ли суковатой и кудреватой березы водили девки хороводы:

Высоковская берёза, береза́
Среди поля стоя́ла, стоя́ла,

Она листьями шумéла, шумелá,
Златым звенчиком звенéла, звенелá.

Сарафаны у девок цветастые, рубахи красным узором вышиты, шали — шелковой вязки, а сами хороводницы плывут, мелко-мелко перебирая питерскими полусапожками.

Парни из села нагрянут тучей, встанут возле березы да как ухнут под гармонь озорную частушку — хоровод врассыпную: смеху-то, веселья-то — до первых майских звезд.

А сколько здесь было встреч и прощаний, сколько слез пролито, обещаний понапрасну дано; проезжали мимо березы подводы с мужиками, проезжали одна за другой то на германскую, то на гражданскую, то — потом — на Великую Отечественную, и долго-долго, когда скрывалась околица села, когда обступали дорогу хлеба, виднелась им высоковская береза. Уезжали подводы, битком набитые мужиками, а возвращались солдаты по одному. И подолгу стояли на взгорке, прислонившись спиной к березе, не решаясь войти в родное село.

Когда я сижу в горнице Евлаши Лопатиной, никакая работа не идет на ум: то и дело выглядываешь в окно на высоковскую березу. Подгонит шофер грузовик, раскинет ватник на взгорке, перекусит — и запылил дальше. Вечером подымется к ней пастух и, словно верховный правитель, сурово оглядит стадо, текущее в селение. В ночной мгле долго будет светиться девичий платок, раздаваться смех, слышаться пиликанье гармошки.

А наутро — стук в дверь — приезжий человек к Евлаше с просьбой: дай стаканы́ или испить ковшик водицы. Выглянешь по привычке — все правильно: под березой «газик», шофер на подножке покуривает, приятеля дожидается.

Изба Евлаши Лопатиной на отшибе, а народ у нее толчется день-деньской. И уполномоченный заглянет, и цыганка забредет, и молоденький солдат-отпускник попросится на ночлег, и соседки придут почаевничать. Всем рада бабка Лопатиха, всех привечает.

Дочери у Евлаши — в Иванове, муж давным-давно пропал на войне без вести — вот на людях-то ей и веселее коротать свой век. «Онной, батюшка, невмоготу,— сокрушалась иногда Евлаша,— хожу, как архиерей, от окон до дверей». И показывала мне, как ходит, пришаркивая, по половицам, как томится одиночеством, когда вокруг никого нет.

Приезжал я сюда в дни школьных, студенческих, аспирантских каникул, бывал и позднее — во время летних вакансий. Но из года в год ничего не менялось в избе Евлаши Лопатиной. В сенях пахло укропом и сухими березовыми вениками. В первой половине избы с огромной печью висел медный рукомойник, по лавкам вдоль стен стояли рамки для сот, пестери, лежало разное шитье, а на столе кипел старинный самовар, украшенный медалями. Вторая половина избы — чистая горница, куда поселяла меня Евлаша,— всегда пестрела половиками. И была светлой из-за этих половиков, стеклянной горки, кровати с никелированными «шишечками», из-за обилия грамот, дипломов, семейных фотографий и вышитых полотенец, которые висели на рамке настенного зеркала. Я настолько привык к убранству горницы, что не задумывался — почему эти полотенца Евлаша не давала мне в баню или на озеро. На тот случай у нее в сундуке был припасен холщовый утиральник. Полотенца же, обрамлявшие зеркало, были необыкновенно красивы и узорчаты — сначала шел узор по косой клетке с ромбами, за ним вышиты красные кони, а заканчивали вышивку кружева, сплетенные из толстых, суровых ниток.

Немало довелось мне повидать в деревнях висящих в переднем углу полотенец, но — покаюсь — ни разу я не подошел к ним, не разглядел узор, не полюбопытствовал: давно ли да и зачем они здесь висят? Висят, ну, пусть себе висят, наверно, чтоб мухи не засидели зеркало. Да и вообще, думал я, как по-деревенски наивен и не современен этот обычай вывешивать в комнате полотенца, расписывать печку какими-то цветочками.

Интереснее для меня были фотографии. С годами их все прибывало, однако каждый раз я разглядывал их с прежним любопытством, узнавал то брата Евлаши — усатый солдат в бескозырке застыл у чахлой пальмы, то ее сына — на петлицах два кубаря, а шея тонкая-тонкая, то дочерей — две толстощеких хохотушки выглядывают из-за высоковской березы, смотрят прямо в объектив. Да и в других избах мое внимание привлекали именно эти пожелтевшие от времени открытки, любительские тусклые карточки, моментальные фотоснимки, вставленные под одно стекло, разрозненные, разновеликие, случайные... Между семейными фотовитринами и полотенцами, обрамлявшими их, для меня не сущест-

вовало очевидной связи. Наоборот, насколько жадно я всматривался в лица знакомых и незнакомых людей, настолько был равнодушен к вышитым полотенцам, считая — и не только по молодости лет — эти изделия досадным пережитком прошлого. А она была, эта связь, если вдуматься, была...

Мальчонкой я любил хрусткую белизну холщовых полотенец, любил, когда мама приносила их после стирки с мороза и они колом стояли на полу комнаты, любил, когда от них пахло снежком и морозным ветром. Полотенца оказались тем немногим, что привезла мама из деревни. Да и им была рада, начиная городское житье, обживая комнатку в коммунальной квартире. А сколько таких полотенец было сложено в рабфаковские чемоданчики, в холщовые мешки допризывников, в корзинки домработниц и нянек?! Сколько их уносила с собой северная деревня, подавшись в город?! И в одной ли нашей необъятной стране побывали вышитые кубеноозерские, великоустюжские, тотемские, каргопольские полотенца?!

Как-то под городом Краковом во время минометного обстрела я спрыгнул в окоп. Солдат-пехотинец, пережидая обстрел, занялся сидором — фронтовым вещмешком. Такова старая солдатская привычка — отвлекать себя каким-нибудь делом. Поочередно пехотинец доставал из сидора масленку, теплое белье и наконец вынул запасной автоматный диск, завернутый в полотенце,— кружева свалялись, ружейное масло проступило на вышивке, но холстинка так и осталась холстинкой — я узнал ее по тусклой голубизне.

— Откуда, землячок?..

Щелкнул зажим, пехотинец вставил новый диск в автомат.

— Да вот сунула женка,— не поняв вопроса, ответил солдат. И нечто похожее на осуждение просквозило в его голосе — только заскорузлые пальцы невольно распрямляли складки полотенца.

Вечером, после прорыва немецкой обороны, я случайно наткнулся на этого солдата. Он лежал полузасыпанный землей. Сидор был сорван, скудное армейское имущество рассыпано возле воронки. Знакомая холстинка проглядывала сквозь мерзлые комья земли — вся она была в бурых пятнах крови.

И все-таки в моем сознании никак не укладывался

тот факт, что вышитое полотенце сопровождало жителя Заволочья от колыбели до гробовой доски. Полотенцем перепоясывали дружку жениха, на полотенце подавали хлеб-соль, на полотенцах же несли гроб к погосту. И солдат, убитый под Краковом, видел в холстинке иное, чем я. По-другому видела, понимала эту холстинку и Евлаша.

...Всю-то зиму прядут девки по избам, а потом с веретен нитки перематывают в мотки, а эти мотки мочат в корчагах с золой, а затем на реке их толкут в ледяной ступе со снегом да полощут в самой проруби. Из тех толченых, прополосканных мотков ткут они на крёснах полотно. Холщовые-то концы опять стоят в корчагах со щелоком, опять девки их полощут и раскидывают на мартовский снег. На весеннем-то солнышке отбеливают полотно да опять полощут в весеннем прудике да несут в низинку на коромысле — стелить по лугам, по мелким лужицам. Со следующей весны девки начинают все сызнова, пока полотно не станет белым-белым. А потом вышивают концы двусторонним швом или росписью и выводят этой росписью досюльный, по-другому сказать, значит, до сию пору придуманный, старинный узор. И зовут этот узор красная развода «гусиная плоть», развода «по одному цветку в гнездо», а то и заглавная развода «деревьё большое».

Бывалоча, ночей не спишь — узор вышиваешь. На свадьбу-то по семьдесят полотенец дарили — свекрубатюшке, и свекрови-матушке, и дружкам жениха, и попу, и дьячку, и учителю. Нитки — красные, в городе покупные, а холстина белая — домашнего тканья. Узор-то меленький: в девичестве от бабки-озерухи перенят. По узору женихова родня смотреть станет — велика ли молодуха рукодельница да чтит ли молодуха прежноту деревенскую? А мастерицы по деревням — ой, батюшко, какие водились! Вот и не подымешь от шитья головы, тратишь золотые денечки на разное рукоделие...

...Не шумит, не гудит высоковская береза под окнами горницы Евлаши Лопатиной, а стекает с ее ветвей желтая медь. И прежде чем упасть, долго колышутся мелкие листики в воздухе, загустевшем от синевы и утренних заморозков, тихо-тихо ложатся на пологие склоны угорья. Обнажаются свисающие из поднебесья ветви, кучнеют грачиные гнезда, приметнее блещет белизна

коры — и нет сил избавиться от ощущения безвозвратной утраты чего-то прекрасного, что зовется, может быть, этой же высоковской березой, которая хороша в желтом убранстве, но которая обнажается при полном безветрии, устилает вокруг себя луговину золотыми монетками.

Разговоры с Юрием Арбатом, превосходным знатоком никольских прялок, каргопольских глиняных игрушек, древних икон «северного письма», вологодских кружев и вышивок, вероятнее всего сдвинули меня с «мертвой точки». Этот интерес к бытовой культуре старых русских деревень в какой-то степени испытали многие из нас. Например, размышляя о способности чувствовать красоту и глубокую содержательность древней иконописи, Ефим Дорош приходил к выводу, что не последнюю роль здесь сыграла сама наша современность, утверждающая иное понимание искусства и иные требования к нему, нежели иллюзорное воспроизведение натуры. И затем в нескольких абзацах писатель раскрывает эволюцию своих эстетических взглядов.

«...Я убежден,— писал Ефим Дорош,— что лично мне, например, французские импрессионисты с их культом цвета буквально открыли глаза на цвет русской иконописи, что отсутствие классической перспективы в произведениях многих художников нашего времени, их склонность к обобщенным формам приучили меня к композиции и условным формам иконы».

Уверен, что и Юрий Андреевич Арбат испытывал нечто подобное, потому что был он и писателем, и художником, и человеком, тонко чувствующим «открытый» цвет импрессионистов и предельную обобщенность форм в произведениях древнерусских художников, а также изысканность, завершенность северного узора.

Юрий Арбат был удивительно скор на подъем — сегодня он уезжал на Печору, а завтра мог вернуться из Рима или Никозии. И свой писательский долг он видел не только в том, чтобы заразить читателей увлеченностью, лучше сказать, одержимостью миром прекрасного — заходила ли речь о резных кониках с Печоры или об археологических раскопках на Кипре, но и быть точным во всех сферах искусства, о которых он писал.

Именно этому писателю я обязан тем, что народные ремесла, народное прикладное искусство, народная иконопись стали обретать образ сказочного северного бо-

ра. Немалые расстояния надо было преодолеть, чтобы приблизиться к этому бору, но, завороженный рассказами Юрия Арбата, я двинулся на поиски чудес, которые до времени таил от меня северный бор, уходивший куда-то за горизонт, скрывавшийся во мгле столетий.

И начал я с «деревья большого», которое так и не удосужился рассмотреть на полотенцах Евлаши Лопатиной. А ради него вышивался весь узор.

В 1921 году при Государственном Российском историческом музее была устроена выставка крестьянского искусства. Среди немногочисленных посетителей выставки ее экспонаты — полотенца, прялки, рубели, туеса и многие другие предметы бытового обихода русских крестьян — долго и пристально рассматривал почтенный ученый, профессор В. А. Городцов. Был он археолог с мировым именем и этнографией увлекался как одной из побочных отраслей археологической науки. Но здесь, на выставке, профессор откровенно изумился, встретив в произведениях крестьянского искусства пережитки глубочайшей старины. Особенно заинтересовала профессора Городцова сюжетная композиция на вышитых архангелогородских и вологодских полотенцах. В центре этой композиции помещался некий узор, весьма устойчивый в общих очертаниях. Правда, узор, похожий на магический знак, претерпевал удивительные метаморфозы — иногда в нем проступали очертания дерева, иногда — женской фигуры, но чаще то и другое как бы сливалось вместе. Это была древовиднопроросшая богиня с поднятыми вверх крючьями-руками. Две другие части этой композиции являли собою изображение двух «прибогов» — всадников на конях, двух фениксов, жар-птиц, петухов, короче, вариаций здесь было великое множество. И все-таки главное место занимала богиня, то выпускавшая из рук-крючьев птиц, то державшая поводья коней «прибогов». Сами всадники высоко поднимали длани с жестом молитвенного благоговения.

Необыкновенная устойчивость этой композиции, ее четкое графическое исполнение, равномерно заполненный фон — все вместе взятое не могло не восхитить профессора. Он был безоговорочно убежден, что в этой композиции скрывается ключ к древнейшему культу славян — культу матери-природы.

Позднее, в 1926 году профессор В. А. Городцов выска-

зал некоторые общие соображения на природу народного орнамента, и в частности северной вышивки. В этой вышивке он различал отзвуки древнеславянских мифов о круговороте мировой жизни, о культе матери-земли, он увидел пережитки верований, которые восходили к отдаленнейшим эпохам в развитии человечества. Значение этой работы заключалось в том, что он первый связал воедино разрозненные области — археологию и этнографию и, по словам академика Б. А. Рыбакова, получил «двухтысячелетнюю перспективу и научное представление о древнерусском язычестве». И помогли ему в этом северные вышивальщицы, которые красными нитками на белом полотне рассказали о некогда бытовавшем во всей Европе культе великой богини природы.

Профессор Городцов задался вопросом: уяснить, что это была за женщина, которая пользовалась таким вниманием русских крестьян, что означала она сама и сопровождавшие ее символы? И профессор пришел к убеждению, что это — мать всего сущего и живого.

Невольно возникал и встречный вопрос: почему же в сонме славянских дружинных богов не упоминается ее имя? Да потому, отвечал профессор, что крестьяне забыли имена своих кумиров, так как произносить эти имена уже более тысячи лет строго воспрещалось. Культ языческой «царицы небесной», имя которой было заменено северными крестьянами ее стилизованным изображением, ее зрительным символом, может быть, был перенесен на христианскую царицу небесную. Дальнейшие изыскания привели к возникновению ряда новых предположений. По одному из них «мать сыра-земля» исторических песен и плачей — это и есть неизвестная богиня древних славян. По другому — неведомую богиню называли девой Живой, по аналогии с древнейшими мифами западных славян: в средневековых чешских сборниках дева Жива изображалась женщиной с цветами в руках, она символизировала богиню плодородия и жизни. Но самое убедительное, по-моему, предположение выдвинул Б. А. Рыбаков, назвав ее Берегиней. В некоторых древнерусских рукописях упоминается поклонение берегиням как наиболее древний, именно язычески изначальный культ среди восточных славян. В смысловой связи с Берегиней находятся такие слова, как «берние» — глина, земля; «береза» — священное дерево славян; «оберег» — амулет, талисман. Все эти слова так или иначе родственны

культу богини-оранты. Ее геометризованная, обобщенная фигура была обнаружена на полотенцах, на прялках, кружевах, в росписи по дереву и вообще на большинстве предметов крестьянского обихода. Фигура эта величественна и монументальна. Она действительно похожа на «деревьё большое», которое со временем приобрело бытовой оттенок; мифологические всадники превратились в крестьянских карюх, а жар-птицы — в петухов и «рябых курочек».

Славяне-солнцепоклонники никогда не знали символов смерти — черепов и скрещенных костей; потустороннее царство представлялось им царством вечного солнца. Тысячелетия они поклонялись «древу жизни» или богине-оранте Берегине, в честь которой в эпоху язычества воздвигались храмы, которая вся была пронизана солярными знаками — ромбами, точечными кружками, спиралевидными дисками, выражавшими не одну лишь смену времен года, но и вечный круговорот жизни и вихреобразное строение Вселенной.

Однако только ли у славян была эта богиня-оранта? Ведь профессор В. А. Городцов говорил, что вышитые северные полотенца — отзвуки верований, восходивших к древнейшим эпохам в развитии человечества...

...Вставали столбы пыли в лучах вечернего солнца. Горели жертвенные костры. Скакали всадники — они несли весть о победе великой богини Табити. По словам Геродота, эта богиня больше других почиталась у скифов, ибо была она богиней домашнего очага, прародительницей степных племен. У всадников, несущих радостную весть,— золотые бляшки на одежде, золотые наборные пояса, шаровары, заправленные в сыромятную обувь, по бедрам бьют гориты — футляры с луками и стрелами, ножны коротких боевых мечей — кинжалов. Их волосы до плеч и густые бороды треплет встречный ветер. Они спешат к Табити — богине плодоносящих сил, которая требует жертвоприношений, требует причащения к ней жертвенным вином. Вот почему всадники никогда не расстаются с ритонами — сосудами для питья, украшенными золотыми пластинками. Скифские чеканщики по металлу и греческие мастера-рабы на ритуальных сосудах, горитах, поясах, бляшках, нашитых на одежду, изобразили все ту же великую мать степных народов. Спустя тысячелетие археологи извлекут из

скифских могильников, захоронений и тайников эти изображения. О них-то и вспомнит профессор В. А. Городцов на выставке северных вышивок, его-то, в первую очередь, и поразит сходство «деревья большого» на северных полотенцах с изображениями скифской богини-женщины с поднятыми вверх руками. Именно таково, например, скифское божество на серебряном блюде, найденном в Чертомлыке. Столь же часто в археологических раскопках встречается изображение женщины, ноги которой переходят в растительные побеги, а иногда в змеевидные завитки. Позднее ученые увидят здесь отзвук мифа о происхождении скифов, которые, по словам Диодора Сицилийского, произошли от совокупления Зевса с полуженщиной-полузмеей Эхидной. Но особенно полно обряд поклонения скифской богине Табити запечатлен на треугольной пластинке из Карагодеушха. Богиня одета в длинную рубашку с пышными рукавами. На голове у нее священный убор — калаф, символизирующий плодородие. Бородатые всадники-скифы подняли руки с жестом адорации, молитвенного благоговения.

Не эти ли скифские всадники совершали стремительные набеги на дунайские гарнизоны римлян?.. И не их ли набеги запомнил, не о них ли писал Овидий Назон в своем тяжком изгнании?

Шли столетия. В первые века нашей эры из Зауралья на благодатные степи Таврии и Северного Кавказа надвинулись хорошо вооруженные дружины сарматов и меотов. Степь огласилась скрипом повозок, ржанием табунов, воинственными возгласами и криками. Повозки сарматов — с длинными ступицами и легкими ободьями — были удобны не только для быстрого передвижения, но и жилья. Кузова повозок составлялись из легких дощатых планок, на обручи натягивались шкуры и ткани — эти походные шатры хорошо предохраняли воинов от холода и зноя. Многочисленные дружины савроматов, или сарматов, были вооружены длинными кавалерийскими мечами. В непрестанных стычках с местным населением, которое дралось мечами-кинжалами, пригодными для пешего боя, но неудобными в конном бою, сарматы поголовно вырубали вражеских воинов и постепенно оттесняли скифов в сторону степной Таврии.

Пришельцы сарматы поглотили культуру местных племен, не нарушив их хозяйственного и бытового уклада. Правда, верования сарматов претерпевали известные

изменения — они вбирали местные скифские языческие представления, перерабатывали их в духе собственного культа. Так появились знаменитые «дунайские образки»...

Я вспоминаю то время, когда, путешествуя по Молдавии, собирая легенды, связанные с образами цыганки Земфиры и Алеко, я попал в село Юрчены, где и познакомился с директором местной школы, энтузиастом-краеведом Павлом Петровичем Андриешем.

Юрчены располагаются вдоль длинного, а в летнюю пору пыльного сельского большака — справа и слева стоят молдавские касы под черепичной или камышовой крышей, с жердевыми частоколами, на которых там и тут торчат перевернутые глиняные горшки. Сельская школа мало чем отличалась от всех этих хат. Андриеш привел меня в школьный музей. Удивительный это был музей! Все его экспонаты школьники нашли или в пыли дороги, или на ее обочинах, или возле родительских хат. Великие переселения народов, походы завоевателей, битвы, сражения — все было живой историей села Юрчены. На стендах музея располагались коллекции монет — от маленьких, чешуйчатых монеток с профилем римского императора Трояна до больших монет с профилем германского кайзера Вильгельма II. Столь же разнообразным оказалось и вооружение — от медных скифских наконечников стрел до проржавевших стволов пехотных винтовок. Но самыми интересными в музее были, конечно же, свинцовые таблетки с полустершейся, плохо сохранившейся фигурой богини-женщины, воздевшей длани вверх. Конечно, я не мог предположить, что пройдет какое-то время и я встречусь с подобным изображением на полотенцах и старинных кружевах в краеведческих музеях Севера. А ведь это был образ Берегини!

Среди солдат «вечного города» в позднеримскую эпоху были и кельтские легионеры, и сарматские конные дружинники. Вдали от родных степей и лесов эти солдаты поклонялись своей владычице, изваянной на «дунайских образках». Легионеры вели битвы с народами, заселявшими окраины Римской империи, хотя бы с малоизвестным народом — даками, пока в 107 году нашей эры римский император Троян не нанес им сокрушительное поражение. Предводитель даков Децебал лишил себя жизни, многие даки отошли в неизвестную римлянам страну. В этих битвах большие потери понесли и даки, и

римские тяжело вооруженные воины, и сарматские конные дружины, выступавшие на стороне римлян. Сарматские образки, имевшие вид храмиков с двухскатной крышей, погребались вместе с погибшими солдатами, лежали в прахе военных дорог, как лежала и та свинцовая пластина, которую я увидел в селе Юрчены.

...Число выписок из археологических и искусствоведческих трудов растет. Наслаиваются на них разные воспоминания, дай волю — и воспоминания уведут меня опять в Заволоцкую землю, к которой я всегда возвращаюсь к концу лета или в весеннее половодье. А еще я возвращаюсь к ней мысленно: хочу представить себе, что поделывает в этот зимний вечер Евлаша Лопатина.

...Стелется ночная поземка по полям, переметает колеи Большой дороги, раскачивает заледенелые ветви высоковской березы... В стонущем мраке рвутся снеговые заряды и осыпают колючим снежком притихшие сельские дворы. Да и вся округа, кажется, притихла, притаилась, оглушенная порывистым ветром, погребенная под волнами сугробов. Над коньками крыш пролетают тучи. И не видать на небе ни зги. Лишь на долю секунды блеснет над вершиной высоковской березы звезда — и тут же пропадет в летящей полуночной мгле.

Окна в избе Евлаши Лопатиной до половины засыпаны снегом. В их зыбком, призрачном свете белеет угол русской печи, которая как будто все раскачивается и медленно выплывает на середину избы. Сама же Евлаша потерялась на лавке среди ворохов одежды. С вечера прижало Евлашу — невыносим был приступ грудной жабы,— вот и не может она лечь в постель, вот и мается, сидя на лавке до рассвета: то приляжет, то посидит, склонив дремотно голову, подставив под ноги днище старой корзинки. Когда у загнетки неистово взвоет ветер, поднимет Евлаша голову, обвязанную темным платком, пробормочет: «Ох, и погодушка...» — и снова впадет в забытье. И не в силах она отличить, что привиделось ей во сне, что наяву приключилось. То вдруг станет светло, светло, чадно от дыма махорки, шумно от молодых голосов. Вроде бы это зимние посиделки... Игла прокалывает туго натянутое полотно, быстро-быстро ложится стежок ко стежку, распускается красное дерево на глазах у Евлаши. Странно, как оно тянет вверх



крючья-руки, как начинает приплясывать, притоптывать, мести широким подолом пол, как, закружившись в танце, оборачивается самой Евлашей. А то найдет на старую кружевницу затменье. Но и сквозь черноту пробьются отблески белой зари, проскачут бело-розовые кони, гикнут всадники в белых рубахах, протянут ладони к высоковской березе...

Спина у Евлаши занемела от долгого сидения, упала рука, выпустив из пальцев иголку. Евлаша вздрагивает; кряхтя, подымается, идет к окошку: в снежной замети тонет, тонет вся округа и нет конца метельной ночи.

Я взглянул на часы: без четверти пять. Стеклянные стены читального зала синеют ранними зимними сумерками. Всего несколько минут назад, отвлекшись от книг, я погрузился в странное мечтание, а вот уже зажглись под потолком висячие люстры и засветились огни настольных ламп. Включаю и я свою лампу — круг света падает на стопки книг, на листы раскрытой тетради.

Может быть, тогда, читая и перечитывая томики собрания сочинений С. А. Есенина, я и заметил, что поэт часто опирался на мифологические представления крестьян, на красоту исторически сложившегося уклада жизни, что он заставлял сверкать всеми красками тот народный орнамент, о котором говорил в «Ключах Марии» и во многих статьях и письмах. Томики собрания сочинений позволяли безусловно признать, что Есенин стал выразителем художественно-эстетической мысли России на новом «витке» ее развития. А для этого он должен был мыслить и лирически, и космически, и философски. И он мыслил этими категориями.

Итак, в старинных русских избах еще и теперь можно встретить вышитые полотенца, называемые в просторечии утиральниками, а в летописях — убрусами. Обычно их вывешивают на рамку зеркала или на рамку фотографии, в более редких случаях — на икону. Такой заонежский утиральник, вышитый двусторонним швом или «росписью», украшенный на концах кружевами, висел на зеркале в комнате матери Н. А. Клюева — Парасковьи Дмитриевны. Клюев запомнил это полотенце, поскольку написал о нем в одном из очерков. И хотя онежский знахарь считал, что искусство — это ключ, открываю-

щий человеку неведомое, когда этот «ключ» оказался в его руках, он не задумался, что означают и эта вышивка, и эти кружева.

Надо полагать, что в константиновской избе Есенина висело точно такое же полотенце. Но Есенин, обладая гениальной зрительной памятью, не только запомнил, но и воспроизвел этот узор в философском трактате «Ключи Марии».

Страницы этого трактата открываются чем-то похожим на лирическое вступление: «Самою первою и главною отраслью нашего искусства с тех пор, как мы начинали себя помнить, был и есть орнамент...» Этот орнамент в русском народе существовал еще до того времени, как к берегам Причерноморья приплыли первые миссионеры. Он украшал, точнее, он отмечал все, что окружало деревенского жителя от рождения и до гробовой доски. И вот теперь внешне непривлекательный повседневный обиход крестьянина оказывается более осмысленным, значительным, красочным, поскольку,— утверждал Есенин,— «весь абрис хозяйственно-бытовой жизни свидетельствует о том, что он (орнамент.— *В. Д.*) был, остается и живет тем самым прекрасным полотенцем, изображающим через шелк и канву то *символическое древо* (выделено мною.— *В. Д.*), которое означает «семью»...».

«Дерево на полотенце,— продолжал Есенин,— ни на чем не вышивается, кроме полотенца, и опять-таки мы должны указать, что в этом скрыт весьма и весьма глубокий смысл». Далее автор «Ключей Марии» справедливо сетовал на то, что исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества, а если бы они это сделали, то, вероятно, им удалось бы разгадать сокровенный смысл народной орнаментики, и мы полюбили бы деревенскую избу со всеми ее петухами на ставнях, голубками на князьках крыльца, вышитыми полотенцами в красном углу не простой «любовью глаза и чувственным восприятием красивого», а познали бы, что любой образ искусства шитья или искусства слова делается, «как узловая завязь самой природы». И хранительницей тайны этого образа остается «полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня». Кстати сказать, о тайне «узоров на ткани» Есенин говорил при самой первой встрече и Анатолию Мариенгофу. Об отдельных положениях своего трактата говорил он также

1108363
ВОЛОГОДСКАЯ областная библиотека им. И. В. Бабушкина

А. А. Блоку (запись от 4 января 1918 года). К сожалению, ряд современников создание «Ключей Марии» связывает с дружбой с Николаем Клюевым. А этого быть не могло, поскольку трактат «Ключи Марии» был вершиной их художественно-эстетических расхождений. Многие страницы здесь резко полемичны: Есенин то язвительно поминал «нечистые лужи сектантства», то проводил мысль, что нельзя образы строить «на заставках стертого революцией быта», то прямо указывал на то, что для Клюева «все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр», что от его стихов веет «безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея». Но сейчас, пожалуй, важна не эта полемика: в «Ключах Марии» важны и ценны удивительные, воистину пророческие прозрения Сергея Есенина, касается ли это будущих межпланетных путешествий, когда «воздушные рифы глазам воздушных корабельщиков будут видимы, как рифы водные». Или загадочного смысла мимоходом оброненной фразы, что «земля уже выдышала воздух». Или утверждений, что «древо на полотенце» есть «древо-жизнь...». Последняя фраза и привела меня в нескрываемый восторг. Потому что «древо жизни», увиденное Сергеем Есениным на рязанских полотенцах, и было одним из отзвуков древнеславянского мифа о богине жизни и плодородия Берегине, всегда выступавшей в пышном окружении цветов, зверей и птиц, торжественно скачущих всадников, которые спустя столетия стали называться вышивальщицами «петухами», «кумушками», «солдатами», «конниками».

Пример этот лишний раз подтверждает, что эстетический идеал Есенина питался неизмеримо более мощными источниками, был более осознанным и продуманным, чем это виделось большинству его современников. В настоящее время в связи с общим интересом к мифологическим элементам в новейшей поэзии появились обстоятельные работы на эту тему. Сошлюсь хотя бы на статью В. Г. Базанова «Судьба одного мифа» (1978).

В. Г. Базанов также обратил внимание на то, что Николай Клюев обращался к преданию о «вечном древе», и в качестве примера привел его статью «Красный набат», в которой действительно воссоздан образ «золотого дерева Свободы».

Все это так, однако образ «золотого дерева Свободы» появился у Клюева после того, как был обдуман и на-

писан трактат С. Есенина, то есть год спустя, и появился этот образ лишь однажды. Вероятно, Клюев был знаком с «Ключами Марии», поскольку в его статье есть реминисценции из есенинского трактата. Однако до статьи «Красный набат» у него не встречается образ преогромнейшего «вечного древа», а есть образ «старухи», есть сквозной образ мифологической Пряхи. В данном случае очевидно, что Клюев учился у своего бывшего ученика.

Заключая, можно сказать, что Сергей Есенин в своем трактате воссоздал в общих чертах наиболее распространенный миф о «древе жизни». Этот миф и был той самой «растительной» моделью космоса, которая, по словам Е. М. Мелетинского, создавала наглядное пространственное и временное представление о вселенной. Космическое древо часто совмещалось с антропоморфным божеством, было также древом судьбы, древом жизни и плодородия, в данном случае — Берегиней. В свое время и А. А. Блок подчеркивал связь «крестного древа» с богиней-орантой. Одним словом, в развитой древнеславянской мифологии взаимопревращения «древа жизни» в Берегиню, а Берегини — в «древо жизни», которое упорядочивало хаос, вносило жизнь и гармонию в мир, было столь же очевидным, как и в мифологии других народов. Вот почему и Н. Клюев и С. Есенин каждый по-своему были правы: мифология позволяла им различать разные мотивы, различные архетипы. И вот для Клюева главным мифологическим мотивом в искусстве оказалась всемирная Пряха, а для Есенина венцом «великой значной эпопеи» — «древо-жизнь». Замечу, что Есенин, которого всегда волновало значение своей фамилии, в «Ключах Марии» упомянул о мировом древе — ясене Иггдрасиль из скандинавской мифологии; на этом древе сам себя пригвоздил и повесил верховный бог Один. И не Клюев, а именно Есенин создал своеобразную модель искусства будущего, которое расцветет, «как некий вселенский вертоград». И в этом «вселенском вертограде» «люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм».

Таким образом, преогромнейшее древо в трактате Есенина символизировало не только жизнь, но и «братскую семью народов». И чтобы искусство действительно

сплотило народы в единую семью, необходимо было подобрать ключи к человеческой душе, метафорически называемой Марией... Язык — вот ключ для души — так в конце концов расшифровывал Есенин название трактата. Поэтому-то в заключительной части он и выстроил систему поэтических образов, которые называл «заставочными», «корабельными», «ангелическими». Эти образы должны были стать ключами к человеческой душе, ибо душа слишком сложна, чтобы ее можно было заковать «в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии».

Для творческой практики Есенина необычайно важным оказалось еще одно положение: происхождение человека от «вечного древа». Этот миф запечатлен на вышитых полотенцах, а также в древних «травниках», текстах заговоров и «присух», сохранивших изначальный культ берегинь. «Все от древа» — так выразил это положение Есенин. И домыслил, что наши предки — мифотворцы, баяны, бахари — «видели через листья своих ногтей, через пальцы своих ветвей, через сучья рук и через ствол туловища, что мы есть чада древа», то есть чада «древа жизни», чада великой Берегини.

Но языческие верования и языческое искусство постепенно отодвигалось в глубь северных лесов, и именно там на протяжении многих столетий оно сохраняло свое влияние на жизнь русской деревни.

Теперь же верования древних людей самым неожиданным, самым счастливым образом обнаруживаются в произведениях народного искусства. Эти-то древние обычаи, сохранившиеся в силу привычки, и заставили бабушку Евлашу вывешивать в горнице полотенца с красной вышивкой и кружевами, которые я не нашел минуты как следует рассмотреть.

...Щелкает кнопка выключателя. Я протираю усталые глаза, собираю тетради, складываю книги. В огромном читальном зале редко-редко увидишь горящую лампу — сегодня суббота, и зал опустел. Сколько же дней прошло, как Юрий Арбат увлек меня в это чудесное и такое немыслимо трудное путешествие? Не знаю. Да и спросить об этом некого...

Но я все-таки отыскал в волшебном северном бору «деревьё большое», отыскал Берегиню и поразился тысячелетней мощи ее корней, несказанной ее красоте.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Новеллы

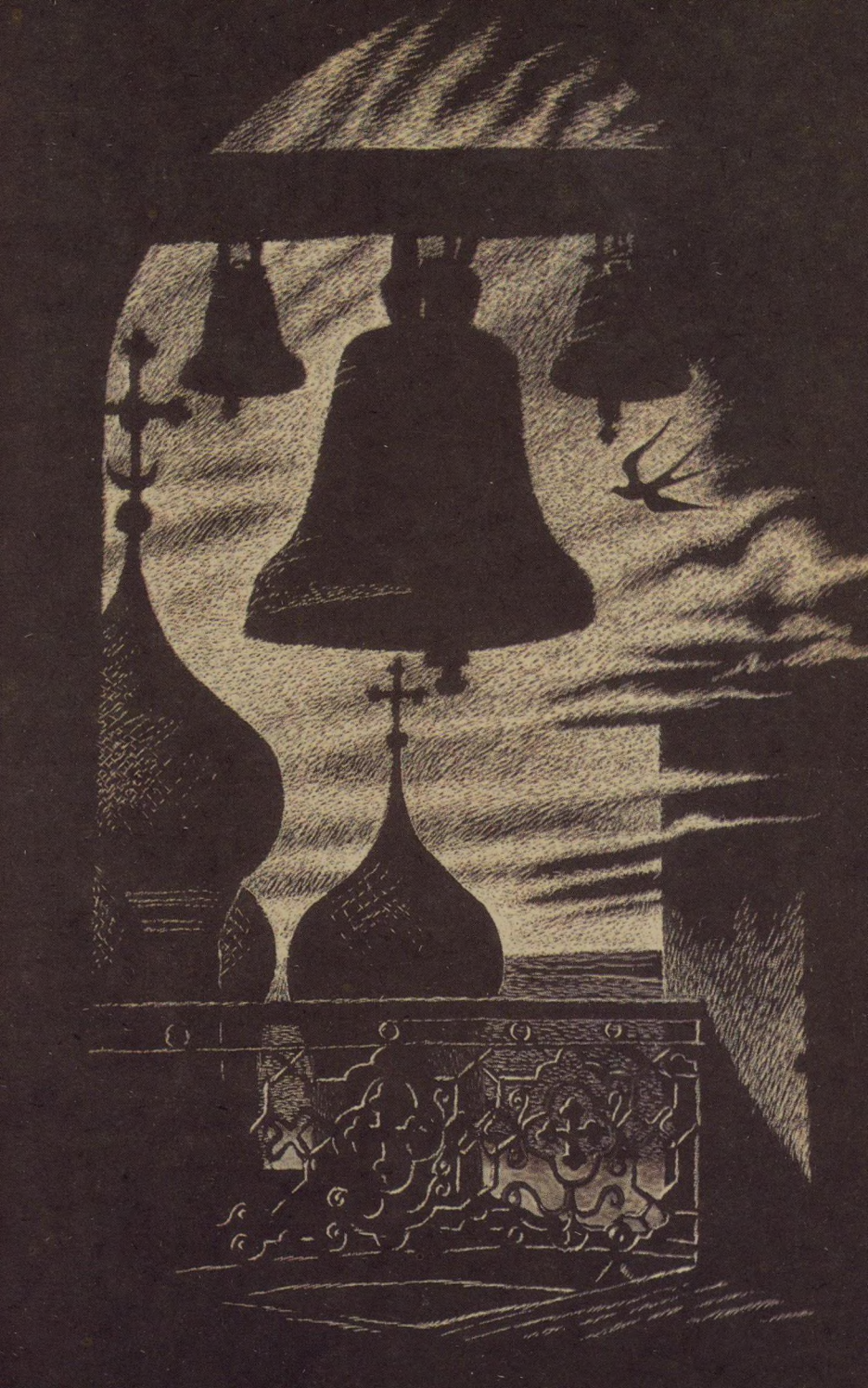
ЛАСТОЧКИ И КУПОЛА

Замечали ли вы за собой такую особенность: на художественных выставках далеко не сразу и далеко не все полотна открываются вам. Видишь как будто бы все: и приглушенный или, наоборот, интенсивный цвет, и композиционное решение, и выразительные детали, а вот — поди ж ты! — все эти составные элементы искусства существуют сами по себе, а картина — сама по себе. Полотно молчит, хотя каким-то седьмым чувством знаешь, что ты не добрался до его сокровенной сути.

Нечто подобное происходило со мной, когда я видел многочисленные картины, эскизы и этюды Константина Федоровича Юона, понимая разумом, что это крупный художник, влюбленный в Россию, что надо бы мне замедлить шаг, остановиться хотя бы возле знаменитого Троице-Сергиевского цикла. Я останавливался, вглядывался и — проходил дальше. Но вот однажды в руки мне попала всего лишь цветная журнальная репродукция картины Юона «Купола и ласточки», написанной еще в двадцатых годах. И что же?..

Чем-то близким, до боли знакомым вдруг повеяло на меня от этой картины. Но чем? Ах да, вспомнил!

В Вологде, возле Софийского собора, в прошлом веке какой-то архиепископ воздвиг высокую колокольню. Насколько классически ясны, строги линии собора Софии, насколько прост и величествен весь его белокаменный облик, настолько странна по стилю эта колокольня: когда смотришь на нее вблизи, создается впечатление, что это немецкая кирха, стреловидные окна и закомары которой неизвестно по какой причине увенчаны огромной луковицей. Но именно с этой колокольни, куда по воскресеньям пускают всех желающих, открывается такой вид на Вологду, на ее окрестности, что



дух захватывает. Прямо перед основанием колокольни — здание государственного банка, дальше идут городские кварталы, поблескивает река Вологда, а по самому горизонту — деревеньки, пашни, леса. Возле решетки, ограждающей площадку для обзора, с пронзительным криком вьются ласточки, из колокольни, как из погреба, тянет прохладой, а ты жадно вбираешь эту даль и не можешь оторвать взора от северных просторов, которые видны тебе на все четыре стороны света.

Пережив все это за несколько неуловимых мгновений, я вновь стал разглядывать картину Юона. Вот тут-то она и открылась мне. Искусство художника покорило меня, заговорило со мной ясным, понятным языком. Массивные барабаны собора порозовели от заходящих лучей солнца. Кресты ажурной позлащенной ковки как будто поплыли в летнем небе. Черные точки ласточек, которые скорее угадывались, чем виделись наяву, стремительной метелью закружились над куполами. Между их молниевидным полетом и белокаменной громадой собора был разительный контраст: он-то и заставлял пристально вглядываться в картину, искать в ней сокровенный смысл. А палитра художника продолжала творить чудеса: небо чуть позеленело, сады и поля по горизонту как бы восприняли эту вечернюю прозелень неба, окутались туманцем, стали терять очертанья,— и все вместе захватывало чувством приволья, радостного умиротворения, покоя, чувством, которое хотел передать художник. И он передал мне это чувство, возникшее в нем в минуту благоговения перед вечной красотой Руси.

СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК

В начале двадцатых годов в Вологде, на Железнодорожной улице, недалеко от Золотухи, жил худощавый подросток. Бегал в соседнюю школу первой ступени, катался на санках с речных откосов, а вечерами всегда что-нибудь рисовал или лепил из глины, которую приносил все с той же Золотухи и оттаивал у себя в комнате. Мать была неизменно добра к нему и не ругала за то, что штаны и рубашка его всегда были в глине и пятнах краски. Так и в тот памятный вечер он долго возился с комком глины, прикидывал так и эдак, сминал начатое и принимался лепить все заново на фанерном листе, служившем ему станком. А когда просушил произведение да еще раскрасил его, то втайне был обрадован своему упорству. Получилось!..

Крохотный, лысый как лунь, старичок-лесовичок стоял перед ним, опираясь на суковатую березовую палку. Розовая рубаха была перехвачена пояском, синие, полуспущенные порты и лапотки дополняли его наряд. Забавно скосолапившись, старичок стоял перед юным художником почти «всамоделишным» деревенским дедом, но было в его облике и что-то лукавое, добродушное, как лукавы и добродушны деревенские поверья про гуменника и лешачка. Эти поверья мальчик не раз слышал на родине своего отца, в деревне, куда он приезжал погостить летом.

И вот через сорок лет, в 1964 году, известный скульптор Сергей Михайлович Орлов перевел «Старичка» в фарфор. Первая полудетская работа была дорога ему и как память о родном Заволочье, и как вещь, которая определила его судьбу художника-монументалиста. Но об этом надо рассказать особо.

Восемнадцатилетним юношей приехал Сергей Орлов

в Москву. Привез он с собой десяток акварелей, рисунков, набросков и несколько статуэток из глины, в том числе и «Старичка». Мечтал он попасть в один из художественных институтов Москвы, но мечтам не было суждено осуществиться. И вот Сергей Орлов переступил порог Музея керамики и фарфора, который был в те годы в столице.

Встретил его известный собиратель произведений прикладного искусства и малой пластики Алексей Викторович Морозов, бывший фабрикант, родственник знаменитого Саввы Морозова, а в 1929 году — просто служащий музея.

Сергей Орлов показал ему рисунки и акварели; старик довольно бегло пробежал их глазами, отложил в сторону и выжидательно посмотрел на посетителя. Тогда-то самодеятельный художник, смущаясь и уже окончательно теряя надежду на какие-либо перемены в своей судьбе, извлек из ветоши «Старичка».

Алексей Викторович долго рассматривал глиняную статуэтку, поворачивал ее в разные стороны, казалось бы, недовольно и презрительно шевелил губами — и вдруг закричал на сотрудников музея, находившихся в этой же комнате:

— Какого черта вы все ищете? К нам нагрянул талант бессомненный, а вы все ездите за тридевять земель, все сетуете, что оскудела земля русская талантами... Смотрите! — И Морозов торжествующе поднял статуэтку.

Так вологодский слесарь Сергей Орлов стал одним из сотрудников музея керамики и фарфора.

До чего все-таки разнообразна эта истинно русская душа!.. В акварелях Орлова, в его пейзажах — спокойствие, мягкость, задушевность. Художник выбирает те перламутровые, дождливые дни лета и осени, когда светится все — и мокрый асфальт, и мокрые крыши домов, и гладь городских каналов, и перспективы огромного города, как бы пронизанного дождевой пылью.

Наоборот, в пластике, в фаянсе, в фарфоре — взрыв темперамента, буйство фантазии, этакая былинная удаль, когда силушка по жилушкам так и переливается, когда от избытка этой силы можно и поозоровать, и посмеяться добродушно, и задуматься всерьез. Фанта-

зиям нет предела. Да и как же иначе: ведь скульптор ставит перед собой задачу, сложнее которой и выдумать трудно. Он хочет волшебную русскую сказку воссоздать в цвете и объеме. Древний Египет, Греция, Ренессанс дали несравненные образцы цветной скульптуры. Сергей Орлов пошел своим путем. Он широко использовал как достижения древней и западноевропейской, в частности немецкой, пластики, так и отечественной скульптуры. Но корни его — в фольклоре русского народа. «У меня есть один принцип,— говорил однажды художник,— которым я руководствуюсь всю жизнь. Нет искусства малого, но есть искусство в большом и малом. Художественность следует выискивать, выглядывать в окружающем мире и не лениться, делаешь ли ты малую вещицу или монументальный скульптурный портрет».

Но странно, может быть в чем-то несправедливо, сложилась творческая судьба Сергея Орлова. Вероятно, нет такого приезжего, такого гостя Москвы, не говоря о коренных жителях столицы, который бы мельком, хотя бы невзначай не взглянул на памятник Юрию Долгорукому, что установлен напротив Моссовета. Я думаю, если бы бронза могла запечатлеть на себе эти взгляды, то их насчитывались бы миллионы. Действительно, памятник этот в обрамлении респектабельных зданий нельзя не заметить: он поставлен так, как будто всегда стоял здесь, в центре скверика, выходящего на самую оживленную магистраль столицы — на улицу Горького. И кажется, что всадник — легендарный Юрий Долгорукий — внезапно осадил коня, властно простер вперед руку: отсюда пойдет и будет идти вечно Москва-народ!.. Сергей Орлов в этой торжественной, безусловно, выразительной фигуре сумел соблюсти верность традициям классического монументализма и сохранить личный взгляд на историю, на прошлое, на будущее русского народа.

«Я хотел в чертах его лица, во всем его облике,— говорил позднее Сергей Михайлович о Юрии Долгоруком,— передать ту мужественную народную красоту, которая вызывает представление о русских былинных богатырях».

К слову сказать, труден был путь к осуществлению этой общей идеи. Еще в молодости Сергей Михайлович

написал маслом портрет «Плотник дядя Алексей». В дальнейшем по мотивам этой картины им был создан скульптурный портрет русского крестьянина... А затем, в результате сложной метаморфозы, некоторые черты мужественной народной красоты, присущие и вологодскому плотнику, и этому крестьянину, были переданы древнерусскому витязю. Ведь скульптор хотел выразить то, что он уловил в народном самосознании в дни войны и в первые послевоенные годы: красоту сдержанной силы, собственного достоинства.

Подобной же обобщенностью и одновременно конкретностью замысла был отмечен памятник Афанасию Никитину в Калинине, а также эскизы памятников Степану Разину и Суворову, увы, оставшиеся не воплощенными в металл. Короче говоря, академик Сергей Михайлович Орлов и современникам, и далеким потомкам вероятнее всего будет известен как скульптор-монументалист.

А как же малая пластика? Как же изумительный старичок-лесовичок?..

Здесь, по-моему, необходимо оглянуться в прошлое. Может быть, случайно, а может, наоборот, совсем не случайно, но весной шестьдесят шестого года я узнал о персональной выставке Сергея Михайловича Орлова в здании Академии художеств СССР на Кропоткинской. И пошел на эту выставку, и пошел еще раз и еще, но уже познакомившись со скульптором, побывав в его мастерской возле Белорусского вокзала. Пошел, чтобы — в дальнейшем — вспоминать об увиденном в тех самых парадных и просторных залах, где в шестьдесят шестом я впервые вступил в особый мир, созданный полетом фантазии и пронизанный «русским духом», как неким солнечным лучом. В то время еще господствовала «узаконенная» правда в искусстве, и в первую очередь в скульптуре, еще всячески поощрялся жизнеподобный реализм в формах самой жизни. Однако Сергей Михайлович стал на этой выставке провозвестником совсем иного — самоценной «музыки форм»: может быть, поэтому его малая пластика на долгие годы оказалась «непризнанной», и он эту свою непризнанность весьма болезненно ощущал вплоть до кончины.

Как известно, фарфор и фаянс — материал холодный, трудный для пластики. И нужно исключительное

художническое чутье, чтобы фаянс или фарфор заиграл «телесными», теплыми тонами, чтобы он приобрел радужность, праздничность, насыщенность колеров и оттенков, которые есть в росписях по фаянсу и глине у народных умельцев. Вот в духе этих умельцев, а также живописцев-иконников Сергей Орлов использовал широко и свободно насыщенный алый, синий, желтый цвета, поскольку, по словам одного искусствоведа, сочетание красного, синего, желтого прекрасно выражает, в частности, сущность «пресвятой рублевской троицы». Более того, Сергей Орлов смело и талантливо использовал все оттенки аметистового цвета, который особенно изыскан, чудесен, таинствен и особенно трудно поддается воплощению в материале.

Подолгу простаивая в залах выставки, в которых можно было встретить и знаменитых художников, и обычных любителей прекрасного и в которых Сергей Михайлович мог часами рассказывать о принципах своего творчества, я понял главное: скульптор ведет многолетний спор со «здравым разумом», ибо этот «здравый разум», по меткому суждению Даниила Гранина, приучает человека к прагматизму, к делячеству, делает его излишне расчетливым и рациональным. Вопреки всему этому Орлов хотел и в форме и в цвете воссоздать поверия, сказки, фантазии русского народа, испокон веков живущего среди «великого леса» и «великой воды», народа, который выжигал делянки для посевов, преклонялся перед стихийными силами природы, обожествлял их, но не без лукавства говорил себе и другим: живем в лесу, молимся колесу.

Формой, линией, цветом Орлов хотел выразить это простодушное лукавство северных крестьян, среди которых были изумительные рассказчики волшебных сказок и стародавних преданий. Ведь лес — а он стоял стеной сразу же за деревней, кольцом окружал пашни и сенокосные угодья,— так вот этот великий северный лес был полон всяческого волшебства, он населялся бесподобными образами фантазий, которые вместе с тем хранили отзвуки глубочайшей, еще языческой, еще дохристианской старины: были здесь и страшила, и гудики, и лешачки, и баенники, и гуменники, и берегуши, и несть им числа. И все они обладали одним свойством — оказывались добрыми, забавными, смешными, лукавыми духами, иначе сказать, домашними ларами, но

никогда не были жестокими, бесчеловечными, страшными, демоническими существами.

Замечательно, что в облике самого Сергея Михайловича мало что сохранилось от такого сказочника-кудесника, как, например, сохранилось это в обличии архангельского старичка-лесовичка Степана Григорьевича Писахова и в его по-северному витиеватой речи. Нет, Сергей Михайлович являл собою образ нашего современника: его седые волосы россыпью, его бритое лицо, его хорошо пошитый костюм — все говорило о нем как о художнике, много поработавшем и много пережившем. Тем удивительнее, что именно он испытывал некий пантеистический восторг перед северной природой, что именно он ощущал ток крови, который бродил в корнях родного Заволочья. Может быть, поэтому ему удалось свершить невозможное — выразить бессознательную гениальность земляков-северян.

Вокруг стендов на выставке, о которой идет речь,— я это видел сам — собирались многочисленные и благодарные зрители. Еще бы!.. Ведь на этих стендах были расположены такие шедевры малой советской пластики, как «Орущий лешачок», «Маленький гудик», «Зеленый страшила», «Бубик», как «Иван-царевич на сером волке» или «Ведьма в полете». Всех работ не перечислить — их десятки, а если собрать по музеям страны и зарубежных стран, то сотни: результат многолетних поисков, находок, открытий, ошибок.

Обычно в сказках добро сталкивается со злом — и добро всегда побеждает. Но так случается далеко не всегда. В иных случаях скульптор сталкивал зло со злом. Такова его фантастическая шутка: «Драка. 1946 год». Но и зло Сергея Орлова вызывает чуть приметную улыбку. Как я уже говорил, в его замысловатых, радужных фантазиях многое идет от этой едва уловимой улыбки, этой лукавинки. Да и как же иначе! Черпая образы и сюжеты из кладезей северной поэзии, Орлов оставался не просто художником, а философски мыслящим гражданином своей эпохи. Его фарфоровые и монументальные изваяния — предельные обобщения, «сгустки» художественных пристрастий человека-творца.

Нынче мало кто даже из учеников младших классов поверит в существование лесных духов и чудищ: в век электроники научная фантастика стала захватывающим чтением и для детей, и для взрослых. Челове-

ческий разум срывает покровы с тайн природы, он лишает тот же северный лес его древнего очарования — ведь на любой поляне можно услышать шум трелевочных тракторов, а в небе — рокот почтовых и рейсовых самолетов. Но лишиться в искусстве всей этой красоты — красоты наивного верования в чудесное,— насколько беднее мы бы стали!.. К сожалению, иногда раздаются голоса людей, которые, надо думать, родились на свет лысыми догматиками и начетчиками, усматривающими во всяком обращении к сказочным истокам и образам ни больше ни меньше как возрождение вредных, мистических верований патриархального крестьянства. Лишенные эстетического вкуса, они тычут указующим перстом в создания, подобные чудесному «Бубику» или «Лешачку», и трезвонят об утрате художником «чистоты» идеологии.

Но в книге отзывов на работы Сергея Михайловича Орлова мне запомнилась одна примечательная запись. Вот она: «Дорогой Сережа! Я очарован твоими работами на выставке. Умно, талантливо и хорошо. Все мои друзья-единомышленники восхищены также твоей фантазией и прекрасным исполнением... Любящий тебя С. Коненков».

Старейшина советских художников по достоинству оценил редкостное дарование своего собрата по профессии.

Вот он, его «Орущий лешачок»!.. На лесной коряге выросли хрупкие опята, сыроежки и еще какие-то тонконогие грибки. Из этого изумительного грибного царства возникает фигура лешачка. О чем он, махонький и забавный, кричит в лесные чащобы? Кого скликает? Кого хочет остановить или позвать на помощь? Он — сказка, с этой сказкой невозможно расправиться, с ней трудно расстаться. Да пожалуй, и не к чему расставаться с «Лешачком», потому что он — овеществленная красота!

...Сейчас, заканчивая свой рассказ, я вновь вспомнил, как с толпой посетителей медленно обходил выставочные залы на Кропоткинской и какие ассоциации возникали у меня тогда, когда я рассматривал то добродушного «Бубика», то страшную «Войну», которая летит на немыслимых скоростях и вопиет торжественно и пронзительно. Вероятно, еще дольше я пребывал тогда

возле «Фауста и Мефистофеля», исполненных в цветном фарфоре. Художник своеобразно понял гетевский замысел: его Фауст и Мефистофель не только две фигуры — это один человек в своей раздвоенности. Один — отрицание, ирония, разъедающий скепсис, другой — поиск, надежда, вечное стремление к познанию мира и сотворению добра. Под скачущими всадниками — спящий средневековый город. Фауст чуть касается ладонью белой конской гривы, он не торопит коня, он ласкает его; рука же Мефистофеля указует в бездну: властным жестом Мефистофель ведет к тьме и мраку. Причем оба коня — аллегорическое изображение неостановимого движения: колени коней, как шатуны в моторе, работают вразнобой, но именно они-то и передают образ стремительных скоростей XX века.

Я вспоминаю, как вместе с другими посетителями перешел к стеклянной витрине и увидел по добрым улыбкам окружающих, что нужно пристальнее осмотреть ее. Батюшки!.. Там, за стеклом, передо мной стоял лукавый старичок: забавно скосолапив ноги, волной распустив бороду, опершись на батожок, он кого-то ждал. Может быть, меня?.. А может, это вовсе не та фигурка? Да нет, это «Старичок»! Точно! И дата под ним: 1924 год.

Вряд ли стоит говорить о том вихре чувств, которым я был подхвачен возле этого стенда. Далекая Вологда двадцатых годов, откосы речки Золотухи, комната в доме с облупившейся штукатуркой, фанерный лист и чуткие, покрасневшие от холода пальцы мальчугана, впервые ощутившего власть искусства,— вот что я увидел, увидел и запомнил навсегда.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Памяти матери моей
Екатерины Александровны

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Это двустишие в прошлом веке нередко приводилось как образец «пушкинской» гармонии, хотя на самом деле оно принадлежит Константину Николаевичу Батюшкову, современнику великого поэта. Нынче это — поэтический афоризм, вроде бы совершенно утративший родословную, известный безымянно, но все-таки сохранивший и красоту, и изысканность, и свежесть, которые свойственны именно поэтам пушкинской плеяды и которые все более ценятся в наши дни.

Для меня чудесная сила этих строк — в глубоком вздохе, как бы невольно вырвавшемся из человеческой груди, в запоздалом сожалении, что ли, в просветленной печали, а может, и просто — в воспоминаниях, в виденьях наяву, как говорили во времена Батюшкова. Для меня в этом стихотворении скрыты чувства томительные, почти не переводимые на язык прозы. И всегда, когда я их прочитываю, незагаданно, неизбежно возникает желание воскресить страницы прожитой жизни, углубиться в себя, задуматься. Вот и теперь, поддавшись очарованию старинного полустиха, медленно, медленно развертываю свиток пережитого...

В декабре сорок второго года сразу же после уроков мы с моим другом Толей Ульяновым, погибшим через несколько месяцев в атаке, пошли на призывной пункт — повестки из военкомата лежали в наших потрепанных школьных портфелях. Помнится, в красном уголке, битком набитом бритоголовыми подростками, какими в ту пору были и мы, шел концерт... Артист местной филармонии под трофейный аккордеон пел песню. Поразила меня не мелодия — она была самодельной, если можно

так сказать о мелодии, — поразили слова песни. Никто из нас не знал автора, да, пожалуй, и не задумывался над тем, был ли у нее, у этой песни, какой-то конкретный автор. А он был, был автор, был поэт, написавший пронзительные до дрожи стихотворные строки: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» Да, стихотворение Константина Симонова «Жди меня» как заговор, как заклинание повторялось тысячами людей, хотя не судьба была вернуться многим из них ни в ближайшие дни, ни в ближайшие годы...

А в разгар военных действий, летом сорок четвертого года, мне впервые довелось выползти на «нейтралку» на Карельском перешейке, где в декабре сорок второго пропал без вести мой отец. Нашему взводу необходимо было заминировать передний край обороны... Потом, несколько месяцев спустя — проклятая война! — на этих же минных полях подрывались мои товарищи-саперы: во время перемирия мы получили приказ снять минные заграждения, снять на той же нейтральной полосе, которую перепахал, обезобразил артиллерийский и минометный огонь.

Затем — прорыв на Сандомирском плацдарме; польские села, горящие вдоль всего горизонта; заводские трубы и концлагеря Верхней Силезии; отчаянная переправа через Одер и, наконец, тот майский полдень, когда от цивильного немца я услышал: «Пан официр, война капут!»

...Дождь накрапывал с самого утра. Небо, как бы застывшее в серой неподвижности, укрывало пашни, селения, далекие предгорья, которые едва обозначались в моросящей мгле. За предгорьями — Чехословакия, а здесь — Германия, которая, впрочем, была для нас все теми же пашнями, дорогами, городками с кирхами, гастхаузами, была всей этой сумеречной природой, застывшей в каком-то угрюмом ожидании. В такие дни появлялось ощущение, что снова может повернуть на снег, на холода и что войне еще долго не будет ни конца, ни краю.

Вот почему под низким немецким небом двор какого-то богатого бауэра, вымощенный плитами, заваленный мокрой соломой, казался непомерно огромным, просторным. Мы ходили по соломе, пахнувшей сыростью и

чем-то давним, деревенским, и разматывали телефонный провод, привязывали к нему белые лоскутки. Ночью наш взвод саперов-разведчиков должен был сделать проходы в минных полях, а затем обозначить эти проходы телефонным проводом с лоскутками. За долгие годы войны работа стала привычной, и все-таки солдаты спешили, чтобы поскорее укрыться где-нибудь от дождя.

Внезапно из-за черепичных крыш, которые мокро краснели под дождем, в небо врезались огненные сверла — это ударили гвардейские минометы. И в ответ незамедлительно раздался скрежет немецких шестиствольных минометов, в просторечии называемых «ишаками». Мины падали густо — они взметнули солому, обнажили плиты двора, рассеяли осколочные брызги. Налет кончился внезапно, как и начался, но в дальнем углу двора остались лежать несколько солдат: их намокшие шинели горбились на спинах, их тяжелые крестьянские руки были уронены в вороха соломы.

К вечеру дождь припустил, и вся округа потонула в сизом дыму. Мы сидели в окопах, прислонившись к стенкам, накрывшись с головой плащ-палатками, покуривали, прислушивались к редким выстрелам, к шуму дождя, барабанившему по плащ-палаткам, и томительно ждали ночной темноты. Сержант первого отделения, разбитной парень из-под Луги, не уставал удивляться — когда это пехота успела выкопать траншеи да еще нарыть себе нор, откуда кое-где торчали солдатские ботинки.

— Дают братья славяне,— ворчал он.— Как речные раки: клешня в норе, а... наружу...

Взлетели первые сигнальные ракеты. Их радужные венцы подсказали нам — пора на «нейтралку». Осклизшая от дождей корка пашни продавливалась под руками, и тогда в мягкой, паровитой борозде мы нащупывали тарелки тяжелых противотанковых мин. Перевалившись на бок, как и другие саперы, я часто вытирал о ватник руки, облепленные землей, подолгу грел их под мышками, но пальцы были мокры и скользки, они дрожали, когда я вывинчивал медную гайку взрывателя и клял про себя и эту ночь, и дождь, и «нейтралку», и немцев, чьи голоса раздавались впереди меня.

А небо светлело с каждой минутой, оно прояснялось, загоралось вишневыми отблесками, становилось лазурнее, выше. И когда я на миг поднялся на локтях и оглянулся назад, то увидел неправдоподобно огромный раскаленный солнечный шар.

...Впереди стих слитный грохот дизельных моторов, резкие выстрелы танковых пушек, лязг гусеничных траков. Пехотинцы по одному, нащупав ступеньки в передней стенке траншеи, привычно выскакивали на пашню и бежали по колеям, оставленным танковыми гусеницами. Повсюду зеленели всходы пшеницы, чуть дальше кудрявился лесок, еще дальше голубели предгорья.

Уже не двор немецкого бауэра — земля становилась с каждой минутой светлей и просторней. Только никто из нас представить себе не мог, что это была наша самая последняя на войне атака, что горячее солнце, поднимавшееся за нашими спинами, было солнце победы; нет, мы знали и помнили совсем другое, мы рвались к предгорьям, мы должны были достичь их в этот же день.

Солнце давно перевалило за полдень, когда я проснулся,— мне казалось, всего несколько минут назад я забрался на подводу, заваленную саперным имуществом.

Стояла подвода в немецком городке, на ратушной площади, среди сотен фургонов, самоходок, танков, грузовиков с прицепленными сзади пушками-сорокапятками. Не только городок, вся округа была забита армейскими обозами и военной техникой: наступление шло стремительно, хотя иногда возникали заторы вроде того, в какой мы попали теперь. Куда ни глянешь — всюду окопная братва: с возов, с брони самоходок торчали солдатские ботинки с засохшей грязью, мелькали шинели, ватники, телогрейки, слышались звуки трофейных аккордеонов, разноголосое пенье солдат. В желтых фаэтонах, украшенных гербами, сидели пехотные офицеры — они громко смеялись, покуривали трофейные сигары, с напускной важностью поглядывали вокруг.

Нестерпимо хотелось пить. Я свернул в ближайшую улицу и пошел мимо серых домов, сверкавших в вечерних лучах множеством окон, белевших рядами простыней.

Согбенный немец, попавшийся навстречу, к счастью, хорошо говорил по-польски. Он позвал меня за собою, мы прошли дворик, поднялись по сумеречной лестнице, вошли в кухню, бедновато и просто обставленную, и здесь-то прямо из-под крана этот старый цивильный немец напоил меня.

— Пан официр, — повторял он, глядя на меня старчески спокойными глазами, — война капут!

Еще что-то добавил про передачи Би-би-си, но даже и тогда я не придал значения его словам — за последние месяцы войны кому из нас не доводилось слышать это самое «капут» из уст любого жителя Германии?!

Когда я вышел из дворика, наши части ушли вперед, а мне необходимо было догнать штурмовые группы батальона. Я вернулся к старику. Не скажу охотно, скорее сокрушенно кивая головою, он отдал мне «коло» — удобный дорожный велосипед, на котором я и поехал все к тем же предгорьям — они виднелись прямо передо мной.

В бесконечно мелькавший частокол слились придорожные черешни; одни деревни и городки переходили в другие, а шоссейка бежала и бежала под шинами велосипеда, бежала серой лентой, терявшейся в отдалении. Уже звезды прокололи майский небосклон, уже легкий туман стал подниматься с полей, а я по-прежнему гнал и гнал вперед машину.

Иногда впереди что-то чернело, можно было подумать, что это груды камня, но когда я подъезжал ближе, то каждый раз это оказывались штабеля пехотного оружия: поблескивали стволы винтовок, автоматов, пистолетов, фаустпатронов, сваленных отступавшими солдатами вермахта прямо на обочинах дорог. Таких груд молчаливого, зловещего в своем молчании металла больше мне никогда не доводилось видеть. А я крутил и крутил педали велосипеда, понимая, что свернул где-то не на том повороте, что гоню машину в неизвестность, что надо бы у своих расспросить дорогу на чешский город Градец Кралове. Но дорога, затерявшаяся среди молчаливых полей, была безлюдна.

Вдруг возле поворота неясно обозначились человеческие фигуры. Я соскочил с велосипеда, достал пистолет, положил его за пазуху ватника, ко мне приближались

трое мужчин. На мой оклик они отозвались: «Товажиш, товажиш!» Это были пленные югославы, как и я, заплутавшие среди одинаковых пашен и таких же одинаковых шоссейных дорог.

Пока мы разговаривали на немыслимом диалекте, понятном нам одним, пока мы прикуривали друг у друга, совсем стемнело. И вот тогда-то разноцветное полымя охватило горизонт: предгорья внезапно осветились мириадами сигнальных ракет, трассирующих очередей, разрывами осветительных снарядов. Зарево подымалось выше и выше, оно завораживало нас неправдоподобно прекрасным и величественным сияньем. Мы стояли посреди дороги, обнявшись за плечи, стояли безмолвно, потрясенно: перед нами был неистовый, небывалый, полыхавший по всем фронтам, войсковым частям и соединениям салют победы.

На всю землю — и на эти аккуратные пашни, на эти деревни, дороги, склоны холмов — под рокот всеармейского салюта сходила благословенная тишина...

На зеленом поле стадиона у чешского города Градец Кралове выступал фронтовой ансамбль песни и пляски. Ансамбль исполнял «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». И вновь ни я, ни мои товарищи не задумывались — был ли автор у этой песни. Она родилась, возникла, облетела все войска в тот самый час, когда солнце победы поднялось над руинами и пепелищами Европы, когда в воздухе растаяли последние следы трассирующих пуль. Мы удивились бы, если бы такой песни, таких строк не было, если бы мы их не узнали, не услышали в этой незабываемой голубизне мая.

Так война и поэзия одновременно входили в мою жизнь... Они были нерасторжимы в моей судьбе, и в этой своей нерасторжимости требовали обозначения словом. Позднее мне довелось прочитать: Константин Батюшков на поле брани узнал, что «война дает новую цену вещам», а чтобы познать эту цену, художнику «надобно все испытать, о б е ф о р т у н ы: подобно Тассу — любить и страдать всем сердцем, подобно Камоэнсу — сражаться за отечество».

Но такие невольные ассоциации возникали потом, спустя десятки лет, а не в мае 1945 года, когда были

восторженные толпы народа вдоль автострад, крики «Наздар!», охапки сирени, невероятное буйство сирени и песни, и солнце, и долгожданный мир.

В старину филологические факультеты назывались отделениями словесности. Так вот, только словесником я хотел быть после войны; у меня не было присущих молодости сомнений при выборе профессии — смутно, как говорится, про себя, знал, что лишь в сфере словесности, а если точнее, хотя, может быть, и старомоднее,— изящной словесности — я обрету жизненное призвание. Влияние матери, воспитавшей во мне эту любовь к печатному Слову, я всегда признаю с благодарностью.

Из раннего детства мне памятен такой эпизод. Както на кухне, заставленной корытами и столами, читали книгу. Моя мать любила по вечерам читать вслух соседкам и подружкам. Я не помню, что это была за книга и кто ее написал. Помню лишь свое удивление: из какого тайника мог увидеть тот, кто это написал, как люди ходят по комнатам, разговаривают между собой, о чем они думают, оставшись в одиночестве?

Я не представлял себе, что все это, выражаясь академическим языком, плод творческой фантазии, и нередко, играя на полу нашей огромной кухни, начинал нарочито громко говорить и смеяться: кто знает, может быть, о н тоже подглядывает за мной в эти минуты?

Не в этой ли чистосердечной вере, что все написанное и рассказанное художником — правда, живет душа поэзии? Часто книга была как бы продолжением жизни, а жизнь и отношения людей друг к другу поворачивались такой гранью, какую ранее открыли книги. Но постепенно, хотя и неуклонно, я стал догадываться о другом, о том, что книги — это «вторая реальность», которая является сгущением, а еще точнее — переосмыслением реальных положений, реальных ситуаций, реальных характеров людей. Или выскажу свою мысль несколько иначе, что сфера прекрасного в искусстве, в том числе и в изящной словесности, это — реальность, но иллюзорная, многозначная, таинственная

в своей глубине, и она оплодотворена человеческим духом, чувствами, мыслями, всем существом человека. Эта таинственная красота всегда влечет нас к себе и, добавлю я, зовет за собой, поскольку она временами мелькнет и скроется снова, как пели в старинной песне, «за лесом, за полем, за белой зарей...».

Вот почему реальность искусства — это не только то, что дано, но и то, что возможно, вероятно, мыслимо...

...Очередь крупнокалиберного пулемета прошила воздух и оставила точечный след на плитняковой ограде. Мы бросились влево: там, за оградой, за вязами, за гребнями заснеженных крыш, в небо вонзилась каменная громада собора. Вновь по верху ограды пробежали дымки разрывных пуль, но мы, не сгибаясь, летели вдоль ограды. И только тогда, когда, нырнув в ворота, очутились во внутреннем дворе собора, присели у стены на корточки отдышаться, оглядеться вокруг. Плиты двора кое-где перемело снежными заносами, человеческих следов не было видно. Деревья тянули к небу голые ветви, было в них что-то от безмолвного, как бы навеки застывшего вопля. Деревья, стены, цветные витражи собора полузанесло мокрым снегом, который, не переставая, шел весь день.

Оглядевшись, мы решили войти в зданье: строчки наших следов протянулись по белизне заносов.

В пустом соборе в этот серый час было знобко от сквозняка, от гулких шагов по холодным плитам, от статуй католических святых, от камня, который столетиями — сумрачно и страстно — рвался ввысь.

Озираясь то с простодушным любопытством, то с внутренним отчуждением, мы подошли к распятию. Изогнутое страданиями тело Христа, мертвенно-синие, окровавленные, пробитые гвоздями ступни ног, пышная и торжественная старина собора, притаившаяся в стрельчатых сводах,— все казалось нам чужим, угрюмым миром, подавлявшим нашу волю, наше стремление жить, быть, существовать вопреки смертям и непомерным людским мукам там, за стенами этого старинного здания. Вероятно, с подобным ощущением подавленности я так бы и ушел, если бы не статуя мадонны, которая стояла в одной из ниш. Спустя десятки лет

мне все мерещится, что это была работа великого средневекового мастера, но тогда, в феврале, мысль о мастерстве не приходила в голову. Я видел иное. Тяжелое головное покрывало упало на плечи матери. Узки были ее плечи от многодневной работы. Худощав и прям негнущийся к старости стан. Только руки, обнаженные по локоть, были полны прежней силы. Левая рука, опущенная к земле, судорожно стиснула платок, правая поднесена к подбородку. В этом извечном жесте скорбящей женщины, который един на всех окровавленных материках и континентах, виделась мне безмолвная горечь, а сведенные к переносью брови, стиснутый прямой рот, весь ее облик вопрошал: за что?..

Мне захотелось стащить с головы ушанку, мою прожженную, продырявленную армейскую ушанку, потому что неловко было стоять перед этой скорбящей, перед этой уповающей на воскрешение сына матерью, стоять просто так, ничем не выдав, не выразив своего уважения, удивления, восхищения перед силой искусства, которое не было искусством, а было человеческой судьбой.

— Пойдем, Жабчиков.— И мы пошли к выходу, завешенному густым снегопадом...

ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД

Июль — самый длинный, самый скучный месяц в году. Игушка снова уехал в Крым вместе с родителями. Вернется он только осенью перед первым сентября и привезет разные сокровища: засушенного краба, старинную монету, камушки, такие гладкие, что о них можно потереться щекой, можно покатать с ладони на ладонь, помусолить, и тогда в темно-синих овалах отчетливее выступят белые птичьи глазки.

Но главное, Игушка будет рассказывать о генуэзской крепости. С ее развалин он увидит море и морской прибой...

Сколько ни силился, я не мог представить себе море: выходило что-то непомерно большое, и только. А вот высоту я знал — не раз забирался на колокольню Софийского собора. Поэтому мне и снилась генуэзская крепость: стены ее уходили в сумрачную вспененную пучину, а остроконечные шпили впивались в небо. Даже во сне я ощущал тревожный холодок, подступающий к сердцу, когда смотришь вниз, когда земля неудержимо тянет к себе.

Но как все-таки одиноко и маетно живется без друга в июле!

Мама нынешним летом опять будет работать по две смены: осенью придется мне справлять зимнее пальто, шапку, ботинки с галошами. Из ребят в городе осталась только Галка, но она — девчонка, да еще живем мы в одной квартире — за зиму надоели друг другу страшно.

А летом без ребят во дворе какие развлечения? У складских ворот понуро стоят ломовые лошади. Пахнет от них крепким потом и навозом, мухи вьются у покорных, слезящихся глаз. В деревне лошади другие,

резвые, гладкие, звонко ёкающие на бегу селезенкой. На такой лошади хоть в ночное, хоть на дальний покос — только рубашка пузырится, только ветер треплет волосы да хлещет по глазам, высекая нечаянную слезу.

Можно, конечно, сбегать на площадь к котлам, поглядеть, как рабочий, встав на колено, утюжит горячий асфальт, можно незаметно вдавить босую пятку в асфальт, оставить свою метку для будущих времен, можно наконец пойти на купалку. Но пока идешь по тротуару мимо полосатых, выцветших на солнце тентов, снова обольешься потом.

По всему видно, лето будет долгим, жарким, с редкими грозами и дождями; ведь минувшая зима была холодной. Это за двенадцать лет моей жизни я не раз успел проверить.

Жара спадала только к вечеру, и тогда с Галкой мы начинали игру в «двенадцать палочек». Кому выпадало водить, тот должен был оберегать доску, а другой прятаться. Стоит зазеваться сторожу, как ты выскакиваешь из-за угла, прыгаешь обеими ногами на доску: палочки — р-раз — в разные стороны, а ты с хохотом убегаешь снова. Конечно, вдвоем играть неинтересно, но надо же чем-то занять себя.

Галка, как всегда, водила, я выбирал дворовые закоулки подальше, поглуше. Наконец мне надоела наша игра, и я решил спрятаться так далеко, чтобы она ни за что меня не нашла. Для этого нужно было перелезть через забор, пройти густые заросли крапивы и выбраться на откос Золотухи. Из могучих, тронутых ржавчиной лопухов там и сям торчали остовы старых кроватей, валялись ломаные ящики со склада, дырявый матрас, тазы с пробитыми днищами и разная домашняя рухлядь.

Я шел по направлению к Каменному мосту, под которым протекала Золотуха. Каменный мост вплотную застроен магазинами, мастерскими, складами; обрывы здесь особенно круты, и никто, кроме мальчишек да еще жуликов, не забирается в буйные заросли лопухов и лебеды. До кирпичных опор моста оставалось несколько шагов, но они были самыми трудными: земля осыпалась под ногами, крошилась, скатывалась к воде. Я хватался за стебли, забираясь все выше и выше. И когда рубашка стала мокрой от пота, а лицо густо облепила паутина, я дотронулся рукой до кир-

пичной опоры. Внизу, в вонючих комьях пены, текла Золотуха.

Раздвинув листья татарника и стебли прозрачной лебеды, я даже присел на корточки от удивления: передо мной возвышался город! Террасами, бесконечными переходами, башенками и башнями он уходил ввысь. Заканчивался он острым шпилем, который гордо парил над зарослями бурьяна. Низкое, оранжевое солнце опускалось за моей спиною, отбрасывая причудливые тени от лопухов. Город был безлюден. Но безлюдье и молчаливость придавали ему вид таинственный, нездешний. Именно такой и была генуэзская крепость в моих сновиденьях. Я присел сбоку, завороженно пробегая глазами по переходам, по остроконечным шпилям, по строеньям. Мне даже в голову не пришло подумать, кто выстроил здесь этот удивительный замок. Он был передо мною, был не мечтой, не сном, не фантазией, а явью,— я мог протянуть руку и осторожно потрогать его, мог поставить сюда человечка из бумаги, мог украсить флагами, засадить садами. Но и без моих украшений город был прекрасен.

Уже совсем завечерело. От Золотухи стал подниматься ядовитый, тяжелый туман. Надо было возвращаться домой.

Сон бежал от меня в тот вечер: перед закрытыми глазами вставали башенки и переходы, и я мечтал, как завтра вечером, непременно вечером, я пойду на откос и тогда вдоволь налюбуюсь моим сокровищем. А когда уснул, то не слышал, как небо раскололи глухие раскаты грома, как проливной дождь захлестал по стеклам, как мама осторожно встала и укрыла меня одеялом.

Когда я выскочил за дверь, во дворе парило — парили стены сараев, замшелые «галдареи», парила мостовая и груды ящиков, сложенных возле склада; пар подымался даже от спин лошадей, как всегда уныло стоявших у ворот.

Весь день я томился ожиданием, бесцельно слоняясь из угла в угол, подходил к забору и возвращался обратно. При виде Галки отводил глаза в сторону, напускал на себя вид скучающий, равнодушный.

Однако характера у меня не хватило. Таинственно оглянувшись по сторонам, я поманил ее рукой, помог



залезть на забор, потом соскочить в густые заросли крапивы. Галка судорожно хваталась за меня, таращила глаза от страха и вообще вела себя как девчонка, но я упорно тащил ее к устоям Каменного моста. Вот и знакомый обрыв, выше, выше,— я сдерживаю дыхание, пригибаю мощные стебли лопухов — и застываю пораженный. Мой сказочный город исчез! Исчез, как будто его никогда и не было. Не было шпиля, сверкающего на солнце обломком стекла, башенок, куполов — совсем ничего, ничего не было... На коленях я излазил лопухи, вернулся к забору, опять прошел весь путь над обрывом — напрасно, город исчез.

Галка, выдирая репейник из волос, ругала меня, вспоминала самые обидные дворовые прозвища, грозилась вернуться и рассказать все как есть тете Кате, но я стоял в лопухах настолько обескураженный, настолько потерянный, что не обращал на Галку никакого внимания. До нее ли, решившей, что я все навыдумывал, напривирал, было мне тогда!

Но город, похожий на генуэзскую крепость, был!..

С Каменного моста по желобу дворники ссыпали на берега Золотухи пыль. В куче слежавшейся пыли мелкий дождик выбил стенки, террасы, призматические столбы. Однако ночная гроза, которую я смутно слышал сквозь сон, размыла высокую пирамиду до основания.

И все-таки жарким, томительно-длинным и скучным июлем я, вероятно, был счастливее Игушки, который беспечно загорал в Крыму. Я все-таки был его богаче: городские задворки — мы ли не знали их — одарили меня чудесной тайной.

СОКОЛЁНА

Только однажды, да, пожалуй, только однажды я слышал, как звенят колокольцы почтовой тройки. Память случайно выхватила это воспоминание, вне всякой связи с другими, но четко и зримо.

...Тропу заплела спелая рожь, и колосья с вкрадчивым шорохом клонились к моему лицу. На бегу,— я держался за подол материнской юбки,— мне хотелось подпрыгнуть и оглядеть это знойное, плавное колыханье. Но сколько я ни вытягивался, мне виднелись одни беспокойно кивающие колосья ржи да пушистые маковки осота. Я притомился в духоте ржаного поля, оттопал пятки о каменистую землю, а тропинка по-прежнему волнисто бежала по бороздам, синё мерцала васильками. Мать шла быстро, и я, вцепившись в край подола, топотал следом, такой вспотевший, такой радостно-возбужденный, что мать не могла сдержать молодой доброй улыбки.

Было тихо, так тихо, как бывает в полдень в густой ржи, когда басок шмеля сонно гудит под ногами, когда не прекращается странное шелестенье, то ли солнечных лучей, осыпающихся на землю, то ли колосьев, плывущих волнами.

Внезапно далеко-далеко за сухим зноем что-то народилось, стронулось с места, покатилось гулкой горошиной. Горошина, подпрыгивая на ухабах, разрасталась, потом враз рассыпалась на множество звонких осколков — и я услышал храп коней, дробный ливень копыт, говор колес.

— Что это, мам?— спросил я, подпрыгивая на бегу.

Мать держала на плече тяжелый чемодан и, не оборачиваясь ко мне, коротко сказала:

— Почта.

Она напряженно смотрела вдаль, боясь, что вот-вот в глубоком сиянии озера, которого я не видел, заклубится дымок рейсового парохода. Тройка покатилась дальше, тая в неумолчном шелесте ржи.

Мы вышли на Большую дорогу — так в наших местах зовут почтовый тракт, ведущий из Вологды в Кириллов. Оводы перелетали через дорогу. Лопухи мать-и-мачехи, одетые в лохматые шубы, пыльные обочины, замшелые валуны хранили напряженное молчание. Мать покусывала острую стебелинку. Она смотрела прямо перед собой, смотрела, уставившись в одну точку. И мое детское сердце сжалось от ее отсутствующего взгляда, от этой неизъяснимой дорожной тоски, и я, боясь разреветься в голос, стал тянуть ее за руку:

— Ма-а-м... Ну, пойдем же скорее от них, мама!

Прошло много-много лет. Однажды судьба меня забросила в село — райцентр озерной округи. Зимние сумерки наступили быстро, и я, чтобы как-нибудь скоротать вечер, вышел из Дома колхозника, где бездумно валялся на железной койке, курил и слушал, как бухают в стол небритые лесозаготовители. Они забивали «козла».

Ветер хлопнул заиндевелой дверью, сыпанул мне в лицо порошей.

Поземка, змеясь и шурша, переползала через шоссе, которое поблескивало обледенелыми колеями. Мгновенно меня ослепило светом фар,— снежный вихрь ударил в грудь, подхватил полы пальто, напрягся, опал,— кузов автомашины мелькнул мимо, и снова передо мной замигали желтоватые огоньки домов.

Кому, скажите по совести, не знакомо чувство заброшенности, бесприютности, когда ты выходишь на зимнюю дорогу, подымаешь воротник пальто, нахлобучиваешь на глаза шапку? Кого не манили чужие окна? Кто не мечтал о свете абажура, оранжевого, да пусть даже оранжевого, над чистой скатертью, о дымящемся стакане чаю, о теплой руке, легшей тебе на плечо?

Только в тот вечер все это было не для меня.

Я довольно долго брел вдоль шоссе, отворачивая лицо от встречного ветра. Наконец, дорогу мне загородило кирпичное зданье, увенчанное куполообразной крышей. Дверь оказалась приоткрытой, и я машинально взялся за скобу. В фойе — при зыбком свете фонаря — за стойкой громоздилась толстая буфетчица. Когда я стал стряхивать шапкой снег, она, укутанная до самых глаз шалью, полусонно поглядела на меня. Я осторожно открыл дверь в зрительный зал. Впереди чернели головы зрителей, дальше — прямо на сцене — стояли керосиновые лампы. Было холодновато и как-то знобко в этой гулкой темноте. Под звуки расстроенного фортепьяно две легких, как будто прозрачных, фигурки выполняли гимнастические упражнения. «Э-э, да это концерт художественной самодеятельности»,— догадался я. Девушки в черном трико неловко поклонились и вприскочку убежали со сцены.

Долговязый парень, в ковбойке и широком, как римский меч, галстуке, вынес стул, что-то поострил для порядка, зрители для порядка посмеялись,— и все были довольны друг другом, потому что честно соблюдали правила самодеятельной игры.

В общем, мне стало нестерпимо скучно, и я откровенно жалел, что забрел в этот полупустой зал, что сижу здесь, а мог бы еще позвонить в райком и вырвать, несмотря ни на что, машину до Вологды. Но лень и безразличие охватили меня, и я сидел, уставившись на сцену, ожидая конца сельского действа.

— Евдокия Соколёнова,— с преувеличенным значением объявил долговязый парень. Баянист поставил на квадратные колени квадратный баян и повернул стриженую голову в ожидании.

И тут в неверном свете керосиновых ламп возникла девушка. Ее простенькое платьице, ее газовая косынка, ее кудряшки — все бесповоротно, с первого взгляда, располагало к ней. Она передохнула от волнения и негромко вымолвила: «Романс Гурилева...» Ей не дали договорить: зал дрогнул, заплескался, словно осинник под напором ветра.

Не без внутренней усмешки я смотрел на это оживление в зале, на эту девчушку в школьном платьице с глухим кружевным воротничком. Где-то в глубине души зазвучал другой голос — густой, щемящий, вибрирующий голос великой русской актрисы... Черные

крутящиеся диски раскручивались, разворачивались в гигантскую спираль, опоясывали землю и разносили ее «Тройку» по всему белому свету.

«Ах, Соколёна, Соколёна,— думал я, опершись подбородком на руки.— Знаешь ли ты, что такое красота и как мучительна ее тайна? Из каких душевных страстей и страданий рождается та гармония, которая одна и способна покорить сердца?..»

Но песня уже возникла,— пришла без моего ведома, без моего зова из глубины зала. Голос Соколёны был высок и прозрачен, он был похож на полевую тропинку, которая волнисто бежит по бороздам, мерцает васильками и зовет, зовет тебя за собою. Я закрыл глаза: передо мной качнулись спелые колосья ржи, пахнуло сухим зноем, мелькнула молодая улыбка матери и покатилась, покатилась звонкая горошина, разбиваясь на радужные осколки. Внезапно мне стало грустно, словно я в чем-то обездолил себя, прошел мимо чего-то неповторимого, не понял, не угадал своего призвания, своей отрады, горьковатой, как березовый сок в рощах детства, где так-то выщелкивали, выпевали молодые соловьи.

Соколёна кончила петь. Я не сразу открыл глаза: мне было неловко навернувшихся на ресницы слез.

Ах, как досадно, как все-таки досадно, что лишь однажды я слышал колокольцы почтовой тройки.

БАРАШКИ

Надо было найти в сенях старый мешок, вывернуть его углом, накинуть на голову и боком-боком — подальше от оконца — спуститься с крыльца. А уж потом припустить так, чтобы замелькали колья загороды, чтобы лужи разлетались вдребезги. В ушах только свист ветра да запоздалый крик тетки: «Куда вы, дьяволяты-ы?..»

Но от отчаянного восторга дыхание перехватило в груди, босые ноги не чувствуют осклизшей тропинки, дождевые капли высыхают на пылающем лице.

Небо — серое, обложное и такое, что кажется, подскочи на бегу и зачерпнешь набрякших водой прядей. Долгое ненастье приблизило к деревне край света: он где-то здесь, сразу же за скотным двором, за кучами навоза, дымящимися теплым парком. Вбежать бы на эти кучи да отогреть бы занемевшие от холода ноги. Но — мимо скотного двора, мимо последних изб, которые, казалось, только что вышли из мелколесья и вымокли там по пояс: до самых застрех исхлестали их многодневные дожди.

Вёдра не обещают ни ветер со Спаса, ни пелена тумана над ельником. Нигде не видать ни души: деревня затихла, притаилась в ожидании золотого солнечного дня. В такую погоду сторож Вахромеев сидит, наверно, в избе Дмитрия-кузнеца, в крайней избе всего посада. Он всегда там сидит, когда на улице непогода. Расставит ноги в латаных-перелатаных, огромных, как две пароходные трубы, валенках — и сидит на лавке возле двери. Дымит самосадом, складывает окурки под порожек к венику, говорит всякое такое, что на ум взбредет, а сам ждет, когда накроют на стол, поставят самовар да позовут его пить чай с медом.

Хозяйка у Дмитрия молодая и поэтому добрая, всегда Вахромеева чаем угощает.

Но это так, между прочим, пока летишь что есть духу к поскотине, успокаиваешь себя, отгоняешь тайные мысли: а вдруг выскочит Вахромеев из шалаша, заорет, затопает валенками, схватит старую берданку да как бабахнет... Мимоходом заглядываешь в шалаш, сбитый из замшелых досок. В нем только сенная труха да прокопченный чайник в углу.

Мы с Санькой сбавляем бег. Близко заветная межа, где налево — волны серебристо-зеленого гороха, направо — длинные ряды репы,— что хочешь, то и выбирай. Теперь можно отдышаться, можно не торопясь идти по меже, иногда срывая пузатый стручок, иногда дергая за жесткие будылья репы. Жаль, мешок надо снимать с головы: не тащить же за пазухой вороха гороха и репы, облепленные вязкой землей. От одной такой мысли мурашки по спине пробегают. На тебе нитки сухой нет, рубашку — хоть выжимай, штанины облепили икры ног, но все кажется мало, все еще жадно шарят глаза по ту и по другую сторону межи. Ну, хотя бы вот эту,— суглинок размыло дождем, и глянцевый бок репины, огромный, как месяц за деревней, обнажился, зажелтел — ну, просто нет никаких сил удержаться и не вырвать ее с тяжелым придыханием.

Теперь все, кажется, все. Закинув мешки за спину, мы с Санькой легкой рысцой направляемся к дому. Идем задами — мало ли что может случиться. Но это так, для порядка. Пьет Вахромеев десятую чашку чая и прикидывает про себя, зачерпнуть ему янтарного меду или все-таки воздержаться, поводить куском пирога по дну щербатого блюдечка, вздохнуть и отставить чашку, предварительно перевернув ее вверх дном... Надо ведь соблюдать и приличие, и хозяев не обидеть, да и себе чтоб, конечно, не было обидно. Вздыхает Вахромеев, отставляет от себя блюдце с чашкой далеко-далеко, говорит снова всякую всячину, а мы уже вытряхиваем мешки возле крыльца, полощем репу в бочке, посмеиваясь, тычем друг друга под бока. На подоконнике повисла наша челядь: Мишутка, Аришка и даже голопузый Юрка вылез и таращит глаза на нас сквозь туманное стекло.

Тетка ушла — и мы в избе полные хозяева-большаки. Санька достает из укромного уголка ножик, вы-

точенный из старой ножовки, я беру городскую перочинку — наступает сладостный момент, награда за озноб, который колотит нас даже здесь, в чистой, пропахшей печеным хлебом и укропом избе.

— Балашка, балашка,— тянет голопузый Юрка, и мы, снисходя к его малолетству, начинаем вырезать первого барашка.

Ядреную репину надо положить в ладонь, взять нож и, срезав круг, завить кожуру тонкой спиралью. Спираль эта ни разу не должна поломаться, а должна снова сложиться на столе неким подобием репы. Из-под лезвия ножа сверкает желтая, как засахарившийся мед, мякоть репы. Землей, полевой свежестью и еще чем-то таким острым, что и передать трудно, пахнет теперь в избе. Постепенно вырезаются крутые рога, спинка, даже маленький хвостик — баран ставится перед самым Юркиным носом.

В избе слышно только напряженное шмыганье носами да однообразное гудение мух у загнетки. В тепле нас с Санькой разморило, глаза слипаются от усталости, но мы не можем остановиться; челядь заворожена превращением репы, которую тетка скармливает корове, во что-то совершенно чудесное, даже необыкновенное. Стол завален желтой кожурой — стадо растет на глазах. Есть в нем крохотные барашки, есть однорогие бараны-неудачники и веселые бараны-зайцы. Иные тут же съедаются, иные берегутся для игры.

Теперь не нужно протирать запотевшие стекла и с тоской смотреть, как отряхиваются куры под соседским крыльцом, как рябит лужу порывами ветра, как перебегает улицу, накрывшись плащом с головой, базниковская Верка. Теперь можно ехать в город, торговать на базаре, меняться друг с другом, спорить из-за вываленного в пыли, замусоленного барана, чтобы в конце концов потерять его где-то в подпечке и уснуть в тихих дождливых сумерках вповалку здесь же, на широких лавках избы. А утром проснуться, выскочить на крыльцо и долго и счастливо жмуриться от неправдоподобно горячего деревенского солнца.

* * *

Я поднялся на шестой этаж, хлопнул дверью лифта и вошел в квартиру. Поставил на табурет хозяйствен-

ную сумку, бока которой распирала рыночная снедь, позвал из соседней комнаты сына.

— Смотри, что я тебе принес.— Малыш выжидательно молчал.—Это же репа!..

Поверх пакетов с картофелем и луком лежало полдесятка сморщенных, желтоватых репок. Сын вежливо повертел одну из них в руках и положил обратно.

— Хочешь, я тебе барана сделаю?— все еще питая надежду заинтересовать его, спросил я...

На какое-то мгновение, когда я срезал, вернее, кромсал кожуру, в глазах сына мелькнуло любопытство. Но вот сухая, как дерево, репа очищена, выструган баранчик. Нет, не баранчик, а нечто квадратное, малосъедобное было поставлено на стол... Мне самому стала смешна моя затея: ни с каких станций не уходят поезда в страну нашего детства. Я горестно сгреб баранчика вместе с очистками, завернул в газету, хлопнул крышкой мусоропровода. Сын ушел к себе.

Медленно покуривая сигарету, я долго глядел в широкое окно кухни на коробки строящихся домов, уходящих к самому горизонту. Потом пошел к сыну. Перед ним лежала раскрытая коробка немецкого «Конструктора». Неумелыми, неуверенными пальчиками он пытался свинтить передвижной строительный кран. Гайки и винтики выскальзывали из рук, сын сердито сопел, но не отступал от задуманного. Холодно поблескивали перед ним металлические планки, угольники, спирали, блоки «Конструктора». Но в глазах сына я увидел те жадные огоньки нетерпения и любопытства, которые так тщетно мечтал увидеть вначале.

«ЛАНЧИК»

— Идем в Сады? — спросил меня тезка, парень лет шестнадцати, надевая праздничную ковбойку и доставая гармонь.

Садами на Сяме зовут бывшую поповскую усадьбу, где в бывшем же поповском доме находился сельский клуб. Вообще-то садов этих и в помине нет, они померзли в сороковом году да так и не отродились, но сохранилась в садах задичавшая черемуховая аллея, кольцом окружавшая пруд. Там-то и собиралось ежевечернее гулянье, там можно было повстречать знакомых девчонок, попугать их из зарослей, а то и подраться из-за дроли с излишне настойчивым ухажером. Сады располагались поодаль от деревень — без родительского надзора было вольготнее молодяжке, как зовут в деревнях подростков. Известное дело, чуть завечереет, вылезут старухи на завалинки и заладят: «А мой-то Ваня, а ваш-то Саня...»

До Садов надо было идти километров пять, но желание увидеть деревенское гулянье в том давнем послевоенном году было настолько велико, что я согласился. Когда мы пришли, Сады были уже пусты. Возле клуба тарахтел движок — вот-вот должно было начаться кино. Мы стали протискиваться в тесные сенцы, мой тезка моментально потерялся в толпе, и я был вынужден без него смотреть какой-то трофейный фильм еще довоенной давности. От старости лента была не черно-белой, а почти прозрачной; она беспрерывно рвалась, и тогда киномеханик зажигал переноску, ребята гуртом валили в сенцы покурить, а девчонки шушукались, окликали подружек, беспокойно вертелись, ждали, когда окончится эта маета.

Наконец актриса в последний раз заломила руки, мелькнула какая-то тень — картина кончилась.

Одним моментом длинные скамьи были составлены в угол; девчонки побрызгали из чайника и подмели пол, принесли бак с водой и кружкой. Заиграла гармонь, начались танцы.

Сыграв для приличия какое-то подобие вальса, мой тезка — он сидел в углу с ухажерками — рванул свою, деревенскую. Бесконечной чередой сменялись пары; парни с низко опущенными чубами, с отрешенными, каменными лицами бухали в пол так, что покачивалась под потолком висячая лампа; их подружки, в красных и синих плащах, в белых платочках, ловко дробили, тонкими голосами выкрикивали частушки. Потом пары сходились, и парни, не меняя выражения лица, ожесточенно вертели подружек, а те взвизгивали, хватались за подол и быстро-быстро перебирали ногами. Все здесь было как на «взрослом» гулянье и даже танец этот, называемый «заинька», был известен на Сяме с незапамятных времен. В молодости «заиньку» играли наши прабабки, причем если было несколько гармонистов, то играли «заиньку» много часов подряд. Так было и в Садах из вечера в вечер.

Но вот тезка внезапно остановился, перебрал лады, подождал, пока отдышатся танцоры, и начал незнакомый мне мотив. «Что это?» — спросил я у соседки, забившейся в полумрак избы и ни разу не рискнувшей выйти на круг. «Ланчик»,— еле слышно прошелестела она.

Теперь парни встали у одной стены, девушки — у другой. Парни пошли им навстречу — тут поднялся такой топот, словно по избе пробежал табун коней. Затем девушки наступали на парней, а парни разбирали своих подружек и вертели их с еще большей силой, чем в «заиньке». Потом все начиналось сначала.

Поздней ночью я выбрался из избы. Высокое, поблескивающее звездами небо после недавней тесноты казалось еще выше, заросли черемухи в Садах — чернее, воздух — духовитее и прохладней. Постепенно в ушах смолкал однообразный хрип гармоники, гулкая дробь каблуков, выкрики частушек, и тишина, как бесшумная ночная птица, начала сужать и сужать над головой круги.

Я очнулся от внезапно ожившего динамика на высоком столбе. Сладкозвучный голос певца хватил за сердце. «И на тайное свиданье приходи скорей»,— выводил он, и странно было думать, что всего в сутках езды от Сямы есть огромные, залитые светом концертные залы, чинная публика, праздничный блеск реклам, толпы прохожих, глухой рокот большого города, не смолкающий, не затихающий ни на одно мгновение.

И пока я шел полевой дорогой, белевшей во тьме, я видел перед глазами озаренный прожекторами алый бархат занавеса. Вот он медленно поднимается, вот выходит, нет, семенит в тяжелом платье ведущая, вот она объявляет в микрофон:

— Старинный северный танец «Лансе».

Легкое движение пробегает по залу, словно ветерок налетел на осиновую рощу, налетел — и смолк. Три баяниста согласно берут величавый, спокойный наигрыш и так же величаво выплывают на сцену русские боярышни и танцоры в высоких сапогах и длинных рубахах. Спокойствием, сдержанностью веет от каждого их движения, согласием и долгой выучкой от неторопливых па. Хочется, чтобы праздничное, залитое то голубоватым, то оранжевым светом рампы танцевальное действо длилось и длилось, чтобы глаз радовался, видя эти костюмы, это мастерство балетмейстера, ставившего танец, это изысканное искусство всей танцевальной группы.

Из глуши северных лесов пришел «Ланчик» на столичную сцену, претерпев на долгом пути удивительные изменения. Но, думал я, надо, чтобы он вернулся к себе на родину, в те же сямские Сады, чтобы он был таким же, каким я увидел его на столичной сцене, и чтобы в таком виде он стал доступен моим землякам.

...Длинна ночная полевая дорога. Чего только не передумает одинокий прохожий, овеваемый то теплом нагретых за день хлебов, то холодом туманных низин.

Сильным гребком я разогнал лодку, и пока она скользила по темной озерной глади, наскоро выбрал лески, зацепил блесны за борта, поднял слань, вычерпал воду и только после этого разогнулся.

В глаза мне ударило белоснежное диво облаков. Они давно и неподвижно стояли над головой, но я не замечал их, однообразно раскачиваясь взад и вперед, делая по воде большие круги, и часто то притворно равнодушно, то напряженно поглядывал на сторожки. Лески безостановочно чертили воду, слегка подрагивая от вращения блесен; самодельные колокольцы на сторожках молчали, и мне не оставалось ничего другого, как грести и грести, постепенно погружаясь в какое-то мрачное оцепенение. Встав еще до восхода солнца, я, как говорится, маковой росинки в рот не брал, подхлестывая себя надеждой, что вот сейчас, вот в это самое мгновение сторожок судорожно задергается, леска запружинит и где-то там, метрах в тридцати позади лодки, озеро вспенит раскрытая пасть щуки. Тогда можно будет передохнуть и с тоской подумать о горбушке хлеба и головке лука, которые я впопыхах оставил в избе. Но удачи в тот день не было. Легкая зыбь сладко почмокивала о днище лодки, и кроме этого чуть слышного плеска ни единый звук не нарушал тишины июльского полдня.

Солнце накалило плечи и голову, но мне казалось, что в ушах звенит не ток крови, что это звоном звенит выпуклая гладь озера, звенят туго натянутые солнечные лучи, нимбом расходясь вокруг моей тени на воде. А сквозь этот звон и зной медленно, бесшумно на меня рушился белый водопад, снимая усталость, заставляя широко раскрывать

глаза, залитые потом. Красота-то, красота-то какая!

Я посмотрел против солнца и увидел силуэты рыбачьих лодок. Взмахи длинных весел придавали им удивительное сходство с караваном птиц, которые вот так же неторопливо и тяжело взмахивают крыльями в долгом полете.

Откинувшись на переднюю скамейку, я сладко потянулся, и тут только мое внимание привлекла дымная полоса, протянувшаяся над тихим озером. Одинокая лодка оставляла за собой этот бурый, долго не тающий в летнем мареве след. «Чем черт не шутит»,— подумал я и нехотя взялся за весла. Непрестанно оглядываясь, увидел, как со скамейки встал человек и замахал мне рукой. Я навалился на весла, вода сильнее зажурчала под днищем, и чужая лодка стала расти прямо на глазах. Легкий толчок, и мы встали борт о борт. Сосед прикрутил уключины обрывком веревки и сказал, широко улыбаясь:

— А ты, парень, прямо к обеду поспел.

На носу его лодки возвышалось диковинное сооружение. На железном листе стояла печурка, короткая труба была отведена за борт, она сильно дымила. К печурке, раскалившейся до малинового жара, была прикручена большая эмалированная кастрюля, в которой побулькивало какое-то варево.

— Мне подумалось, уж не горит ли чего,— заметил я, отдышавшись.

— Угадал. Не горит, а пригорает. Супец пригорает,— пояснил человек, которого я никогда прежде не видел. Но он обращался ко мне так, словно мы были знакомы сто лет. От солнца, от ветра лицо его стало медно-красным, губы потрескались и слегка шелушились. На вид рыбаку было лет пятьдесят, а может, и меньше,— в деревнях люди выглядят значительно старше своих лет.

Порывшись под скамейкой, сосед достал две алюминиевые ложки, две миски, отрезал два здоровенных ломтя хлеба, открутил проволоку от кастрюли и стал наливать густое варево через край. Большие куски тушенки нехотя вываливались в миску. Лицо рыбака окуталось ароматным парком, он поднял брови, и тогда белые лучики морщин разбежались от глаз. Я сглотнул голодную слюну, глядя на его хозяйскую рачительность и неторопливость. Миска дымящейся похлебки, остро попахивающей лавровым листом, заправленной крупой

и большими картофелинами, была передана мне вместе с ложкой и хлебом. Ели в полном молчании. Только сейчас я понял, какое счастье подвалило мне: озерная вода, которую я пил с утра, тяжело булькала в животе, от папирос подташнивало и першило в горле. Я сразу же очистил миску, получил добавку, снова выскреб все до дна и лишь после этого помыл посуду, отдал ее хозяину и закурил.

Рыбак стал неторопливо вставлять весла в уключины. Я начал было рассыпаться в благодарностях.

— Пустое, парень. Сей добро на́ лес, и то пойдешь да на́йдешь,— сказал он на прощание.

Взмах, и еще взмах, и еще взмах весел,— лодка, напоминающая птицу, стала таять, исчезать в золотистых отблесках полдня.

Я направился в устье Ельмы, прикинув про себя, что лишь с темнотою попаду в дом.

В лад сильным и четким гребкам, в лад спокойному журчанию воды во мне звучала пословица, которой я никогда не слышал прежде. Сей добро на́ лес (передышка, глубокий вздох), и то пойдешь да на́йдешь (снова передышка, снова глубокий вздох).

Меня завораживала необычность ударений, музыка пословицы, ее отшлифованная в столетиях красота. Потом пришло другое — захватила красота мысли, вложенной в эти слова.

В самом деле, какой вселенской добротой надо было обладать тому русскому человеку, которому впервые довелось высказать эти слова. Он знал, северные чащобы — непролазны, как и в море, в них бесполезно искать отклик на твою доброту. И все-таки сей добро на лес, иди к людям с добросердечием,— тебе добром же воздастся за твое добро!

...Закат прокатил по озеру алую дорожку, она тянулась от кормы лодки до самого горизонта, до той невидимой черты, за которой давным-давно скрылась добрая душа — мужик-кубеноозер.

ПОЛЕТ В ГРОЗУ

Наш «борт» запаздывал с вылетом. Двигаясь вслед за тенью, я успел обсидеть обе скамейки перед невзрачным домиком аэропорта, выучить наизусть расписание местных авиалиний, изобрести и отвергнуть множество вариантов собственного вызволения из этой, как мне тогда казалось в сердцах, несусветной дыры, а самолета Белозерск — Вологда — хоть ты пропади! — не было и в помине. И только когда я твердо решил возвращаться в Дом колхозника, повернулось какое-то колесико в летном расписании, сработал какой-то механизм, и перед самым моим носом затрещал легонький ЯК.

Устроившись в кабине рядом с пилотом, я облегченно вздохнул: ожидание и неизвестность — две подружки-неразлучницы — оставались на летном поле. Пилот достал планшет, поправил ларингофон, включил зажигание. Под крылом дрогнуло полевое разнотравье: ЯК, мягко подпрыгнув, оторвался от земли и начал набирать высоту.

Голубая стена Белого озера в последний раз наползла на стекла кабины и разом схлынула, уступив место медлительным перелескам и полям. Солнце садилось. Вечерние тени перехлестнули лесные поляны, придали им какой-то непривычный, неестественный вид. Из-под тонкого слоя тумана проступали пашни; дороги влетали прямо в темную зыбь, надолго исчезали в ней, чтобы, вынырнув, снова петлять по округе.

Постепенно земля пошла плавными крупными волнами. Солнце опускалось в эти дымчатые волны. Оно казалось огромным красным глазом, бесстрастно взиравшим на валы земли, которые текли под крылом самолета.

И впервые подумалось мне, как, в сущности, равно-

душна природа и к своей бессмертной красоте, и к самому человеку. Перед туманным безбрежным океаном, раскинувшимся внизу, наш самолетик превратился в пылинку, слабо и немощно парящую в высоте. А ведь эта высота ничтожна перед неисчислимостью иных миров — перед Вселенной.

Я искоса посмотрел на пилота. Его рябоватое лицо было непримечательно: такие лица часто встречаются в северных деревнях. Кровь деревенских предков сказывалась в медлительных, но точных движениях пилота, в его манере держать штурвал. Возможно, в дни детства он так же крепко держал сошник плуга, а молодым парнем крутил баранку на вологодских проселках. Все возможно, потому что в его обличье было что-то до боли знакомое и, не найду другого слова, родное.

Наш видавший виды ЯК был для него привычен, как привычна его брату жнейка или его деду соха. И тут я понял, что не так уж незначителен и ничтожен человек перед пропастями Вселенной, если оратаи земли спокойно пашут облачные хляби. Как человек, далекий от техники, я с каким-то особым уважением, даже восторгом, отношусь к тем, кто по призванию или по профессии берет на себя ответственность за жизнь других, кому мы, пассажиры, доверчиво вверяем свои судьбы. На сколько времени — это неважно: мера ответственности водителя воздушного такси не меньше ответственности командира транссибирского лайнера. Ведь в воздухе не предугадаешь, что произойдет через минуту. Так было и теперь. Пилот, словно бы между прочим, кивнул вправо: то, что я увидел, поразило меня.

Половину небесного пространства закрывала громада грозовых туч. Над ней слабо поблескивали первые звезды, а подошва ее сливалась со свинцово-синими валами земли. В густом месиве ежеминутно вспыхивали кроваво-красные зарницы — так на фронте били орудия в ночи: две-три вспышки, перерыв, снова вспышки. Это сходство с залпами страшной мощи и захватило меня — на земле молнии видятся иначе, в них нет багровой ярости облаков.

Самолет стал проваливаться в воздушные ямы. И хотя мы давно должны были приземлиться на вологодском аэродроме, наш ЯК все тянул вдоль грозового материка, все огибал его по бесконечной, как мне думалось в полете, орбите.

...Ожидая со своими пожитками автобус, я видел, как пилот вышел из аэродромного домика с фибровым чемоданчиком, с каким ребята-спортсмены возвращаются с тренировки. Он не размахивал этим чемоданчиком, не насвистывал на ходу, не шагал вразвалку, а просто шел к автобусной остановке, как идет любой из нас, закончив рабочий день.

ТЕЛЕГРАММА

— Дядь Вась, а дядь Вась! — молоденькая почтальонша Нюрка во весь дух бежала к озеру. — Ты на сенокос, а, дядя Вася?

Василий Никитич хотел обернуться на ходу, но тяжелая станина подвесного мотора мешала ему. Он поджидал Нюрку, пригнув голову, словно захомутанная лошадь, и глядя прямо перед собой.

— Чего тебе?

Запыхавшаяся Нюрка не в силах была вымолвить ни слова и только трясла перед ним какой-то бумажкой.

— Ну, чего тебе? — поторопил ее Василий Никитич.

— Телеграмма Отшенкову. Может, думаю, что срочное, — заторопилась почтальонша. — А у них — как на грех, дома никого нет. Уж я в загороду бегала... Нигде бабки Василисы нет, а хозяйка-то, слышь, в городе...

— Давай, — коротко оборвал ее Василий Никитич и, по-прежнему глядя в землю, сунул бумажку в карман ватника.

Нюрка постояла на тропе, посмотрела, как грузно ступал Никитич, шаркая отворотами резиновых сапог, повернулась и медленно пошла обратно.

Потом еще раз обернулась. Лодка Никитича, покачиваясь на волнах, нехотя отдалялась от берега. Сам он размашисто дергал ремень завода. Нюрка успокоилась и вприпрыжку побежала к деревне.

Мотор взревел. Никитич, сбавив газ, еще потоптался на корме, потом уселся на заднюю скамейку и, выписав большую плавную дугу, направился в заозерье.

Время от времени левой рукой он нажимал на резиновый шланг, подкачивая бензин, а правой крепко держал рукоятку мотора. Смотрел он поверх задранного носа лодки туда, где дымилась зелень кустарника. По обе стороны горизонта зелень тончала, синела, сходила

на нет и где-то у края земли повисала в воздухе слабым многоточьем. От буйства воды и солнца у приезжего человека, наверно, закружилась бы голова. Но Никитич с детства привык к озеру. Он не представлял себе, как можно жить без этого ослепительного сияния голубой воды, без этих неподвижных облаков, без этой знакомой и все-таки неизменно влекущей к себе кромки далекого берега.

Совсем другое волновало Никитича. Лодку подгонял попутный ветер, она плавно взбиралась на волну и так же плавно с нее соскальзывала. Этот попутный ветер и огорчал Никитича больше всего. Он знал: лодка обгоняет волну и, как машина, идущая на подъем, напрягается до пределов, дрожит от напряженья. Никитич боялся пережечь бензин: трудновато нынче стало с горючим.

Чтобы как-то отвлечься от досадных размышлений, Никитич стал думать о сенокосе, о мужиках, которые остались на пожне. Он вспомнил Отшенкова, многодетного, работящего соседа, его тихий нрав, его неуверенную улыбку. Улыбался Отшенков редко, скупо поблескивая металлической пластинкой. Свои зубы он потерял еще в блокаду под Ленинградом и до сих пор не мог привыкнуть к вставным. Никитичу стало жаль мужика: везет он ему невесть что в телеграмме. И дернул его черт остановиться на берегу. Да эта девка вопила так, что мертвый бы ее услышал.

Никитич полез за папиросами и вместе со спичками достал из кармана вдвое сложенную бумажку. Не раздумывая много, он развернул ее и прочитал: «Все пять — на пять. Оля».

— Тьфу ты, дьявол,— Никитич даже сплюнул в сердцах. Ведь надо же такими глупостями отнимать у людей время. Это из какой же дали отстукала Олька телеграмму? И что в ней такого? Белиберда какая-то.

Насупясь, Никитич запихнул телеграмму обратно в карман. Давно ли эта Ольга по двору бегала, сверкая ягодицами — платьишко продувное, застиранное, сама, как галчонок, востроносая, чернявая. А теперь фу-ты, ну-ты — «все пять на пять». Семка у него такой же: «Шлю пламенный сахалинский привет». Нет бы отцу прислал на пол-литра. Да и то подумать, без всякого перехода решил Никитич, добро хоть родителей не забывает, на каждый праздник поклон шлет. Да и Олюшка — девка ничего. Бедовая девка.

Прибойная волна сильно гнала лодку к берегу. Отмель была пустынна, только на камнях, выставивших из воды серые хребтины, сидели чайки.

Никитич сбавил газ,— лодка, прошуршав днищем по песку, ткнулась в берег. Пока Никитич выволакивал ее из озера, она вырывалась из рук, моталась из стороны в сторону, как необъезженный конь.

Оставляя на песке рубчатые следы, Никитич прошел вдоль отмели, перевалил за песчаный бугор, вышел на пожню. Под лучами закатного солнца нежно желтели ольховые кусты, истекали охрой стога сена.

И все вместе, и каждая травинка в отдельности были какими-то особенно зримыми, отчетливыми, такими, что хотелось рукой потрогать колючую, щетинистую стерню.

Недалеко за кустами стрекотала сенокосилка, слышался конский храп.

— Отшенков!— позвал соседа Никитич.— Поди сюда!

Тот, прикрикнув на лошадей, вышел из-за куста и направился к Никитичу, спотыкаясь о кочки, на ходу вытирая рубахой вспотевшее лицо.

— Телеграмма тебе. Нюрка велела передать.

Водитель сенокосилки бережно развернул помятый лист, прочитал телеграмму, вскинул глаза на Никитича, не веря прочитанному, снова пробежал короткую строчку. И вдруг его потное загорелое лицо беспомощно дрогнуло и стало расплываться в такой непроизвольной улыбке, что, глядя на него, и Никитич осклабился.

— Ну, чего там?

— Эх,— с досадой, уже оправившись, сказал Отшенков,— вот жалость-то, маленькую не прихватил.

— По какому еще поводу?

— Да от Олюшки телеграмма-то, от старшей дочери. Все пять экзаменов на пятерки сдала. В институт девка поступила,— помедлил и, будучи не в силах сдержать волнения, добавил:— В Москву...

Из-за песчаного бугра с криком поднялись чайки. Они взлетели стаей, но вот одна, сильно взмахнув крылами, метнулась в сторону, стала подниматься выше, выше над желтыми шапками ольхи, над пожней, над фигурками двух мужиков, стоящих друг перед другом, над озерной ширью, пока наконец не скрылась, не растаяла в синеве неба.

ВЕСТНИК ПОБЕДЫ

Резиновые сапоги зачавкали по илистому дну, забулькали мелководьем,— напарник оттолкнулся и стал грузно переваливаться через борт. «Тише ты»,— бросил ему Виктор хрипловатым от первой цигарки голосом. Он махал кормовой лопатой, выравнивая лодку и направляя ее к устью Ельмы. Было так тихо, что слышался звон капель, падающих с весла, и легкое журчание воды под днищем лодки. Только в прибрежном тумане разноголосо кричали петухи. По их внезапным вскрикам угадывались крайние дворы деревни, которая крепко спала, закутавшись в шубу ночного тумана. Этой же туманной мглой покрывался правый, низменный берег. Лодка плыла в парной, белой тишине, вернее, эта тишина нехотя наплывала пластами на лодку и сразу же смыкалась за кормой. Ватник отсырел. Скамейки и снасти покрыла серебристая испарина. Все глуше и глуше слышался победный петушиный крик, все сильнее охватывало рыбаков чувство близкого простора.

Лодку слегка качнуло на длинной, пологой волне; они выгреблись в озеро. Теперь надо было найти колышек, который отыскать в этой слоистой мгле не было никакой возможности. И все-таки не подвела интуиция.

Измочаленный кол вынырнул из тумана и поплыл возле борта. Они привязались к нему, закинули удочки, притаились в ожидании. Снова лодку качнуло на далекой, пришедшей откуда-то из заозерья волне, и Виктору подумалось, что не так ли иногда качнет волна прошлого, подымется из глубин «я» и захлестнет спокойную гладь души.

Привкус паленой бумаги во рту, сухая резь в глазах от бессонницы — все подымало, все гнало с полу-

забытого берега эту плавную, неостановимую в своем раскате волну. Виктор закрыл глаза.

И тут же перед глазами раскололся огненный смерч, яростно загудело пламя — сознание стало меркнуть в ослепительных кругах и разводьях.

«Ты что, задремал, что ли?» — сквозь пронзительный посвист пламени услышал он знакомый голос. Смысл слов доходил трудно: уши забило чем-то, и сам Виктор был укутан в белые простыни. Но слова уже зацепились за сознание, потянули его из глубокого омута забытья. Белая пелена стала сползать с глаз, рваться в клочьях, и в просветах свежо заблестела озерная вода.

Еще окончательно не очнувшись, Виктор тупо посмотрел прямо перед собою: удилище лежало у него на коленях, обожженная, искалеченная рука безвольно выпустила его.

— Клевало у тебя,— с упреком сказал напарник.— А ты спать!

Виктор сменил червяка, далеко закинул леску — поплавок звонко шлепнулся о воду. Дремота освежила Виктора, и теперь он заново, пристально и возбужденно, вглядывался во все, что его окружало. Близился рассвет. Правым виском он ощутил легкое дуновение. Словно белые флаги, взлетали вверх полотнища ночного тумана, и алый свет — предвестник близкого солнца — разливался вокруг свободно и неостановимо. Этот алый свет смешивался с акварельной синевой воды и неба, от него порозовела и лодка, и бледное, напряженное лицо напарника, согнувшегося на носу, и даже маленький белый поплавок источал розовое сияние.

Он все густел, этот алый свет, все напрягался и вдруг выбросил вверх вороха радужных перьев. Тогда-то над озером и показался край солнца. Непрерывно струясь, растекаясь волнами, пламенный гребень приковывал взгляд какой-то почти языческой силой.

Никогда — ни раньше, ни позже — не доводилось видеть Виктору такого рассвета.

Откуда-то из-за горизонта набегающим прибоем вытолкнуло рыбачью лодку.

— ...беда!— донеслось до удильщиков. Оба привстали, недоуменно переглянулись и напрягли слух до предела. По частым взмахам весел было заметно, как, не жалея себя, выгребал к ним человек, как он безостановочно оглядывался на них и снова принимался кричать.

Голос летел над гладью озера, летел и гаснул, пока наконец не удалось расслышать:

— Эй вы, чего вы сидите-то? Война окончилась! Победа-а-а!

Торжествующее «а-а-а!» катилось к ним вместе с лодкой, вместе с раскаленными лучами солнца, которое, едва оторвавшись от кромки воды, теперь круто взбиралось по небосводу. И так же круто летел ввысь, заполняя все небесное пространство, голос человека, кричавшего в радостном беспамятстве:

— Побе-да-а-а!

Не смежая век, Виктор пристально глядел на лодку, на пылающее светило, на выпуклую, голубоватую даль озера и не чувствовал, не видел, не понимал, что по щекам его текут слезы, что текут они вовсе не потому, что на майское утреннее солнце невозможно было смотреть не мигая, а потому что пришел, наконец-то наступил этот великий рассвет.

...Деревню качало. Окна, двери, калитки — настежь. Звон посуды, всхлипы гармошек, дробь каблуков, пронзительные выкрики песельниц раздавались то там, то тут и слышались даже из-за околицы. Возле резных наличников молодо алел кумач флагов, по садам и проулкам дымилась нежная зелень.

В полдень к пристани подошел рейсовый пароход. Матросы и пассажиры сгрудились на верхней палубе, вразнобой что-то кричали на берег, где беспорядочно галдела пестрая, праздничная толпа.

Виктор не помнил, как его вынесло на береговой откос. Он никого не ждал, но его подхватило, ввинтило в людской водоворот, а затем выбросило к пристанским сходням. Теперь, окруженный со всех сторон односельчанами, он праздно наблюдал, как вахтенные подтащили трап, как от гудящего роя пассажиров отделились и поплыли над головами мешки, чемоданы, какие-то корзины, обшитые рядном, как осторожно поднимались вверх по сходням приехавшие люди.

Внезапно он ощутил, что дыхание перехватило в груди: по трапу, среди баб со сбившимися платками, с раскрасневшимися от весенней жары лицами, поднималась Юля. Она щурилась от ослепительного солнца, от цветного многолюдья, растерянно улыбалась и, ви-

димо, выискивала глазами кого-то из своей родни. Виктор отчаянно заработал локтями, пробиваясь к перилам сходен. Юля теперь была совсем рядом,— ее взгляд по-прежнему рассеянно скользил по лицам земляков. На какое-то мгновение взгляд задержался на нем, скользнул дальше, снова вернулся,— и тогда в ее серых глазах сверкнул испуг, самый откровенный испуг молодой женщины, которая увидела что-то неожиданное, неприятное, оскорбляющее красоту этого сверкающего голубизной и солнцем майского полудня.

Встретившись глазами, они поняли все. Она — что он ничего не забыл и все оставил на будущее; он — что она тоже ничего не забыла, но прошлое отчеркнула непереступимой чертой.

Сзади сильно нажимали. Откуда-то из чрева толпы раздался сдавленный женский крик:

— Юленька!..

Виктора оторвало от сходен, отнесло в сторону: он так и не успел поздороваться с Юлей...

К вечеру подул сиверок. Заклубилась на улицах первая майская сушь, захлопали полотнища флагов, запузырились юбки девчонок и баб, пьяно топчущихся возле пристани.

От банного, слитного гула в избах, от выпитого самогона, ото всей этой яростной пестроты нарядов у Виктора зашлось сердце и разболелась голова. Он долго сидел на жердях поскотины, смотрел, покусывая сухую былинку, на сизые облака, залегшие обогреться у затухающего заката, на его тревожный малиновый блеск, а когда небосвод прокололи алмазные шилья звезд, ушел спать на сеновал.

Накрывшись тулупом и беспокойно ворочаясь с боку на бок, он иногда нащупывал в темноте смятую пачку папирос, закуривал и, по-прежнему не открывая глаз, лежал лицом вверх, перебирал в памяти все большие и малые события этого ослепительного дня. Откуда-то из тьмы наплывали на него Юлины глаза, крупнее, крупнее — и вот непроизвольный, безотчетный испуг, потом снова тьма, снова пестрое кружение лиц, деревьев, медленно развевающихся флагов.

Самое трудное, мучительно-горькое было принято им, но ведь это еще не все, ведь было у него сегодня

что-то такое, что не давало ему уснуть на сеновале. Что было сегодня? Что надо отбросить, а что запомнить? Запомнить?.. Где и когда родилось у него это ощущение?

Но, кроме алого струящегося света, больше ничего не вспоминалось. Только теперь этот алый свет, казалось, прожигал закрытые веки, слипшиеся от непрошеных слез, навеки отпечатывался на сетчатке глаз. «Победа-а!» — истошно вопил человек в рыжей, сбившейся набок старой ушанке. Он стоял в лодке, а за его спиной полыхал огненный шар. Он не думал о себе, этот случайный вестник победы, он радовался только одному, он хотел только одного, чтобы она навсегда была такой, как этот майский рассвет.

СТРАНА ПРОМЕТЕЕВ

Уже не первый раз золотым бабьим летом я возвращаюсь в Москву.

За окном — по-осеннему чистые поля и пашни, пустынные перроны северных станций. Поезд останавливается часто и стоит одну-две минуты. Вот и сейчас к вагону подошла одинокая древняя старуха. Бормоча что-то под нос, она сует проводнице, стоящей у вагона, сморщенной темной рукой такое же сморщенное, в темных крапинках яблоко. За водокачкой, за станционными пристройками вьется полевая дорога, за взгорком видны серые от дождей деревенские крыши, старые тополя, остов ветхой колоколенки.

Поезд медленно трогает, и косяки вагонного окна начинают отсчитывать телеграфные столбы. На невысокой насыпи поезд замедляет ход,— лес еще зелен, но уже припорошен желтоватой пыльцой. Ветки молодых березок теряются, истаивают в темной чащобе,— и золотистая дымка парит невесомо вдоль всего пути.

Когда я отвернулся от окна, напротив меня сидел новый пассажир. Он сидел на нижней полке, свесив обрубки ног в кожаной «обсоюзке». Помятый, затасканный пиджак, свалявшаяся рубашка — все обличало в нем горькое наследие военных лет. Его глаза были под стать выцветшему осеннему небу — такой же ясной прозрачности и синевы. Без вступлений, без переходов, как о само собой разумеющемся, он начал рассказывать:

— Баянист я. Работа у меня хорошая. Когда сижу в чайной,— а я в чайной в Грязовце играю,— дак ног не видать. Меня одна женщина даже танцевать приглашала. Мог я и вальс, и фокстрот, и нашу деревенскую мог. А теперь,— он посмотрел на «обсоюзку»,— теперь

нет, видно, все, видно, оттанцевал свое... А началось это с пупырышка, вот с такого пупыречка.— И он показал мне заскорузлый палец. На пальце я действительно увидел пятнышко с бархатистой серой каймой. — Это она и есть,— пояснил сосед спокойно,— болезнь-то моя...

Я содрогнулся от этого спокойствия, от этого чистого сияния голубых глаз. Человек, видимо, по-своему оценил мое молчание как поощрение к рассказу. И продолжал. Во всем его облике не было ни рисовки, ни болезненного упоения несчастьем; им двигало одно желание — развлечь незнакомого человека, скрасить ему часы долгого пути.

— Ни одного ранения за всю войну не получил. Может, потому — служил на флоте. Под Сталинградом — и то уцелел. Был я тогда в морской пехоте. Тельняшки нам под гимнастеркой для отличия разрешали носить. Радовались, как малые ребята... И думал ли я тогда, что без ног останусь? Врачи говорят — болезнь. Какая, где? — разве упомнишь... А война-то вон как отыгралась.

Человек достал рваную пачку «Норда», закурил.

— Ведь сколько лет прошло,— повторил он,— а она вон как отыгралась!

В этом восклицании было столько горестного недоумения, столько простой человеческой обиды, что сердце мое сжалось от сострадания, от полной беспомощности перед чужим горем.

— На фронте,— продолжил мой собеседник,— потаскал грузов-то, поскрипел спиной. А после войны?.. Колхоз подымать надо, семью подымать... Тут уж о себе не думал нисколько. А война-то уж кусками рвала тело. Я и на баяне в госпитале играть научился.

Человек как-то осторожно улыбнулся. Потом вскинул на меня ясные глаза.

— Баян у меня хороший... кирилловской работы баян. Вот приеду в госпиталь,— отнимут, видно, и руку напрочь. Продавать баян-то придется: ребята малые — шестеро их у меня,— для баловства инструмент дорогой...

Сосед вопросительно посмотрел на меня, словно бы желая доподлинно узнать, стоит ли ему продавать баян или, может, так все обойдется. Его глаза излучали такой нестерпимо синий блеск, что я поспешил отвести взгляд в сторону и только молчаливо покачал головой в ответ.

Сквозные перелески, припорошенные желтизной, плыли в вагонном окне. Иногда они размыкали свою золотую цепь, и тогда открывались взору пустынные поля и лесные дали. Не каждому дано оценить их скрытую красоту, их печальную величавость. Не каждому дано почувствовать за этим забытьем молчаливый вопрошающий порыв. Но тот, кто ощутил на своем лице их легкое дыхание, кто впитал глазами их неяркие тона, тот — я верю — никогда не забудет отчего порога.

О, родина моя — страна Прометеев!

ПЕРЫНЬ

В то бабье лето я любил вставать рано-рано, с первыми лучами солнца, когда оно едва показывалось из-за крыш новостроек, когда улицы были особенно просторны и тихи. Процокает по асфальту каблучками девушка — и снова дворы, проспекты, площади замрут в утренней дреме. Прозрачный колокол неба, голубого, холодноватого, усиливает любой звук: за квартал слышно, как, слипаясь шинами с мостовой, пройдет троллейбус, шаркнет метла дворника, загомонят городские воробьи.

А город оживает, поеживается со сна, светлеет с каждой минутой. У остановок выстраиваются первые очереди: троллейбусы и автобусы, едва замедляя ход, всасывают пассажиров, ходко бегут дальше. И опять под легкой тенью рябинок — безлюдье.

Листва на рябинках в рыжих накрапах. От этой ржавчины деревца кажутся запыленными, уставшими от летнего зноя,— тем ярче и приметнее горят кисти рябин, тем праздничнее вид домов-новостроек, самих улиц, уходивших вдаль.

Пожалуй, ни в одном другом городе я не встречал так много лесной рябины — и не только во дворах, на улицах, но и в городском парке, который полукольцом охватил кремль. В этом старом городском парке дорожки были утрамбованы битым кирпичом, обсажены молодыми рябинками, согнувшимися под тяжестью кистей. Как будто кровь, обильно пролитая в прошлом, прянула из глубин земли, заставила эти гроздья пламенеть среди обвялой листвы, пламенеть всюду, куда бы ни упал взгляд приезжего человека.

Таким этот город мне и помнится — рябиновым да еще ослепительно белым, поскольку рябины чаще всего

оттеняли белизну известных всему миру древних новгородских церквей. С куполами, нахлобученными на барабаны, храмы возникали всегда внезапно, потому что были неприметны из-за лоджий, перегородок, противопожарных лестниц, всего современного, геометрически правильного многоэтажья. Зато в ассимметрии церквушек, в их приземистости, в их многовековой прочности было что-то незаменимое для города в целом и для тебя самого; точно так же в обвялой зелени, в красноте рябинок было что-то такое, что соответствовало спокойному, чисто русскому облику этого города, всей его красоте.

Душевно я смирялся с тем, что новгородские храмы — ровесники кварталов-новостроек, мимо которых я проходил каждое утро: только коробки домов, вылизанные огнем, да груды щебня вместо церквей, да поросшие травой булыжные мостовые означали в дни войны улицы и проулки. Долгие годы памятники старины воссоздавались заново,— да нет, терпеливо, старательно собирались из кирпичных обломков, из крошева штукатурки, чтобы ныне на фоне свежеотбеленных стен так простодушно-весело пламенели осенние рябины.

Я любил в этом городе пройти через кремль, по-летописному детинец, любил смотреть на туристов, которые всегда обгоняли меня, потому что они всегда спешили все разом увидеть, оглядеть, зафотографировать, запомнить, а я никуда не спешил и ничего не старался запомнить — я принадлежал самому себе и находил удовольствие как раз в том, что не должен ничего запоминать, не должен догонять группу, переживать из-за отставшего товарища; я никому ничего не был должен и поэтому мог просто так — из отдаления — смотреть и на туристов, и на краснокирпичные стены детинца, и на памятник «Тысячелетие России».

Этот памятник своими очертаниями — особенно против утреннего солнца — всегда напоминал мне царь-колокол в Московском Кремле. Но стоило приблизиться к нему, обойти его со всех сторон, как передо мной вставал великий летописный свод, отлитый в бронзе гениальным Микешиным.

Золотые главы Софии Новгородской при этом оставались у меня за спиной... Но я мог в конце концов завернуть и туда, пройти мимо собора, незыблемо стояв-

шего десятое столетие, возведенного повелением сына Ярослава Мудрого, князя Владимира, мимо музыкальной школы-десятилетки, рассыпавшей из окон первые утренние гаммы,— все это можно было сделать, ведь я был предоставлен самому себе, но меня тянуло к Волхову, к гнутым, поигрывающим солнечными бликами волховским стремнинам.

Возле железного плашкоута, к которому приставали рейсовые «метеоры», уходившие на Ильмень-озеро и на Перынь, на берегу краснела кирпичная щебенка. В городе ее не видно, она ровно укатана катками, залита на площадях асфальтом, застроена новыми домами, а здесь она проступила сквозь песок. Эта кирпичная щебенка уходила влево — к высоченным опорам автодорожного моста через Волхов и вправо — к заливным лугам, которые начинались сразу же за крепостным рвом и тянулись вплоть до Юрьева монастыря. Почти в центре города — и копны сена, зеленый кустарник, остов полуразрушенной церквушки. Нет, невозможно было привыкнуть к Новгороду!..

Там, за рекой, вокруг Ярославова дворища, окаймленного по берегу белой стеной с арками,— все, что осталось от гостиных рядов после войны,— возникали дивные новгородские храмы: вон — Параскевы Пятницы, вон — Николо-Дворищинский собор, вон — Прокопия, а вон — Ивана на Опоках. И над всей этой россыпью церквей, домов, домиков, домишек, над бывшей вечевой площадью, на которой когда-то гремел вечевой колокол, над Воротной башней гостиного двора высилась ажурная телевизионная игла.

Я сошел с плашкоута. У самых ног Волхов поплескивал мелкой зыбью, но дальше — к середине — он был полноводен, былинен, как и подобает быть Волх-реке. Не таким ли осенним утром приходила сюда девушка-чернавушка с ведерком кленовым, с коромыслом кипарисовым? Или, расталкивая народ, тащили под руки мужика-смутьяна, чтобы сбросить его с великого моста, как повелевал новгородский обычай?..

Захотелось побыть наедине с этой былинной далью.

Оглянувшись, я заметил на приплеске орудийный ствол самоходки, торчавший из кирпичного щебня, словно бивень мамонта. Ствол был до блеска заеложен суконными штанами новгородских школьников...

«Ну, вот и встретились!» Почему-то хотелось, чтобы

самоходка была именно из нашей стрелковой дивизии, входившей в состав 59-й армии. А 59-я армия держала не вообще какой-то фронт, а Волховский и освобождала не вообще какой-то город, а Новгород Великий!.. Бронетанковые корпуса немцев три года не могли одолеть волховский рубеж в районе Новгорода. Сшибалась броня с бронею, взрывались боезапасы в горящих танках — черный дым падал на заснеженные поля, изрытые воронками, усеянные трупами вражеских солдат. 20 января 1944 года наши части перешли в наступление здесь в Новгороде: они вышибли немцев из укреплений по всему левобережью Волх-реки. И вот теперь, возле крепостной стены, былое вдруг одело берег в снежные заносы, Волхов — в лед, испятнало этот лед полыньями, залило кровью, проломило у берега самоходной пушкой, той самой, на стволе которой я сидел, уставившись в водные дали.

...По реке, задрав алюминиевые носы, пролетали моторные лодки рыбаков — они держали курс на Перынь, а может быть, даже на Ильмень-озеро. Я понял: пора идти на раскоп.

...Поскрипывает на роликах, повизгивает лента транспортера; она бежит и бежит по крутой стреле, бежит неостановимо, бесконечно, но иногда кажется, что черная земля, лежащая на ней, сама по себе течет вверх, к отвалу, чтобы там ссыпаться со стрелы непрерывной струей.

Дно раскопа, иначе сказать, обширного котлована — все в полусгнивших сваях, бревнах срубов, черных от земли плахах мостовых, нижних венцах колодцев. И повсюду на низких скамеечках сидят пожилые женщины-домохозяйки, старики в выгоревших кителях, студенты-практиканты в тренировочных брюках, кедах. Один угол раскопа заняли девочки-старшеклассницы. Все они — рабочие археологической экспедиции, ведущей изыскания на одной из самых древних, но и поныне одной из самых оживленных улиц Новгорода.

Пожилые женщины привычно, словно они пересаживают комнатные цветы, берут комья земли, тщательно разминают их в ладонях, рассматривают, что-то откладывают в сторону, в маленький ящик. Старики-пенсионеры перебирают комки неохотно, покуривают, поглядывают вверх. Старшеклассницы в резиновых перчат-

ках поднимают и крошат землю с неприязнью: им скучна эта работа, и если бы не родители — какой-никакой, а все-таки заработок,— они бы давно сбежали в кино или в сад, к Волхову. Но все-таки каждый комок этой влажной, иссиня-черной земли, прежде чем попасть в отвал, проходит через человеческие руки. Любой предмет — будь то кость или трубочка бересты — предварительно ощупан, осмотрен, отложен в ящик, потому что — кто знает! — может быть, именно эта трубочка окажется берестяной грамотой, а кость — искусно вырезанной палочкой для письма.

...Холодны комья земли, ох, как они холодны даже в сентябрьскую теплынь. Ведь недаром и в песне поется «мать сыра-земля» да еще «сыра-земля холодная»... Пожалуй, только здесь, на раскопе, до конца и поймешь вещую силу слов песни: столетиями веет от этого холода...

«...Первая грамота на бересте была найдена как раз под злополучной бровкой. Нашла ее спустя ровно две недели после начала раскопок — 26 июля 1951 года — молодая работница Нина Федоровна Акулова. Запомните это имя. Оно навсегда вошло в историю науки. Грамота была найдена прямо на мостовой XIV века в щели между двумя плахами.

Акулова передала свою находку Гайде Андреевне Авдусиной, начальнику своего участка, а та окликнула Артемия Владимировича Арциховского.

Оклик застал его стоящим на расчищаемой древней вымостке, которая вела с мостовой Холопьей улицы во двор усадьбы. И вот, стоя на этой вымостке, как на пьедестале, с поднятым пальцем, он в течение минуты на виду у всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни единого слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом срывающимся голосом выкрикнул: «Премия — сто рублей!» Наконец выдохнул: «Я этой находки ждал двадцать лет!»

Вероятно, тогда, 26 июля, он был единственным человеком, в какой-то степени предвидевшим будущее находки».

Дословный отрывок из книги «Я послал тебе бересту...» профессора В. И. Янина лучше всего, вероятно,

передает незабываемый момент научного открытия, которое вначале, в полной мере, было оценено лишь А. В. Арциховским, но которое позднее взволновало научную общественность всей страны, отозвалось далеко за ее пределами. А сколько таких сокровищ открылось с той поры — переписка с Корелой, отчеты управляющих усадьбами, жалобы крестьян, деловые депеши, любовные записки, детские рисунки, молитвы — тома и тома берестяных грамот, зазвучавших голосами жителей Новгорода. И это чудо случилось в наши дни!..

...Однообразно поскрипывал ленточный транспортер. Солнце из-за высоких крыш заглядывало в раскоп, в котором уже многое было мне привычно и знакомо. Я сидел на железобетонных плитах, сложенных на краю котлована, и ждал, что вот сейчас, в этот самый момент будет найдено берестяное письмо. Неодолимая сила не давала мне встать и уйти на розыски других материалов. Правда, временами думалось: а не лучше ли сходить в архитектурную мастерскую — там составляются проекты реставрации разрушенных храмов. Нет, не лучше! Берестяная грамота должна быть найдена на моих глазах — ведь их в Новгороде раскопали более четырехсот! Почему бы не быть еще одной? Почему бы мне не подержать в руках трубочку бересты, пахнувшую сырой землей, хранившую человеческое Слово?.. Или, может быть, рисунок новгородской ладьи?..

Но чуда не было! Вернее, оно произошло, но без меня. Вчера, к концу рабочего дня, когда я все-таки ушел с котлована, была найдена берестяная грамота, одна из первых за весь сезон. «И оженивося ту...» — начертал на бересте безвестный новгородец. Каково?! Он «оженивося» здесь, где по окончании полевых работ строители воздвигнут не что иное, как... как дворец бракосочетаний!.. Строители уже завезли железобетонные плиты, они ждут, чтобы приступить к закладке фундамента, чтобы через шестьсот лет вновь кто-то подумал и написал: «И женился я здесь, в Новгороде...»

Я сидел на бетонных плитах, сложенных строителями на краю раскопа, и размышлял обо всем этом.

Что могло стоять в продолжении письма? Да и что это вообще такое? Предуказание судьбы? Неизбежный и вечный круговорот событий? Историческая случайность?..

Солнце ушло за дома, и теперь в раскопе стало сумеречней, таинственней, глуше. Нижние венцы бревенчатых срубов, деревянная мостовая, склоненные над ящиками женщины, студенты-практиканты с белыми рейками — все потеряло отчетливость и резкость.

Долгое и, чудилось, бесцельное ожидание все-таки утомило меня. От нечего делать я стал изучать стенку раскопа, озаренную по верхней бровке закатным солнцем. Археологические пласты были отмечены остатками бревен, углем, пеплом. Они сливались, перекрещивались, спрессовывались в столетья... Первый... Второй... Десятый... Одиннадцатый...

Из рассказов археологов мне было известно, что новгородская «мать сыра-земля» обладает удивительной особенностью — во влажной среде, без доступа воздуха, она сохраняет на многие века дерево, ткани, бересту, кожу, рыбью чешую, орехи, даже клюкву, которая и после раскопок, пролежав в земле сотни лет, бывает съедобна.

Вот почему остатки всех мостовых, пристаней, зданий, выстроенных на берегах Волхова, лежат под современным Новгородом. Столетиями они подымали город над «материком», пока не стали его многовековым культурным слоем.

И чем упорнее я вглядывался в древние слои, тем фантастичнее было виденье, которое возникало передо мной: древние усадьбы, терема, частоколы прорастали еще более древними усадьбами и частоколами, но и в них прорастали еще и еще более древнейшие — и все они срастались, как срастаются друг с другом кристаллы гигантского горного хрусталя.

Мое «я» терялось в этом чудовищном лесу частоколов, в этом хаотическом нагромождении теремов-хоромин, в этих мостовых, висящих друг над другом, перекрывающих друг друга много раз. Город был многолик, но он был един, он жил тысячелетье, но и одно мгновенье тоже! Миг растягивается на столетья, оста-

ваясь мигом, город был реальностью, оставаясь мечтой.

...Я не слышал, как меня окликнули из котлована. Звала практикантка Рая, опекавшая меня на раскопе и вводившая «в науку», как она шутя говорила друзьям-студентам. Склонившись к водоотводной канавке так, что светлые волосы, рассыпавшись, закрыли лицо, девушка прополаскивала какой-то предмет. Медленно очнувшись от видений, — вот оно, первое берестяное письмо! — я сбежал по трапу в котлован и ступил на заляпанные грязью мостки, не зная, что иду на этот раз в страну собственного детства.

Девушка, отводя волосы тыльной стороной ладони, с любопытством рассматривала короткую палочку, заостренную с двух сторон. Из-за ее спины я заглянул на этот обломок, хранивший следы ножа. И Рая, не поняв назначения находки, передала ее мне. Подавив невольное разочарование,— опять не берестяное письмо! — я стал мучительно соображать — что бы это такое могло быть? Что бы это...

«Чижик!» — верчу палочку так и сяк и уже больше не сомневаюсь: передо мной самый что ни на есть настоящий «чижик».

— Это — «чиж»...— пояснил я, но тут же догадался, что мое пояснение ничего не дало Рае. Да и откуда ей, московской студентке, было знать о нашей любимой и самой азартной игре.

...За бревенчатым амбаром, на лужайке, вытоптанной босыми пятками всего деревенского проулка, я бью битой по «чижику» — и он, стремительно кувыркаясь, летит к амбару. С радостным визгом, с хохотом разбегается деревенская братия, кто куда может. А «чиж» ударяется о стенку амбара и отскакивает в сторону — тем труднее будет его найти водящему...

С кем это было? Со мной или с моим тезкой, который забросил «чижик», эту чудесную палочку, так далеко, что она пролетела пять с половиной веков и упала в этот вечереющий час ко мне в руки.

...Только теперь я по-настоящему разглядел находки, которыми ежечасно одаряла нас новгородская

«мать сыра-земля», но которые я, захваченный жаждой поиска грамот — одних грамот! — не замечал, вернее — не придавал им никакого значения. А ведь эти находки археологи откладывали в отдельный ящик и каждый вечер уносили на базу экспедиции — там, на базе, их подвергали тщательному осмотру.

Постороннему человеку, обладающему практической жилкой, содержимое ящика могло показаться довольно странным. В самом деле, достаточно было бы порыться за избами в наших северных деревнях, чтобы найти эти обрезки кожи, обломки горшков, это круглое донышко от жбана, этот черенок ложки — да мало ли чего выбрасывают хозяйки за частокол, где в горячей пыли роются куры и неистово орут петухи. В общем-то, раньше я и был на положении человека «со здравым смыслом». Но теперь с какой-то душевной отрадой угадывал предмет за предметом.

...Беру из ящика и разглядываю витой черенок ложки, которую как будто вчера вырезал сосед Ероха... Верчу в руках мутовку — такой мутовкой орудовала по утрам Евлаша... Бережно держу на ладони обломок деревянной рыбацкой иглы — мне самому довелось в детстве выстрогать такую иглу и даже ухитриться сплести маленький бредешок.

Подумать только! За сотни лет приемы и навыки северного крестьянина-ремесленника не претерпели заметных изменений. Нельзя было не удивляться верности однажды выбранной формы («как скажет мера и красота», говорили в народе),— с которой была вырезана ложка или сплетен хотя бы вот этот берестяной туесок: древний новгородец на его донышке начертал «Жданъ» — значит, это был Жданов туес, значит, грамотные соседи могли прочитать, кому принадлежал сей нехитрый сосуд. В великом множестве в ящиках, принесенных с раскопа, встречались и небольшие железные скобы, назначения которых я никак не мог понять. Но затем все выяснилось — и выяснилось не из книг, не из археологических исследований, а из самой жизни...

...Перынь — это береговой мыс, поросший древними соснами. Здесь когда-то было главное мольбище Перуна-громовика, одного из самых почитаемых богов иль-

менских славян. Здесь горели жертвенные огни, высились изваяния бога-громовика. Раньше к Перыню непременно приставали корабли, идущие по великому пути «из варяг в греки». Корабельщики приносили Перуну жертвы, получали от волхвов обереги и амулеты... Да и теперь на этом песчаном берегу можно встретить совхозных рыбаков, плывущих с Ильмень-озера. Ходят они на соймах — старинных рыболовецких судах, ходят в полный бейдвинд, то есть против ветра, и имеют выдвижной деревянный киль.

Как-то слоняясь по берегу Перыни и ожидая рейсовый «метеор», чтобы возвратиться в Новгород, я увидел такую сойму, которая шла под парусом удивительно легко и красиво. По своим очертаниям она не была похожа на прогулочную яхту. Она была похожа... похожа — на ладью!

Сойма ткнулась в песчаный берег рядом с пристанью, и я с особым интересом стал ее рассматривать. Полные носовые обводы, крутые борта, хорошая всхожесть на волну... И вдоль каждого паза на обшивке — металлические скобки... Точно такие же, какие были найдены на раскопе!.. Так вот, значит, для чего предназначались эти скобки! Они предохраняли лодку от рассыхания...

Озерные соймы строились из поколения в поколение, и также из поколения в поколение передавались секреты их парусности, их рулевого и килевого устройства. Таким образом древнеславянская ладья, но только под названием соймы, дошла до наших дней... Эти ладьи когда-то плавали по всему Обонежью, а под именем «кареводниц» и кочей попали на русский Север. И лишь в последние десятилетия стали уступать место стеклопластиковым катерам...

...Итак, я пришел в свое детство. На новгородском раскопе я стоял у начала родной земли Заволоцкой; отсюда пошла и есть северная Русь...

Но в то золотое бабье лето Новгород одарил меня еще одним поразительным открытием. И это открытие заставило меня по-иному понять и почувствовать изначальную Русь.

...Венцы истлевшего сруба, который был раскопан на следующий день, мало чем отличались от ему по-

добных. Правда, в срубе были найдены угли, обрезки кожи, «писало» — костяная палочка, которой в древнем Новгороде пользовались вместо гусиного пера: человек брал «писало», вдавливал буквы по бересте, смягченной жидкостью, возможно, рыбьим клеем, и получался оттиск этих букв. Но в общем-то сруб был малоинтересен, и его уже начали разбирать, когда нашли один довольно странный предмет.

Начальник участка — медлительный, не по возрасту грузный аспирант исторического факультета — взял этот предмет и по обычаю прополоскал его в водоотводной канавке.

Хотя я и сидел, как всегда, на бетонных плитах, у края раскопа, он ничего не сказал мне, вероятно, полагая: берестяные грамоты для меня важнее! А находка между тем была необыкновенной, и уж если я хотел заполучить «гвоздевой» материал, то в первую очередь должен был поинтересоваться ею. Ирония судьбы! Мне бы полюбопытствовать — чем озабочен начальник участка? Почему так тщательно он фотографирует этот сруб? Однако я не подошел к нему и не спросил его,— о чем по сей день сожалею.

Случайно оказавшись на базе, в дощатом бараке, разгороженном на тесные комнаты (в одной проходили производственные совещания, в другой был склад археологических находок, в третьей сидели художники-реставраторы), я узнал, что за предмет унес с собой начальник участка.

Это был Перунов оберег!

«А тот камень падает и стреляет сверху от грома,— можно прочитать в древнем рукописном «Травнике». — Он же громовая стрела называем... Того же камня демоны боятся, а носящий его не убоится напасти и беды и одолеет супротивников своих. Аще кто и стрелу громовую с собой носит, тот может всех одолеть силою своею, и против его никто не устоит, хотя бы сильнее его был».

В языческие времена поверье о «громовых стрелах» было распространено среди народностей Европы и Азии. Да и в средние века на Руси «громовые стрелы» считались талисманами, амулетами, или, по-древнерусски, оберегами, которые как будто обладали чудесной силой, оберегали человека от ударов грозы, от пожара, от меча, от «дурного глаза». Ведь эти стрелы

были посланы на землю самим Перуном, мольбище которого находилось в старом сосновом бору под Перынью.

Я попросил практикантку Раю принести мне «громовую стрелу», потому что все рассказанное разожгло мое любопытство.

...Был обеденный перерыв. В тесной комнатке, в которой художники-реставраторы делали прориси берестяных грамот, я остался совершенно один. Стол художников, заваленный листами бумаги, перьями, пособиями по археологии, томами «Материалов исследований», освещало жидкое сентябрьское солнце. На чистом листе ватмана передо мной лежала «громовая стрела». Серебряная оковка ее была изрыта, измята, исцарапана многотонной тяжестью земли, но, измятая, изрытая, исцарапанная, она посвечивала матовым светом. Разглядел я и серебряное ушко и православный крест на серебряной же оковке. И хотя в комнате было жарко, душно от застоявшегося табачного дыма, мне почудилось: от «громовой стрелы» тянет ледяным холодом, как от безмолвных земных глубин, в которых она была найдена несколько часов назад. В черной исторической мгле, что погребла безвестного новгородца, владельца Перунова оберега, и сам оберег, царил этот космический холод.

ПОСВЕЩАЮ КАРЕЛИИ

Есть строчки, обладающие одной примечательной особенностью: ты твердо знаешь, что пережил то же самое, что их автор, но вот почему-то не догадался об этом сказать вслух, не удосужился сесть и хотя бы одним словом закрепить мелькнувшую счастливую мысль. Так было и со мной, когда — хоть убей — не помню, где я вычитал:

В карельских лесах заплутала
Военная юность моя.

Моя юность тоже заплутала в карельских лесах. Правда, уже много лет прошло с той поры, когда молоденьким лейтенантиком, выпускником офицерского училища, с кирзовой кобурой, с кирзовой полевой сумкой я перемахнул через борт фронтовой полуторки и спрыгнул на пыльную обочину. Кругом громоздились груды валунов, замшелых, испятнанных осколками снарядов, прикрытых сквозной тенью сосенок. От них исходили волны тепла и света, поскольку солнце палило в этот полуденный час немилосердно, и еще волны какой-то обезволивающей лени, которые заставляли выискивать глазами прохладную, заросшую травой расщелину, где можно было бы выспаться на двое суток вперед... Но странно, именно в этой расслабляющей дреме летнего полдня мне впервые довелось расслышать отдаленный грохот передовой...

Каким все-таки наивным и простодушным был я в ту пору! Казалось, если подняться вверх, в гору, то я непременно увижу эту самую передовую. Легко перепрыгивая с одного валуна на другой, я стал подыматься по склону, хватаясь за тонкие стволы сосенок, иногда подтягиваясь на руках. Подъем оказался коротким и трудным. И все-таки я одолел его... Растрескавшиеся

глыбы бетона, изогнутые, как щупальца, прутья арматуры, завитые спиралью железные балки перекрытий и повсюду маслянисто поблескивающие россыпи гильз — вот что я нашел на этой безымянной высоте. Из ближайшей расщелины топорщилась какая-то шинельная рвань и шел сладковатый запах, который, даже не зная его, нельзя было спутать ни с чем,— трупный запах, запах смерти.

Все вокруг было искорежено, изломано чудовищной силой взрыва. И здесь же совсем случайно я наткнулся на длинную щебеночную насыпь, посредине которой кто-то второпях воткнул уже полуосыпавшуюся елку. Простое человеческое любопытство — а именно с ним я разглядывал взорванный дот — сменилось чем-то иным, чем-то похожим на холодок, которым опахнуло меня враз и иссушило рот еще неясной мне самому тревогой. Но когда я спустился вниз, закинул за плечо новенький вещмешок, по-фронтовому — сидор, я уже забыл обо всем пережитом и беспечно зашагал навстречу неумолчному, как неумолчен рокот тяжелых мельничных жерновов, грохоту передовой.

И вот снова — жаркой июльской порою — я тревожно вглядывался в каждый поворот пустынной лесной дороги. Мне казалось, что вот сейчас, отогнув от лица колючий лапник, выйдут ребята в маскхалатах, подымут руку и, когда машина остановится, скажут: «А ты, младший, вовремя прибыл. Будем делать проходы в минных полях: ночью поиск!» И вся моя сегодняшняя жизнь, все мои треволнения, обиды, беды, ночные телефонные звонки, гонка на такси из одной редакции в другую — все это окажется чем-то нереальным, ненастоящим, призрачным, как призрачно забытье перед рассветом, когда явь и сон непрерывно меняются, рвутся, словно старая кинолента, томят ожиданием чего-то неизбежного. Я знал, что люди в маскхалатах спешат: им надо еще поспеть к батальонной кухне, к обжигающей горло мерке спирта, к сухарям, пережаренным вместе с салом на огромной сковородке и заменяющим разведчикам обычный армейский приварок. Но дорога была пустынна, она по-прежнему бросалась под колеса, поскрипывала гравием, покачивала нас, как на волнах, на длинных спусках, и ребята не выходили ни у этого поворота, ни у следующего... Только время от времени на вершинах каме-

нистых высоток вставали строгие бетонные обелиски.

Сбегали сосновые рощи
Напиться озерной волны.
И думалось чище и проще
О судьбах любви и войны...

Да, вблизи этих серых обелисков думалось чище и проще о судьбах окаянной, по-человечески трудной любви, о жизни, о смерти, о войне, которую, как оказалось, не стереть в памяти никакими силами на свете.

Измотанный долгой дорогой, я иногда выходил из автомашины, бродил по старым местам, бродил там, где покосились колы проволочных заграждений, подернуло мхом и завалило хвоей глыбы взорванных дотов,

Где пели в потемках осколки,
Шарахались мины окрест,
Где выросли чизкие елки,
И каждая елка, как крест.

По склонам, по завалам камней виделись теперь эти елки, похожие на кресты, они кружились в глухой и полной тишине полуденного леса, они сопровождали меня до самой Кимас-озерской. Позднее я нашел строки, которые твердил про себя на дорогах Карелии, нашел в стихотворении «Тропинку трава заплетает» — их написал мой друг Михаил Дудин, участник финской кампании, а затем — обороны Гангута и обороны Ленинграда. Но тем летом на пустынной лесной дороге, ведущей в Кимас-озеро — конечный пункт моего маршрута, я этих стихов не помнил, однако почему-то думал, что стихи должны быть именно такими, и даже образ — «и каждая елка, как крест» должен быть в этих стихах прерываемым невольным вздохом сожаления и горькой печали.

Итак, я ехал в Кимас-озеро!.. Мне обязательно надо было попасть в этот отдаленный, почти у самой государственной границы, поселок. Среди многих других побуждений, которые владели мною тогда, не последнее место занимало желание наяву увидеть легенду моего детства. Ведь с Кимас-озером меня связывали воспоминания даже не юношеских — я не был там в дни войны,— но отроческих лет.

Среди кинокартин, выпущенных в предвоенные годы, теперь совсем забыта и не упоминается одна — «За Советскую Родину». Эта лента была сделана по повести Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера», и по-

вествовала она о легендарном зимнем походе отряда Антикайнена по вражеским тылам в 1922 году. Однако помнится, что на нас, учеников вологодской школы, эта картина произвела сильное впечатление. Наши воскресные лыжные прогулки приобрели теперь особый смысл: вооружившись самодельными пистолетами, мы гонялись друг за другом по заснеженным лесным перелескам с утра и до позднего вечера.

А через год колонны лыжных батальонов уже шли через Вологду на фронт, в Карелию, и в письме, присланном с «той войны незнаменитой» двоюродным братом Виктором, который и был-то немногим старше меня, я прочитал, как отряд лыжников-добровольцев шел через горящие Териоки, как трудно в лесах выискивать и настигать «кукушек», как надо беречь и понимать лыжи, не раз спасавшие ему жизнь.

Забегая вперед, скажу, что после этой поездки в Карелию я еще раз прочитал «Падение Кимас-озера» и, как говорится, заново пережил эту небольшую повесть, пережил все тяготы и лишения, выпавшие на долю отряда курсантов-интернационалистов. Под командованием Тойво Антикайнена они совершили трехсоткилометровый переход по январским лесам и озерам и, с ходу разгромив штаб белофиннов в Кимасозерской, способствовали утверждению Советской власти в Карелии. Конечно, в книге немало характерных для того времени публицистических и стилевых оборотов, но ее пафос — пафос беззаветной преданности революции — невозможно не оценить и по сей день. Книга эта в отличие от иных бравых сочинений, написанных по принципу «шапками закидаем», настойчиво учила терпению, мужеству и воле к победе.

Одним словом, «Падение Кимас-озера» — честная, хорошая книга писателя-современника.

И вот к вечеру, когда я был вконец измотан дорогой, наш мощный лесовоз подъехал к жердевому отводку,— примете всех северных поселений. На узком полуострове виднелись дома поселка. К воде сбегали крохотные баньки, сарайчики и огороды. На другой стороне залива белела крыша лесничества с четким аэропознавательным знаком «Т». Это и был поселок Кимас-озеро! Тем же вечером, обычным по своему ненастью для здешних мест, когда в жарко натопленной комнатушке было особенно домовито и хорошо,

мы разговорились с хозяйкой, Татьяной Егоровной, пожилой карелкой с красными от воды и стужи руками. Я люблю деревенские сумерки: тикают ходики на стене, полумгла медленно заливает комнату, и только изредка долетают с улицы глухие порывы ветра да скрежет жестяного листа на соседской крыше. Лицо Татьяны Егоровны смутно белело возле окна.

— Знаете ли вы что-нибудь об Антикайнене?— спросил я хозяйку.

— Как же, как же... И даже поговорить могу,— охотно отозвалась она с тем певучим смягчением согласных, которое трудно передать на бумаге, но которое сразу же отличает жителя Карелии. И Татьяна Егоровна рассказала мне, как девочкой она увидела однажды возникшие в метели фигуры солдат.

— Вон с того берега,— показала она рукой на крышу лесничества,— и слетели они на озеро, в белых балахонах, в шапках с красными звездами, стреляя на ходу, крича «ура». Тогда же у нас и школу сожгли, и в ней штаб белофиннов, и склады разные, и домов не помню сколько...

В рассказе моей хозяйки не было каких-то особенных подробностей и деталей — да и что могла запомнить маленькая девочка в то метельное утро, когда отряд Антикайнена ворвался в деревню. Но что пожилая карелка сама видела этого легендарного человека и его бойцов, что я находился в деревне, которая была для меня раньше чем-то бесконечно отдаленным во времени и пространстве, вроде клондайкских зимовок Джека Лондона,— все это взволновало меня неизъяснимо. Постепенно я осознал, что совершаю путешествие в страну, которая не могла быть для меня лишь обителью фронтовых воспоминаний, но по контрасту, по внутреннему несогласию с жестокой памятью войны, могла быть и стала страной Калевы, где все еще живет дух руноневцев, сказителей и боянов.

МАЛЬЧИК

Начальник партии был хмур и неразговорчив: третий раз за неделю приходилось менять табор, а значит, терять целый день. Высветленный солнцем, сонный от безветрия и августовской теплыни, этот день дразнил его бесцельным великолепием, обещал спокойный, тихий закат. А ведь здесь, на севере, как бывает: с утра — солнце, а к вечеру наползет такая — невозможно даже высказать — такая мразь, что, кажется, не будет ей ни конца, ни краю. Ветер подхватит изморось, захлещет по озерам, по мокрым бокам валунов, по стволам сосен. Вот тогда и поработай на лесных выделах. А сейчас, когда надо перебираться на новое место, откуда что и взялось — солнце сияет, валуны теплы, багульники пышны, а заозерные леса так заманчивы, что невозможно отвести глаз.

Чтобы не растравлять себя, начальник стал следить за погрузкой. Рабочие спешили. Они торопливо и небрежно собирали пожитки. Одна за другой, качнувшись, запузырив брезентом, рушились таборные палатки. Их сворачивали вместе с веревочными талями, с колышками, осклизшими от сырого мха, с коробками из-под гильз, набитыми во внутренние карманы. Спальные мешки спешно засовывали в чехлы и, перекидывая тюки из рук в руки, бросали на днище алюминиевой моторки. Прокопченные кастрюли, ведра, тарелки с грохотом складывали в нос рыбачьей лодки, которую таскали на буксире за моторкой. Постепенно табор пустел. Обнажился примятый, но еще зеленый настил под днищами палаток, осиротел костер, открылись стволы сосен,— на них висели ватники, полотенца и зеркальца для бритья.

Наконец-то лодки, доверху груженные скарбом и

людьми, тронулись по мелкой воде. Начальник безучастно сгорбился и уставился прямо перед собой. Он ни разу не оглянулся назад, хотя другие с каким-то щемящим чувством смотрели, как ширилась голубая полоска воды, как отдалялась и отдалялась от них сосна, поваленная в воду буреломом,— место недавнего приюта.

С дымком первой папиросы это чувство развеялось, растаяло в дреме августовского полдня. Оно мимолетом возникло как будто для того, чтобы сильнее оттенить жажду новизны и сладость дорожного ничегонеделанья, которое постепенно охватывало сидевших в лодке. Путь предстоял дальний, и рабочие устраивались поуютнее среди ведер, ящиков, мешков и прочего лагерного имущества.

— А Мальчика-то забыли?! — удивленно воскликнул самый молодой из рабочих.

Действительно, по берегу мелькало желтое пятно. Оно исчезало и возникало вновь, словно закатное солнце, которое временами врывается в окна железнодорожного вагона.

Сидевшие в рыбачьей лодке разом обернулись. Выскакивая на увалы, спрыгивая к воде, за ними бежал таборный пес. Несколько раз он забегал на отмелях в воду, но лодки уходили от него настойчиво и неуклонно, и желтое пятно еще долго мелькало в зеленовато-сизой мгле берега.

Пес был приблудшим. Вернее, парни-сезонники прихватили его где-то около Устья, втащили в кузов автомашины и привезли на озеро. Пес привязался к людям, охотно откликался на любую кличку и не выделял никого особенно из партии. Прозвали его, не мудрствуя лукаво, Мальчиком. Старые хозяева, судя по всему, собаку нещадно били: при резком движении пес пригибался к земле, втягивал голову между лапами и торопливо — задом-задом — уползал в болотные кочки. Его никто не баловал, никто не ласкал, но и никто не обижал. Жил он в таборе сам по себе.

Любимым занятием Мальчика было довольно-таки бесцельное рысканье по лесу: внезапно появлялся он на дальних выделках, вертелся под ногами, мешал рабочим, а потом надолго исчезал в чахлом мелколесье. Он принадлежал всем и никому в отдельности, как, впро-

чем, и многое из таборного имущества. И отношение к нему было таким же временным, как к палаткам, топорам, рулеткам, даже больше — ко всей этой кочевой жизни, которая здесь, в северных лесах, была одна, а где-то там, за озерами, болотами, реками, совсем другая.

В одном месте озеро образовало широкую горловину, и моторка, оторвавшись от правого берега, пошла наискосок к левому. Пес добежал до кромки воды, кинулся в нее с разбега, вернулся, выскочил на откос, потом опять сбежал к воде. Он не знал, куда повернет моторка. Но отчаянье побороло в нем нерешительность, и через миг острые уши уже торчали из воды. Бешено работая лапами, Мальчик выплывал на середину озера,— по его разумению так было вернее, так он мог дольше видеть лодки.

Поднялась легкая зыбь, и вскоре голова собаки пропала в голубовато-свинцовой дали.

Начальник, сгорбившись у руля, был безмолвен и безучастен ко всему происходящему. Никто не решился напомнить ему про пса, перекричать протяжное гудение мотора.

На рыбачьей лодке кто-то откинулся на мешки, закрыв глаза от солнца кепкой, кто-то закурил и все как будто забыли про торчащие из воды темные собачьи уши. Но по тому, как словно бы ненароком каждый оглядывался назад, было очевидно, что никто ничего не забыл: просто в перегруженной людьми и таборными пожитками лодке не знали, что делать.

— А ведь Мальчик-то выплыл!— обрадованно крикнул все тот же самый молодой.

— Где? Где?— все оживились, разом смахнули притворную дремоту.

Теперь уже не по правому, а по левому берегу замелькало желтое солнечное пятно. Оно постепенно приближалось, росло, но возле длинной отмели моторка внезапно развернулась и пошла наперерез волне к далекому заозерью. Все помрачнели, насупились и с тягостным чувством стали глядеть, как пес выскочил на отмель и неподвижно встал у воды. Моторка уходила в заозерье, уходила, чтобы никогда не возвращаться на старый табор.

Песчаная отмель готова была вот-вот исчезнуть совсем, когда с берега донесся протяжный вой. Он был

суров и требователен, этот вой, он не срывался на визг, но оглашал озеро воплем, и жутко и нестерпимо стыдно становилось людям. Кто мог подумать, что веселый, разбитной, трусоватый малый — таборный пес способен с такой силой тосковать и рваться к людям, которые не то чтобы ласкали или привечали его,— где уж там — хотя бы не били, не гнали от себя.

В успокоительном пении мотора, в глухих шлепках волн о борта лодки смолкли крики оставленного на отмели пса.

Снова по крутому откосу, соскальзывая и падая, люди таскали тюки и ящики. Снова весело трещал сухим валежником костер. Снова одна за другой вздымались верха палаток и звенели топоры от ударов по колышкам. Но самый молодой и кучерявый уже выгребался в озеро, часто взмахивая веслами и резко откидываясь к корме. Он отправлялся на старое пепелище.

И только к вечеру, когда верхушки сосен четко впечатались в багряное солнце, на озере послышался усталый, победный скрип его уключин.

ПОЮЩИЙ АВТОБУС

На станции Кочкома, в сотне метров от Беломоро-Балтийского канала, мне пришлось довольно долго ждать рейсовый автобус. Я кружил вокруг телеграфного столба, к которому было прибито расписание. Кружил, напоминая плотву, посаженную на кукан, злился и все-таки не решался отойти далеко в сторону: автобус мог прибыть с минуты на минуту, а у столба его поджидала толпа пассажиров. Наконец из-за поворота вынырнул запыленный ковчег местного значения и начался штурм задней дверцы.

По наивности я думал, что Кочкома — это почти край света и я буду ехать две сотни километров, наслаждаясь пейзажами Карелии, прославленными во всех путеводителях и туристических справочниках. Между тем все было точно так же, как у нас на Дмитровском шоссе в часы пик, только, может быть, побольше мешков, узлов и чемоданов да поменьше портфелей и сумок. Вот почему на остановках мне приходилось выходить, ожидая, когда из автобуса вырвутся распаренные пассажиры, и по возможности первым вклиниваться обратно.

Однако с каждым километром в салоне что-то утрясалось, что-то перемещалось, и в конце концов я получил возможность притулиться на одно сиденье с кондукторшей. Повернувшись к ней боком — делать нечего: теснота,— прильнул к окну.

Я впервые был на севере Карелии, и понятно, что хотел набраться свежих впечатлений, как говорят на заседаниях творческих секций. Но набраться этих самых впечатлений мне никак не удавалось: мимо текли редкие сосенки, малькали замшелые валуны, вздымались, пропадали горы камней, и снова струился сосняк

со сквозной, как бы дымчатой хвоей. У себя на родине я насмотрелся этих сосенок вдоволь. Но здесь почти все время за сосняком виднелась вода. Она стояла голубой стеной, и эта стена то подступала к обочине, то едва-едва просвечивала сквозь зеленый частокол. Глядя на эту манящую голубизну и прохладу, я решил припомнить, сколько же озер в Карелии, но вспомнить никак не мог, хотя и пытался приблизительно прикинуть — ну, тысяча, пять тысяч, в крайнем случае, десять тысяч. Лишь в Петрозаводске от знакомых узнал астрономическую цифру — сорок четыре тысячи — вот сколько, оказывается, больших и малых озер в Карелии!

Мелькание сосен, валунов, песчаных осыпей быстро утомило меня, и я перевел глаза в салон. Виднелись пестрые косынки пассажирок, их темные жакеты да коричневые шелковые плащи. Большинство женщин было в пожилом, если не сказать преклонном, возрасте. Сквозь однообразный рокот мотора, скрип сидений, позвякивание железок и стихающий детский плач ко мне не сразу пробился негромкий голос. В передних рядах кто-то пел. Пела женщина, пела для себя, про себя, чтобы скоротать скуку дальней дороги. Но голос ее все-таки заставил прислушаться, уловить мотив. И вдруг — совершенно неожиданно грянуло дружное трехголосие:

И снова у проходной
Встречает милый меня.

Я вздрогнул. Уж очень согласно, до удивления согласно, зазвучала песня. Теперь не одна, не две, не три пассажирки, а, казалось, весь автобус принял ее, как свою, дал силу и необычайную — до мурашек по спине — пронзительность. Слушая этот хор, я думал: какую неожиданную радость принесла мне встреча с Карелией. Неужели всюду так привольно, так многоголосо поют в карельских лесах? Что женщины карелки — я догадался по их мягкому акценту, по голубым, первозданной синевы глазам, как будто освеченным синевой большой озерной воды. В автобусе между тем стали слышаться заказы: «Вечерком на реке», «Сормовскую лирическую», «Костры горят далекие»...

— Нет, нет,— убеждала всех кондукторша,— пусть споют эту... Как ее? Да там еще есть слова... ну, как их? Ну, что кавалеров мне вполне хватает...

И женщины безотказно пели про зори, про костры, про кавалеров, которых, судя по всему, действительно вполне хватало нашей кондукторше. Вкладывали они в слова не заглушенное невзгодами былое, увы, для многих былое, но страстное желание взаимной любви и счастья. Они как бы вновь переживали молодость, выпевали ее очарование, ее радости и ее беды, они жили этими песнями, они отреклись от себя, дородных матерей семейств, старых домохозяек,— и разом помолодели, покрасивели, если можно так сказать.

Наконец парень, впрыгнувший на одной из остановок в автобус, догадался и крикнул: «Карельскую! Просим карельскую!» Женщины поотнекивались, мол, неинтересно будет, но когда все пассажиры стали их уговаривать, они сдались. Трудно, не зная языка, до конца постигнуть красоту и выразительность исполнения, но едва женщины смолкли — в автобусе на время установилась тишина. Сами женщины притихли, потрясенные неостановимым, как прибойная волна, раскатом мелодии.

Я не выдержал, перегнулся через спинку сиденья и спросил у ближайшей соседки: о чем эта песня?

— Эт-то о девушке, которая живет у озера и ждет своего дорогого,— сказала она.

— Ну, а вы кто?— решился я выяснить загадку, мучившую меня всю дорогу.

— А мы самодеятельный карельский хор из Реболы. Ездили на праздник торговли, в Сегежу. Да вот, видно, не напелись,— она улыбнулась, выждала такт и подхватила вместе с подружками громко и счастливо:

Люби, покуда любится,
Встречай, пока встречается.

...С наступающими сумерками автобус въехал в поселок лесорубов, в котором я должен был сделать остановку. И хотя двести километров остались позади, и хотя я уже сутки не спал в дороге, жаль было расставаться с этим районным ковчегом. Кажется, еще минута — и я бы тронулся вместе с ними на Реболу.

КИЖИ

Кижи ныне прославлены. Кижи знамениты. Кижский музей-заповедник называют «островом сокровищ», издают о нем фотоальбомы, серии цветных открыток, выпускают в продажу памятные сувениры. На дорогах Карелии то и дело встречаются рекламные щиты: «Кижи — уникальный архитектурный ансамбль: посетите Кижи».

Несколько раз в день от причалов Петрозаводска отходят вытянутые, как ракетоносцы, «метеоры», юркие речные трамвайчики — и сотни туристов высыпают на зеленую луговину перед оградой Кижского погоста. Здесь их встречают опытные экскурсоводы и, не дав опомниться, внушают им, что перед ними замечательный памятник деревянной архитектуры, образец народного зодчества, что высота главной Преображенской церкви — 37 метров, иначе говоря, высота двенадцатиэтажного дома, что в основе церкви лежит восьмигранный сруб с четырьмя прирубами, на сруб поставлены еще два восьмерика, что вытянутые полуцилиндры кровель — это бочки, а на бочках расположены 22 главы, крытые лемехом — тонкими осиновыми пластинами,— и многое другое внушают ученые экскурсоводы своей менее ученой экскурсантской пастве. Четко, деловито, как говорится, в стиле века.

Покаюсь, стиль этот я не то чтобы не принял совсем, нет, разумом я его принимал, но вот что касается души...

В общем, я не уехал из Кижей ни в этот день, ни на следующий. На противоположном берегу, перебравшись через пролив, я разыскал Алексея Ивановича Авдышева, чей «Кижский альбом» поразил меня еще в Москве. Жил Авдышев вместе с женой Вален-

тиной Михайловной — тоже художницей — в просторной деревенской избе и встретил меня по-деревенски радушно.

Естественно, мы разговорились о том, какое впечатление на меня произвели Кижи. Сам Алексей Иванович — старожил этих мест. Он знает здесь каждый камень, каждую отмель, рыбачит ранней весной и поздней осенью и пишет «картинки», как иронически говорит о своей работе. Теперь к Авдышеву пришел заслуженный успех. Но успех его линогравюр — лирики в черно-белых тонах — объясняется не только талантливостью и трудолюбием художника. Когда мы вышли на высокое деревянное крыльцо, то в глаза бросился плоский остров Кижи, дебаркадер, моторки, ныряющие в озерных волнах, а главное,— храм Преображения и соседние с ним колокольня и Покровская церковь, которые действительно составляют с храмом единый ансамбль.

Зная, как много художников пытается выразить резцом — на линолеуме и дереве, кистью — на холсте и бумаге нечто колдовское, нечто таинственное, присущее Кижскому погосту, я думал раньше, что Алексею Авдышеву просто повезло. Но здесь, присев вместе с хозяином дома на перила крыльца, понял, что за этим везением, по существу, стоит вся сознательная жизнь художника. Чтобы так «повезло», надо было не просто часто бывать в Заонежье, но и вырасти здесь, найти себя в зрелые годы, и не в чем-нибудь другом, а в том, что с детства было перед глазами, что ты всегда любил неосознанной любовью, к чему тянулся не проснувшимся еще для творческого деяния сердцем. Именно с детских лет влюбился в Заонежье Алексей Авдышев.

— Однако как вам Кижи?— повторил он вопрос.

Я попробовал отшутиться, но потом признался, что ожидал чего-то большего. Когда с палубы «метеора» впереди замаячил погост, мне он показался хрупким, вроде резной этажерки, нереальным, даже каким-то ненужным среди этой россыпи каменистых островов, синих вод, бездонного утреннего неба.

— Не так надо смотреть Кижи, как вы смотрели на них, не на ходу, не вполглаза,— с укором заметил мне Алексей Иванович.— Надо видеть их при восходе солнца и при закате, при вечернем тумане и дожде,



при тихом месяце и шторме. Попробуйте проплывите вокруг острова, поворачиваясь, как подсолнух на солнце, на Кижский погост,— и тогда вы, может быть,— он повторил,— может быть, поймете, что такое Кижи!

Я с сомнением покачал головой, и мы оба, по молчаливому согласию, больше не возвращались к этому разговору.

...Случилось так, что на утлой лодчонке, взятой на прокат на турбазе, я выехал порыбачить за деревню Ольхино. К юго-западу от меня возвышалась церковь Преображения. На плоском, слегка холмистом острове она невольно приковывала взгляд. И я стал машинально взглядывать на нее всякий раз, когда мою ветхую ладью разворачивало ветром к востоку. И чем чаще я взглядывал на нее, высившуюся на дальнем краю острова, тем мучительнее сознавал, что она все-таки близка мне. Напоминала она что-то знакомое, виденное множество раз и вместе с тем величавое, вечное. Погост не казался мне, как прежде, хрупким, ненужным среди этой глуби и шири, он вписывался в темнеющую воду и в блекло-желтоватый край небес, как вписывается... Нет, я не мог найти сравнения, хотя чувствовал, что оно где-то рядом, где-то вблизи. Как вписывается — нашел! — как вписывается шатровая ель, столетняя ель, краса и гордость северных лесов. Да, именно так, как шатровая ель, подымающая уступы ветвей в желтый закат. И народные умельцы, ставившие эту церковь, и мастер Нестор, который, по преданию, окончив строительство, бросил топор в Онего со словами: «Не было, нет и не будет больше такой!» — все они, безымянные плотники и мастеровые, выросли в заонежских лесах, внутренним чувством, интуицией истинных художников шли к этому сходству, догадывались о нем, может быть, добивались его, чтобы стройный, многоглавый деревянный собор своими контурами не разрушал очарования закатов и восходов, лесных дебрей и светлых вод, а дополнял бы красоту каменистой и все-таки щедрой матери-земли.

...Чтобы вернуться к себе домой, мне надо было или обогнуть оконечность острова, или, оставив на время лодку в кустах, пройти на турбазу пешком. Выдохнувшись с непривычки на веслах, я решил идти пешком.

Дорога шла по гребню острова, стесненная с двух сторон неровными рядами камней. Вправо и влево от меня сбегали к воде пологие склоны. Эти склоны тоже были разделены оградами из крупных и мелких валунов. Солнце тихо сгорало в густеющей мгле. Я не видел погоста, он остался у меня за спиной, но чувствовал его, потому что нес в себе радостное для меня открытие. Я понял, по-своему понял мастерство строителей Кижей, и это понимание сделало меня богаче, чем прежде. Каменная гряда неотступно бежала сбоку, и я смотрел на нее и размышлял теперь совсем о другом. Не доисторические ледники нагромоздили эти камни, нет, они были сложены человеческими руками!

Из поколения в поколение, из рода в род крестьяне острова Кижи, уходя с луговины или с клочка пашни, уносили с собой камни — не им самим, так их детям, внукам, правнукам этот камень мог поломать косу, повредить копыто коня, ушибить ногу. Они складывали их в груды, груды росли, ширились, пока наконец не образовали этот нескончаемый гранитный лабиринт. Эти гранитные лабиринты не попали ни в один путеводитель, ни в один фотоальбом. Но не будь их — вечных памятников крестьянскому труду и терпенью,— не было бы Кижей, не было бы многовековой лесной сказки, срубленной из дерева и явившей миру, как щедро талантлив русский человек.

Вот почему теперь я говорю вместе со всеми: Кижи — уникальный архитектурный ансамбль, посетите Кижи. Только, пожалуйста, прислушайтесь к совету художника Алексея Авдышева и научитесь смотреть не вполглаза, а во все глаза на этот остров сокровищ.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЕСНЯ ЛЮБВИ

Стояла середина апреля. На опушке снег лежал мокрыми серыми полотнищами. Лес казался каким-то заброшенным, захламленным: на осевших сугробах виднелась ржавая хвоя, чернели шишки, топорщились ветки, оброненные соснами в зимнюю пору. Трава еще не пошла в рост, мертвенно желтея на прогалинах. Обрывы пахли сырой глиной.

Лес, голый, вздрагивающий от озноба, роняющий крупные капли, был безлюден.

Мы остановились около ивового куста: соцветья на нем походили на мышат, у которых в воде намокла серая шерстка. Сходство было настолько очевидным, что ты сорвала ветку и стала отогревать ее в розовых ладошках.

— Посмотри, какие они маленькие,— сказала ты и вытянула губы.

А дорога с заледенелыми колеями уходила дальше в лес. Солнце не было видно сквозь туман, но, невидимое, оно прогревало воздух, заставляло все чаще посвистывать синичек. Вслед за синичками подали голос и другие пичуги. Лес оживал, стряхивал дремотное оцепенение, веселее свивал серебряные жгуты ручьев. С запахом талого снега, с горечью оттаявших осин, с треньканьем синичек шла в наш приозерный край весна.

Вдруг в темной лесной утробе протяжно проскрипела сосна. Проскрипела, как простонала, словно вспомнила декабрьские холода и бураны. Но даже скрип сосны не мог заглушить разгорающегося птичьего веселья. Откуда-то в ответ ему донесся такой же звонкий скрип. И снова проскрипела старая сосна. И снова ей ответила другая.

«Что бы это такое могло быть?» — подумали мы одновременно и решили пройти к певучему дереву. Весь лес был неподвижен. Оттепель унизала каждую ветку сверкающим бисером капель. Чуть коснешься — и капли, набегая одна на другую, сорвутся в сырой снег.

Вот мы и подошли к сосне. Бронзовый, с темными подпалинами ствол стремительно рвался в поднебесье. Где-то там, в вышине, сосна раскинула могучие ветви, чтобы плыть столетья, оставаясь вросшей в суровую землю, и все-таки вечно плыть куда-то под парусами зеленой хвои.

На одиноком сучке, обломанном бурей и заострившемся, словно копье, сидел маленький дятел. Невозможно было различить его окраску,— смахивал он, неподвижный и крохотный, на продолженье сучка. Птаха как будто прислушивалась к нарастающему гомону птиц. И вдруг выдала такую звонкую, такую частую дробь, что эта дробь далеко-далеко разнеслась по лесной округе. Нет, птица не пела: у нее не было голоса, и она понимала это, она была безмолвной. Певучий, насквозь пропитанный живицей сучок резонировал в лесу, словно старинная скрипка. И дробь была столь стремительной, что сливалась в одну протяжную трель, а может быть, и в один протяжный скрип, который мы услышали в отдалении. Птаха радовалась весне, она пела!

Как же должна быть изобретательна и щедра природа, если даже безголосой птице, вечному труженику леса, она подарила свою песню — деревянную песню любви!

БЕРЕГ ОЛЕШКИ

По озеру шли длинные пенные полосы. Ветер срывал гребни волн и пригоршнями брызг бросал их в лицо. Утираться было некогда: то правое, то левое весло судорожно хватало воздух, лодка сразу же становилась боком к набегающей волне, и тогда надо было снова выворачивать ее наискосок качающимся хлябям. Если лодку держать чуть наискосок перекату, она плавно соскальзывает с волны, а не рыскает из стороны в сторону; взлетающую вверх корму не захлестывает девятый вал, и нос лодки не черпает, как ковш, озерную брагу.

До берега было уже недалеко. Но очутиться в воде, а главное, утопить снасти — эта возможность никак не устраивала меня.

Подгоняемый вспененными валами, я наконец-то с силой врезался в песок, соскочил в воду и стал тянуть лодку посуху до тех пор, пока хватило сил. Песок был утрамбован прибоем, на нем даже не оставалось моих следов.

Разгоряченный безостановочной греблей, я не почувствовал вначале ни пронзительного ветра, ни холодного песка. Насколько хватало глаз, прибойная полоса была безлюдна, и моя лодка, лежащая на боку, придавала берегу вид еще более заброшенный и пустынный.

Так вот он каков, Шелин мыс!

По рассказам других рыбаков я знал, что сразу же за прибойными песками тянутся заросли тресты, потом идут мшарники, поросшие осиной и болотной березой, потом леса и леса — вплоть до Уфтюги, а может, и дальше.

Озеро гудело. Беляки испятнали даль. Линия горизонта крылась в туманной дымке. В такую непогодь

о возвращении домой и думать нечего: снесет на Спаскамень, а то и в самое Устье.

«Что ж, придется загорать»,— невесело решил я про себя и только теперь почувствовал приступы озноба, безостановочно сотрясавшие меня. Чтобы разогреться, я взбежал на песчаный бугор, спустился с него и поразился внезапной тишине. «Эх, наберу-ка плавника да разведу где-нибудь здесь, в тишине, костерок». Решено — сделано. Раздвигая руками высокую тресту, я выискивал место посуше, поуютнее. У старой осины, отчаянно трепещущей листьями, нагнулся за сухой валежиной, а когда выпрямился, то увидел два изумленных, круглых глаза, глядевших на меня в упор. На миг я остолбенел. Потом мелькнуло: «Да ведь это же олененок!» Он стоял так близко от меня, что казалось, можно дотронуться рукой до мягких, четко вырезанных ноздрей, до крутого бархатистого лба. Еще какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. Потом за олененком что-то тяжело и сильно качнулось, что-то прошуршало в тресте — и видение исчезло. Даже следы, когда я подошел поближе, засосала болотная ржа.

Возвращаясь обратно на пески, я нет-нет да и ухмылялся про себя, все удивленно мотал головой: ведь надо же такому случиться! Никогда прежде я не видел олененка на воле, а тут выскочили друг на друга, и стоило мне протянуть руку, как я мог погладить его по доверчиво-изумленной мордочке. Вот тебе и полное одиночество, вот тебе и северный Робинзон!

На песке между тем повсюду валялись старые, отполированные, словно кость, корни. Я натаскал их целый ворох и свалил в кучу. Рядом вбил кол для чайника, разжег костер, подстелил под себя старый ватник. Хо-ро-шо!

Озеро гудело глухо и непрерывно, как гудит, вероятно, под ветром один лишь сосновый бор. Надо было набираться терпения и готовиться к долгому ожиданию. Волна могла стихнуть, пожалуй, к вечеру, это в лучшем случае, а то и к завтрашнему утру.

Не торопясь, я поставил на костер чайник, выпил три кружки горячей воды, съел припасенный хлеб, перемотал дорожки. Потом, не зная, чем занять себя, полежал на спине, поднялся и стал выбирать корневище поувесистее и потолще.

Сидя у костра, я бездумно постукивал по песку

гладким, сухим комлем, потом попридержал его на весу и внимательно вгляделся. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло в этом изгибе; я повернул корень — все исчезло. Снова восстановил прежнее положение — теперь яснее проступило увиденное вначале. Батюшки, да ведь это же олешка! Ну да, вот и нежная шея, и гордо вскинутая голова, и чуткий вырез ноздрей. Нужно, пожалуй, только подрезать вот этот сучок да чуть-чуть подстрогать — и лучше не придумаешь: сама мать-природа изваяла из корня изумительный шедевр. Я поворачивал корень так и эдак, откладывал его в сторону, снова брал в руки, но образ, поразивший воображение, не покидал меня ни на минуту. Дальше медлить не было никаких сил. Охотничий нож в руке, корневище — на коленях. «Дерзай, новоявленный Роден»,— усмехнулся я и приступил к делу.

Увиденное внутренним взором отчетливее проступало наяву; теперь поворот головы был выразительнее, ощущались в нем любопытство и настороженность. Еще немного — и настороженность исчезла, осталось только любопытство и только доверие, даже больше — какая-то безотчетная ласковость чувствовалась в этой вытянутой вперед шее олененка. Больше ничего нельзя трогать, решил я про себя и, подхлестнутый волной безотчетной радости, выскочил на бугор.

От резкого встречного ветра у меня перехватило дыхание. Озеро почернело, и прежде едва видимый горизонт застилали тяжелые дождевые облака. Прибой шел теперь по ивовым кустам. Они низко пригибались к воде, волны с грохотом проходили их, выворачивали замшелые коряги и, откатываясь назад, тащили эти коряги за собой.

Тяжелая работа прибоя, казалось, длилась целую вечность, ярость его была бесцельна и неутолима.

Я вернулся к костерку, который едва теплился, и потянулся к корню. Олешка, маленький олененок, был теперь у меня в руках. Я уже думал о том, как поставлю его к себе на письменный стол, как придет сосед Василий Семенович и станет дивиться моей неожиданной находке. Нужно только вот здесь чуть-чуть убрать, и все будет в порядке.

Я нажал — от изваяния отскочила щепка. Все!.. Немыслимо нелепый корень я держал перед собою. Был он только кое-где обструган, но ничем больше не отли-

чался от вороха таких же палок, которые лежали на песке возле замирающего костерка. Не знаю, вероятно, никогда раньше я не испытывал приступа такой горькой досады на самого себя, как в это мгновение. Ведь надо же, ах ты, боже мой, ведь надо же такому случиться. И, кроме себя, винить некого.

...Когда поздним вечером я отчалил от Шелина мыса, в рваных прорехах облаков кое-где посвечивали первые звезды. Может быть, и правильно, что Шелин мыс назвали Шелиным мысом, думал я, безостановочно склоняясь над веслами, может быть, этот самый неведомый мне Шелин и достоин этого, но про себя я назову его по-другому: Берег Олешки!

Дальше выдерживать такое не было сил: пальцы затекли, побелели на суставах, но едва я оставлял скобу, как меня начинало стремительно валить на плечо Грачева или с силой прижимать к боковой дверце. Я упирался руками в клеенчатое сиденье, чтобы не скользить, не ерзать, хватался за скобу, торчавшую впереди меня, и все-таки не мог удержать приступов дурноты. Многочасовая качка измотала меня вконец, и я чувствовал, как подступает к горлу горький комок, как заходится сердце.

Грачев, широко и крепко охватив руль лесовоза, бегло поглядывал на меня. Время от времени он перекидывал потухшую папироску в угол рта, замедлял ход машины, как можно осторожнее переваливал через измочаленное бревно, но машина тут же проваливалась в торфяную жижу, обдавая широким веером брызг заросли иван-чая. Резкие толчки в спину начинались снова, я снова подтягивался к скобе или спешно отталкивался от нее, втискиваясь в спинку кабины.

За канавами, заполненными густо-коричневой водой, кренилось, качалось, вздрагивало скудное мелколесье. Изогнутые стволы сосенок обросли бецветным мхом. Колюче поблескивала на солнце листва берез. Подлесок переплели, запутали жадные до света травы. И только белоснежные кружевные зонтики дягилей высились над ними. Эти зонтики да розовые метелки иван-чая по краям топкой низины одни радовали глаз.

Лесовоз медленно взобрался на дробный настил, взвыл в последний раз мотором, встал.

Грачев снял тяжелые руки с баранки, привычно откинул дверцу и спрыгнул на дорогу.

— Передохнем, что ли? — предложил он, отходя к задним колесам и оставаясь там некоторое время. Я неловко вывалился из кабины и со сладким стоном, с хрустом в суставах потянулся. Капот полыхал ма-

шинным маслом и удушливой гарью бензина. Уши, как ватой, были забиты грохотом двигателя, но сквозь эти пробки уже просачивался тонкий металлический звон уставшего металла.

Между тем Грачев вскочил на подножку, порылся в кабине и, пока я оттаптывал занемевшие ноги, выбрал место посуше, кинул на него ватник, развязал и расстелил застиранный, с заплатками платок, разложил снедь.

— Начнем, благословясь,— то ли спрашивая, то ли предлагая, сказал он и жестом показал мне место возле себя.

Нехотя, как бы принужденно, я подошел к нему. Отломив большую часть наливушки — так на севере зовут ржаной пирог, залитый картошкой,— Грачев подал мне вместе с ней головку молодого лука, прозрачную, круто просоленную спинку леща. Пока мы ели, он как-то беспокойно поглядывал на меня из-под надвинутой на лоб засаленной кепки. Сломанный вдвое, сильно загнутый вниз козырек и впрямь делал его похожим на грача, носатую, быструю в поворотах, исполненную достоинства птицу. Наконец, не выдержав, он мотнул козырьком в сторону лежневки:

— Ведь как по зубьям бороны едешь...

— Неужели вы не привыкли?

— Какое там привык... Сколько ни езжу, никакого терпенья не хватает. Сосет, сосет вот здесь,— он показал тыльной стороной ладони на сердце.— Хоть бросай все — и впереди машины беги.— Грачев раздраженно сплюнул и добавил:— Только технику зря гробим.— И отвалился от ватника, ища в карманах пачку папирос, затертый коробок спичек.

От переспелой немоты леса, в которой попискивали какие-то пичуги, от обильных сытных харчей я испытывал прилив особой признательности к моему попутчику. Мне нравилось в нем все: и его сдержанность в речах, и быстрые — грачиные — повороты головы, и широченные штаны, заправленные в сапоги, и даже синяя куртка, облегавшая плечи, по-мастеровому ладно сидевшая на нем. Вероятно, он чувствовал это и лежал теперь на локтях, запрокинув назад голову. Кепку он снял: на лбу краснела полоска. Слежавшиеся, слипшиеся от пота волосы были тронуты заметной сединой. Возле подбритого виска, у мочки, уже залегли ранние

морщины, лицо было бледно от бензинной гари. Крепкими сухими губами Грачев мял папироску и в задумчивости смотрел в небо. Не зная, как продолжить разговор, я стал вспоминать странное слово, услышанное в леспромхозе, когда механик, конопатый мужичонка, вручал шоферу путевой лист.

— Небось опять кре́ку наведаешь?— спросил он, сладко прижмурив глазки цвета золотистой луковой кожуры. Шофер в ответ досадливо мотнул козырьком, словно клюнул низкорослого механика в темя. И все-таки, пряча документ в карман куртки, сизо блестевшей на локтях и на груди, испытующе посмотрел в мою сторону. Я беспечно покуривал, перекинув через плечо плащ болонью, приставив к ноге серый матерчатый чемоданчик с молнией. Мне не терпелось выехать из леспромхоза и никакого дела не было до их разговора. Теперь же резкое, скрежещущее словцо явно забавляло меня. И под этим неподвижным голубым небом, в эти минуты покоя и лени я надумал проверить догадку, мелькнувшую в гараже, испытать Грачева.

— Крека?— переспросил он, подымая голову, вскидывая на меня короткие ресницы.— Это шоферня промежду собой ухажерок называет.— Он помедлил в нерешительности.— Ну, тех, что живут на дороге.— Затем, припомнив утренний разговор, нахмурился, пристально посмотрел мне в глаза: — Пустое Суходеев болтал. Пустой он человек, вот и болтает по-пустому.— И стал с силой натягивать кепку на глаза, собираться в дорогу.

Любой новый поворот казался мне последним, а топкой, выгоревшей гати не было конца. Грачев устал. И чаще, чем обычно, закуривал: нетерпение его росло, он больше не осторожничал перед рытвинами, а брал их с ходу — нас подбрасывало так, что зубы у меня клацали и голова доставала верха кабины.

Закатное солнце слепило сквозь редколесье, пряталось в осиннике, вырывалось из недр его и опять огненно мельтешило справа от нас. И все же с каждым километром смелее бросались под радиатор наезженные колеи, ровнее бежал подлесок. Все выше становились кроны сосен, вернее признаки жилья: то поленница дров, то маслянисто-белая щепа берез, то обчесанный стожок сена. Когда разом оборвалась, отсту-

пила назад стена леса, когда за кустарником зазеленели поля и поскотины — я не сразу поверил, что наконец-то мы вырвались из тягостного плена дороги с ее рывками, с провалами в болото, с ожесточенной тряской.

Лесовоз остановился у отводка. Я неумело распутал проволоку, оттащил в сторону скрипучий отводок, пропустил машину. Мимо проскочила первая изба с заколоченными окнами, какой-то древний амбарчик — мы въехали в деревню.

В простодушном любопытстве к стеклам прильнули лица старух и ребятишек. Поэтому меня не удивило, когда в одном окне дольше других белело чье-то лицо. Но именно у этого дома — перед ним не было ограды — Грачев завернул во двор и въехал на просторную лужайку. Мотор заглох. Еще минуту шофер оставался неподвижным: ссутулившись, он обнимал баранку руками, как крыльями, отяжелевшими в долгом полете. Потом спросил, повернув козырек ко мне:

— Ну, земляк... Здесь будем ночевать или дальше поедем?— Глаза его были притенены кепкой. Голос безучастен.

— А сколько до Усолья?

— Километров сорок...

— И все лежневкой?

— Нет, лежневка за деревней кончается, но дорога худая — скрывать не стану.

Грачев сидел спокойно, опираясь руками на баранку, хотя в словах его я уловил что-то вроде затаенного нетерпенья.

— Пожалуй, на сегодня с меня довольно.

— Будь по-вашему. Как это в армии говорили: кончай ночевать — выходи строиться!

Грачев оживился, повеселел и, ловко нажав ручку дверцы, первым спрыгнул на землю.

— Принимай, хозяйка, гостей,— сказал он, заметно волнуясь, когда мы вошли в избу.

У стола виднелась женщина. Она не всплеснула руками, не заохала, а только качнулась вперед, как пламя свечи на притворе. Затем поздоровалась, протянув маленькую, сильную ладошку.

— Тоня,— увидев ремешок фотоаппарата, смешалась, поправилась:— Антонина Алексеевна.

Я беззастенчиво разглядывал ее. Сильно выгоревшая, когда-то голубая кофта женщины, темная юб-

ка, а главное, напряженный, хотя и приветливый взгляд — все было обыденнее и проще, чем мне представлялось раньше, все вроде бы даже разочаровало меня. Каркающее словцо, услышанное в леспромхозе, успело глубоко засесть в моем сознании, настраивало — вольно или невольно — на некий доверительный, а может быть, и нарочито-беспечный лад. Но первые минуты показали мне, что здесь не нужна ни моя подчеркнутая галантность, ни моя догадливость. Была женщина проста и в обличии, и во всем поведении. Круглый овал ее лица, мягкие, точнее — теплые края губ, встревоженные глаза выдавали характер отзывчивый и чуткий. Но больше всего меня поразила ее улыбка, скрыто блуждавшая в уголках доверчивых губ, возникающая каждый раз, когда к тому был хотя бы малейший повод.

Грачев внес чемоданчик. Ни ватника, ни застиранного, залатанного платка с остатками обеда с ним не было. Я сел на широкую лавку возле окна и только сейчас огляделся. Под локтем у меня стояла тумбочка и на ней — высокой стопкой книги, прикрытые кружевной салфеткой. Таким же белым, кружевным покрывалом была застелена кровать с горой подушек. На выскобленных бревенчатых стенах я не увидел ни любительских фотографий, вставленных под одно стекло, ни грамот, ни дипломов, ни вышитых полотенец, свисающих с настенного зеркала,— ничего, что составляет убранство северной избы. Только чистые бревенчатые стены да старая пожелтевшая открытка с видом на Петропавловскую крепость.

Грачев окликнул меня за стеной:

— Будете умываться?

Ключевая вода была холодна и прозрачна. Холщовое полотенце, которое он кинул мне через плечо, отливало голубизной мартовского снега. Кусок мыла, как янтарь, желтел на щербатом блюдечке. Мне, выросшему на севере, не в диковинку была опрятность деревенской избы, но здесь в домовитости, в чистоте чувствовалось нечто большее, какая-то одержимость, какое-то сожаление о другой, непохожей на весь местный уклад жизни, непохожей на все, к чему человек давно должен был привыкнуть и все-таки привыкнуть никак не мог.

Стол был накрыт: потрескивала картошка на сковороде, в глубокой тарелке был истолчен и перемешан

со сметаной зеленый лук. Солидно дышали ломти ржаного хлеба. Из кармана Грачева появилась заветная бутылка. Антонина Алексеевна, мягко и проворно снующая по избе, присела сбоку на табурет.

— Что же, со знакомством?— сказал Грачев, выдохнул и разом опрокинул стопку. Хозяйка тоже выпила свою, но без жеманства, без извинительного похихикивания, которое в здешних местах служит признаком хорошего тона. Она выпила, задохнулась, забавно затрясла ладошкой перед вытянутыми губами, а когда пришла в себя, то рассмеялась звонко и непринужденно. Я внутренне похолодел от этого знакомого, не позабытого с годами, так мучительно отрадного мне смеха! Ведь бывают же, бывают на свете такие совпадения?! И пока Грачев говорил с хозяйкой, пока он расспрашивал ее о разных хозяйственных делах, о председателе, который стал сильно зашибать, о каком-то Иване Дмитриевиче, который все обещался написать, да так и не написал, я с неослабевающим напряжением ждал, когда же она рассмеется снова, как в прошлый раз, непринужденно и легко...

Мы закурили. Табачный дым гнутыми, сизыми пластами потянулся в открытое окно. Уже совсем завечерело, и на улице раздался дробный стук овечьих копытцев, тяжелое мычанье, удары ботал. Хозяйка встала, легко выскользнула за дверь. Трава на лужайке, стены и крыши соседских изб, тополя с жестяной листвою — все горело вечерним медвяным светом. Внезапно Грачев оглянулся. Я тоже посмотрел в глубину комнаты: там, на пороге, заложив руки за спину, прижалась к пробою девочка-подросток. Она исподлобья посмотрела на нас и, не говоря ни слова, выскочила за дверь.

Грачев закурил новую папиросу и, долго разглядывая обгорелую спичку, пояснил мне нерадостно:

— Верунька, Тонина дочь. Дичится она меня — не любит,— и вздохнул глубоко, и замолчал снова.

Раскиснув в избе от сумеречной дремы, от монотонного тиканья ходиков, я вышел на крыльцо и с удовольствием подставил грудь сквозняку, который тянул с туманных низин. Наш лесовоз густо облепили деревенские ребятишки: по огромным колесам они взбирались на раму и, визжа и хохоча, спрыгивали на лужайку. За лесовозом торчал угол сараюшки, крытый потемневшей дранью. Возле нее валялись сосновые кряжи.

Колун, глубоко всаженный в один кряж, блестел треснувшим топорищем.

Душевное успокоение, которого я не испытывал давным-давно, овладело мною на ступеньках этого чужого дома, в деревне, названия которой я толком даже не запомнил. Ребятишки исчезли мгновенно, как стайка воробьят: их голоса и крики доносились теперь с крыльца соседней избы. Босоногая Верунька гонялась за телкой, которая то бросалась в чужие дворы, то останавливалась посреди улицы, опустив низко лобастую голову. И тогда Верунька начинала толкать ее в зад. «Ух ты, дьяволица!»— шипела она, пытаясь стронуть телку, поддавая коленом, упираясь руками в лоснящиеся гладкие бока.

В воздухе стояла та чуткая полумгла, когда кажется, что вот-вот должно случиться нечто неожиданное, странно-умиротворяющее, способное приглушить все эти нестройные звуки — и стук отбойного молоточка, и пофыркивание «Беларуси», и голоса женщин, перекликающихся в загороде, и всю эту сумятицу деревеньки, отходящей ко сну, но не имеющей сил расстаться с дневными волнениями и заботами. Оно, это ожидаемое, случилось!.. На крыши дворов, на темные шапки тополей, на деревенскую улицу пролилось таинственное сияние. И вскоре над сараюшкой взошла луна — огромная, охватывающая, как мне думалось, полнеба, тревожная в своей багряности, в своей огромности.

Задохнувшись от страстного желания продлить бесконечно это дивное диво природы, которое было перед моими глазами, но было где-то вне моего понимания, вне моего разума, уже привыкшего воспринимать все видимое сквозь напластования чужих знаний и чужих мнений, я ждал, что и во мне, в моем «я» все озарится этим трепетным багряным светом, что и во мне опадет, осядет все незначительное, пустяковое, ложное, недостойное меня и этой красоты, имя которой Вечность.

Очнулся я только тогда, когда Грачев тихонько тронул меня за плечо:

— Вам Тоня в избе постелила, а то ночью сыро-мокренно, застынете, не ровен час.

Говорил он дружелюбно и спокойно, впервые так спокойно за целый день знакомства. Я молча поднялся с крыльца и ушел в избу.

Возле лавки стояла раскладушка, смутно белевшая

простыней. Я разделся, сел на край кровати, со вздохом облегчения нырнул в холодноватую белизну. Перед закрытыми глазами встала дыбом и упала навзничь лежневка: меня закружило, понесло, бросило в глубокий омут сна.

Безбрежное море теперь окружало меня, и я не столько слышал, различал, сколько понимал, что волна, вкрадчиво шипя, захлестывает голову и плечи, что я вытягиваю вперед обессиленные руки и гребу, гребу, изредка различая на горизонте ослепительно яркую точку, которая внезапно приближается ко мне, вырастает в бешено крутящуюся воронку, втягивает меня, и все же в глубине этой воронки я вижу снова мерцающую точку, но, сбитый очередной волной, глотаю зеленоватую воду и не могу загасить ни этой точки перед глазами, ни внутреннего жара, полыхавшего во мне.

...Когда я проснулся, губы мои запеклись, ссохлись от жажды. Еще некоторое время я смотрел в темноту — она раскачивалась, колыхаясь, потом остановилась: потолочные швы проступили в ночном мраке. Ощупью я стал продвигаться к двери — в сенях находилась кадка с водой и большим эмалированным ковшом. Но в сенях, залитых высокой полной луной, мне пришлось остановиться: на порожке четко вырисовывались две тени.

— Не могу, не могу, не могу терпеть! Не могу! — женщина, захлебнувшись слезами, упала головой на колени Грачева. Теперь ее стоны звучали глухо, как сквозь воду: — Почитай, с самой весны не приезжал, а я все жди, жди... Всполохнусь до свету, гляну в окно: может, приехал, может, стоит уже... Вечером слушаю, не гудет ли за лесом, не едет ли... И за что мне такая мука? За что? Ну, что я такого сделала? — она заплакала навзрыд. Грачев положил ей руку на голову.

— Перестань, слышишь, перестань, — повторял он шепотом.

Боль, которая таилась в его беспомощных словах, пронзила меня. Замирая от мысли, что они могут заметить, что как-то нехорошо все это получилось, я не мог сдвинуться с места, не мог одолеть тягостного оцепенения.

— Ведь и сейчас, — продолжал Грачев, все более и более наклоняясь, целуя в затылок плачущую женщину, — ведь и сейчас-то я с ночной смены. Слышу, с журналистом надо ехать. Вот я и вызвался. Пошел в конто-

ру, мол, лучше меня никто дорогу не знает. Инженер согласился, ему — что, лишь бы ездку оправдать. А Суходеев, стерва, издеваться начал: к креке, дескать, опять направился. Я ему, как вернусь, ребра, суке, переломаю...

От сбивчивого шепота, от незначительных слов женщина вроде бы поутихла, поуспокоилась. Только глубокий, прерывистый вздох, как бывает у детей, когда их горько и жестоко обидят, изредка сотрясал ее.

— Крека я, крека и есть,— сказала она протрезвевшим жестким голосом, подымая с колен Грачева голову и отстраняясь от него.— Но ведь люблю-то я тебя, понимаешь, люблю. А день в разлуке, сам знаешь, с год кажется...

И припала к его плечу, и совсем тихо, грустно-грустно добавила:

— Ты бы снял майку-то. Я обстирну: смотри, вся пропотела.

Не в силах больше сдерживать озноба, колотившего меня, я осторожно закрыл дверь и незаметно юркнул в постель.

В избе с утра было пусто и сумрачно. Так же пусто и сумрачно было на деревенской улице, когда я вышел на крыльцо. Лесовоз стоял, как и вчера, возле сараюшки. Все было, как и вчера, только высокая поленница дров была сложена теперь у стенки. Грачев копался в моторе и, заметив меня, кивнул носатым козырьком в знак приветствия. Когда мы сдавали задом, на крыльцо выскочила Верунька, хозяйская дочка, заложила руки за спину, проводила нас недоверчивым долгим взглядом.

...Заструилось, понеслось полевое разнотравье. Свежий ветер качнул спелые клевера, погнал их волнами. Какая-то птица, взмыв над кабиной, боком, словно подстреленная, пошла над дорогой и осталась сзади в быстро тающем клубке пыли.

За жердевой оградой поскотины началось картофельное поле. Среди сочной ботвы, тянущейся рядами, замелькали белые платки колхозниц. Одна из них, стоявшая у дороги, разогнулась: я увидел внезапно побледневшее лицо, слабую улыбку и невольный, сразу погасший взмах руки. Грачев краем глаз проследил за ней, глубже натянул на лоб замасленную кепку и надбавил скорость.

Лесовоз снова въезжал в мелколесье.

ПЯТНИЦА ИЗ БРОСАЧИХИ

Неделю назад я буквально увязался за Виктором Корегиным, этим бородатым мазилой, отправившимся на этюды в низовья Сухоны. Этюды этюдами, но была у Корегина одна страсть, которая заставляла его довольно пренебрежительно отзываться о своих выставочных композициях, увлекаться новыми замыслами, оставлять их и не жалеть об этом. Вероятно, и самому себе Корегин не всегда признавался в истинном призвании, потому что призвание, в котором ты не утвердился смолоду, вернее, не нашел в нем самого себя, в зрелом возрасте может обернуться бедой: нет тяжелее беды, чем однажды осознанная мысль — не то ты делал до сих пор, не по тому руслу пошла жизнь. И счастлив тот, кто никогда не узнает об этом. А ты будешь носить свою беду в себе, скрывать ее от других, говорить о ней стеснительно или нарочито небрежно. И я понимал Виктора, который в дружеском застолье любил повторять:

Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.

...Виктор Корегин, как говорится, милостью божьей был художник-реставратор. Но понял он это поздно, когда собирательство древних икон, в чем-то похожее на поиски древнего клада, захватило его целиком. Свою страсть он таил от других — стеснялся ее, что ли,— и пребывал в том постоянном внутреннем напряжении, которое, по-моему, присуще всем цельным и сильным натурам.

Пока мы ехали поездом до Котласа, а затем «ракетой» до Великого Устюга, пока мы на перекладных до-

бирались до Устья-Федоровского, Виктор, разоткровенничавшись, немало порассказал мне о реставраторах старого и нового времени — о Гурьянове, вернувшем миру гениальную «Троицу» Рублева, о Чирикове, Юркине, Баранове, Брягине, Перцеве, о земляке-вологжанине Федышине. Корегин превосходно разбирался в искусствоведческих работах и, увлекшись, мог часами говорить о том, чем отличается русская школа иконографии от византийской живописи или новгородские «письма» от икон «северного письма». Но только когда мы добрались до Устья-Федоровского и поселились в избе Ивана Григорьевича Селезнева, сторожа нефтебазы, он открылся мне до конца.

В низовьях Сухоны, как и по всему Заволочью, с давних пор бытует великое множество преданий и легенд. К примеру, передают: Чудская горушка прозвана так потому, что зарыт в ней знатный чудинин и там по ночам «блазнит», а в Панском болоте утонули польские паны в Смутное время и там тоже ночами «блазнит», иначе — мерещится всякая нечисть.

Виктор Корегин с детства знал, что в Станке, заброшенном дворище, обитали в старину разбойники, хоронили там награбленное добро. Впрочем, он не только знал эту побывальщину, но находил на дворище — к радости и удивлению — позеленевшие медные монетки. Слышал он и предание о некой великоустюжской иконе Параскевы Пятницы. От кого слышал? Да ни от кого! Может, от деревенских старух, а может, от пимоката, бродившего по сухонским деревням.

Слышать-то слышал, да вряд ли вспомнил бы о ней спустя столько лет, если бы не легенда, которой эта икона и была знаменита... Говорили, что в старопрежние времена была она похищена ушкуйником-новгородцем из горящего Успенского собора. Да приплыла по воде обратно в Великий Устюг. Другие рассказывали другое. Когда Петр I соизволил отправиться в Архангельск-город, показали ему какую-то Параскеву: стояла она в Успенском соборе особливо, и были прибиты к ней рукояти, чтобы, значит, выносить ее из собора в торжественные дни. Его величество строго приказали рукоятки отнять — не приглянулась Петру икона и ее особли-

вость. Опасаясь большей царской немилости, начали прятать Параскеву, таить по другим церквам. Вот никто и не может теперь сказать, где находится великоустюжская святыня.

Виктор Корегин, конечно, понимал, что деятели из областного отделения союза художников, которые выдавали ему творческие командировки, на первый случай отказали бы ему в командировках, вздумай он рассказать об этом предании. Но — поди ж ты! — каждое лето, отправляясь в низовья Сухоны, в самые отдаленные лесные деревушки, он мечтал найти именно эту легендарную Параскеву, освободить ее от многовековых записей и вернуть родному городу Устюгу.

В Бросачиху — глухую деревеньку, состоявшую из нескольких дворов,— Корегин возмечтал попасть, едва прослышал в Устье-Федоровском, что имеется там икона незапамятно старинного письма. Да еще, добавляли иные, бабка Харлапаниха стара и может отдать икону запросто так, если покажешься ей человеком приветливым, или, по-нашему, важеватым.

— Чего другого, а важеватости хватит,— говорил Виктор, посмеиваясь и по-быстрому собираясь в дорогу.— Ежели одна важеватость нужна, так будет дело на деле. Не понял?!— удивлялся он, обращаясь ко мне.— Для таких, как ты, гаврил переиначу: в порядке, значит, будет наше дело, в ажуре!..

Лодка-«казанка» со всего ходу громыхнула днищем. Корегин резко сбавил обороты, потом довернул рукоять до полного: за кормой заклокотало, забурлило, но широкий нос моторки поворачивало течением к берегу. Заглушив мотор, Виктор перегнулся через корму.

— Чего там?

Вместо ответа он откинул мотор на себя так, что гребной винт выступил наружу,— при этом из охладителя потекла вода.

— Тю-ю-ю...— разочарованно протянул Виктор.— «Все возможное было мечтой».— И сел против меня.

— Чего, чего?..

— Не бывать нам в Бросачихе,— пояснил он.— Капец.

Меня разозлили эти иносказания:

— Да говори же ты дело!..

— А я дело и говорю. Капец, сиречь амба: шпонку сорвало!.. Понимаешь,— Виктор повторил раздельно,— шпон-ку, ту, которая крепит гребной винт на валу. Ага! Понял... До чего же ты понятливый мужик, ну, прямо...

Пока мы перебрасывались колкостями, лодку относило к тихой заводи, испещренной листьями кувшинок; листья цеплялись за лодку, поворачивались боком, пропадали под днищем и всплывали, мокрые, мясистые, покачивающие в темных промоинах солнечный овал.

Вскоре и это покачивание, шелестение прекратилось: лодка встала.

Ни я, ни Виктор не пошевелились, не переменили позы — переход от стремительно летящей за бортом воды, пения мотора, щегольских разворотов вдоль отмелей и нырков у камней был слишком внезапен, чтобы на какое-то время мы не отдались этой неподвижности, этой послеполуденной тишине.

Охваченный неодолимой слабостью, я плохо соображал, что делать дальше, а поэтому с детским упрямством, в котором, впрочем, скрывалось желание переложить на плечи напарника решение нашей судьбы, задавал вопрос за вопросом.

— А до Бросачихи далеко?

— Кто ее знает,— уклончиво ответил Виктор,— наверное, километров десять.

Ему тоже было лень говорить и думать. Он вытянул вперед ноги в выгоревших кедах.

— Ну и что?— не унимался я.

— Сказано тебе,— с усмешкой ответил Виктор.— «Невозможное было возможно, но,— подчеркнул он,— возможное было мечтой!»

— Надоел же ты мне вместе с Александром Александровичем, его мировой душой, Вечной Женственностью, Таинственной Незнакомкой...

— А ты мне с своими вопросами.

— Поговорили!— подытожил я, как всегда, первым идя на примирение.

Великое дело — прощать ближним слабости и привычки. А в дальней дороге без этой науки прощать вообще не обойтись.

Институт Корегин кончал после войны в Ленинграде, и Ленинград дал ему не только художественное об-

разование, но и научил скрашивать иронией свои неудачи, горести и обиды. В их студенческой среде говорить вот так насмешливо, отрывисто, резко служило признаком хорошего тона. Ленинграду же Виктор был обязан и любовью к Блоку, который в последние годы увлек его трепетным мистицизмом стихов о Прекрасной Даме. И хотя Корегин ни одного стихотворения Блока не помнил наизусть, в разговоре он неожиданно выпаливал блоковские строфы и строки. Не из-за этой ли неизменной приверженности к Блоку он в конце концов и согласился взять меня с собой? Не надеялся ли он найти во мне профессионального толкователя блоковских снов? Не знаю. Только привычка меня иное раздражала, иное забавляла, пока я не понял, что Блок в речах Корегина возникал интуитивно и был для него опять-таки своеобразной броней, под которой скрывалась и его восторженность, и его душевная беззащитность.

...Виктор встал, покачал бачок с бензином, отвинтил пробку и со вздохом завинтил.

Все наше предприятие — плыть по реке, на которой перекаты, по-местному переборы, следовали один за другим,— выглядело теперь по меньшей мере блажью. Взять у хозяина, долго мявшегося, не соглашавшегося с нами, алюминиевую лодку-«казанку», разбить мотор, ну, пусть не разбить, сорвать шпонку, не доехав до Бросачихи какой-то десяток километров,— это надо было уметь. А ведь с Бросачихой нас связывало столько надежд... Воистину «невозможное было возможно». Теперь опять приходилось на долгий срок откладывать то, что откладывать больше не было никаких сил.

— Давай-ка, паря,— берись за весла...— Виктор, прищурившись, смотрел против солнца.— Пристанем во-о-он к той круче.

— И что?

— Там увидим.

Нехотя я снял алюминиевые весла, лежавшие вдоль бортов, уперся ногами в рейку: лодка, такая легкая на ходу с мотором, оказалась неповоротливой и тяжелой, едва был сделан первый гребок. Я поддевал мокрые листья и змеевидные стебли на весла, рывками продвигал лодку вперед и особенно ясно понимал, что без

мотора нам не пройти не то что вверх к Бросачихе, но и не спуститься обратно к устью, к селу Федоровскому, откуда мы выехали на рассвете, преисполненные лучших надежд.

Виктор достал из-под сиденья промасленный сверток, в котором хранились запасные свечи, отвертки, гаечные ключи, разложил все это добро на коленях и теперь, задумчиво почесывая заросшую щеку, перебирал инструментарий... Когда общими усилиями мы вытащили лодку и сняли мотор, он раскрыл план действий. Первo-наперво, надо пробиться через лес на бетонку, ее проложили в здешних местах строители газопровода «Северное сияние». После — попутной машиной — до ближайшей деревни, где есть какая-никакая мастерская или, на худой конец, мужики, разбирающиеся в моторах. А такие нынче везде есть! Мне же пребывать при лодке, ловить рыбу и, поймав оную, варить из нее уху.

Закинув за плечо аэрофлотовскую сумку, Виктор пошел вдоль обрыва. Издали была видна его худоба. При черной бороде, которая делала загорелые пролысины на лбу еще заметнее, а щеки еще более впалыми, походил он на странника, случайно забредшего в наш век. Впрочем, и худоба, и сутулость, и прямая черная борода, которая в пору студенческой юности была модной шкиперской бородкой, и нос уточкой еще ничего бы не говорили о его натуре, если бы не серые, глубоко посаженные глаза да пальцы художника, как будто ласкающие предмет, к которому они прикасались.

...Из носового отсека «казанки» я извлек удилище спиннинга, коробку с блеснами и катушку. Попыхивая сигаретой, привычно свинтил спиннинг, помахал им, проверяя гибкость, потом долго перебирал блесны, пока не остановился на серебряном «байкальчике», исцарапанном щучьими зубами и приносившем мне прежде неизменную удачу. Продеть леску в кольцо карабинчика, завязать ее тугим узлом — было делом одной минуты. Я встал к корме, отвел удилище назад, сделал несильный бросок — блесна описала дугу и шлепнулась метрах в двадцати от меня.

Механический треск, который издает спиннинговая катушка, когда выбираешь лесу, шлепанье блесны то

в темную заводь, то в слепящую быстрину — вот все, что я мог слышать и воспринимать с того самого мгновенья, как почувствовал первый рывок рыбины. Остальное в этом мире перестало для меня существовать.

...Не мной сказано: долгая дорога располагает к откровенности, сближает людей. Так было и с нами. Томительные часы ожиданий — то рейсового катера, то автобуса, то самолета, опаздывающего из-за непогоды,— Виктор Корегин скрашивал рассказами и рассуждениями. Он раскрывал облик родного Заволочья с такой стороны, о существовании которой я не догадывался и не подозревал раньше. Правда, рассказывая о Севере, Виктор Корегин рассказывал и о себе, обнаруживал свою сущность, свое «верую», потому что ни в чем другом человек так полно и отчетливо не может проявиться, как в отношении к профессии, к истинному призванию.

— Понимаешь,— говорил он, подпирая спиной скамью на автовокзале и вытянув вперед ноги,— любовь к цветному узорочью у нас, северян, в крови. Вспомни Оранту в киевском Софийском соборе, исполненную греческими мастерами. По-другому ее называют «Нерушимая стена». Она массивна и монументальна. Да иначе и быть не могло — византийцы унаследовали художественные приемы античного мира. Для древнерусских живописцев, освободившихся от византийского влияния в четырнадцатом веке, наоборот, силуэт приобрел главное значение. Почему? Была в этом своя закономерность: библейский сюжет иконник изображал описью фигуры, ритмикой линий, цветных пятен, имеющих к тому же и символический смысл. И ему тем легче было обрести это чувство силуэтности, эту ритмику и гармонию цветов, что его родная мать или бабка цвётным узорочьем, по существу, выражала то же самое. Правда, узор сохранялся до тех пор, пока существовало праздничное полотенце или праздничная рубаха. Другое дело — древняя живопись. Иконник покрывал изображение олифой; он тем самым как бы консервировал краски на долгий срок. Но через шестьдесят — семьдесят лет олифа темнела, лики приобретали ту сумеречность, ту неразличимость, с которой у нас по традиции связано представление о древних иконах. Новое поко-

ление деревенских иконников покрывало потемневшие доски новым левкасом — меловым раствором, по которому поновляло изображение или писало новый сюжет. Сюжет накладывался на сюжет, краска — на краску. Ты представляешь, сколько записей могло быть за сотни лет?

Теперь возьмем художника-реставратора. Чтобы добраться до оригинала, до «материка», ему приходится снимать все слои олифы, все записи и делать это с величайшей осторожностью и старанием. Да и снимать-то не сразу, а на крохотных участках, каждый раз изучая следы старых чинок, записей, поновлений. Вот ты и скажи — разве реставратор чем-нибудь отличается от археолога? И тот и тот постепенно продвигаются в глубину веков, в неизвестную мглу столетий. Только реставратор сам себе и рабочий, и руководитель экспедиции, и ее научно-исследовательский центр...

Подобие улыбки пробежало по губам Корегина.

— Экономия зарплаты очевидная, а результат один: и мы, художники, хотим знать все о тех, кто мог бы сказать о себе такое: «Затопили нас волны времен, и была наша участь — мгновенна!..»

Как ни увлекали нас эти беседы о древнерусской живописи вообще, как ни были они для меня новы, в конце концов мы возвращались все к тому же — к легенде о великоустюжской Параскеве Пятнице, покровительнице торговли на Руси. На мой взгляд, в легенде было много таинственного и неясного.

— Ага,— охотно отзывался Корегин,— на то она и легенда, а не справка из управления архивов.

— Но ты-то в нее веришь?..

— Верю! А что? Тебе не нравится? Мистицизмом отдает?..

— Да нет, я не об этом... Меня волнует в данном случае психологический феномен...

— Хвати-ил,— протянул насмешливо Корегин. — Какие слова еще знаешь — сикамбр, органон, феномен...

Когда Виктор не хотел говорить всерьез, почти невозможно было пробить броню его иронических реплик. Но я не отступал и твердил про психологический феномен, предопределивший — по неведомым мне причинам — многовековое бытование легенды об образе Па-

раскевы, которая приплыла в Великий Устюг из-за тридевяти земель. Уж не позднейшая ли это подделка?

— Та-ак,— подытожил Виктор.— Но феномен ты все-таки признаешь...

Он разогнулся, вцепился тонкими пальцами в край скамьи и, обратившись ко мне, заговорил:

— Конечно, существует история, но существует и подделка под историю. Легенда о сухонской Параскеве — это наша история, а не подделка под нее. В прошлом веке — его ты имеешь в виду?— икону бы просто выкрали, ободрали оклад — и дело с концом. В легенде же она — военная добыча. Это — неоспоримая примета времени. Пойми меня, какое время я имею в виду... Время жесточайших междоусобиц, тем более страшных, что Русь изнемогала под игом татар. Время Мамаева побоища и позорной сдачи Москвы ордам Тохтамыша. Время Дмитрия Донского и застарелых распрей между князьями. Время расцвета христианства и заката язычества. Да что там говорить! Целая эпоха, кровавая, жестокая, таинственная, как и сама легенда, чудится мне в ненайденной Параскеве. Хотим ли мы узнать о ней больше того, что знаем?.. Это решать тебе.

— Хорошо!.. Ты убежден в художественной ценности Параскевы. Но почему скрываешь поиски от других?

Вопрос заставил Виктора задуматься.

— Слаб человек,— ответил он неохотно.— Боюсь показаться смешным. Жизненный опыт мне говорит: предубеждение — сила. Да, сила!— Виктор повторил с особым ударением.— Она гнет меня, она лишает меня свободы, она заставляет всегда чего-то бояться. Да только ли меня одного?— Виктор ладонью хлопнул по колену.— Вот тебе, пожалуйста, еще один психологический феномен, который доведется — да и доведется ли?— разгадать будущим искусствоведам. Это — предубеждение против своего искусства, своей истории, своего художественного бытия... Представь хоть бы на один миг: я разыскиваю святую Магдалину работы неизвестного умбрийского мастера середины четырнадцатого века, чудом оказавшуюся здесь. Да никому и в голову не придет подозревать меня в опасной блажи... Напротив, я повсюду встречал бы гул одобрений и похвал. А святая Параскева из Великого Устюга — это что-то такое...— Виктор подозрительно пожевал губами.— Нет,

знаете ли, это не тае. А что тае?! Ведь другой живописи в раннем средневековье не существовало. Вот и жгли доски возами, распыляли национальное богатство, как могли!..

Он сделал длинную, длинную паузу. Потом взорвался:

— Найти! Найти, пока не поздно, что-то такое, что встало бы в один ряд с «Троицей» Рублева, с ферапонтовской «Одигитрией» Дионисия. Найти. Доказать. Еще раз доказать. И еще раз доказать самому себе... Поразиться своей гениальности, возопить от восторга...

Серые, глубоко запавшие глаза Корегина были темны от возбуждения. Многодневный загар не мог скрыть бледности, покрывавшей лоб и щеки. Я молчал...

И почти весь вечер мы провели в молчании. Больше за всю поездку мы не возвращались к легенде о великоустюжской Параскеве.

Остатки ухи я выплеснул в костер, который зачадил, зашипел, заклубился белым парком. Виктор лежал невдалеке от костра, выставив углом бороду, устало закрыв глаза,— он приходил в себя после дальней дороги. Пока я надраивал эмалированное ведро, сносил в лодку рыболовные снасти и укладывал все это хозяйство в носовом отсеке, он не шевелился — лежал, сложив руки на груди, неприятно поражая меня своей неподвижностью, сложенными крест-накрест руками и выставленной вперед бородой. Я окликнул его.

— Сейчай, сейчас,— отозвался он сквозь дрему и поднялся, всполошно оглядываясь.

...Снова я часто бухал веслами в золотистую гладь реки, и снова Виктор рывком дергал привод мотора: от этих рывков лодка слабо раскачивалась, зыбь пробегала по реке до ракит и медвяно желтевших над ними косогоров.

Высокое небо испятнал разлохматившийся след самолета. Я пошел глазами по этому следу и неожиданно увидел белоснежную гряду облаков, набухавшую над дальним лесом.

...Мотор взревел, окутав Виктора бензинным дымом, за бортом прянула назад, понеслась вода. Я лег животом на теплый алюминиевый нос лодки, чтобы издали предупредить Виктора о подводном камне-валуне.

— Пересядь на скамейку,— крикнул он через некоторое время.— Добавим газку.

Мотор запел регистром выше, стремительно потекли по берегам наволоки — низкие прибрежные луга и заросли ольхи. Клубящаяся гора застыла над лесом — это наступил миг странной неопределенности в природе, когда близкая гроза может разойтись, рассеяться по безбрежному небосклону и внезапно осветить землю закатным солнцем. Казалось, что мы ушли от перевалки, вернее, завороженные скоростью, думали, что мы уходим от нее, но чем быстрее мы от нее уходили, тем быстрее река из темно-синей становилась глянцево-маслянистой, сизой, зловещей. Такой же зловещий вид приобретали окрестные луга и пашни... Только на севере может так внезапно опахнуть этой дикостью и жутью, этой предгрозовой тоской, таящейся в извечном противоборстве земли и неба.

Из перевалки хватил порыв ветра, реку заморщило, зарябило, погнало вперед лодки крупной зыбью: лодка запрыгала по кочкастому полю, разбрасывая в обе стороны каскады брызг. Поворот за поворотом мы проходили в густеющей мгле, а дождя не было, и отлегало от сердца, развеивалось предгрозовое томленье.

Сухой электрический треск пробежал в недоступной глазу вышине; был он слаб и нестрашен. В потемневшей бездне проросло ослепительно белое корневище, и тут же небо раскололось с таким оглушительным грохотом, что я вобрал голову в плечи.

Порывы ветра становились все чаще, «казанку» водило на высокой скорости, как водит в воздушных струях самолет; громовые разряды прокатывались по небосклону, а дождя все не было, хотя первая ледяная капля с размаху ударила мне в лицо. Вновь на мгновенье осветило и прибрежные кусты, и лодку, и напряженное лицо Виктора. Оглянувшись на вспышку, я увидел, как тысячи гвоздиков запрыгали по воде: впереди грянул ливень.

Виктор, закрывая грудь и плечи плащом, добавил оборотов.

— ...жии-ись,— донеслось до меня.

Треск грозового разряда, почти одновременного со вспышкой молнии, заглушил слова и надсадный вой мотора.

— Держись, говорю, паря,— прокричал снова Коре-

гин и жестом показал, чтобы я ложился на дно лодки: при вспышках молнии он отыскивал фарватер.

Закутавшись плащом с головой, скорчившись так, что колени упирались в грудь, я лежал между скамеек, а лодка раскачивалась в пространстве, сотканном из дождевых струй, и сходство с самолетной болтанкой было еще неотступней, острее.

Довольно долго мне пришлось так лежать под проливным дождем, вздрагивать от озноба, от прикосновений мокрой одежды к телу, но когда я встал на колени, впереди прорезались огоньки Устья...

Тысячи дождинок покалывают драночную крышу. От этого покалывания наметанное в угол сено кажется особенно хрустким и сухим, а поветь Ивана Григорьевича, погруженная в непроглядный мрак, особенно теплой, обжитой. Отдавшись этому теплу, этой обжитости старого деревенского дома, Виктор раздумывал об иконе из Бросачихи, досадовал, сожалел и снова надеялся на что-то, надеялся неопределенно, томительно-грустно. Он припоминал прежние находки — они приносили ему немало восторженных минут, но все-таки в нем неотступно жило беспокойство, которое заставляло его покидать семью, городскую квартиру, ночевать в горкомхозовских гостиницах, месяцами не видеть друзей и, главное, раздраженно относиться к самому себе, к своим композициям, к тому миру линий и красок, в котором другие по-прежнему чувствовали себя столь же тепло, как он на повети сторожа Ивана Григорьевича.

Виктор вспоминал доски древних живописцев, мысленно проходил по залам знаменитых музеев, припоминал росписи в соборах и монастырях и поражался тому, что главного-то он и не заметил. А главным было чудо искусства, то бесконечно длящееся состояние, запечатлеть которое стремились старые живописцы,— нет, не краткий момент, не четкий временной отрезок... а именно состояние... Или становление, из которого и возникает красота...

Пожалуй, Корегин не сумел бы развить или как-то истолковать свое открытие, но он чувствовал, что подошел к нему вплотную.

Как жаль, что в студенческие годы он не знал слов,

сказанных Матиссом: современный художник должен черпать вдохновение в живописи древнерусских мастеров. Народность, яркость, большая сила чувств — вот первоисточник художественных исканий! И еще: в Италии больше делать нечего, французские художники должны ездить в Россию.

Почему он не знал этого? Почему так поздно пришло к нему прозрение? Почему?

Торопливее забарабанил по дранкам дождь. В углах между бревенчатым срубом и скатом крыши оказались щели, откуда полыхнул огненно-белый свет: на Устье-Федоровское накатывалась еще одна перевалка.

Виктор лежал с открытыми глазами: белые отсветы выхватывали из темноты бревенчатые стропила, ниже — под скатом — какие-то бутыли, банки, картонные коробки, сложенные на широкую доску,— торец ее виднелся из-под рухляди, отслужившей свой век, прибранной бережливым Селезневым.

Виктор так и не мог понять, что это такое: старая столешница или, возможно, крышка от сундука?

Засыпая, он вспомнил себя, лежащего пластом на нарах в блиндаже, вырытом невдалеке от Волхова. Тяжелые немецкие «пантеры» — бронированные чудища упорно бьют по нашим позициям. От каждого взрыва в блиндажах осыпается, шурша, песок, и просветы между накатом и срубом начинают багрово светиться...

Блеяние овец, кудахтанье кур, устроившихся на насесте, прервалось таким оглушительным криком петуха, что стало ясно: пытаться снова заснуть — бесполезно.

Топот овечьих копытцев, нетерпеливое меканье матки, крик петуха — все было удивительно согласно с утренним холодком, с запахом сена, с солнечными лучами, которые пробивались в щели чердака и кружили рои пылинок.

От неистового кукареканья мы проснулись одновременно, и Виктор, как будто повинуясь внезапному толчку, пошел в дальний угол повети, где на картонных коробках лежали овчины и старые зипуны.

Мне не хотелось вылезать из спального мешка: гу-

стые паутины, развешанные под гребнем крыши, кудахтанье кур, блеяние овцы-матки — все это откровенно занимало и радовало меня, а больше всего радовала ясность мыслей, душевная бодрость и вся эта непередаваемо яркая полнота жизни, которую несет с собой послегрозовое летнее утро в деревне.

Пыль в солнечных просветах завилась гуще — Виктор возился в углу, скидывал ватники, овчины, снимал пустые банки — пытался вытащить из-под картонных коробок выгнутую крышку старого сундука.

— Да помоги же ты мне!— окликнул он меня с досадой. Вдвоем мы поднесли черную доску, заляпанную засохшим куриным пометом, к воротцам, через которые подают на поветь сено. Протяжно проскрипел отводок, солнце ворвалось на чердак, сильно запахло навозом, мокрым деревом, травой. Вдали, в струящемся мареве, загорелась река. Утро было тихим, солнечным, умиротворенным. Но Корегин, присев перед крышкой на корточки, не обращал внимания на эту благодать. Он изучал еле приметные затесы и врезные планки, которыми крепилась крышка; ее вогнутая поверхность заросла слоем пыли; что-либо разглядеть на ней, по-моему, было невозможно. Но эту вогнутую сторону и рассматривал художник. Кое-где он смахнул пыль — доска зажелтела старым-престарым деревом, как матица в избе, где потолок еще не заклеен бумагой.

— Понятно?— это Виктор обратился ко мне, подытожив свои наблюдения. И запел:— «Я вас открыл, святые письмена. Я вас храню с улыбкой на рассвете...»

— Хоть убей, не понимаю,— признался я.

— Так и следовало ожидать!— ликованье прорвалось в голосе Корегина. Однако причиной его ликования была не моя растерянность... нет, а доска, которая стоймя стояла между нами.

— Смотри и запоминай,— наставительно начал Корегин. — Это не столешница. Это не крышка от сундука... это старая храмовая икона. Видишь, липовые доски вытесаны топором. И врезные шпонки тоже обтесаны и обработаны топором.

Возбуждение Виктора передавалось мне.

— Это углубление называется ковчегом или, по-деревенски, корытцем: оно — непременная особенность древней иконы. Доходит до тебя, гаврила?!

Он живо потянулся к воротцам, вдохнул утреннюю свежесть и счастливо сказал:

— А теперь спустим-ка это чудо пречудное вниз.

...Мы прислонили тяжелую доску к крыльцу. При солнечном свете она выглядела еще запущеннее, грязнее. Однако Виктор хлопотал возле нее в том радостно-сосредоточенном состоянии, которое мгновенно преображает человека и которое невозможно скрыть от посторонних глаз. Он сбегал на поветь, принес обрывок мережки и стал протирать доску, вроде бы даже не протирать, а ласкать ее бугристую поверхность.

С крыльца спустился хозяин. Он смотрел на наши хлопоты и заботы, щурясь от дыма папиросы: ни тени удивления не было на его лице.

— А что, ребята, видно, сгодится века[1] в вашем хозяйстве?

— Сгодится, Иван Григорьевич,— с готовностью отозвался я. Но Виктор, протирая руки мережкой, подошел к Селезневу и, глядя куда-то в переносицу, хмуро спросил:

— Иван Григорьевич, откуда у вас это?— Он показал на доску.

— У хлеба не без крох,— посмеиваясь, ответил хозяин. Потом подумал и пояснил:— Это мой тесть Николай Константинович забагрил у запани. Давно дело-то было, не упомню и когда.— Селезнев ввинтил окурок в землю.— В Бросачихе разбирали на дрова церковь Вознесенья... Лесу-то у нас мало, девать некуды... Кто-то из тамошних и спустил ее в реку. Преже обычай был — спускать иконы на воду, ежели церковь порушат.

— Иван Григорьевич, а вы не отдали бы эту доску?..— Корегин замер в ожидании.

— Почему не отдать,— спокойно рассудил Селезнев.— Ежели по совести, дак она мне вовсе без надобности...— Хозяин почему-то замолчал.

— Да мы, Иван Григорьевич...

— О чем разговор, ребята,— оживившись, подхватил Селезнев.— Ежли люди просят, ежли им нужда приспела...

Виктор весело подмигнул мне и, не прерывая, дослушал Селезнева до конца.

---

[1] В е к а — крышка от короба, вообще крышка.

В Заволочье реки многолюднее иных поселений. По реке тянутся плоты, разворачиваются у пристаней трамвайчики, снуют моторки, набегают и, оставляя бурунный след, тут же исчезают «ракеты», а на окраинных улицах дремотно, пустынно, тихо. Редко-редко проскочит совхозный грузовичок, проедет легковушка, сопровождаемая лаем собак и взглядами одиночных прохожих. Обочины дороги от весны до осени зеленеют травой, на них пасутся коровы, ребятишки играют в мяч, старшие чинят лодки или пилят бензопилой дрова. Деревянные мостки на бревнах-подкладышах гулко и весело отвечают на шаги прохожих. За домами повсюду виднеются сараи, поленницы дров и старые тополя — выше этих тополей и сараев только купола церквей да мачты высоковольтных линий.

В таком прибрежном поселении, называемом Дымковской слободой, мы и жили с Виктором после возвращения из Устья, жили в начальной школе, в пустом, а поэтому неуютном и безмолвном классе. Парты были вынесены и сложены громоздкой кучей на дворе, коридоры школы залиты известкой, двери зашпаклеваны: пахло краской, мелом, тесом и пылью давно не проветриваемого старого здания. Но в просторных окнах голубела Сухона, а за Сухоной — бетонная набережная города Великий Устюг. Эта набережная со старинными особняками, соборами, зелеными кущами деревьев отсюда — из-за реки — была изумительно красива; особенно в центральной части, где подымал вверх вычурные главы Успенский собор,— филиал местного историко-художественного музея. Хороша была и двухэтажная пристань: возле нее — борт о борт — стояли двинские теплоходы, «ракеты», работяги-буксиры, щеголеватые катера.

Нетерпение Виктора приступить к расчистке иконы, найденной в Устье-Федоровском, было настолько велико, что вскоре мне пришлось одному ездить в город за разными хозяйственными мелочами и покупками. И сколько бы раз я ни возвращался из таких поездок, всегда заставал одно и то же: Виктор сидел на расшатанном стуле, облокотившись на колени, подперев ладонями обеих рук бороду, и в упор смотрел на безмолвную черную доску.

Однажды я застал его деятельным и возбужденным. Подпоясавшись полотенцем, Виктор кипятил на электроплитке медицинские шприцы. В этот день я никуда не поехал, а лежал поверх спального мешка, читая какую-то давид-копперфильдовскую муть, как сказал бы Холден Колфилд, герой романа Сэлинджера. Мне хорошо было видно, что делал Корегин.

Положив доску на учительский столик и набрав в шприц слабо разведенный рыбий клей, Виктор осторожно прокалывал иглою края ковчега, где краска охлупла и пошла от сырости пузырями. Он питал левкас клеем столько, сколько тот его брал.

Был Корегин похож в этот момент на «брата милосердия» — настолько бережно, морщась, будто от боли, он прокалывал черные пузыри и бугры. Затем размягчил рыбьим клеем верхний слой и стал заклеивать каждый кусок полосками папиросной бумаги. Бумага плотно-плотно прилипала к доске, и все-таки Виктор сходил к сторожихе школы, выпросил у нее чугунный утюжок, нагрел его и сквозь газету стал легонько проглаживать всю поверхность иконы.

Несколько дней мы не виделись — я уехал в Котлас, а оттуда в Сольвычегодск. Когда же вернулся и первым делом бросился к учительскому столику, в классе ничего не переменилось: бугристая поверхность доски была заклеена латками полупрозрачной бумаги.

Все чаще, томясь вынужденным ничегонеделаньем, мы уезжали в город или уходили к Троице-Гледенскому монастырю, где с берегового обрыва — Гледена, образовавшегося от слияния Юга и Сухоны, смотрели на даль и ширь, расстилавшуюся перед нами. Гора Гледен вместе с Соколиной горой, что в самом Устюге Великом, создала здесь ворота,— и дальше шли наволоки, красноглинные угоры, гребни лесов, но пойменное раздолье неприметно менялось, вроде бы синело, суровело, дышало близостью Ледовитого океана.

И казалось тогда: эти ворота в старину открывали путь новгородским корабельщикам, позднее — устюжанам-мореходам, идущим встречь солнца в Беломорье, Мангазею, Сибирь и — через Тихий океан — на Алеутские острова.

Истекало ярко-алым сиянием солнце. Оно садилось

за нашими спинами, и мы, свесив ноги с обрыва, отдавались безмолвному северному закату.

Как-то само собой вспоминались, возникали стихи, словно гладкое зерцало родника бугрили подземные ключи.

На глади бесконечных вод,
Закатом в пурпур облаченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных,
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...

Интонация стихотворения менялась, и, следуя интонации, голос начинал вибрировать:

Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик-горит любовью,
Но вечной правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!

— «Уста, запекшиеся кровью!» — как эхо, повторял вслед за мной Корегин. И вздыхал, и раздельно, словно вслушиваясь в каждый звук, произносил: — «Уста, запекшиеся кровью...»

После этого всегда мы говорили о Блоке. Мне казалось, что поэт шел неизведанными путями, в чем-то схожими с путями группы Батиньоль, группы импрессионистов: как те, стремясь вызвать представление о предмете тенью, отвергли битюм и открыли светотень, так и Блок, погружаясь в «ночь», «туман», «вьюгу», открывал контраст между тенью и светом, придавал слову неуловимую воздушность, озарял стихи светом и его скользящими рефлексами.

— А по-моему, Блок ближе к искусству мистических цветовых символов и контрастов, характерных для русских иконников, чем к устроителям Салона,— возражал Корегин.

— Ну, не совсем...— не соглашался я.— Его Прекрасная Дама — все-таки «Мадонна» западных мастеров! А не «Одигитрия» Дионисия. И хотя у раннего Блока немало монастырских звонов, бледных иноков, красных лампад, вещих птиц и всяческой болотной чертовщины, по живописи он все-таки ближе к импрессионистам, чем к пылающему плащу Георгия-победоносца.

— Не скажи!— не сдавался Корегин.— Вспомни

«Россию», «Опять над полем Куликовым», вспомни «Скифов» — какая в них четкая гамма алого и золотого!..

Спор разгорался.

В возбуждении мы вскакивали, прохаживались вдоль обрыва, снова садились. Трава начинала тяжелеть от росы, и туман поднимался из зарослей, темневших под Гледеном. Там, на отмели, какие-то люди разводили костер — их лица краснели от огня, да и весь костер, с этими странными людьми, с их языческой неподвижностью перед огнем, был виденьем, внезапно возникшим и готовым немедленно исчезнуть вновь.

Долгожданное утро оказалось пасмурным — это мы поняли, не вылезая из спальных мешков, но погода превзошла худшие ожидания. Мокрый блеск крыш, цинково-рифленая гладь Сухоны, обложное небо — вот что виднелось сквозь меловые накрапы. В классе было прохладно, сильнее отдавало застарелой сыростью и пылью.

Позавтракали мы на скорую руку. Виктор, подпоясываясь полотенцем, на ходу дожевывая хлеб, придирчиво осмотрел склянки с химическими растворителями, что стояли на всех подоконниках, пододвинул ближе к свету учительский столик. Кроме черной доски, на столике лежали вороха ваты. Виктор помедлил, осмотрел и ощупал весь ковчег, с которого была смыта папиросная бумага, и только после этого стал растирать квадрат сантиметров десять на десять. Растирал он его в верхнем правом углу ковчега, поминутно меняя тампоны,— постепенно под ваткой проступила тускло-желтая охра.

Виктор уменьшил квадрат и начал смывать это охристое пятно. Его костистая спина привычно гнулась над столиком, его цепкие пальцы как будто машинально брали тампон, макали его в растворитель и мягкими кругообразными движками ходили по поверхности ковчега. Лицо было серьезно. Виктор не отвлекался, не поглаживал по привычке заросшую щеку — он весь был в работе. Росла куча отброшенных тампонов — росло и мое нетерпение. Наконец — и это было все-таки совершенно неожиданно — среди темно-охристой поверхности квадрата что-то слабо замерцало, засветилось. Виктор чаще разгибался, отходил, вглядывался в это мерцание. Теперь и мне было видно: в том месте, где он смывал

один красочный слой за другим, проглянула зелень, нежная и прозрачная, как травинка, которая вмерзает в глыбу черного льда и не может оттаять до водополья. Зеленое пятно постепенно расширялось — и уже проступило изображение надписи, красное с золотым.

Корегин побледнел, внутренне напрягся: он пытался разобрать полустершиеся титлы и буквицы.

— Пятница! — в растерянности он поднял на меня глаза.

Он опять впился в красную с золотым надпись. Потом сел на стул, охватил голову руками и так сидел довольно долго. Вскочил. Заорал:

— Пятница! Параскева Пятница!

Тут Виктор стал вылягивать худыми ногами в обе стороны и кричать какую-то восторженную чушь.

Да и я не мог прийти в себя от мысли, что тогда на чердаке Ивана Григорьевича мы обрели легендарную Параскеву.

...Шел конец марта.

Возле двери, обитой черным дерматином, я долго топал ногами, стряхивая мокрый снег, и лишь потом нажал кнопку звонка. Открыл дверь Корегин. Он нисколько не удивился моему приезду, как будто расстались мы с ним не полгода назад, а только вчера.

— Давай проходи, проходи...— сказал он, легонько похлопывая меня по спине и пропуская вперед.

Из прихожей, в которой я оставил пальто и дорожный чемодан, мы прошли в комнату; здесь все было, как и летом, перед нашим отъездом,— немного безалаберно и ярко-ало.

Этот алый свет струился от новых, неоконченных картин самого художника, от плащей воинов и головных покрывал богородиц на иконах, от расписных прялок, от тахты, придвинутой к стене и покрытой темно-красной с черными полосами тканью.

Жена Виктора — милая худощавая женщина в очках — поздоровалась с тем провинциальным радушием, которое, увы, теперь встретишь не часто. Я знал, она немедленно уйдет на кухню собирать чай для неожиданного гостя.

Мы присели на тахту. Поглаживая левой рукой ви-

сок, Виктор обрадованно смотрел на меня, пока я рассказывал столичные новости.

— Ну, где она!— сказал я, не выдержав.

И Виктор, как будто он давно ожидал этого возгласа, сорвался с тахты, скрылся в темной кладовке. Но вынес оттуда не икону, а новгородский восьмиугольный крест, найденный, как пояснил мне художник, прямо на пашне вблизи опокского переката. Потом стал расставлять дивные тотемские прялки, потом выскользнул на кухню узнать, скоро ли будет чай.

— Не томи!— крикнул я ему вслед. И Корегин смилостивился: наконец-то он втащил в комнату тяжелую доску, держа ее двумя руками. Это была Параскева Пятница из Бросачихи!

Трудно передать, с каким жадным интересом вглядывался я в древнюю живопись,— ведь мне пришлось уехать сразу же после расчистки первых буквиц иконы. Для меня, привыкшего к темной поверхности, не забывшего ни вздутых пузырей, ни пятен птичьего помета, ни пыли на обратной стороне, увиденное явилось подлинным откровением.

Это было дивное диво!

Пятница стояла в фас с распростертыми руками, своей позой напоминая Великую Панагею, Оранту, приписываемую кисти первого русского живописца, таинственного Алимпия Печерского.

Киноварный мафорий — головное покрывало — горел столь ярко, что, пожалуй, затмевал собою и расписные прялки, и плащи древнерусских воинов, и картины самого художника. Этот мафорий, распахнутый на груди, изукрашен был золотистой каймой и убран крупными жемчугами. Фон иконы — светло-зеленый, точнее, прозрачно-зеленый — очевидно гармонировал с дорогим и красочным одеянием Параскевы.

Древний живописец развертывал композицию не вглубь, а ввысь, он подчинял изображение плоскости доски, смело располагал всей плоскостью, заставлял поднимать взор к лицу Параскевы, которое было одухотворенным, строгим и простым. Удлиненный овал лица, плотно сжатые губы, темно-карие зрачки, усталые подглазья — все говорило о том, что художественная трактовка здесь слилась с живописной: лаконизм, красочность, строгость... Да, это была изумительная икона «северного письма».

— Какой век?— спросил я, заставив себя отвлечься от созерцания Параскевы.

— Нет, только не четырнадцатый,— задумчиво ответил Корегин.— Ты обрати внимание на киноварь мафория: на нем заложены четкие и тонкие линии складок, складки бегут сверху вниз, а все-таки возвращают взгляд к лицу Параскевы. Эти линеарные приемы были присущи мастерам шестнадцатого века, но никак не более ранним эпохам. Посмотри: тогда иконники любили сочные блики, а здесь же все лирично, изысканно и, что греха таить, суховато... Однако,— словно спохватившись, добавил Виктор,— работа прекрасная: ей в наше время и цены нет.

— И что же дальше?— спросил я, поняв только одно: найденная Параскева Пятница вовсе не та Пятница, о которой мечтал художник.

— «Невозможное будет возможным...» — грустно улыбаясь, ответил Виктор и принялся накрывать обеденный стол: из кухни шла жена. Начиналось вечернее чаепитие.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Повести

ДИОНИСИЙ

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

Мне надоело слышать одни и те же вопросы, которые задавались с нескрываемым удивлением и даже раздражением:

— Ты был в Ферапонтовом монастыре? Ты видел фрески Дионисия? Как?! Ты до сих пор не удосужился побывать на берегах Бородаевского озера?!

И далее следовало все то, что положено в таких случаях выслушивать от друзей, заинтересованных в том, чтобы ты приобщился к их удивлению и восторгу, чтобы ты стал таким же, как и они, поклонником несравненных росписей несравненного старца Дионисия.

Все это мне положительно надоело, а больше всего мне надоели собственные проволочки, ссылки на неотложные дела, неоконченные рукописи и недочитанные книги, лежащие на столе, на всю ту гонку и спешку, которая с утра захватывает тебя и не дает ни оглянуться, ни опомниться до полуночи.

Короче говоря, однажды на «Дзержинской» я взял билет в кассе Аэрофлота и улетел, не ответив на телефонный звонок, задребезжавший в тот момент, когда я, надев пальто, взялся за ручку чемодана. Я просто выскочил за дверь, бегом сбежал с шестого этажа и через час садился в почтово-пассажирский самолет на Быковском аэродроме. Мне здорово повезло, потому что в тот же день от причалов Череповецкого речного порта отходил теплоход на Кириллов.

Что я действительно приближаюсь к Ферапонтову, что скоро мне удастся повидать фрески Дионисия, я понял лишь в автобусе, который, как рыбачий баркас, бросало с боку на бок — это автобус петлял по старинной проселочной дороге Кириллов — Каргополь.

Стояла середина мая, но день выдался холодный,

ветреный, и в окно, забитое фанерой, сильно дуло. Я судорожно держался за поручни кресла, не рискуя их выпустить, даже когда автобус выбегал на ровную дорогу.

«Не на этих ли ухабах мотало возок со старцем Дионисием?» — позабавила меня внезапная догадка. Но чем ближе к вечеру, тем пасмурнее становилась погода; и когда наконец автобус прибыл в Ферапонтово, и я увидел на взгорке надвратную церквушку с полуразрушенной оградой монастыря, меня охватила такая беспросветная тоска, что я подумал: а стоило ли мне срываться с места, лететь сломя голову за тридевять земель, чтобы полюбоваться тем запустеньем, которого хватает и в иных памятных местах Подмосковья.

Поселился я у бабки Любавы в закутке, оклеенном старыми номерами областной газеты «Красный Север» и освещенном керосиновой лампой. До утра нечего было и думать идти в монастырь. Но я все-таки миновал водосброс у Бородаевского озера, поднялся на взгорок, оглядел со всех сторон ограду монастыря, каменный храм Рождества богородицы, вернулся к главным, так называемым святым воротам и от нечего делать стал разглядывать росписи на охлупшей, отставшей кое-где штукатурке. Росписи меня огорчили, — они были выполнены рукой ремесленника и, конечно, никакой художественной ценности не представляли: провинциальный реализм провинциального богомаза, как и в большинстве церквей начала века.

Поутру я недолго распивал чаи у бабки Любавы в избушке, вросшей в обочину по-осеннему раскисшей дороги, разбитой к тому же тракторами и грузовыми автомашинами. Я снова миновал водосброс, поднялся к ограде монастыря.

За ночь что-то неуловимо переменилось то ли в моем настроении, то ли в облике архитектурного заповедника: теперь кое-где виднелись следы реставрационных работ, приметно краснела свежая кирпичная кладка, лежали бумажные мешки с цементом, груды песка. Строители явно не спешили, как и вообще не шибко торопятся при реставрации памятников древности. А пока мне открылся крохотный монастырский дворик перед Рождество-богородицким собором. Дуплистые тополя и березы придавали ему вид уютный, а точнее укромный, как бывают укромны старинные аллеи и за-

пущенные парки где-нибудь возле бывших барских усадеб.

Хмурый, неразговорчивый смотритель по просьбе моей и еще двух экскурсантов, по-видимому москвичей, отомкнул тяжелый замок на кованых дверях собора, и я ступил на истертые плиты лестницы, ведущей к главному входу. Над входом находилась тесовая галерея, и поэтому там было сухо и чисто, как в домовитых деревенских избах. В то самое мгновенье, когда я поднимался по лестнице, яркий солнечный квадрат окна упал на выскобленный деревянный пол галереи,— стало так светло, что засветилась каждая ворсинка на полу, надраенном дресвою. Дресвой трут хозяйки полы, чтобы они были чище и обиходнее,— таков обычай в северном крае. Эта чистота и свежесть создавали предпраздничное настроение, и я невольно перевел дыханье, пытаясь одолеть непонятный для меня приступ радости, вернее предчувствия радости, которое, по-моему, волнует сильнее, чем сама радость.

Не могу сейчас точно передать первые мысли и первые чувства, возникшие у меня при взгляде на фрески Дионисия. В глубине сознания я сразу понял: это что-то такое, что встречается раз в жизни. Понял я и другое: основой духовности великого художника, как и всех русских людей, был культ богородицы, культ девы Марии. Однако плохо зная акафист деве Марии, который и послужил сюжетной основой росписей, все внимание я, конечно, обращал на краски, на технику живописца. Здесь у меня не было сомнений: изумительное, подлинно возрожденческое произведение искусства было передо мной! На фресках главного входа преобладали нежно-голубые и горячие, золотисто-охристые цвета,— они-то и создавали ту приподнятость, особую возбужденность, которую я испытал, подымаясь по лестнице и выходя на деревянный пол галереи. Причем голубой, вернее, небесно-голубой цвет был как бы слегка выгоревший, тронутый пылью столетий, прошумевших за стенами собора. Нет, это не была пыль в повседневном, обычном понимании, это была пыль веков, приметная седина времени,— в этой седине таилось для меня особое обаяние фресок.

В самом соборе от кирпичного пола до купола — все было расписано рукою Дионисия и его сыновей Владимира и Феодосия, а также их иконной дружиной.

Испытанное мною возбуждение не улеглось и теперь, когда я стал разглядывать четырехъярусные «письма» церкви. Фрески как будто светились изнутри. Фигуры праведников и святых, непомерно удлиненные, а поэтому изысканные, невесомые, парили в голубом пространстве. Но особенным изяществом отличались женские фигуры. Их позы были исполнены врожденной грации, их движения были медлительны и неторопливы. Стоявшие невдалеке от меня москвичи, притихшие, зачарованные, шепотом, невольным шепотом, потому что в церкви мы были одни, обменивались друг с другом редкими словами.

И всю неделю, которую я провел в Ферапонтово, каждое утро, как на службу, я приходил в собор, садился на широкую скамью перед росписью главного входа или сразу же проходил дальше и никогда не уставал смотреть на эту спокойную, умиротворенную, как бы сказали в старину, многовещанную поэзию стенного письма. Постепенно фрески размыкались на отдельные картины жанровых сценок, диковинных животных,— в одном без труда я узнал северного медведя. Мне стали понятны и библейские притчи, если не все, то многие: ведь художник в них изобразил вечные радости и горести людей, иных он не знал, иных он, земной человек, не ведал...

От этих сцен веяло на меня беспредельным миролюбием и такой же беспредельной душевной добротой и щедростью живописца. Своим великим талантом он утешал всех, кто изнемогал в скорби и печали, кто был обездолен, наг, сир, кто терял веру в людскую справедливость и отзывчивость. Он ободрял этих людей, он вселял в них надежду, что есть, должна быть иная, лучшая жизнь, иной, лучший, очищенный от скверны и страха, от крови и злобы мир. Поэтому его стенные росписи звучали чудным многоголосием, согласным хором для прихожан, которые лежали распростертыми ниц перед иконостасом или теснились под этими сводами.

Для нас же, людей новой эпохи, его мастерство, его прекрасное искусство остается свидетельством неизбывной жажды человека жить в мире и согласии, творить, доверяя повелениям своего сердца и разума, и чувства, и вдохновения.

Настал день отъезда. В последний раз я пришел

в собор и только тут, на софите маленькой дверцы, выходящей на север, заметил полустершуюся церковнославянскую вязь. Как я ни бился, мне не удалось разобрать эти письмена. И только в Москве, в «Истории русского искусства» В. Н. Лазарева, я прочитал их полностью. «В лето 7008 (1500) месяца августа в 6 день на Преображение господа нашего Иисуса бысть подписывати церковь, а кончена на 2 лето месяца сентября в 8 день на Рождество пресвятыя владычицы нашей богородицы Марии при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси и великом князе Василие Ивановиче всея Руси и архиепископе Тихоне, а писцы Дионисий-иконник со своими чады. О владыко Христе всех царю избави их господи мук вечных».

Я привел эту надпись полностью, потому что старинной тяжеловесностью она, как ничто другое, передает стиль эпохи, в которую творил великий художник. Эта надпись в дальнейшем сыграет немалую роль в судьбе художественного наследия Дионисия.

...Древние живописцы не имели обыкновения подписывать фрески и иконы,— тем загадочнее причины, по которым Дионисий решил оставить потомкам свое имя. Да и вообще, как он, жалованный государев иконник, попал в лесные дебри, в безлюдные «белозерские страны». Предположениям и домыслам несть числа. Уже тогда, в Ферапонтово, у меня смутно возникла своя догадка. Однако эта догадка хоть в малой степени должна была опираться на факты, на свидетельства современников, на летописные источники,— а вот их-то у меня под руками и не было. Впоследствии пришлось по крупицам собирать редкие упоминания о Дионисии в летописных сводах, в житиях церковных иерархов, в искусствоведческих работах. Но все это было потом. А сейчас я хотел бы рассказать, как благодаря этой надписи в Рождественском соборе Дионисий был открыт вторично.

За четыре долгих столетья потомки забыли имя Дионисия. Забыли настолько основательно, что даже И. Бриллиантов, оставивший историю Ферапонтова монастыря, изданную к пятисотлетию со дня основания обители (1398—1898), спрашивал в связи с предположительной датой строительства Рождественского собора: «Упоминаемый здесь Дионисий-иконник не тот ли знаменитый в свое время иконописец Дионисий, ко-

торому в 1482 году заказывал писать иконы архиепископ ростовский Вассиян?»

Однако вопрос был оставлен без ответа, Бриллиантов больше не возвращался к нему, считая, вероятно, свое предположение бездоказательным.

Незадолго до первой мировой войны В. Т. Георгиевский, знаток русской старины и иконографии, предпринял путешествие по северным губерниям. В глухом углу Новгородского края, в полузабытом, полуразрушенном Ферапонтовом монастыре, ему посчастливилось найти древнюю роспись. С первого взгляда фрески поразили его силой художественного мышления, необычным колоритом, изяществом и решительностью рисунка. Еще больше удивился Георгиевский, когда на стене собора обнаружил не что иное, как имя самого Дионисия. Сомнений быть не могло: эти фрески принадлежали кисти сподвижника знаменитого Аристотеля Фиоравенти, строителя Московского Кремля, Успенского и Благовещенского соборов, в которых сам Дионисий, а после его смерти сыновья Феодосий и Владимир расписывали стены.

В 1911 году в Петербурге вышла солидная монография «Фрески Ферапонтова монастыря» В. Т. Георгиевского, в которой описывалась история открытия этой жемчужины древнерусской живописи и были приведены репродукции. Так Дионисий, называемый летописцами «мудрым», «пресловущим паче всех (то есть более всех других знаменитым) в таковом деле», «изящным и хитрым в русской земле иконописцем, паче же рещи живописцем», через четыре столетия стал вновь известен художественной общественности России.

Как же случилось, что стенная роспись Дионисия и сотоварищи сохранилась в первозданной свежести и красоте? За четыре века немало сменилось поколений, отпылало пожаров, отгремело войн, рухнуло, исчезло с лица земли зданий! Почему же фрески в Ферапонтовом монастыре ни разу не стирались, не срубались топорами, не переписывались заново, как в большинстве древних соборов и храмов? Ответ на этот вопрос может быть только один — это счастливая случайность, почти чудо, как сказал Георгиевский.

Наивно думать, что монастырская братия сохрани-

ла фрески Дионисия лишь потому, что они принадлежали кисти великого художника. Скорее всего, братия ничего не знала ни о Дионисии, ни о его творениях.

Дело обстояло, на мой взгляд, гораздо проще: в северных лесах, вдали от торговых путей и дорог, затерялся этот небольшой монастырь. В 1798 году он был закрыт вообще, и Рождество-богородицкий собор, расписанный иконной артелью Дионисия, превратился в простую приходскую церковь. Бедность прихода, его заброшенность, его удаленность от промышленных центров — вот что спасло это выдающееся произведение древнерусской творческой мысли.

Слава Дионисия, младшего современника Андрея Рублева, постепенно стала возвращаться к нему. Первооткрыватель Дионисиевых росписей В. Т. Георгиевский назвал художника «великим колористом». И это действительно так. Секрет солнечных, медвяно-золотистых, нежно-зеленоватых, лазурных красок был утерян после смерти великого мастера. Ни разу в русской настенной живописи не заструились, не засверкали с такой интенсивностью, с такой силой природные краски, как под гениальной рукой Дионисия. А ведь все эти краски были найдены на берегах Бородаевского озера. До ста пятидесяти оттенков охры различают знатоки в его фресках. Разноцветные камни, рассыпанные по берегам Бородавы и других озер, дали Дионисию это поразительное богатство колеров и оттенков. Синий фон, прославивший ферапонтовские росписи, под рукой других стенописцев стал со временем мутнеть, превращаться в бутылочный, свинцово-зеленый цвет. В дальнейшем, в XVIII веке, цветовая гамма стенных росписей многих соборов приобрела вообще груборемесленный, лубочный характер.

Что же касается изобразительного мастерства Дионисия, то здесь можно привести немало свидетельств наших крупнейших исследователей, художников, работников картинных галерей и музеев.

Первым о гениальности Дионисия в новый послереволюционный период сказал писатель Иван Евдокимов, и сказал об этом без обиняков, в полный голос. «Ферапонтовская роспись — гордость нашего искусства»,— писал он в монографии «Север в истории русского искусства» (1921). Эта монография и по сей день

является уникальным исследованием северного зодчества и северной архитектуры. Иван Евдокимов по праву сравнил архитектурный ансамбль Ферапонтова монастыря, и в первую очередь фрески Дионисия, с самым лучшим произведением итальянского Возрождения — с Сикстинской капеллой. Позднее научный сотрудник Третьяковской галереи В. И. Антонова в своем исследовании справедливо отмечала: «...В наше время Дионисий, вслед за Андреем Рублевым, должен быть оценен как художник, творчество которого имеет всемирное значение». Н. М. Чернышев в книге «Искусство фрески в Древней Руси» пишет, что, по его мнению, западный портал, главный вход собора, «является произведением огромной художественной ценности». Наконец, в марте 1969 года «Правда» поместила статью С. С. Подъяпольского, в которой о Дионисиевых росписях говорилось как о «настоящем чуде искусства».

Я не вхожу в тонкости искусствоведческих споров,— они есть, они ведутся с неослабевающей силой, а просто хочу напомнить один немаловажный факт: из двух великих художников древности широкая публика знает имя Андрея Рублева, но долгое время ничего не слышала о Дионисии.

После поездки в Ферапонтово по давнишней привычке я засел в Ленинку — библиотеку имени В. И. Ленина в Москве и, работая над архивными материалами, попутно, скорее для себя, чем для публикации, стал заносить в черновые тетради выписки, в которых говорилось о непреходящем значении творчества Дионисия в наши дни. Я отнюдь не думал воспользоваться этими выписками, наивно полагая, что существо вопроса ясно без дополнительных пояснений. Но я ошибался и в дальнейшем понял, что без цитат и веских свидетельств крупнейших авторитетов мне не обойтись. Сами «северные письма», сама иконопись и фресковая живопись, сохранившаяся в соборах, по-прежнему вызывает у иных ревнителей атеистического воспитания молодежи если не чувство неприязни, то, во всяком случае, чувство неодобрения и недоумения. Библейские и мифологические сюжеты для западноевропейских художников давным-давно принято считать естественным и закономерным этапом в духовном развитии всего человечества. Что же касается наших национальных

святынь, образцов нашей национальной живописи, то здесь и инерция и догматизм действуют с прежней силой.

Безусловно, что поэтика древнерусского художника Дионисия складывалась под непосредственным воздействием мифов и легенд, бытовавших среди всего православного славянства. Однако у Дионисия следует видеть и другие, в частности, народные истоки художественного мастерства. К концу XV века русские люди предстали пред миром как духовно и нравственно единая нация. Русь не только оградила Запад от многовекового натиска восточных орд, но и сохранила собственную «душу живу», сберегла бесценный художественный дар, жажду строить, созидать, творить. Веками русские выпевали себя в песнях, выплакивали в плачах, высказывали в преданиях — это хорошо известно хотя бы из трудов собирателей фольклора. Но русские с не меньшей силой выражали себя и в деревянном зодчестве, в вышивке, ткачестве, резьбе по кости и бересте, наконец, в живописи,— в росписи предметов домашнего обихода, в книжной миниатюре, иконографии. Именно так — в иконографии. На русском Севере иконопись долгими столетиями была и оставалась подлинно народным искусством: тысячи и тысячи безымянных мастеров по северным деревням, посадам, монастырям писали лики угодников и святых. Этим наше древнерусское искусство отличается от искусства средневекового Запада, не говоря уж об искусстве Возрождения, имеющем четко выраженный индивидуализированный характер. Русские мастера неизбежно обращались к библейским сюжетам, к Ветхому и Новому заветам, к христианской символике, ибо модель мира в их сознании и воображении строилась, с одной стороны, по памятникам словесности, большей частью религиозного содержания, а с другой — по народным представлениям и верованиям, имеющим многие дохристианские, языческие черты.

Вот почему художественное восприятие этих символов и сюжетов было глубоко самобытным, эмоциональным, непосредственным,— самоучки-иконники запечатлевали в иконах, в росписи прялок и туесов, в книжных заставках и буквицах и чистую радость, и горечь бытия, красочно высказывали свою сильную, здоровую, крестьянскую натуру.

Творчество Дионисия — одна из вершин многослойной художественной культуры, созданной русским народом. Дионисию и его иконной дружине довелось в живописи выразить зрелое национальное самосознание русских людей, впитать в себя, а затем и поднять на высокий художественный уровень опыт деревенских богомазов, иконописных дел мастеров.

Теперь же, оглядываясь на прошлое, различая в глубине веков такие могучие вершины, как Дионисий, мы учимся прозревать даль грядущего, учимся смотреть во все стороны света с чувством собственного достоинства и внутренней правоты. И, наоборот, отвергая прошлое, проявляя привычную нетерпимость и подозрительность ко всему «слишком старому»,— равно как и ко всему «слишком новому»,— мы обрекаем себя на духовную нищету.

Вот почему вместо искусствоведческого исследования мне захотелось в меру сил и возможностей воссоздать облик самого Дионисия, поведать историю возникновения его фресок в Ферапонтовом монастыре.

УТЕШЕНИЕ ДИОНИСИЯ

Крик монастырских галок подымало ветром над звонницей, сносило в поля вместе с редкой куделью тумана. Ветер дул-задувал ровно и сильно, как из подворотни, раскачивал вершины старых тополей, срывал с крыш сырые дранки. Белесый туман рвался на лету — и тогда с небес начинало скупо сочиться утреннее солнце. Было похоже оно на яичный желток, растертый в белилах. С косогора, из-за ограды, виднелась взъерошенная даль Бородаевского озера, в заозерье — кромка леса, откуда неостановимо вылетали, пластались по небосклону облачные стаи. На монастырском подворье свивались в тугие петли тропинки. Начинались они у поварни, у трапезной, у монашеских келий и вели к широкой лестнице Рождество-богородицкого собора.

Собор стоял на взмостье, окруженный с трех сторон галереей. С главного входа еще не сняли леса; сквозь горбыли, сколоченные крест-накрест, сияла охряная и лазурная роспись.

Ферапонтова обитель не была столь богата и слав-

на, как соседний Кирилло-Белозерский монастырь. Мало землицы и деревень было приписано Ферапонтовой братии. Мало было и прихожан в глухой округе. Зато место красно и угодно на жительство избрал в старину Ферапонт, основатель обители, сподвижник старца Кирилла. Стоял монастырь на взгорке между двух озер, одно — Бородаевское, другое — Паское. Озера — рыбные. Леса — грибные. Сенокосные угодья — обильные. Потому-то и трезвонили бойко колокола, как они трезвонили в тот час, когда на ветру раскричались монастырские галки.

...Дионисий, угрюмо насупившись, шел к храму по размокшей тропинке. Ночью в келье он лежал пластом, не смыкая тяжелых от бессонницы век. Дионисий все прислушивался к дребезжанью слюдяного оконца, к глухим порывам ветра, к ударам колокола, мерно стекающим со звонницы. Медной доской давила на грудь духота, и не было сил отбросить ту доску, вздохнуть, как и прежде, легко и свободно. Смутилось в нем сердце,— страх смерти напал на него, покрыл тьмой недоумений, объял душу боязнью и трепетом. Почитай, с самой весны точила его, как червь дерево тлит, неотвязная дума: прах летучий сие житие, пустое мечтанье. Нет и не было смысла в его дерзновенных трудах и лишеньях.

Встал Дионисий, измаянный лихоманкой, ослабевший, поникший. Едва отворил низкую дверь, как ветер вырвал из рук скобу, с силой хлопнул притвором. От ветра, дующего с Бородавы, от утренней свежести, от милых душе озерных просторов вроде бы чуть полегчало. Взгляд привычно скользнул по крестьянским дворам, прилепившимся к косогору, по рыбачьим ладьям, вразнобой пляшущим у причала, по синему лесу, зубчато стеснившему монастырь. Дионисий перекрестился на храм и надумал идти было дальше, как от соседней кельи навстречу ему поднялся человек. Длинные космы мокры, спутаны. Сквозь рвань ходильного платья обнажилась грудь, тяжело блеснул нательный кованый крест. Это был блаженный инок Галактион. Не имел он ни кельи, ни малой каморы, ночевал где придется: на монастырском подворье, иное под окнами келий, а иное на голой земле у собора,— радел о славе мученика и провидца. Прежний игумен благословил монаха на подвиг юродства, и с тех пор приводил он в трепет лесную округу. Баяли все: ферапонтов-

ский Галактион блажен во юродстве, наделен даром разума исступленного, провидец он, страстотерпец. И сторонились юрода, остерегались задеть его словом, обидеть его ненароком. Страшный был, по всему, человек.

Среди монахов шел шепоток, будто не без его, Галактионовых, козней случился в монастыре пожар. На осеннем рассвете враз загорелись амбары, сушильня, ограда, заполыхало все, затрещало, огонь перекинулся на ветхие кельи, в одной из которых жил опальный отшельник по имени Иоасаф. Сановитый и мудрый, сведущий в книжном письме был Иоасаф из знатного рода Оболенских князей. Подался он в белозерские страны, отягченный великокняжеским гневом. Галактион, словно приблудный пес, слонялся вокруг Иоасафовой кельи, спал, согнувшись в калач, сидел у стены часами. Когда враз охватило пламенем низкую кровлю, вскричал знатный старец, что лежит в потайном уголке некий клад, хранимый монастырского ради строенья. Тогда-то Галактион, случившийся при пожаре, осенил себя крестным знамением, бросился в дверь, забитую дымом. Вынес из пламени, поставил к ногам Иоасафа укладку, окованную серебром да красной медью. С тех пор и пошла за юродивым слава, как за прохожим верная тень. На ту большую казну князей Оболенских были срублены заново все постройки. Начали строить и новый собор. Возводили его с великим старанием,— камень везли издалека, из-под Ростова. Ростовской же артелью с мастером Прохором был собор изукрашен кирпичною вязью, узором из бусынок, выпуклою — обронной — плетеницей.

Дабы придать благолепие церкви, отписал Иоасаф грамотку на Москву. Звал в той грамотке он самого Дионисия, известного в русской земле живописца. Старый мастер на уговоры не поддавался. Однако в зиму 1500 года неожиданно прибыл в обитель с двумя сыновьями — Владимиром да Феодосием, да левкасчиком Еремеем, да иными пособниками и писцами.

Той же весной артель приступила к работам.

Галактион, пригнув косматую голову, стоял возле узкой тропинки. Посинелый рот кривился в привычной ухмылке.

— Калабан, чалабан в предысподню угадал,— за-

частил он, косноязыча, кланяясь Дионисию в пояс. Живописец хотел миновать его, но юродивый сыпал словами, словно каленым горохом.

— За смехотство, высмехотство в предысподню угадал.— И, сверкнув глазами зло, затаенно, хрипло добавил:— Худ ты, иконник, стал. Помрешь, видно, скоро...

— Каждому по делам его,— нехотя отвечал Дионисий. А юродивый, распаляясь все больше, дерзко шагнул на тропинку, замахал, как мельница, рваными рукавами.

— Иконник, иконник, сатанинский угодник. Ты почто пожаловал в нашу обитель? Ты почто смешал божество с мирскою толпою? Ты святителей пишешь длинных, как жерди. Еретик ты! В адском пламени будешь гореть! Стенописаньям твоим осыпаться, как перхоти с шелудивого пса!

Галактион сжал кулачища, повалился ничком на тропу. Жаждал он исступленьем своим унизить пришельца, обласканного, как гласила молва, отшельником Иоасафом и даже великим князем московским. Лютая зависть сжигала Галактиона: был ненавистен ему величавый мирянин, превзошедший во славе его, страстотерпца.

Дионисий, неловко подавшись вперед, стоял перед иноком, бившимся в черной падучей. Сухим, настороженным блеском были полны его очи. Не однажды слышал почтенный мастер подобные речи,— и не тут, не в дебрях лесных, а на дворе у великого князя, в Москве. Знай об этом юродивый, раздуло б его от гордыни, как раздувает утопленника в пруду.

— Встань, монасе,— тихо просил Дионисий.— Понапрасну семена злочестия сеешь: тебе не дано проникнуть в тайны стенного письма, в неизреченные наши заботы. Встань и иди,— повторил он суровей и строже.

Острые лезвия глаз Галактиона стали меркнуть, тускнеть. Но напоследок те лезвия полоснули по ясным глазам стенописца, и только тогда, обмякнув, поднялся юродивый с влажной земли и, шатаясь, как с зелья хмельного, побрел в дальний угол подворья.

Заложив тонкие пальцы за опояску, хмуро смотрел ему вслед Дионисий. Нет, неспроста лжеюрод затеял раденье. Горазд на выдумки был этот монах, ой как горазд. «Святости нету в ваших трудах!» — вопил он

монахам еще до пожара. Да и теперь повторял он слова не свои, а чужие. Знал Дионисий: невежество зло порождает, а злобе вкупе с бесчинством нет и не будет предела. Ведь кому же иному, как не кликуше, благословенья искать у пастырей здешних. Ах, да что сей темный и бешеный инок! Даже князь церкви, его покровитель — игумен волоколамский, бился в падучей, когда прослышал о смуте в новгородской земле. «Хулящих царя небесного наипаче царя земного — казням лютым предать, в заточенье сгноить!» — кричал он, входя в исступленье. Мнил волоколамский игумен: дойдут его речи до князя Ивана, прозвучат малиновым звоном в кремлевских хоромах, возвестят Ивану о страже надежном, о прочном и честном его щите. «Семена благомысленной одержимости, поиски ереси дадут,— вздохнул Дионисий,— на Руси немалые всходы. Запылают смоляные клетки и еретиками. В землю заживо станут закапывать вольнодумцев. Неужели и роспись стенную топорами ссекут? Неужели его, Дионисия, труд пропадет от бесчинства, от злобы? Добро б от татарских мечей, а то от скребков неразумных монахов, наученных, науськанных таким же блаженным, как юрод Галактион». Провел по глазам Дионисий, как будто снимая липкую паутину, пошел угнетенно к южной ограде, где на левкасном дворе стояли крестьянские дроги.

Везли мужики в монастырь промытый речной песок, мешки с ржаною мукой, лен в тяжелых жгутах. Московский пособник по имени Еремей придирчиво трогал и песок, и лен, и уголь в грубых рогожах. Был пособник зело понятлив в строительном деле. Ведал он: в стенописаньях левкас — всему голова. Известь для левкаса,— а им покрывают стены соборов под краску,— потребна белая, мягкая, пышная, словно перина. Зимой эту известь вымораживают на холоду, а летом — вешают в творильных ямах. А все для того, чтоб не пошла емчуга по письму морокой, чтоб не покрылись лики угодников соляным, белесым налетом.

Когда же известь протрут, просеют, надо лен вычесать, изрубить его мелко-мелко, добавить коры еловой,— да все смешать,— вот тогда и будет спелым левкас. Тогда по редкому ряду железных гвоздей, вбитых в стены,

наметывай левкас, гладь его ручною лопаткой, грунтуй стены под краску. Но помалу делай дело: должен успеть живописец за день покрыть стены письмом. А как засохнет левкас, так писать иконнику худо: краски померкнут, могут осыпаться враз, отшелушиться.

Поучал Еремей мужиков-тугодумов, как готовить левкас, мял взыскательно известь в ладонях. Крепок дуб множеством корения, а художество крепко заботой и тщаньем людским. Тут, брат, любые проклятья бессильны, тут, брат, надейся вернее всего на себя.

— Добрый ныне левкас,— сказал Еремей, вытирая ладонь о порты. Отличался левкасчик добродушием, дородностью и голоса густотой.

— Феодосий— как из бочки гудел он,— «Брак в Кане» графьей помечает, а Володимир — серафимов в окне пишет.

Дионисий вместе с Еремеем осмотрел, как холопы в рваных сермягах лопатят левкас, как несут в берестяных кошелях к паперти собора. Левкасчик, чуть поотстав, шел за главой иконописной артели.

— Леса-то с главного входа пора бы убрать,—сказал Дионисий. Еремей охотно кивнул в ответ загорелой плешью.

...Из-за высоких помостов, чанов с водой, горшков и кринок, заляпанных краской, корчаг, стоящих вдоль стен, в соборе было грязно и тесно. Пахло сырой известью, олифой, смолкой сосновых досок. На лесине, ограждавшей помост, сидел Феодосий. Сидел он небрежно и легко, как татарский баскак на коне, слегка покачивая ногой, обутой в сафьяновый сапог. Этот щегольской сапог, у которого нос — шило, а пята — востра, ввел во гнев Дионисия.

— Доська,— укоризненно бросил он сыну,— кая нужда тебе здесь выряжаться. Ты хоть по забудням-то не красуйся, как девица.

— Пустое, отче, — усмехнувшись, ответил Феодосий.— От своего рукоделья пищу и прочие потребы себе приобретаем. Сам знаешь, тем рукодельем живем и питаемся.

Не сменив позы, Феодосий взял из обливной корчаги кисть и стал писать по свежему левкасу. Мазки его были мелкие, иконописные, но ощущалась в каждом движении твердая вера в себя. Тут уж медлить ему было некогда.



Но и поспешать тоже нельзя: сырой левкас схватывал краски намертво. Переделать, исправить содеянное было уже невозможно. Высветлив лики, он двинул белилом по сильным местам, наметил скорбные подглазья, а уж потом принялся за ризы, коруны, за все царское убранство. Феодосий сошел на помост и с истовостью, неприметной в нем прежде, начал выписывать брачный наряд жениха. Охра медвяная, жженая, киноварь, празелень, голубец — все краски были у него под рукою. И постепенно проступали на стене жемчуга и драгоценные бляшки на оплечьях жениха. Загорелся на богоматери вишневым цветком мафорий — наряд, подобный головному покрывалу. Плавными складками легли одежды угодников. В ликах, писанных Феодосием, было что-то заученное, единообразное. Зато выше меры старался он, выписывая праздничный царский наряд.

Дионисий долго следил за художеством сына. Было и Феодосию дивно столь пристальное внимание отца. По напряженному загривку, по его плечам, обтянутым холщовым балахоном, по всему складному облику чувствовалось: вкладывал душу Феодосий в соборную роспись. Хотелось ему показать, что он сам по себе, а не как чадо премудрого Дионисия, многого может достичь в благолепном письме. Кто иной, как не отец, изрядно известный повсюду, мог оценить эту строгую верность древнему византийскому уставу и его, Дионисия, навыку. Медлительные, казалось бы, непомерно вытянутые телеса царей и святителей были полны величья. Они вели сокровенные беседы с жестом предстояния либо погружались в тихое раздумье.

Дионисий присел на холщовое сиденьице и по-прежнему взыскательно оглядывал стенную роспись. Не только теперь, но давно он примечал: пышным и вычурным становится Феодосиево письмо. В парчовых одеяниях да корунах, унизанных жемчугами, теряется сын как живописец. Столь прельстительное для него убранство губит в нем силу взыскующую, духовную. Губит линию — емкую, сильную, единственно верную линию большого мастера.

Будь его, Дионисия, воля, в одном ли убранстве, в медлительной ли важности беседующих он стал бы искать себя? Под хитонами да парчовыми одеждами он вымыслил бы тела красивые, сильные, ловкие.

Но вспыльчив норов у сына и не терпит он ни в чем

прекословья. Посему Дионисий сидел, облокотившись на колено, вобрав в ладонь бороду, сидел неподвижно, даже безучастно, и все-таки многое примечал из-под приопущенных тяжелых век.

Монахи, приставленные к артели, вносили и выносили воду в дубовых ушатах, растирали на плоских камнях комья охры, копанной тут же, на берегах Бородаевского озера. Они студили клей для лазори, мыли в корчагах щетинковые кисти. И по тому, как неслышно мелькали они под опорами помостов, понимал Дионисий, что меньшой его сын стал для них главой дружины, что быть вскорости Феодосию жалованным иконописцем государя.

В толще северного окна писал серафимов Владимир. Поджав под себя калачом ноги, в серой, заляпанной известью однорядке, был Володюха подобен мучному кулю: тучный, словно бы заспанный, работал он с ленцой и явным небрежением. Томился Володюха в богоспасаемом углу второй год, втай поносил отца и меньшего брата за их сговорчивость да податливость на Иоасафовы увещеванья. А бранился Володюха лихо. Да и как было ему не браниться, ведь ни денег, ни почестей не огребут они в Ферапонтовой обители. «И какого беса,— прости мя грешного,— думал он,— было бросать княжеский двор, коль скоро знатные муроли — фряжские каменно-строительных дел мастера — строят в Москве церкви чудна вельми и светлостью, и звонностью, и высотою. А тут, в топях-болотинах, дикость одна да полное истощение плоти. У смердов не токмо меду хмельного али браги пенной, ломтя хлеба не сыщешь».

Не был Дионисий ни чернокнижником, ни ясновидцем, но умел читать он в сердцах сыновей своих, как в открытой книге. И потому, что в Володюхиных потайных укоризнах было немало верного, еще более ссутулился он на холщовом сиденье. Колоколом гудело сердце в груди. Свинцовой тягой наливались ноги. «Помрешь ты скоро, иконник, помрешь»,— хрипел в памяти Галактионов голос. И дабы стряхнуть с себя наваждень, развеять хоть малую толику тяжких печалей, медленно поднялся Дионисий и тихо вышел из храма.

Едва почитаемый мастер скрылся под сводами, как Феодосия поманил поварской служка. Тот нехотя оставил

помост, спустился вниз по лестнице. Отведя иконника в темный угол собора, служка торопливым шепотом поведал ему, как изрыгал Галактион зловредные словеса, как грозил отцу адовым пламенем, поносил всячески артельную стенопись.

У Феодосия заиграли желваки под литыми плицами скул, по шее пошли красные пятна. Он рывком сорвал с себя балахон, опрометью бросился вон из собора.

Крупно шагая по двору, раздув гневливо ноздри, Феодосий без толку обежал монастырские постройки. Злоба и страх душили его. От невежества Галактионова бысть в людях молва великая и смятение,— та молва покатится, полетит подметными письмами ко двору князя Ивана Васильевича, к престолу святительскому. До Иосифа Волоцкого, несравненного учителя, многогорделивого друга, дойдет та молва. В безумных дерзновениях да ересях обвинит Москва богомазов, и не видать ему, Феодосию, ни почестей великокняжеских, ни благословения митрополитова. Нет обороны от лжи, нет запоров от навета: поди разберись, так ли писаны лики угодников в отдаленном монастыре.

Отец, зараженный смиренномудрием пустыни Сорской, брани да тяжа, как яда смертного, обегает. Ему ли устоять против врагов своих? Ему ли развеять напраслину?

Феодосий вновь обошел постройки, пока наконец не догадался заглянуть в сушильню. Сильно рванув отводок, он ослеп от полумрака, царившего в сарае. Тяжелое дыхание его наполнило сушильню. У стены, завешанной сетями, на монастырских мережках спал ничком Галактион.

Остроносый сапог с силой вонзился в ребра юродивого. Тот застонал от боли. Не давая Галактиону опомниться, Феодосий схватил его за грудки и поволок на волю.

— Ты... собачья кровь,— свистел он сквозь зубы.— Ты утром чтось плел? Скоморошьи пляски возле святого дела устраивал? Язык поганый распускал?..

Грязное Галактионово рубище треснуло, поползло с плеч. Сверкнули бельма закатившихся глаз, искоробился заросший дремучей волосней рот. Иконник еще раз встряхнул юродивого, потом брезгливо толкнул его, как рогожный куль, на землю. «Что взять со пса смердяще-

го,— зло оборвал он себя.— Язык ему, рабу нечестивому, вырвать. В яме творильной утопить...»

Феодосий одернул тонкосуконный зипун, поправил кожаный пояс, крытый серебряными бляшками, и зашагал в келью Иоасафа.

Знатный старец удалился в Ферапонтов монастырь, алкуя тишины, одиночества и покоя. Однако не обрел он здесь ни благочинной отрады, ни очищения духа от мирских забот и соблазнов.

Архиепископ новгородский Геннадий искал в Ферапонтовой обители сподвижников, слал Иоасафу послания, требовал созыва собора, на котором положен был бы предел смущенью умов. Открылась Геннадию в новгородской земле ересь великая и потребен ему был собор церковных иерархов, дабы «еретиков казнити, жечи да вешати».

Не в престарелом Иоасафе, а в молодом Иосифе Волоцком нашел Геннадий опору. Однако к голосу бывшего ростовского святителя прислушивались московские князья духовные. Позабыв прежнюю немилость, прислушивались и князья мирские.

Когда Феодосий вошел в келью, старец дрожащей рукою перелистывал чье-то житие. Иконник припал к руке старца, вкратце изложил заботу.

— Пойдем, сын мой, в храм,— смиренно ответил ему Иоасаф.— Пусть не томит тебя дух гневливый: в умной молитве да сопребывании обрящем утешение.

Феодосий помог старцу накинуть на плечи куколь — темную, грубой шерсти одежину. Подал посох и расторопно открыл перед ним дверь.

Шли они к собору медленно, беседу вели тихую, незаметную. Иоасаф часто останавливался, дабы передохнуть, а остановившись, несказанно сокрушался. Дескать, дрогнула вера на святой Руси и отступили многие от православья. Ереси плодятся повсюду, вольномыслие, как никогда, процветает. А все потому, что мужи духовные из печаловников земли русской превратились в государевых потаковников. Воли своей не имеют. Права позабыли. Сам первый Иосиф Волоцкий отступил от небесного, а пришел к земному. Вместо дел монастырских за государево дело живот готов положить. Стяжательством обуян Волоколамский игумен. Было бы жить чернецам по пустыням да кормиться рукоделием своим,— меньше было бы на Руси сомнений, меньше было бы кружащихся

ради стяжанья. А то отписал ему прошлым летом Иосиф, мол, ныне и в домех, и на путех, и на торжищах иноки да мирские людишки все сомневаются, все о вере пытают.

Замкнулся от подобных речей ярый иосифлянин Феодосий, словно в рот воды набрал. Внимал речам старца невежливо, неохотно. Ведал иконник: отцу Дионисию пришлись бы по сердцу поучения Нила Сорского,— вот с чьего голоса поет затворник Иоасаф. Ему, отцу Дионисию, от нестяжателей — честь да хвала. А Феодосию путь править с сильными, дело делать с разумными. И еретиков жечь да казнить надобно, коль скоро ереси веру колеблют. Задумали, вишь, иконам не молиться, в церкви не ходить. А Феодосию — по папертям побираться? С каликами перехожими в голос выть? Не бывать ересям на Руси! Зловерье новгородское железом каленым выжигать надобно, а не молитвами еретиков милостивить.

...Бледное солнце выглянуло из-за тучи. Задрожали на свету тополиные листья, зашептались травы, сильнее заверещали монастырские галки.

Иоасаф, поддерживаемый под локоть иконником, вошел в собор, где в обеденный час было безлюдно.

От купола до самого полу покрывала собор золотистая и бирюзовая роспись. Помосты да лестницы затеняли многие письма. Краснели кирпичом нелевкашенные своды и подпружные арки. Но ясен был чудесный замысел главы иконной артели. В четыре ряда шли письма: по нижнему ряду платы с дивными медальонами. Затем изображения церковных соборов и лики святых. Выше — акафист во славу девы Марии; по сводам да по лютернам — евангелические главы.

— Лепота!— еле слышно выдохнул Иоасаф. Феодосий, польщенный похвалой старца, стал разъяснять ему многомудрую хитрость стенного письма. Напирал иконник особо на «Вселенские соборы». Да и в акафисте деве Марии пояснил Феодосий мудрую богословскую сущность: через прославление богоматери славили писцы-иконники доброго пастыря Иисуса Христа. Поднаторелый в книжности Феодосий говорил живо, складно, велеречиво.

— Лепота!— только и вздохнул в ответ Иоасаф, утомившийся от речей Феодосиевых.

...На совет к преподобному Иоасафу пришли казначей, келарь, игумен монастырский. Приведен был и Галакти-

он, сникший, припрятавший под космы огоньки росомашьих глаз. Совет вскоре порешил: дабы не отвращать прихожан от храма, собрать какой есть в монастыре народ. И должен при всем том честном народе держать покаяние Галактион. Да так, чтобы на сердце впавшего в скорбь Дионисия, как разумели святые отцы, пролился свет благодатный. Ежели Галактион тому совету не внемлет, держать его в яме на железной цепи до скончания века.

По полудни во втором часу ударил колокол на звоннице. Густой медлительный гул поплыл над озерами, над лесами, над крышами крестьянских дворов, крытых лубьем и дранью. Возле паперти замелькали клобуки монахов, скуфейки послушников, войлочные мужицкие колпаки. На паперть, к главному входу, с которого мастеровые сняли леса, взошли преподобный Иоасаф, келарь, игумен. Из храма показалось надменное лицо Феодосия. Был он одет в рабочий балахон. Волосы повязал ремешком. Иные пособники с любопытствующим Володюхой теснились за его крутыми плечами.

— Братие!— торжественно начал игумен.— Иконная дружина старца Дионисия, преизрядного мастера из стольного града Москвы, заканчивает роспись в богоспасаемом храме. Ведомо нам: инок Галактион в речах и думах нечестивых своих покаяться хочет...

Но Галактион в разорванном, спущенном с плеч рубище стоял неподвижно.

И вдруг он запрокинул назад голову. Из-под бороды его заострился волосатый кадык. В горле что-то забулькало, заклокотало. Ноги стали дрожать, подгибаться: Галактион, не склоняя головы, медленно подымая руки вверх, грохнулся на колени. В голос запричитал какой-то чернец. Из ощеренного, с пенными закраинами рта Галактиона рвалась хриплая невнятица.

Феодосий холодно посмотрел на блаженного, повернулся и спокойно ушел в собор.

...Колеистый проселок, ведущий к Цыпиной горе, обветрился, зачерствел. Лишь в рытвинах омутами стояла вода. Дионисий ступал затравеневшей обочиной, иногда он переходил на проселок, где посуше. Мягкие татарские сапоги его забрызгались грязью, промокли, но Дионисий упрямо постукивал батожком в лад неторопливому шагу. Порывы ветра подхватывали его под зад, развевали полы

ряски, морщили воду в колеях, пока чистое небо не заблестело по всей дороге — и в глубоких колдобинах, и в малых лужицах, из которых воробью не напиться. Скрылась за спиной бревенчатая ограда Ферапонтова монастыря с надвратной, рубленной же из бревен церковью. Осталась за пригорком деревенька Лещево. Потемневшие от дождей избы сгрудились у проселка. А дорога все круче и круче заворачивала к Цыпиной горе, к Ильинскому погосту, обтекала замшелые каменья, ныряла в низины и снова взбиралась на крутые пригорки.

Мнилось Дионисию: идет он не сим хоженым-перехоженым проселком, а неким путем к некой высокой-высокой горе. С той горы из-за вечных туманов и облачных хлябей будет видна ему матушка-Москва. Бирюзовые ленты рек опоясали грудь земную. Легли к изголовью студеные моря-океаны. Вечнозеленым платом дубрав и полей окутаны плечи. Глядит Московия синими очами озер, глядит, не мигая. Пытает у него, у Дионисия, свою бусу, свою судьбу. А что ответит Дионисий, что изречет он? Путь его жизненный краток, но им же он и течет. Не дым ли да пепел житье его? Не томим ли он страстями, в коих изнемогает душа его? Не искал ли он утешенья в прилежном письме? Не предавался ли философской премудрости, книжному чтенью? Да истина открылась ему: «Путь сей краток есть... Дым есть сие житие».

Тюкает батожок по утоптанной тропке. Пришаркивая, идет Дионисий к Ильинскому погосту. Но как ни высоко, как ни жестко встают в душе его волны унынья — не может не видеть Дионисий божеской и земной благодати, разлитой окрест.

...Березовые рощицы выбежали к проселку. Разостлались по взгоркам ромашковые травостои, с мокрыми, басовито гудящими шмелями. Зазвенели в небе жаворонки. Они то падали, то взмывали в небесную высь, словно кто-то поддергивал их паутинкой. Густой, сладостный дух шел от старых пепелищ, заросших тополями. Дионисий втягивал запах свежей смолки и примечал, будто отпускает его телесная немощь, тверже тюкает батожок по земле. В такие тополя любил он забираться отроком, вырезать из веток свистульки. До сих пор обжигает губы горечь тополевой смолки. Бежит босоногий отрок за скоморохами, свистит, надув щеки, в свисток. То-то было радости. То-то было веселья.

Тюкает батожок по земле, которую от монастыря

к монастырю, от посада к посаду всю исходил Дионисий. На глаза ему попалась крупная, едва не в ладонь ромашка: солнышко, расцветшее у придорожного камня. Дивны дела твои, господи, дивны красоты твои, матушка-Русь! Погулял в молодости Дионисий по весеннему разнотравью у монастырских оград, у высоких крылечек. Расписывал стены соборов охрой желтой, как сердцевина ромашки, белилом белым, как ее лепестки. Ныне осыпалась голова снежной заметью: не стряхнуть, не вычесать из поредевшей гривы. А тогда сплетала ему Ориница венки из ромашек, целовала сладкой сладостью вишенной, надевала те венки на жесткие кудри.

Ах, дивны красоты твои, матушка-Русь!

Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, замешенный на корье сосновом, пил твое парное молоко. Встречал людей многих — князей в златотканых одеждах и святителей в бархатных саккосах, посадских в кафтанах суконных и служилых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых холопов в азямах да женок их в холстинковых сарафанах.

Многолюдна ты, матушка-Русь!

Светла и просторна площадь перед Успенским собором в Кремле. Да и ту заливает море людское. Вспомнилось Дионисию, как святили сей благолепный собор. Глаз не хватит — лица человеческие, пытливые. Москва — народ ожидает выхода великого князя Ивана Васильевича. Гремит сбруя коней серебряными да золотыми цепями. Попоны тоже звенят от серебряных бубенчиков, подвешенных к ним. В красных полукафтанах, в шапках, осыпанных изумрудами, выезжает на площадь государева стража. Но горит, как жар, в светлом убранстве сам государь Иван Третий Васильевич. На государе — крест алмазный, перевязь золотая, платно царское — атлас по серебряной земле, травы золотые, запястья жемчугами унизаны. Смуглолиц, темноволос князь и высок ростом. Посему горбится он в платне царском. Блистает гордым взором, глядит куда-то поверх толпы, поверх замоскворецких теремов. Но и с тех дерзких кремлевских высот не окинуть ему взором новые страны московские: рязанские, ярославские, двинские, заволоцкие, вятские, пермские... И все ныне единая Русь!

Ликованье в народе поднялось. Не московский удельный князь, а государь над всеми государями земли русской Москве — народу явился. Ей же, Руси, расти, молодеть и расширяться до скончания века.

Помнится, подступил к горлу комок у Дионисия, заблестели на глазах благодатные слезы. Вскрылила его сила народная, вскричал он вместе с толпами: «Слава пресвятой богородице— заступнице русской! Слава государю нашему!»

...Притомился Дионисий от неотступных видений, от неближней дороги. Спустился в овраг, поросший черемухой, испил ключевой водицы, осыпанной черемуховым снежком. Потом утерся полой ряски, присел тут же у ручья на камень-плакун, сложил крестом ладони на батожке, оперся подбородком, задумался.

Сколько он ни помнил себя — с великим жаром душевным писал богородицу. Едва, бывало, заслышит величавый глас: «Радуйся, чудо чудес, Одигитрие-владычице», как громом прокатится в душе похвальная песня — акафист в честь богоматери девы Марии: «Поющий твое рождество хвалим тя все, яко одушевленный храм».

На Руси со времен Калиты Одигитрия почиталась по многим церквам и посадам. Молились ей, заслышав частый ливень копыт татарской конницы, увидев дымы, палимые по окоему. Выходили с иконой навстречу татарве, да ливонцу, да немцу, да ляху, да иным агарянам, супротивникам русских людей. Бились насмерть: один бился с тыщею, два — с тьмою. И светозарной зарей сияла над воями Одигитрия, заступница за православных. Потому-то сладкие песнопения в честь богородицы неумолчно звучали в душе живописца. Мыслил Дионисий те песнопения высказать по-своему, иконным письмом, незамутненными, чистыми красками. Лазорь да голубень брал от неба, киноварь — от утренней зари, охру — от яркого солнышка. И немало он изощрился в своем ремесле. Немало вымыслил деисусов со праздники и пророки.

В Боровском монастыре со старцем Митрофаном, у которого был Дионисий в пособниках, расписали они храм Рождества Богородицы чудно вельми. Дивился на роспись великий князь Иван Васильевич. Запомнил государь молодого иконника, полюбил его за письмо, вещавшее о победоносной силе, о торжестве воинства христианского, а стало быть, и его, князя, могуществе.

И надо же было случиться такому диву. В лето 1482-е сгорела на Москве церковь каменная святого Вознесения. Пожар вспыхнул ночью, внезапно. Прибежавший церковный сторож кинулся в храм, охваченный полымем, дабы спасти Одигитрию, чудную икону греческого письма. Вынес сторож из церкви одну обгорелую доску. Жаром спалило лик богородицы, повредило кузень — дорогой серебряный оклад. Ропот пошел по московским дворам и подворьям, по торговым рядам и причалам. Пребывали в страхе многие люди; неспокойно жилось им в русской земле. Тем же летом крымский хан Менгли-гирей с силой своею взял Киев, много там пакостей учинил, многих в полон увел и с женами их, и с детьми. Невозможно было Москве — народу жить без вознесенской святыни. Тогда стали искать наилепшего иконника, который смог бы на той же доске в том же образе написать Одигитрию. И не было изящнее и хитрее в русской земле живописца, чем Дионисий. В долгих трудах пребывал молодой иконник. А когда налил на ладонь олифы да протер той теплой олифой письмо — ахнули миряне и иноки: Одигитрия была краше прежней, но и ничуть не отличима от греческой прориси.

С той обгоревшей и заново писанной иконы окружили Дионисия еще большим почетом при княжеском дворе, при московском митрополичьем престоле. Летописец, пересказавший случай с пожаром, с похвалой помянул Дионисия, дабы пребывал он незабвенно «в последних родех».

Сам Иосиф Волоцкий, князь церкви, заказал и щедро оплатил иконнику роспись Волоколамского монастыря. Люди знатные, наипервейшие на Москве богатеи, шли к нему толпами: льстились сделать вклад в монастыри светлыми образами письма Дионисия. Но всех более ласкал живописца государь Иван Васильевич Третий. Стал Дионисий жалованным иконником, государевым любимцем.

Но лучше бы пропадать Дионисию в безвестности, жить в скудости, в небрежении. Лучше бы ему быть скромным мирским писцом, ходить по Руси с вольной артелью, писать церкви по собственному разуменью. Добро плавал Дионисий по морю житейскому, ясными и тихими ветрами несло его ладью к берегу изобильному. Однако грянула буря вражья, и сотрясло ладью, как лист. В одночасье занемог он неутолимой скорбью. Неве-

сел был Дионисий, необщителен. Примечал он на княжеском дворе прежде непримеченное: княжедворцы предавались корысти да сладострастию. Сам князь был мстителен и лукав. Видно, с умыслом прозвал его Горбуном родной отец, князь Василий Васильевич,— мучим был злобой и надменной гордыней сын Иван.

Стал уставать Дионисий от великокняжеских ласк, от непомерных Ивановых притязаний. Холодно стало его письмо, зело мудрственно. Отблесками славы, а не самой светозарной славой дышали росписи и богомазные лики. Где должно было Дионисию с разумом пользоваться художеством, дабы продлить государю милости промысла,— он же толпы мирские упоенно писал. Великий князь встревожился. «Да стоит ли писать живых и мертвых на святых иконах молящих,— пытал он у духовника Вассияна.— Пишут же теперь и цари, и князья, и святители, а допережь всего пишут народы, которые безвестны суть». Худ стал Дионисий для великого князя. А то лучше были иконники — холуяне, коих немало привезла с собой грекиня Софья Фоминишна, вторая жена московского князя?

Тут-то и случилось быть письмам старца Иоасафа. Сулил Иоасаф забвение всех скорбей в лесах Ферапонтовых. Хвалил непомерно новый храм. Прельщал немалыми выгодами. Так-таки тяжко было пускаться Дионисию в неведомый предел, и долго бы он еще раздумывал, если бы не настоял сын Феодосий.

«Истинное иосифлянское благочестие должны мы нести, как крест подвижники,— убеждал он отца.— Та земля Заволоцкая была пятиной великого Новгорода, зараженного ныне зловерьем. Самый край государства Московского теперь Заволочье. Быть там праведникам московским и московским святителям. Быть там власти князя московского во веки веков».

Только не сына послушался Дионисий, а послушался он своей тайной думы. В Заволоцкой земле, вблизи от Ферапонтова монастыря, находилась некая заветная пустынь. Возмечтал Дионисий у великого Старца той пустыни умягчить сердце покаянием, вылечить душу безмолвием. Возмечтал он победовать Старцу на жестокосердие московских властителей. Выискивают те властители крамолу да смуту, как волки степные, по торговым рядам, по монашеским кельям, по народным гульбищам. Людям, на язык вольным, умом смущенным, в Новегра-

де колпаки берестяные на головы надели и те колпаки на головах сожгли, а других в темницы бросили, а другим навечно кляпами рты забили.

Был Дионисий от роду незлобив, мягкосерден. Всю жизнь он бежал насилья над ближним, страшился крови, пролитой единоверцами. Ни поносить, ни укорять не хотел почтенный иконник, а только искал справедливости и благолепия в мире.

И хотя скиты среди непроходимых топей и малых берез были для мирских людей маловходны, одолеваемый горестными печалями Дионисий тронулся в путь в сопровождении левкасчика Еремея.

Снег в ту весну долго не таял. Лежал он смятый, серый, похожий на худо простиранный саван. Земля сквозь лунки, желтевшие летошною травой, дышала трудно. При редких порывах ветра еловые лапы скреблись по насту, роняли на снег древесную прель и труху. На вывороченных буреломом корягах мерно покачивались сухие комья земли. Коряги взывали жутко и страшно к безликому небу.

Монастырские дроги, на которых бочком сидел Дионисий, сильно стукались о коренья, иное летели книзу, иное по ступицы завязали в болотной жиже. Еремей, почмокивая на лошадь, дремотно валился на плечо живописца, вздрагивал, озирался и снова раскачивался в неодолимой дреме. С тоской и болью глядел Дионисий на разметанный ветром, неприбранный, гибельный лес. Думал он, что скажет афонскому Старцу, найдет ли в его речах утешенье, уверует ли в исцеленье мирских печалей, измаявших сердце.

Еремей меж тем очнулся от дремы, подобрал вожжи, прикрикнул на лошадь,— дроги резче стали встряхивать седоков. Заструился мелкий березняк, потом ельник — реже, реже,— дроги выскочили на болотистую луговину. Скиты пустыни были редко раскиданы по топкому берегу речки. Лед вздулся, посинел, пошел глинистыми потеками и полыньями. Только ветхая часовенка приметно белела среди скитов. На слабом солнцегреве возле часовни виднелся еловый настил. Дионисий с левкасчиком, не видя окрест ни единой души, подошли к настилу, застыли в молчанье. В груде грязного, дурно пахнущего тряпья лежал умирающий инок. Борода его свалялась в ржавые клочья, смертные тени легли на щеки.

Дышал он хрипло, тягуче. Иссиня-бледные губы прилепились к белым зубам.

Сердобольный левкасчик торопко сбегал к подводе, достал оловянный ковшик, зачерпнул талой воды из канавы и дал напиться монаху. Тот припал к ковшу, прозрачные капли скользнули по бороде, глотки были судорожны и часты.

— Ай, не дело затеяли, миряне, не дело...

Дионисий с левкасчиком враз оглянулись. Перед ними насупленной тучей высился Старец. Был он осанист и худ. Седая с прозеленью борода свивалась косицами, стекала к лыковой опояске. Рука властно опиралась на тяжелый дубовый батог.

— Блажен, кто возненавидел сей мир и славу его. А вы восхотели земную юдоль инока Поликарпа продлить. Вот я вам и вещаю: неполезное дело затеяли вы, миряне, в пустыне здешней.

Старец говорил глухо и строго. Он возвышался над мастеровыми, как сухая тростина над зеленой осокой. И коль скоро Дионисий ехал сюда, погруженный в смиренье, в ожидание целительных откровений, он не сразу дал власть обиде и гневу.

— Не дело другое: как псу, валяться монаху в смрадном тряпье. Он же еще человек,— голос Дионисия был смиренен, но тверд. Тайная горечь метнулась из глаз, притененных тяжелыми веками.

— Что сие человек?— откликнулся резко отшельник.— Вместилище немощей плотских? Мразь земная? Червь, копошащийся у подножия горы? Все едино: он тленен. Ну и пусть под неслыханной мукой, под гнетом, под страхом смиряет телесную плоть.

— Человек — вместилище светлых надежд,— столь же резко ответил ему Дионисий.— Даже в зловонном тряпье он питает надежду на спасенье души, коль не плоти.

Качнулся в суровом молчанье отшельник, повернулся узкой спиной к скорбному ложу и пошел от пришельцев к часовне.

Так-то с афонским Старцем повстречался отец Дионисий, так-то вступил с ним в беседу, мечтая найти утешенье. Зло обличал его Старец, поил отравой, пахнувшей тленом. Поносил за смятенность ума, за земную сердечную боль.

«Мудрствуешь о высоком,— наставлял он сурово,— а блаженство отверг, предавшись мирским ремеслам.

Жалеешь убогих и сирых, оскорблений не терпишь, поносишь духовную власть предержащих, не чтишь пастырей, коим открылось всеобщее предначертанье, — много мнишь о себе, славы ищешь земной, а не вечной!»

Что еще говорил ему Старец, Дионисий не помнил. Только, может, острее, чем прежде, он понял одно: вознесенный в гордыне затворник мнил, что ключи от напастей, от бед человечества у него, у целителя, в левой ладони, а правая сжата в кулак — и перст указующий тычет в него, в живописца, как в несмышленыша, как в греховное, неспособное к разуменью дитя.

Ах, как тягостно, как невозможно мучительно было тогда живописцу. Круги багряные вспыхнули перед глазами, забесновались черные мухи, сердце сжалось, дыханье стеснилось в груди. Упованье его рушилось, словно занос над обрывом, увлекая в паденье его, Дионисия, разум и волю. В глаза, в самый зрачок был воткнут старческий перст. Желтый перст все заострялся, тончал, как коготь хищной птицы, и казалось, вот-вот вырвет очи, зальет лицо сукровицей и слезами, погрузит в кромешную, вечную тьму. И здесь, под безликим и плоским небом, под смрадною мешковиной будет лежать не безвестный монах, а сам, Дионисий, лежать, погруженный в тупое молчанье, в безысходную боль.

На обратной дороге из пустыни древней заприметил Дионисий лесную поляну. Там вековую сосну повалило ветром: как видно, лесной понизовый пожар иссушил корни, выжег пламенем сердцевину. И хотя еще зеленела верхушка, был черен и пуст, словно короб, в темных подпалинах ствол.

Вот таким опаленным, выжженным, опустошенным ощущал себя Дионисий после встречи со Старцем. Гулко было внутри и пусто, как в подземелье. Отвращенье терзало, когда он брался за кисти, разводил олифу и краски. Бежал Дионисий людей, бежал живописной работы, но повсюду он нес пустоту, всюду зрил перед взором надменный указующий перст.

...Очнулся Дионисий от дальнего колокольного звона. Прислушался: звонили в монастыре. Подивился он тому внезапному звону, да и забыл вскоре. Встал иконник с замшелого камня, размял занемевшие ноги, вышел на проселок, снова затюкал своим батожком. Теперь уж недалече до Ильинского погоста.

Дорога вбежала на ладное возвышеньице, и тут-то, от двора попа Филарета, открылось лесное озеро, прозванное, как и гора, Цыпиным. Много повидал Дионисий чудных чудес на земле, но краше этого озерка вроде бы и не видывал. Низкие берега его покрыла черемуха, а на взгорках росли березы, да темные ели, да высокие сосны. У самой воды приютился храм Ильи Пророка. Храм — деревянный, одношатровый, старинной плотницкой работы. Его чешуйчатая, крытая лемехом глава отражалась в неподвижной воде, и чудилось Дионисию, что из глуби вод вздымается еще одно дивное строение, которое колеблется на воде легким платом, течет к другому берегу, рвется отраженными главами.

Дионисий обогнул церковку, заглянул в сторожку Олехи-послушника. Там было пусто. Тогда он сел в тени старых берез, снял камилавку, вытер вспотевший, с большими пролысинами лоб. В кустах редко попискивала синичка. Было так тихо, что доносился всплеск рыбы из прибрежной осоки. Гудели пчелы, облетая душистые соцветья. И эта тишина, прогретая солнцем, пропахшая черемуховым цветом, освеженная озерной водой, захлестывала человека, убаюкивала его, заставляла в полудреме закрывать глаза.

Дионисий бездумно щурился на ослепительно сиявшую гладь озера, наслаждаясь давно ожидаемой радостью тишины и покоя.

Из-за высокой осоки вынырнула лодка-долбленка. В лодке сидел послушник, орудовавший кормилом. Он обрадованно помахал рукой отцу Дионисию, который только молчаливо улыбнулся в ответ: любил живописец послушника за открытый, веселый нрав, за ясный ум и понятливость. Олеха в Дионисии души не чаял. Сдружились они зимними вечерами, когда гостевал живописец у попа Филарета. Зимой иконники безвыходно сидят по избам поселян, по монашеским кельям, пишут иконостасы для соборов, ждут красного лета, чтобы вновь приступить к стенной росписи. Так и Дионисий жил затворником на Ильинском погосте, писал иконы

для вологодских, двинских, белозерских монастырей. Но и в летнюю пору искал он на Цыпином озере душевной отрады, утешенья в мудром молчании. Олеха-послушник привык к неторопливому старцу, помогал ему растирать краски, левкасить липовые доски, следил, чтоб не прохудилась у иконника обутель и одетель.

Челн ткнулся в илистый берег. Послушник встал, подоткнув ряску, выбросил из челна верши, выкидал прямо в траву окуней и плотвичек, подошел к сидящему живописцу.

— А что, отец Дионисий, не заварить ли нам ушицу? Вкусна ушица из сладкого окунья...

Дионисий, будто не слыша, по-прежнему щурился на солнце, перевалившее за полдень, идущее к заходу. От солнечного тепла морщины на лбу его разгладились. Лицо обмякло, подобрело. С полузакрытыми глазами был Дионисий благостен, как библейский старец, но стоило ему вскинуть веки, как в глубоко запавших глазницах начинали поблескивать молнии. Они озаряли лицо тревожным светом, искушающей, пытливой мыслью. Прежде чем ответить, Дионисий долго смотрел на вопрошавшего, словно пытал его тайной, пронзительной до дрожи мыслью, ведомой одному живописцу, и, только встретив взгляд, отвечал.

— Добро, мой сын, добро,— будто очнувшись, промолвил Дионисий.— Только скажи: нет ли в сторожке цки липовой, хорошо пролевкашенной, да яиц, да кистей.

— Как, отец Дионисий, не быть... Я единым дыхом...

Живописец благодарно взглянул на послушника и снова погрузился в глубокую думу.

С самой зимы не знал Дионисий такого молодого, до суши в горле порыва, такой ярой потребы писать. Хотелось ему немедля взять в руки тоненькую, как стебелинку, кисть и замереть, затаиться перед первым мазком.

Запыхавшийся Олеха расстелил холстинку, развел в скорлупках нежный яичный желток, добавил соли, растворил краски. На липовую доску головенкой — березовым угольком — Дионисий нанес знамение — первую прорись: лик под мафорием, тонкую шею, кисти рук. Послушник, видя, что Дионисий при деле, ушел разводить костерок, чистить окуней и плотвичек.

Доска была махонькой, всего в две ладони, но Дио-

нисий писал деву Марию с тщанием и любовью, нет, с душевным трепетом, словно то был средник великого деисусного чина. Он положил на левкас серебряный тон, потом высветлил лик, потом положил пробелы.

Закатное солнце клонилось к Цыпиной горе. Оно поило округу золотоносной пыльцой, крыло сосны кованой медью, молодые березки — слабою желтизной. Небо над живописцем было светлой — до головокружения — лазури, но Дионисий впился взглядом в доску. Он отрывался только затем, чтобы осторожно макнуть кисть в скорлупу и снова сделать легкий движок.

Тонко-тонко запел первый комарик. В кустах, у самой воды, выщекотал соловей. Из глубины заозерного бора, сквозь скользящие волны вечернего света, летело гулкое кукованье. И тогда, казалось, стихало тренькание, звенькание, попискивание, перепархивание в прибрежных кустах, чтобы, едва смолкнет голос кукушки, снова слиться в согласный победительный хор. Озерцо, блестевшее слюдой, было окольцовано тем многоголосым гомоном птах: перед заходом всякая тварь славила день, проведенный в трудах и заботах.

...Дионисий со вздохом облегчения отпрянул от поставца. Подошел Олеха-послушник, заглянул через плечо и не мог оторвать взора от дивного образа.

Нежен и сладостен был лик девы Марии. Сросшиеся на переносице брови гнулись крутыми дугами. Уголки рта, писанного черленью, теплили душевную доброту и сердечность. Но чудны вельми были очи Марии: вся радость и печаль мира была в ее голубых очах. Очи жили,— в глубине их светились два крохотных животворящих пламени.

— Отец Дионисий, то есть Одигитрия?— простодушно спросил послушник, когда насладился невиданным зрелищем.

Прищурился мастер, разглядывая творенье сердца и великого живописного дара, словно откуда-то из дальней дали.

— Нет, Ориница,— коротко молвил в ответ.

И вздохнул. И подумал: как и младшего сына, однако совсем по-иному, одолело его мирское письмо. Мало божественного в новом лике, а посему никто, кроме Олехи-послушника, не будет видеть писанный в жару и душевном ознобе образ Ориницы.

Не знал того послушник: в неведенье возмечтал он, как затеплится свеча перед иконой, как в жаркой молитве он забудет треволнения прелестного и мимотекущего света сего. Ах, Олексей, Олексей, не мечтай, взгляни еще раз, запечатлей в простодушном сердце своем Ориницу и утешься.

Долго не мог охолонуть Дионисий от сладостных, пережитых им за писаньем волнений. Они же радовали его целительной силой, просветленьем ума, изнемогшего в ожидании тьмы кромешной. И теперь на закате, у светлой озерной воды, закончив невиданный образ, Дионисий дивился мудрости слов, изреченных содругом его Митрофаном. Голосом тихим, как шелест вечерней листвы, вещал Митрофан: «От трудов своих праведных будешь иметь ты печали многие, но в тех же трудах найдешь великое утешение».

В багряном огне заката, под сенью дуплистых берез, хлебал Дионисий с послушником Олехой окуневую уху. Навариста и воистину сладка была ушица. Обжигала рот, веселила тело. Добрая истома разливалась от нее по рукам и ногам, и не было сил встать с приозерного луга, пойти в сторожку, которая до притолоки была забита душистым сенцом. На том молодом, духовитом сенце крепко, как в дни первой молодости, спал Дионисий. Снилась ему Ориница в ромашковом полевом венке. Смеялась зазывно, лукаво. Манила к себе. Звала.

Когда проснулся иконник, в морщинах щек не высохли слезы. Лежал он в сторожке, не открывая глаз, боясь вспугнуть отсветы сновидений. Потом встал, надел ряску, обул татарские сапоги, просушенные Олехой-послушником, и задолго до первого луча пустился в обратный путь, в Ферапонтову обитель.

На севере летние ночи светлее зимнего дня: малиновая заря сливается с нежно-розовым восходом, и свет вечерней звезды во всем подобен свету звезды утренней. В том нежном розовом озарении густые травы сникают под тяжестью скатных жемчугов: роса серебрится на травах тускло, дымчато. Пичуга выпорхнет на проселок, попрыгает, попьет, сладко прижмурив глазок, из чаши придорожной мать-и-мачехи

и вспорхнет с тонким писком. Так было и в ту белозорную ночь.

Высоко и прохладно встало над Дионисием небо. Шел он споро, но неторопливо, как странник, привыкший к долгой дороге. Вскоре показалась деревенька Лещево. За Лещевом, в низке, где вода подступила к самой обочине, от берега отошла рыбачья лодка. На невозмутимой глади она оставляла долгие мерные круги. Гребец, налегавший на весла, сказал вполголоса напарнику: «Спел бы ты, Федюха, отвальную?..» Тот, сидя спиной к Дионисию, что-то ответил. Гребец рассмеялся и снова налег на весла. Лодка терялась, таяла на глазах, как вдруг над неподвижной водой, отражающей звезды, и дальний синеющий бор, и светозарное небо, полилось, заплескалось:

Ах, плавала лебедушка по морюшку,
Плавала белая по синему,
Ах, да, плававши она, лебедушка, воскликнула
Песню лебединую последнюю...

Защемило сердце у Дионисия от молодого чистого голоса холопа, от его протяжного зова, всколыхнувшего дрему рассвета. Вот и лодка скрылась в озерной дали, а голос певца все еще растекался над водной ширью. Дионисий постоял, долгим взором, будто прощаясь, оглядел земные просторы и стал подыматься в гору к воротам монастыря.

Когда он вошел в обитель, прямо перед ним воссиял благолепный собор. Белокаменные стены чуть порозовели от рассветных лучей. Глава парила в утренней голубизне. Дионисий медленно приблизился к лестнице, и тут-то он увидел то, что трепетно ожидал, к чему стремился с такой нетерпеливостью, на что надеялся, о чем думал в тоске и неотступной кручине, но что, однако же, поразило его тем сильнее и глубже, чем горше были его сомненья и ночные страхи.

В прозрачном воздухе во всей первозданной чистоте красок предстала перед ним роспись главного входа. Высоко к деревянному скату вознесся «Деисус». Перед престолом сына богоматерь смиренно молилась за род людской, за всех страждущих и скорбящих. Ниже, по правую и левую руку, в росписях были представлены

«Рождество богородицы» и «Ласканье младенца». Еще ниже — два ангела. Левый ангел на дорогом пергаментном свитке писал имена вступающих в храм. А по самому низу развевались два белых плата с крупными медальонами посредине.

Какой радостью, миролюбием и кротким согласьем веяло от «Рождества богородицы» и «Ласканья младенца»! Роженица, праведная Анна, полулежала на широком ложе. Голубое одеяло прикрывало ее. Служанка в зеленом хитоне подавала Анне питье в золотой чаше. Чуть поодаль стояли две соседки: одна с высокой прической, в розовой накидке говорила что-то другой, а та держала в руках сосуд и внимала ей вдумчиво и спокойно. Внизу, у купели, девушка пробовала воду, тепла ли вода. Ее подружка держала на коленях младенца.

А за сей дружелюбной, погруженной в светлое умиротворенье семьей, за палатным письмом с портиками и колонками голубело такое высокое, такое чистое небо, что отблески его, казалось, падали на кирпичи галереи.

Понимал Дионисий: дерзкий вызов бросал он времени, веку. Он бросал свой вызов братоубийственным войнам, нечестивым властителям, всем, кто сеет раздоры и муки.

Вопрошал Дионисий: «Так ли жить надо, люди?» Отвечал он: «Вот так надо жить вам: постигайте счастье привета и ласки, доброты и семейной отрады. Встречайте рожденье младенца с любовью, любите друг друга, как Анну любил Иаким, как любит вас всех дева Мария».

Восходил Дионисий, озаренный лучами, на широкую паперть. Он хотел увидеть, нет, он услышать хотел, как звучит его стенопись в Рождество-богородицком храме. Вошел старый иконник под гулкие своды. Вошел и закрыл на мгновенье глаза. Послышался слитный гул молящихся. Дыханье людских множеств витало в соборе. Шелест парчовых риз, звон браслетов, бряцанье мечей окружили иконника. Но, заглушая шорохи, вздохи, звоны, молитвы, грянул акафист: «Радуйся, чудо чудес, Одигитрие-владычице».

Дионисий открыл глаза. Вроде бы все так и было: текли людские толпы, парили праведники в небесной лазури, сидели, едва прикасаясь к седалищам, мудрые старцы. Однако акафист звучал приглушенно. Лик бо-

гоматери, повторенный множество раз, был спокоен. Не ласканье, не умиленье являл он — одну величавую отчужденность. Но толпы людские текли и текли в дорогих одеяниях, в рубищах, в легких хитонах, в воинском позлащенном убранстве. Взвивались на крутые горки кони волхвов. Прорастали болотные травы. Рыкали диковинные звери. Журчали хрустальные родники. И снова роспись сплеталась в янтарно-лазоревую многовещанную вязь, в которой все время тревожно, настойчиво звучал вишневый мафорий девы Марии и отдаленно витала Галактионова тень.

Близко к полудню Дионисий спустился со стремянки, на которой стоял с утра, расписывая «Николу» в дьяконнике.

— Феодосий,— позвал он сына.— Как кончим роспись собора — на софите северной дверцы крупным уставом напишешь: когда подписан сей храм...— подумал, потом пояснил:— И кем...

Феодосий не скрыл удивления:

— Для чего, отец, сие дело?..

— Дабы потомки не променяли наших простых речей на краснейшие,— ответил ему Дионисий, пошел к стремянке заканчивать поясного «Николу», остановился.— Дабы не были их сужденья вне истины.

МЫЗА ПАВОЛА

Повесть-воспоминание

Не было слышно ни птичьего писка, ни человеческого голоса. Сквозь кустарник, прикрывавший меня сверху, струилось осеннее солнце. Узкая лодочка ивового листа, покружившись, мягко упала на воду, бокомбоком поплыла в сторону залива, и я долго следил за ее беспечным, легким скольжением. Потом из оттопыренного кармана достал портянки, развернул их, пошаркал коричневые ступни друг о друга и, склонившись к воде, стал полоскать.

Расслабляющее чувство покоя и лени охватило меня, когда я прилег на затравеневший песок. Закрыв глаза локтем левой руки, правой перебирал песчинки, то сгребая их в груду, то прихлопывая ладонью...

— Лед, а не вода, товарищ младший лейтенант!

Я приподнялся на локтях и, щурясь от солнца, долго приходил в себя. Только что подо мной был деревянный настил — в щели сонно плескалась речная волна. Высоко в небе, над светлыми куполами собора, кружились стрижи. Взвизгивали и хохотали девчата — мальчишки будто ненароком норовили столкнуть их в воду. Я даже почувствовал вкус слюнки, застывшей в уголке рта, и сладкое, дремотное томление в молодом, обласканном ветром и солнцем теле.

Наконец я сел, крепко потер лицо руками и потянулся за папиросами.

Жабчиков — мой связной, широкогрудый и приземистый солдат, развешивал на кустах мокрые гимнастерки.

— Мин, говорили, натыкано...

— Да нет... Я смотрел — не видел.

Говорить со сна не хотелось, и я, уставившись на слоистый дымок папиросы, потирал зябнувшие ноги, отголосками переживая виденное во сне.

...В то лето мы часто встречались на мостках лодочной станции. Хорошо было, не отжав трусы, не обсохнув как следует, забраться в старинный, заброшенный собор, где полустершиеся письмена и лики богов окружали нас холодным безмолвием. А потом снова сбежать к длинным, дощатым мосткам купалки и, отмахав саженками до плотов, которые медленно тянулись за буксиром, лечь на теплые, шероховатые бревна и следить, как скользит, меняется, отступает назад набережная родного города. В лад с этим медленным скольжением причалов, лодок, церквей с тусклыми куполами, старых дворянских особняков можно было повторять особенно полюбившиеся в то лето стихи: «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный...»

Мне стало грустно внезапной, беспричинной грустью, в которой я не знал, кого и винить: себя, или воспоминания, или эти стихи... Одиссей возвратился... Возвратился...

Жабчиков присел рядом со мной к валуну, вытянул ногу, пошарил в кармане, затем, перевалившись на бок, залез в другой карман, достал алюминиевый портсигар, кресало, трут, газетку, потертую на сгибах, и, разложив все свое хозяйство на песке, неторопливо, но ловко лизнул край газетки, прикурил, глубоко затянулся.

— Младший лейтенант, а как насчет песен?— Связной заинтересованно подождал, потом продолжил:— Вот я дак и-и-их как люблю.— И тут же заперебирал в воздухе короткими пальцами, затилиликал, забавной скороговоркой зачастил:

Эх, тень-тень-тень,
Выше города плетень...

Я чувствовал, что надо бы остановить связного...

Но в обесцвеченной, выгоревшей дали родился и, нарастая, стал стремительно приближаться к нам протяжный гул. На другой стороне залива бойко зачастили зенитки. Небо быстро пятналось комками разрывов, которые, лохматясь и тая, стекали в сторону моря.

Внезапно кто-то с силой рванул блеклый коленкор

небосвода. Еще и еще раз. Мы с Жабчиковым вскочили на ноги. За стремительной каруселью воздушного боя было трудно уследить: от слепящего солнца, от напряжения черные мухи плыли кругами. Только по ожесточенной перестрелке, по суживающемуся до пронзительного воя гулу моторов мы оба понимали, что там, в небесной и недавно такой беспечной вышине, идет схватка не на жизнь, а на смерть.

Едва приметная струйка дыма за одним самолетом стала распускаться в черный, безобразно клубящийся хвост. Раздался взрыв — самолет упал на другой берег залива. И под этой жирной полосой, перечеркнувшей небо, в этом затихающем треске пулеметов и реве моторов сразу же вспыхнул белый купол парашюта. Его медленно сносило к морю. У меня захолонуло сердце: я скорее почувствовал, чем понял разумом, как беспомощен сейчас летчик, раскачивающийся над мертвенной чашей залива.

Черная тень чиркнула по берегу: самолет с бело-синими кругами на крыльях разворачивался для атаки. «Что он делает, что он делает, гад?!» «Мессершмитт» дал длинную очередь — белый одуванчик пыхнул, свился жгутом — черная точка навсегда скрылась в колючесверкающей дали залива.

Волглая гимнастерка никак не лезла на плечи. Я спешил, натягивая ее, торопливо запихивал погоны в карманы галифе, охватывал себя ремнем.

— Молодой летун-то был... Вишь, как его срезали.

Жабчиков стоял рядом, уже одетый по форме.

— Да замолчи ты! — оборвал я связного и, хватаясь за кустарник, начал подыматься по береговому откосу. Из-за ближней высотки ударили гаубицы. Возле устья канала разгоралась ожесточенная перестрелка. По частой и беспорядочной стрельбе можно было понять, что не мы одни, затаившись, следили за исходом воздушного боя. Все побережье, изрытое траншеями, заваленное валунами, увенчанное зелеными шапками сосен, видело, как «мессершмитт» в упор расстрелял летчика, выбросившегося с парашютом.

Запыхавшись, мы вышли на тропу, перевалили через высотку и спустились к рокадной дороге. Кусты на обочинах были тяжелы от пыли. Таким же густым слоем пыли устилалось дно придорожных канав. Иногда там взбухал бугор, желтел лошадиный оскал: из ка-

нав тошнотно пахло смертью. Навстречу нам стали попадаться кучки солдат, идущих вольным строем. Протарахтела, обгоняя нас, походная кухня: малиновый жар сыпался из подтопка. В некоторых местах скалы, нависшие над дорогой, были иссечены осколками, и тогда из канав особенно сильно тянуло тленом.

На пологих склонах среди гранитных глыб и молодых сосенок стояли повозки с задранными вверх оглоблями, зачехленные пушки, самоходки, затянутые брезентом. Свежим распилом посвечивали накаты блиндажей. Между ними сновали солдаты с котелками. Связисты на длинных рогатинах подымали нити проводов, цепляли их за сучья подлеска. Девушка в военной форме полоскала в тазу белье. Какой-то лысый здоровяк мылся рядом из рукомойника, прибитого к стволу сосны.

В этом огромном таборе, не видимом ни с моря, ни с воздуха, война стала привычным бытом. Даже брусника среди валунов была истоптана и обобрана.

Жабчиков молча следовал за мною, больше не вступая в разговоры, размышляя о том, что техники понагнали не иначе как перед наступлением и что на ужин повар будет опять душить сушеной картошкой. Он даже расстроился, вспомнив эту картошку, похожую на серую бумагу, небрежно брошенную поваром на дно котелка.

Еще издали мы услышали глухие, как по пустым бочкам, удары колотушек: саперы конопатили лодки. Потом донеслось мерное вжиканье пил, потом потянуло чадом батальонной кухни и еще чем-то непередаваемо обжитым, чем всегда отличаются стоянки людей среди смолистых запахов сосны и сухого дурмана сена.

Все эти приметы, звуки, запахи мирного человеческого жилья волновали меня каждый раз, когда я подходил к своей саперной части. Они напоминали мне то, что я любил с детства,— просмоленные лодки перед путиной, костер на берегу, свежий ветерок, обдувающий грудь. Они рассеивали мои прежние представления о людях войны, о самой войне.

А война была не сравнимой ни с чем. Но она была жизнью, она была наполнена житейскими делами и заботами. И в этом главном своем ощущении я был, пожалуй, прав. Но я не знал, что жизнь на фронте идет рывками: то уплотняется до мгновений, то растягивает-

ся на неопределенно долгий срок. И все-таки неизменным, сопутствующим каждому твоему движению, каждому твоему дыханию было и оставалось одно — чувство ожидания, бесконечное, томительное, неотступное ожидание чего-то такого, что ты заранее не знаешь и знать не можешь, что существует *вне тебя, вне твоей воли, но* существует реально. И ты обязан был ждать это что-то, ты должен был уметь ждать и ты ничем не должен был высказывать своего нетерпения, своего недовольства.

Бывалые солдаты умели если не заглушить, то хотя бы притупить это неотвязное чувство. В свободную минуту они спали про запас, мастерили всякую хозяйственную мелочь — наборные мундштуки, портсигары, ножи, зажигалки, подолгу протирали и смазывали оружие, пересчитывали патроны, укладывали нехитрый солдатский скарб в вещмешки — по-фронтовому «сидоры», да и вообще постоянно были при деле. А я не умел ждать, не умел распоряжаться временем, не умел занимать руки, поэтому, когда оставался наедине сам с собою, чаще, чем обычно, вспоминал родной город, не понимая, что же происходит со мною...

Всего три месяца тому назад я перемахнул через борт фронтовой полуторки и спрыгнул на пыльную обочину — так началась моя фронтовая одиссея. За обочиной громоздились потрескавшиеся замшелые валуны. Многие из них были подрыты, края лазов и траншей засыпаны пожухлой хвоей, позеленевшими автоматными гильзами. Редкая сквозная тень сосен падала на эти камни, кое-где хранившие отметины минометных осколков. Высоко синело июньское небо. Я пошел вдоль обочины — и сразу же наткнулся на солдатскую могилу. Сосновый столбик истекал янтарной смолой,— капли длинно тянулись по столбу, поблескивая в лучах солнца. Жестяная звездочка была в пятнах ржавчины. Песок на могиле осел. Я постоял у безымянного холмика и беспечно зашагал дальше, навстречу глухому, неумолчному гулу передовой... Однако прежде чем попасть в батальон, я еще две недели проторчал в дачном поселке, где были сосредоточены вспомогательные службы дивизии, где находился санбат и наш офицерский резерв. Прямо со школьной скамьи попал я в военно-инженерное училище и теперь больше всего боялся, что

война закончится без меня. Вот почему резерв был покинут с легким сердцем: наконец-то меня откомандировали в отдельную саперную часть, расположенную на берегу залива. Труднее было расставаться с дачным поселком, в котором — пусть изредка, пусть мельком — я мог видеть Асю.

На вновь прибывшего лейтенанта с новенькой кирзовой кобурой и кирзовой сумкой на боку, в которой хранились письма матери да лежала зубная щетка, в батальоне никто не обратил внимания. Я сидел возле штабного блиндажа, дожидаясь кого-нибудь из начальства. Если что и останавливало проходивших мимо офицеров, так это брезентовые сапоги — в летнюю пору они ценились среди фронтовиков. Знали бы они, что не только скромные подъемные, но и пару теплого белья в придачу я отдал за эту обновку...

Наконец меня вызвал начальник штаба батальона капитан Осоцкий. Кадрового военного, каким я себя уже считал, трудно было поразить армейской выправкой. Но Осоцкий, не скрою, поразил меня. Он стоял возле стола, заваленного бумагами, и строго поблескивал стеклами очков. Вежливым тихим голосом расспросил меня об инженерных курсах, о выпускных баллах, наконец, о родных.

— Значит, отец погиб и вы остались с матерью одни?— подытожил он наш разговор. Помолчал, прикинул что-то про себя и предложил мне для начала познакомиться с жизнью батальона. Это означало, что взвода я все-таки не получу, а буду прикомандирован к штабу для особо важных поручений. Осоцкий так и подчеркнул: для особо важных. Раза два меня действительно посылали в штаб дивизии с пакетами. Остальное время я был предоставлен самому себе.

...В батальоне шла подготовка к переправе. Солдат обрадовала эта мастеровая работа: война забывалась в легком постукивании конопаток, пении пил, протяжном шорохе рубанков. И все-таки никакая другая саперная работа — ни строительство мостов, ни рубка блиндажей, ни сооружение фронтовых лежневок — так не бередила душу, как эта подготовка к переправе.

Когда залив застывал в сверкающем покое,— самый дальний островок как бы невесомо повисал над водой: он приковывал ненасытный взгляд, он словно бы обещал желанный мир и долгий отдых.

А рядом плоскодонки, баркасы, шитики по-рыбачьи, мирно белели в ивняке. Выше по берегу были разбросаны обрезки досок. Из желтой пены стружек вздымались ребра лодок. Что ни говори, а самый веселый труд — стягивать звонкие, посвечивающие смолкой доски или, оседлав на августовском солнцегреве новенькую лодку, поколачивать по днищу колотушкой!

Больше всего на нашей батальонной «верфи» я любил бывать с сержантом из старослужащих — Николаем Ивановичем. Его так все и звали — Николай Иванович, и никак по-иному. Вот он берет рубанок, и рубанок, как влитый, ложится в ладонь. Вот он, поигрывая топором, сдвинув на седой затылок пилотку, вытесывает два ладных веслица. Вот он хмурится, увидев брошенное долото, садится на камень и правит долото напильником. Даже в вечерние часы, когда берег пустел, Николай Иванович все еще покуривал вблизи от лодок, а потом брал рубанок и застругивал скамейку, небрежно заструганную соседом. Его сутулые плечи, его седой стриженый затылок привычно склонялись над лодкой до глухой темноты.

Хорошо было мне в батальоне. Правда, вынужденное ничегонеделанье раздражало солдат, а опека капитана Осоцкого вызывала усмешки среди офицеров.

Но молодость брала свое. Поужинав сушеной картошкой, я шел на развилку дорог. Вечер опускался на побережье. Воздух постепенно густел, он как будто стекал в ямины, поросшие кустами, застывал там сине и туманно. И только стволы сосен на вершинах бараньих лбов горели медно-красным огнем. Так было и в тот закатный час, когда волнуешься неизвестно почему, когда ждешь от наступивших сумерек чего-то необыкновенного.

Боязнь, что именно сегодня, именно сейчас я не испытаю, не изведаю то, что мог бы испытать и изведать там, в родном городке, когда в парках шуршит сухая листва, когда у калиток подолгу белеют девичьи платья,— эта боязнь упустить невосполнимое, потерять неизведанное толкала меня, вела, словно в забытьи, к дачному поселку, где я надеялся встретить знакомых офицеров из резерва и, может быть, увидеть Асю.

Пройдя развилку, я остановился. Прислушался. Сердце билось четко и гулко. Но не удары сердца, а глухие ответные удары настигали меня. Вначале я сла-

бо различал их, но теперь в тишине безлюдной дороги мне померещились мерные удары барабана. Только оттуда, из дачного поселка, могло доноситься это редкое: «Бум-бум-бум». Я надбавил шагу. Ветер засвистел в ушах. Щеки овевали попеременно то холодные, то теплые струи воздуха. Теперь уже отчетливо слышались глухой стук барабана и звонкие всплески труб.

В укромной долине, которую наискосок пересекало шоссе, забелели стандартные домики дачного поселка. Ближе, ближе,— вот и лошади у коновязей, санитарные машины, фуры, штабеля ящиков, прикрытых ветками смородины, срубленной у подножия штабелей. Сомнений не было — где-то здесь, в дачном поселке, играл духовой оркестр. Да и не что-нибудь играл, а фокстрот «Рио-Рита». Танцы! Эта догадка подхлестнула меня. Не разбирая дороги, продираясь сквозь смородинник, шагая прямо по грядкам клубники, я вышел на задворки поселка и остановился перед брезентом санпропускника. Брезентовый санпропускник чем-то напоминал цирк шапито, был длинным, просторным, со многими опорами, поддерживающими провисающий полог.

У входа стоял часовой, но, буркнув невнятное слово, я нырнул под его руку и сразу же затерялся в толпе. Лампы-молнии, самодельные светильники из зенитных снарядов освещали головы танцующих. В тесноте кружились, топтались на месте, покачивались пары. Приметно мелькали форменные береты девушек. Я выбрался из людской толчеи и стал напряженно оглядываться вокруг. Музыка так и подмывала меня пуститься в круг, но вдоль стен с каменным и трудно сдерживаемым безразличием на лицах стояли одни сержанты и старшины из хозвзводов.

Оркестр умолк. Обмахиваясь платками, невнятно, по-шмелиному гудя, толпа растекалась к брезентовым стенкам.

— В честь чего веселье?— развязно, как и подобает бывалому фронтовику, спросил я у стоящего рядом сержанта.

— Вечер отдыха, товарищ младший лейтенант. В честь вручения правительственных наград,— казенно отозвался тот.

«Вечер отдыха, а, каково! И где — на самой передовой?!»— а сам выискиваю глазами, судорожно ловлю хотя бы ненароком брошенную улыбку, чтобы с первы-

ми звуками оркестра замешаться в таком душном, таком славном, таком непозабытом многолюдье танцующих. Мне повезло, удивительно повезло: война как будто нарочно возвращала меня к тому лету, когда после купалки, в прозрачных ранних сумерках, мы собирались на танцплощадке... И вот теперь на что я надеялся, но в чем не признался бы даже самому себе, сбывалось: только у Аси была эта пушистая, летящая прядь волос, только она могла так испытующе смотреть на меня.

— Вальс,— крикнули из оркестра. И я, поймав взглядом ее согласие, первым решительно пересек площадку и, склонив голову, пригласил Асю к танцу. От волнения у меня перехватило дыхание. Фонари расплылись в тусклые, оранжевые пятна. Сердце подступило к горлу и билось редкими толчками. Протяжный звон в ушах все нарастал, наливал мышцы чугунной тяжестью.

— Давно не танцевал,— еле вымолвил я в оправдание, но голос был хриплым, чужим до неузнаваемости.

В глазах, вскинутых на меня, светилось откровенное удивление. Потом удивление сменила догадка. Потом в глубине зрачков заискрились лукавые смешинки. Эти светящиеся точки приблизились к моему лицу, застыли прямо передо мной, заслонили собою все, и я почувствовал, как отступает сердце от горла, как бесследно исчезает чугунная тяжесть в ногах. Носки брезентовых сапог начинают четко шаркать по дощатому полу: раз-два-три, раз-два-три.

...Нескончаемой пестрой лентой неслись, нет, мчались теперь за этими двумя точками медные трубы оркестра, огни фонарей, стены палатки, людские лица, снова трубы оркестрантов и снова фонари, висевшие по углам. Время остановилось. Мир стерло, снесло этим стремительным вихрем, и только две звезды сверкали неподвижно в хаосе, летящем вокруг меня. Они томительно и длинно всасывали мой взгляд, и не было, казалось, такой силы на свете, которая бы оторвала меня от них.

Оркестр сыграл последние такты вальса, но мы не слышали оркестра и лишь тогда, когда площадка стала пустеть, поняли, что одни продолжаем кружиться вокруг столбов, поддерживающих полог. Спохватившись, мы бросились в дальний угол палатки, но рук не расцепили и глаз друг от друга не отвели. Слова, которыми мы пытались обменяться, были торопливыми, случайными. Гораздо важнее было другое, то, что было

раньше, тот удар нервного тока, который мы испытали одновременно, когда наши пальцы переплелись. Мы и по губам читали совсем иное, не то, что эти губы говорили, по взглядам узнавали нечто большее, чем могли сказать друг другу среди непрерывного брожения танцующих, не знавших, куда себя деть в десятиминутный перерыв.

Разомлевшие от жары оркестранты нестройно начали аргентинское танго, мы, не сговариваясь, быстро вышли на середину площадки и снова ощутили, как подхватила нас волна затаенной радости, сблизила наши глаза, наши губы, смешала наше дыханье.

— Теперь мы будем видеться чаще,— приподымаясь на цыпочки, прошептала она.— Завтра я буду на канале.

— Где?

— У мызы Лаволы...

— Я тоже попрошусь туда, к полковым саперам,— ответил я шепотом, потому что сказанное шепотом, как и все в этот вечер, роднило нас.

В благодарность она порывисто прижалась ко мне и тут же отпрянула, растерянная, смущенная этим неожиданным порывом. Медленно раскачиваясь в чадной полумгле, стиснутые со всех сторон жаркими спинами и плечами, мы были удивительно одиноки в этой тесноте и счастливы от одиночества.

...Оглушительный треск ударил в уши. Одну стену вздуло пузырем, сорвало с кольев и набросило на солдат, стоявших возле нее. Фонари, мигая, заплясали под пологом. Растерянно смолк оркестр, и только валторна сиротливо и жалко пыталась закончить партию.

— Артналет! Всем в укрытие!— нашелся кто-то в наступившей тьме, но и без команды плотный ком человеческих тел быстро рассыпался. В первый момент мы инстинктивно отпрянули друг от друга, но тут же, схватившись за руки, бросились под брезент санпропускника.

Над головой — медленное железное шелестенье. Земля внезапно с грохотом осела, расступилась, толкнула в грудь и лишь после этого раскололась до самого чрева. Пронзительно заржала лошадь. Впереди что-то затрещало.

— Не туда!— крикнула она отчаянно.— Он бьет с перелетом.— И резко дернула меня за руку.

Перепрыгивая через рытвины, с ходу врезаясь в колючий мрак, цепляясь за жесткую гриву склона, мы бежали — выше, выше — к спасительной гряде валунов. Снова небо вспорол неторопливый шелест, и снова тяжело ахнула земля. Черное крыло камня накрыло нас, мы повалились вниз, в пахнущую сенной трухой и хвоей темноту траншеи.

Если осторожно повернуть и скосить глаза, то можно увидеть краешек неба. Засыпанное звездной пылью, оно неподвижно и немо. Секунда, другая... Небо оживает. В нем зарождается движение: шелестя, обгоняя друг друга, тяжелые снаряды пролетают среди звезд. Еще немного, и ты разглядишь их, скользящих с вкрадчивым шорохом по небосводу. Этот шорох тебе знаком, он похож на шорох ночной листвы там, в садах твоей юности. Другого ты не слышал, и ты не можешь поверить, будто этот шелест несет смерть. Ах, как огромно ночное небо! Как бесконечно далеко оно от тебя!

От грузных ударов земля осыпается в щель. Сколько все это длится? Минута? Другая? Вечность? Разрывы доносятся глуше, откуда-то с самого берега залива. «Тум-тум-тум»,— пауза: тяжелый снаряд ударил в воду.

Звезды перестали шевелиться, земля содрогается от ударов. Артобстрел прекратился внезапно, как и начался. И тогда ты замечаешь, что сердце твое бьется не одно, что в лад ему упруго отвечает другое. И тогда ты начинаешь различать не только запах хвои и сенной трухи, но и неясный запах ее волос. От щекотного прикосновения легкой прядки к виску тебе душно. Надо поскорее выбраться отсюда, скорее спуститься вниз, в долину. Но невозможно повернуться в жестком каменном мешке. Твоя грудь прижата к мягкому, податливому теплу ее гимнастерки. Твоя рука прижата к ее бедру. Сердце томительно падает. Ее мучительный шепот стихает в неловком поцелуе.

...Неистовый, безнадежный крик лошади выплеснулся из низины. Раненная насмерть, она все еще билась у коновязи. Сухо стукнул пистолетный выстрел.

— Мирзоев?— голос в тишине слышался особенно внятно.— Мирзоев! Освежуй с утра. Зря добру пропадать нечаго...

Раздвигая руками колючее мелколесье, огибая валуны, мы медленно спускались в поселок. Едкий угар до сих пор не выветрился из низины. Дым плавал слоями, сквозь которые смутно желтело пламя в конце поселка.

— Мне надо идти,— тихо и грустно сказала Ася, передохнула, протянула было руку, но потом обхватила меня за шею и долго и слепо припадала шершавыми губами к переносью, ко лбу, к глазам, а я стоял бесчувственный, потрясенный всем случившимся, но более всего этим расставанием, в которое не хотел да и не мог поверить. Вся она, ладная, легкая, родная, была необходима мне.

Срывающимся от волнения голосом я заговорил:

— Подожди. Хочешь, я почитаю тебе стихи. Я знаю красивые стихи. Вот послушай: «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно...»

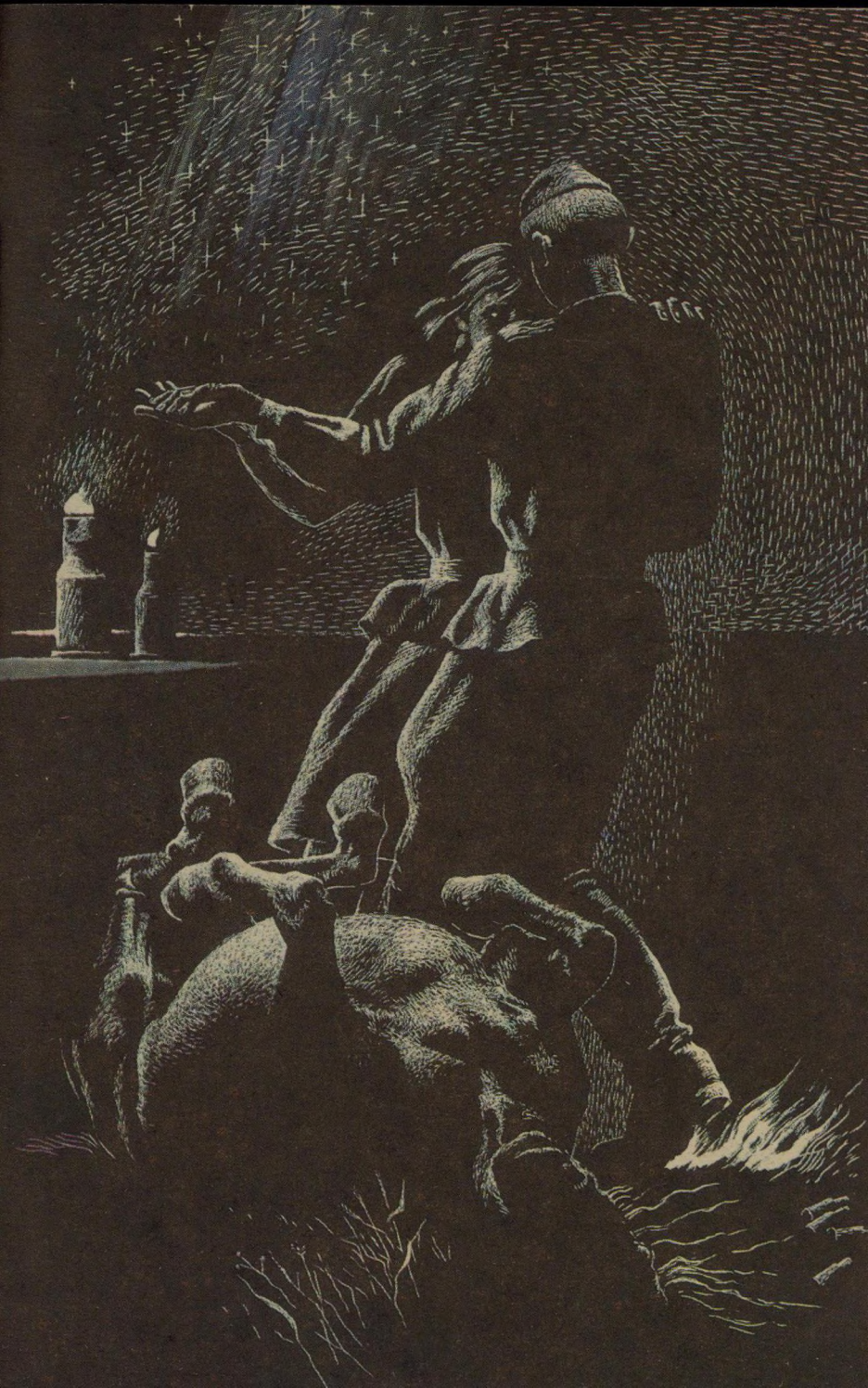
Но передо мной белела стена. И даже поскрипывания ее сапог по гравию не было слышно.

События этого вечера были так непохожи на все, пережитое мною раньше, что, возвращаясь к себе в батальон, я содрогался от глухих ударов барабана, преследовавших меня всю дорогу, и, вперемежку с ними, от оглушительного треска близких разрывов. Казалось, дорога вздрагивала равномерно и тяжко, и я больно спотыкался о камни, разбрызганные по дороге, вслепую обходил свежие воронки.

У развилки, где я должен был повернуть в часть, шоссе загородила колонна автомашин. Задние борта были откинуты, с площадок кузовов свешивались длинные стволы лодок. Они белели и сильно раскачивались, когда машины, замедлив ход, переваливали через рытвины. Колонна шла к каналу. Едва не бегом я одолел остаток дороги, а когда подошел к землянке первой роты, от наката мне навстречу отделился человек.

— Товарищ младший лейтенант,— узнал я голос Жабчикова.— За вами два раза из штаба батальона посылали.

— Идем!— коротко бросил я и, придерживая кобуру, рысцой двинулся к штабу.



В штабном блиндаже у самого входа, вытянув ноги, сидел телефонист с привязанной поверх пилотки трубкой. Входившие в блиндаж запинались за него, чертыхались в сердцах, а он безучастно и монотонно твердил позывные. Я протиснулся к столу, возле которого стоял капитан Осоцкий, и, покраснев так, что даже в скупом свете «молнии», висевшей над столом, было заметно, доложил о прибытии. Капитан прервал разговор, изучающе посмотрел на меня, спросил строго:

— У вас есть карта-трехверстка?..

Я промямлил в ответ, что карты мне не давали, поскольку я, что я...

— Тогда смотрите и запоминайте...

На столе лежала тщательно вычерченная на кальке схема побережья. Я сразу увидел и приморский город, штурмом взятый в июле, и Асин дачный поселок, и шоссе, и развилку, и рассыпанные по заливу острова, и устье канала, в котором ближе к правому берегу стояла точка и было обведено «Мыза Лавола».

— Да, товарищ капитан. Понял, товарищ капитан. Есть, товарищ капитан. Так точно, товарищ капитан. Справлюсь, товарищ капитан. Разрешите приступить к выполнению боевого задания?..

А у самого сердце екает от бешеного восторга. Рука вскинута резко и чуть-чуть небрежно, как учил курсантов взводный Петренко. Поворот налево — кру-угом. Так, хорошо, не покачнулся, как штык стою. И-и...

Но капитан остановил меня.

— Прошу вас,— сказал он, раскуривая от одной папиросы другую,— только, пожалуйста,— он сделал заметное ударение на этом «пожалуйста», да еще повторил его,— пожалуйста, не пропадайте.

Офицеры, стоявшие кругом, заулыбались.

— Разыскивать вас будет некогда. В восемь утра — переправа.

Я козырнул без прежней лихости и, запнувшись, как все, за ноги телефониста, выскочил из блиндажа.

Дивизия готовилась к утренней переправе. Часть наплавных средств, говоря уставным языком, было решено сосредоточить возле крохотного островка с полуразрушенной усадьбой, называемой по-местному мыза Лавола. Этот островок в июле был с ходу занят пехотным батальоном капитана Седунова, и за него вот уже пол-

тора месяца шли ожесточенные бои. Островок прикрывал восточный берег залива и позволял в прибрежных кустах сосредоточиваться штурмовым группам. Пользуясь темнотой, следовало перегнать на остров два десятка лодок, чтобы батальон Седунова принял участие в переправе. С попутной машиной я должен был выехать на канал.

Захлопнулась дверца кабины. Под рукой шофера заурчал стартер. Мы осторожно двинулись к шоссе. Возле развилки машина как будто присела, напряглась, затем враз одолела небольшой ров — сзади тяжело качнулись и грохнули днища лодок. Полотно дороги, едва различимое в ночи, зарябило, заструилось, потекло под радиатор. Мы набирали скорость.

Передовая, еще недавно слабо мерцавшая впереди нас, теперь охватывала полнеба. Ее желтоватые отсветы подымались выше и выше, достигали плотных облаков, залегших вдоль горизонта. И чем сильнее желтело это зарево, тем сильнее трясло и качало машину. Сквозь протяжный вой мотора, скрип кабины, грохот лодок в кузове явственно можно было расслышать какой-то непривычный рокот. Этот рокот перекрывал все, он не стихал ни на одно мгновение, он, казалось, длился целую вечность и будет длиться всегда. Куда ни глянешь,— будто по всему горизонту медленно вращаются гигантские жернова, время от времени выбрасывая вверх ослепительные гроздья ракет.

Так вот она какая, мыза Лавола!.. Я был настолько захвачен этим грозным, этим тревожным заревом, что позабыл думать о том, что меня самого ждало вскоре.

Радиатор машины стал уходить вниз. Шофер резко притормозил. Темные кущи деревьев набежали на нас, погрузили машину в темноту, наглухо закрыли линию горизонта. Еще некоторое время мы двигались по тряской лежневке, рывками подаваясь вперед. Потом встали. Я соскочил на землю, осматриваясь, озираясь, думая, кого позвать для разгрузки машины. Но тут из тьмы выступили зыбкие фигуры солдат. Несколько бойцов ловко вскарабкались в кузов, другие подошли к задним колесам. Они принимали лодки на руки, опускали их на плечи и, тяжело согнувшись, исчезали в темноте.

— Кто здесь из штаба батальона?— хрипловатый голос комбата послышался откуда-то из-под скалы.

— Я, товарищ майор!

— Подойди сюда!

Под тяжелым надбровьем скалы стоял наш саперный комбат с группой офицеров. Он пожужжал электрической мигалкой, мельком осветил мое лицо, погоны, узнал меня, потом сказал:

— Добро! Пойдешь вот с ним.— Луч фонаря скользнул по плащ-палатке щуплого офицера, командира первой саперной роты.

— Федосимов! Проводишь младшего лейтенанта к каналу и объяснишь боевую задачу.

Считая на этом разговор оконченным, комбат снова отвернулся к офицерам. Мне не оставалось ничего другого, как козырнуть и последовать за комроты. Когда я уходил с дороги, то услышал шум еще одной автомашины, подходившей к лежневке.

Тропка, по которой мы шли, сразу же запружинила под ногами, а потом зачавкала протяжно и смачно. Я с трудом вырывал сапоги из холодной трясины, но Федосимов шел споро — тропа ему была хорошо знакома, и я старался не отстать от его плащ-палатки, бившейся по кустам. Вскоре мы стали обгонять солдат, несших на плечах лодки. Их хриплое, со свистом, дыхание, их острый запах пота, смолы, дегтя — все это обдало нас и осталось позади. Федосимов, ни разу не оглянувшись, шуршал плащ-палаткой все время впереди меня. Мы шли не меньше часа, но лесная темень не расступалась и залива не было видно. Однако я уже понимал, что теперь это недалеко, совсем рядом. При полном безветрии лес ожил: после длинной очереди из-за канала он наполнился неясным дуновением; над головой у меня что-то протяжно и сладко чмокнуло — к ногам упала мохнатая ветка сосны. Я даже не пригнулся, и не потому, что не испытывал страха, а просто не понял, что ветку сбила разрывная пуля.

Теперь Федосимов не шел в полный рост, а перебегал от камня к камню. Я последовал его примеру. Внезапно он исчез. Сколько я ни вглядывался в чащу, не мог высмотреть его. Внутри у меня похолодело. «Началось!» — только и подумал я.

— Младший лейтенант, а младший лейтенант... Где же вы?— шепот доносился снизу.— Прыгайте, здесь траншея.

Действительно, через несколько шагов я сполз в неглубокий ровик и, задевая за выступы камней, стал петлять по траншее, которая кончилась довольно большой ямой. Там сидели солдаты в ватниках и плащ-палатках. Я узнал только Николая Ивановича и Жабчикова, Федосимов шепотом переговаривался с ними. «Идем!»— кивнул он мне, и мы снова выползли из ямы. Впереди, *играя и зыбко посвечивая при каждой вспышке ракеты*, текла к нашему берегу маслянисто-черная вода. Это начинался залив.

— Смотри!— дыхнул мне на ухо Федосимов.— Там мыза Лавола!— Я отчаянно вглядывался в темноту, но ничего, кроме суеты зайчиков на воде, не видел. Замедленно падали и падали ракеты. Они не нарушали тягостной немоты ночи и не оживляли вида залива. При их стремительном взлете выступы скал, вершины деревьев, прибрежный кустарник — все застывало в каком-то мертвенном оцепенении. И только когда ракета рассыпалась в огненный порошок, вновь доносился дробный перестук автоматов, вновь у нас над головами чмокали пули.

— Ты что, оглох, что ли?— раздраженно зашипел Федосимов.— Видишь сосну? Где?.. Да вон, торчит... Так. Теперь видишь. Держись все время на нее — ты будешь выходить правее острова. Зачем, зачем?.. Чтоб не сносило в море. Греби потише. За остров не высовывайся, увидят — кормить тебе рыб... Ты пойдешь первым. За тобой Жабчиков, а Николай Иванович, ну, его-то ты знаешь — сержант Харитонов — из старослужащих, он пойдет последним. На мызе нас ждут. Вместе с пехотой перетащишь лодки на другую сторону острова. Там канал — метров сорок. Остальное обмозгуешь с комбатом Седуновым. У него есть связь.

— А как же лодки?— наконец-то нашелся я.— Ну, в смысле, как мы их будем переплавлять?

— Ах, ты об этом. Лодки вяжут солдаты. У них за старшего сержант Харитонов. У него, брат, нынче не меньше как сотая переправа... Ну, бывай здоров,— бросил на прощанье Федосимов. И юркий, как ящерица, соскользнул с камня, на котором мы лежали, а затем, *прошуршав хвоей, скрылся в траншее.*

Я прошел метров двадцать по берегу и в чистой заводи увидел саперов, которые связывали лодки по три в ряд. Одну лодку оставляли свободной для загребного. Плоты, составленные из десантных лодок, мы и должны были перегнать к Лаволе.

Руки привычно легли на весла. Я оглянулся, поймал взглядом вершину сосны, сделал первый гребок. Николай Иванович и Уметалиев, молчаливый, высокий даргинец, оба по пояс в воде, удерживали плот у берега, но, заметив, что я гребу, подтолкнули его вслед за лодкой. Задробила о борта темная зыбь. Над островом попрежнему часто взлетали ракеты. При каждом взлете я пригибал голову к коленям и так сидел довольно долго. Вскоре, повернувшись, я понял, что сухая вершина не только не приближается ко мне, но как бы уплывает от меня влево и скоро уже совсем скроется за островком. Тогда я набрал полные легкие воздуха, задержал дыхание и греб до тех пор, пока выдох со свистом и храпом не вырвался из груди. Вода под веслами время от времени светилась. В такие минуты лодка летела вперед, чуть касаясь воды, легко и послушно отзываясь на каждый взмах весла. Но, едва ракета сгорала, едва темнота смыкалась над заливом, этот сладкий самообман пропадал: нестерпимо медленно двигался я к Лаволе.

«Надо смотреть перед собой, уставиться в днище лодки и не замечать ничего другого»,— уговаривал я себя и в самом деле вскоре стал грести ровнее, спокойнее, лучше.

«Лю-ю-бит. Лю-ю-бит»,— ожили и запели уключины. Что за черт?! В каких глубинах души, неведомых мне самому, таилось это слово, которого я ни разу в жизни не произнес вслух? Почему сейчас, когда я должен был позабыть обо всем на свете, когда для меня не существовало прошлого, не могло существовать и будущего, а была только ночь да связка лодок за кормой,— это слово родилось, заполнило меня целиком, воскресило прикосновение шершавых губ, долго припадавших к моим губам.

«Лю-ю-бит»,— протяжно поскрипывали уключины. И под это слово я все резче откидывался к носу лодки, все глубже погружал весла в воду. В какой-то момент можно было заметить, что от нашего берега отделилась

одна связка лодок, потом другая... Значит, Жабчиков уже выгребался в залив. Следующая очередь Николая Ивановича.

Днище проскрежетало о камни; плот, подхваченный волной, подплыл и сильно ткнулся в корму лодки.

— Сапер, что ли?

— Сапер, сапер,— ответил я и, схватившись за широкую ладонь, протянутую мне, соскочил на берег.

— Всю жизнь человек повторяет сны детства, все повторяет — даже любовь,— рассказчик замолк и, не дождавшись возражения, продолжал тихим, задыхающимся голосом:— Жил я как-то на даче у бабушки. По Казанской дороге, верстах в сорока от Москвы.

...Пряжка полевой сумки вдавилась мне в щеку, левый бок застыл на цементном полу, но спину согревала спина Жабчикова, который посапывал у меня за плечом, и я лежал, стиснутый спящими, и слушал этот вкрадчивый, с легкими придыханиями голос. Поднять голову, посмотреть, кто говорит, просто разомкнуть веки, саднившие так, словно в глаза насыпали махорки, было выше моих сил. И я слушал: голос то нарастал, звучал внятно и четко, то пропадал в сумятице сновидений.

— Вода в реке светлая, невесомая. А глубина — брось пятак, и он долго, колыхаясь и покачиваясь, будет мерцать в зеленоватой мгле. Вот и догадались мои товарищи бросить меня в воду, чтобы, значит, научился я плавать сам по себе...

Со мной тоже было такое: расступилась и сомкнулась прозрачная гладь, ударила вода в нос, в горло, в легкие, закувыркалось солнце — наступил конец света... Голос исчезает. Разум меркнет. Меня стремительно несет на бетонные опоры моста, я хочу крикнуть, но крика нет, а только широко раскрытый рот — и ощущение ужаса... Но мост остается где-то сбоку, а мое плоское тело покачивается на медленной волне. По отмели, залитой солнцем, идет Ася, идет, не замечая меня, наклонив голову набок, словно прислушивается к чему-то, и светлая прядь ее волос колышется возле моего лица...

Опять звучит задыхающийся голос, опять острая резь под веками возвращает сознание.

— Забавным им показалось, как бил лапами этот кутенок, этот бабушкин любимец... А я лежу на берегу, и слезы ненависти стекают у меня по вискам.

Снова затмение в сознании. Снова вырастают передо мной бетонные быки моста — вода ревет под ними глухо и яростно...

— В волосах бант диковинной бабочкой, на щеках персиковый пушок, точь-в-точь как на картине Серова... В общем был я в нее давно и безнадежно влюблен. Подошла она ко мне, обняла за шею — вот так, обнявшись, мы и пошли. Пошли, замирая от этой первой близости, от этой еще неосознанной любви... А васильки-то кругом, васильки. А рожь-то волнами ходит. А небо-то белое: не бывало в моей жизни такого белого неба. Босые ноги шлепают по дороге — пыль между пальцами фонтанчиками взлетает; от радости, нет, от чистого неземного восторга голова кругом идет...

— Богато, видно, у тебя жила бабка?

— Какое там богато — была у бабушки пенсия да кое-что от деда осталось...

— Эх, Мартемьяныч, мало ты, брат, хлысты на лесоповале таскал!..

Я вновь проваливаюсь в глубокую бездну сна. Через меня переступают, задевают чем-то острым, сознание на миг возвращается ко мне, но я тут же засыпаю, не меняя позы, не смея протянуть занемевшие ноги. И все-таки сквозь сон я продолжаю слышать снижающийся до шороха разговор:

— Ты думаешь, нам все так обойдется. Нет, друг ты мой, война долго будет сказываться.

В ответ рассудительно и веско, удивительно похоже на голос Николая Ивановича, прозвучало:

— Да что и говорить. Ненависть, она такая. У нее — дна нету...

...Кружится, кружится на замерзшей реке елка, нарядная, присыпанная снежком. Вся в блестящих бусах, в разноцветных огнях. А вокруг елки каруселью летит поток конькобежцев. В этой веселой неразберихе мне весело и вольготно, вот только ноги сильно мерзнут.

Я поджимаю их под себя, пытаюсь чем-нибудь прикрыть — и слышу, как Седунов дует в трубку:

— Так я говорю: перебьют их... Что? Приказ есть

приказ, но у него на прямой наводке... Что?.. На прямой наводке, говорю... А, черт!— Седунов еще раз дунул в трубку, потом в сердцах бросил ее телефонисту:— На! Вызовут в другой раз — окликнешь.

Только сейчас мне удалось разодрать веки, свинцово набрякшие от усталости. Я повернулся на спину, посмотрел прямо вверх. В круге, отброшенном фонарем на потолок, змеились крупные трещины. Проржавевшую арматуру, провисавшую сбоку от круга, кое-где подпирали бревна. Нет, не прочны, не надежны были эти низкие своды подвала. И все-таки подвал был забит спящими. Иные сидели, обхватив руками колени, иные привалились к бревнам, поддерживающим потолок, большинство же лежало вповалку, волнистой грядой.

Вокзальную маету, с храпом, сонным бормотанием, стонами, нелепостью поз смертельно уставших и разом уснувших людей, напоминала мне теперь мыза Лавола. В ее подвальное помещение я забился ночью, когда пригнал к острову десантные лодки.

Было душно, пахло скопищем немытых тел, застоявшимся махорочным дымом.

— Не спишь?

Я узнал Седунова. Длинная его фигура уходила под потолок, и голова в оранжевом круге была, как у библейского праведника,— в нимбе.

— Пойдем, коли не спишь. Потолкуем на холодке.

Переступив через руку спящего солдата, откинутую ладонью вверх, я стал пробираться к выходу.

Поднял рваный брезент, вышел на двор мызы. Возле неровно отесанных валунов, служивших основанием усадьбы, меня ждал капитан Седунов. В шинели, накинутой на плечи, он покуривал в рукав гимнастерки. Докурил. Придавил окурок. Под каблуком остро заскрипело битое стекло.

— И когда, проклятущая, кончится,— он длинно выругался.— Сколько себя помню — все битое стекло под ногами скрипит. Словно и не по земле ходим...

Потом положил на плечо руку и сказал, передохнув:

— Вот что, младший! С рассветом берешь командование штурмовой группой. Лодки делу не помогут. Да и мало их на батальон. Будем наводить штурмовой мостик. Он у меня еще с июля остался. Тогда мы сунулись да обожглись: треть батальона оставили в канале. Теперь приказ твоего комбата — тебе идти первым. Твои

саперы за тобой... А сейчас на месте взглянем, как и что.

Мы обогнули решетчатое строение, судя по всему теплицу, и спрыгнули в узкий ход сообщения. Мыза Лавола осталась у нас за спиной. Одна стена ее вздулась, вырвалась из-под стропил, напоминая ребра парусника, выброшенного на берег. Черепичная крыша провалилась. Труба торчала из этого провала, как сломанная мачта...

Кущи деревьев скрывали канал, но поверх деревьев по-прежнему взлетали и гасли разноцветные ракеты. Сейчас они взлетали так близко, что слышно было, как с шипением взмывала огненная струя и хлопала вверху со звуком новогодней хлопушки. При этих хлопках мы с Седуновым затаились в пулеметном гнезде: внизу плескалась вода. Едва новая ракета распускала огненный хвост, как ее свет выхватывал противоположный берег канала, облицованный гранитными глыбами. Кроме этих глыб да серебристо-мертвенной глазури кустарника, больше ничего невозможно было рассмотреть.

Здесь же, в пулеметном гнезде, мы шепотом обсудили подробности переправы. От высокого гранитного банкета, над которым были вырыты окопы и пулеметные гнезда, остров плавно стекал к усадьбе. Это-то и позволяло нам скрытно готовиться к стремительному броску через канал.

Вместе с солдатами из пехотного батальона Жабчиков и Николай Иванович подтащили к окопам звенья штурмового мостика и начали сочленять их в длинную, подвижную цепь.

Жабчиков усердствовал: проверяя стыки звеньев, он зло ругал пехотинцев, вертел толстыми бедрами, суетился, под конец не выдержал и вытянулся передо мной во весь приземистый рост.

— Товарищ младший лейтенант, разрешите доложить,— по-уставному длинно, а поэтому непривычно обратился он ко мне. — Как мы в заводи лодки плотили, так приметил я штабеля досок...

— И что?

— Так я бы их сюда — вы разрешите...

Жабчиков понимал, что надо было ему как-то изловчиться, как-то сделать так, чтобы сегодняшней ночью быть подальше от гранитного провала, зиявшего мрачной чернотой. А уж там-то...

Страдая от его заискивающего тона, от отведенных в сторону виноватых глаз, я впервые спокойно и твердо сказал:

— Нет, Жабчиков. Нас, саперов, всего трое. Вы должны оставаться здесь.

— Уж больно разбиты мостки-то,— оправдываясь, начал было связной, но, не закончив и не дождавшись разрешения идти, двинулся обратно к мостику.

Было еще совсем темно, но близость рассвета угадывалась в туманце, который наполнял воздух мельчайшей пылью, пропитывал шинели и солдатские телогрейки.

Реже и реже взмывали вверх ракеты — теперь они светились неярко и падали, окруженные радужным венцом.

От промозглой сырости, а скорее — от нервного напряжения меня сильно знобило. Когда я вконец изнемог от этого озноба, от этой пронизывающей сырости, в траншее показались квадратные плечи Седунова.

— Идем в подвал. Перекурим. Здесь торчать — шальную пулю ловить... Она, пуля-дура, летит без глаз.— И дружески двинул меня в плечо.

Соблазн был, конечно, велик — перестрелка на канале уже смолкала, и только глухое урчание передовой доносилось справа от нас. Что-то огромное, неведомое, слепое никак не могло угомониться. Прислушиваясь к этому предрассветному утробному гулу, я и последовал за комбатом к мызе Лаволе.

...Как отрадно было нырнуть под брезентовый полог и снова очутиться в сонной духоте подвала! Все так же храпели солдаты, лежавшие на полу, но в углу стояли новые носилки с раненым, укрытым по грудь шинелью. Его круглая, распухшая от бинтов голова была в свежих пятнах крови. Раненый метался, и маленькая санитарка, пригорюнившись, сидела возле него. В дальнем углу, у дощатого столика, было довольно-таки свободно. Я присел на скамью, пододвинул к себе котелок: из него торчала алюминиевая ложка; нехотя пожевал холодную картошку. Задумался. Надо было ждать и ждать. Надо было запасаться терпением и сидеть, изнемогая от сонной одури, от стонов раненого, от храпа дюжего армейца, раскинувшегося возле меня. Под ногами валя-

лись истоптанные бумаги. Эти бумаги белели по всему полу, и только в одном месте какой-то солдат пристроил их вместо изголовья. Я подошел к нему и осторожно, чтобы не потревожить спящего, выдернул первые попавшиеся листы. Это был иллюстрированный журнал с четким витиеватым шрифтом. Крупная фотография бросилась мне в глаза. Молодцеватый егерь сидел на камне, подбоченясь, положив ногу на ногу. Он самодовольно улыбался в объектив. Его ладно пошитая форма, лакированная портупея, сапоги с твердыми, надраенными до блеска голенищами — все источало сияние этого молодого самодовольства. А перед ним стоял наш пленный солдатик, один вид которого возбуждал и сострадание, и презрение, и гнев. Был этот бедняга в пилотке, повернутой поперек головы, в шинели без хлястика. На его изможденном лице блуждала виноватая улыбка. Пленный протягивал к егерю руки, торчавшие из обтрепанных рукавов шинели. В руках у пленного был котелок, такой же, как у меня на столе... И вот этот солдатский алюминиевый котелок больше всего поразил мое воображение. Он придавал фотографии неоспоримую достоверность. Снова я впился глазами в егеря, в знаки его отличия, в пилотку на белесых волосах... Тутто мне и открылась одна простая истина. Пыхнул одуванчик парашюта и скрутился тонким жгутом. Пронзительно заржала лошадь... Стукнул пистолетный выстрел... И так же лениво, не меняя позы, егерь, улыбавшийся в объектив, вот сейчас достанет из кобуры тяжелый «вальтер» и пристрелит этого пленного, качающегося перед ним от истощения и голода...

Без особого интереса я перелистал журнал дальше. Фотографии седых генералов сменялись фотографиями дипломатов в визитках и полосатых брюках, полуобнаженные кинозвезды — солдатскими снимками, рекламы мыла и зубной пасты — длинными списками убитых с крестиками и датами смерти... Я про себя отметил числа этих дат и забросил журнал подальше.

Постепенно в подвале то там, то здесь стали подыматься всклокоченные головы. Послышался затяжной кашель. Подвал ожил. Под полог поминутно ныряли солдаты — выбегали во двор и, поеживаясь, возвращались обратно. Жабчиков и Николай Иванович теперь сидели возле меня. Связной старательно хрустел ржаным сухарем. Старший сержант искоса поглядывал на

него, туго перематывая обмотки. В нарастающем гуле голосов, в бряцании оружия, в мягком постукивании котелков о зачехленные лопатки и противогазы не было бодрости, которая всегда отличает подъем в воинских частях. Нечеловеческая усталость не прошла за ночь, сон не освежил пехотинцев.

В проломе — одновременно с резко откинутым брезентом — выросли квадратные плечи Седунова.

— Саперы! — довольно громко крикнул он.— На выход!

Плотный, сырой туман ударил в лицо, едва я вышел на волю.

— Нет, младший, что ни говори, а родился ты, видно, в сорочке.— Седунов подхватил полы шинели, как обычно накинутой на плечи, и, кивнув в сторону канала, весело пояснил: — Туманище-то, а?! Ни черта не видать!

Вдоль ходов сообщений и траншей набрякла влагой, обвисла листва маскировки. Дальше все плавало в молочной мгле. Пустынно, бело, дико было теперь на острове. Спеша вслед за Седуновым, я еще раз оглянулся: потрепанная налетами мыза Лавола плыла к неведомым берегам. Угол провалившейся крыши, словно косой парус,— все, что осталось от ее оснастки... И все-таки мыза плыла и плыла в эту туманную, неразличимую для меня даль.

Подробности, невольно оседавшие в памяти, помогали мне ослабить туго натянутую струну ожидания. Но все-таки чувство опасности сжимало желудок, настораживало зрение, слух.

Когда в знакомом пулеметном гнезде мы остановились, чтобы передохнуть и прийти в себя, передо мной встала сосенка, не замеченная мною прежде. Ствол ее был наполовину засыпан землей, верхушка перебита осколком снаряда. Хвоя успела пожелтеть, верхушка висела на одной кожице: она могла в один миг упасть на дно окопа.

Пехота постепенно заполняла траншеи, ходы сообщений, стрелковые ячейки. Солдаты сидели на корточках. Лица их были напряжены и бледны, оружие прислонено к стенкам окопов или поставлено между колен. Кое-кто, склонив голову, покуривал в рукав шинели.

— Передай по цепи: кто курит— пристрелю!..— отрывисто бросил Седунов. Он посуровел, посерьезнел. Выбритые до синевы щеки ввалились, белки глаз пожелтели от усталости и напряжения. Достав из нагрудного кармана часы, он глухо пробормотал:— Через десять минут артподготовка.

...Прошелестела первая мина теперь уже с нашей, с восточной стороны и с треском разорвалась на другой стороне канала.

— Началось, мать твою!— азартно выругался комбат, блестя желтыми белками, плотнее припадая к брустверу пулеметного гнезда.

В тумане стали часто взбухать, лопаться огненные шары. Они то откатывались в глубь берега, то гроздьями начинали рваться у воды. В этой молочно-багровой круговерти не было слышно, как противник открыл ответный огонь. Белый столб взметнулся в канале. «Фыр-фыр-фыр-дзи-и-инь... Фыр-фыр-дзи-инь»,— мины фыркали, падая на гранитные глыбы, разбиваясь со звоном, как разбиваются вдребезги тарелки, брошенные на пол. Короткие багровые вспышки заплясали по острову, вздыбили столбы на воде, метнулись на мызу и снова сфонтанировали в канале.

— Из ротных садит, сволота,— просвистел сквозь зубы Седунов.— Нервничает... Переправу ждет.

Но я не слышал его слов: меня опалило нестерпимым жаром,— с запозданием я сполз на дно окопа. А когда посмотрел назад, то увидел, что сидевший, как и все, на корточках Николай Иванович клонится вперед, теряет равновесие. Перевалившись через спину Жабчикова, лежавшего ничком, я попытался подхватить его, но старик уж ткнулся головой в дно окопа. Трясущимися, непослушными руками я стал поднимать голову сапера — пальцы заскользили по липкой сырой массе. И все-таки я приподнял голову и тут же отпрянул назад: кроваво-красная рана зияла ниже лба, белые косточки торчали из этого кровоточившего месива.

Внутри у меня что-то оборвалось, колючий ком дурноты встал в горле...

— Зубы, зубы разожми, дьявол!

Горлышко фляги больно надавило на подбородок.

Я сделал несколько глотков, поперхнулся, закашлялся — водка опалила гортань, хлынула через нос.

— Еще отпей! — Седунов властно сунул флягу, и я, через силу глотнув из нее, окончательно пришел в себя. Рукавом ватника обтер лицо, глубоко вздохнул. В ушах стоял неумолчный стон. Виски сдавило жгутом. Ноги, вытянутые вдоль окопа, одеревенели. Я пошарил ладонями вокруг себя, отыскивая, на что бы можно было опереться, приподняться. Посмотрел назад: Николай Иванович, сгорбившись, лежал рядом. Ватник его засыпало ржавой хвоей. Возле головы расплылось кровавое пятно.

Седунов, проследив за моим взглядом, невесело усмехнулся:

— Ну, сапер, готовься. Теперь ты пойдешь!

Наша передовая молчала — с другого берега канала доносились отдельные автоматные очереди. Седунов передал по цепи приказ: «Взять штурмовой мостик на руки! Приготовиться к переправе!»

Солдаты, неуклюже горбатясь, на четвереньках стали выползать из окопов и ячеек.

— Шест, где у тебя шест? — в бешенстве зашипел Седунов.

Откуда-то сзади мне просунули тонкий шест.

— Пошел!

Длинная, гнущаяся цепь штурмового мостика стала сокращаться, пульсировать и стремительно подалась вперед.

Успех штурма решали считанные секунды.

— Пошел!

Держась за веревочную петлю мостика, я перекинулся через бруствер и спешно, ногами вперед, стал сползать по гранитному откосу. Каблуки сапог иногда попадали в щели между квадратными глыбами, иногда в выбоины от мин — это помогло мне сохранить равновесие, не скатиться к воде, которая, как живая, шевелилась рядом.

Воду вспенил новый взрыв мины... Пошел! Пошел! Я вскочил на мостик и стал шестом, словно веслом, буравить воду, отгребаться от берега изо всех сил. Глаза мои ослепли. Сердца не было слышно. Одно желание жило во мне: удержаться, не упасть, не спрыгнуть в эту неверную, в эту спасительную бездну.

А мостик усилиями множества людей, которых я не

знал и которые меня не знали, сильно подавался вперед, рассекая поплавками воду, неостановимо приближая ко мне противоположный берег.

...Жгучая ледяная вода накрыла меня с головой. В водовороте закружились оба берега канала, небо, вершины сосен, желтеющий кустарник... Я сразу же вынырнул, отплевываясь, отфыркиваясь, недоумённо оглянулся. Обдирая в кровь ладони, цепляясь за бетонные швы, я выбрался на берег и, напрягая остатки сил, теряя самообладание, стал тянуть за веревочную петлю штурмовой мостик — все выше к стальной, заржавевшей скобе, которую успел заметить. Но мостик был неподвижен, и я повалился пластом, уронив голову на мокрые доски.

Неправдоподобная тишина оглушала меня. Но еще неправдоподобнее был писк синицы, который явственно различался в прибрежных кустах. Безразличие и отчаяние охватили меня...

Да, теперь я был готов ко всему, даже к тому, что самодовольный егерь, щуря белесые ресницы, свесится с бруствера окопа и всадит в упор автоматную очередь в раскинувшееся на мостках беспомощное тело. Спиной, плечами, затылком я ждал эту струю свинца...

Не знаю, не помню, сколько длилось мучительное ожидание, но синица звонко потренькивала в кустах, и тишина не прерывалась ни выстрелом, ни взрывом. Поспешный топот сапог наконец-то настиг меня.

— Младший лейтенант? Младший лейтенант?— Жабчиков тянул меня за ремень.— Вы не убиты, а, младший лейтенант?

Я подобрал ноги и, опираясь на кисти рук, встал на колени.

— Приказано вертаться! Вертаться приказано!— захлебываясь от восторга, непонятного мне, крикнул Жабчиков и зачастил по настилу обратно. Словно пружина подбросила меня. Запузырилась на брезентовых сапогах вода, намокшая телогрейка стесняла движения, но я делал огромные прыжки по настилу: Лавола была совсем рядом.

Цепь штурмового мостика, провисая над приплеском, плавно подымалась по гранитному откосу. С ходу я вле-

тел в пулеметное гнездо, резко присел, задохнулся от бега. Чья-то рука накинула на спину теплую еще шинель.

— А что, младший, холодна вода в канале?..— глаза Седунова сияли радостью встречи. Присев на корточки передо мной, он все чему-то посмеивался, все подмаргивал мне, все похлопывал прутиком по голенищу.

— Вставай-вставай... Нечего шею-то гнуть!— сказал он, подымаясь и поправляя кобуру пистолета на длинных ремнях.

— Что случилось?— выдохнул я наконец.

— Что случилось?— с видимым удовольствием переспросил он.— Что случилось?..— Капитан выждал, обвел глазами бруствер, гранитный откос, сосны, выступавшие из кустарника на том, на противоположном берегу...— А то случилось — пардону сосед запросил!..— Он явно обрадовался своей находке:— Ах ты, мать честная,— пардону запросил, воевать отказался!..— И расхохотался, обнажив крепкие зубы.

...Мы высунулись из окопа по пояс: туман рассеялся, но дымка смягчала лесные дали — они были голубоваты, и от них веяло таким покоем, что оба мы замерли, пораженные этой далью. Под тяжестью наших тел на дно посыпались мелкие камешки — их падение в долгой тишине было кощунственно громким: оно отрезвило нас, заставило спрыгнуть обратно в укрытие. Седунов вновь стал комбатом, я — младшим офицером, приданным ему для переправы. Спокойно, гораздо спокойнее, чем прежде, он разъяснил мне, что ситуация в общем-то неясная: то ли заключено перемирие, то ли еще черт-те что случилось в верхах... Но только в восемь ноль-ноль (опять мои ходики ушли вперед) был получен приказ немедленно прекратить огонь. И — быть в полной боевой готовности, чтобы по первому знаку снова начать штурм канала.

— Кстати, ты закрепил штурмовой мостик?— привычным командирским тоном спросил Седунов.— Нет?..— И недовольно протянул:— Разз-зява...

Потупившись, я передал ему шинель с вшитыми капитанскими погонами и пошел по ходам сообщений искать своего связного.

Над брустверами окопов приподымались и исчезали каски пехотинцев. Вразброс по острову чернели просмо-

ленные лодки, замаскированные сосняком. Казалось, секунда, другая — взлетят вверх сигнальные ракеты, солдаты подымут на плечи штурмовой мостик, густо облепят лодки, волоком двинут их к каналу, чтобы, спустив на воду, стреляя на ходу, отчаянно выгребая веслами и досками, ринуться вперед. И все во имя одной цели — вцепиться в противоположный берег, окопаться там хотя бы у кромки воды... А затем бросок за броском вон до того камня, до той воронки, до того замшелого пня; ползком, бегом, скорым шагом все глубже и глубже вклиниваться в молчаливый, враждебный лес.

По одному, по два, ротой, батальоном, дивизией, армией — вал за валом, нарастая, перепрыгивая через завалы и трупы, через ручьи и стволы деревьев, идти, выходить, прорываться на линию железной дороги, которая рассекала леса до самой иностранной столицы.

Среди многих чувств, желаний, стремлений было одно, едва ли не самое затаенное, выношенное в сердцах,— пора кончать, пора кончать эту музыку, называемую войной. А раз так — рывком вперед. Вперед, если даже глаза ослепит вспышка автомата, вперед — в смертной ненависти, в немоте последнего крика на шаг, на ступню вперед — и падай, раскинув руки, скорчившись на бегу, как будто зажав в животе горсть свинца, брызнувшего из засады.

Далеко в сторону, ударившись о камень, отлетит твоя каска, голова зароется в мягкий мох, и земля в последний раз обдаст тебя родным до стона запахом лесной прели.

Но безмолвен канал. Безмолвна мыза Лавола. Остров безмолвен и тих. Только из окопов и ходов сообщений начинают гуще виться махорочные дымки,— это сквозь трещины земной коры пробивается огонь раскаленной лавы. И тогда показалось, что вся каменистая, поросшая лесами, первозданно сумрачная земля — это дно черного кратера, растрескавшегося окопами и рвами, готового ежеминутно вспучиться, захлестнуть горизонт, который уступами уходил к серому небу.

Но безмолвен канал и безлико небо. Затишье перед боем начинает перерастать во что-то небывалое, непривычное, новое, во что-то такое, что и словом обозначить боязно, как будто на слово наложен запрет и стоит произнести его, как земля взбухнет буграми, взлетит с треском, выбросит в поднебесье разваливающиеся на

лету лесные бугры и опадет вниз кровавой пеной. Но безмолвна земля и безмолвно сентябрьское небо. И солнце, неяркое осеннее солнце, прогревало эту безмолвную твердь, это белесое небо, оно одно поило воздух светоносным успокоительным теплом.

...Из подвала Лаволы санитары выносили носилки с ранеными. Они обогнули теплицу и пошли, не сгибаясь, в полный рост, минуя сеть траншей и ходов сообщений, растягиваясь по тропинке, сбегавшей к берегу и заросшей за лето зеленой травой.

У берега санитаров поджидали понтонеры. Они бережно приняли носилки на руки, уставили их рядами на железные понтоны и стали на виду у всех переплывать залив. Спокойствие переправы, скорбной и прекрасной в своей скорби, в непоказном благородстве, больше всего, пожалуй, убеждало нас, что в мире что-то переменилось, что наступило иное, новое исчисление времени.

Между островом и нашим берегом все чаще сновали лодки. За прибрежным кустарником отчетливее гудели моторы автомашин. Солдаты, уже не скрываясь, ходили вдоль окопов, окликали земляков, садились на бруствер, курили, щурились на слабом солнцегреве, положив автоматы на колени.

И чудо: из высоченной трубы мызы потянулся дымок. Витой струйкой он восходил прямо к небесам и был таким мирным, уютным, что весь пейзаж сразу переменился — рваные дыры провалившейся крыши не зияли с прежней откровенностью, извивы траншей припрятались в пожелтевшей траве.

Возле теплицы догадливые армейцы копали мелкую розоватую картошку, мыли ее в котелках и сразу же скрывались в дверном проеме под брезентовый полог. Там они варили эту картошку на большой кухонной плите.

Жабчикова я нашел у разведчиков штадива. Они выделялись среди пехотинцев, среди всех этих ватников, плащ-палаток, шинелей, затертых глиной, прожженных кострами, продырявленных осколками и пулями. Маскхалаты разведчиков, их ленивые позы, длинные ножи,

легкие трофейные автоматы, небрежно брошенные рядом,— все возбуждало во мне чувство неприязни и одновременно невольной зависти.

А Жабчиков, еще более, чем всегда, круглолицый, раскрасневшийся от поднесенного спирта, рассказывал какую-то длинную историю. Разведчики, полулежа на обвялой траве, снисходительно слушали его.

— Гляжу: вытаскивает он из кармана бутыль. Вот, говорит, понюхай. Нюхнул я, а из горлышка, как из нефтелавки... Да это же чистая денатура?! Ты бы еще олифы принес. А он обиделся. Много ты понимаешь; мы, говорит, эту денатуру через противогаз очистим — как слеза будет.

— А скажу я вам, — говорил Жабчиков, все более воодушевляясь,— что работал я тогда в деповском клубе. И был у нас уголок Осоавиахима: ну, схемы там разные, головки распиленных снарядов, пробирки — в общем, мура. Еще висела там банка с резиновой маской. Поди, с первой мировой войны... Я про эту банку сразу смекнул. Взял плоскогубцы — чик-чик и противогаз этот в газетку. Маску по горлу ножичком — готово! Лей, говорю, все содержимое, пусть очищается. А из банки — ни капли. Постукай, говорю, посильнее: может, заело... Он постукал, а нижняя решеточка взяла да и отвалилась. Ну, и полезла из банки всякая требуха: уголь, опилки, вата синяя-пресиняя, все насквозь денатурой пропахло. Говорю я Сашке: «Ты этой синей ватой наших девах угощать будешь?.. Только ты, туды-т твою, сам ее вначале попробуй!..»

— А девчата?

— А девки что? Пришли, чаю попили, под патефон потанцевали. Хорошо было...

Разведчики, не дослушав, как по команде, разом вскочили — по ходам сообщений шло дивизионное начальство. Последним я увидел нашего саперного комбата: фуражка оттопыривала уши, козырек скрывал глаза жидкой бирюзы. Он гремел плащом вслед за плечистым дивинженером.

— Здравствуйте, товарищ майор!— кинулся было к нему, но комбат досадливо отмахнулся от меня, мол, потом, сейчас некогда, и зашагал дальше.

Совещались они в крайнем пулеметном гнезде. И снова солдаты сторонились, пропуская начальство, и снова плыла над бруствером огромная фуражка с от-

топыренными ушами. Недоумение и обида полоснули меня по сердцу. Но локоть тут же стиснуло дружеское пожатие. Я обернулся: передо мной стоял капитан Осоцкий. Из-за толстых стекол чернели, словно вишни, его глаза.

— Какова ваша первая переправа, младший лейтенант?— к вискам побежали морщинки, хотя капитан не улыбался, а только дружелюбно и весело смотрел на меня.

— Все ничего... Вот Николай Иванович...

— Мы в батальоне знаем об этом. Хороший был солдат... Да что поделаешь — война!— просто и тихо, а поэтому как-то особенно значительно сказал Осоцкий и, протянув руку на прощание, другим тоном добавил:— На Карельском мы, кажется, отвоевались. Не скажу, надолго ли, но отвоевались...

Я крепко стиснул ладонь капитана и спустился вместе с ним к причалу, который успели оборудовать солдаты на берегу Лаволы. Откуда-то с середины залива он обернулся еще раз и помахал мне пилоткой.

...Мог ли я подумать, что это была последняя наша встреча с капитаном. Оказалось, ночью, пока я спал, капитан Осоцкий смертельно поссорился с нашим комбатом: речь шла о переправе. Комбат настаивал, чтобы мы навели штурмовой мостик, Осоцкий не видел в нем нужды. Не только мостик, кричал он комбату, вся затея с переправой вряд ли необходима.

Эти слова и решили судьбу капитана — его перевели в «полкачи», в полковые инженеры, а позднее, под Сандомиром, он сгорел в самоходке, когда «катюши» сыграли по своему же танковому десанту, потерявшему связь с дивизией и вырвавшемуся далеко вперед.

Все это было потом, а сейчас понтон медленно удалялся от нас, сливаясь с желтой кипенью кустарника, и только подтянутая фигура капитана Осоцкого четко вырисовывалась на корме.

Гранитные глыбы, подлесок, сосны — все до мельчайших подробностей отражалось в зеркальной воде канала. Но лесистый берег и берег отраженный не походили друг на друга: один был тяжел, другой — легок,

текуч. Зеленые вершины сосен, упавших на воду, непрерывно колебались. Волны приходившие из залива, пробегали по отражению, и тогда берег, тот, что был на воде, морщился, колыхался и, казалось, рвался на продольные полосы.

Замысловатой игрой воды, зелени, света я не уставал любоваться давно. Расстелив ватник на камне, торчавшем возле пулеметного гнезда, я пристально смотрел на воду, на небо, на канал, снова на воду и удивлялся: как зыбок отраженный мир, как он текуч, неуловим, прекрасен. Что-то подобное я думал и о себе: сохранить бы это не изведанное прежде, неуловимое чувство, сохранить, сберечь, как-то запомнить, чтобы позднее, когда придется снова что-то мучительно ожидать, я мог бы омыть себя волной этих отрадных воспоминаний.

Нет, все во мне было немо, и оставалось только завидовать тем, кто мог сказать о себе хотя бы такое: «Корабль, натрудивший в морях полотно...» Натрудивший... значит, проплывший моря, значит, побывавший во многих странах...

— Смотри, *они!*— прервал мои размышления капитан Седунов. Облокотившись на бруствер пулеметного гнезда, он рассматривал откос в бинокль.

Неясные фигурки людей выступили из подлеска и как будто в нерешительности замерли справа от нас.

— Позвольте мне бинокль,— обратился я к капитану. Но в этот момент наш мостик тихо дрогнул, стронулся с места — его оторвало от берега и медленно стало заворачивать в сторону залива.

— Говорил тебе, заякори!— отложив бинокль, недовольно заворчал Седунов.— Перемирие перемирием, а ты должен быть на той стороне. Там твое место. Понял? Живо в лодку!— резко скомандовал он.

Я окликнул Жабчикова, спавшего в окопе под обломанной сосной, и бегом бросился к причалу. В две пары весел мы обогнули остров, подцепили мостик и с трудом стали выгребаться против течения. По ту и по другую сторону канала выросли группы солдат. Безмолвно они следили за нами.

Наконец мы кое-как выгребли к старому месту, подтянули мостик, примотали веревкой к скобе, до которой я никак не мог дотянуться раньше. Оставив Жабчикова возле скобы, я разом разогнулся. И первое, что порази-

ло меня, были лица финнов,— какие-то все одинаковые от усталости, грязных потеков, щетины на подбородках.

Серовато-синие грубошерстные кителя егерей были расстегнуты — из-под них виднелось грязное белье. Брюки, заправленные в кожаные краги, пузырями вздувались на коленях, и почти у всех ботинки, брюки, кителя были измазаны глиной, а у иных на локтях, на коленях продраны и кое-как заштопаны солдатской иглой. Нет, не щеголеватые, надменные шюцкоры с обложки журнала, а окопная солдатня толпилась передо мною, и это открытие потрясло меня.

Финны были без оружия. Их пустые руки неловко висели по швам. Я перебегал глазами с одного лица на другое и все силился найти в себе то чувство, которое жгло меня в подвале Лаволы,— и не находил его. Под пристальными взглядами солдат я испытывал теперь совсем иное — чувство неловкости, досады на самого себя. Моя гимнастерка торчала из-под ватника, словно из-под бабьей кацавейки. Растоптанные, с разводьями от воды и соли сапоги уже не нравились мне самому. Чтобы скрыть неловкость, я солидно тронул кирзовую кобуру и приосанился для вида, небрежно выставив вперед ногу. Потом, не зная, чем занять себя, полез за папиросами. Была у меня пачка «Беломора», и когда я достал ее, несколько заскорузлых рук неуверенно протянулось ко мне. Я охотно разорвал верх пачки — она сразу опустела. Кто-то услужливо чиркнул зажигалкой, и мы безмолвно и сладко затянулись папиросным дымком.

Наконец пожилой егерь, щербато улыбаясь, показал на наш остров:

— Мыза Лавола, о!— И не то чтобы одобрительно, но понимающе протянул еще раз:— О-о-о!

Я понял его восклицание, понял и то, что он не сумел досказать: мол, ты откуда, с мызы Лавола или же случайно оказался здесь.

— Да, да!— ответил я с оттенком гордости и для верности повторил по-немецки.

Пожилой финн обрадовался, быстро-быстро заговорил, но моих знаний немецкого языка, увы, хватило ненадолго.

— Ich habe sagen... — начал путаться я в переводе, но в это время на острове глухо ударил взрыв. Все вздрогнули, отпрянули друг от друга. Финны смешались,

но не отступили ни на шаг. Стиснув зубы, я стоял прямо против них, не решаясь оглянуться назад.

— Товарищ младший лейтенант.— Жабчиков вынырнул из-за плеча.— Это кто-то из наших на мине подорвался.

И хотя егеря тоже поняли причину взрыва, замешательство не проходило. Наоборот, дружелюбные улыбки сгасли на худощавых, голубоватых лицах, и незримая стена отчуждения, недоверия, страха опустилась между нами. Потоптавшись на месте, загасив окурки папирос, солдаты быстро вскарабкались по склону и растворились в прибрежных кустах, как будто их никогда и не бывало.

В лодку натекла вода, и Жабчиков, навалившись на борт, вычерпывал ее котелком, который прихватил вместе с вещмешком и автоматом.

У поплавков штурмового мостика медленно кружилась лесная труха — желтые листья, ветви, хвоинки, осиновая щепа. Все это постепенно всасывалось под настил и уносилось течением дальше. Мягко стукнулась и остановилась смутная, темная масса. Жабчиков бросил вычерпывать воду. Нет, не корягу, не обрубок бревна — к мостику прибило чей-то труп. Жабчиков встал, подгреб веслом тело утопленника. Сазонтов! — догадка поразила и одновременно ужаснула его. Да, это был Сазонтов, его закадычный товарищ, с которым они воевали от самой Нарвы. Сазонтова еще с той, с летней переправы считали без вести пропавшим, а оно видишь все как получилось...

Вдвоем мы вытащили тело из воды, взвалили в лодку и тихо поплыли к Лаволе. Жабчиков сидел на корме, я — на веслах. Где-то посередине залива он, содрогнувшись от холода мертвого тела, оторвал внутренний карман гимнастерки, достал сверток, подал его мне. Я бросил весла — в свертке, разбухшем от воды, аккуратно перехваченном резинкой, была пачка слипшихся писем и алая книжица. Я развернул ее. Это был партбилет сапера Сазонтова. Нижний край партбилета неровно оборвал осколок, карточка отлипла и отвалилась, но заглавная строка «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)» четко выделялась каждой буквой. Я перевязал сверток резинкой, вложил его в нагрудный карман своей гимнастерки. Карман быстро промок, но сердце мое билось под этой алой книжицей, под этой

пачкой писем, хранивших беду и радость человека, которого я не знал, но к смерти которого невозможно было привыкнуть.

Мы догреблись до причала и здесь же, у самого приплеска, похоронили сапера Сазонтова. Жабчиков уложил края могилы красными черепицами. Я вырезал из жести звездочку, прибил ее к сосне, химическим карандашом написав фамилию, звание сапера и дату смерти: 1944 год.

— Тебя к телефону! — сказал мне капитан Седунов. Его губы хотели, но никак не могли сдержать хитрой улыбки, которая змеилась по темному, с коричневыми подглазьями лицу. Я поспешно вырвал трубку у телефониста: тот растерянно оглядывал полутьму подвала, *пустынного и поэтому особенно захламленного днем.*

— Родной мой,— я онемел от неожиданной радости.— Родной мой — ты жив? Я столько пережила за эту ночь! Столько пережила! Я думала: тебя принесут на носилках в санбат... Я боялась этого, хотела этого... чтобы быть с тобою рядом, чтобы спасти тебя... Я так...— Шорохи и разряды усилились, голос походил на ниточку. Эта ниточка истончалась, истончалась и оборвалась совсем.

Напрасно я тряс трубку, дул в нее — ничего, кроме пронзительного свиста, не было слышно. Телефонист полусонно смотрел на мои старания, не изъявляя особой охоты помочь мне. Голова гудела. Она враз распухла от пронзительного свиста, который в памяти моей все равно не мог заглушить Асин голос. Помехи лишили голос теплоты, они придавали ему какой-то металлический привкус, но даже таким я готов был слушать его вновь и вновь.

Аппарат зазуммерил. Телефонист взял трубку и снова, уже осмысленно, передал трубку мне. Жадно я схватился за нагретую ладонью телефониста дужку, припал ухом к мембране.

— Алло,— хрипловатый голос майора, командира нашего саперного батальона, окатил меня холодной водой.— Это младший лейтенант? Да? Ты что, рас-скисляй, на острове сидишь?

Трубка хрипела, билась, рвалась из руки. На моем лице, надо думать, было написано такое выражение,

что полусонный телефонист не удержался и прыснул.

— Забирай связного и немедленно являйся в штаб батальона. Ты слышал?— хрипела трубка.— С завтрашнего дня начнем разминировать поля. Что мостик?.. Без тебя обойдутся. Чтоб через час быть в батальоне. Все. Выполняй.

Голос смолк. Я подержал трубку, приложил мембрану к уху, но в ней не было слышно даже привычных шорохов и писков.

— На тебя нынче спрос,— беспечно заметил капитан Седунов, сидевший у стола в накинутом на плечи кителе. У него была привычка что-нибудь накидывать на плечи — он любил чувствовать плечи и руки свободными.

— Приказано явиться в штаб батальона,— упавшим голосом сказал я.

— Что такое?

— Комбат трибуналом грозит. Говорит, я на острове ошиваюсь.

Седунов присвистнул:

— Тю-ю-ю. Дурак этот твой комбат,— вот что я скажу. Пошли ты его знаешь куда?— узкие губы Седунова дрогнули в дружелюбной улыбке.— Ночью бы он здесь поошивался, так нет, тебя послал. А впрочем,— Седунов тряхнул головой,— коль приказано — надо топать, сапер. И не поминай, как говорят, Лаволу лихом.

Он встал, скинул китель на стол, шагнул ко мне и стиснул меня в объятиях. Его иссиня выбритая щека коснулась моей щеки. Капитан двинул по привычке в плечо, пронзительно и остро посмотрел карими, глубоко залегшими глазами, добавил:

— В случае чего, просись ко мне в батальон. Знаешь пословицу: дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Я дам взвод разведки. Из тебя, темнота курсантская, толк выйдет.

Лодка мягко прошуршала днищем по мелководью и встала в той самой заводи, откуда мы начинали путь на Лаволу. Берег все еще был истоптан солдатскими сапогами, изрезан килями лодок, засорен обрывками телефонных проводов. Но смотрел я на заводь, на следы наших поспешных ночных сборов уже другими глазами, воспринимал другими чувствами, словно время и

пространство сделали меня другим человеком, изменили меня с тех самых пор, как я отчалил от берега, освещенного всплеском ракет. Да и шли мы с Жабчиковым теперь по-иному, верхом траншеи, легко перешагивая с одной стороны на другую, изредка прихватывая горсть красной брусники. Гроздья ее выбивались из-под комьев земли, из-под ржавых, расщепленных болванок мин, мерцали под обугленными, поваленными стволами сосенок, они сопровождали нас долго, настойчиво, пока наконец мы не вышли на лежневку и не стали подыматься в гору.

Вершина горы была камениста, и только сухие пучки травы торчали возле валунов, которые повсюду выставляли бугристые спины. Глаза заслезились от ветра, от простора, впервые так вольно открывшегося нам. Белая кромка прибоя опоясывала побережье. Выпуклая, тусклая гладь Финского залива сливалась с грядой облаков, тяжело клубившихся на горизонте.

Мы решили передохнуть в заветрии, под большим валуном.

Жабчиков разложил на коленях свое хозяйство и теперь, оторвав край газетки, старательно крутил «козью ножку». Я пошарил в карманах, достал пачку «Беломора». Она была пуста. Улыбнувшись, заглянув для верности еще раз, я надул пачку, как мальчишки надувают пустые кульки, и весело хлопнул ею.

Жабчиков вздрогнул, осуждающе посмотрел на меня, потом, догадавшись, не без замешательства протянул мне алюминиевый портсигар, набитый махоркой, и газетку.

Прежде чем оторвать край, я скользнул глазами по тексту:

«...В ночь на четвертое сентября...»

— Постой, откуда у тебя эта газета?

— Как откуда?— обиделся Жабчиков.— Она чистая. Мне ее на острове разведчики дали.

Я стал разворачивать сложенный во много раз лист. Он затрепыхал под ветром, но я крепко удерживал его. Середина была вырвана и, кроме начальной строки, мне удалось прочитать всего несколько фраз:

«...приняла выдвинутое Советским правительством условие... о прекращении военных действий на всем участке расположения... войск с 8 часов утра 4 сентября».

Значит, ночью, когда я выгребался к Лаволе... Эта мысль поразила меня. Значит, заранее все было предрешено, как предрешали судьбу Одиссея олимпийские боги?.. Значит, великие мира сего, как и его, меня не щадили?..

Ветер, задувавший с моря, сильно рванул газетный лист, поднял его высоко и понес над каменистыми склонами, над шапками сосен, над сетью траншей и ходов сообщений. Я проследил за его колеблющимся полетом, опустил взгляд и снова, как на рельефной карте, увидел остров Лаволу: причал, усадьбу, теплицу, кущи деревьев, слюдяное сияние канала — все, что за эту бесконечно долгую ночь было передовой линией фронта.

Но в наступающих сумерках мыза Лавола уже не казалась мне, как прежде, мифическим кораблем — это был полуразрушенный дом, который, как и все на канале, надо было восстанавливать, поднимать стропила, латать крышу, обшивать досками стены, чтобы дымок — он по-прежнему вился из кирпичной трубы — звал к себе и рыбака, и грибника, и просто прохожего человека, заплутавшего в здешних лесах.

Для Лаволы война кончилась. Для меня она только начиналась.

ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ

Повесть-монолог

Я не знал, что наш поезд «Москва — Прага», в котором были варшавские вагоны, прибудет на этот, как мне вначале показалось, пригородный вокзал. Но это была Варшава, правда, Варшава-Гданьская, где обычно останавливаются все поезда, следующие через Варшаву транзитом. Еще на вагонных ступеньках, поеживаясь от холода и подымая воротник плаща, я пытался разглядеть среди встречающих Леонарда. Его можно было бы узнать и у соседних вагонов, и даже среди толпы. Но тщетно — Леонарда нигде не было. Простояв минут десять на быстро опустевшей и продуваемой осенними ветрами платформе, я подхватил дорожный чемодан и пошел к стеклянному зданию вокзала, где надеялся найти телефон-автомат. Вдоль платформы, выглядывая из-за металлической сетки, шли крохотные огородные домики с такими же крохотными террасками, выкрашенными в зеленый, желтый и синий цвет. И это придавало платформе сельский вид, хотя высотное здание интуристовской гостиницы говорило о другом, о том, что Варшава — вот она, всего в сотне метров от меня. В зале ожидания меня вновь постигла неудача: автомат не сработал даже после второй монеты. Теперь надо было менять бумажные деньги, искать другой автомат, снова дозваниваться до общества — одним словом, канитель. Правда, эта знакомая московская история с телефоном-автоматом даже развеселила меня: с первых же шагов я почувствовал, что я у своих, и теперь уже ничуть не сомневался, что обязательно найду Леонарда... В пристанционной закусочной, где в густом табачном дыму стояли у стоек и сидели на скамьях люди, третья монета наконец-то сработала. А минут через пятнадцать из бежевого польского «фиата»

уже вываливался возбужденный и громкоголосый Леонард. Он тискал меня и вертел в разные стороны и говорил с такой искренней радостью, за которую ему все можно было простить. Оказывается, он высчитал местное время, а поезд прибыл по московскому — в 9.30. И-и, холера,— он был уже готов ехать, как раздался мой телефонный звонок. Теперь надо пристегнуть ремни. В Варшаве с этим строго. И слушать и запоминать. Конференция будет проходить в один день. Уже в двенадцать — открытие. Нет, не здесь, не в Варшаве, а в Доме конференций, это километров двадцать пять отсюда. Успеем ли? Успеем! Там мне отведен номер, покой — по-польски... Вот и все.

— Смотри: мы почти вырвались. Мы вже на позамястном,— Леонард поправился, — на пригородном шоссе...

Действительно, шоссе под колесами «фиата» перестало петлять, оно как бы вытягивалось, вырывалось вперед в сторону ближнего соснового бора, рассекало его надвое, взбегало на следующий холм и подступало к волнистой линии горизонта, на которую, как сказано поэтом, конечно, нельзя наступить.

Новенький «фиат» Леонард вел с той профессиональной небрежностью, которая была свойственна ему во всем, за что бы он ни брался, к чему бы ни прикасались его руки. Такова была его натура, бывшего слесаря, офицера связи Первой польской армии, журналиста, заядлого охотника — да мало ли что можно было бы сказать о Леонарде, который умел делать все и всюду успевать, несмотря на видимую телесную громоздкость.

По гравийной отворотке мы въехали в старинный парк. И сразу же в перспективе забелело здание. Я заметил только, что выстроено оно в стиле шляхетской усадьбы или в знаменитом стиле дворэк. Крыша, крытая гонтом, крылечко с небольшой колоннадой, фонарь-многогранник на углу и декоративные кусты вдоль стен — уютно, живописно, изящно. Нас уже ждали. Не понимаю когда, но Леонард сумел дозвониться сюда из Варшавы...

...Конференция прошла успешно... Правда, бурных аплодисментов я не дождался, но, судя по всему, слушали меня с интересом и не были разочарованы ни темой реферата, ни самим лектором — референтом.

А в полуподвале уже накрывались столы для банкета, уже сходились участники встречи, многие со своими, как мне показалось, моложавыми женами. Уже член правления общества, лысый, с нафабренными седыми усами человек, кричал мне через стол: «Я есть старый капрал. Я был на этой, нет, на той, пан Лектор, стороне тем разом, когда буденновцы шли до Варшавы. Но под Мехувом я был уже с этой, так, с радецкой стороны...»

Слитный гул голосов, позвякивание посуды, женский неосознанно-возбужденный смех — все заглушало голос моего нового знакомца... Правда, через какое-то время он продолжал вопрошать через стол: «Пан Лектор бывал в Варшаве?.. Так. И в Кракове? В войну бывал?.. Леонард, где ты есть, Леонард? Наш пан Лектор освобождал Краков. Ты это знаешь? Ты уже думал об этом, ты думал, чтобы завтра делегация ехала в Краков? То есть добже, что ты так думал, Леонард...»

Было далеко за полночь, когда одним из последних Леонард пошел к своей машине. И я вышел вместе с ним. Леонард включил зажигание: в свете задних подфарников заклубился ярко-рубиновый дымок. И все-таки мы никак не могли расстаться с ним, пока я не хлопнул по верху машины и тем самым не дал понять, что пора ехать. Под шинами заскрипел гравий. «Фиат» на повороте еще раз мигнул алым глазком и скрылся.

...Чувство душевной расслабленности тотчас же овладело мною. Я давно не испытывал этого чувства, и странно, что здесь, в этом старинном польском фольварке, под этим высоким звездным пологом, запорошенным пылью Млечного Пути, в этой чуткой тишине, прерываемой брехом собак, оно пришло ко мне и властно предъявило на меня свои права. Как все-таки непосильна бывает обремененность бесконечной заботой! Как редко посещает нас чувство покоя и раскрепощения от житейской суеты сует.

В особняке свет был погашен, слабо освещалась одна прихожая, да горел на углу фонарь-многогранник. Я пошел на этот свет фонаря и очутился на парковой аллее, сплошь усыпанной листьями. Шел и ощущал, как намокают верха ботинок, как озноб сотрясает меня, но

шел, вперив глаза в темноту, особенно густую в конце аллеи. Конец аллеи — конец пути, заранее решил я. И когда, казалось, тьма стала абсолютной и ничего нельзя было рассмотреть, я остановился. И вот здесь-то вдруг стали вырисовываться кущи деревьев, острый шпиль костела, крыши других домов. И все — словно на полотнах Яна Станиславского, которого так любил Нестеров,— все это не столь виделось, сколько угадывалось, узнавалось, начинало пахнуть мокрой и прелой листвой, мерцать первой изморозью, покалывать иглами мироздания. И я подсознательно догадывался, что свои полотна Ян Станиславский писал в такие минуты душевного покоя и озарения, которые я только что пережил. И писал он их, чтобы другим людям, обремененным заботой, измученным неотступной тревогой, тьма, застилавшая глаза, никогда не казалась непроницаемо-темной.

Проснувшись поутру, я испытывал не то чтобы целительное умиротворение, пережитое вчера, но пребывал в некоем трезвом и умудренном опытом прожитой жизни состоянии, которое подсказывало мне, что все будет хорошо. Так оно и оказалось на самом деле.

Внизу, в полуподвальном зале, где теперь было опрятно, пустынно, тихо, мне предстоял завтрак вместе с пани Женей, как по-русски она называла себя. И хотя в ее облике, в ее кукольном личике, в мелкой седой завивке было что-то от пожилой француженки, мне нравилось ее называть именно так: «пани Женя».

И снова — до прихода машины из города — я совершал одинокую прогулку по аллеям, где стволы старинных вязов были покрыты зеленой тиной, а ветви образовывали сплошной покров над головой. Как и прежде, я отвлеченно размышлял о стилевых особенностях дворэковой архитектуры, которая безусловно восходит к народным гуральским постройкам в Закопане, и, задумавшись, долго стоял возле розария. А потом очнулся, посмотрел на эти клумбы и содрогнулся: на зеленых стеблях с зелеными, мясистыми листьями никли бутоны роз. Куда бы я ни смотрел, повсюду были эти черные, черные бутоны роз. Нет, искусство садовода здесь было ни при чем: их сожгли заморозки, ранние в этом году.

Наконец-то за мной пришла машина, такой же, как

у Леонарда, польский «фиат»... Пани Янина Ковальская, приехавшая вместе с шофером Кшижсто и пристально глядевшая на меня сквозь большие круглые очки, деловым тоном сказала: по решению правления общества она и шофер Кшижсто будут сопровождать меня в поездке по стране. И первый пункт нашей поездки — Краков!

...Снег летит прямо в лицо, как мириады белых пуль. И сразу же тает, стекая за распахнутый ворот гимнастерки. Когда кто-нибудь из нас снимает ушанку — пар валит от ее мокрой подкладки и таких же мокрых волос. Как и ушанка, под мышками и под поясом намокло армейское белье и даже ватник, поверх которого надет белый маскхалат. Мешает этот маскхалат, путается между ног, давит на плечи, но содрать его, словно шкуру, нельзя, хотя мы и идем во втором эшелоне. Мы — это двенадцать саперов-разведчиков, все, что осталось от взвода на нашем долгом пути, который и привел нас на эти овеваемые поземкой, сливающиеся с таким же мутным и мглистым небом просторы Мехувской Выжины.

Зимняя дорога прихотливо вьется под нами и ведет к белым крышам и темным зарослям садов какого-то польского села, а может, и городка — это надо посмотреть по карте... Я останавливаюсь, открываю полевую сумку, смахиваю с бровей пот и смотрю сквозь желтоватую слюду планшетки. Солдаты за моей спиной тоже останавливаются, закуривают, иные, привалившись заплечными вещмешками к осыпям снега, сидят на обочинах дороги. «Смотри,— узнаю я голос младшего сержанта Жмыхова, из ярославских,— паны, вишь, хлеб не успели убрать. Так в снопах и присыпало снегом...»

Все начинают смотреть в ту сторону, куда смотрит сержант. Я тоже отрываюсь от планшетки. Однако мутная снежная белизна от напряжения пошла желтыми пятнами. Наконец, как и другие, я вижу эти полузанесенные снегом снопы, что лежат на склонах Выжины. «Нет, ребята,— неохотно возражает пожилой солдат Панематкин, пришедший к нам из госпиталя.— Это не снопы... Это пластуны из девятой пластунской. До госпиталя мы в соседях были...» Солдаты насторо-

женно молчат: что скажет еще Панематкин? Но тот, предварив недоуменные вопросы, поясняет: «Башлыки-то из-под снега, смотрите, краснеют... Как шли по полю цепью, так цепью их и покосили. Во-о-он с той колокольни...»

Мне и раньше доводилось бывать в знаменитых готических соборах. И раньше меня глубоко изумляло таинство цветных витражей, когда из золотисто-янтарных, изумрудных, рубиновых стеклянных сот, отгороженных друг от друга свинцовой опайкой, без пышного освещения, без всякой иллюминации, даже в самый сумрачный день, возникало нечто странное, впечатляющее.

И все-таки витражи в костеле францисканцев были совсем иными. Мне не терпелось пойти в этот костел, и я побывал в нем в тот же самый вечер, когда мы приехали в Краков и когда нанесли визит вежливости в местное отделение общества, поскольку пани Янина, функционер общества знаний, должна была знакомиться с работой местных отделений на всем пути нашего следования.

Не скрою: меня поразили витражные композиции больше того, чем я смел или надеялся ожидать. Ведь они принадлежали Станиславу Выспяньскому. И первое, что изумило меня, это — волнообразные и растительные мотивы, от которых на меня пахнуло свежей озерной водой и цветущей луговиной. Велика была сила искусства: я видел то, что хотел сам видеть и что внушал мне художник. Выспяньский с детских лет любил цветы своей милой родины: и алые розы, и белые лилии, и ромашки, и колокольчики, и даже листы чертополоха... И все они были занесены в его ученические блокноты, которые со временем составили уникальный «Гербарий»: оттуда-то он черпал сюжеты для своих орнаментов и витражных композиций. Правда, все это я знал и раньше из искусствоведческих книг и сочинений. Знал, что для Выспяньского искусство — всемогущественно, если оно отражает самосознание народа, если оно поощряет человека к духовному подвигу, благородству, справедливости, любви. Не случайно главной идеей этого великого художника была как будто бы и странная, но и глубоко художественная, я бы сказал,

поэтическая идея: все польские земли, разрозненные и обездоленные в начале нового века, соединить красотой, как бы оплести их гирляндами дивных цветов, как бы околдовать чистейшей радостью искусства. «Вот это будет искусство!» — восклицал он, работая над витражами. Не потому ли в центре полихромий Выспяньский поместил Созидателя, который, провозгласив «Да будет!», восходит в языках пламени, как восходит солнце над безбрежной пучиной вод. А гирлянды грациозных, фантастически прекрасных цветов возникают в витражных композициях, окаймляя образы святого Франциска и святой Соломии, патронов местного прихода, и являются овеществленной красотой, которую я ощущал каждой нервной клеткой...

По программе, выработанной краковским отделением общества, мы должны были отужинать в знаменитом кафе «Яма Михаликова», где сохранился интерьер начала века и многие рисунки, наброски, дружеские шаржи художников сецессиона — художников «Краковских мастерских». Однако в кафе было чадно, шумно, многолюдно. Мы едва нашли свободный столик и, разместившись за ним, терпеливо стали ожидать официанта. «Для чего пан Лектор такой невеселый?» — спросила меня Ковальская, чтобы как-то скоротать время. В знак удивления я пожал плечами. Да и что я мог ответить нашей серьезной и строгой керувничке, нашей руководительнице, если я и сам не мог разобраться в том тревожном и сложном чувстве, которое охватило меня при выходе из францисканского костела. Ведь перед только что увиденным и пережитым я не был ни в чем виноват, как не был виноват перед другими бесценными витражами и фресками других художников... Но чувство неясной вины мучило и не покидало меня. Подумать только: лишь случайность спасла их, та самая случайность, которая на войне — закон.

Командарм 59-й односложно отвечал на приветствия и вопросы в переходах охотничьего замка, принадлежавшего какому-то польскому магнату, а ныне переполненного военным людом, опутанного проводами, заваленного старинной мебелью и армейским имущест-

вом. Поскольку новость, о которой он мечтал, но даже не надеялся услышать, была такова, что заставила его без промедления выехать к себе на командный пункт. Там, среди заснеженных холмов и сосновых боров Малопольской Выжины, там, на подступах к городкам, украшенным костелами и фигурами святых, на окраинах деревень, отгороженных от полей крестьянскими постройками, виднелись редкие цепи атакующих войск, по зимнему бездорожью тянулись колонны пехоты и военной техники, там шло наступление, начавшееся с Сандомирского плацдарма.

И вот теперь его армия заняла нависающее положение над Краковом. Из Верховной Ставки в штаб фронта тотчас же поступила директива: войскам левого крыла овладеть древней столицей Польши. А левое крыло фронта — это его, Командарма, дивизии и корпуса, его массированный удар под Мехувом, его выход к Олькушу и Песковой Скале.

Вот почему так срочно он был вызван в охотничий замок, где размещался штаб фронта, вот почему он и гнал сейчас «виллис», оставляя далеко позади охрану, к своему КП. В беседе с маршалом Коневым ему была поставлена стратегическая задача: усилить темпы наступления, обойти Краков с северо-запада и не позднее 20 января штурмом овладеть городом. Командарм 59-й в этом приказе усматривал некую историческую закономерность или историческую справедливость, что ли, ибо ровно год назад его солдаты и офицеры штурмом овладели Господином Великим Новгородом, летописной столицей северной Руси. Его танкисты, первыми ворвавшись в Новгородский кремль, увидели страшную картину: сожженные дотла дома, ободранные купола святой Софии и странно и жутко торчавшие из снега руки и головы древнерусских святителей и князей: солдаты из немецких зондеркоманд уже подготовили к отправке в Германию на уничтожение, на переплавку гениальный памятник Микешина «Тысячелетие России». А сейчас, где-то за снегами и туманами Малопольской Выжины, такие же немецкие зондеркоманды уже грузили в эшелоны сокровища Вавеля, минировали подземелья королевского замка, прорубали бойницы в стенах готических соборов.

Однако в штабе фронта Командарм 59-й получил строгое предупреждение, чтобы тяжелой артиллерии не

применять, помощи бомбардировочной авиации не запрашивать, огнеметов не использовать, а надеяться на героизм солдат и молниеносность наступления в целом. А поэтому ни минуты задержки!..

Я нажимаю на створки — окно с разбитыми стеклами распахивается настежь. Сметаю осколки с подоконника, выглядываю наружу, вижу зимнее солнце, которое — сквозь клубы дыма и пара — источает ярко-алое холодное сияние. На войне обычно не видишь солнца, а здесь оно стынет сразу же за уступами черепичных крыш.

Двенадцать человек саперов-разведчиков расположились в этой полупустой комнате, брошенной жильцами квартиры: кто присел вдоль стен на корточки, кто повалил громоздкий шкаф и спит на нем, закинув сидор в изголовье.

Внезапно в комнату влетает боец, молодой, розовощекий, в ушанке, сбитой на затылок. Это связной комбата. По-мальчишески восторженно он кричит: «Кончай ночевать — выходи строиться!» Увидев меня и нимало не смутившись, поясняет: «Саперам разведвзвода отбыть в распоряжение штаба танковой бригады. Взять взрывчатку, детонаторы, бикфордов шнур. И — быстро!»

...Хрустит под сапогами битое стекло. Слышнее становится автоматная перестрелка. Отчетливее шорох пролетавших над головою мин. Меняются какие-то дворы, брандмауэры с облупившейся известкой, сорванные с петель двери. Возле одной из таких дверей — часовой. И сразу же возникает фигура капитана-танкиста. Он в черной кирзе с ног до головы. Непривычно видеть широкие штанины комбинезона с напуском на сапоги. Лицо в копоти. Взгляд хмурый и скользящий.

«Пошли, что ли, лейтенант!»

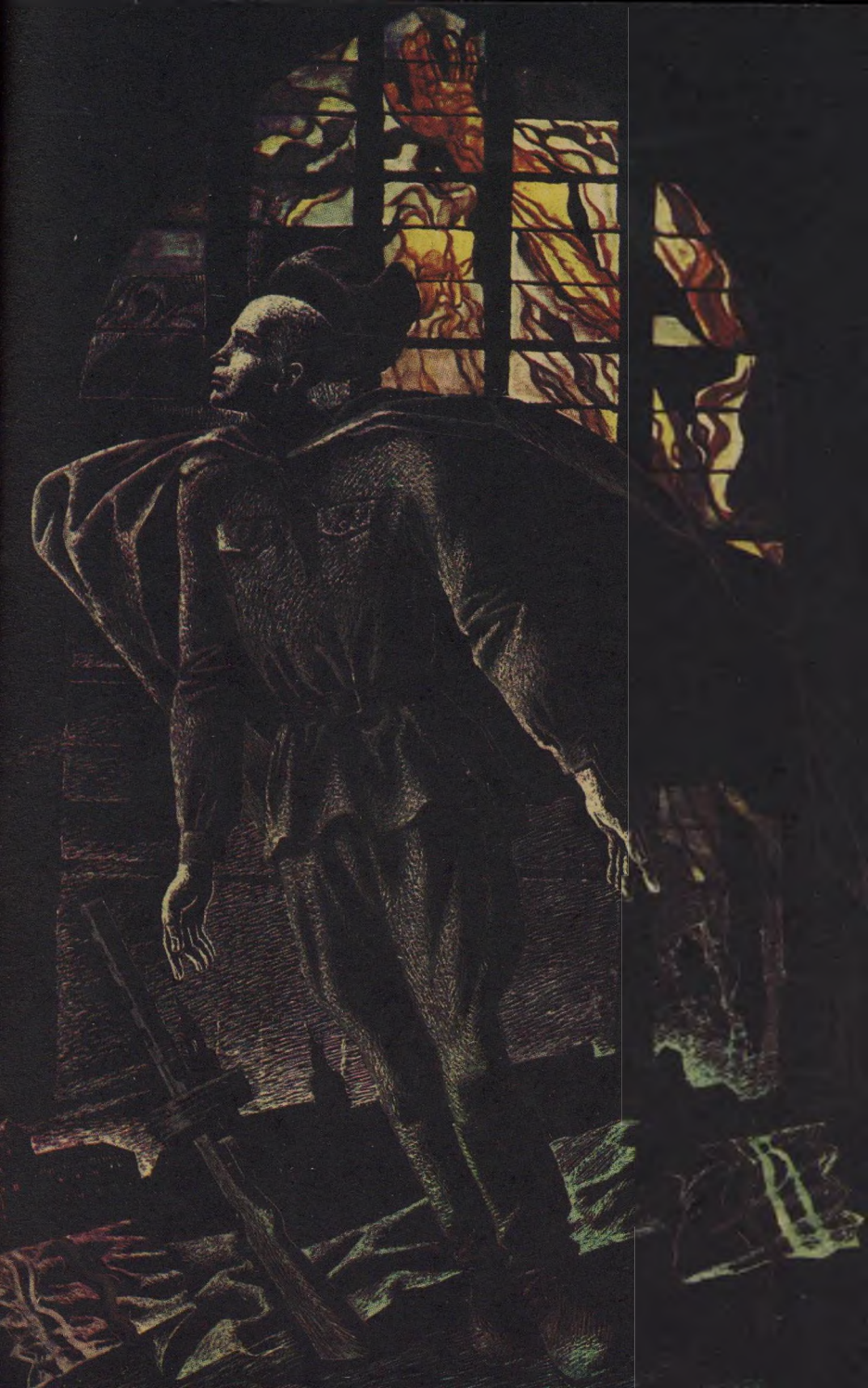
Мы вновь проходим задние дворы и узкие средневековые улочки, забитые техникой. Чего здесь только нет: студебеккеры с брезентовыми верхами, механические мастерские, цистерны с горючим, штабные машины, двуколки с поднятыми вверх оглоблями. И только танков не заметно: они там, впереди нас.

«Постоим здесь, покурим...— танкист достает карту, сверяет с моею. Поясняет:— Вот здесь, в приходском костеле, засели фаустники из охранного полка «Остлянд». Час назад лучший в бригаде экипаж сожгли. Комбриг места себе не находит, злой как черт, а приказ отменить не может: артиллерии не применять! Приказ строжайший — самого Конева. Да ты посмотри — полюбуйся».

В конце узкого, как щель, переулка в самом деле виден католический крест. Это и есть приходский костел. Древность. Готика. Командир охранного полка «Остлянд» знал, где опорный пункт обороны устраивать. Стены у этой готики, наверно, больше метра, да ее контрфорсы, да еще подвалы... В общем, задача простая: подобраться и подорвать пристройку костела. Как это по-ихнему — пресвитерий... Что же, ясно? Значит, действуй, лейтенант!

Самое трудное не в том, самое трудное — выбрать себе еще двух человек... Солдаты переминаются с ноги на ногу, торопливо докуривают цигарки, ввинчивая их в снег. За дни тяжелого зимнего наступления я будто впервые вижу своих саперов. Одеты они — каждый на свой манер: кто в маскхалате, порванном и сером от золы, кто в ватнике, перехваченном ремнем, а трое — в новеньких зеленых шинелях. Эти только что прибыли из резерва. Я даже фамилии их не успел запомнить. И у всех — бесконечно усталый вид. Спрашивать, кто пойдет со мной, бесполезно. Но я все-таки спрашиваю. Наступает тягостное молчание. В душе-то я понимаю своих солдат: слишком тяжела война и слишком каждодневна случайность быть убитым. Не до геройства. Войну надо кончать, это — главное... Лихорадочно перебираю фамилии: у Жабчикова три девчонки, как они будут без отца?.. Помкомвзвода Ивана следует оставить вместо себя. Панематкин только что из госпиталя... Басистый... Юсупов... Ага, Катышев!.. Приземистый солдат делает шаг вперед. И еще один из вновь прибывших (фамилия не сразу вспомнилась), Ивков, Ивков его фамилия — солдат с открытым, умным лицом,— вышел и сказал просто: «Я пойду с тобой, лейтенант!»

«Раз-з-зойдись!»



солнца скатывались с черепичных крыш и щекотали мне веки, набрякшие от переутомления и малого сна. По подоконнику ходили голуби, раздув оранжевые зобы и что-то ворчливо втолковывая друг другу. «Марыйка!» — летело снизу вверх. И этот звонкий женский голос будоражил и бодрил и все-таки позволял еще помедлить, еще насладиться отблесками сна. Если в таком гостиничном номере я жил осенью, то включенный вентилятор позволял мне угадывать приближающийся рассвет. И тоже были еще какие-то мгновения, которые позволяли ощутить всю прелесть и весь уют этого старомодного гостиничного номера с одеялом-периной, обволакивающим тело, фаянсовым умывальником и завтраком в гостиничном кафе. Столь же неизменным был барочный интерьер гостиниц, поскольку в каждом углу торчал позолоченный амурчик, на стенах были развешаны огромные зеркала, а между этажами ходили громоздкие лифты, красное дерево и медные поручни которых мне почему-то напоминали каюты-люкс колесных пароходов.

И все-таки я совершенно не понимал людей, очарованных техническим и бытовым ретро. Еще по дороге в Краков мы разговорились об этом всеобщем увлечении с пани Яниной. И последствия нашего разговора я почувствовал вечером, когда совсем неожиданно она предложила мне побывать в молодежном джаз-клубе: тогда это еще только-только входило в моду, а пани Янина хотела показать мне все достопримечательности города. Предложение мне показалось заманчивым.

Джаз-клуб помещался в полуподвале. Прямо с улицы, заполненной дневным привычным шумом, несколько ступенек вниз — и мы оказались в комнате под сводами. Тусклый свет лампочек, свисавших с потолка, и густые слои табачного дыма не позволяли разобраться, что к чему. Но из этого дыма и полумрака к нам довольно скоро вынырнул светлобородый юноша в золотых очках и потертых джинсах, указал место на скамейке, идущей вдоль стены и похожей на садовую, получил плату за вход, принес несколько бутылок пива, тарелку с бутербродами и оставил нас в покое на весь вечер. После того как я попривык к рассеянному и какому-то банному — из-за табачного дыма — свету, можно бы-

ло удовлетворить свое любопытство. Все в этой комнате под сводами возвращало к началу века — к первым нью-орлеанским джаз-бандам, первым автомобилям, первым синематографам. Вне какого-то порядка на стенах были развешаны групповые фотографии: мужчины в котелках и при нафабренных, кайзеровских усах, дамы — в шляпах колесом и кружевных накидках. На столбе, подпиравшем свод, была прибита граммофонная труба и автомобильный рожок с резиновой грушей. А на скамейках вдоль стен, за крохотными столиками, сидели джинсовые девушки, каждая сама по себе, каждая в одиночку, и непрерывно курили. Мимо них взад-вперед ходил какой-то парень: бумажная роза демонстративно продернута под погончик его желтой рубашки. Но главным здесь был не интерьер и не этот парень, главными здесь были синкопированные звуки пианино, резкие вскрики трубы и почти ритуальная дробь барабана.

Из-за столба, поддерживающего подвальный свод, я не видел джазистов, но их сложная музыкальная фраза тянулась до бесконечности и как бы завораживала, обезличивала, обезволивала тебя этими синкопами... В зальце никто не разговаривал друг с другом, хотя по приветственным кивкам можно было заметить, что многие знакомы, и мы с пани Яниной как-то непроизвольно разговорились. Вернее, пани Янина захотела рассеять мое недоумение по поводу бумажных роз и желтых кофт, как известно, уже вошедших в мировую литературу. Она говорила неожиданно долго, говорила, глядя прямо мне в глаза сквозь круглые — в светлой металлической оправе — очки, казавшиеся ей великоватыми. Значение каждой, только что произнесенной фразы она подчеркивала этим пристальным взглядом, что, не скрою, раздражало меня и заставляло скорее угадывать ее мнение, чем до конца понимать смысл слов.

А мысли пани Янины были таковы, что каждая победа человеческого разума несет в себе и зерно поражения... Это общая посылка. Но конкретно: молодые завсегдатаи джаз-клуба, которых мы видим здесь, не хотят деклараций, не хотят риторики, они хотят самоценной свободы. Вот почему в мире научно-технического диктата, в мире, в котором ощущается кризис моральных и эстетических абсолютов, классическая гармония должна быть отброшена — здесь важно найти и выразить текучесть, неподконтрольность бытия...

«Нет, пани Янина,— с горячностью возразил я Ковальской.— Эти ребята идут по-внешнему... Их внелогичность — это, по существу, тоска по привычной логике, но — по логике, освященной вызовом, модой, подражанием. Художники сецессиона тоже были внелогичными, они тоже стремились запечатлеть текучесть бытия. Они яростно нападали на эклектику — на ее статичность, респектабельность, рационализм! А как они высмеивали господство пышно-царственных, парчово-бархатных одеяний и геройских поз! Но при всем при том искусство было для них евангельем народным. Они ощущали его стихийную мощь. Они не случайно любили сравнивать себя со взметнувшейся океанской волной... «Мы гребни вставшей волны»,— сказал за всех Валерий Брюсов».

Пани Янина пристально вперила в меня немигающие и сильно увеличенные стеклами очков глаза и сказала безо всякой связи с предыдущим, но только в соответствии с логикой собственных рассуждений: «Вы, россияне, за все ищете правду-справедливость... А я, — в этот миг она вызывающе сверкнула стеклами очков,— я — за правду-истину!»

«Прошу простить меня, пани Янина, прошу простить,— вконец раздосадованный, сказал я.— Но в русском слове «справедливость» есть корень «вед», что аналогично: ведать, знать, постигать истину... Быть справедливым — это и быть сведущим, знающим и, что особенно важно,— истинным! Утверждая свою, как вы сказали, правду-справедливость, мы пол-Европы освободили от неволи и возродили к новой жизни... По-моему, утверждать правду-справедливость можно, должно, жертвуя собой, а правду-истину можно утверждать и для себя, эгоистично, келейно...»

«О-о-о!— засмеялась Ковальская.— Я вижу пана в звыклой, в привычной пану роли. Для того поддаюсь и перед вашей, пан Лектор, правдой, и перед вашим желанием быть истинным и для себя, и для всех».

Утром, когда я вошел в ресторанный зал, у пани Янины было совсем другое настроение. Да и я не испытывал охоты продолжать вчерашний разговор. К тому же традиционно сервированный стол настраивал на разговор дружелюбный, ни к чему не обязывающий. На белоснежной скатерти, которая, казалось, еще хранила

тепло утюга, розовела и сочно поблескивала шинка — тонко нарезанная ветчина. В стеклянных вазочках лежали слегка отпотевшие кусочки масла. Краснел клубничный джем. В сливочнике были свежие густые сливки. Седой — с бакенбардами — официант, вымуштрованный долгой службой, спокойно разливал нам дымившийся ароматный кофе.

В конце этого долгого завтрака пани Янина как бы между прочим сказала, что из правления общества получена телефонограмма. Суть ее заключается в следующем: пана Лектора убедительно просят выступить перед студентами-славистами в Высшей педагогической школе в Ополье. Согласен ли пан Лектор? Ведь он, кажется, там воевал, и ему, как полагает пани Янина, будет небезразлично побывать в тех местах...

Дальняя дорога всегда действовала на меня возбуждающе, она всегда, в конце концов, вызывала порыв к самоуглублению, может быть, самопознанию. Ибо здесь проявляется закон, по которому стремительные перемещения в пространстве, свойственные XX веку, определяют столь же стремительные перепады во времени, как во времени астрономическом, так и в личном времени — времени души человеческой. А частицы этого времени сочетаются весьма прихотливо, словно в калейдоскопе. Иначе говоря, не всегда эти частицы подвластны нашему разуму, но всегда они подвластны нашему дорожному бытию.

Пожалуй, только в дальней дороге человек и начинает понимать, что все прежние чувственные впечатления — это мезоны его личного, его собственного времени и что сохраняются они так долго, как долго живет человек. Такая память сердца, увековеченная в русской поэзии Батюшковым, и есть история души человеческой. Эта история и мгновенна и длительна, она и социальна и личностна, но она не позволяет расслаиваться личности, развиваться дихотомии...

Я припал виском к стенке и как будто слился с машиной, которая пролетала по этим безмолвным равнинам Ополья и одновременно где-то там, в дебрях мироздания.

Коротко вскрикнул и опал грохот встречного автофургона. Я запоздало взглянул в стекло дверцы: на

фоне неба сходились, скрещивались, расходились линии телеграфных проводов. Как линии человеческих судеб...

Чтобы вернуть рабочее состояние, я стал думать о Леонарде, припоминать его крупную и необычайно подвижную фигуру, его громкий голос, который я помнил хорошо, поскольку мы часто переговаривались с ним по телефону.

Последний раз в Москву он мне звонил весной, да, весной, в день тридцатилетия Победы. Тридцать лет нашей встрече под Мехувом, нашей дружбе на расстоянии, вопреки расстоянию, вопреки времени и пространству. Тридцать лет! Это все-таки немало. Это что-нибудь да значит в отношениях людей... Потом как-то незаметно я перешел к тезисам своего выступления в Ополье, впрочем, нет, не к тезисам, а к тому, что было их предысторией... Интересно: через наших «мирискусников» я стал постигать реальные ценности русского средневековья, живопись Рублева и Дионисия, яркий колорит новгородских писем... Наверно, произошло это потому, что сами художники «Мира искусств» вдохновлялись древнерусской живописью и архитектурой, черпали оттуда образы, учились видеть чистый цвет, всемерно расширять искусство круга художественных радостей, как прозорливо сказал Грабарь.

Благословенное Абрамцево — это еще не все... Нет, есть еще неуловимая кривизна линий и приземистость древних северных церквей, запечатленная чуткой кистью Рериха, есть еще нижегородские купола и колокольни Лентулова, которые раскачиваются от стона, звона и гула прошедших веков, есть еще молитвенное безмолвие сельских часовен, что выглядывают из нестеровских перелесков...

Наши «мирискусники» в терминах польской критики — художники сецессиона, ибо в венском салоне Независимых, в венском «Сецессионе» молодые польские живописцы выставляли свои полотна. А у нас даже такого названия нет: художники модерна — не привилось, творцы рубежной эпохи — академически сухо, живописцы нового направления — невнятно... А ведь у всех у них есть нечто общее, есть поразительная гармония формы и света, есть линия — текучая, замысловатая, непрерывная, напоминающая то стебли лилий, то рассыпанные

по изголовью волосы девы, то пену, оставленную штормовой волной на песке... И еще есть забота о красоте, которая обесценивает любую иерархию сюжетов, забота о красоте, о впечатлении... И то, что для Рериха значил Псков, для Лентулова — Нижний Новгород, для Нестерова — Троице-Сергиевский посад, то для польских собратьев по сецессиону значил один Краков. Он был для них меккой искусства. Их родиной и чужбиной. О, если бы мне еще раз довелось побывать в Кракове!..

Впрочем, размышляя подобным образом, я ощутил, как наш «фиат», мелко-мелко задробив по брусчатке, въезжает в какие-то незнакомые мне городские кварталы. В стеклах шли чередой дома, являя собой смешение стилей и эпох,— и ренессанса, и позднего барокко, и сецессиона, а значит, и смешение башенок, куполов, мансард, прилепившихся к карнизам, балконов с ажурными оградами и окон всевозможной величины. На первых этажах домов зеркально сверкали витрины, манили броской и праздничной пестротой реклам, вывесок, товаров, останавливали прохожих... «Фиат» проезжал мимо них, однако в другие стеклянные двери входили другие прохожие, и все это деловое оживление силезского городка, оказавшегося на нашем пути, я рассматривал и с любопытством, и одновременно с *внутренним отчуждением, словно космонавт,* вернувшийся из долгого-долгого полета и знавший, что на родной планете, по законам относительности, уже прошли века...

Но вот с балкона одного из домов свисает белая перина. И тут же я проваливаюсь в бездну личного времени. И снова вижу эту улицу, но теперь она тонет в промозглом тумане: с полузасыпанными снегом крышами и карнизами балконов, она совершенно пустынна. Тем фантастичнее ее вид: из каждого окна и с каждого балкона — по всей нескончаемой длине — свисают белые полотнища, эти знаки торопливой и безоговорочной капитуляции. Ничто не колеблет их, не сотрясает в глубинах моей души. Они висят мертвенно и неподвижно. А между тем прохожие выходят из стеклянных дверей магазинов, останавливаются у витрин, разговаривают между собою. Женщины катят в колясках, как в маленьких тачках, детей, легковые машины припарковываются к тротуарам, и с тяжким грохотом навстречу несутся дизельные грузовики.

«Фиат» вильнул в какой-то переулок. Встал. По мнению пани Янины, здесь, в центре Силезии, мне было положено вспоминать: ведь для этого и предпринималась наша поездка. Иначе говоря, я мог пройтись по ближайшим улицам, пока Ковальская пробудет какое-то время в местном отделении общества.

Что ж, хорошо! Вываливаюсь из машины и глубоко вдыхаю прохладный осенний воздух, от которого слегка першит в горле: каменноугольный дым и осенняя изморось образовали городской смог. И все-таки мне доставляет немалое удовольствие зайти в ближайший скверик, пройтись по асфальтовой дорожке, к которой приклеились, как переводные картинки, желтые листья, пройтись, чтобы вскоре услышать возглас Кшижсто, чтобы снова повалиться на заднее сиденье машины. «Фиат» тут же рванул с места, и мы мгновенно оказались на окраине городка.

— Пойми: мне надо говорить и говорить — говорить, чтобы уйти от одиночества, от дороги, от войны, чтобы быть самим собой,— и не в приливе нетрезвой откровенности. Нет!.. Мне нужны слова и слова, лавины слов, чтобы высказать, выкричать себя, чтобы на лавину событий, вынесших меня на порог этого доброго дома, на окраину этого польского городка, я мог бы ответить лавиной слов. Иначе — задохнусь. Иначе они хлынут горлом — и убьют. Нет, Яцек, я не поэт... Просто русский офицер, как это, по-вашему, подпоручник... Просто офицер, подпоручник великой армии маршала Конева. И, кроме войны, еще ничего не знаю. Я только люблю поэзию. И музыку... Яцек, возьми аккордеон, возьми этот трофейный «Хохнер»... Как ты играешь! Ты заставляешь меня забывать, что это музыка, потому что твоя игра — больше, чем музыка, потому что это боль и радость твоей открытой для всех души... Знаю, знаю, мне Зося сказала, почему ты, Яцек, так хорошо разумеешь по-русски... Ты был в Шталаге-восемь, ты был в Освенциме, тебя русские освободили... Солдаты Конева освободили... Так вспомни, Яцек, вот-вот, конечно, эту... В ней, как и в жизни, есть все — и чужое небо, и древние соборы, и скорбные распятья на развилках дорог... Еще есть журавли, которые весной пролетят на родину высоко-высоко. Только надежды-то не у всех сбы-

ваются. Мало ли по обочинам сосновых столбиков остается? По столбику стекает свежая смола... Ты говоришь, Зося, это — мати божьей слезки. Пусть будет так, Зося. А может, это России горькие слезы?.. Ведь когда оглянешься, посмотришь туда, назад, на эти слезки янтарные, на эти звезды фанерные... они все идут и идут через сыпучие снега, через лесные дебри, через выжженные деревни — к сердцу России, к тем невским, волховским, волжским берегам... Разумею, Яцек, вшистко разумею: ты не играешь, ты дышишь воздухом свободы. Как это здорово сказано: воздух свободы! Счастье свободы. Свобода словно море — состояние счастья и тревоги, надежды и беспокойства... Вот послушай: на рассвете, когда проходили мы через Флорианские ворота и когда на ратуше был поднят красный флаг, я видел, что такое свобода... На баррикаде, у подножия которой еще валялись убитые немцы, какой-то человек в шапке с наушниками, в суконном пиджаке пел и размахивал флагом... Как Павел Власов из романа Горького «Мать»!.. Не знаешь такого? А мы в школе проходили...

Ты спрашиваешь, где я учился? Где мой дом? Там — в России. В некотором царстве, в некотором государстве... Вот пройдешь рыночную площадь, затем подворотню... Не понимаешь? Ну, городские крепостные ворота, и ступишь на высокое крыльцо. А возле самой парадной двери — окно. Под луной огнем переливается — в морозных узорах. И свет горит-горит, не гаснет... Потому что неизвестно, когда я в него постучусь легонько, вот так: тук-тук... И мама сразу встрепенется, она чуткая у меня, мама. Шубейку на плечи накинет, выскочит в холодный коридор... А здесь мины. Завалы. Горящие города... И снег — снег летит черной метелью.

Жабчиков! У тебя в сидоре еще одна бутылка трофейного. Доставай!.. Я тебе приказываю! Ну, хорошо, хорошо... Ты только службу помни. Карбидки не гасить. Автоматы на боевом взводе. Понятно? Ну, хорошо, молодец, ну и хороший ты мой...

Яцек между тем собирается уходить. Мы с Зосей выходим его провожать на крыльцо. Глаза не могут привыкнуть к густой темноте. Лишь разгоряченным лицом ощущаешь полет снежинок, которые крутятся, вьются, исчезают в безднах январской ночи. Как мы с тобой, Яцек, думаю я. Ты откуда такой взялся? А вот взялся, появился, возник... За крышами домов, за ко-

стелом, за полями, которые угадываются в ночной мгле, разгорается багровое зарево. Это немцы, отступая, жгут польские деревни. А Яцек, беспечно закинув аккордеон за плечо, уже весь в снежном пламени, которое подхватывает и уносит его в безвестность.

Мы остаемся вдвоем с Зосей. Губы у Зоси теплы и податливы, да и вся она обволакивает меня теплотой и лаской. Я распахиваю шинель, прижимаю ее к себе, слышу ее прерывистое дыхание, что-то шепчу ей про нас, про снежинки, про мироздание... Слабея, Зося повторяет: «Почекай, Владю-ю, почекай...»

Дальняя дорога в автомашине определяет и уют, и ритм, и микропространство странствующих людей. Так было и с нами. В салоне мы физически ощущали реальность и незыблемость нашего существования. А то, что было за его пределами,— воспринималось как нечто ирреальное. И это нечто заливало нас ливневыми потоками, слепило волнами света, угрожающе сигналило, как будто навстречу нам двигались океанские суда.

«Вечный дом твой — в дороге»,— промолвлено было давным-давно, а мне все казалось — кем-то из нас.

...Так мы проезжали силезские и опольские земли. И пани Янина, полуобернувшись ко мне, рассказывала о принципах застройки опольских деревень, называемых в архитектуре цепной застройкой. Действительно, иногда думалось, что мы едем одной бесконечной деревней, в которой время от времени встречались костелы с медно-зелеными куполами, кладбища с обилием белых каменных крестов и небольшие рыночные площади, на которых непременно стояли две-три пароконные подводы. Принцип цепной застройки был принят в опольской земле еще до Магдебургского права, то есть до правления последних Пястов. И столь же древней была каменная кладка домов и подсобных помещений: деревянный каркас крестьяне заполняли камнем или кирпичом, а затем окрашивали этот каркас в белый цвет. Вот почему на торцах построек возникала сложная и нарядная крестовина. Ведь я и раньше видел эту белую крестовину, а вот не задумывался, откуда и почему она.

Кшижсто тоже вступил в разговор, правда, стал рас-

сказывать совсем о другом, о своем приятеле, который приезжает с советскими туристами из Бреста в Варшаву и которого Кшижсто вместо «мой друг» упорно называл «моя подруга»... Я не поправлял его, и пани Янина, встретившись со мной глазами, впервые за всю поездку улыбнулась.

Машина бежала вперед и вперед, хотя окрестность в стеклах задней дверцы как будто поворачивалась на своей оси. И также поворачивались на дальнем плане деревни и городки, которые возникли, по словам Янины, еще во времена Болеслава Храброго, собирателя западных, истинно польских земель. Одновременно я прислушивался к частой дроби колес, когда мы проезжали по брусчатке, и, по исторической аналогии, думал, что дорога эта, наверно, восходит ко временам еще более древним, чем достославные времена Болеслава Храброго, воспетого Выспяньским в образе рыцаря-мужика. Ведь только самые древние дороги мира вымощены этими ровными квадратами камней, этой тщательно обтесанной брусчаткой, только на них роняют соцветья и листья эти дуплистые, узловатые, вековые ветлы.

Вот почему по мере того, как медленно разворачивалась окрестность за стеклами «фиата», так же медленно оживало мое личное время. Но память сердца теперь не подчинялась мне. Она стала резко отбрасывать меня вспять, освещать прошлое блицами, высвечивать его с нестерпимой резкостью.

...Наш «фиат» промчался мимо одинокого крестьянского двора с пристройками... Мне показалось, что и сейчас стерня там припорошена снежком, что черное дерево с гроздьями черных птиц торчит возле самой ограды, что курчавится инеем близкий сосновый бор. Здесь наш взвод рубил колья для проволочных заграждений. Здесь... Но усадьба мелькнула, и я запоздало вспомнил, что крыша жилого дома была четырехскатной, с длинной, по всему гребню, трубой...

Нет, я еще не мог признаться самому себе в ту пору, что память сердца подчинена собственным законам, что в ней есть и существует лишь то, что возможно, вероятно. И я еще не догадывался, что мои сомнения, ожидания, разочарования, надежды, связанные с доро-

гой,— это свидетельство того, что прошлое не ушло безвозвратно, что оно — моя живая плоть. И что, наконец, напрасно я надеялся перед отъездом замкнуться в многоцветной радужной раковине красоты, а прошлое отчеркнуть линией сецессиона. Нет, пусть душа изнемогает в борениях, совсем как у Пастернака: «С кем протекли его боренья?.. С самим собой, с самим собой».

...А в глубине того самого закурчавившегося инеем сосняка, где мы рубили колья, прозвучала длинная автоматная очередь. Мы с помкомвзвода Иваном разом отпрянули от костра. Солдаты стали торопливо стаскивать из-за спины винтовки... И в это самое мгновение в наш круг вбежала косуля. Ее передние тонкие ножки подломились, она тихо встала перед нами на колени. И медленно повалилась на бок. Бархатисто-белый живот еще дышал, еще был теплым, когда под ним расплывалась дымная кровавая лужица. Мы подошли поближе: глаза уже помертвели, и розовый язычок застыл в оскале.

Кшижсто был весь поглощен дорогой. Пани Янина подремывала на переднем сиденье. И я мог отдаваться своему напряженному поиску прошлого сколько душе угодно. Возбужденная мысль сопрягала часы и годы, искала новых примет и неопровержимых доказательств того, что все это было, и было все это именно здесь. Но мчавшийся по шоссе «фиат» не давал возможности перепроверить или опровергнуть догадку. Время и пространство по своим необратимым законам не возвращались. Истина оставалась неподтвержденной.

Вдруг интуитивно я понял: сейчас все разрешится и встанет на свои места. Там, впереди, должна быть насыпь автострады, идущей параллельно нашей дороге, а затем пересекающей ее. Непередаваемое волнение охватило меня — сейчас, сейчас... Кшижсто вписывает машину в плавный вираж — и сразу же рядом с нами побежала насыпь; наверху зачастили белые столбы ограждения. Я откинулся на спинку заднего сиденья. Закрыл глаза. Автострада уже оставалась в стороне, вместо нее теперь шел скучный кустарник. И я цели-

ком предался этому новому для себя, двойному восприятию своей сегодняшней дорожной жизни, параллельно бегущей *той*.

Мы лежим в ровике и смотрим вперед: пехотинцы один по одному короткими перебежками подбираются к заснеженной насыпи, по которой метет поземка пулеметного огня. Кто первый?.. Есть и такие: вон карабкаются по насыпи, хватаются за прошлогоднюю траву... Но тело налито свинцовой тяжестью, нет силы, нет мочи, нет воли, которая бы оторвала тебя от земли.

«За мной!» Вскакиваю и, подхватив офицерскую ушанку, которой по молодости лет и гордился и дорожил, бегу что есть духу. От встречного морозного ветра лицо заливает слезами, дыхание перехватывает и в горле гулко отдается ток крови. На самой насыпи словно подуло чем-то под ноги... Но я съезжаю на спине по другому склону. Голос осип. Еле слышен. «Иван!— спрашиваю.— Все ли?»— «Да вроде бы все...»— отвечает помкомвзвода. И тут же Ивков поправляет его: «Одного из наших, ну, из пополнения...» — «Ты точно это видел?» — «Точно!..»

«За мной!» Мы бежали вдоль насыпи, чтобы вместе с пехотой выйти из-под сильного артиллерийского обстрела, которым немец отсекает атакующие цепи от вторых эшелонов. «А как же тот, на насыпи-то?»— «За мной!» И новый, долгий, сотрясающий душу смертным ознобом вой... Где-то впереди, на краю вселенной, испятнанной кратерами воронок, еще дымящейся янтарно-желтоватым дымком, пляшут в глазах крыши фольварка. По трескотне автоматов и глухим ударам гранат догадываюсь: там идет рукопашная. «За мной!» Надо поспевать за пехотой. «За мной!» Возле фольварка, под снежными заносами и осыпями воронок, раскиданы немецкие минные поля. «За мной!..» Это не тактические учения в Подмосковье, это война. И нет на этой войне ничего от той войны, о которой ты думал за учебной партой... Да и была ли она, эта парта?.. Или только этот тяжелый бег по снежному полю и дыханье, которого не хватает на пулеметном ветру...

Очнулся я от голоса Кшижсто: «Пани керувничка, а тен автобан ниц сбудован германцем». Я взглянул в

стекла и с удивлением увидел: насыпь еще одной автострады бежит параллельно нашей дороге и пересекает ее.

Поздним вечером в полуоткрытую фрамугу гостиничного номера в Ополье было слышно, как из водостока по железу гулко барабанит вода. Затяжной дождь угадывался по этому бесконечному плеску да еще по мокрому шуму проходивших внизу легковых машин. Если подойти к окну и отдернуть штору, то сквозь залитые водой стекла будут плавиться неоновые огни двух главных улиц Ополья.

Я так и заснул, отдернув штору и прислушиваясь к равномерному шуму дождя. И снилось мне озеро — вода у самых ног, беспокойная, блескучая, живая... Под легчайшим движением воздуха она как будто течет мимо меня, течет неостановимо, в одном и том же направлении. И хотя я понимаю, что вода плещется на одном месте, все равно рассветное, розовато-фиолетовое, врубелевское свечение воды, текущей куда-то, побеждает мой дневной жизненный опыт. Я жадно дышу вольным озерным простором, нет, не дышу — впитываю, всасываю, вбираю всей человеческой сущностью...

Казалось бы, давно можно было привыкнуть к этому сладкому почмокиванию воды возле ног, к этим замшелым валунам, к наростам магмы, которая там, в глубинах земли, еще кипит и сбивается в клочья пены, а здесь застывает замысловатыми узорами на камнях-валунах. Казалось бы, можно было забыть голубые мхи в лесах, желтоватые гривы черемух, свесившихся над заливом, ко всему этому, казалось бы, можно было привыкнуть и все напрочь забыть! Но вот ударил соловей — и заскользил его звонкий удар по рассветной воде. Прислушавшись, две кукушки стали перекликаться через залив. И своим кукованием разбудили утреннее солнце. Оно все разгоралось, и вместе с ним разгорался неподвижный залив, над которым перелетало с одного берега на другой гулкое кукование двух летописных зигзиц, двух кукушек.

Рассветное небо. Рассветная вода. И медленно идущие — в косую линейку — волны от одинокой моторки. Здесь все поет о первозданности мира. Твоего мира. Твоей родины. Твоего Заволочья. И ты изнемогаешь от

затаенной, стеснительной, невыразимой любви к этой своей озерной родине, о которой тебе всегда будут напоминать твои фронтовые и дорожные сны.

Наконец-то миновали длинные серые заборы, за которыми белел металлическими баками, поблескивал стеклами корпусов, свистел клубами пара гигантский азотно-химический комбинат. Местность открылась по обе стороны шоссе: изредка возвышались сосны с серой корой и ржавой хвоей; отдаленные друг от друга стояли аккуратные новенькие коттеджи. Дорога сделала следующий рывок — и побежали строения, ограды, дома с черепичной кровлей и крестовиной на торцах. «Старо Козле»,— успелось прочитать по-польски. И вновь, как при свете прожекторного луча, вспыхнули зрительные образы... Но известно: мысль влечет к тому, что доказуемо, образ — к тому, что вероятно. Я же изнемогал от вероятности образов, которые преследовали меня всю дорогу и которые, по-моему, не могли бы понять ни пани Янина, ни шофер Кшижсто.

Дождь, недавно накрапывавший крупными каплями, припустил как следует. По бетонным плитам, расчерченным на многогранники, потекли широкие ручьи — на них мгновенно возникали и лопались пузыри... Машина встала возле квартала стандартных — серо-зольной штукатурки — домов. Пани Янина вопросительно обернулась ко мне. Что-то неотчетливо припоминалось мне, будто бы это и был тот самый квартал домов немецкого инженерно-технического персонала, в котором мы готовились к переправе. Но под пристальным — сквозь очки — взором пани Ковальской я стал путаться в догадках и предположениях.

Однако пани Ковальская была в тот день настроена весьма решительно. И когда дождь начал стихать, под ее требовательным взглядом я пошел вдоль этих геометрически четких зданий, по этим мокрым геометрически четким многогранникам бетона, пошел, чувствуя, что вместо прежней неловкости — ну как же так я ничего не смог запомнить!— постепенно в душе моей выпадал горький осадок стыда, словно я подвел или даже обманул этих таких хороших людей, желавших мне лишь добра и полного внутреннего удовлетворения.

Может быть, этот осадок был мнимым, может, он

образовался потому, что я слишком замкнулся, предался воспоминаниям, власть которых недоучел,— не знаю, не знаю... Но ведь эта моя отрешенность могла быть истолкована и по-другому, понята как некая гордыня, как пренебрежение сегодняшним днем... Короче, я все больше запутывался в неявных и сложных взаимоотношениях с членами экипажа, и то, что видел теперь, почти не занимало моего внимания. А видел я немногое. Две школьницы, в сильно расклешенных брюках и поролоновых курточках, со смехом пробежали мимо меня, остановившись возле киоска «Рух». За киоском улица кончалась...

Когда я вновь подошел к машине, то понял, что вконец разочаровал и пани Янину, и даже веселого малого Кшижсто: мне не удалось узнать окрестность и показать им, где происходил бой... Однако пани Янина решительно, как и прежде, предложила мне отыскать нашу переправу,— ее-то я должен был запомнить. Янина открыто мечтала сделать возле этой исторической переправы самый лучший — фирменный!— фотоснимок. Так, по молчаливому согласию, мы переехали через мост в город Козле, где я уже совершенно ничего не мог вспомнить и узнать и, все сильнее сгорая от стыда и неловкого своего положения, теперь надеялся на случай, чтобы как-то что-то такое предпринять или поправить.

Проехавшись по улочкам городка, еще сохранившего зелень, мы снова повернули на старый, восточный берег Одры и по дороге, черной от мазута и каменноугольной пыли, выехали к береговому мысу. Из-за скопления катеров, буксиров, плашкоутов я догадался, что мы попали в район речного порта. И вот что странно: сейчас я сам пошел вперед, толкаемый не только непреклонной волей пани Янины, но и собственным желанием найти то, что безусловно бы мне сказало: здесь была наша переправа, которую мы держали до середины марта.

Однако и теперь я не мог высмотреть ни одной достоверной приметы для воспоминаний,— все как будто похоже, но с уверенностью сказать не могу... На противоположном — что удивительно!— таком близком теперь берегу обозначились два-три строения, но они это или не они — я не мог решить даже про себя.

И все-таки надо было идти вперед, идти по это-

му длинному узкому мысу. И я пошел, прокладывая росистый след в густой, багряно-ржавой траве.

Возле прибрежного куста, ветки которого обдали меня брызгами и листиками, похожими на желтые чешуйки, начал спускаться к воде. Потом наклонился, чтобы зачерпнуть горсть воды правой ладонью,— и раздумал: вода текла в радужных пятнах мазута и со дна ее подымалась какая-то зелень, дурная по запаху... Однако именно эта расцвеченная мазутом, эта зеленая по виду Одра вдруг — в силу чувственного контраста — заставила меня очнуться, оглянуться и пристально посмотреть на противоположный — западный — берег, который возле самого уреза воды оказался совсем другим: он стал удаляться от меня, а прежде узкая полоска воды — расти, шириться, покрываться зыбью от разрывов артснарядов и мин.

Сколько же, боже ты мой, в этой радужной от мазута и вспененной воде захлебнулось нашего брата! Сколько всплыло позднее в одних гимнастерках, в ватниках, в сером шинельном сукне. Нет, я никогда не сделаю того, что сделал хемингуэевский полковник Кантуэлл на берегу итальянской речки Пьяве, и не скажу, что война это всего-навсего дерьмо, железо, деньги. Нет, для меня война осталась правдой-справедливостью... Такой, как для всех нас, живых и мертвых...

Невольно я отломил ветку от прибрежной ветлы, низко наклонившейся над одерской переправой. А потом порешил: пусть она поедет со мной на родину. Положу ее там на черный могильный гранит солдатской матери — моей матери, моей мамы.

Снежные, свистящие, вспененные валы катятся над всей Верхней Силезией. Звезд не видать. Авиация бездействует. И лишь огненные вспышки артналетов кромсают ночную мглу. Валы добегают до судетских предгорий и там затихают в лесных урочищах.

Вал за валом накатываются колонны наступающих войск, уходят в узкие горловины городских улиц, бурлят на рыночных площадях и широко разливаются по полям, где пехота идет неровными цепями и где танки и самоходки вязнут в ночных заносах, подрываются на минах, горят жарко, чадно.

Неразличима смена снежных валов, бегущих друг

за другом, неразличима и смена наступающих колонн, которым поставлена одна цель, одна задача: достичь Одера и переплеснуть, где можно, гребень наступающих войск на другой — на западный — берег.

Мнут солдатские ботинки снег на дороге. Позвякивают котелки о приклады. Вьется над рядами сигаретный и махорочный дымок. Колонны, вопреки уставным положениям, растянулись неимоверно: сколько на обочины ни выбегаешь, не видать ни начала, ни конца.

По правой стороне дороги движется армейская техника. Завьюживают снежок штабные «виллисы». С завистью смотришь вдогонку: у тебя от усталости гудом гудят ноги, сохнет во рту и перед глазами — на бесконечно белом — плывут черные точки. А дорога властно приковывает взгляд, гнетет, гнет, клонит в дрему...

Вот и сейчас взвод шагает мимо лесной поляны: из пушистого снега, наметенного за ночь, торчит нога в шерстяном носке, подальше — горб серо-зеленой офицерской шинели, а возле самой дороги — вскинутая, застывшая рука: на запястье — металлический браслет часов. Какой-то солдатик в шинели, подпоясанный брезентовым ремнем ниже хлястика, встрепенулся, выскочил из колонны, но сразу же увяз по пояс в снегу, выбрался на дорогу и, смешно оттянув бабий зад, поспешил догонять своих... Вот в канаву свален черный немецкий «оппель»: на обочине разбросаны чемоданы и баулы — поземка выдувает из них какие-то бумаги, немецкие рейхсмарки, фотографии... Они застревают в колеях, перемешиваются солдатскими ногами со снегом и остаются далеко позади.

С приходом ночной темноты — без костров и походных кухонь — валишься на лапник, нарубленный и прикрытый плащ-палаткой. Но еще какое-то мгновение качнешься на снежных волнах, неразличимо сменяющих друг друга, как неразличимо сменяют друг друга дни и ночи этой многотрудной жизни на марше.

В ночь на 31 января Командарм 59-й доложил в штаб фронта, что его войска в районе города Старо Козле и Гливицкого канала вышли к Одре и предприняли во многих местах попытку форсировать водную преграду.

...Память сердца — память зрительная. И сила зрительных впечатлений, мне кажется, имеет бóльшую власть над душой человека, чем сила доводов и рассудка. Не потому ли Константин Батюшков и воскликнул: «О, память сердца! ты сильней рассудка памяти печальной...» Конечно, не только потому, но еще и потому, что сердце — чувствует, мысль — убеждает, сердце — верит, мысль — анализирует и отрицает.

Отправляясь с лекциями в Краков, а затем и в Ополье, я, честно говоря, не думал предаваться фронтовым воспоминаниям, ибо другое мечталось мне: познать искусство польского сецессиона, повидать его шедевры в подлинниках, насладиться красотой, которая открывает в человеке все остальное. Но сотворение мира шло не только на прекрасных витражах Станислава Выспяньского... Сотворение мира из хаоса и инобытия войны шло на тех же древних краковских плитах, что еще хранили отзвук легких шагов живописца и гром тяжелого солдатского бега.

Да, впечатляющими по красоте и свободе линий оказались полихромии Выспяньского... Но незабываемым на целую жизнь был душевный порыв солдат, которые несли долгожданную свободу другим. А искусство, свободное по своей сути, может быть воспринято полно и сильно лишь человеком свободным... Стало быть, солдаты с красными звездами на ушанках возвращали к новой жизни не только народы, но и лучшие их творения кисти, резца, офортной иглы.

Вот почему память сердца тем легче и тем сильнее овладевала мною, чем чаще я представлял себя там или на том месте, воскрешал все, что было или могло бы быть со мною. И с каждым часом, проведенным в дороге, я испытывал все большее давление пространства и времени, которые, заполняя меня, становились из прошлого — настоящим, из настоящего — будущим.

Оттепель началась еще днем: внезапно повалил крупными хлопьями снег и заштриховал всю окрестность. В этом густом снегопаде мы скрытно — без единого выстрела — подошли к Одеру, спустились на лед, определили подъездные пути, места для аппарелей. А главное, убедились, что лед слабый, с промоинами, особенно опасными для артиллеристов, что надо его усили-

вать, прокладывать деревянные щиты на прогонах.

Однако к вечеру снег прошел, и с неба стала сеяться мелкая снежная пыльца, которая на лету превращалась в изморось. Стемнело раньше обычного, и нас это не могло не радовать, как и прибытие грузовых автомашин с подручными материалами — бревнами, досками, горбылями. А с неба по-прежнему сеялась пыльца, которая при порывах ветра взвихривалась, больно покалывала лицо — оно сразу становилось мокрым. Теперь при вспышках осветительных ракет, изредка бросаемых пехотой, колеи подвод и стежки следов, четко впечатавшихся в снег, поблескивали талой водою. Вода унизывала каждую ветку, отбивала четкую капель под обрывом.

Но для нас это потепление становилось сущим бедствием. За первые два часа работы у саперов все намокло — сапоги, ватные брюки, телогрейки, все как-то огрузло, заставляло ловить пересохшими губами пыльцу, отвесно падавшую с неба.

А тьма сгущалась, и лишь на фоне темного берега белела снегом гладь реки да различались фигурки саперов, которые спешили за ночь соорудить деревянный настил. Вразнобой стучали топоры, взвизгивали пилы, слышались голоса, и думалось, что в этом снежно-дождевом мраке один навык помогал мастерам безошибочно вгонять в доску дюймовый гвоздь, в бревно — железную скобу.

Но перед рассветом стихло, и небо как бы повторило заснеженную землю: застыли черные заносы туч, перестал падать снежок, и даже капель смолкла в предчувствии неведомых самой природе перемен.

Колеи щитовой дороги лежали теперь на льду от берега до берега, одним концом уткнувшись в пологий спуск, который шел от фольварка к реке. Его остроконечная крыша и крыши других строений четко выделялись на небосклоне. Фольварк еще днем заняла рота пехотного полка, и теперь солдаты оборудовали вокруг него огневые точки.

По всему, надо было ждать начальства, и оно не замедлило явиться. По колеям щитовой дороги двигалась легковая машина — «виллис» дивизионного инженера Козырева.

«А-а-а, это ты!..— сказал он вместо приветствия.— Так вот от самой Нарвы и топаешь?» — «Так вот и то-

паю, товарищ полковник»,— сдержанно ответил я. «Ну-ну! А я вот все на машине... Даже сюда на машине приехал». Я улыбнулся: понял намек дивинжа, который конечно же рисковал, направляя «виллис» по недавно сколоченному настилу. Однако и ему нужно было убедиться в пригодности переправы для более крупных операций. Вместе с двумя другими старшими офицерами мы поднялись к фольварку, за которым до самого горизонта шли изрытые воронками и окопами заснеженные поля. Потом вместе спустились к Одеру и еще раз прошлись по настилу. «Все, как в учебнике по мостостроению!..— Козырева не покидало хорошее настроение.— Но трос все-таки натяни, лейтенант!» — «Для чего, товарищ полковник?» — «Мало ли что...— неопределенно сказал Козырев и заключил наставительно и строго:— А переправу держи, сколько можешь!»

Светлевшее небо прочертила последняя осветительная ракета с дымным хвостом. От фольварка раздалась автоматная очередь: начинался еще один день войны.

Саперы собрались в задней комнате жилого дома. От фуфаек так и валил пар. Слоился густой табачный дым. Пахло потом, портянками, мокрым шинельным сукном. Бойцы переобувались, перематывали обмотки и ругали старшину Маслова, прозванного едко: Масло-в-рот. «Вон, говорили они, пехоте в термосах суп уже принесли. Горячий. А наш Масло-в-рот его, где он?..» Кое-кто из пехотинцев поделился с саперами густой вермишелевой похлебкой — и ложки дружно забрякали о стенки котелков.

Запыхавшийся младший лейтенант заскочил в комнату: ему было приказано позвать меня к ротному командиру. Встретили там шумно.

Ротный — капитан в меховом офицерском жилете и фетровых белых бурках, сшитых ротным сапожником,— все хлопал ладонью по скамье рядом с собой и все приговаривал: «Садись, сапер,— гостем будешь, ставь вина — хозяин будешь!»

Судя по всему, был он уже, как говорится, на взводе, и его широкое, заросшее едва ли не до глаз рыжей щетиной лицо лоснилось от радушия. Приговаривая, он мигнул младшему лейтенанту, и тот, нагнувшись, выдвинул из-под стола суповой бачок. «Вина ставить не нада...— Ротный зачерпнул из бачка алюминиевую кружку и, сильно стукнув кружкой по столу, заключил:— Пей даровое, лейтенант!»

Я принял кружку, поискал было глазами, чем бы запить, но воды на столе не оказалось; стол был завален буханками армейского хлеба, заставлен банками с колбасным фаршем, шпинатом, зеленым горошком — все искромсано ножом, с торчащими из банок алюминиевыми ложками. Но воды так и не было нигде. Выдохнув всей грудью, я осторожно поднес кружку к губам. Сидевшие рядом офицеры рассмеялись: мол, у нас этого добра — цистерна на железнодорожных путях. Пей, сапер, не стесняйся.

Спирт-сырец, дымный, суховатый, отдающий самогонкой, опалил гортань, разлил тепло по телу, ударил в голову. Кто-то подал мне ломоть свежего армейского хлеба, намазанный колбасным фаршем. Я закусил. Потянулся за сигаретами.

Но ротный, не дав опомниться, хлопнул меня по спине: «Пойдем!» И мы прошли ряд комнат, заполненных солдатами, ящиками с патронами, катушками с телефонными проводами и еще бог весть каким необходимым на войне и для войны ротным имуществом.

Стали спускаться в подвал, по-польски — в пивницу... Капитан светил немецким фонариком — жужжалкой. Неверный желтый свет скользнул по цементному полу, по грудам картошки, кое-где подтекшей, и вдруг в дальнем углу выхватил существо, закутавшееся в отрепья. При нашем появлении оно стало торопливо стаскивать их с себя. «Из перемещенных...— угрюмо сказал ротный.— Вишь, как ее отделали?..» А когда поднялись к дневному свету, уже трезвея, пояснил: «Одного из них поймали... Здесь, в фольварке, поймали. Совсем, шкура, успел переодеться в цивильное. А сапоги-то, сапоги-то — раструбом. Немецкие, солдатские сапоги!» Последние слова ротный выкрикнул, приблизив ко мне рыжебородое лицо. «Ну, мы его и...»— он выразительно повел рукой, обозначая очередь автомата.

Мокрое шоссе зеркально отсвечивало перед нами, подымаясь все выше от взгорья к взгорью, а поэтому казалось, что от горизонта — в обратной перспективе — сбегала к нам асфальтовая река. Она сбегала плавными волнами: встречные автомашины на самых отдаленных гребнях несли по ней отраженные огни. И чем ближе к нам, тем длиннее были эти отраженные полосы света. Вот они добегают до нас, ярко вспыхивают — и исчезают вместе с машиной.

«Кшижсто, почему нам сигналят?»

Кшижсто услужливо обернулся ко мне с зажигалкой... «Нет, я не хочу курить...»

Навстречу стремительно приближается автофургон, окутанный облаком дождевой пыли, с ослепительно сверкнувшими фарами. «Кшижсто, сигнал... Почему подают сигнал?» — «Не вем, товажишь...» Кшижсто хитрит, он идет с превышением скорости, и встречные шоферы сигналят ему об опасности: на такой скорости «фиат» мог пойти юзом и развернуться поперек дороги.

«Сколько вам лет, Кшижсто?» — «Два-на-десять два». — «В ваши годы я был такой же дурной...»

Кшижсто смеется, слегка сбавляя скорость.

«Лейтенант! — связной трясет меня за плечо.— Вода прибывает!..» — «Не может быть... Ты что-то путаешь...» А сам нащупываю в кармане трофейный металлический портсигар, закуриваю, щелкаю крышкой... И этот сухой щелчок, как выстрел, сразу же отгоняет сон.

В офицерской комнате еще темно: похрапывает за занавеской ротный, по-детски тихо спит младший лейтенант.

Мы выходим. За дверью — неуловимый миг рассвета, когда все синеет; и лица, и стены, и снег, который стал даже каким-то фиолетово-синим, а не просто рассветным синим снегом.

Мы спускаемся к берегу, где возле лебедки, натянувшей стальной трос, в окопчике дежурят два сапера: Ивков и Сарапов.

«Не понимаю, в чем дело, товарищ лейтенант.— Ивков как старший показывает на Одер.— Вроде бы половодье в верховьях?..»

Суживаясь, но и разливаясь все шире и шире, мчались потоки воды. И по тому, как в них повсеместно

возникали пенные заструги и водовороты, можно было догадаться о скорости течения, о напоре этих потоков.

«Подыми взвод!» — бросаю я связному. А сам, как и солдаты, с недоумением и скрытой тревогой смотрю, что вода уже слилась воедино, что она с шумом перепадает через дощатый настил.

За моей спиной распоряжается помкомвзвода Иван, сразу же оценивший обстановку: саперы подтаскивают к воде бревна, длинные доски, горбыли.

...Фыр-фыр-фыр... Это первая мина ударяет в мерзлую землю и разбивается со звоном медной тарелки... Началось, что ли?

«Всем — в укрытие!» Сам вскакиваю в окопчик, где кроме меня припали к стенке Ивков и Сарапов. А перед глазами — все та же вспененная, жадная до скорости, широко разливающаяся между берегами река. «Может, и половодье... Может, и половодье...— стучит молоточком в висках.— Нет! Это шлюзы... Это немцы... Это шлюзы...»

Додумывать некогда... Мощным напором вода прогибает настил, разрывает его, кувыркает щиты и в высоком клокочущем перепаде вместе с обломками льда уносит вниз по течению...

«Все! — мелькает отрешенно.— Переправа накрылась!»

И в подтверждение не мысли, но какого-то внутреннего, осмысленного, доведенного до предела напряжения вижу, что тяжелый снаряд вспахал воду в десятке метров от нас. Вот это началось по-настоящему...

От фольварка доносится хлопанье наших «сорокапяток». Где-то из-под сарая стукает ротный миномет. Но автоматной и ружейной стрельбы пока не слыхать. А дают жизни, гады, ох дают...

Провисший стальной трос буравит реку, свивающуюся в отдельные пряди... Надо подтянуть трос, немедленно подтянуть! Трос — это связь, это паром, это новая переправа... Давай, ребята, давай, живо к лебедке!.. Сарапов, вывалившись из окопчика, тут же припал грудью и щекой к истоптанной сапогами земле. Тяну его, пинаю в бок, стреляю в воздух... Ах, чтоб тебя: контузия страхом... А рядом с Ивковым ко второй рукоятке лебедки уже встает подоспевший помкомвзвода Иван. И-и-х! Это звук без длительности, он замер в одной точке: значит, рвануло рядом.

И тогда из-за поворота надвинулось что-то громоздкое, горящее, стелющее по воде черный дым. Ближе... Ближе... Узнаю: железный плашкоут. Он забит ранеными. А немцы усиливают огонь. Сквозь разрывы снарядов и клочья черного дыма видно: кто-то прыгает в воду. За ним — второй... Третий... И словно туго натянутая струна, лопается трос, — его растрепанный конец, спружинив, падает на берег. Плашкоут разворачивает на стремнине, и он скрывается за береговым откосом.

Прижимаясь виском к мягкой обивке салона и по-прежнему ощущая скорость «фиата», которая пронизывала меня насквозь, я медленно погрузился в какую-то странную дрему. И сразу же почувствовал под ногами истертые плиты внутреннего дворика Вавельского замка, увидел самопроизвольно распахнувшиеся двери в парадных залах, где поблескивали навощенные мозаичные полы, сверкали медью старинные канделябры и возникали знаменитые фламандские шпалеры, которые еще больше увеличивали без того огромное пространство дворцовых зал. А повествовали они все о том же — о человеческом добре и зле. Чувство преклонения перед этой вечной красотой заполняло меня...

«Еще раз этот самый «пантер» лапой по фольварку вдарит — и всем нам капец!— ротный с досадой потер рыжеватую щетину на подбородке. Затем резко спросил:— Что молчишь, лейтенант?» — «Да днем идти туда бесполезно. Асфальт под мины долбить надо... Перестреляют».— «А в сумерках?.. В сумерках он как раз из лесу выходит?»— «В сумерках, пожалуй, можно... Пожалуй, можно в сумерках рискнуть...»

В сумерках Ивков и Панематкин, нагруженные немецкими противотанковыми минами, ныряют в воронки, появляются и снова исчезают в бесконечном артиллерийском и траншейном рытье, заваленном убитыми, засыпанном глыбами мерзлой земли. На плечи им падает редкий снежок. На земле воцаряется какая-то странная, деревенская тишина, кажется, что можно услышать их хриплое дыхание и глухие удары мерзлых комков, срывающихся из-под солдатских ботинок.

Вот они огибают колы колючей проволоки, через которую перекинулся спиной немецкий автоматчик,— он так и лежит с широко раскрытым, как будто орущим ртом. Вот они заходят за исковерканную взрывом «сорокапятку», вот уже совсем пропадают из глаз...

«Ивков вернулся!» — эта новость застала меня в комнате ротного, вернее — в углу этой бывшей комнаты, еще не развороченном артснарядом и прикрытом от снега плащ-палаткой. Двое суток минуло с тех пор, как саперы ушли на боевое задание — подрывать немецкое тяжелое самоходное орудие. И я был вынужден отправить донесение в Альт-Козель, что среди убитых и раненых у меня значилось двое пропавших без вести. Теперь перед особистами надо отчитываться. И вдруг новость — Ивков вернулся!..

Сапер сидит на ящике из-под мин, сгорбившись, опустив кисти рук между колен. Он без шапки. Полы зеленой шинели оборваны, грудь заляпана грязью. Ивков, как обычно, не встрепенулся, не встал, чтобы приветствовать офицера. Нет, он продолжал сидеть все в той же усталой, угрюмо-безразличной позе.

Делать нечего: переворачиваю кресло и сажусь напротив него, положив ладони на спинку и опираясь на них подбородком.

«Рассказывай, Ивков!»

...Они лежали в склепе. И все их существо — все, что было в них и было ими,— превратилось в слух. Только в слух!.. Ибо там, над головами, ходила их смерть. Грохот дизельного мотора, казалось, разрывал барабанные перепонки, лязганье гусениц и скрежет железа о камни вдавливали тела в цементный пол, которого они не видели и не могли видеть, но холод которого ощущали пронзительно, до дрожи.

Они не могли определить ни времени, ни пространства, не знали, как давно они лежали на этом полу, залитом зловонной жидкостью. Они не видели друг друга, а лишь чувствовали близость по дыханию... Беда стряслась неожиданно и как бы сама собой. Возле шоссе они попали под прицельный пулеметный огонь

и, чтобы выйти из-под огня, бросились в сторону... И вот теперь, избитые, окровавленные, лежат в кромешной тьме. А над головами мотор работает на малых оборотах, затем ревет в полную силу, хотя броневая гора по-прежнему остается на месте.

«Вроде как бы дымком попахивает?— в голосе Панематкина послышалась скрытая тревога.— А-а-а! Ироды!— закричал, уже не сдерживаясь, Панематкин.— Они нас газом травят. Выхлопным газом травят, как крыс...»

Действительно, тьма пахла удушливым газом грохочущих дизелей «пантеры».

«Ивков! Братец! Ивков — взвыл, задыхаясь, Панематкин.— Режь полу шинели... Скорее режь. Намочи сукно. И дыши. Может, выживешь. Может, увидишь белый свет...» Больше говорить Панематкин не мог: он зашелся в удушливом кашле...

...Ивков замолчал, опустив голову. И только сейчас я увидел, что его стриженые волосы как будто покрылись свинцовой пыльцой. За одну ночь поседел Ивков. Да и во всем его облике, в хрипловатом голосе, в тусклом взгляде было что-то стариковское, усталое, безнадежное.

Нет, он не считал себя виноватым в том, что случилось с ними. Не считал он себя и потерянным или пропащим. Но теперь его душа была отравлена злобой и ненавистью тех, кто, оказывается, на четвертом году войны не изведал ни сострадания, ни сочувствия, ни простой способности видеть в нем человека. Уж лучше бы их расстреляли у груды битого кирпича. Было бы это как-то по-солдатски честно, по-человечески... Так нет, их травили газом, словно крыс...

«Рядовой Ивков, встать!» — резко скомандовал я, вскакивая сам и торопливо прерывая этот хриплый — про себя — шепот. Я чувствовал: еще мгновение — и солдат забьется в судорогах. И это — тот самый Ивков, холодное самообладание которого не раз меня удивляло и восхищало.

«Лейтенант, не дай убить в себе человека!» — простонал Ивков, бессильно сползая с ящика на колени...

Пани Янина подала знак шоферу, и возле собора, разрушенного в дни войны при бомбежке и недавно полностью восстановленного, мы сделали краткую остановку. По внушительным размерам и по сходству с каменным кораблем этот собор, конечно, производил сильное впечатление. А когда пани Янина открыла тяжелую дверь и мы оказались внутри базилики, то ощущение значительности еще более усилилось. Не только мои глаза — казалось, все существо втягивалось в это уходящее ввысь пространство. Оно было подчеркнуто краснокирпичными сводами, освещено янтарными витражами и утяжелено длинными рядами скамеек, на которых можно было различить молящихся женщин. Интерьер базилики не имел украшений графитто или барочно-скульптурной пышности, к которой невольно привыкаешь за время поездки. Нет, в этом суровом торжестве камня, в этой мощи обнаженной краснокирпичной массы, подпиравшей своды, ощущалась гармония, которая имеет и эстетический, и этический смысл. Истинная красота — редка, а красота такой вот суровой и строгой громады кирпича, расчлененной белыми поясами и ячеями кладки, тем более... Безусловно, мои переживания имели ценностную окраску, в то время как пани Янина в посещении соборов и в знакомстве с такими вот памятниками архитектуры признавала лишь познавательный смысл. Она и здесь обращала мое внимание на древние горельефы и памятные доски и не без гордости подчеркивала, что этот кафедральный собор был основан Болеславом Храбрым и лишь позднее перестроен в готическом стиле. Ибо после смерти последнего опольского князя из рода Пястов — Яна Доброго земли древнего славянского племени слежан попали под власть Габсбургов и были отторгнуты от Польши на четыре с лишним века. Эту историческую несправедливость — об этом хорошо знает пан Лектор — исправили после второй мировой войны.

Конечно, я с глубоким интересом рассматривал и древние горельефы, и памятные доски, и какие-то простые стеклянные банки с увядшими цветами возле скульптуры Пенкнэй Мадонны. Да и сама эта мадонна, не нарумяненная, не украшенная позолотой в духе многих других католических изваяний, а суровая и скорбная, явилась мне такой, какой я видел ее однаж-

ды. А может быть, мне почудилось, что я ее видел... Не знаю, хотя в ее левой руке, судорожно стиснувшей платок,— в этом извечном жесте скорбящей женщины,— было что-то глубоко памятное мне.

Но что это?.. Первая токката органиста?.. Или бомбовый удар?.. Почему зазмеились трещины на красно-кирпичных сводах? И почему так медленно идет вдоль стены пани Янина?.. Все звуковое пространство заполняется одним пронзительным свистом. Это немецкая «рама» привела сюда «мессершмитты». Взрыв! Но почему так хорально-торжественна и величава наступившая тишина? Лишь где-то сыплются со стен цветные хрусталики витражей. И снова обвал космической мощи сотрясает основы этой текучей, этой органной архитектуры. Нет больше сил выдерживать напряжение: здесь рушится вселенная, а в средоточии ее вновь и вновь возникает готика беспрерывных и мощных звуков!

Когда с пани Яниной мы вышли из холодной и темной базилики, прямо в лицо ударило закатное солнце, которое ослепило на миг и сразу же вернуло мне дневное сознание. Между тем асфальтированная дорожка повела нас к стоянке легковых автомашин, где, правда, не было ни одной машины и где только наш оранжевый «фиат» стоял рядом с летним павильоном. Сквозь запыленные стеклянные стены виднелись столы, закрытые газетами, заставленные перевернутыми вверх ножками стульями. Не сезон!.. Так почему же вдруг затосковало сердце о России, почему оно зашлось болью о молодости и той далекой фронтовой весне?

Эти объезды и обходы прямо по пашне, подымавшейся вверх и там обозначавшей линию горизонта, стали самой дорогой, поскольку дорога, как и вся эта вспаханная осенью земля, затекла глинисто-ржавой жижей. Ничего не скажешь: досталось пашне, вновь перепаханной гусеницами тракторов, самоходных установок, колесами пушек и автомашин, ободьями подвод,— всей военной силой, приведенной приказом в стремительное наступление. Но более всего это месиво на

западном берегу Одера замесило неисчислимое множество солдатских ног. Ибо не одна эта дорога, а все пути-дороги, ведущие на запад, покрытые асфальтом, утрамбованные гравием, ухоженные, обсаженные черешнями, не могли вместить весеннего половодья советских войск, хлынувших со всех плацдармов и предмостных укреплений.

Под лучами колюче-мартовского солнца вспухшая, как опара, пашня сейчас испещрена повозками тыловых частей, автобусами медсанбатов, колоннами военнопленных, бредущих на восток. Пашня клубится парком, она дышит, как много и хорошо поработавший человек. Но для нас эта пашня началась с другого, со старого узловатого вяза, судорожно раскинувшего ветви-руки и словно пытавшегося задержать приход тепла и весны. Для нас эта пашня началась с внезапной бомбежки — «мессершмитты» ходили каруселью друг за другом, а потом падали в пике для бомбовых ударов... Поле содрогалось, стонало от тяжких взрывов, а люди молча погружались в ржавую жижу и молча умирали, как вот сейчас умирает Григорий Лесняк... После бомбежки мы нашли его брошенным навзничь взрывной волной. Кто-то поспешно развернул плащ-палатку, и вот так, на плащ-палатке, мы волочим его волоком к сухому бугру, к подножию лесного великана. А Григорий лишь облизывает сухие губы и смотрит на нас, медленно серея с лица. Помкомвзвода Иван пытается восстановить ему дыхание, сводит и разводит руки, потом поворачивает Лесняка на бок: за ушной раковиной слабо кровоточит ранка. Только и всего. Иван расстегивает ватник Лесняка, припадает к сердцу и, подымаясь, стаскивает ушанку с головы. Здесь же, возле одинокого вяза, мы и зарыли сапера-разведчика Григория Лесняка... Ни надписи, ни столбика со звездой — ничего... Да и что найдешь в этом безбрежном море, где дымятся остатки взорванных автомашин и, утопая, бьется в конвульсиях обозная лошадь.

Нет, не так мы мечтали начать наступление! Всего два дня назад нас сменила на одерской переправе тыловая инженерно-саперная часть. И вот за два дня — вторая потеря. Первая — Юсупов. Он подорвался на мине. Теперь Григорий Лесняк. Помнится, когда он получил фаустпатрон еще там, на переправе, перед немецкой атакой, повертел его в руках и, облизнув гу-

бы, сказал: «И что за таку головешку немец придумал?..» Смешно так сказал и очень похоже... М-да-а... А его и в санбат везти не пришлось.

Грязища... Конца и края не видать. Хорошо, что я в солдатских ботинках, а вместо обмоток кожаные краги: сапоги бы здесь запросто засосало... А в ботинках — дело проверенное. Проверено еще моим отцом, который носил, наверно, такие же в ту, в гражданскую...

Вот так мы и бредем по пашне, поглядываем на небо, которое сияет прежней праздничной голубизной, и в конце концов набредаем на штабеля никеля.

В этих штабелях — велосипеды, сплошное сияние рулей, ободьев, спиц... Бери любой! Но пехота, идущая впереди, не зря побросала трофейную технику. Охота ли тащить на себе через разгулявшееся море грязи хотя бы и самый лучший дорожный велосипед? Нет, пехота дело знает туго: хватит еще впереди этого никелевого сверкания!

Невдалеке от перевернутой взрывом подводы лежит труп: жижей заплыло лицо убитого, и лишь ноги, обутые в белые бурки, торчат из вспучившейся земли. Сердце мое упало: бурки! Мне показалось, я узнал эти бурки... Но шагом, братцы, шагом, как в той солдатской походной песне, грузным шагом проходит взвод, сгибаясь под тяжестью оружия, шанцевого инструмента и взрывчатки в заплечных мешках.

...Почему я раньше не замечал этого?.. Словно в строю, шли серые гранитные обелиски, ряд за рядом и квадрат за квадратом, увенчанные армейской звездой, званием, именем павшего. И только на этой безмолвной перекличке не было слышно голосов тех, чьи имена так и остались неизвестными... Теперь уже — навсегда.

Ряд за рядом и квадрат за квадратом: «Советский офицер». «Лейтенант Советской Армии. 16.2.1945». «Старший лейтенант. 16.2.1945». «Младший лейтенант. 4.5.1945».

Похрустывает под ногами щебенка... Из-за кладбищенской ограды, где у ворот застыла «тридцатьчетверка», доносится глухой и отдаленный, как шум прибоя,

шум города. А здесь тишина. Она не нарушается ничем: ряд за рядом и квадрат за квадратом... Отговорили. Отпели. Откричали. Теперь безмолвны. И комок подкатывает к горлу — не передохнуть: ведь и я мог бы, вот так мог бы, как эти младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты всех родов войск. Странно: не скажу, чтобы мне было жалко себя того, девятнадцатилетнего. Но лишь с какой-то острой, болезненной ясностью осенило: тяжко лежать им здесь, далеко от Родины, и так безвестно, и так одиноко. Тяжко!..

Пани Янина в накинутом на голову монашеском капюшоне плаща, казалось, сразу ссутулилась и постарела: ведь и у нее — свои безымянные, свои павшие под Ленином, Мехувом, Краковом, Варшавой. Ряд за рядом и квадрат за квадратом.

Возле ворот, поближе к «тридцатьчетверке», на сером гранитном обелиске лежала одинокая роза — черная роза Ополья.

Все глубже и глубже забирал наш «фиат» в Бардские горы. И все круче змеилась дорога по склонам гор, которые в эти последние дни октября были по-настоящему красивы. И живописны. Сквозь золотистое руно леса с подпалинами темных хвойных пород выступали базальтовые столбы, высвечивали каменные террасы, далеко видиелись скалистые вершины. Вот на таком живописном склоне, в зарослях горного бука и граба, проплыл мимо нас Отмуховский замок, известный, как сказала пани Янина, крытой каменной лестницей, по которой в замок вводили рыцарских лошадей. Значит, совсем рядом город Клодзко, а за ним Орлицкие горы и на границе с Чехословакией — знаменитые Моравские ворота.

Поворот, еще поворот — и внизу, в долине реки Ныса Клодзская, — город Клодзко, которому, пани Янина здесь со значением тронула дужку очков, по официальному летоисчислению скоро исполнится тысяча лет. С незабываемым волнением я посмотрел вниз. Все так и есть: чешуя черепичных крыш, узость средневековых улочек, изгиб реки с каменным мостом, украшенным

статуями святых, да еще, пожалуй, фигурные купола старинного, в стиле барокко, собора — вот облик города, в котором я даже не мечтал побывать вновь. А довелось!.. И довелось вновь взглянуть на уютную горную долину, которую, вероятно, невозможно представить себе без городка Клодзко с крепостью времен Фридриха II. Мощные башни, казематы, подземелья неповрежденными выстояли два столетия. Даже войска Наполеона не могли взять этой твердыни, которая утверждала прусское господство в самом сердце Европы. Но в конце минувшей войны крепость пала, как падает иструхший изнутри, сломленный бурей лесной великан.

Все новые и новые вспышки воспоминаний сделали зримыми мгновения, которые мне довелось пережить именно здесь, в долине реки Нысы Клодзской! Тогда войска вливались в лесистую и сумрачную долину, оглашая горные склоны грохотом танковых дизелей, ревом мощных моторов, ржанием лошадей, впряженных в трофейные фаэтоны и армейские фуры, а главное — звуками аккордеонов, поблескивавших перламутром, переборами своих родных российских гармошек. Ах, какое это было время! Пело все войско, растянувшееся на десятки километров. И в каждом взводе — свой запевала и своя любимая песня. Вот тогда-то, восседая на танковой броне, на облучке помещичьего фаэтона, на обозной двуколке, многие из нас с невольным облегчением смотрели на эти горные откосы, на эти стены и бастионы, которые вырисовывались на фоне майского неба. А небо — такой безмятежной, такой солнечной голубизны, что и оторваться от него невозможно...

Все как тогда! И в город Клодзко — не въезжаешь, а сразу же оказываешься на одной из его старинных улочек или площадей: так стремителен спуск с перевала. Вот только что был на лесной дороге, а машина уже объезжает угол дома с вычурной башенкой или статую католического святого на площади. В этих крохотных улочках могли разобраться лишь наши фронтовые шоферы да всезнающий Кшижсто, который и притормозил «фиат» у местного отделения общества. Пани Янина, извинившись, ушла обговаривать какие-то

дела. А мы с Кшижсто, потягиваясь, покуривая, разглядывали улочку и редких прохожих, странно медленно проходивших мимо нас. Ибо мы еще жили дорожной скоростью, дорожной отрешенностью, которая вообще-то свойственна людям, долго пребывающим в пути. Но этот городок располагал к себе: здесь было уже по-южному солнечно и тепло. И нам не хотелось нарушать этого солнечного, этого медлительного течения жизни громким смехом или ироническими репликами, которыми обычно обмениваются между собою люди дороги.

Добавлю, меня вообще не покидало ощущение счастья, которым я был переполнен с того самого последнего перевала, с которого нам открылась долина Нысы Клодзской. Оно выросло из глубин моей души, оно как бы озарило эти многовековые камни и эту затейливую кладку в стиле позднего ренессанса.

Здесь, в Клодзко, вторая мировая война уходила в прошлое. Здесь она истаивала, здесь она крошилась в мелкое крошево. И здесь восходило святое солнце победы. Оно восходило вон из-за тех Злотых и Бардских гор, которые и сейчас виднелись на горизонте.

А с наступлением майской, такой чуткой, такой отзывчивой темноты гребни этих гор озарились невиданным еще от века фейерверком: мы палили изо всех видов огнестрельного оружия, палили, радуясь и торжествуя, как многим из нас уже не пришлось в жизни ни радоваться, ни торжествовать. И быть безмерно счастливым тоже!..

Однако что-то давно нет пани Янины?.. А вот и она. Мы едем обедать в лучший клодзский ресторан «Чардаш». В ресторане можно будет как-то отметить наше прибытие сюда, на границу с Чехословакией. Однако — пани Янина здесь сделала многозначительную паузу — для пана Лектора есть некий сюрприз. «Найперше нисподянка, потом будимешь свентовать»,— добавила она по-польски, чтобы скрыть внутреннее торжество.

Мы поднялись на второй этаж трехэтажного дома, втиснутого в ряд различно окрашенных и разностиль-

ных домов, которые и составляли одну из клодзских улиц.

Дверь открыл Генрих Вадкевич, хозяин квартиры, осанистый старик лет восьмидесяти. Его седые, с пролысинами, волосы были гладко зачесаны назад, под мясистым носом — пятнышко усов, по давней, забытой ныне моде.

Едва мы поздоровались и представились друг другу — переводила пани Ковальская,— как выяснилось, что старик Вадкевич хорошо говорит по-русски. В молодости ему пришлось работать и в Петербурге, и в Твери, и в Вильно, и в других городах бывшей Российской империи.

«Товажишь Вадкевич,— вставила наша керувничка,— ветеран международного рабочего движения. Он имеет у нас очень большой авторитет».

Генрих Вадкевич сокрушенно покачал головой: «Нет, нет!.. Надо сказать попросту: один старый, старый партиец.— И, улыбнувшись, добавил:— Мой отец сказал мне: хочешь, Генрих, человеком быть — изучи три языка и имей одни хорошие рабочие руки. Я так и сделал: и языки спознал, и этими руками проработал шесть-на-десять лет».

Тогда-то, в начале века, поступив на работу в Вильненскую типографию, Вадкевич возмечтал овладеть искусством гравера. Конечно, было трудно, но он настойчиво учился у старых печатников репродуцировать художественный материал. И для этого должен был познать все графические средства, уметь пользоваться любой техникой — будь это литография, ксилография, цинкография, сухая игла или акватинта. Тогда-то он и подружился с Фердинандом Рущицом, известным художником сецессиона, директором Вильненской художественной школы. Вот в чем заключался сюрприз пани Ковальской. Ибо у Генриха Вадкевича имелись редчайшие репродукции с картин почти всех художников сецессиона.

После традиционного для клодзского гостеприимства вопроса: «Вам чаю или кофе?»— Генрих Вадкевич извлек из шкафа первую большую папку, развязал тщательно завязанные тесемки и стал передавать нам листы шероховатой бумаги. Уже в этих первых его жестах я ощутил художественную натуру: Вадкевич тянулся к офорту, который, однако, прежде чем пере-

дать нам, осматривал, словно желал вновь убедиться, что этот вариант — наилучший.

Разговор в основном вели мы с Вадкевичем, а наша керувничка брала листы после нас и, как я заметил, всматривалась в них с тем пристальным и вроде бы подозрительным вниманием, с которым она глядела и на людей.

Вот репродукция рисунка Станислава Выспяньского «Собор в Кракове», говорил старик Вадкевич... А вот, вероятно, ему же принадлежащий подлинник. И на стол, покрытый домотканой скатертью, он бережно положил пожелтевший от времени офорт: порыв ветра срывает с ветлы последние листья. И они, взвиваясь, превращаются в стаю черных зловещих птиц. Странная, мучительно-болезненная фантазия — она позднее долго преследовала меня.

В других папках были собраны другие художники: так я увидел Аксантовича, Бознанскую, Вичулковского, Мальчевского и, конечно же, Яна Станиславского, которого Михаил Нестеров по-дружески называл Иваном Антоновичем, горячо любил и создал, кстати сказать, его превосходный портрет.

Однако полнее всего у старика Вадкевича был представлен Фердинанд Рущиц.

В Рущице не было той милой славянской меланхолии, которой Нестеров восхищался в пейзажах Яна Станиславского. Напротив, мазок Рущица резок, энергичен, экспрессивен, а пейзаж пронизан тревожным чувством и настроением. Вот его «Водяная мельница зимой»: ну чем не классический пейзаж кого-нибудь из барбизонцев?! Однако в омуте вода зловеща, как она может быть зловещей у одного Рущица.

Вот дождь, который немилосердно сечет странников, вот черная грозовая туча, которая через мгновенье рассеет эту сельскую благодать. И с последними словами Вадкевич извлек из папки офорт «Старый дом». На репродукции царил, казалось бы, золотой век: цветущие кусты сирени, ветлы с чуть трепещущей листвой, белые — и такие патриархальные, такие дворэковые — ставни на окнах старого дома. Однако с правой стороны уже закрывало небеса грозовое облако, уже медленно и неумолимо оно надвигалось на нас, и уже казалось, что гром и молния вот-вот сотрясут

до основания это деревенское затишье. Вот почему в пейзажах Рущица, как и других художников сецессиона, зритель, который осаждал новые художественные салоны, бисировал на галерках в новых театрах, воздвигал баррикады пятого года, узнавал, принимал и приветствовал собственную жизнь.

Тут старик Вадкевич надолго замолчал. А затем, пригладив рукой и без того тщательно зачесанные назад волосы, как будто совсем потерял нас из виду.

«Конечно,— вздохнул он,— картины художников, все существо которых заключено в мгновенном блике, в прозрачной дымке и светотени, превращать в листы черно-белых репродукций — варварство! Но многим другим хочется понять этих удивительных мастеров, ибо сетчатка их глаз различала в солнечном луче все цвета радуги. Как это сделать?.. Вероятно, надо свою жизнь измерить их жизнью, свою высоту — их духовной высотой, свою жажду красоты — их неутолимой жаждой совершенства. А теперь — смотрите!»

Не знаю, как пани Янина, но я лично был поражен новым офортом Рущица, выполненным в технике многослойной акватинты. Эта репродукция была невелика по размерам, но значительна по силе впечатления. Сразу же мне бросился в глаза стальной блеск волн, которые захлестывали гибнущее судно. На этих вздымающихся и разом падающих массах воды вспыхивали отблески пожара. Казалось, стихия огня и стихия воды, прежде непримиримые, теперь объединились, чтобы погубить горящее, терпящее бедствие судно. Но в мгновении, напряженном до предела, было нечто обнадеживающее. И это раскрывалось в названии картины: «Не тонет!» «Не тонет!»— голос самого художника, который в революционном пятом году написал картину. «Не тонет!»— это судьба его родины, его Польши. «Не тонет!»— это и моя судьба, моя январская переправа, когда мимо проносился горящий плашкоут и скрывался среди взрывов, среди клокочущих волн.

...Умопомрачительный ночной пробег по маршруту Клодзко — Краков мне запомнился на всю жизнь. Шоссе слегка подмораживало, однако Кшижсто вел машину на предельной скорости, и мы понимали, что

в любой миг можем стать грудой исковерканного металла.

Ах, Кшижсто! С какой делегацией ты гоняешь сейчас свой оранжевый «фиат»?.. Где пытаешься выскочить из-за борта грузовика, чтобы обогнать его на закрытом повороте? Да пусть оберегает тебя польское ГАИ и твой покровитель — святой Кшижсто, собор которого ты мечтал посетить всю дорогу.

Конечно, теперь-то я понимаю и Кшижсто. Ведь каждому из нас хотелось поскорее попасть в Краков, где в старой-престарой гостинице особенно уютными были и старомодные кровати с одеялом-периной, и настенные зеркала, и даже громоздкие лифты, ползущие с одного этажа на другой. Там и меня ждал телефонный звонок Леонарда, который, как всегда, бодрым голосом сказал бы мне, что билет уже закомпостирован и что через сутки я буду в Москве.

Кшижсто включает музыку — слышится старая-престарая польская песенка «Хербата зимова», песенка о зимних сумерках, о домашнем чаепитии, об уюте, который создает надежда и любовь.

А через несколько часов мы будем в Кракове... Как разумом понять это? И какую жизнь мне считать настоящей: ту, фронтовую, пережитую в сознании, или эту, реальную, перевернувшую все прежние понятия времени и пространства?.. Разумеется, я сознаю, что скорость — идол XX века, что техника — его кумир. Но почему у этого кумира губы измазаны кровью?.. Как вот сейчас, когда впереди нас, в свете зажженных фар, внезапно мелькнуло что-то... интуитивно мы догадались: заяц! И тут же — глухой удар о днище машины. «Бедняга!» — только и сказал сочувственно Кшижсто. А мы с пани Яниной промолчали, ибо были поражены этой мгновенной, этой роковой для лесного звереныша встречей с «фиатом» — мечтой современной молодежи.

Между тем под колеса машины набегали и набегали новые километры пути, и в эти километры укладывались часы, дни, недели наших бесконечно долгих и тяжких зимних переходов... А мое сегодняшнее бытие показалось столь не похожим на все пережитое тогда, что я мучительно искал слово, которое бы примирило это прошлое с этим настоящим. И это слово нашлось: мно-

говариантность! Слово — спасение, слово — закон! Однако если этот закон выходит за пределы современной физики и становится всеобъемлющим законом, то можно спросить: а была ли в таком случае война?.. А может, ее вообще могло не быть, вообще не существовать в XX веке?

Популярная музыка ласкала, убаюкивала, уводила меня в сторону от этих проклятых вопросов. А стихи — нет, стихи звали следовать за звездой. Ведь сказано древними: «Вечный дом твой — в дороге». Значит, жизнь — это дорога!.. Путь! Стезя!..

Хорошо, что там, в Клодзко, подтвердились мои догадки: наш путь, по которому мы шли зимой сорок пятого года и по которому так стремительно пролетали еще вчера,— путь через Люблин, Краков, Катовицы, Сосновицы, Ополье, Старо Козле, Клодзко и наконец через Моравские ворота — это очень и очень древний путь. Он такой же древний, как путь «из варяг в греки», а может быть, еще древнее. Он уже существовал в те времена, когда с берегов Варяжского моря ходили на юг — в греки, на восток — в булгары, на юго-запад — в чехи и моравы. И уже тогда он имел свое название — Янтарный путь!.. По древнейшим славянским поверьям, янтарь — камень здоровья, силы, красоты. Всякому, кто приобретал его себе, он даровал бесконечно долгую, бесконечно прекрасную жизнь. Вот и везли из Копорья, Юрьева, Новгорода Великого, изо всей прекрасной Руси, о которой вздыхали французские менестрели и ученые итальянские монахи, везли этот солнечный камень — в страны латинские, в страны италийские. А с запада исстари проходили по этому пути римские легионеры, тянулись огромные повозки воинственных кельтов, крытые шкурами, двигались в пышном окружении слуг воины-крестоносцы... Возникали и рушились цивилизации, побеждали и терпели поражения полководцы, но этот путь между народами — Янтарный путь — продолжал быть и существовать.

...В ветровом стекле вздрагивала яркая северо-восточная звезда. И тут я понял: словно свет этой звезды, здесь, в древнем Ополье, сквозь меня только что прошли тысячелетия истории. Да, именно так: тысяче-

летия прошли сквозь меня, как проходят сквозь все живое звездные лучи, рождающиеся в глубинах мироздания. Мне уже не быть другим: мир для меня как история. Ведь я прошел путем, которым и до меня в древности проходили целые народы. И творил историю в новейшие времена, возвещал ее новый день — день победы! Я ехал Янтарным путем в пароконной армейской повозке, меня забрасывали сиренью самые красивые девушки Европы... Ибо вечный дом мой — в дороге: не только кровавые слезы текли по моему лицу; нет, я смахивал и слезы счастья перед красотой только что завоеванной победы.

Впереди на полнеба засияло электрическое зарево. Это и был Краков!.. Кшижсто сразу же сбавил ход.

ЭТИ БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ

Лирическая повесть

Угарная дымка стояла над Тикшей, и неподвижное солнце надолго останавливало взгляд: его красноватое, как от свечи, пламя, лишенное летнего блеска, вызывало смутное беспокойство. Это же беспокойство порождало небо, которое с утра было тихим, безоблачным, вроде бы туманным, но без утренней освежающей синевы. В угарной дали кущи деревьев возвышались какими-то странными куполами,— казалось, там находился большой город с прохладными соборами, парками, площадями... Однако к полудню все начинало тонуть в светоносном мареве, звенящем мошкарой, и от этих видений не оставалось следа.

А марево густело, раскалялось; на закате оно сильнее пахло дымом лесных пожаров, охватывавших Тикшу с северо-востока.

Изредка в блеклом небе раздавался приглушенный рокот мотора, смутно скользил гидросамолет с неимоверно вытянутыми и, как думалось с земли, тяжелыми поплавками: это пожарники искали для посадки лесное озерцо. Неожиданно зависал над Тикшей и почтовый вертолет. С аэродромной делянки, наспех выровненной бульдозерами, подымались ржавые облака пыли,— они взбухали, бугрились и медленно стекали в сторону леса. При виде этих ржавых облаков, оседавших за лесом, через делянку торопливо шагал молоденький почтальон Ванюша. Иногда к нему присоединялся начальник сейсмопункта Долинский и кто-нибудь из рабочих. Пока лопасти описывали последние, вяло замиравшие круги, люди терпеливо стояли на краю аэродрома.

Но вот лепестки винта обвисали, дверца кабины откидывалась, и на песок спрыгивал летчик, моло-

дой и бледный после долгого перелета. Долинский отходил в сторону, о чем-то напористо расспрашивал летчика, а Ванюша привычно доставал с заднего сиденья посылки, бумажные мешки и, наконец, пачку писем, которую рабочие здесь же пускали по рукам.

Погрузив в вертолет поселковую почту, подхватив посылки, они шли впереди Ванюши, а тот, спотыкаясь на ходу, ухитрялся прочитывать адреса оставшихся писем. Где-то под Коношей парнишку ждала многочисленная деревенская родня, и теперь он с каждым рейсом получал поклоны, наказы, увещевания.

Дорога с аэродромной делянки проходила мимо просторного сруба: бригада сезонников рубила поселковый клуб. Один из них — Ромка Бахов,— взглянув вниз, крикнул почтальону:

— Эй, министр, портки потеряешь!

Ванюша недоуменно посмотрел на плотников, машинально, локтями обеих рук, поддернул брюки: на срубе засмеялись, а Ванюша, ускоряя шаг, обидчиво проговорил:

— Завидки берут, рыжий идол...

Нет, Бахов не завидовал почтальону, но его раздражал этот вислогубый парень, который, возвращаясь с аэродрома, каждый раз заплетался возле сруба. Сам плотник писем ни от кого не получал,— повестки из милиции приходилось, а вот письма... «Ах ты, раззява...»— начал было закипать Бахов, но его внимание привлекла пассажирка, которая шла поодаль от других. Она поставила чемодан на обочину дороги, растирая занемевшую от тяжести кисть руки. Роману запомнилась ее косынка, ловко повязанная под подбородком, ее легкая поступь, когда она, слегка отклонившись в сторону чемодана, шла по знойной поселковой улице.

Роман Бахов, прозванный среди сезонников Ромка-Бич, попал в Тикшу недавно, и попал сюда не совсем по своей воле.

Вдвоем с бывалым Квасковым они кое-как добрались до Междуреченской, там — на последние деньги— наняли лодку-долбленку и неделю плыли вверх по течению. Ночами не спали из-за мошки, исхудали, обо-

рвались, пока перед ними не заблестели цистерны с горючим. Это был склад Тикшинского пункта сейсморазведки. За цистернами — на повороте — сверкнули окна бараков, зазеленели вагончики-балки. За балками — по береговому откосу — дощатые скворечники, поленницы дров, изгороди, сколоченные из горбылей: хозяйственно и домовито жили люди в этом поселке.

Лодка скользнула днищем по песчаной отмели. Роман, опираясь руками о тонкие борта, выскочил на берег. Прямо перед ним торчал щест. На щесте — фанерка; текст смыло дождями, но все-таки можно было прочитать: «Лес — народное достояние. Берегите лес от пожара».

Ромка, прогнувшись назад сколько можно, сказал вроде бы серьезно:

— Хорошо, дядя, будем беречь!

Затем оглянулся на Кваскова, который все еще сидел в лодке, весело заключил:

— Начнем, Квасок, по новой!..

И с силой потянул лодку на себя.

Солнце источало алое дымчатое сияние, било в глаза, хотя смотреть на него можно было не прищуриваясь, не заслоняясь ладонью. В закатном огне бревна сруба поблескивали рубинами смолки, а руки и лица плотников были особенно черны от загара. Один по одному они спускались вниз, к отмели, мылись, утирались подолами маек, устало, с ленцой подымались в гору. Но возле поселкового магазинчика задерживали шаг, закуривали, долго топтались на крыльце и все-таки входили в магазин оживленной и шумной ватагой.

Роман обычно верховодил и сам заказывал все, что считал нужным. Зажав между пальцами горлышки бутылок,— брали яблочное вино: другого не было,— они шли к старым тракторным саням: здесь, над заводью, было светло и просторно. Вправо тарахтел движок и помаргивали первые огни поселка. Влево простирался редкий осинник.

Деревянной рукояткой ножа Ромка сбивал сургуч, срывал жестяные закрывашки, выстраивал бутылки на санном брусе. На том же брусе он и располагался, твердо упираясь подошвами сапог в подорожник. Рукава обтрепанного черного свитера были закатаны по

локоть. Руки — в ссадинах и ожогах — ловки и сильны. Напротив на коленях, как сидят мужики в санях, сидел Кваскоп. Третьим в их команде был Олег Дыня. На все приготовления он смотрел с восхищением, как на какую-то новую для себя игру. Еще бы! Он впервые живет в тайге, и с ним настоящие бичи делят вино и закусь.

Тарахтенье движка временами как будто пропадало, и тогда отчетливее доносились выкрики: «А теперь киевского, крученого подай!» Там, в поселке, сейсморазведчики играли в волейбол. А здесь, на обрыве, мошкара густо облепила спины и шеи сезонников. Однако на мошкару никто не обращал внимания: Ромка разливал вино по стаканам.

— Ну, вздрогнули!— только и сказал он. Залпом выпил, поставил стакан на брус, но закусывать не стал. По давнишней привычке подождал, пока вино не отзовется в голове легким звоном. Правда, сегодня вино медленно забирало Ромку, и он повторил, не чокнувшись с Кваскоеым.

— А что, ханы,— начал Роман Бахов, откинувшись после второго стакана на санный брус.— Где осталось такое приволье, как в Тикше? Или везде человек на человеке сидит, везде, чтоб ни-ни-ни, чтоб по струнке, по ранжиру, и только таким манером до исключительной черты...

— Какой-какой черты? — переспросил захмелевший Олег Дыня. Роман досадливо перебил его:

— Ты, вьюноша, подожди. Ты лучше послушай голос самой дикой природы...

Встал с саней и размашисто шагнул к обрыву.

— Вот она, во-о-о-ля!— Ромка выкрикнул это с таким внезапным торжеством и воодушевлением, что Кваскоп, намеревавшийся было отхлебнуть от стакана, так и остался сидеть на запятках.

— Оля-оля-оля...— возвратилось из тайги и опять ушло в таежные дебри.

— Здоров ты гоготать,— укоризненно выговорил Кваскоп, едва Ромка вернулся к саням.

Они выпили. И снова Бахов подождал, пока выпитое звоном и теплом отзовется во всем теле.

Он долго вслушивался в себя, и поэтому слова Кваскова доходили до него как бы сквозь воду, с трудом.

...Не та Тикша... И раздолье не то... Конечно, не то... Жизнь — вращение. И Кваску лучше об этом знать,— он здесь бывал. Тогда, говорит, красота была... В любом капкане — песцы. На любом болоте...

— Как ты их назвал?

— Стерхи...

Ага, стерхи... Нигде, говорит, таких не встретишь. И даже не услышишь. А вот он, Ромка, слышал, мальчишкой слышал... Сами — белые-белые, а головки — красные... И глаза янтарем сверкают.

— Ну, а ты бывал на гнездовьях?

Кваскоп, по-ямщицки сидя на запятках, продолжал держать стакан в правой руке, поставив ладонь левой под донышко.

Бывал, говорит, как же, бывал... Думал, и живым оттуда не выбраться. Кочки залиты водой: оступился, ухнул по пояс — и прощай, бедолага. А холод — еле вербушки распустились. Только журавлям нипочем. Они — тварь осторожная. На самых глухих заводях любовь свою крутят.

При этих воспоминаниях лицо Кваскова, сморщенное, как печеное яблоко, разгладилось, вроде бы даже помолодело. Олег Дыня от удивления поднял брови. Роман лениво полулежал на санях. Но и по его позе и молчанию можно было догадаться, что он слушает Кваскова.

Жених, видишь ли, клювом круг намечает. К представлению готовится, журавлиху зовет, а та появится в сторонке, скромненько появится, стеснительно, встанет и замрет. Стерх подпрыгнет раз — попробует, хорошо ли. Журавлиха затокует: хорошо, мол, хорошо... И — пошло-поехало: журавль крылья вскинет, клюв вытянет, присядет, подпрыгнет... А журавлиха — не шелохнется: характер выдерживает... Только и она пошла — и подпрыгивать, и крыльями взмахивать, и такие коленца выкидывать, что одна умора.

Кваскоп осушил остатки, осторожно поставил стакан на подорожник рядом с собой. Подумал, неожиданно заключил:

— А теперь никакой такой твари не скрыться от человечьего недреманного ока.

При этих словах Ромка живо поднялся с саней, посмотрел на собеседников. Глаза его обволакивала хмельная пелена.

— Око — что! Оно в душу не глядит, ему обличье подавай, поведенье...

— Верно, верно, Роман Филиппович...— слишком охотно засоглашался Кваскоь.— Одна баба в душу-то и заглянет.

При этих словах Кваскоь прижмурил глаз, как будто намекая на что-то, известное им двоим.

— Сука!— Роман с силой всадил нож в санный брус.— Запомни до гроба: об этом деле разговору промежду нами нет!.. Понял? И — поехали дальше.

— Мне что?! Мне хоть по́ волку, хоть на́ волка,— согласился Кваскоь. Он смекал: на брусе оставалась еще бутылка вина.

...Поутру из вагончика-балка по всей улице разнеслось:

— Таиска, воды принеси!..

Тая выскочила из вагончика, прихватила эмалированные ведра, стоявшие в пристройке, и направилась к цистерне, которую ежедневно привозили в поселок. Из реки воду для питья не брали: опасались дизентерии; она появилась в Тикше от небывалой засухи и жары.

Пышно взбитая дорожная пыль лежала на проезжей части. Словно в детстве, в эту горячую пыль приятно было ступать и оставлять от кед рубчатые следы. Тая, позвякивая дужками ведер, с удовольствием шлепая по пыли, подошла к цистерне. Из крана сильно била струя воды. Человек в черном свитере мотал головой, фыркал, ловил вытянутыми губами брызги и сладостно постанывал. По каким-то неуловимым признакам Тая угадала в нем сезонника, которого видела на постройке. Его мокрые волосы, отливавшие темной медью, упали на лицо. Однако, почувствовав близость чужого, человек завинтил вентиль, быстро распрямился, одновременно он откинул назад волосы: по лицу текла вода, в зеленоватых глазах таилось скрытое облегчение.

Тая обеими руками попыталась открутить вентиль, но не осилила его и беспомощно оглянулась на человека.

— Давай помогу,— без особой охоты сказал бич и наполнил оба ведра с краями. Поставил ведра возле себя и продолжал выжидающе смотреть на Таю, которая пребывала в каком-то странном замешательстве.

От этого ее смуглое лицо покрылось легким румянцем. Тая начинала сердиться. А бич протер низом свитера лицо и довольно равнодушно спросил:

— Вы со вчерашним рейсом?..

— Да... А что?

— Нет, ничего... Сильно горит?

— Где?— Тая сделала запинку.— Внутри?..

Черный свитер помедлил,— он не сразу сообразил, в чем смысл сказанного. А когда сообразил, то ответил с усмешкой и особым значением:

— Внутри со вчерашнего — сильно!.. А в тайге?

— В тайге — тоже сильно...— И, переменив тон, Тая попросила обидчиво:— Может, вы отдадите мне ведра?

Черный свитер опять усмехнулся, но уже мягче, добрее. Его забавляла наивная дерзость и обидчивость пассажирки. Ничего не ответив, он легко подхватил ведра.

— Пойдем. Я провожу.

И опять Тая в растерянности уступила ему, но уступила против воли,— за всю дорогу она не проронила ни слова.

Когда возле вагончика-балка черный свитер поставил ведра и собрался было уходить, в дверях появилась Таина тетка.

— Это каков-таков к тебе, Таиска, пристал?.. Это каков-таков жених выискался?..

Тетка была несдержанна в словах, громкоголоса. Работала она в поселковой столовой и не раз видела Ромку с его командой. Она испытывала к ним нескрываемое презренье, а ведь сама поскиталась по Северу, повидала разных видов... Но сознание, что она не какая такая, а честная разведенка,— это сознание заставляло ее считать сезонников пустейшими, не стоящими доброго слова людьми.

Покрасневшие от бессонницы, похмельные глаза Ромки смотрели на мир хмуро. Обида, нанесенная ему, была столь неожиданной, очевидной, что он едва нашелся что сказать:

— Зачем же сразу — такой-сякой?..

Повернулся и, загребая сапогами пыль, вышел на поселковую улицу.

Избушка, которую облюбовал для себя Ромка Бахов, была достопримечательностью Тикши — ее первой

поставили на берегу таежной реки, и ночевал в ней всякий приезжий люд: лесоустроители, геологи, связисты... Но когда Ромка решил в ней поселиться, выглядела она хуже вороньего гнезда. Надо было срочно проводить ремонт, и Бахов провел его: побелил стены, залатал крышу, водрузил на место железную трубу. Затем, по обычаю сибирских поселенцев, сложил во дворе печурку с плитой и вьюшками. Летом на таких удобнее греть чай, варить уху... Но печка оставалась нетопленной.

В густеющих сумерках Бахов лежал, закинув руки за голову и стиснув зубы. Он думал. О разном думал, но и об одном и том же: как он окликнул почтальона, как заметил на обочине дороги пассажирку... И опять тревожное чувство охватывало его, когда он вспоминал, как поднял голову от крана...

Время от времени Ромка вставал, прохаживался и вновь бросался на нары. Наконец не выдержал, хлопнул дверью и направился к волейбольной площадке; оттуда доносились крики, удары мяча, свисток судьи. Роман встал поодаль: стоял, смотрел и, как бы между прочим, отмечал, что местные парни играют не слишком-то ловко: перекидывают мяч, теряют его, дают свечи... Пассажирки на волейбольной площадке не было. Теперь оставалось одно — пройти поселковую улицу и заглянуть к вагончикам-балкам на обрыве: улица была пустынной. Правда, перед вагончиками хлопотали женщины, шумели ребятишки... Но дворики быстро пустели, жизнь перемещалась в балки, где один по одному зажигался электрический свет.

А Тая между тем сидела на приступке своего вагончика-балка, охватив колени руками. Она вроде бы даже не удивилась, когда в сумерках послышались чьи-то шаги, и она узнала в прохожем, приближавшемся к ней, черный свитер. Бахов же с запоздалым сожалением подумал, что надо бы было немного выпить, ну, граммов сто, не больше... От скрытого волнения голос его был каким-то неуверенным, несвойственным ему: он это сразу почувствовал, едва спросил:

— Пойдем, что ли, побазарим?..

Спросил и понял: никогда не говорил он такие дешевые слова, не говорил, а вот выговорил...

Таисия подняла голову. Она не слышала, наверно, вопроса, смотря поверх Ромки, поверх крыш поселка,

причем смотрела она искоса, и поэтому синеватые белки ее глаз были особенно велики.

— Пойдем...— начал неуверенно Ромка.

Тая покачала головой.

— Нет, не пойду,— она еще раз искоса посмотрела на него.— Ты — страшный... И пьяный часто бываешь.

— Разве я страшный?! А ты знаешь мою жизнь? Ты о ней спросила?..

Распаляясь все больше, он подошел к приступку с намерением сесть возле Таисии. Но в его словах опять-таки было что-то несвойственное ему, Ромке... Тая легко поднялась и скрылась в вагончике.

Все жарче становились дни в Тикше. Удушливее вечера. Мелкие звёзды, словно белый песок, рассыпались ночами по белесому небу: так белеют отмели на пустынном ночном берегу. И тревога не покидала жителей поселка, проникала в вагончики-балки и бараки, проникала в контору, где находилась комната радиста и где в эту летнюю пору перекладывали печи. Такая недавно сложенная печь просыхала в комнате радиста, она курилась легким парком. Поодаль от печки, на канцелярском столе, была установлена рация. К столу ровно в девять подошел начальник сейсмопункта Долинский. Вместе с ним в комнату набился разный поселковый народ.

— Секунда, Секунда, Секунда,— твердил Долинский.— Я — Третий, я — Третий... Кто слышит, помогите связаться с Секундой.

В ответ раздавался треск разрядов да писк морзянки.

Наконец Секунда ответила.

— Секунда,— голос Долинского окреп, потерял монотонность,— пожар угрожает складам горючего. Вышлите вертолет МИ-4. Вышлите вертолет. Всех людей организую на тушение пожара.

Последнюю фразу он повторил множество раз.

— Всех людей... Людей... Организую... Пожара...

Долинскому, конечно, было досадно отрывать рабочих от дела, еще досаднее было заваливать квартальный план, но другого выхода у него не оставалось. Правда, пожарники мощными взрывами создавали заслоны на огнеопасных направлениях, но, вероятно, по

перемычкам, которые не могли сразу же перекопать, огонь распространялся на новых площадях.

Новость о десанте заставила парней навалиться на плечи друг другу, ловить каждое слово, сказанное Долинским и Секундой. Начальник недовольно оглядывался на них, но разговор с базой прервать не мог. Его мучила боль в суставах,— в любую погоду он ходил в меховой авиационной куртке,— ему было душно от раскалившейся печи, от людской скученности, но Долинский был опытным инженером и знал, что его парни должны слышать переговоры с базой от начала до конца. Только в таком случае склады с горючим будут спасены. Вообще же и сейсморазведчики и рабочие-сезонники не то чтобы боялись главного инженера, они уважали его; все, что он делал сам или приказывал другим, было разумно и очевидно для любого...

В конце концов Долинский договорился, что вертолет пришлют завтра во второй половине дня.

Полдневное солнце припекало с прежней силой, хотя неуловимое сквожение в горячем и парном воздухе оповещало все живое, что близится осень. А значит, близится прохлада, отлет птиц, утренние туманы по низинам. Но еще неотвратимее, чем осень, приближалась к Тикше беда: из-за леса на фоне кучевых белых облаков подымались другие, серые облака. О них-то и думалось каждому из собравшихся на аэродромной делянке.

...С минуты на минуту ждали вертолет. Ромка Бахов, привыкший ко всевозможным передрягам, по своей воле вызвался лететь на пожар. Он пришел на аэродром вместе с Квасковым и сразу же заметил Долинского, мехового жилет которого мелькал среди людей. Но велико же было удивление Романа, когда в одной из таких групп он увидел и Таю. Она была одета в синюю штормовку, голову повязала все той же цветастой косынкой. Ромка подошел именно к этой группе, и, как оказалось, вовремя. Долинский разбивал людей на партии по два, по три человека.

— Таисия,— неожиданно обратился он к пассажирке.— А ты с кем?

Тая, с вызовом взглянув на Романа, быстро ответила:

— С ним!

Роман от неожиданности сглотнул слюну, внутренне напрягся. Остальные заинтересованно посмотрели в его сторону. Но в этот момент послышался стрекот вертолета, и его оранжевое днище вскоре зависло над головами.

Пилот не выключил двигатель, и в вихрях желтой пыли первые партии десантников,— среди них были Роман с Таей,— гуськом двинулись к кабине.

Тащили тюки, узлы, вещмешки, связки инструментов и издали напоминали муравьев, облепивших оранжевую стрекозу, которая резким стрекотанием взбудоражила эту полдневную тишину.

Последний спасатель неуклюже ввалился в кабину. Командир экипажа еще переспрашивал фамилии рабочих и записывал их в ведомость, а вертолет уже вынырнул из клубов пыли, и под его днищем блеснула река: сквозь коричневую воду четко проступали волнообразные отмели. Земные дали на глазах распахивались,— небосвод обретал первозданную синеву и становился все безмернее, все глубже.

Из-за стрекотания винта разговаривать было трудно, поэтому Роман с самого начала припал к круглому окошку. Под колесо вертолета,— настолько близкое, что до него хотелось достать рукой,— медленно подплывали сизые шары деревьев. Эти шары сменялись ржавыми шкурами болот: на них кое-где торчали острые пики сухостоя. Ржавчина болот гуще пятналась блюдечками озер, и солнце старательно перебегало из одного в другое, а потом вновь терялось в шарообразной, сизо-зеленой гущине.

Роман оторвался от оконца, мельком взглянул на Таю. Она сидела неподвижно, уставившись в какую-то одну точку прямо перед собой. Ее отсутствующий взгляд насторожил Бахова, потому что он никак не мог понять или предугадать мыслей, в которые была погружена Тая. Между тем в кабине сильнее запахло угарным газом. И тут Роман увидел, что из глубины леса вздымаются белые клубы дыма. Они вздымались медленно и лениво, но было что-то непривычное, неестественное, жуткое в этой клубящейся тайге. Дым полосовал ее, как ударами плетей, рассекал на части, вырывался далеко вперед: среди зелени то там, то здесь клубились отдельные деревья.

Вертолет резко накренился: это командир экипажа

искал место для посадки. Ниже-ниже — и колесо поплыло уже над верхушками сухостойных елей: их острия нацелились в днище вертолета и, казалось, вот-вот были готовы его распороть.

Но, взревев двигателями, вертолет завис над ржаво-дымчатым кочкарником. Радист открыл люк и, ткнув в Романа и Таисию, показал куда-то вниз. Тая выскочила первой и тут же провалилась в болотный мох. Следом выскочил Бахов. Их хлестануло, погнало в сторону от вертолета под мощной воздушной струей. Кустарник метался, болотные травы стлались пролысинами, а люди, низко согнувшись, спешили вырваться из-под этого грохочущего, вихреобразного круга, очерченного лопастями винта.

Тюк с палаткой, мешок с хлебом, рюкзаки, лопаты, топоры — все передавалось в кабине из рук в руки и сваливалось возле люка.

Пилот добавил газ — вертолет как бы напрягся на мгновение, оторвал глубоко ушедшие в мох колеса и боком-боком пошел в сторону тускло сиявшего солнца. Вот его стрекотание донеслось сквозь дым слабо и немощно, вот оно исчезло совсем. Стало тихо и одиноко. Таисия и Роман стояли далеко друг от друга и смотрели на солнце, в сторону улетавшего вертолета.

С трудом вырывая сапоги из зыбкого охристого мха, они сошлись возле пожитков, взвалили их на плечи и тронулись в путь. Ярко блестела на солнце листва кустарников. Лица и руки горели огнем от укусов мошкары и комаров, которые звенящим столбом колыхались над головами. Хотелось пить из-за близости воды, смачно и недоступно хлюпавшей под ногами... И мечталось об одном: как можно быстрее выбраться из этого изнуряющего душу и тело редколесья. Еще какое-то время два человека путались в высокой осоке, а затем вышли к буграм, заваленным истлевшими стволами сосен, хрусткими обломками веток, заалевшими сквозь траву ягодами брусники.

— Нда-а,— раздумчиво протянул Ромка, едва они присели на замшелый ствол, наполовину вросший в землю. Повязанное косынкой, раскрасневшееся лицо Таи было сплошь в бугорках укусов.

— Давай посмотрим в рюкзаке репудин?

Но Тая встала и, глядя, впервые глядя прямо и долго в его зеленоватые глаза, спросила:

— Пойдем?..— И, не дожидаясь ответа, пошла первой. На спине у нее был выгоревший, видавший виды рюкзачок, в руках — закоптелое ведерко. Однако как и в поселке, она шла легко и непринужденно. Да и во всем ее облике, во всей ладной фигурке было ощущение какой-то свободы, какой-то слитности с этими одичавшими во многих веках болотами и лесами, никогда не слышавшими, может быть, человеческого голоса.

Еще час пути с угора на угор — и впереди заблестел березовый выдел. Оба, не сговариваясь, поняли, что здесь они разобьют свой табор.

Старые, суковатые, с потрескавшейся корой березы редко возвышались по склонам гряды. Выше по склону березняк мельчал и сливался с подростом. Но роща старых берез завлекала своей светотенью и сохранившейся даже в эту жару свежестью листвы,— она как будто обещала отдохновение от всех трудов, от всех забот. Место настолько понравилось Роману и Тае, что они тут же взялись устраивать ночлег. Пока Роман вырубал колышки, ставил палатку, делал для себя отдельный навес, Тая спустилась в низинку, где светлела глина пересохшего ручья. Правда, в одном бочаге ей удалось набрать ведерко воды, мгновенно покрывшейся колкой пленкой ржавчины. И все-таки это была вода! Тая быстренько вскипятила чай, заварила его до черноты, нарезала хлеб... Еще до сумерек им не терпелось побывать в противопожарной зоне.

И вот за вторым или третьим бугром они вышли на выдел, где недавно полыхал низовой пожар.

Насколько хватало глаз — везде чернели прутья, стволы, корни деревьев, вывороченных буреломом и цеплявшихся короткими черными лапами за землю, которую ковром устилал дымчатый пепел,— он взвивался на каждом шагу, осыпал обувь, першил в горле... Под стать этому мертвому пеплу повсеместно царила такая же мертвая тишина: даже комариного писка не было слышно. Чтобы не заплутать в этом черном лесу, Роман время от времени делал зарубки: они повсюду забелели на угольных стволах. И Роман, оглядываясь на них, внезапно подумал: так и в жизни,— зарубки остаются, а все прочее — зола. От этой невеселой мысли стало ему тоскливо и одиноко, и даже вид Таи, задевшей ненароком за ветку и подмазавшей себе лихой ус, не смог развеселить его.

Через две сотни метров они услышали протяжный треск и глухое гудение огня... Свежие воронки, образовывавшие длинный ров, отводили огонь в сторону болота, на котором днем приземлился их вертолет.

...Багровое солнце закатилось за вершины деревьев. И сразу же похолодало. По низинкам пластался загустевший ввечеру дым. Тая снимала с ведерка хлопья ржавой пены: макаронные рожки, которые отваривались в ведерке, могли впитать эту ржавь.

Роман изредка подбрасывал в костер полешки дров.

Солнечный и неправдоподобно долгий день заканчивался возле таборного костра в умиротворенном и созерцательном спокойствии, которое всегда возникает в душе человека, долго глядящего на огонь.

— Ты знаешь,— мечтательно обратилась Тая к Бахову, хотя и не назвала его по имени,— а у местных людей есть поверье...

Она, не отрываясь, глядела на пламя, облизывавшее полешки, возводившее из раскаленных углей и мгновенно рушившее огненные постройки.

— Ты знаешь,— повторила она,— люди верят: у огня есть глаза и уши. Ты не смейся... Огонь, он умеет слушать и глядеть. Вот стоит ему проткнуть глаз, как он ослепнет. И погаснет. Или если много-много говорить в лесу, он рассердится, зашипит и тоже погаснет.

— На нас не зашипит,— Роман улыбнулся.— Мы за весь-то день двух слов не сказали.

Он переменил позу, оживился, достал из деревянных ножен финку, покачал ее на пальце и вдруг метнул в середину костерка. Тая вроде бы шутливо, но и суеверно отпрянула от огня, прикрыв лицо согнутым локтем. А Ромка уже достал финку и вставлял ее обратно в ножны.

— Бич разнесчастный!..— не на шутку рассердилась Тая.— Вот накличешь беду...— Она снова наклонилась над варевом, помешивая алюминиевой ложкой.

И правда: позднее Тая неловко взялась за дужку, ведерко наклонилось, вода с разваренными рожками хлынула через край... Костер зашипел, окутал Таю парком и стал мгновенно гаснуть.

— Вот видишь, вот видишь!— опять рассердилась Тая. Однако ее раздражение и эти сердитые, эти простые семейные слова возымели на Бахова обратное действие: они наполнили его предчувствием такой радости, какой не доводилось ему знать и испытывать никогда в жизни.

Сколько бы позже ни вспоминал Роман Бахов две недели, проведенные на пожаре, он чувствовал, что запомнил все со странной отчетливостью и силой. И это не переставало его удивлять, потому что были у него годы, которые прошли и канули как бы в черный провал. А здесь иное.

Нестерпимый жар, плескавшийся в лицо, болезненные ожоги на плечах, пот, застилавший глаза, струившийся между лопаток, сухая земля, которую надо было кидать и кидать,— все это было на лесных выделах. И было изо дня в день. Как и белый круг солнца, который застыл в небе, словно всевидящее око какого-то языческого существа. Это око постепенно багровело, скатывалось к горизонту и там, в синем дыму, истекало розовой сукровицей.

Только не к опасной и тяжелой работе мысленно возвращался Ромка,— она была привычна ему. И не к этому шаманскому солнцу, а к тому, что случилось с ними двоими, возвращался он постоянно.

И здесь все было важно для Ромки. Вплоть до злополучной осины, что зависла в первый рабочий день. Бахов начал ее подрубать: брызнула белая щепа, дерево содрогнулось от комля до вершины, и оно содрогалось до тех пор, пока топор вонзался в древесину. Но тяжелого шелеста и знакомого удара он не услышал: заново подрубленный ствол воткнулся рядом с пнем.

Бахов попробовал подважить тяжеленную, в лишаях и наростах, лесину,— она не шевельнулась. К счастью, Тая не видела его позора: она ушла далеко вперед. Однако внезапно вынырнула из-под плеча и встала рядом, упираясь руками в зависшее дерево.

— Отойди, придавит!— вне себя закричал Бахов.

Но Тая, повернув смуглое, покрытое бисеринками пота лицо, взглянула на него с таким ожесточением, что Роман решил про себя: будь что будет...

Они стали вместе толкать ствол. Правда, от их совместных толчков вначале не было никакого проку. И только сквозь прерывистое дыхание Бахова слышалось: «Вместе давай... вместе...» И точно: равномерно пружинившая верхушка осины начала едва приметно сползать с пихтача.

— Держись!— прохрипел Роман, напрягаясь в последнем усилии. Возглас его заглушил протяжный треск сучьев, гулкий удар ствола о землю.

Тая, вытирая углами косынки лицо, облегченно улыбнулась...

Нет, не читал Роман Бахов книг, в которых поэты воспевали мгновенье. Но прочитай он когда-нибудь эти книги, он, не раздумывая, согласился бы с ними. Сейчас согласился бы, когда не зависшую осину, а непомерную тяжесть обид и озлоблений своротили они вдвоем с его души. И вот теперь через это мгновение, прожитое на пожаре, открывалась ему иная, чем прежде, суть бытия: она была в улыбке Таи, озарившей ее лицо, в огненной работе, она была в величественно-безмятежных просторах Севера, во всей непомерной тишине, окружавшей их в березовой роще.

Да, тишина была воистину непомерной, потому что лишь однажды пророкотал гидросамолет да позднее послышались отдаленные взрывы: подрывники преграждали путь огню.

И все это время Роман жил как бы на пределе душевных и физических сил. Он переставал думать о том, что было и что будет, он суеверно дорожил каждым мигом, который, растворяясь в других, создавал эти мучительно-прекрасные дни его жизни. От недосыпания, от жажды, от перенапряжения он постарел, оброс ржавой бородой с легкой проседью. Тая тоже выглядела усталой, измученной. Она реже улыбалась и все время была как бы настороже сама с собою.

Оба они не понимали, да, пожалуй, и не хотели понимать, откуда берется это неутолимое, это постоянное желание видеть, слышать, осязать друг друга, откуда рождается эта влекущая к сокровенной близости сила, которая, казалось, завладевала их помыслами целиком.

Однажды после работы Роман взял ведерко и спустился к ручью. На дне бочажка застыла железистая окись. Роман снял ее днищем, зачерпнул ржаво-коричневой жижицы и тут же выплеснул содержимое на траву. Потом, не говоря Тае ни слова, захрустел по низинке валежником. А часа через полтора вернулся с ведерком, полным чистой озерной воды. Тая даже не повернулась в его сторону. Она сидела на пеньке, сгорбившись, заложив руки между колен, стиснув пальцы. Ее молчание, отсутствующий взгляд, направленный в одну точку,— все вызывало в Бахове такое чувство жалости и вины, что он, поставив ведро у потухшего костерка, ушел к себе под навес. И лежал на широком брезентовом чехле спального мешка, и прислушивался к тому, что делалось на поляне, и, не выдержав, вернулся к Тае, которая с сумрачным и молчаливым лицом готовила ужин.

— Нехорошо, однако, Роман.— Тая впервые назвала его по имени.— Тайга кругом,— мало ли что могло случиться...

И как всегда искоса посмотрела на него. Глаза ее с синеватыми белками были сумеречны,— в них поблескивали слезы. Она боялась не за себя, она боялась за него, боялась и ждала...

Роман подошел к Тае совсем близко, его горячие ладони легли ей на плечи. Тая стояла, низко опустив голову, а Роман настойчиво поворачивал ее к себе... Пытаясь вырваться, она отпрянула назад, уперлась руками в грудь Романа, а тот медленно, но сильно прижимал ее, и руки Таи слабели, она только отворачивала голову в сторону, пока Роман искал губами ее губы. Он все-таки дотянулся до ее шершавых, крепко сжатых губ и просто прижался к ним... Это длилось мгновение, ударившее Романа, словно током, что-то дрогнуло и в Тае,— губы ее жадно полуоткрылись...

Уснули только перед рассветом. В пестрой путанице сновидений, которая обволокла Романа, ему на какой-то миг привиделось...

Вот они напрягают усилия, раскачивая лодку городских качелей. Внизу праздничные карнавальные огни... И в лад с каждым взлетом, прижимавшим их друг к другу, Тая одними губами шепчет: «Вместе,

вместе давай...» Ближе вспышки цветных огней, ближе ослепительное сверкание фейерверка,— и в болезненно-сладкой истоме изнемогает сердце... Роман просыпается, с трудом раздирает веки, смотрит влево рядом с собой.

Тая в просторном спальном мешке свернулась калачиком, по-детски положила ладошку под правую щеку. Тень от ресниц делает подглазья темнее, да и вся она в этот рассветный час смуглее, чем обычно.

Романа охватывает незнакомая нежность,— он осторожно, чтобы не разбудить Таю, целует ее в эти сомкнутые ресницы и темные подглазья. Но она уже проснулась; она чувствует, что он здесь, что он целует ее, и, выпростав из спального мешка руки, обвивает его за шею, гладит затылок и целует прямо в губы...

Много позднее долетел до них шелест березы, свесившей ветви до самого навеса.

...На другой день, по дороге с пожарища, Тая предложила набрать черники к чаю. На многих выделах росла черника сплошным ковром, даже переходить от кочки к кочке не надо. Но Тая нашла сосновый бор, где ягоды были крупными, а кусты росли отдельно друг от друга. Как-то веселее собирать крупные, словно отпотевшие, черные ягоды с отдельных кустиков. Поначалу они не могли удержаться, чтобы полными горстями не набивать себе рот этой кисловатой сладостью. Вскоре губы и зубы у них посинели, язык пощипывало от кислоты, кончики пальцев окрасились, словно в детстве чернилами.

— Смолы бы надо пожевать,— рассудительно заметил Бахов,— а то будут зубы, как от цинги...

— Ты — старый, тебе и так можно!..

Оба рассмеялись.

— То — старый, то — страшный... Вот до чего дошел, докатился.

— Сказал бы, до чего тебя довели...

— Это уж точно!— добродушно улыбаясь, подтвердил Бахов. Ему надоело собирать чернику, и он стоял, вольно облокотившись о какую-то корягу. Тая присела неподалеку, высыпала ягоды из банки на косынку и

теперь очищала их от хвоинок, веточек, листиков, как будто вырезанных из жести, и прочей лесной мелочи.

— А ты знаешь — я ведь не местная,— заговорила о другом Таисия.— В Тикше у меня тетка живет. Ну, ты ее видел. Я к ней приехала. Она, как и отец, с низовьев Оби. А мать у меня русская. Да вот получилось так, что жила я у тетки, и в Усолье жила, и в Моженге... Потом интернат, потом учеба в Ленинграде... Видишь, и рассказывать нечего.

Тая стряхнула с косынки мелкие листики и теперь сидела просто так, отдыхала.

— Я тоже на чужих руках вырос,— глухо отозвался Роман.

— Выходит, мы — залетные птицы?..

— Выходит,— Роман горьковато усмехнулся, вспомнив Междуреченское.— Только залетели сюда по-разному...

— А все-таки залетели. И встретились... А могли бы не встретиться, а, Роман?..— жалобно протянула Тая.

— Могли бы,— Бахов надеялся, что Тая поймет, что он хотел этим сказать. И она в самом деле догадалась, что больше не надо было об этом говорить, не надо было нарушать ту душевную озаренность, в которой они пребывали все эти дни.

...Порыв ветра, снова порыв,— и шум берез, отчаянно трепещущих листвой, перекрыл плотный, однообразный шум. По туго натянутому пологу палатки забарабанило, мелкая водяная пыльца поплыла вдоль стен, оседая на спящего Романа... Тая на коленках подползла к выходу, откинула брезентовый клапан и воскликнула удивленно:

— Роман, сонь-засонь! Дождик!..

Высунулась еще больше и в радостном самозабвении начала встряхивать рассыпавшимися волосами, вертеть головой и походить на щенка, который, восторженно взвизгивая, отряхивается под дождем.

По слитному равномерному шуму Роман понял, что ненастье — надолго и что на выдел им сегодня не идти.

— Помнишь, я ему глаз проткнул?— подзадоривая, спросил Роман; в спальном мешке было уютно и тепло, особенно уютно и тепло при виде Таисии, высунувшейся под дождевые струи.

— Нет, фигушки,— забравшись в палатку, возразила Тая. — Это вчера мы много-много говорили... Вот он теперь и шипит. По всей тайге шипит...

Склонив голову набок, она вытирала волосы полотенцем.

— А нам не страшно!

И захохотала, и кинулась тормошить Романа, который неловко и смущенно отбивался от нее.

...Дождь шумел целый день и затих только к вечеру. Крупные дождевые капли, стекавшие с берез, гулко ударяли в брезент палатки.

Да и по всей березовой роще, по выделу, по тайге слышался этот звонкий и дробный перестук,— земля благодарно впитывала последние капли влаги, оживала от неожиданного дара небес, курилась парком, нежилась в лучах неяркого солнца.

Среди этой благодати оставаться в палатке не было никаких сил. Лес заманивал воскрешением к жизни, завлекал молчанием, зачаровывал тайнами, которых нельзя было предугадать и которые, быть может, творились в этих глухих чащобах.

Роман с Таисией пошли по низинке, не раздумывая, как далеко и зачем они уходят из рощи, пошли, потому что душой и телом чувствовали обновление матери-природы... Они никогда бы не осмелились ее так назвать, хотя подсознательно ощущали себя целиком принадлежащими к этой сотворительнице всего живого и сущего — природе. И повиновались ее законам, и слушались ее повелений.

Ах, как удивительно легко и свободно дышалось после дождя в лесу!

...Походя Тая сорвала кисточку брусники, приладила ее при помощи шпильки и кокетливо подтолкнула Романа. Она знала: к ее черным и гладко причесанным волосам не было лучшего украшения, чем кисть белорозовых ягод. Роман одобрительно кивнул головой, поразившись врожденному вкусу Таи. А она придумала другую забаву: вырывая тонкие стебелины, кидала их, точно стрелы, в сторону Романа. Тот отворачивался, уговаривал, убеждал, грозил кулаком, пока, зацепившись за корни, спиной не повалился в бурьян. Нахохотавшись до слез и вытащив его из бурьяна, Таисия

притихла, погрустнела и теперь, покусывая сломанную стебелинку, глядела прямо перед собой.

Незаметно они вышли к озеру, из которого Роман брал воду... Легкий пар поднимался с его поверхности. Призрачными, неуловимо-зыбкими виднелись островки камыша, которыми оно густо заросло; поваленные, полузатонувшие осины напоминали чудищ, околдованных сном.

Возле ольховых зарослей Тая остановилась; вода, блестевшая сквозь клочья пара, камыши, черные спины осин — все притягивало ее взгляд.

И вдруг из-за камышовых зарослей взлетела большая птица: Тая вздрогнула, инстинктивно прижалась к Роману. А птица, спокойно взмахнув белоснежными крыльями, пошла на снижение; она вытянула вперед длинные ноги и приземлилась на мелководье. Тотчас же к ней подлетела другая... Они ходили среди болотных трав... Иногда взлетали и опускались... Иногда пропадали в камышах.

Тая сильнее припала к Роману, который охватил ее за плечи рукой. Так они и стояли, завороженные видом лесного озерка.

— Ой, Роман... *они такие красивые...* — Тая говорила шепотом, хотя до камышовых островов было далековато.— Смотри, смотри, у них клювики красные. И головки... Роман, красные, красные... Как у дятла.

— Молчи... Я знаю... Их стерхами называют. Они парáми живут. Далеко друг от друга.

— Как мы с тобой, Роман, да?..

Роман признательно пожал плечи Таи.

— Не вспугни... Молчи... Мне рассказывали... Редкое это счастье...

Оба напрягали зрение, чтобы получше разглядеть диковинных птиц, запомнить их повадки, окраску... Но легкий пар, загустевший над водой, скрадывал подробности, и было лишь видно, как время от времени птицы расправляли огромные белоснежные крылья и лениво обмахивались ими. Потом разом поднялись и, *сделав над озером большой круг, полетели в сторону* леса... И стоило журавлям скрыться, как колдовское наваждение исчезло: краски неба померкли, земля превратилась в унылую болотистую топь. Смотреть стало не на что. Как будто из души природы, подумала Тая,

вынули чудесный заклад и там образовалась темная пустота.

— Пойдем домой,— Тая зябко передернула плечами.— Уже поздно.

Через два дня прилетел вертолет. Они засуетились, потащили, пригибаясь от вихря, пожитки и наконец ввалились в его пропахшее машинным маслом и краской нутро.

В конце августа в Тикшу пришла плоскодонная баржа-самоходка. Она должна была забрать партию геофизиков, ведущих в тайге полевые работы. На самоходке уплывала в Междуреченское и Тая, чтобы там пересесть в самолет. Но партия геофизиков никак не могла собраться, и отъезд откладывался со дня на день. Это затянувшееся прощанье оказалось для обоих мучительным. И хотя Тая, глотая слезы, говорила Роману, что он мог бы поехать вместе с ней, тот хмуро отмалчивался.

Последний день перед отъездом тянулся особенно долго. Роман работал один на ремонте бараков, потому что команда его распалась: Олег Дыня ушел в тайгу, Кваско заболел дизентерией, хотя и лечил себя яблочным вином каждый день. Спецрейсом его вывезли в междуреченскую больницу.

...До конца рабочего дня оставалось часа два, однако Бахов взял удочки и встал на приплеске под тракторными санями: на глубине должны были брать подъязки. Ожидания его оправдались,— вскоре поплавок, закинутый в лесную труху, ходившую под обрывом медленными кругами, дрогнул и пошел вниз: брала крупная рыбина. Роман подсек,— и вот за его плечом забился жирный подъязок: узнать было нетрудно по красновато-серебристому брюшку и красным же ободьям глаз. Другие поклевки последовали за первой.

Наловив ведерко рыбы, Роман вернулся к избушке, где его ожидала Тая. Вдвоем они почистили улов и в первый раз растопили печку, сложенную во дворе... Чувство не ясное, не высказанное себе самому, с которым Роман вел кладку этой печурки, сбывалось. Но

поздно сбывалось... После ужина они сидели близко друг к другу и безмолвно смотрели на огонь, гудевший за полузакрытой дверцей. Этот же огонь лисьим хвостом вырвался из трубы. И Роману вспомнились те огненные лисички, что пробегали между зелеными лапами елей. Добежав до вершины, они как будто исчезали, но ель, окутавшись густым дымом, вспыхивала и с треском осыпалась горящей золой иголок. Казалось, что в этом треске и пламени метались тени каких-то больших белых птиц... Но хвостатое пламя опадало и оставляло после себя лишь черный обуглившийся ствол.

...Молчание затягивалось, а ведь Роман догадывался, что ему надо было говорить, и говорить много, убежденно, чтобы все объяснить растерянной, обескураженной Тае. Но он медлил, потому что слов у него не было и он не знал, откуда их взять.

Ему помогла, как всегда великодушно и доверчиво, Тая. Она промолвила вслух:

— Совсем, совсем, как на пожаре...

Романа охватил холодок какого-то суеверного страха: ведь они думали об одном и том же.

— Случаем, в тебе не шаманская кровь?

— Есть капля,— загадочно улыбаясь, ответила Тая.— А что?

— Так — ничего. Поехали дальше...

Однако Роману было уже легче говорить, потому что Тая поймет, все поймет...

— Помнишь, на пожаре ты сказку рассказывала? Про огонь?.. А я не поверил. И про стерхов... Знал, да не верил. И ничему-то я тогда не верил...

— А теперь?

— А теперь?.. Видно, есть в них что-то важное для человека, если помнят их люди всю жизнь... Слышал и я такую... Давно слышал, еще когда мальчишкой был. Кабы не он, не Григорий, не жить бы мне... Да это к делу не относится... А дело-то, оно... в глубокой старине было, в самой глубокой...

Роман заговорил медленно, нараспев; может, вспомнил голос Григория, а может, непривычно было ему сказки сказывать: другому учила жизнь и на другом языке.

Тая заложила руки между колен. И, чтоб легче было слушать, представила она Романа старым-престарым, ну, как тот баешник Григорий. И голос его

зазвучал по-иному, обволок ее, понес по волнам северного сказания. И не знала Таиска: то ли Роман ей сказывает, то ли сама она что вспоминает...

Земля тогда была каменной, а горы железными; озера глубокими, родники горячими. В ущельях росли тысячелетние ели и пар поднимался до небес. Реки выходили из берегов: вот сколько плескалось в них рыбы. Озера белели несчетными стаями птиц. Но приходила осень. И все сильнее гудел в ущельях северный ветер, все быстрее собирались птицы в отлет. Слетались на побережье и белые журавли. Им тоже настала пора отправляться в дорогу. Да с ближайшей ели слетел к ним глухарь: тоскливо ему в лесу одному оставаться, если все улетают к теплому морю.

«Куда тебе,— говорят ему журавли,— ты переберешься с ели на ель, потом сидишь, отдыхаешь». Однако глухарь упросил, уговорил гордых птиц.

Соорудили они что-то вроде упряжки, подхватили его с двух сторон — и взвились в поднебесье. Миновали железные горы. Миновали реки с тростниками. Озера с глубокой водой. А впереди горы — все выше, земля — каменистей. И стал тогда глухарь уставать. Да и журавлям тяжко тащить его по заоблачным высям. Снизились они на протоку, сказали: «Оставайся ты, братец, в родном лесу... Перезимуешь, перегорюешь, а весной мы прилетим на озера, к гнездовьям».

Долго сидел глухарь над протокой, смотрел вслед журавлям,— скрылись они за облаками и даже курлы-курлы не слыхать. Только глухарь ничего не может поделать с собой: плачет и плачет... И горевал он так долго и сильно, что налились у него глаза кровью и стали подглазья красными. Перезимовал он зиму, перегоревал весну, а журавлей нет и нет; видно, улетели они в другие страны...

Не проронившая ни слова, не переменившая позы, Таисия воскресла из забытья.

— Красивая сказка, Роман... Да не про нас.

— Нет, Тая, про нас... Про меня... Это я раньше, как глухарь, похвалялся: «Ромка-Бич... Ромка-Бич»... Не я бич, а безотцовщина моя — бич. И война...

Тая вздохнула тяжело-тяжело. Открыла дверцу, подбросила полешки в малиновый жар печки. Пристально посмотрела на Бахова.

— Ну, да ладно,— грустно заключил Роман.— Как-нибудь перезимую, перегорюю в этой самой Тикше...

В утренней холодноватой голубизне к барже-самоходке вышел весь поселок. На железной палубе, среди ящиков, тюков, узлов, приборов, вольно раскинулась партия геофизиков. Таисия сидела возле рубки. Была она в коричневом плаще, в той же пестрой косынке, повязанной наглухо под подбородком. Она сидела, положив руки на колени,— и в этой позе, в скромных красных туфельках было что-то по-детски обиженное и виноватое... Тетка, навалившись грудью на поручни трапа, выговаривала ей, но, судя по всему, Тая не слушала тетку, углубившись в свои думы.

От старых тракторных саней, где Роман курил одну папиросу за другой, было хорошо видно и железную палубу, и фигурку Таи, и партию геофизиков, молодых, загорелых, обросших бородами, оживленных перед отъездом. Черная дизельная копоть поднялась над рубкой, позднее донесся стук движка. Но за мгновенье до этого Тая внезапно подняла голову вверх. И в этот миг что-то болезненно и остро кольнуло Романа в сердце: высоко в небе, над желтеющим лесом, летели две птицы. Из-за расстояния трудно было их узнать... Только Роману захотелось, чтоб это были стерхи — белые журавли.

ЛЯПУН И РАЙДА

Историческая повесть о походе новгородцев в Заволоцкую землю в 1396 году

...Никогда бы не подумал, что мне придется заняться настоящими архивными изысканиями, стать в чем-то похожим на моего друга, бородатого мазилу Виктора Корегина, увлеченного реставраторством, забывающего из-за своей страсти обо всем на свете. Как и ему, многие месяцы мне пришлось снимать слой за слоем, чтобы добраться до подлинника, до «материка», подолгу рассматривать следы чинок и поновлений — их я чувствовал, видел, но не мог доказать, что это были чинки и позднейшие поновления. Короче, мне самому пришлось заняться работами, чем-то похожими одновременно и на археологические раскопки, и на труд реставратора-живописца.

Впрочем, расскажу обо всем по порядку.

Как-то рылся я в институтской библиотеке и случайно напал на книгу, вышедшую в конце прошлого века в Москве. Это была «Летопись Великоустюжская», изданная А. А. Титовым и написанная, по словам издателя, священником Львом Вологдиным. Пролистав книгу, я обнаружил страницу, на которой было написано: «Старый вой, названием Ляпу́н, от злосердия своего взявши убрус, подскочил бесчинно к образу святому, и тем убрусом связал образ, а потом говорил: пленник-де на чужую сторону не связанный никогда не ходит. И тако, двигнувшись с места, поплыл и тот насад, яко же прочие».

«Вот так совпадение! Да совпадение ли это? — тут же спохватился я. — А может, народная молва и летописец из Устюга говорят об одном и том же...» Нет, нет, скорее случай, рассказанный летописцем, и породил в народе говор, предание, которое и услышал в родной деревне Виктор Корегин. Значит, необходимо убедиться, что «Летопись Великоустюжская» — подлинник, а не подделка.

Но чем больше я вчитывался в это сообщение, тем сильнее начинал сомневаться во всем: мне казалось, что вставка непомерно обширна, что во всем тексте есть какая-то обновленность... Мои сомнения усилились после того, как я узнал, что в археографии — так называется научная дисциплина, которая занимается описанием и изучением древних памятников словесности,— «Летопись Великоустюжская» не значилась вообще, а следовательно, не была признана достоверной.

И все-таки чем больше я вчитывался в этот эпизод, тем сильнее он захватывал меня, волновал и драматизмом, и необыкновенной судьбой новгородского воина — воя Ляпуна: человек безвестный, безродный, человек толпы — «един Ляпун», так его постоянно именует летописец,— дерзнул связать убрусом, то есть холщовым полотенцем, легендарную икону!..

В дальнейшем мне удалось напасть на след этой похищенной Ляпуном иконы — она действительно затерялась в послепетровскую эпоху где-то в деревнях вблизи города Великий Устюг. Но свою основную задачу я видел в том, чтобы дойти до «материка», до первоначальной рукописи, легшей в основу всех позднейших списков. «Летопись Великоустюжская» ни в коем случае не была таким первоначальным памятником древней литературы. А мне нужна была прочная документальная основа, ибо известна наша современная страсть к документализму. И вот чтобы почерпнуть эти факты и дополнительные сведения, я обратился к Патриаршей, или Никоновской, летописи, как наиболее полному русскому летописному своду: о старом вое, иначе, о новгородском воине Ляпуне, там не было ни строчки!..

Первая неудача не обескуражила, а подхлестнула меня. Я решил перечитать Вологодско-Пермскую летопись, резонно полагая, что здесь-то должны быть подробности заинтересовавшей меня истории — как-никак произошла она на древней Заволоцкой земле. И опять безрезультатно!

Для успокоения совести я раскрыл Владимирскую летопись: под 1396 годом там вообще ничего не значилось. Для летописцев соседнего владимирского княжества из всего, что случилось в том злополучном году, вероятно, ничто — повторяю, ничто!— не заслуживало быть занесенным в летопись.

После такого открытия мне очевиднее стала горечь ле-

тописца из «Повести временных лет», который сказал: изначально среди славян не было ладу, и «быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся».

Между тем поиски протографа дали свои неоценимые результаты. Неприметно для самого себя я с головой ушел в стихию древнерусской словесности: чтение летописей стало доставлять само по себе, самоценно, неизъяснимое эстетическое наслаждение.

В летописи включались и народные предания, и поразительные бытовые подробности, в них рядом с «виде́ньями» и «чудесами» соседствовали деловые грамоты, речи послов и дружинных князей. При всем том в летописях была своеобразная ритмика, приближающаяся к ритмике народных сказов. Незаметно я подпадал под влияние этой ритмики, зачаровывался ею, был переполнен гулами летописных строк даже тогда, когда хотел изложить свои собственные ощущения и мысли на бумаге. Впрочем, я не вижу в том особого греха: припасть к летописному истоку, зачерпнуть из него хотя бы горсть живительной влаги,— это, по-моему, счастье!

По мере того как оживали эти древние письмена, по мере того как я погружался в раздумья о мужестве безвестных воинов, о неправых властителях, междоусобицах, о бесчисленных жертвах, которые несли русские земли, когда русичи «воевати почаша сами на ся», меня не покидало чувство, которое довелось испытать раньше, читая берестяные грамоты: это ко мне, именно ко мне доходят сквозь века голоса далеких предков, доходят, доносятся в поучение и назидание, ибо,— что там ни говори,—

Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

Ну, а как же с поисками первоисточника «Летописи Великоустюжской»?

Не найдя следов Ляпуна в летописях, я решил обратиться к трудам отечественных историографов. И радость! В пятом томе «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина мне сразу же попалось знакомое имя. В дальнейшем тот же текст я нашел в «Повествовании о России» Н. С. Арцыбашева, а затем — в «Истории России с древнейших времен» крупнейшего историографа прошлого века С. М. Соловьева, который назвал сказ о Ляпуне прелюбопытным и в комментариях сделал сноску на Архангелогородскую летопись.

Я бросился к ящикам генерального каталога Библиотеки имени В. И. Ленина... Увы! Там был «Архангелородский драгунский полк», снова «полк» — далее «Архангельск».

Оказалось, «Архангелогородский летописец» в современной археологографии значится под названием «Устюжского летописного свода», или «Устюжского летописца»; оказалось, что этот летописец почти полтораста лет не переиздавался и переиздан был только в 1950 году под редакцией К. Н. Сербиной и с ее предисловием. Наконец, оказалось, что самый первый список свода в конце XVIII века и использовал Н. М. Карамзин. А решающее мнение о несомненной исторической ценности «Устюжского летописца» принадлежало академику А. А. Шахматову. На основе тщательного изучения этого выдающегося письменного памятника Северной Руси он безоговорочно признал: «Устюжские известия восходят к XIII веку».

Таким образом, легенда о Ляпуне подтверждалась документально, а драматические события, разыгравшиеся в Заволочье и Двинской земле летом 1396 года, были описаны или коренным устюжанином, или ростовским летописцем, при всем том несомненным современником событий.

...Наконец-то я обрел документальную основу и понял, что должен рассказать историю Ляпуна так, как эта история представилась мне в книгохранилищах Устюга, Вологды и Москвы.

1

Как бы ни сроднился человек с отчим краем, как бы он ни привык к нему, переход от топкого, душно звенящего комарами чернолесья к вольному простору, к распашному ветру, к чистой воде всегда неожидан и нов. Ты продираешься в ельнике почти на ощупь, выставив вперед руки, как слепец, ты проваливаешься в ржавую, пузырчатую жижу, ты изнемогаешь от духоты, от усталости, от мысли, что потерялся в лесной чащобе, и вдруг — всегда внезапно — перед тобой начинает светиться вода. Ты вырываешься из душного лесного плена и вступаешь на берег: по синему простору ходят «беляки», дует в лицо свежий ветер, с пронзительным криком вьют-

ся чайки. И столь же внезапно охватывает тебя сладкое чувство свободы, внутреннего раскрепощения от темных сил и тревожных предчувствий — ими щедро одарила тебя лесная топь, они ожили в тебе вновь, ожили, вопреки твоей воле и твоему сознанию. Но ты вышел к устью безымянной реки, которая долго петляла по этим глухим суземам и все-таки пробилась к большой воде, как говорят на Севере о полноводных реках и озерах. И вот здесь-то, на берегу, ты начинаешь понимать далекого предка, чья капля крови течет в твоих жилах: он так же шел через эти древние топи, выходил к устьям рек, и его бородатое усталое лицо овевал низовой ветер, звала за собой речная волна, манила вольным простором, навевала новые думы и новые желанья. В тебе, измученном чернолесьем, отзвуками жила его жажда простора и воли, его страсть к новым землям и еще большей воде, чем та, что открылась твоему взору.

Брать Устюг-городок внезапным налетом, изгоном — так порешили новгородские воеводы. В тихое летнее утро одна за другой выбегали лодьи на простор реки. Ватажники гребли враз, сильно откидываясь назад, без всплеска опуская весла в паровитую воду. Сидели они на скамьях по двое, но гребли так, словно это был один человек. А за гребцами ряд в ряд торчали копья-рогатины, холодно отсвечивали железом шеломы-шишаки.

Корму каждой соймы держал старшой. И не было, я думаю, хитрее кормщика Ивашки Ляпунова во всем стане. Он лежал на корме, откинувшись на локти, прижимая к себе кормило, а левой рукой выверял ход лодьи. Река Сухона в этих местах многоводна, многоструйна, небезопасна для плаванья. Чуть ниже сливается она с рекою Югом и далее уже течет малой Двиной. Две реки сдвинулись, стало быть, в третью и потекли в океан-море, в самую Соловецкую пучину. Да и Устюг-посад зовут Устюгом потому, что стоит он прямь устья Юга, на левом сухонском берегу. Когда устюжане при виде силы новгородской затворились за тыном, сели в осаду, не могли они уразуметь, что нет у них стен-ряжей, забитых камнями, нет стражи надежной. Выглядел Ляпун мужиков-сермяжников, нацепивших на себя воинскую справу. Высмотрел все их удальство-молодечество. Вот

и кривит он губы в злой усмешке, поглядывает на ватажников зорко, ведет сойму прямо к причальному берегу.

Врезáлись лодьи в берег, замирали враз, а следом за ними шла волна, поднятая гребцами. И волнами кинулись новгородцы на приступ городка. Тащили на плечах осадные лестницы, ставили их стоймя, карабкались вверх. И первым среди осаждающих был Иван Ляпунов. Он соскочил на заборало возле Пречистинских ворот, метнул сулицу, как в то время называли короткое копье, в стражника, не мешкая, стал спускаться по узкой лесенке внутрь ограды. Ляпун не оглядывался — он знал: ватага следует за старшим. На бревенчатом настиле остановился и, боясь заплутать среди хоромин, глянул вверх — там за тесовыми кровлями, за замшелыми скатами виднелись главы Успенского собора. Были крыты главы осиновым лемехом: серебристые, чешуйчатые, они, казалось, плыли в светлом небе. Отчаянный трезвон колоколов, удары клинков, крики, вопли пораженных насмерть людей — ничто не трогало их покоя. Ивашка кинулся к собору. Он грузно бежал по настилу, осторожно поглядывая по сторонам. Из-за угла какой-то избы выскочил устюжанин и бросился наутек. В два прыжка догнал его Ляпун. Устюжанин оглянулся: железная мисюрка с бармицей сползла ему на глаза. Лицо, обросшее русым пушком, было бледно и потно. Ляпун подкинул боевой топор-чекан, который держал в левой руке, ловко перехватил его правой и, вытянувшись всем туловом, ударил клевцом-чеканом по бармице. Страшный удар пришелся по виску. Устюжанин заплелся, пятная кровью подол холщовой рубахи, повалился на мостовую. Ляпун перепрыгнул через падающее тело.

И все-таки он опоздал, да, все-таки он опоздал. Ворота в собор были уже сорваны. Они лежали поперек тропы, ведущей к приделу. Ляпун подскочил к стене, притаился, глянул вовнутрь. В соборе слышались чьи-то голоса. Ивашка узнал их: то были голоса Прокши-водолея и Репёхи — ушкуйников с его лодьи. Ляпун вошел в собор. В соборе сквозь волны дыма он увидел, как те вязали в узлы церковную утварь. На селонь — поповское облачение — со звоном падали сосуды серебряные, дискосы, кресты наперсные, цепи золотые. Сверху броса-

ли иконки, украшенные окладами, унизанные жемчугами.

Взвалив на спину узел, Репёха бросился на волю, к причальному берегу. Надо было спешить — собор все более наполнялся дымом, все вокруг плыло в синем угаре. Лучи солнца, упавшие наискось из оконного проема, пробили эти синие волны — и тут-то Ляпун с Прокшей-водолеем увидали главную устюженскую святыню — образ Параскевы Пятницы. Не в пример другим был образ велик — один аршин с четвертью,— и стоял он особливо по левую сторону от царских ворот. Из-под убрусов, холщовых полотенец, которыми прихожане убирают чудотворные иконы, в солнечном луче засияла риза чеканной работы. Прокша раскидал убрусы — перед ватажниками загорелись венцы, украшенные жемчугами, дорогими бурмитскими зернами. Кроваво-красное пламя рубина обожгло Ивашке глаза.

— Ай да полон!— только и молвил Прокша.

Был он ростом невелик, но схватил тяжелую доску обеими руками, словно столешницу, поднял высоко над головой и рысью кинулся вон. Ляпунов, задыхаясь от дыма, слыша нарастающий гул пожара, метнулся следом.

Заградные решетки Пречистинских ворот были взломаны. Порубленная стража лежала вповалку: новгородцы успели снять с убитых доспехи, с иных — стащить сапоги. Сиро торчали желтые ступни ног. Чернели залитые кровью лица. Мимо по одному, по два пробегали ушкуйники, сгибаясь под тяжестью нош. Они тащили вороха рухляди: шубы собольи, беличьи, кожуха, опашни, сорочки, убрусы, сурожские шелка и немецкие сукна. Иные катили бочки с вином, иные волокли пленных на арканах, толкали их, запутанных веревьем, в спину. Добежав до берега, сваливали рухлядь в лодки, отчаливали, роняли добро в воду, гребли вразнобой. Но вот засверкали на солнце дружно вскинутые весла, зарябил ветер речную даль, поползли вверх отпоры — паруса надулись, и лодки-лодьи, подхваченные ветром, стремительно побежали вниз по течению.

Причальный берег опустел на глазах.

Ляпун покрикивал на гребцов, которые тщетно пытались сдвинуть с мелководья тяжелую лодку: она была перегружена награбленным добром. Не выдержав, схва-

тил длинный шест, воткнул его в дно, навалился всем телом, но шест, как сухая тростина, переломился, и Ивашка грузно повалился на корму.

Тогда он спрыгнул в воду, уперся плечом в корму.

— Взяли!

Лицо его побагровело от натуги. Черный туман залил глаза. Под ногами запузырилось илистое дно.

— Взяли! — рявкнул старшой. И внезапно, словно оторвавшись от корня, перегруженная сойма заскользила по воде, увлекая за собой Ивашку, которого подхватили и втащили в сойму Прокша с Репёхой.

Сразу же Ляпун схватился за кормовое весло. Репёха потянул за тоньки — отпор пополз вверх. Холстина хлопнула, развернулась. Наклонившись на правый борт, лодка пошла пенить ослепительно сиявшую гладь Сухоны-реки.

Последнее, что увидали уплывавшие новгородцы, был великий столб дыма: это рухнула кровля Успенского собора.

Забубенное веселье родилось вместе с попутным ветром, который гнал вперед лодью, оставляя за кормой вспененный след. Прокша-водолей скоморошничал, нацепив на кольчугу бабью паневу. Братило бил в бубен. Репёха корчил рожи. Один старшой лениво держал корму, положив грязные, мокрые поршни на солнцегрев, на пеструю кучу рухляди, взятую в устюжском посаде. А когда устали глумиться его лихие содруги, запел он хрипло и страшно такую песню:

Уж ты молодость наша, молодецкая,
Уж ты долюшка наша, безотецкая!
Не упомнила ты, молодость, когда прошла.
Не в гульбах прошла да не в прохладах:
Во путях прошла да во дорогах,
Во слезах прошла да во горючих...

И замолкли разом ушкуйники — ощутили они в песне Ляпуна затаенную тревогу за свою судьбу. А ведь знали: не верил Ивашка ни в сон, ни в чох, ни в змеиный шип, а верил он в одно — в Перунов оберег, который всегда был при нем. Под броней дощатой, под кафтаном стеганым, под рубахой нательной носил Ивашка громо-

вую стрелу, окованную серебром на серебряной же — кольцом — цепке. Та громовая Перунова стрела и была его единым достоянием.

Случилось это в предавнюю пору, когда снег лежал до яковлева дня, а на осень побило хлеб, и зимой был голод великий. Люди ели лист, кору березовую, мох, солому, конину. Падали мертвыми от голода. Трупы валялись на улицах, на подворьях, на торгу, на великом мосту через Волхов. Печаль, беда на всех! А весной едва сошел снег и растолкало льды на Ильмене, вынесло за Рюриково городище лодку-долбенку. Случаем нашли ее ильменские рыбаки. И был в той лодке-долбенке младенец. Разглядел его старый Кулотка, принял на руки — понял ильменский ведун, чей это знак, чье предзнаменование. Вот и рос при нем глуздырь, иначе сказать, птенец несмышленый. А старый Кулотка промышлял не столько рыбой, сколько целебными травами и диким медом. Баяли рыбаки промежду собой, будто и в волховании он горазд,— так ли, нет ли, никто въявь молвить не смел. Один малый Ляпун ведал: был Кулотка потай, потайно он поклонялся идолам древним, изваянным, издолбленным, вырезом вырезанным.

2

Весь день сияло в небе солнце. Весь день плескалась под днищем лодки вода. Дед Кулотка в белой холщовой рубахе ниже колен, в поршнях — кожаной обутели — правил веслом. Седая борода его развевалась на ветерке. Солнце вначале стояло над его головой, потом сползло куда-то вбок, потом стало припекать Ивашке плечи и затылок. И когда малому птенцу стало невмочь, лодка проскребла днищем по песку и остановилась. Стих шум озерной воды. Зеленая трава-мурава бросилась путникам под ноги. Развесистые старые ивы редко разошлись по луговине. А за ивами, за луговиной, на угорье высокопревысоко росла сосновая роща. Вороний грай доносился оттуда: воронье металось между сосен, падало на вершины и вновь взмывало, кружась над рощей черной метелью.

Кулотка споро зашагал к соснам по едва приметной тропинке — за ним вприпрыжку бежал маленький Иванко. Когда они вступили в заросли калины — гроздья але-

ли, как капли крови,— ведун пошел тише. Он не то чтобы сгорбился, но вроде бы стал меньше, как-то сжался, ушел в себя. Ляпун тоже притих, с испугом глядя на заплечный короб Кулотки.

Через несколько шагов кусты калины кончились: там и тут на шестах зажелтели конские черепа, забелели медвежьи и волчьи челюсти. По кустам была развешана ветошь: рубахи, убрусы, мотки пряжи, цветные лоскутки. И стих вороний грай. И пропало солнце. Только синий дым, клубясь, медленно восходил к небесам. Деревянные боги стояли, покосившись, в глухом и тайном безмолвии. А поодаль, посреди круга, отмеченного дымными огнями, высился бог-громовик Перун. Лик его был узок. Крохотные глазки буравили Ивашку, который не смел стронуться с места, оставшись возле кустов калины.

Кулотка домовито достал из заплечного короба деревянные чашки, налил в них прозрачный мед, насыпал пригоршнями жита и медленно, согнувшись едва не до земли, тронулся к священным огням Перуна...

Назад они возвращались на закате. Потемнело вечернее небо. Забелели барашками волны. Кулотка, поглядывая вверх, отчаянно выгребал к берегу, который был невдалеке. Тяжелый громовой раскат расколол небесную твердь. Перун-громовик взмахнул боевым топором, и небо осыпали искры. Громовик возжигал в облаках огонь, он даровал смертным быстролетные, падающие с небесных высей молнии. И молнии били в пучину озерную, били в твердь земную, чтобы, закаменев, стать стрелами Перуна-громовика.

И то, что при вспышках небесной сечи не закричал от страха маленький Ивашка, что счастливо вынесло их лодью на отмель, поразило в ту ночь старого Кулотку. Тогда-то он и одарил приемыша серебряным оберегом — Перуновой громовой стрелой.

Осенью по людскому навету свели старика на Ярославово дворище и сожгли его там как языческого волхва.

...Гонит сойму ветер-свежак, поскрипывает мачтой, посвистывает в тоньках веревье, коим корабельщики владе-

ют парусом носовым и средним. Падает с размаху нос лодьи, рубит волны, как топором-чеканом, но из-за кормы, вдоль просмоленных бортов, набегают новые валы, подымают лодью выше и выше, и снова она рубит волну по белому гребню. Держит корму Ивашка Ляпунов, смотрит на бегущие вперед волны. И бегут его думы, догоняя друг друга, долгой-долгой чередой. Резкие крики чаек-вьюш, хлесткие удары волн о борта не могут ни прервать, ни остановить их бега.

В молодости пристал Ивашка к вольным скоморошьим стаям, водил медведя-умника с ряженой козой, веселил честной народ. И среди тех смехотворцев-глумотворцев вызнал он немало людей, все богачество которых — гудок, да рожок, да кленовые гуслица. И бывалоча, пели ему содруги-сотоварищи: «Из-за кустика да девка. Из-за частого да бела. Эх, прялица-кокорица, эх, девица-краса!» И ярился сверх всякой меры Ляпун, поскольку не ведал он ласки женской, как в малолетстве не ведал он материнской любви.

...Подались они как-то из Булгар в Астрахань. Астраханский князек Сальчей заманил их в острог, воровски заманил, обманом, опоил каким-то зельем, порубил всех до единого. И его, Ивашки, пробил бы смертный час, если бы не Перунов оберег. Спал он в сойме. Но грянул гром, и разразилась буря страшенная: сорвало сойму с причала, вынесло в камышовое гирло. Нашли Ивашку рыбаки, продали персиянам, плывшим в Москву. Бежал Ляпун по дороге. Наг, ниц и сир вернулся он в Новгород. Но повлекла его пуще прежнего вольная воля, и по весне ушел он с охочей ратью добывать славу Великому Новгороду, себе — новый полон и кормление.

И каждый раз, возвращаясь к зиме на берега Волхова, примечал Ляпун, как богатеет его господин: то церковь новая выстроена, то гостиный ряд поставлен, то высоченные — в тридцать венцов — хоромы воздвигнуты. Волхов у моста забит лодьями, шнеками, карбусами; с торговой стороны на Софийскую можно по тем кораблям пройти, как посуху. И речь на тех кораблях слышалась нездешняя: немецкая, фряжская, персидская. И все трудами

Ивашки со товарищи, все их доблестью ратной, кровью обильной...

Но под Нарвой, когда врубились новгородцы в железный строй немецких латников, довелось ему вызнать бессильную ярость. Если бы не заветный топор-чекан да не серебряный оберег, не выйти бы ему живым из сечи. Грудь в грудь бились они. Броня в броню. Ивашка чуял на лице прерывистое дыхание немецкого воина, видел его зрачки, потемневшие от бешенства и гнева. Без устали перекидывал Ляпун боевой топор-чекан из правой руки в левую, потому что с рожденья мог кидать биту той и другой рукою, но все не мог свалить с ног железного кнехта.

А когда затрубили рога с той, с немецкой, стороны и отбежали латники к шатру магистра, увидал Ивашка, сколь жестока была сеча: не бурелом прошелся по лесу — острые мечи повалили воинов гряда за грядой. Попадали друг на друга пешие и конники, залили кровью землю, и нельзя было познать, где порубленный новгородец, где заколотый немецкий копейщик...

Снял боевую рукавицу Ивашка с левой руки, вытер испарину со лба и долго и пристально смотрел на шатер, на стоявшие перед шатром магистра полки немецкого железного воинства.

3

...Соймы ватажников-новгородцев затолкались в устье лесной речки, и веслами нельзя было плыть к Орлецу. Воеводы охочей рати порешили: будет сил да терпенья — переждем непогоду. И тогда за откосом, в затишье, новгородцы раскинули свой стан. Порывы ветра, налетавшие с Двины, пластали огонь по земле, метали искры, мчали клочья дыма вдоль берега, где у костров, у иных лодок, вытащенных на отмель, стояли гребцы. Другие ушли в лес поискать удачи, сбить стрелой-томарой тетерку, пособирать ягоды-голубицы.

Ивашка Ляпунов с Прокшей-водолеем остались в сойме. Они играли в кости. Прокше везло — после каждого броска руки его приметно дрожали: не одна чаша золоченая, не один дискос серебряный перекочевал в его короб. И все же Прокша первым заметил боярина Юрия Дмитриевича — тот шел по приплеску, минуя костры, минуя ватажников, прямо к их лодье. Прокша ударил челом, но

боярин только повел бровью: Прокша неохотно вылез из лодки.

— Ай, не за полоном ли боярин?— спросил Ляпун, кивнув в сторону Параскевы Пятницы. Унизанная жемчугами и дорогими каменьями икона высилась среди рухляди: была она прислонена к борту и хорошо видна посадскому. Но Юрий Дмитриевич все-таки подошел поближе,— вельми чуден был образ.

— Нет, Ляпун, твой полон, ты им и владей,— проговорил наконец боярин.

— Почто, господине, такая немилость?

Юрий Дмитриевич нахмурился. Он стоял, опираясь на золотое навершие меча, поигрывая пальцами по рукояти.

— Велику силу имеющему и ум велик подобает иметь,— обронил посадский.

— Богатого всяк мнит мудрым,— откликнулся Ляпунов.— Это ли не богачество?— и с вызовом повел рукой над лодкой, заваленной узлами с рухлядью.

— Не то молвил, Ляпун. Твое богатство — до первого кружала.— Пальцы посадского, украшенные перстнями, нетерпеливо выстукивали по рукояти.

— В том деле охочие люди вольны,— не скрывая усмешки, сказал ватажник.

— Ай-яй-яй,— Юрий Дмитриевич покачал головой.— Окаянные речи твои я слышать не слышал. Наши вольности зиждутся на повеленьях Софии...— Юрий Дмитриевич бегло перекрестился.

— Наши вольности и права — на крови, боярин,— разъярился Ляпун. Лицо его стало темным, напряженной — пригнутая выя.

Посадский замолчал, испытующе глядя в глаза Ивашке. А помедлив, с угрозой изрек:

— Мутен ум твой, Ляпун, злоязычен язык твой... Да не лаяться шел я к тебе, а с миром, по делу.

Стало ведомо им, новгородским боярам, пояснил Юрий Дмитриевич, будто где-то в верховьях речки скрывается заволоцкая чудь белоглазая. И надобно выведать, где она обитает и где таится. А выведать повелевают ему, Ляпунову с ватагой, чтоб обсказал он потом все как есть.

— Добро, господине,— охолонув от злобы, ответил Ляпун. И еще повторил:— Добро!

Юрий Дмитриевич повернул от соймы. При порывах

ветра, налетавших с Двины, казался он еще меньше, ибо клонил голову, придерживая шапку, убранную дорогим мехом, запахивая полы кафтана, которые раздувал ветер. Но как ни старался боярин сберечь степенность, встречный ветер клонил его ниже: он спотыкался, брел по приплеску едва-едва.

«Лучше ногами спотыкнуться, нежели языком,— припомнил Ивашка, глядя ему вслед.— Уж ты-то языком не спотыкнешься. Нет, воевода, не спотыкнешься».

...В ту ночь ватага Ляпунова ушла к верховьям речки поискать народец, затаившийся в дебрях.

Плыли они и день, и второй, и третий... Речка петляла, бросалась из стороны в сторону, глухо рокотала на перекатах, заманивала в синюю глушь. Дика, своенравна была река. То вздымала до поднебесья береговые откосы, то терялась, пропадала среди болотной осоки. Под обрывами она чернела, словно деготь. Но зачерпни в ладонь воды, и прозрачная влага скатится с ладони: ней до дна — ни соринки не найдешь в чистой струе.

День за днем шли новгородцы по той реке, где парусом, где веслами, где шестами. И чем дальше, тем каменистее были перекаты, грознее рев воды, глуше лесные дебри. Ночевали ватажники в сойме. Огня не жгли. Стражу держали надежную. Но однажды в полночь проснулись от страшного шума: вода под берегом клокотала, взлетала вверх, обдавала ватажников тучами брызг. Красная луна стыла над обрывом, который трещал валежником, осыпался комьями глины... Вот с той-то самой поры и прозвали гору Бросачихой: бросала чудь заволоцкая камни и бревна на пришлецов, замыслила погубить их в омуте, черном, как ночной мрак. А многим позднее возникла там деревенька, которая прозвалась, как и гора, Бросачихой.

Огородились новгородцы щитами. Подняли пики-рогатины. Глаз не сомкнули до рассвета. А едва посветлело небо, двинулись снова в путь: крепок наказ воеводы, но покрепче того наказа рука у старшого.

В одном месте стиснули речку берега, сжали ее крутыми откосами. Белая пена медленно крутилась у камней-валунов, поднявших — сколько хватает глаз — мокрые хребтины. Ляпун с Прокшей-водолеем соскочили на камни: надобно было осмотреть, велик ли перекат. Хватаясь

за низкорослые сосенки, нащупывая поршнями опоры, они стали подыматься вверх, к ельнику, стеной стоявшему над обрывом. Одолев подъем, они пошли вдоль обрыва, поглядывая вниз: река шумела глухо и ровно, как рощенье в непогоду. Берег заметно снижался. Ватажники шли след в след, ступая по мягкому мху, прислушиваясь к писку лесных птах, к ворчанью переката.

Внезапно Ляпун замедлил шаг, отвел от глаз еловую лапу, замер. Перед ним была солнечная поляна. Сплошным покровом белели ромашки. Гудели шмели. На поваленной ветром березе посреди поляны сидела девка-чудинка. Была она вся в белом одеянии. И такие же белые, почти пепельные волосы ее схватывала красная повязка с височными кольцами. В мочках ушей позванивали подвески с колокольцами. На груди — ряд за рядом — лежали янтарные ожерелья. Девка манила к себе дитя. Растопырив ручонки, смешно топоча, иное ляпаясь на траву, глуздырь шел к матери.

— Ма-а-а, Райда,— повторял он.

Лесная девка вскочила, подхватила дитя, подкинула его, прижала к груди, закружилась и, счастливо и тихо смеясь, села на поваленную березу и, лаская, снова стала манить к себе сына: она учила его ходить. Качнувшись, тот схватился за головку ромашки, сорвал ее, стиснул в кулачке, потом разжал кулачишко и протянул матери:

— Ма-а... Райда,— лепетал он.

Они гнали ее, как гонят ловцы олениху. Гнали по частоте леса, по дебрию, по березовому рощенью, по топкой болотине. Гнали, уязвленные жаждой полона и яростью.

Утекала Райда от ватажников, изнемогая от страшной ловитвы, утекала, не давалась им в руки, как не дается ловцам олениха, пока не запутывается сама в охотничьи сети.

В неком месте вскричала Райда — полетел тот человеческий вопль отчаянья и ужаса вдаль, двоясь, троясь в лесной гущине. Через какое-то время ватажники поняли, кому дала знак лесная девка,— они выбежали к жердевой ограде. По всему — за жердями было чудское селище. Они перемахнули через ограду. И вот здесь-то... Как зеницы не выпали у них из глаз, как сердце не оторвалось от корня своего?..

В облаках пыли перед ними оседала земля. Она шеве-

лилась, как живая, она вздымалась буграми, свивалась воронками. Тяжелые камни проваливались вниз, и оттуда — из глубины шевелящейся, живой земли — доносились предсмертные хрипы и стоны: чудь уходила в землю!..

Очнулся Ляпун, когда Прокша-водолей выволок к жердевой ограде Райду. Поймал-таки ватажник лесную девку. Белые одеяния ее были изодраны в клочья, красная повязка сорвана с головы, и волосы, рассыпавшись, захлестнули спину и грудь. Девка царапала мох, хваталась за коренья, билась в судорожном плаче, но Прокша ловко накинул на горло сыромятную удавку — Райда задохнулась, побледнела, сникла, теряя последние силы. До хруста завернув ей за спину руки, Прокша той же удавкой стал вязать полонянку.

— Оставь!— хрипло выдохнул Ляпунов. — Оставь девку!— Сгорбившись, почернев от гнева, он двигался к водолею, который, бегло глянув на него, продолжал вязать узлы.

— Девка нынь без роду, без племени... Душу сиротскую — не шалыгу[1] пленишь!— Ивашка зашелся от ярости. Видя такое, Прокша медленно встал с колен и, не спуская глаз с топора-чекана, блеснувшего в руке старшого, попятился к лесу.

— И сам горазд путы-то вязать. Сам лют до плена,— шипел, отступая шаг за шагом, Прокша.

Но Ивашка не слышал его. Наклонившись над Райдой, он полоснул лезвием топора по сыромятным ремням. Затем, не оглядываясь, пошел от чудского селища прочь. Он шел к береговому обрыву, к своей лодье, шел, всей спиной ожидая: вот-вот вонзится ему между лопаток острая сулица Прокши-водолея.

Впереди на перекатах шумела река.

4

На златоверхом тереме великого князя московского сияло солнце. Меж прочих хоромин, крытых тесом, соломой, замшелой дранью, кровли великокняжеского терема слепили глаза — лишь золоченые кресты Архангельского и Успенского собора да церкви Иоанна Лествичника,

[1] Шалыга — сухое дерево.

что высилась на самой вершине Кремлевского холма, могли соперничать с ними.

На Большой кремлевской улице, стиснутой хоромами, крыльцами, переходами, амбарами, толпился народ: в людском потоке тарахтели подводы, осторожно пробирались всадники, над головами плыли короба со снедью.

Возле Боровицких ворот, ведущих в Занеглименье, возле Фроловских, Никольских, Константино-Еленинских ворот, ведущих в Великий посад, толчея была еще пуще — кто шел в Кремль, кто проталкивался в Посад на Варварку, кто к торговым рядам, к купеческим лабазам. Крики зазывал, пенье нищих, детский плач — слитный, разноголосый гул толпы прорывался в хоромы: по случаю жары слюдяные оконцы были открыты.

И только набережные сени великокняжеского терема не затрагивала уличная суета. Набережные сени спускались к Москве-реке крытыми лестницами с рундуками, с решетчатыми слюдяными оконцами. Сквозь оконца виднелись торговые причалы, паруса и мачты кораблей, наплавной мост в Заречье, Васильевский луг.

Великий князь Василий Дмитриевич похаживал по сеням. Заложив руки за спину, потирая перстень на безымянном пальце правой руки, он подходил к оконцу и подолгу, углубившись в себя, смотрел на Москву-реку. Был он коренаст, широк в кости, белес.

Если бы не златотканое платье, походил бы великий князь на гостинорядца: не было в нем ни отцовской стати, ни дородности, ни густой черноты волоса отца, великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Но ступал князь Василий по половицам вкрадчиво, поворачивался на острых каблуках легко...

Ждал князь Василий митрополита Киприана и, пока ждал, обдумывал, что молвит при встрече со святителем.

Решили новгородцы, что он, князь Василий, примыслил себе земли Заволоцкие и Двинские. А надо бы им знать, что еще прадедом его Иваном Калитой был предназначен ему сей путь.

Прадед Калита получил великокняжеский стол за многие злато и серебро, не чинился, ездил на поклон к хану ордынскому, тряс мошной, одаривал агарян дорогими дарами. И прикупил, между прочих дел, Галич да Белозерск, открыл угодья необозримые: меду, воску, соли, рухляди мягкой, серебра закамского там не пе-

ресчитать. Вот кто первым примыслил княжеству московскому все Заволочье! Вот кто первым навострил глаз на заволоцкую чудь, на незнаемых народцев, что живут за Камнем в Стране Мраков! Все он — Иван Данилович Калита! И примысел сей передал он молодым князьям московским. Дмитрий Иванович Донской в свой черед благословил на старший путь его, князя Василия, наказав другим братьям: «Чтите и слушайте своего брата старшóго, князя Василия, вместо меня».

А когда повел отец с братом, князем Владимиром Андреевичем, русское воинство против Мамая, кто помог ему разбить татарские полчища? Русь Северная — князья белозерские, ярославские, ростовские, бояре галичские, костромские, серпуховские, муромские, звенигородские... Князь белозерский Федор и сын его Иван пали в той великой сече. Ратники галичские полегли там костьми.

Вот и помнит князь Василий крепче крепкого наказ отца своего Дмитрия Ивановича Донского: жити всем за один! Вот и примыслил он к Москве волости Муромские и Торусские. Вот и повелел меньшому брату своему Юрию воевать все Заволочье.

...Однако нет и нет владыки Киприана. Живет он в селе Голенищеве меж Воробьевыми горами, любит уединение, премудрость книжную: искателен, хитер да малоречив сербиянин.

Князь Василий подошел к окну. По наплавному мосту проходила, сверкая сбруей и злачеными доспехами, княжеская дружина. Сзади тянули невиданное доселе огнестрельное оружие — тюфяк. На грубо сколоченных колесах помещалось тулово пушки, окованное обручами. Народ расступился перед ратью, загляделся на огнедышащее чудище, перед которым не устоит ни каменная стена крепостная, ни кольчуга железная.

Из внутренних покоев терема наконец-то вышел митрополит Киприан. Вслед за ним служки внесли кресло. С медлительной важностью владыка присел на седалище, обратил горбоносое худое лицо к великому князю. Его борода стекала на фелонь белыми волнами, брови были густы и черны. Под бровями светились черносмородинные глазки, являвшие ум и быстроту соображения.

— Отче!— обратился к нему князь Василий.— Не добро творит владыка Иоанн с новгородцами: посылает их за Волок. А те дани емлют и людей отчины моей пужают, сольщают к себе, понуждают к верности Софии новгородской.— Князь говорил ровно, однако по тому, как потирал он перстень, было видно, какого труда стоит ему эта ровность голоса.— Вы, святой отец, поставлены миру и любви учить, мне же, князю московскому, имение собирать и возноситься!..

Что мог ответить ему Киприан? Что вздумали новгородцы — посадники, и тысяцкие, и лепшие люди, и черный люд — не ходить в Москву, на суд к митрополиту, а судиться у своих владык? Ни много, ни мало — две недели уговаривал их Киприан разорвать те грамоты, снять с себя крестное целование. Да что ответили ему вечники: «Целовали мы крест заодно, грамоты пописали и попечатали и души свои заодно запечатали». Уехал Киприан ни с чем. Да в другой раз прибыл он в Новгород вместе с послом патриаршим и снова запросил суда, а новгородцы ему суда не дали. Во всем том гораздо сведущ князь Василий, а гнет свое: надо, вишь, ему прибрать к рукам Заволочье и Двинскую землю, лишить новгородских купцов пушных промыслов, мехов чудских, драгоценных: те меха по городам и весям заморским, по дворам королевским превыше всего ценятся. Могли ли новгородцы, гости торговые, люди хваткие, смириться с утратой Заволочья? Никак не могли! Митрополит вздохнул: от века в сей обширной земле господарят смуты, и по любому навету брат восстает на брата, а сын на отца.

Князь Василий чутьем уловил размышления Киприана.

— Ведомо ли тебе, отец святой,— спросил он, остановившись прямь митрополита,— как ответили новгородцы мне, князю своему, когда я потребовал через посла разорвать мир с немцами? Неведомо, говоришь? Так слушай: «Князь Василий,— ответили мне крамольники.— С тобой у нас мир, с Витовтом — другой, с немцами — третий!» Однако есть у меня известие: склоняет их Витовт поддаться ему, встать под его руку. И быть тогда разору русской земле, гибели княжеству московскому.

Киприан смотрел из-под нависших бровей на князя Василия, который вновь забегал по сеням, смотрел чер-

носмородинными старыми очами и понимал: есть правда в словах князя, да не вся.

Называют ныне новгородцы литовского князя Семена Лугвеня Ольгердовича мужем-опекальником и себя и Господина Великого Новгорода. Да ведь сие не более как противовес на безмене: Москва-то — она все одно перетянет. Рано иль поздно, а перетянет!

Только сейчас разомкнул уста митрополит Киприан:

— Поелико владыка Иоанн благословил охочие рати на разбой в Заволочье, ему и ответ держать перед святой церковью и перед тобой, великим князем московским. И держать ответ он должен честно и грозно.

Вскоре был отправлен в Новгород посол митрополита, стольник Яков Юрьевич Новосилец, чтобы разведать там все добре и без промедления звать в Москву владыку новгородского Иоанна о святительских делах.

5

Веет ветер, задувает с полудня, качает лодью на двинской волне, подбрасывает: плывет к Орлецу Ивашка Ляпунов со товарищи. Облака да синь — над ними, леса дремучие — по берегам, а впереди — даль и даль неоглядная, солнечным светом напоенная. Буй-ветерок треплет волосы. Синева обволакивает сладкой дремой, укачивает. И думается ватажникам каждому свое: иному о жнивье, иному о матери, иному о женке, о детях малых, оставленных дома, на Волхове. Но поют они песню совсем о другом, поют, чтобы разогнать тоску-кручину, заглушить лихую печаль.

По морю кораблик
Бежал-таки, бежал.
По кораблю детинушка
Гулял-таки, гулял.
Он в гусельки во звончаты
Играл-таки, играл.
И в море лебедь белую,
Ах, лебедь увидал...

Тут встал на корме старшой, заслонил глаза ладонью, вгляделся в речной поворот: там, за лесом, чернело облако дыма... Кучно клубясь, оно растекалось по небосводу, застилало августовскую синь. И чем быстрее бежала лодья, тем больше тускнело солнце. На него смотрели ватажники не щурясь, как не щурясь они смотрели на воду, потерявшую блеск и голубизну.

...Орлец горел. День и ночь, снося заборалы, сметая заборальников, били по городу по́роки — старинные камнеметные орудия. Издали они походили на качели: те же сосновые кряжи с перекладиной. Только выметывали орудия не веселье, не смех, а смерть и горе с отчаяньем. По́рочных дел мастера оттягивали длинную слегу, взваливали в ременный карман ядро или горшки с греческим огнем — и пускали сей заряд на город. Заряд летел, рассекая воздух, сметая все на своем пути. Сыпалось каменье, как дождь, на крепостные стены и внутрь града, где множество людей мертвых валялось на пепелищах, на улицах, у дымных развалин, у дощатых оград.

Со всеми градоемными хитростями вел осаду воевода Тимофей Юрьевич.

За обрытьем, которым огородили новгородцы свой стан, за деревянными щитами, за турами — плетеными корзинами с песком и камнями,— там, где высились пороки, где без устали трудились камнеметные мастера, толпились копейщики, прятались лучники, высматривая цель, осыпая стрелами двинян: все ждали приступа — осады. А по Двине-реке, против стен и башен Орлеца, выстроил воевода Тимофей Юрьевич лодейный караван: лодьи стояли борт о борт, впритык друг к другу. И на носу каждой — тяжелые самострелы и камнеметные пращи. День и ночь засылали они на город бронебойные стрелы, закидывали большое и малое каменье. В кольцо зажал Тимофей Юрьевич град, взбунтовавшийся против Господина Великого Новгорода. Был Орлец новгородским поселением, да поважнее того — был ключом к Беломорью, ключом к самояди, к торговле пушным товаром, рыбьим зубом, иначе — драгоценной моржовою костью.

«Давить переметчиков-двинян,— сказал на совете охочей рати воевода Тимофей Юрьевич и стиснул тяжелый кулак.— Чтобы кровь и сукровица из них потекла! Чтобы псам на съеденье достались их трупы!»

И сыпалось на город большое и малое каменье. Свистели несметные тучи стрел, пускаемых из-за укрытья. Но четвертую неделю стойко держали оборону двиняне: уповали на чудо, на подмогу великого князя Василия. Да напрасно они уповали — по всей Двинской земле, по всему Заволочью не было рати, кроме охочей рати новгородской.

Шумели под ветром боры, рокотали на перекатах

быстрые реки, шурша, осыпалась переспевшая рожь... Но нигде не слышался цокот московской дружины, не грохотали колеса огнедышащих пушек, не звенели доспехами вои московского князя.

Только, щемя сердце, курлыкали по утрам косяки журавлей да гоготали гуси-гуменники: ведали вольные стаи, собираясь в отлет,— в северных странах близок листобой, близки наледи и метели.

6

Рев боевой трубы огласил побережье. Протяжно и гулко повис он в знобком туманце. На тот внезапный глас навострили слух и новгородские ратники и двиняне. Лишь порочных дел мастера в усталом безразличии присаживались к смертоносным билам, утирали лбы да потные лица подолами нестрядинных рубах. Боевая труба проревела и смолкла. И сразу мохноногие кони, на которых восседали бирючи посадника Тимофея Юрьевича, проскакали за обрытье. Всадники приблизились к рубленым стенам Орлеца, стали кричать осажденным. Один из них размахивал над головой пергаменным свитком — то была милостивая грамота двинянам. Бирючи то подъезжали к стенам, то возвращались назад, крича вперебивку, заламывая свои колпаки. На заборалах, заваленных бревнами, истыканных стрелами, мелькнули первые шишаки и шеломы: двиняне слушали бирючей. Не дождавшись ответа, всадники круто повернули коней и россыпью помчались к становищу новгородцев.

Лодья Ивашки Ляпунова стояла близь берега, заросшего сонной ольхой. Обтекая лодью, пришептывала вода, слабо подрагивали снасти. Сорока, сорвавшись с ольхи, стрекоча, пролетела над нею. «К новостям»,— подумал Ивашка, как и все, не спускавший глаз с двинской крепостицы. Ожиданье обострило зренье, слух, истомило тревогой. Ивашка нетерпеливо сдвинул на затылок войлочный колпак. И тут-то ощутил позади себя ненавидящий взгляд. Он оглянулся. Из рухляди, сваленной возле кормы, блестела окладом плененная им Параскева. Прислонившийся было к иконе Прокша-водолей отпрянул, свесился за корму и начал грабастать горстями воду. Он пил кряхтя, шумно вздыхая. Ляпун досадливо отвернулся от Прокши.

Чуял Ивашка: что-то свершится. И свершилось оно.

Не гром прокатился по Двине и Придвинью — вскричали ватажники славу своим воеводам. А из Воздвиженской башни повалил валом черный народ. Спешили старухи, путаясь в долгополых одежах; брели, понурив головы, изможденные старики; женки с плачем толкали перед собой ребятишек; молодухи, кричаньем молясь, рвали волосы, голосили.

В том человечьем потоке более всего мелькала рвань домотканых рубах, пестрели заплаты азямов, торчали худые треухи, белели паневы. Последними вышли из башни торговые гости в суконных кафтанах, служилые люди. Новгородцы с посвистом, с бранью, с криком оттеснили двинян за обрытье. Там, в многоголовой толпе, рыскали, словно серые волки, бирючи, выискивали зачинщиков смуты.

Первым меч с перевязью сорвали они с воеводы Ивана Никитина. Переметчик-двинянин не шелохнулся, не дрогнул, лишь нахмурил чело в ссадинах, в кровоподтеках. За спиной Ивана тяжко дышал его брат Анфал Никитин, детина рослый, вельми красивый. Он исподлобья смотрел на охочую рать. Едино днище, иначе — на расстоянье единого дня пути, сбежит от новгородцев Анфал, непременно сбежит и еще немало беды учинит.

Возопил некий двинянин, когда навалилась на него стража: «Не дейте мене, братия милая, не дейте!» Он боролся крепко, крича, захлипая, пока не ткнулся ничком, подплыв кровавою лужей. От того сыроезанья трепет охватил двинян. Даже московский наместник Федор Ростовский, из отдаленья взиравший на смерть человека, размашисто перекрестился. Вооруженная челядь окружала своево господина — с той челядью и отбудет наместник Федор Ростовский в Москву, лишенный, однако, конной справы, почестей и богатой казны.

А ватажники ловили в Орлеце остатных людишек, добывали по избам, по амбарам, по лавкам купцов полон и кормленье. Пойманных гнали к лодейному каравану — там был воздвигнут помост. Среди служилого люда грозно высился боярин Тимофей Юрьевич и другие начальники новгородского войска. Туда же взобрались и бирючи. Один из них выступил, развернул пергаменный свиток со свинцовой печатью, зычным голосом возвестил: «Посадники новгородские Тимофей Юрьевич, и Юрий Дмитриевич, и сторожевой голова Васи-

лий Борисович челобитье у вас, двиняне, принимают, а нелюбье вам отдают...»

Дрогнули ряды побежденных — иные повалились на колени, крестясь, рыдая, иные, кто ранен, остались стоять, подпирая плечом друг друга. Читавший грамоту оглядел побережье, продолжил: «А Ивана Никитина и братьев его Анфала да Герасима да Родивона, кто водил двинскую землю на зло, в железо ковать...»

Кинулись в гущу людей копейщики, потащили изродцев тут же ковать в железные узы.

«...А вам, двиняне, за ваши преступления и вашу вину перед Господином нашим Великим Новгородом платить плен в две тыщи рублей да еще коней три тыщи...»

На пожаре шаяли головешки. Дым пластался по переулкам в безветрии. Птицы висели роями на тополях. А где-то за башнями крепостицы, за лесным морем-океяном шаял такой же тихий закат. Багряные отблески падали на облака, неподвижно стоявшие над головой, на тополя с красными гроздьями птиц.

Ивашка Ляпун проходил по Орлецу последним дозором. Смотрел на пожарище, смотрел на небо, горевшее алым светом. И словно облачная багряница, вставшая от окоема гряда за грядой, подымалась в глубинах души его скрытая прежде тревога. В долгих скитаньях, в трудах, в ратном или хмельном забытьи не знал Ивашка этой напасти, не испытывал скрытого беспокойства, в котором все чудился ему привкус вины. Может, то не вина, может, то состраданье, что впервые явилось ему в виде девы лесной — Райды? Может, прельстила ее красота, ее материнство?.. Только все помутилось в Ивашке, все в нем смешалось, словно вошел он в заказанный лес и там убоялся неведомой прежде кары.

Ляпун ускорил шаги. Впереди, у ограды, что-то белело. Заспешила ватага вслед за старшим. Райда?! Волосы расплескались, рассыпались светлой волной по лицу, по руке, откинутой напрочь. Убиенная, словно споткнулась, упала неловко, хотела бы встать, да не смогла и застыла в смертной истоме.

Постоял Ивашкин дозор возле ограды и тронулся дальше в тревожном безлюдье...

Разворачивались лодьи — от плеса до плеса — по вздыбленной ветром Двине, ныряли, как утицы в волны, чертили мачтами небо, хлопали парусиной. Припадали к правому борту копейщики и гребцы, левый — пенил студеные хляби. Разворачивались лодьи, утекали на полдень, и вперегонки с караваном бежали на полдень низкие тучи. Далеко до верховьев Двины, а за верховьями быть еще малой Двине, быть озерам, рекам, волокам, болотам. Когда-то заплещется в днище старый Онего, да выбежит Волхов, да встанут у Ильменя главы Софии.

А горы твои, Заволочье,— лесисты, дожди — многодневны, трущобы — дики.

Птица устанет махать крылами, зверь, ослабнув, приляжет в суземе, гроза и та истощит свою ярость, но реки твои, Заволочье, будут катить и катить седую волну к Соловецкой пучине.

Качать бы рекам твоим рыбачьи челны, поить лошадей, плескаться у сходней, на коих молодки бьют валками холсты.

Но городки твои пусты. Пашни заброшены. Народ крестьянский иное в бегах, иное в смятенье. Куда ни посмотришь, чернеют одни развалы печей: ветры развеяли пепел, ливни смыли золу. Запустенье, разор на все Заволочье!

Кому сосчитать напасти, протори и убытки? Кому обживать эти волости и уделы? Спрос великий с кого?..

Ныряли, как серые ути, лодьи новгородцев в высоких волнах. Уплывали дальше и дальше на полдень. Терялись в забрызганной солнцем дали.

Кутались новгородцы кто в ветошь какую, кто в шубник, кто в купецкий кафтан — по лодье ходит-гуляет лихой сиверок, знобит новгородцев. Бякнет о днище волна, и брызги, как из пращи, взлетают выше голов. Жмутся ватажники в заветрии друг к дружке, речь-беседу негромко ведут.

При тихой погоде вровень с верхушкой мачты плывет и плывет по берегу ельник-березник да чистый сосняк. А ныне ельник то упадет, то взлетит в поднебесье; чем ближе к береговому обрыву, тем хлеще бросает сойму

на вспененных гривах: «Смотришь, старшой, али нет?»

А обрывы поди как круты. Тут, по Сухоне, красноглинны они. А по Двине — меловые, словно оледенелые в стужу. В полнолунье, как вызвездит полог небесный, мнится: плывешь достославной Страною Мраков. И там побывали стары мужи-новгородцы. Ходили за самоядь, в Югорское царство, понагляделись всего немало. Вечным снегом покрыта Страна Мраков. Льды в ней вельми велики. А из туч на землю падают звери пушные: белки, песцы, соболя, малые оленицы...

Глядит Ляпунов на откосы, погружается в думы, словно в запечатленный источник, хранимый от всех.

Что и сказать, до поднебесья здесь горы. Высоки несказанно. Круты. И всюду закаменевшую твердь изъели вешние воды, источили овраги. Даже при солнечном свете держится в тех оврагах беспросветная тьма. Глухо гудит в них сосняк. Тайно скачут олени.

Да и вся-то река — словно Перуново мольбище деда Кулотки; но здесь огромных, краснорожих богов изваяли дожди и ветра. Наплывают они на сойму то справа, то слева. Пляшут под рев непогоды. Ведут нескончаемый, до помраченья ума, хоровод.

Вон страшилище некое — некий лесной истукан все ближе и ближе. Может, во всем Заволочье главный Перун-громовик. Лик его узок. Чело избороздили морщины. Скошенный глаз вонзился в Ивашку. Ино лодью швыряет волна, ино качается старый Перун. Вот-вот упадет. Рухнет в бездну — взлетят выше туч каменья и брызги. До Соловецкой пучины добежит волна.

Хочет судьбу свою испытать удалой новгородец: так ли страшен заволоцкий Перун? Довернул он кормило — полетела лодья под самый обрыв. И там, где вспенены яростно воды, где визжат оглашенно стрижи, где над парусом повисла утроба Перуна, там проходит Ивашкина сойма.

— Осатанел ты, Ляпун? — сквозь вой непогоды кричит ему Прокша. Как печеное яблоко, серым от страха стало лицо водолея. — Смерти, что ль, захотел, заклятый вражина?..

Хохочет Ляпун. Бесовской его хохот отдается в расщелинах красной горы.

Смотрят вверх новгородцы: пляшет пляской последней страшилище, брюхом грузно трясет, осыпает каменьем. И молитву уста их шепчут невнятно.

...Ход ровнее у соймы. Лесной крутояр далеко. Держит кормчий корму, строго глядит на ватагу.

Диковинны красные боги в земле Заволоцкой!.. Страшен Перунов обрыв. По сравнению с ним человече — песчина одна. Но люди богов изваяли себе пострашнее речных великанов.

Диковинны красные боги в земле Заволоцкой! Да не страшны они, а добры к малой песчине. В земном естестве все добро друг к другу — сладок мед диких пчел, доброплодна рябина, солнце, грея речные откосы, ласкает волну. Лучше каменной осыпью быть, спелой рябиной, волною, чем дрожащею тварью: вечность здесь и покой, там — обитель раздора и зла.

Ход ровнее у соймы. Спит на сланях ватага. Только кормщик, насупившись, глядит в завечеревшую хмарь.

8

Дождь сечет реку, пузырится в заводях, где кружатся осиновые листы и древесная прель. Шум дождя поглощается грохотом переката. Нескончаемый дождь, нескончаемый сухонский перекат. Сухону-то, видать, потому и назвали Сухоной, что за каждым извивом корабельщиков ожидает великая сушь — то песчаная мель, то каменье, то лесные завалы. Одним словом, сухая река. А на ватажниках да на пленных двинянах нету нитки сухой. Стоят они в ледяной воде — какие тужатся в лямках, какие борта кораблей облепили, как мошкара. Тяжелы лодьи, когда их посуху тащат, когда скребут они днищем каменье и встречные струи сбивают корабельщиков с ног. До ломоты в костях, до судорог в горле холодна вода. А люди, ватажники и двиняне, каждый день тащат лодьи, засевшие средь валунов. Все едины теперь, все у коварной реки в плену, всех простор и сиянье небес бирюзовых неотступно влечет.

Кричать не могут, дабы подбодрить криком себя, а лучше — протяжным пеньем; только хрипят. Поминают старых и новых богов. Из сил выбиваются люди. Их одёжа давно превратилась в сырое отрепье. Волдыри от лямок на спинах. Страшные язвы на босых ногах. Лихоманка многих трясет: кому лихоманка губы обмечет, кому в поясницу ударит, а кого жарой распалит. У Ляпуна пол-лодки влежку лежит. У других — того боле.

А отстать в том гибельном месте — значит принять добровольную смерть. По обрывам таится заволоцкая чудь. Русские мужики из сожженных посадов суть свирепы и злы: на рогатину могут поднять ведьмедя, не то что ушкуйника или ослабевшего воя.

Но досадней всего для Ивашки другое. Не лютый змей ползет от ватаги к ватаге, ползет шепоток: дескать, Ивашка Ляпун отпустил лесную девку по имени Райда. *И теперь чудские волхвы назвали на войско болесть* — лихоманку. За чужие грехи несподручно платить новгородцам: куда ни пойдет Ивашка — встречает косые взгляды. Добро бы от недругов, а то и от другов своих.

Знать, оскорбившись за Райду, Прокша греет повсюду тот шепоток. Ведь он увертлив, как гад, что таится от ястреба под трухлявым пнем. И вот подишь ж ты, верят ватажники злыдню и его, Ляпуна, беспричинно клянут. Иное известно Ивашке: пришла к новгородцам Невея — старшая всем знобухам сестра. Сестер у Невеи ни много ни мало — двенадцать, а от тех сестриц-трясовиц с охочею ратью и приключилось все зло.

Хватаясь за мокрый вереск, соскальзывая с обнаженных корней, лез и лез Ляпунов на речной крутояр. Иное он замирал, смотрел в верха: там, на обрыве, росла старая и кривая береза. К той березе-то и подбирался Ляпун, ее-то и заприметил, когда задумал Кулоткиным волхованьем извести болесть-ломею.

Едва не ползком одолел он последнюю гриву. Встал над обрывом. Прислушался. Лес был безлюден и тих. Одни дождевые капли стучали по листьям. Так в новгородских каморах стучат златокузнечных дел мастера; рубят они золотые оклады, и сыплется стружка под ноги к ним. И здесь, на обрыве, побросал золотистую опаль в траву златокузнец-листобой. А внизу по всему перекату, в белопенных волнах, как будто застывших, лежали лодки-лодьи, какие — на левом, какие — на правом боку.

Вразнобой торчали мачты со скатанными парусами. С полунощного берега подступал к перекату неведомый лес.

Ляпун наломал березовый веник — от мокрых веток пахнуло банной истомой. Жадно раздул ноздри Ивашка, вздохнул томительно-сладостный дух. Потом подхватил заветный топор-чекан, всадил его в тело березы. Тем то-

пором и рубил он березовый веник, рубил-рубил, приговаривал: «С ветру пришла, да на ветер ты и поди!»

Заклинал на речном крутояре ватажник Невею и ее двенадцать сестриц-трясовиц. Откуда какая пришла, туда их и гнал: синюю — в реку-студеницу, красную да бурую — в жар колючий, в котел кипучий, зеленую да желтую — в темные леса, в густые вереса, на осенние болота.

Седатый мужик, матерой материк, был он в тот час обличием страшен — по длинным власам, по густой бороде стекали капли дождя. Сухо блестели глаза: по всему, вселялась в него самого листопадная хворь-лихоманка.

— Поди ты, Невея, в темные леса, в густые вереса, на гнилые болота!

Ивашка очнулся: глубокое небо покачивалось над ним. Крупная зыбь пошлепывала о днище. Поскрипывал средник. От туго натянутого паруса падала на старшого легкая тень. Прямь Ивашки держал корму сменщик его — Репёха. Густобровое, прокаленное стужей и ветром лицо Репёхи было спокойно. Заприметив, что старшой очнулся, сменщик легонько кивнул головой и снова уставился в незримую для Ляпуна гряду облаков.

Ивашка скосил глаза и понял: он лежит за мачтой на сланях, укрытый шубником и кожухами.

Ивашка устал. Изнутри его разжигало адское пламя. Губы спеклись. Дыхание было редким и трудным.

А когда Ляпунов разомкнул тяжелые, словно свинцом налитые, веки — белоснежно громоздились над ним небесные горы: их же верха не мог Ивашка дозреть, оли взора не мог оторвать от дивного дива. Горы рушились в полном молчанье, обдавая Ивашку прохладой,— он вдыхал эту свежесть, упивался падением снежных вершин.

Вот они обернулись лодьей — лодья паруса раздувает, плывет безбрежною синью. Вот они заимели невиданный образ — светозарно сияя, тот образ спускался все ниже и ниже: одеянья по небу развеяв, златые власы распустив, шла к Ивашке прекрасная дева. «Яко снег лицо у нее, а уста яко маковый цвет,— подумал ватажник.— Яко чаши, вельми велики ее очи». В них престрашно смотреть Ляпуну.

— Райда!— хочет он крикнуть, но голос пропал.

Машет Райда красным платком, полыхает платок,

кровью людской обагренный, тьмой застилает Ивашке глаза.

Боевым топором замахнулся Ляпун на платок. Но Райда коснулась тем платком топора-чекана — и с перешибленным топорищем он выпал из рук новгородца.

Золотой, отягченный монетами пояс снимает Ляпун, подает его Райде. Та взмахнула платком — и алой кровью намок пояс-кошель.

— Я не Райда! — гремит, отдаваясь в небесных чертогах, голос облачной девы.— Я — Берегиня!

Одеянья упали. Грудь обнажилась: из могучих сосцов брызжет теплое млеко. Пересохшими в жажде губами ловит брызги Ивашка, и редеет в глазах его эта кровавая мгла.

...Вечерело. За ельник садилось багровое солнце. На приколе близ вербы стояла недвижно лодья. Из-за вербы тянуло горьковатым дымком от костра, наваристой свежей ухой. И тот дымок, дух ушицы, треск поленьев, ватажников смех — все вливало в Ивашку благодатные силы. Репёха, присев к изголовью, поил занемогшего друга горячим брусничным отваром. Были мокры от пота поседевшие крупно виски Ляпуна. И вспомнил он враз скоморошью запевку: «Из-за кустика да девка. Из-за частого да бела...» И понял, что не забыть ему этой негаданной встречи с Райдой, как не забыть ему плачущей плачем земли в той заволоцкой чащобе.

9

Владычный наместник Яков Юрьевич Новосилец подгонял жеребца, ёкавшего селезенкой. Сзади, гремя броней, неотступно скакала стража. Едва проехали мимо лепного храма Спаса, что стоит на Волотове с посадом,— и вот он сам, Господин Новеград и святая София. По Торговой стороне пробирались с немалой досадой. Узкие улицы запружены народом — ни пешим пройти, ни с конем проскакать. Как котел на огне, кипит торговище. Сурожане торгуют шелковой тканью — ткани цветасты, как луга по весне. Немцы — те продают ганзейские сукна: для однорядок купецких сукна куда как добры. Ряды не осмотришь, купцов не упомнишь. Ряд калашный — висят кренделя. Ряд рыбный — в лубяных коробах на

полпуда сиги. Бронный ряд — топоры, мечи, шеломы, дощатые брони, кольчуги и прочая ратная справа. В толпе не поймешь, кто глазеет, кто мошною трясет, кто татьбой промышляет себе пропитанье: всякий дело знает свое.

Переступают, храпят усталые кони. Новосилец в сердцах клянет новгородцев, жеребцом теснит ротозеев, ременной плетью грозит.

Вроде стало полегче: слева храм Параскевы, покровительницы торговли на всей Руси, Ярославов двор, гридница с колоколом-вечевиком. Для бояр, золотых поясов, нету лепшего места: здесь, на вече, их власть, здесь им судьбы решать новгородских земель и пятин. Деревянные мостовые чисты, обиходны. Новгородки неспешно идут вдоль бревенчатых частоколов; за частоколами — избы, подворья, хоромы старшин купецких, бояр. Терема — высоки, окошки — малы, незаметны, ну, а крыльца — куда ни посмотришь, в пребогатой резьбе. Ударяют копытами кони в дощатый настил великого моста. Волхов солнцем слепит.

На Софийской — башни кремля. Кострами зовут новгородцы дозорные башни, и воистину башни взметнулись к небу, словно костры. Но превыше тех башен — свинцовые главы святой Софии. Повелением архиепископа Иоанна были заново крыты свинцом соборные главы. И сияет теперь София над кровлями и кострами — чуден храм новгородский и чудно убранство его.

Встретил владыка московского гостя с великой честью. Вышел из покоев далече, проводил во владычную комнату, там усадил на кресло с бархатным седалищем и изголовьем. Беседовал долго, любезно. Сетовал Иоанн на оскуденье новгородской земли, на печаль и тугу сограждан. Шайки ватажников, лиходеев, холопов смуту творят в новгородской земле и в самом Новеграде, лутчим людям грозят разорением, злобствуют на бояр, на боярских детей. Пусть уходят они по весне в Заволочье, на Каму, на Вятку и во славу святой Софии принимают смерть от стрелы басурманской, от отточенных копий иных агарян. Знает, дескать, он, Новосилец, посол владыки московского Киприана, как при пожаре летят головни через Волхов. Загорится Торговая сторона, быть беде на Софийской; на Славне огонь полыхает, ушаты с водою готовит Людин конец. До Москвы белокаменной верст поменьше от Новегорода, чем от Вологды

али от Вятки. А в Москве-то, дескать, своих лиходеев вдоволь, ей, Москве-то, в соседях голодников не занимать?

Ай, не так-то прост новгородский владыка. Вроде бы препростое обличье имея, он лукавым умом обладал, был в ученье горазд. Из безвестных игуменов Спасо-Хутынского монастыря достиг высокого сана: других преизрядней оказался в мирских, каждодневных трудах.

Дал понять Новосилец, что в речах Иоанна немалая истина есть. Да прогрешений его перед князем московским той немалой истиной-правдой не искупить. Иоанн отпустил новгородцев на разбой, благословил всенародно охочую рать. Он ответствовать должен перед Москвою, а не хитрые сети плести за спиною московских князей.

Посол Новосилец в раздумье покручивал бровь, облокотившись правой рукой на колено. Давно понял он: надо звать немедля в Москву для святительских дел Иоанна! Ах, нелепый, горький удел разумного мужа: видеть, как в усобицах исстрадалась земля, и не знать, чем помочь. Но покуда ему, Новосильцу, достанет ума и сноровки, он препятствовать будет злодейству, он заслужит в потомках благодарную память. Русским быть заодно — благо в этом Руси и, стало быть, благо его, Новосильца!

10

На вольный простор, на стрежень быстрого Волхова вылетали лодьи заволоцкого каравана. Тесно им было в протоке, именуемой Жилотугом: здесь исстари тужили жилы новгородцы и иноземные гости, ведя бечевой корабли. Жилотуг оброс ветлами — желтая опаль плавала в тихой воде.

Шли новгородцы прямь солнца, было оно неярким, тихо-медвяным. И так же медвяно, как в сеновале, попахивало сенцом с прибрежных лугов. Нет, не сенцом, а землей новгородской, ни с чем не сравнимой, пахло в том Жилотуге — и веселило сердца. Расширялось устье протоки, ветер с Ильменя развернул паруса. По Волхову, встречь каравану, бежали лодьи, дощаники, карбуса. Корабельщики, встав на корме, кричали ватажникам, махали руками. Белые стены Юрьева монастыря, а далее — сосновая роща Перыня, а далее — слюдяная озерная гладь — все осталось теперь позади. Солнце било

косыми лучами в туго звеневшие паруса. Чудилось буйным сынам новгородским: не соймы бегут по реке, а сам Господин Великий Новгород приближается к ним, растет на глазах, выходит навстречу охочей рати. Высокие стены и башни кремля — Глухая, Дворцовая, Спасская, Пречистинская надвратная башня — становились все выше и выше. Справа бежал Славенский конец: рыбачьи лачуги, огороды, Варяжская божница, амбары ганзейских купцов. Слева — Людин конец. А впереди на ряжах вздыбился великий мост через Волхов. И не было места на нем от народного множества. Прямь Пречистинской башни — съезд на мост. Там встречать лодейную стаю вышел весь священный собор. Облачившись в священные ризы, со всем своим клиросом стоял впереди Иоанн, новгородский владыка, а за ним — черноризцы, посадники, уличанские старосты, лепшие люди. Звонили в колокола. У западных врат Николо-Дворищенского собора бухал сам вечевик — главный колокол, ведомый в отдаленнейших странах.

Но иные лодьи отставали от стаи, брали правее, к торговым причалам: там, на дощатых мостках, толпилось немало простого люду. Матери стары утирали слезы, женки, встречая мужей, по обычаю их лобызали в уста, малые дети, отроки, отроковицы бросались в объятья усталых, но безмерно счастливых воев.

Лодья Ляпунова пристала к краю причала. И как ни бранился, ни лютовал водолей, Ивашка оставил его за старшого: в лодье короба для храненья кольчуг, ратная справа, полон заволоцкий — надобно все уберечь от татьбы.

Однако едва Ивашка с Репёхой и прочей ватагой исчезли в водовороте людском, Прокша тут же утек через мост. Он пробился к самому клиросу, застыл в ожиданье: от берега шли к Пречистинской башне воеводы охочей рати, бирючи, изветники и старшие. Шли они в дощатых бронях, в тяжелых кольчугах, шли, победно сверкая очами. Воевода Тимофей Юрьевич, надменный, грузный, как старый бугай, выступал всех поперед. За ним поспешал, спотыкаясь. Юрий Дмитриевич — как всегда, смиренный и постный обличьем.

А у самой реки из лодок ватажники выносили хворых собратьев. Выводили они на берег и закованных в узы

двинских полонян. Печальные, с побледневшими лицами, с почерневшими телесами стояли пленники невеликой толпой. Устюжские женки, словно инокини, закутались в черные покрывала. Отроковицы меж ними застыли в горючих слезах.

Помрачнел Иоанн, владыка и пастырь лихих новгородцев. Препростое обличье его стало скорбно, а желтые глазки — угрюмы и злы. Как ни дивно было народу, самим воеводам, глазевшему с умиленьем на чин торжественной встречи Прокше, однако владыка нелюбезно благословил охочую рать. Надменный обличьем, прошел он мимо начальников рати на берег и там с любовью и тщаньем осенил крестом полонян.

— Где лодья злохулителя Ляпуна?— внезапно изрек, обратясь к воеводам, архиепископ.

Посадник Тимофей Юрьевич в рассужденье ума был мало доволен, иначе сказать, недогадлив. Он смотрел на другов своих, смятенный умом. Те молчали в ответ.

Тут-то выскочил Прокша, кинулся в ноги к святителю Иоанну, доложил все, что ведал, чему он послухом был.

А позднее во владычных покоях, призвав воевод и посадских, архиепископ отец Иоанн, распалившись, кидал и кидал им худые слова:

— Почто навели вы праведный гнев и отмщенье на весь Новеград, на себя и на нас? Почто устюжан, изможденных гладом и стужей, в лодьях сюда привезли?.. Почто разорили городишко Орлец?.. О, безумия и скверного дерзновения вашего край!

Зашелся во гневе почтенный старец. И, видя такое, Юрий Дмитриевич, хитрый, как лис, перед синклитом ответствовал речь, не споткнувшись на слове ни разу:

— Согрешили, владыко, согрешили мы. Истинно это! Да по неведенью, по слепоумию нашему грех. Ныне смиренно припадаем к стопам твоим, отче, молим оставить нам согрешения наши, позволить вину искупить.

Отец Иоанн сразу сник, умиленный в душе покаянною речью преславного воеводы. Да повелел он, однако же, всем крест целовать и дать обет нерушимый: новый, еще лучший собор поставить во Устьюзеграде.

Порешили бояре: «Быть по сему!» — и были отпущены с миром.

Только Юрий Дмитриевич как бы подзадержался в покоях. Памятуя о некоем наказе, что дал он Ивашке, посадский обеспокоен был гневом владыки.

— Сей Ивашка Ляпун,— шептал, задыхаясь, посадский,— злохулитель — да что там! — потай. Осквернил он себя тайным грехом с лесной ведуньею, с Райдой. И вопил, обеспамятовав, нечто такое, что и вымолвить страшно: мол, права и вольности наши — все на крови!..

11

А наутрие в старом кружале, что приткнулось к церкви Федора Стратилата, гудели назойливо мухи. Было душно и пахло недобре. Там, в кружале, на малой вечерне, ох, и лихо благовестили ушкуйники вместе с Ивашкой в малые чары, в полведришка пивишка звонили, пропивали под гусли заволоцкий полон: «По морю кораблик бежал-таки, бежал. По кораблю детинушка гулял-таки, гулял...»

Спал Ивашка на лавке, под хмельную, кудлатую голову сунув армяк. Голова к голове спал на той же лавке Репёха, верный его побрательник. Он похрапывал, улыбался во сне, бормотал.

С треском вышибив дверь, вломилась в корчму владычная стража: был для этих ловцов в той заводи тихой презнатный улов. Стол со снедью, с братинами, с глиняными горшками отлетел в дальний угол — по коморе рассыпались черепки.

Навалились владычники на Ляпуна, подхватили под белые руки — тот с похмелья очнуться не мог, а очнувшись, рванулся, раскидал поначалу челядь, да челядь сильнее: рубаха Ивашки в цветном узорочье с плеч сползла, окрасилась кровью. Сам Ивашка, словно блаженный, мотал головою, глухо мычал. Из корчмы потащили его на волю. Там, держа обапол, с двух сторон, разгоняя народ непотребною бранью, повели Ляпунова к великому мосту.

Возле храма святой Параскевы ватажник люто рванулся — он увидел бояр, золотых поясов, стоявших кружком в отдаленье: Тимофей Юрьевич, среди прочих высокий, грузный, телом обильный, рядом с ним низкорослый и обличием постный Юрий Дмитриевич да Василий Синец, сторожевой голова.

Воеводы охочей рати мельком глянули на Ляпуна, отвернулись: занимала их больше беседа о пользе душевной, о тщетности славы земной.

А изветники и владычные вои заломили до хруста ру-

ки смутьяну, связали холщовым убрусом и, голову долу клоня, поволокли к великому мосту. Позади ключом кипела толпа.

Волхов, высветленный, словно топор-чекан, сиял за колоколом-вечевиком. Крестьянские дроги тарахтели по мосту навстречу Иоанновой страже. Сзади, как прежде, теснили ратных людей уличане.

— Псы! Отриньте! — хрипел, выпрямляясь, Ляпун. Он рвался, тянулся всем туловом и, глядя поверх железных шеломов, глядя туда, в многолюдье сограждан, кричал: — Людие! Слушайте, людие! Неправду чинят!..

Но владычные вои осадили смутьяна, волоком потащили мимо крестьянских коней. Жилы, как веревье, проступили на шее Ивашки, губы, разбитые в кровь, запеклись, в глазах метались черные стаи.

В той круговерти людской чьи-то жадные пальцы схватились за цепку, рванули Перунов оберег — Ляпунов задохнулся, обмяк. А когда пришел в себя, серебряный оберег был уже сорван.

Затуманенными болью и гневом очами смотрел Ивашка на Волхов: вдали мелькали вольные паруса, да были те паруса прямь солнца черны. Он глубоко вдохнул ильменский ветер-свежак, и прознобила его предсмертная нелюдская тоска. А лодки скользили по светлой воде, оставляя искрившийся, долго не меркнувший след. Завлекали они в блаженные страны, где живут человеки в согласье, где не слышно кровавых раздоров и войн...

Вдоль настила, у самого среза, лежали тяжелые плахи — плотники перебирали настил да ушли, не окончив работы. Загустела, как туча, толпа на великом мосту, и сосновая плаха сорвалась, полетела в мутные воды. Люди ахнули: не ушкуйника ль сбросила стража? И тогда-то охочий копейщик, прорвавшийся к воям, подхватил тяжелую доску и ударил Ивашку по седатым кудрям. Повалился Ивашка вслед за плахой и, как олово, канул в стремнинах речных. Уличане смотрели в тревожные бездны: в том месте, куда без всплеска упало тело Ивашки, плясали отблески солнца, иначе сказать, блистаницы.

Они вязались в огненные письмена.

ПИТОМЕЦ МУЗ

1

После окончания пансиона Триполи шестнадцатилетний Константин Батюшков стал жить в семье Михаила Никитича Муравьева, дальнего родственника по отцу. Отец поэта, Николай Львович, крайне редко покидал родовое имение в Даниловском, бывал в Петербурге наездами и поэтому просил бывшего однополчанина и друга способствовать устройству судьбы сына Константина. И тот охотно откликнулся на эту просьбу. В семье Муравьевых молодой Батюшков был окружен вниманием, заботой и неустанными попечениями как Михаила Никитича, так и его жены Екатерины Федоровны. Писатель-историограф Михаил Муравьев дал направление умственному развитию своего племянника, поощрял его литературные наклонности, привил вкус к древнегреческим и древнеримским поэтам. Сам он любил «читать древних авторов в подлиннике, и особенно греческих историков, ему от детства любезных»,— как несколько лет спустя вспоминал о нем поэт. Именно в этом гостеприимном доме Батюшков увлекся переводами Горация и Тибулла, оставшихся его любимыми авторами до конца жизни. Тогда же он стал пробовать силы в поэзии, имел возможность, как и в другом родственном доме — доме Олениных,— познакомиться со многими петербургскими литераторами. В скором времени Михаил Никитич определил Батюшкова в канцелярию по Московскому университету, где его сослуживцами оказались молодые поэты Николай Пнин, Николай Радищев, Дмитрий Языков, а с 1803 года и Николай Гнедич. Служба письмоводителем менее всего увлекала Батюшкова: она не приносила ему удовлетворения, ибо все его помыслы были сосредоточены на служении музам, на занятиях поэзией. За канцелярским столом вместо деловых бумаг и прошений он

нередко писал стихотворные послания друзьям или переводил с латыни, чем вызывал негодование начальства. И только высокое покровительство Михаила Никитича Муравьева спасало молодого поэта от серьезных неприятностей по службе.

И вот новость. 17 сентября 1806 года из Парижа выступила лейб-гвардия и артиллерия. Каждому всаднику было дано по четыре подковы и по одной ивняком обвитой фляге: значило это, что переход будет больщим и утомительным. И пока газеты гадали, какие планы вынашивал в двухнедельном затворничестве великий консул Бонапарте, на правом берегу Рейна не осталось ни одной не реквизированной французами обывательской подводы.

По многочисленным немецким землям, маркграфствам, курфюрствам и герцогствам растекались корпуса наполеоновской армии. Не успели отцокать копыта конницы Мюрата по сельским дорогам Саксонии и королевской Пруссии, стихнуть скрипы армейских обозов, смолкнуть песни пьяных драгун по придорожным гастхаузам, а местные крестьяне, редко стоявшие по обочинам у своих заваленных снопами подвод, стереть с лица каменное, тягостное раздумье, как уже запестрели на дубовых дверях костелов короткие приказы консульских властей:

«Всем судебным местам в городах и селениях сим объявляется, чтобы рассеявшиеся солдаты прусской и саксонской армии были задержаны и доставлены в Гильдесгейм, Гамельн или Ганновер, смотря по тому, которые из сих мест будут ближе.

Ганновер, октября 20 дня, 1806 года».

Разгром Пруссии был полным и бесповоротным. Поражение армии Гогенлоэ под Иеной, гибель юного герцога Брауншвейгского, спешившего на соединение с Гогенлоэ и разгромленного в двух десятках верст от Иены, бегство тысяч солдат, бросивших артиллерию, обозы, провиантские запасы, сдача могучих крепостей после одного-двух выстрелов из вестовой мортиры — все внесло немалое смятение в умы особ, посвященных в тайны кабинетов и политических салонов.

...Война неудержимо приближалась к границам России. И хотя многим был памятен аустерлицкий лед, раскрошенный французскими ядрами, политый кровью русских солдат, стало очевидно, что Россия превратилась в единственного действователя на этой войне.

Грозные события последних недель привели в немалое возбуждение дворянских юношей в обеих столицах. Волновали они и завсегдатаев портерных, кухмистерских, ресторацій, где в табачном дыму до хрипоты спорили таможенные чиновники, немецкие мастера часовых и ювелирных дел и прочий, охочий до политики люд.

Не так много дней прошло с разгрома Гогенлоэ под Иеной, как новое известие взбудоражило Северную Пальмиру — Наполеон в сопровождении маршалов, конных гренадер и гвардейских егерей торжественно въехал в Берлин. Думалось, и в Петербурге вот-вот услышится гром пушек Наполеона.

В ночь на 30 ноября 1806 года Александр I подписал манифест: «...Очевидная опасность, если, от чего боже сохрани! ворвется неприятель где-либо в пределы империи, принуждают нас прибегнуть к сильнейшим способам для отвращения оной, составив повсеместно временные ополчения или милицию».

Это была неслыханная мера!..

Известие о создании губернского земского войска или милиции быстро распространилось по стране. Вскоре были опубликованы новые указы и новые положения, в которых предлагалось губернским обществам, именитым гражданам и купцам вооружить шестьсот тысяч ополченцев, одеть их в кафтаны, но бород и усов не брить.

В те напряженные дни Константин Батюшков определяется в канцелярию генерала Татищева, который был назначен начальником милиционного войска. Не канцелярские обязанности прельщали его,— радовала возможность отправиться в поход в Восточную Пруссию вместе с русскими войсками. Такая возможность в самом ближайшем времени представилась... В феврале 1807 года имя Константина Батюшкова было конфирмовано Александром I. Он назначался сотенным начальником Петербургского милиционного батальона и должен был в спешном порядке сопровождать ратников к месту боевых действий.

17 февраля 1807 года, Даниловское
Николаю Львовичу Батюшкову

«Любезный папенька! Я получил последнее письмо Ваше, которым Вы уведомляете меня, что нездоровы. Ах, столь сия весть для меня ужасна тем более, что я должен буду теперь Вас еще огорчить». Батюшков отложил перо, взял щипцы, снял нагар со свечи, подумал и мелким, торопливым почерком продолжил: «Припадаю к ногам твоим, дражайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело частное без твоего позволения... Но что томить Вас! Лучше объявить все. Я должен оставить Петербург, не сказавшись Вам, и отправиться со стрелками, чтобы проводить их до армии. Надеюсь, что Ваше снисхождение столь велико, любовь Ваша столь горяча, что Вы не найдете ничего предосудительного в сим предприятии... Я сам на сие вызвался и надеюсь, что государь вознаградит (если сделаюсь того достоин) печаль и горесть Вашу возлиянием к Вам щедрот своих... Надеюсь, что и без меня Михаил Никитич сделает все возможное, чтобы возвратить Вам спокойствие и утешить последние дни жизни Вашей.

Пишите ко мне, родитель мой, и дайте мне свое благословение, *без которого я жить не могу.*

Послушный сын Ваш *Константин Батюшков*».

К концу апреля русская армия под командованием генерала Беннигсена собралась возле Гейльсберга, немецкого городка, расположенного в двадцати милях к югу от Кенигсберга и Фриш-Гафского залива.

Чертой боевых действий армии стала речка Алле, протекавшая возле Гейльсберга и других весьма похожих на него городков — Гутштадта, Бартенштейна, Шипенбейля, Фридлянда, Велау... Городки следовали один за другим и находились то на левом, как Гейльсберг, то на правом, как Бартенштейн, берегах реки Алле.

Всю ночь с 28 на 29 мая войска готовились к решающей битве.

Свет полной луны проник под полог шатра... Укрытый косматой буркой до подбородка, Батюшков лежал неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрел на лик Селены, которая заливала шатер светлым сиянием, се-

ребрила ворсинки бурки, бросала в углы резкие тени. Не спалось! И чем пристальнее Константин всматривался в лик Селены, чем таинственнее был мрак ночного неба, тем глубже было ощущение покоя, которого он не испытывал, может быть, со дня отъезда из Даниловского. Этот покой постепенно заполнял его существо, кружил голову и неузнаваемо преображал ночной мир. Батюшков видел и понимал, что свет, падающий в шатер, льется с гейльсбергских высот и в то же время был светом, льющимся в раскрытые окна старой отцовской усадьбы... Робко щелкнул и замолк соловей... Росистой свежестью потянуло от сирени...

Батюшков очнулся от странной грезы. Если бы не ровное дыхание офицеров, спавших рядом, он не смог бы уяснить себе, в каком временном и пространственном измерении он только что пребывал. Недобрым предзнаменованием показалось Батюшкову это разъединение его сущности, хотя именно Даниловское он мечтал увидеть во сне, если бы довелось — даже на полчаса — смежить веки.

Не спалось!.. Батюшков осторожно поднялся и вышел из палатки. Под луной, стоявшей в зените, серебристо светились окрестности Гейльсберга. Самого городка отсюда не было видно, и только развалины старинного замка да — правее — городская ратуша обозначали Гейльсберг в древесных кущах. Далеко впереди, за убегающими волнами лугов и пажитей, за островками сосновых рощ, кое-где подымавшихся на холмах, переливалась россыпь рубиновых огней. Казалось, их свечение охватывало всю землю от края до края. Там — французы. И мерцающая россыпь — огонь их бивуаков и сторожевых постов.

Батюшков рассматривал эти мерцавшие огни, пока не услышал за спиной отчетливый цокот копыт. Казачий разъезд — он узнал казаков по папахам и длинным пикам — уходил в ночной поиск. Этот торопливый цокот, стихавший в отдалении, заставил Батюшкова действовать: он решил обойти ночлег своих стрелков.

Лунный свет поблескивал на ружьях, составленных в пирамиды, на штыках часовых, медленно расхаживавших вдоль пирамид и зарядных ящиков. У костров, которые в предрассветный час едва дымились и постепенно замирали совсем, завернувшись в шинели и плащи, спа-

ли егеря. Вперемежку с ними, укрывшись кафтанами, спали стрелки милиционного батальона. Но иные продолжали стоять, опершись на ружье с узким прикладом, и завороженно смотрели на синие змейки, пробегавшие по углям.

Батюшков обходил спящих, узнавал стрелков сотни и поражался странности поз людей, сраженных глубоким сном. Но более всего он поражался тишине,— тишине и благодати, напоенной запахами летней ночи: горьковатым и сладким дымом костров, запахом травы и сырой земли. Он шел долго, пока впереди не заблестела Алле. На другом берегу ее тоже горели костры, и их багровые огни просвечивали сквозь кустарник, отражались в речной глади. Батюшков остановился. Он беззвучно шевелил губами: вновь на какое-то мгновение в кустах заблестела родная Ижина, а солдатские костры на правом берегу Алле обернулись кострами даниловских рыбарей.

...Ударила вестовая пушка. Эхо выстрела покатилось по дальним сосновым рощам и полям, и вместе с ним покатилась с высокого небосвода сверкающая колесница Селены.

Грохот боевых барабанов сотрясал тела и души предчувствием скорой битвы. Топот множества ног — пехота строилась и перемещалась беглым шагом — бодрил сердца. Храп взвивавшихся на дыбы коней, скачка адъютантов, скрежет обозных фур, выкрики команд — вся неразбериха, порожденная огромным скоплением войск, веселила солдат, будоражила их яростным воодушевлением. И без промедленья, перекрывая грохот и топот, скрежет и крик, лязгнул медной челюстью бог войны Марс — редуты окутались пороховым дымом, пушкари припали к флешам, чтобы проследить за полетом ядра.

На склонах дальних холмов, укрытых утренней прозрачной дымкой, наметилось какое-то движение; пронзительный свист флейт донесся оттуда.

— Гренадеры...— негромко сказал егерь, стоявший впереди других.

Константин Батюшков быстро оглянулся на него, успел приметить прищуренные глаза, седые усы и кивер с латунной бляхой «За отличие». Оглянулся, чтобы вновь обратить внимание на холмы, уже ярко освещенные лу-

чами солнца. Его стрелки, стоявшие бок о бок с егерями графа Сен-При, как и егеря, обязаны были действовать независимо от сомкнутого строя. Те и другие помещались за ложементами между боевых колонн Шлиссельбургского мушкетерского полка. На этот полк да еще на Московский гренадерский, занимавший центр русской армии, и был направлен первый удар французов... Мимо егерей прошел легкоартиллерийский полк. Он развернулся у второго редута — солдаты зарядили пушки картечью, изготовившись к стрельбе прямой наводкой. Батюшков не услышал — услышать он не мог, потому что весь был поглощен видом сраженья,— но уловил сердцем короткое затишье, которое предвещало рукопашную схватку.

В ослепительно ярких лучах солнца с ближайшего холма на них надвигалась колонна французских гренадер. Да, это были гренадеры — их огромные меховые шапки с кистями и белыми султанами, их белые жилеты и белые панталоны хорошо различались из-за егерских ложементов. Флейтисты — по два на роту — пронзительно высвистывали боевой марш. Справа и слева от колонны вспыхивали пороховые дымки: гренадер сопровождали вольные стрелки-вольтижеры, которые прикрывали фланги колонн от внезапных кавалерийских атак.

Охрипнув от волнения, Батюшков через равные промежутки времени выкрикивал ружейные команды: «...Товсь... За-ря-яжай... Пли!» Гладкоствольные кремневые ружья изрыгали язычки пламени, ряды стрелков пропадали в пороховом дыму, а маленький офицер вновь и вновь подымал шпагу: «Товсь... Жай... Пли!»

Плотный ком человеческих тел накатывался на флеши и ложементы. С визгом брызнула картечь... Французские гренадеры сомкнули строй, перешагивая через убитых и раненых товарищей, взяли ружья наперевес и этой ощетинившейся, грозно-молчаливой стеной подступали к первым укреплениям.

«Марш! Марш!» Шлиссельбургские мушкетеры сдвинулись с места и скорым шагом, тоже с примкнутыми штыками, ринулись навстречу французам. Две колонны, как две набежавшие друг на друга волны, сшиблись, всплеснули до небес скрежет оружия, человеческие вопли и крики и растеклись мелкими ручейками, оставив после себя груды окровавленных человеческих тел...

А за ближайшей сосновой рощей уже снова скапливались ударные полки маршала Ланна, и снова посвист

флейт и дробь барабанов возвещали, что французы идут в штыковую атаку. Подскакавший адъютант графа Сен-При передал приказ: егерям и стрелкам милиционного батальона занять сосновую рощу. Теперь Батюшков кричал своим ополченцам: «Марш! Марш!» И, перепрыгивая через убитых, загромождавших ложементы, размахивая над головой тоненькой шпагой, бежал впереди рассыпавшихся шеренг милиционеров. За вторым редутом, окутанным пороховым дымом, грохот пушечной пальбы был сильнее, дым — летучее, земля — тяжелее для бега. Но и в нестерпимом грохоте и летучем дыму сознание Батюшкова отмечало все происходившее вокруг него с какой-то вдохновенной яростью и силой: он никогда не мог забыть, как в луже крови бешено закрутилось чугунное ядро и как у него похолодело в груди и сердце подступило к горлу. А роща — вот она! Сосны взметнули вершины в небо. Легкие тени легли на траву. Стволы источали запах смолы, золотились чешуйчатой корой.

Перебегая от сосны к сосне, егеря и стрелки милиционного батальона углублялись все дальше в рощу, пока не наткнулись на лесной овраг. На противоположном склоне этого оврага французские вольтижеры своротили сосны корнями вверх, так, что корни, как огромные щиты, сохраняли их от русских пуль, а сучья и вершины, обращенные вниз, делали подступы к позициям невозможными. Взять приступом овраг казалось немыслимым.

Не успел Батюшков с отчаяньем подумать, что им не очистить рощу от французов, как справа от него в овраг стал стремительно спускаться какой-то егерский офицер; за ним, покидая удобные позиции, сбегали его солдаты. В том, как офицер сделал пол-оборота влево, как он взмахнул пистолетом, Батюшкову почудилось что-то знакомое. «Петин!» — окрик замер у него на губах. Он с силой оторвал себя от теплого ствола сосны и бросился вслед за поручиком Петиным, увлекая милиционных стрелков...

Когда Батюшков достиг противоположного склона, когда он, хватаясь за ветви, стал переваливаться через ствол, его с силой швырнуло назад, ударило затылком о сучья и погрузило в огненно-кромешную тьму...

Обстреляв из рощи французских гренадер, стоявших на опушке, русские стремительно откатывались назад. Лесной овраг теперь они обходили с двух сторон. И только два стрелка почему-то решили пересечь его напрямик. На стволах и корнях поваленных сосен в причудливых, страшных позах висели убитые вольтижеры и русские егеря. Синий дым слоился в овраге. Было тихо. Неожиданно стрелки услышали слабый стон. Нагнувшись, они вытащили из-под ветвей раненого русского офицера. Сорвав плащ с убитого вольтижера, стрелки положили на него Батюшкова, пребывавшего в беспамятстве, и быстрым шагом стали выбираться из этого мрачного логовища смерти и тлена. Плащ сразу же намок кровью...

Батюшков очнулся от нестерпимой боли, когда возница гнал лошадей по настилу наплавного моста через Алле. Это был мост в Фридлянде: двое суток раненый не приходил в себя в полевом лазарете и был после перевязки отправлен дальше во Фридлянд. Этот фридляндский мост через несколько часов стал страшной ловушкой для русских войск.

Оттеснив армию Беннигсена на правый берег Алле и принудив его двигаться вдоль реки по направлению к Фридлянду, Наполеон произвел смелый маневр: он бросил к Фридлянду корпус генерала Удино, к Кенигсбергу — корпуса Сульта и Даву, а сам пошел к Прейсиш-Эйлау, откуда, смотря по обстоятельствам, он мог двигаться к Фридлянду и к Кенигсбергу. Ждать пришлось недолго. Генерал Беннигсен повторил ошибку, совершенную в гейльсбергском сражении,— часть армии он перевел на левый берег Алле и выстроил в боевой порядок, а часть оставил на правом... Наполеон мгновенно воспользовался роковой ошибкой Беннигсена. Он собрал все корпуса в ядро и стремительно бросил это ядро на позиции русских. Его тяжелая артиллерия зажгла понтонные и городские мосты через Алле, его колонны с боем ворвались в город. Напрасно Багратион со шпагой в руках, окруженный остатками Московского гренадерского полка, призывал к стойкости и порядку: армия отступала, пехота гибла на горящих мостах, тонула в реке, конница переправлялась вплавь. Обозы с тяжелоранеными, провиантские фуры, запасы пороха, пушки — все осталось в руках победителя. Это была катастрофа. Часть

корпусов, сдерживая натиск французского авангарда, медленно отходила к старой русской границе, к Неману...

Лекарская фура плыла среди сотен повозок и подвод отступавшей русской армии. Она плыла среди зеленевших нив, плыла по улицам чистеньких немецких городов, спускалась в низины и подымалась на холмы, а Батюшков лежал, обмирая от приступов боли. Волны этой боли захлестывали его внезапно — темнели зеленые рощи и луга, небо расплывалось в оранжевые, звенящие круги. Когда боль немного стихала, в его глазах плескались белые крылья лебединых стай. Он смутно догадывался, что это были облака, что они летели на север, летели к гнездовьям на Мологе и Шексне, дальше к Ледовитому океану, где никогда не меркнет полунощное солнце. Иногда, очнувшись, леденея в ожидании смерти, с отвращением глядя на гребни черепичных крыш, на готические шпили костелов, на весь этот чуждый ему мир, он собирал остатки сил: он не хотел умирать здесь, среди красных черепиц и готик, не хотел быть зарытым на обочине дороги, как зарывали умерших от ран солдат и офицеров русской армии. Он взывал к облачным стаям, плавно взмахивавшим крыльями в полете, молил унести его на родину и там, если такова его судьба, позволить спокойно умереть.

...Лекарская фура медленно въехала на дощатый настил. В борта плашкоута заплескалась неманская волна.

2

...Прошло семь лет. Вторжение войск Наполеона в Россию, битва под Бородино, пожар Москвы и отступление французов по Старой Смоленской дороге — все это оставалось в прошлом. А впереди была переправа через Рейн — и Франция.

16—18 января 1814 года
Старый Эльзас, у крепости Белфора

«...Итак, мой милый друг... мы во Франции. Вот как это случилось. В виду Базеля и гор, его окружающих, мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер, закричали «ура!» и перешли за

Рейн. Я несколько раз оборачивался и дружественно прощался с Германией, которую мы оставляли, может быть, и надолго, с жадностью смотрел на предметы, меня окружающие, и несколько раз повторял с товарищами: наконец мы во Франции! Эти слова — «мы во Франции» — возбуждают в моей голове тысячу мыслей, результат которых есть тот, что я горжусь моей родиной в земле ее безрассудных врагов. В этой стороне Эльзаса жители говорят по-французски. Вообрази себе их удивление: они думали, по невежеству — разумеется, что русские их будут жечь, грабить, резать, а русские, напротив того, соблюдают строгий порядок и обращаются с ними ласково и дружелюбно... Надобно видеть, с каким любопытством они смотрят на наших гренадер, а особливо на казаков, как замечают их малейшие движения, их разговоры.

Все так, любезный друг, но сердце не лежит у меня к этой стороне: революция, всемирная война, пожар Москвы и опустошение России меня навсегда поссорили с отчизной Генриха IV, великого Расина и Монтеня... Я сижу в теплой избе и курю табак. На дворе метель и снегу по колено: это напоминает Россию и несколько приятных минут в моей жизни... О, матушка-Россия! Когда увидим тебя?..»

27 марта 1814 года,
в окрестностях Парижа

«...С высоты Монтреля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний!.. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы продвигались с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместию Парижа. Все высоты заняты артиллериею; еще минута, и Париж будет засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали...

«Слава богу! мы увидели Париж со шпагою в руках! Мы отомстили за Москву!» — повторяли солдаты, перевязывая раны свои.

...Солнце было на закате, на той стороне Парижа; кругом раздавалось «ура» победителей и на правой стороне несколько пушечных ударов, которые через несколь-

ко минут замолчали. Мы еще раз взглянули на столицу Франции, проезжая через Монтрель, и возвратились в Noisy отдыхать, только не на розах: деревня была разорена.

25 апреля 1814 года. Париж

...Бродить по бульвару, обедать у Beauvilliers, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и проч. и пр. и пр.— теперь все это мы делаем и можем делать, ибо мы отдохнули и телом и душою. Заметьте, что мы имеем важное преимущество над прежними путешественниками: мы — путешественники вооруженные.

Я часто с удовольствием смотрю, как наши казаки беспечно проезжают через Аустерлицкий мост, любуясь его удивительным строением; с удовольствием неизъяснимым вижу русских гренадер перед Трояновой колонной или у решетки Тюльери, перед Триумфальной аркой, где изображены и Уильм, и Аустерлиц, и Иена, и Фридланд... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг!

17 мая 1814 года. Париж

Милый, добрый, любезный друг, ты имеешь право сердиться на меня за мое молчание; я имею маленькое право, но простим великодушно друг другу лень и беззаботность нашу. Дай себя обнять, и все забыто... И виноват ли я в самом деле? С тех пор, как оставил Петербург, и еще более, с тех пор, как мы переступили за Рейн,— ни одного дня истинно покойного не имел. Беспрестанные марши, биваки, сражения, ретирады, усталость телесная и душевная, одним словом,— вечное беспокойство: вот моя история. Заметь, однако же, что при всяком отдыхе я думал о тебе и о России...

Прости, будь счастлив и помни *Батюшкова*».

3

Немаловажные причины заставили Константина Батюшкова покинуть Петербург в 1815 году и еще по зимнему следу приехать в Хантоново, а затем в Даниловское, к своему отцу Николаю Львовичу. Всего шесть дней провел поэт в Даниловском, но, по собственному признанию, и эти шесть дней измучили его. Отец, вступивший во второй брак и недавно затеявший перестройку усадьбы, был обескуражен расстройством денежных дел и не особенно задерживал сына: они уже давно чувствовали взаимное отчуждение. Батюшков снова едет в Хантоново, к старшей сестре Александре, где в былые годы ему неплохо писалось и где во время долгих северных зим он прежде бывал и счастлив и весел. Но в «земле клюквы и брусники», как шутливо именовал он череповецкое имение, душевная неустроенность и тоска с еще большей силой охватили его. Подобное с ним случалось и прежде, когда он, устав от вынужденного — из-за малых доходов и безденежья — уединения,— жаловался друзьям на одиночество, на деревенскую скуку, на гробовую тишину, царившую в доме, такую тишину, что «каждое биение маятника карманных часов ясно и звучно повторялось» в его «услышании». Однако тогда, «сидя в своем углу,— писал Батюшков Николаю Гнедичу,— с головной болью, с красными от чтения глазами, с длинной трубкой», он нередко брался за переводы или собственные сочинения, умел находить скромные радости, ценить тепло и уют старой горницы, служившей ему рабочим кабинетом, воспетой им в стихотворном послании «Мои пенаты»:

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногий
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полуржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,—
Вся рухлая скудель!

Скромный домик сестры Александры с видом на реку Шексну, летней беседкой и запущенным парком за все

время, которое Батюшков провел в заграничных походах, нисколько не изменился. Даже письменный стол, стоявший у окна, был все тот же — с изодранным и проеденным молью сукном. Да и книги, заполнявшие горницу, рассыпанные когда-то на подоконниках, на креслах, на жесткой постели, были ему знакомы и памятны. Особенно том стихотворений Державина. Однажды глухой ночью в ноябре Батюшков читал описание потемкинского праздника: тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение — все произвело на него необыкновенное действие. «Я вдруг увидел перед собою людей,— рассказывал он Николаю Гнедичу в письме от 1 ноября 1809 года,— толпу людей, свечки, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб, и бог знает что не увидел; так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?» *Оно, они!..* «Перекрестись, голубчик!..» Тут-то я насилу опомнился».

Очевидно, в тот раз случился с ним нервический припадок или, может быть, усилились странные «ревматические» боли в голове, которые его мучили после ранения, полученного под Гейльсбергом. Но об этом не хотелось ни думать, ни вспоминать...

...Едва дождавшись конца отпуска, Батюшков выехал из Хантонова в Каменец-Подольск по месту нахождения штаб-квартиры генерала Бахметьева, при котором он проходил военную службу. И там, в отдаленной крепости, среди сослуживцев, поглощенных мелочными заботами, оторванный, как он заранее и предвидел, от изящной словесности, от привычек, от своих друзей, он пребывал в самом мрачном оцепенении, какое когда-либо знал прежде. И все-таки музы спасли его вновь: он стал писать. Из-под его пера в Каменце вышло немало стихотворений, среди них — «Мой гений», стихотворная пьеса, прекрасная трепетностью чувств и гармоний звуков русской речи...

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной...
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,

И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль — приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Чей это образ был так дорог поэту? Кто пленил его воображение? Чьи очи голубые вспоминал он в Каменце?

Предметом радостей и грустных раздумий поэта была Анна Федоровна Фурман. Именно ей Константин Батюшков посвятил «Гения», «Воспоминания», «Разлуку», «Тавриду» и некоторые другие стихи и элегии. С этой юной воспитанницей Олениных Батюшков был знаком давно. Но впервые он упоминает ее лишь в 1809 году: Батюшков служил тогда в Финляндии и из писем знал о всех новостях в оленинском доме. «Не летай вокруг свечки — обожжешься!» — добродушно-иронически писал он знакомому петербуржцу, увлекшемуся своей ученицей, которой и была Анна Фурман. Батюшков не только знал, что Анна Федоровна хороша собой, он знал, что она скромна, застенчива и неохоча до ухаживаний и комплиментов молодых людей. Сам Батюшков к воспитаннице Олениных в то время не проявлял интереса. Понятен и его шутливо-покровительственный тон — после семьи Михаила Никитича Муравьева, в которой Батюшков жил на правах родственника, дом Олениных был для него вторым родным домом в Петербурге. Алексей Николаевич Оленин, знаток и любитель искусства и литературы, археолог и художник, неизменно покровительствовал Батюшкову и выручал его в трудные минуты жизни. Вообще оленинский салон славился в Петербурге: там можно было встретить многих известных в ту пору литераторов — Жуковского, Крылова, Озерова, Гнедича. Воспитанница Олениных «пленила многих, сама того не подозревая», как писал о ней современник. Например, романтическую привязанность к ней испытывал В. А. Жуковский. Однако вскоре в семье Олениных не стало секретом, что сердце Константина Батюшкова отнюдь не свободно от восторженного чувства к Анне. В июле 1813 года Батюшков уехал на театр военных действий... Разлука и превратности бивуачной жизни придали в глазах Батюшкова особое очарование их встречам в доме на Фонтанке. Позднее в «Элегии» он писал: «Я с именем твоим летел под знамя брани искать погибели иль славного венца». Образ возлюбленной витал перед ним и на полях за Рей-

ном, в покоренном Париже, в прохладных рощах старой Англии, у развалин рыцарских замков в Швеции — всюду, где довелось побывать поэту, возвращавшемуся из Франции в Петербург морским путем. Ему думалось, что его положение дворянина из обедневшего рода, стесненного в средствах, не чиновного, подобно зависимому положению Анны Фурман в семье Олениных. Как и поэт, Анна Федоровна рано лишилась матери. Ее отец, по происхождению саксонец, состоявший на русской службе, не оставил дочери наследства. Вот почему, обращаясь к возлюбленной, поэт говорил, что они «отверженные роком, равны несчастием, любовию равны...». В том, что они равны несчастием,— в этом Константин Батюшков не сомневался. Но равны ли они любовью?.. Припоминая Анну и встречи у Олениных, поэт пытался убедить себя в этом.

И вот он в кругу родных людей и близких ему лиц, он — в Петербурге! Екатерина Федоровна, вдова Михаила Никитича Муравьева, принимает живейшее участие в устройстве судьбы племянника. В доме Олениных также благосклонно смотрят на их союз. Все внушает Батюшкову счастливые и радужные надежды. Следует решительное объяснение с Анной — и что же?.. Согласие на брак получено!.. Но именно тогда в доме Олениных, в семье Муравьевых, среди ближайших друзей Батюшкова прокатился ропот недоумения — поэт отказался официально просить руки Анны Федоровны у ее приемных родителей. Да, он получил согласие на брак, но *как* он получил его?! От влюбленного взгляда поэта даже в ту решительную минуту ничто не ускользнуло ни в ее поведении, ни в интонациях ее голоса. Все надежды Батюшкова рухнули в один миг.

Есть странствиям конец — печалям никогда!
В твоем присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки,
Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоем молчании, в прерывном разговоре,
В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...

Батюшков не поимел силы воли немедленно оставить дом Олениных: он все еще на что-то надеялся, колебался, сомневался в своих наблюдениях, он угрюмо выслу-

шивал увещевания Екатерины Федоровны Муравьевой и Алексея Николаевича Оленина, что, мол, «стерпится — слюбится», что, мол, девушка слишком неопытна и наивна, чтобы разобраться в своих чувствах... Нет, он все понял!— и с какой-то отчаянной решимостью продолжал ходить в дом на Фонтанке, пока переживания и сомнения не сломили его, не привели к сильнейшему нервному расстройству... Батюшков покинул Петербург. Он уезжает на берега Шексны и Мологи, в родные с детства места, в леса Севера, с одной мыслью — излечиться в уединенье, в уюте старого дома, в общении с книгами и природой от безответной и несчастной любви... Ведь он знал: «Какие радости в чужбине? Они в родных краях!»

Однако вскоре, поражая друзей странной противоречивостью натуры, он бросился в Каменец-Подольск. Может быть, он хотел убедиться, что человек способен жить одними воспоминаниями о прошлом? Что настоящее, которое сдавило сердце, как свинец, покроется дымкой забвения там, на краю Российского государства?

...Часами стоял Батюшков на стенах старой полуразрушенной каменецкой крепости, облокотившись на башенные зубцы, и смотрел вдаль: на домики с цветущими садами, на стада, идущие к водопою, на жителей городка, на детей, игравших в придорожной пыли... И в его сознании складывались строки стихотворного послания, одного из лучших в допушкинской лирике:

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Екатерина Федоровна по-прежнему находила в его поведении лишь безрассудство и явные противоречия. А их не было — ни безрассудства, ни противоречий. «Не иметь отвращения и любить — большая разница. Кто любит, тот горд» — так отвечал он Екатерине Федоровне. Да, Батюшков любил — и был горд, был честен перед самим собой, перед Анной, перед читателями своих элегий: ведь он утверждал, что надо писать так, как живешь, и жить — как пишешь; он был уверен, что жертвовать собою позволено каждому человеку, но жертвовать другими могут только злые сердца. «Жизнь — не вечность, к счастью нашему: и терпенью есть конец!» И он сознательно жертвовал собой, ибо в молчаливом согласии Анны на брак он увидел — подчинение чужой воле, а вот

тайная горечь, просквозившая в ее улыбке, была искренна...

Но время брало свое. Все чаще глубокое уныние, в котором находился поэт, сменялось проблесками надежды — эти проблески даровали ему минуты религиозного самопознания и несравненные минуты творческого экстаза. Поэт ощущал освободительную силу вдохновения, которое позволяло ему прозревать нечто большее, чем собственную участь. Нет, «гордый ум не победит любви холодными словами» — холодные слова бессильны перед страстью, они не излечат от мук любви или отчаяния, но поэтическое вдохновение способно поднять, раскрепостить, освободить от безысходности, от душевного мрака. Он прозревал не один лишь свой жребий, но и жребий тех, кто на поле чести сохранил «души возвышенной свободу», кто перед лицом смерти был с ним дружен и, как и он, доверялся провидению. Батюшков не скрывал ни от себя, ни от других, что жизненный опыт открыл ему новую пустыню, но в этой пустыне, в этом бедственном и трагическом одиночестве он уповал отныне как на якорь спасения на то «святое дружество», культ которого он воспринял с отроческих лет в семье Муравьевых.

Вот почему, бродя по развалинам старой крепости в Каменце, часами простаивая у башенных зубцов, он невольно забывался, он мысленно уносился в леса Севера, а то и совсем в иной край, в Богемию, к иным крепостным стенам, заросшим мохом, обвитым плющом, к развалинам Бергшлосса,— возле этих развалин стоял лагерь русских войск после Кульмской победы.

Тысячи подробностей оживали в его воображении: бутылка богемского вина стоит на походном барабане, здесь же кусок черствого хлеба и плоды. Вдвоем с Иваном Петиным они сидят на склонах высокой горы, откуда им открывается вид на армию, раскинувшую стан в долине. Разговор друзей сбивчив и тороплив: о многом надо поведать друг другу, рассказать о пережитом и виденном, помечтать о Москве, о путешествии на Кавказ,— да мало ли о чем могут мечтать друзья, оторванные от родины, но не забывшие ее. «Отчизны сладкий дым», как писал Батюшков позднее, доносился к ним и сюда, в Богемию, и любезное светило Севера — Полярная звезда — по-прежнему сверкала над их головами.

...К несчастью, встреча при Кульме была их последней

встречей: вскоре, в битве под Лейпцигом, Петин был убит. И теперь возле старой крепости Каменца, вспоминая последние минуты, проведенные вместе с другом, Батюшков понял, что образ друга станет его путеводной звездой, что никогда он не побледнеет под ядрами, не изменит чести, не оставит боевые знамена.

...Через полгода пребывание в Каменце стало для поэта невыносимым: поэзия требует всего человека, а без литературных друзей, без близкого окружения ему невозможно исполнить и самой незначительной части задуманного им. Военная служба в глухом и отдаленном гарнизоне казалась теперь тяжелым ярмом: это ярмо можно было влачить и дальше, но в мирное время лучше было освободиться от него.

Правда, петербургские друзья не забывали Батюшкова в его затворничестве. Так, например, постоянную поддержку оказывал Василий Андреевич Жуковский — новые стихотворения, написанные поэтом, были еще неизвестны в столице, однако Жуковский неизменно поощрял все художественные начинания автора «Пенатов».

...Перед отъездом на юг Константин Батюшков сумел побывать в Царском Селе: целый день он провел вместе с лицеистом Пушкиным — друзья бродили по окрестным рощам, обедали в кухмистерской, сочиняли шутливые вирши. И вот теперь гениальный юноша-поэт обратился к Батюшкову со стихотворным посланием. Конечно, Пушкин мог и не знать о душевной драме своего старшего товарища здесь, в Каменец-Подольске, но примечательно, что он пытался дружески его ободрить, поддержать, сказать, как бесконечно дорог и близок ему «сей философ резвый и пиит». Вместе с тем — и вот здесь-то нельзя не поразиться удивительной прозорливости юноши-лицеиста — Пушкин хотел возвратить своего друга к эпохе Наполеона, к грохоту пушек, вою картечи, к тому походному бивуачному быту, к той славе воинов-освободителей Европы, которые были самой жизнью и самой поэзией. Пушкин определенно советовал русскому Овидию Назону, как писала тогдашняя критика о Батюшкове: «...Пой кроваву брань и грозну смерть на ратном поле...»

И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как росс, питомцем славы пал!

К последней строке пушкинского послания сделана примечательная сноска: «Кому неизвестны «Воспоминания на 1807 год»?» Тем самым Пушкин отсылал читателей к стихам Батюшкова, которые были наиболее характерны для этого, казалось бы, излюбленного читателями певца «науки страсти нежной». Эти стихи содержали важные биографические сведения: не случайно Пушкин намекает на «грозну смерть», которую Батюшков встречал в сражении при Гейльсберге. Надо полагать, многие подробности этого сражения, равно как и обстоятельства, при которых юный офицер, командир сотни, получил тяжелое ранение, стали известны Пушкину опять-таки из рассказов Батюшкова во время их блужданий по царскосельским рощам и садам. «Поэт! В твоей предметы воле!» — заклинал он Батюшкова, убеждал его в том, что самые сложные «предметы» или перипетии его военной судьбы доступны ему и как художнику и как поэту. Вот почему следует подчеркнуть еще раз, что из всех современников, вероятно, лишь Пушкин сумел увидеть в Константине Батюшкове яркий и сильный талант, увидеть человеческую личность, способную выразить противоречия «железного века».

...Конец пребывания Батюшкова в Каменец-Подольске обозначился глубоким внутренним переломом. Получив письмо от своей сестры с намеком «на известное дело», он почти спокойно ответил: «Невозможное невозможно. Я знал это давно и все предвидел». Тогда же, из Каменца-Подольского, другому адресату он признавался: «Теперь дело кончено... Я три года мучился, долг исполнил и хочу быть совершенно свободен».

Вот почему он просил ближайших друзей и родственников не напоминать ему «про некоторую особу» и письма его с упоминанием имени Анны Фурман сжечь, «чтобы и следов не оставалось».

Поэт подает в отставку и, получив долгосрочный отпуск, в декабре 1815 года уезжает к своим друзьям в Москву.

Анна Фурман через некоторое время покинула дом Олениных в Петербурге и переехала вначале в Дерпт, а затем в Ревель. Их жизненные пути навсегда разошлись...

4

Со времен Белинского было принято считать, что поэзия Батюшкова «безлична в смысле народности», что в ней от-

сутствует или почти отсутствует «наше русское содержание». И вот в связи со знаменательной датой — 200-летием со дня рождения выдающегося русского поэта — интерес к его личности, к его окружению, к самой исторической эпохе необычайно вырос, а на родине поэта — стал всеобщим. Ибо наше современное общество вступало в совершенно новый исторический период своего духовного и нравственно-художественного существования, и это был первый двухсотлетний юбилей классика новейшей литературы, безусловно принадлежащего к той генерации, которую можно и должно было обозначить именами Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Кольцова.

Известно, что Белинский мыслил Батюшкова в одном ряду с Пушкиным, хотя, естественно, и понимал, что у них есть собственно-поэтические и временные отличия. Как и у Пушкина, под пером Батюшкова заговорили не отвлеченные чувства и страсти, нет, языком поэзии заговорило само человеческое сердце, сама человеческая душа. «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь» — вот принцип, который стал основой поэтического самосознания не только в XIX, но и в XX веке.

Белинскому же принадлежит оценка творческого вклада Батюшкова в историческое развитие нашей культуры в целом. Великий критик не без основания полагал, что всякая литература в мире, всякая поэзия, чтобы стать действительно высоким искусством Слова, должна пройти такую всемирную мастерскую, как Греция. И именно Батюшков, продолжал свою мысль Белинский, был первым из русских поэтов, побывавшим в этой студии мирового искусства. И не только побывавшим, но и, как следует из контекста, усвоившим важнейшие достижения вечного искусства Эллады.

Великий критик был захвачен высокими достоинствами батюшковской музы (когда «хочется ощутить извивы и складки его мраморной драпировки»); он считал: даже непосвященному взгляду очевидны приметы его благородной простоты и спокойной пластической красоты. Может быть, здесь движущим стимулом для критика было стремление установить преемственную связь между пушкинскими антологическими стихами и стихами самого Батюшкова.

Белинский настолько был поглощен этой идеей исторической роли Батюшкова в судьбах новейшей русской литературы, настолько высоко ценил упругость и пласти-

ку, гармоничность и выразительность батюшковского стиха, что порой вообще был склонен отрицать то самое «русское содержание», о котором здесь уже шла речь.

Так ли это?.. И не имеет ли смысл именно сейчас увидеть не только батюшковскую прозу и поэзию, но и саму личность поэта в багровых отсветах Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, упавших на страницы его старых и новых изданий и как бы высветивших все то, что было для нас не столь явным, не столь очевидным в прошлом.

Белинский оставил без внимания те страницы батюшковского творчества, на которых разворачивались картины жесточайших войн начала XIX века, и в первую очередь Отечественной войны 1812—1815 годов. Этим от него отличался, к примеру, совсем юный Александр Пушкин, который в своем послании «К Батюшкову», напечатанном в «Российском музеуме» в 1815 году, восклицал:

Поэт! В твоей предметы воле!
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле!

В этом послании, кстати сказать, юный поэт упомянул о тяжелом ранении Батюшкова в сражении под Гейльсбергом, последствия которого сказывались всю жизнь.

Уж если мы прикоснулись к этой важнейшей теме — Батюшков и Александр Пушкин,— то следует вспомнить и об их встрече в 1815 году в Царском Селе и о заметках Пушкина на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова. Эти заметки для нас — драгоценны, они поражают безошибочностью эстетического вкуса Пушкина. Так, например, «Переход через Рейн», который не был замечен Белинским, Пушкин оценил как «лучшее стихотворение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное». А когда в 1821 году Пушкин узнал о тяжелом душевном заболевании Батюшкова, то в великом горе воскликнул: «...Быть нельзя, уничтожь это вранье». Ведь не кто иной, как Батюшков, постоянно спрашивал своих друзей: «Сверчок что делает? Кончил ли свою поэму?» (Речь идет о поэме «Руслан и Людмила» Пушкина, которую Батюшков с нетерпением ожидал). «Попросите Пушкина именем Ариосто,— писал Батюшков в другом письме,— выслать мне поэму, исполненную красот и *надежды*».

И уже совсем по-братски: «Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши...»

Батюшков далеко опередил свою эпоху, свое время.

Духовная жизнь человека в его лирике проявлялась во всей свой сложности, во всей своей внутренней противоречивости. У Батюшкова не было стремления как-то искусственно возвыситься, украсить чело лавровым венком, встать на классические «котурны» и т. д. Совсем наоборот:

Пускай талант — не мой удел!
Но я для Муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой Гений чувствовать умел.

Углубленный самоанализ поэта позволил определить ему самое главное — любовь к прекрасному. Поэтому в сознании многих современников да и потомков отличительным свойством батюшковской музы стала поэтическая полногласность, озаренность стиха каким-то особым светом истинной поэзии и красоты. Вот одно из лучших созданий поэта:

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении авроpиных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот.
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

Уже в этом небольшом стихотворении необходимо выделить то стремление к «чисто и стильно прекрасному» (И. Грабарь), которое наряду с пластикой и светом играло огромную роль в формировании всей нашей отечественной поэзии за полтора века. В дальнейшем «идея света» была творчески осмыслена в стихах В. Соловьева, Ин. Анненского, А. Блока, А. Ахматовой и других поэтов конца XIX — начала XX века. Батюшков, конечно, превосходно понимал, что в искусстве все создается заново и ничто не воспринимается, не заимствуется из действительности «в чистом виде». Вот почему свет, как и пластика, как и гармония, в батюшковском творчестве выступает в качестве символа борьбы с хаосом, со всякой диспропорцией и дисгармонией. С этих позиций истинности чувств и переживаний, истинности «жизни сердца» личности, не только по-человечески конкретной, но и в ка-

кой-то степени обобщенной, философски, эстетически осмысленной, и подходил Батюшков к творчеству своих современников.

То самое вселенское зарево Отечественной войны 1941—1945 годов, о котором здесь шла речь и которое упало на пожелтевшие от времени страницы батюшковских «Опытов в стихах и прозе», высветило такую эпическую масштабность мышления поэта, такую силу его чувств и переживаний, показало такую глубину его понимания и постижения характера солдата, воина, защитника Отечества, которых еще не знала наша поэзия...

Сотенный начальник в петербургском милиционном батальоне; офицер гвардейского егерского полка в Финляндии; капитан русской императорской службы, представленный к орденам Станислава и Владимира за храбрость, проявленную в «битве народов» под Лейпцигом,— таким Константина Батюшкова в прошлом веке не знала литературная критика, отстаивающая принципы «искусства для искусства». Да и в наше время, в довоенный период, такой Батюшков был еще недостаточно четко освещен и осознан. При всем том следует добавить, что художественно-эстетическое совершенство его стихотворений и элегий, таких, как «Тень друга», «Пленный», «К Петину», «К Никите», «Переход через Рейн. 1814», «Переход русскими войсками через Неман 1 января 1813 года»,— не уступает самым знаменитым его посланиям, вроде «Мои пенаты» или его элегиям, вроде «Элегии из Тибулла».

Вообще без этих военных страниц Батюшкова наша поэтическая летопись, начиная со «Слова о полку Игореве» и кончая, предположим, «Василием Теркиным» или поэзией героя-танкиста Сергея Орлова, была бы крайне неполна.

Вот каким радостным чувством близкой победы, чувством «святой к родине любовью», чувством единения всех народов, населяющих тогдашнюю Россию, пронизано стихотворение «Переход через Рейн»:

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов.

. . . . . .

Мы здесь, о Рейн, здесь! ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,
«Ура» победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.

Самое примечательное, что в этой лавине наступающих войск, неодолимо движущихся к Парижу, как об этом можно было узнать из писем поэта, его личность, его индивидуальность не терялась, не растворялась среди других, а проступала в каждом слове, в каждой строке.

Органическую часть творчества К. Н. Батюшкова составляет его эпистолярное наследие, которое не просто дополняет стихотворные послания, элегии и «стихи к случаю», но является, по существу, прекрасной лирической прозой. Давно пора издать эти письма отдельным томом! Ведь их более трехсот.

«В Париж я вошел с мечом в руках,— писал Батюшков В. А. Жуковскому.— Славная минута! Она стоит целой жизни».

А сколько наших современников, вступавших в победном 1945 году в Варшаву, Будапешт, Белград, Бухарест, Вену, Прагу, Берлин, могли о себе сказать точно такими же словами!..

Батюшков никогда не забывал подчеркнуть и многонациональный состав русских войск, их сплоченность, единство, готовность добиться победы любой ценой:

...Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и громами!..

Столь же примечательно — по внутреннему воодушевлению, по красочности картины — стихотворное послание «К Никите», посвященное Никите Муравьеву, будущему декабристу:

...Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот
И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам,
Как весело перед строями
Лететь на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки!
Вперед! Сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи, свинец!
Летайте, ядры и картечи,
Что вы для них — для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
И вот... о, зрелище прекрасно!

Колонны двинулись, как лес.
Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! — и все сломили.
Рассеяли и разгромили.
Ура! Ура! — и где же враг!..
Бежит, а мы в его домах...

...В пору заграничного похода возросло мастерство Батюшкова и как художника-баталиста, и как поэта-лирика, который передает психологическое состояние воина, русского офицера, его упоение битвой, его доблесть и отвагу. Влияние таких стихотворений, даже отдельных батальных сцен, на пушкинскую музу — бесспорно. «Переход через Рейн» Батюшкова отозвался в патриотическом стихотворении Пушкина «Клеветникам России», а влияние характерного для послания «К Никите» поэтического алогизма («И вот... о, зрелище прекрасно! Колонны двинулись, как лес. Идут — безмолвие ужасно!») можно найти в сцене Полтавского боя, в описании внешности Петра:

...Его глаза
Сияют. Лик его ужасен,
Движенья быстры. Он прекрасен...

Именно в единстве этого противоположения — прекрасен, несмотря на то что ужасен,— возникает грозный и вдохновенный облик Петра. Пушкин гениально развил и некоторые поэтические «прозрения» Батюшкова; он их не только развил, но, в свою очередь, передал его поэтическую эстафету новым поколениям поэтов, причастных к батальной живописи.

...День 29 мая 1987 года выдался по-осеннему пасмурным и дождливым. Но вот к полудню стало все чаще выглядывать солнце, и все яснее стали проступать приметы запоздавшей в том году весны. К Кремлевской площади города Вологды шли и шли вологжане, шли в праздничных колоннах и поодиночке. Белое покрывало окутывало скульптурную композицию памятника К. Н. Батюшкову. За ней виднелось Заречье и, в частности, та самая улица, которая была названа именем Николая Рубцова. А слева — за величественным Софийским собором — начиналась улица Сергея Орлова. С правой же стороны от памятника — храм Александра Невского; с левой — колокольня, стена Вологодского кремля, в отдалении — дом Батюшкова... Нет, пожалуй, другого места в Вологде, где бы

слышались столь отчетливо «шаги Истории самой».

...Прозвучали торжественные речи. И как по мановению руки спало белое покрывало. И потекли толпы вологжан с цветами к подножию памятника, выполненного скульптором Н. Клыковым и архитектором В. Снегиревым.

Памятник необычен — и реалистически достоверен, и в какой-то степени символичен. Поэт засмотрелся вдаль; он в высоких ботфортах, только что спешился. И конь, вероятно почувствовав настроение седока и тряхнув гривою, склонился, то ли чтобы прихватить несколько былинок, то ли чтобы, вновь вскинув голову, тихим ржанием позвать его в дорогу...

«Батюшкову от благодарных потомков» — надпись выражает самое главное, чем были преисполнены сердца в тот день, за которым долгой-долгой чередой пройдут другие дни, чтобы слиться в новые десятилетия...

Как уже говорилось, значительную часть жизни поэт провел в родовом имении Даниловском, и особенно в Хантонове. Повседневные предметы, окружавшие Батюшкова, мысли и чувства, волновавшие его, картины северной природы, мелкопоместного быта — все это входило как в его оригинальные стихотворения, так и в вольные переводы поэтов древнего мира. Напомним слова Белинского, что Батюшков был среди первых русских поэтов, кто побывал в этой студии мирового искусства. Анакреонтический стих получил затем широкое распространение в поэзии Пушкина, Майкова, Фета, Тютчева — вплоть до Блока...

И чем острее Батюшков чувствовал свою заброшенность, свое одиночество в северной деревне, тем сильнее он упивался воображением, мечтами о «золотом веке» античности, который был для него веком мирного благоденствия, олицетворением языческой полноты жизни. «Сын неба! Светлый мир! ты сам среди полей вола дебелого ярмом отягощаешь»,— восклицал он с душевным жаром.

Обращаясь к античности, он пытался находить те черты в пейзаже, в облике, в нравах народов, которые бы сближали исторические эпохи, были вечными. Батюшков с особенным удовлетворением изображал картины домашней

жизни людей, большей частью сельских обитателей. Переводя Тибулла, он, например, рисует такую картину:

При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясный
И, тихо вретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.

Иногда Батюшков «срисовывал» классический пейзаж с окрестностей родовой усадьбы. Так, в переводе «Филомелы и Прогны» Лафонтена можно встретить: «Смотри, песчаный бор, река, пустынны воды...» В другом переводе, пользуясь методом «от противного», он описывает охоту с гончими:

Ничто души не веселит:
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лёт коня ретива
По скату бархатных лугов,
И гончий лай, и звон рогов
Вокруг пустынного залива.

В этих пейзажах и бытовых зарисовках, конечно же, угадывается русский Север, угадывается в них рука художника, который предвосхитил развитие реалистической поэзии XIX века, но сам чаще всего изображал русскую жизнь «на манер древних».

5

Пожалуй, никто другой с такой определенностью не предвидел свой тяжкий жребий, как сам Батюшков. «Я могу служить примером несчастия во всем»,— писал он старшей сестре Александре. И это была правда. Выход в отставку не принес ему ни заслуженного ордена, ни повышения в чине, который он должен был получить. Батюшков был доволен уже тем, что снял военный мундир и целиком отдался служению музам. Но если сопоставить другие, более значительные факты его биографии, то нельзя не поразиться какому-то упорному противодействию обстоятельств — его жизни, его мечтам, начинаниям и замыслам, как будто поэта действительно преследовал «мститель-бог», о котором он упомянул в одном из писем. Батюшков мечтал о славе, скромной славе стихотворца, который умеет писать исполненные поэтического изящества и совершенства стихи — и был при жизни «обруган хвалами». Вдали он страстно мечтал об уюте и тишине сельской жизни, но когда приезжал на

родину, то погибал от одиночества, скуки, попов и раскольников, которых только и видел в окрестных деревнях. В череповецком имении Батюшков страдал от постоянной мысли, что его достояние может быть отнято за долги, а его единственный приют — усадьба в Хантонове — «убогая хижина», «смиренная хата», как он называл старый господский дом на берегу Шексны,— может быть продан с молотка. После смерти отца в 1817 году Батюшков предпринимает лихорадочные поиски средств, чтобы спасти родовое Даниловское от продажи с торгов, чтобы воспитать младшего брата Помпея и сестру Юлию. Но денег он не нашел, имение продали за долги, и только спустя несколько лет его выкупил муж сестры Александры — Гревенс. Все это бесспорно усиливало мрачное настроение Батюшкова, усугубляло его душевные муки.

Италия была мечтой поэта всю жизнь, камни Рима были для него священны — по ним ступали Тибулл и Торквато Тассо, — но когда Батюшков наконец получает назначение в русскую дипломатическую миссию в Неаполь, состояние здоровья его настолько ухудшается, что он «вовсе не может писать стихов». Под пламенным небом Италии Батюшков загрустил о снегах России...

Изустная молва нарекла Батюшкова беспечным ленивцем, а он всю жизнь «бледнел над стихами», много переводил, читал и признавался в письме князю Вяземскому, что «беспрестанное уединение, и дурная погода, и усиленные труды последнее здоровье уносят». Когда же за ним прочно утвердилась слава «русского Тибулла» и «русского Парни», он замыслил написать поэмы «Рюрик» и «Русалка», заинтересовался русскими сказками, просил у Гнедича прислать ему «Древние русские стихотворения» в издании Ключарова, пробовал силы в жанре народной песни. В конце концов ни одному из этих замыслов не суждено было осуществиться. И только его воспреемником Пушкиным была написана и драма «Русалка», и русские народные сказки, и элегия «К Овидию», в которой воскрешался образ изгнанника-поэта «на скифских берегах».

Подытоживая все написанное за двенадцать лет, Батюшков увидел, как слабы его начинания, над которыми он «бледнел весь свой век». «Но могло ли быть лучше? — думал он.— Какую жизнь я вел для стихов? Три войны,

все на коне и в мире — на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершеннее? Совесть отвечает: нет».

Сомнения в истинности избранного пути не оставляли поэта и позднее. Примечательны строки, приведенные им однажды:

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею.

Да, Батюшков страшился своей участи и считал — не без оснований,— что его преследует рок. Из Москвы, пребывая в особенно угнетенном состоянии, он написал Жуковскому: «С рождения я имел в душе черное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не знаю!» Увы! Не надолго... Письмо было отправлено адресату в сентябре 1816 года, а через шесть лет, в 1822 году, Батюшков, уехавший лечиться в Крым, оказался целиком во власти тяжкого недуга. Это случилось в том самом 1822 году, когда Анна Федоровна Фурман счастливо вышла замуж за ревельского чиновника господина Оома. Может быть, это случилось, когда Батюшков лежал в симферопольской гостинице, перевязанный бинтами, не пришедший в себя после нервного приступа: во время приступа он пытался зарезаться бритвой.

С того года Батюшков ежедневно погибал на каторге буйного бреда. «Черное пятно», которое он носил от рождения, все-таки зачернило его душу; заболевание оказалось неизлечимым, оно было наследственным (мать Батюшкова, Александра Григорьевна, умерла в Петербурге, заболев психическим расстройством в 1795 году, когда поэту было восемь лет). А в 1829 году такая же участь постигла и его старшую, любимую сестру Александру.

Целых тридцать три года Батюшков был «мертв для внешних впечатлений», как писал о его болезни князь П. А. Вяземский. Какая страшная судьба! Батюшков, поэт-эпикуреец, снискавший известность классически-ясными стихами, скульптурными образами, поэт, восславивший радость бытия и упоение битвой, Батюшков, поэт-подвижник, поэт-страдалец, в безумии твердил странную провидческую скороговорку: «И кесарь мой — святой косарь...» — такой представлялась ему собственная жизнь.

После безуспешного лечения в клиниках Германии и

России больного перевезли в Вологду, где он проживал долгие годы на попечении своего племянника Григория Абрамовича Гревенса. Припадки сотрясали его все реже,— в часы относительного выздоровления Батюшков любил рисовать, причем в рисунках его варьировался один и тот же сюжет: крест, луна и лошадь без всадника... могильный холм, луна и лошадь... Очевидно, это воспоминание о незабвенном друге Иване Петине, искаженное болезнью, не покидало поэта до самой смерти. В начале пятидесятых годов в Батюшкове стали обнаруживаться признаки выздоровления: он много читал, цитировал на память целые страницы Державина, стал интересоваться событиями внешнего мира, следить за русскими и иностранными газетами, сообщавшими о «Восточной войне» 1853—1855 годов. Но даже тут его «не устали карать небеса», как в молодости он написал о вечном странствователе Одиссее: в июне 1855 года Батюшков заболел тифозной горячкой и скончался 7 (19) июля 1855 года. Похоронен он был в Спасо-Прилуцком монастыре.

ПУШКИН И ЗЕМФИРА

1

Стоял конец июля, но жара внезапно спала, и утро, на которое был назначен отъезд, выдалось прохладным. Кишинев провожал путников блеянием коз, бегущих по тесным переулкам, скрипом неповоротливых каруц и той утренней дремой, которая, казалось бы, навсегда поселилась в обывательских садах.

Старый город, тесно сбившийся на берегах реки Бык, в самом деле заслуживал свое прозвище — кишла, что по-молдавски означает овчарня, зимний загон. Было в его мазанках-касах, прилепившихся друг к другу, в низких лавочках, в грязных и шумных базарах, во всей скученности и тесноте что-то от овчарни. И когда вместительная коляска наконец выехала за окраину города, когда утренний свежак закрутил под колесами дорожную пыль — дышать стало легче.

Казалось, не только Кишинев, но и то, что в нем томило, угнетало, раздражало поэта,— все осталось позади за некой невидимой чертой.

Более двух лет минуло с той поры, как Пушкин был направлен в бессарабскую ссылку. Прожив некоторое время на заезжем дворе Наумова, он после поездки в Каменку поселился в доме наместника Инзова. Этот дом — двухэтажный особняк — одиноко возвышался на пустыре, и самый вид его поначалу возбуждал в поэте глухую тоску. Сохранился пушкинский рисунок пером: взгорок, несколько тополей, неотчетливая даль. Уныл и неприветлив этот кишиневский пейзаж, набросанный в минуту горестного раздумья.

Пушкину отвели две небольшие комнаты в нижнем этаже: одну занимал он, в другой — прохожей — жил дворовый дядька Никита Козлов. Это был тот самый дядька, которому Пушкин посвятил шутливое двусти-

шие: «Дай, Никита, мне одеться: в метрополии звонят...» Правда, постепенно поэт привык к своей обители, к ее голубым стенам, испещренным восковыми пулями (следами упражнений в стрельбе из пистолета), привык к столу с неизменной спутницей скитаний — чернильницей, в которой он не раз находил «то едкой шутки соль, то правды слог суровый, то странность рифмы новой, неслыханной дотоль». Он привык ко всему небрежному холостяцкому обиходу, к книгам, заброшенным на диван, клочкам бумаги, белеющим на столе, на которые он заносил мелькнувшую строку или профиль кишиневского знакомца.

Но что неизменно тяготило его и раздражало, так это окна с железными решетками. И хотя окна выходили в сад и решетки служили только мерой предосторожности от ночных грабителей, они непрестанно напоминали о собственной участи поэта.

В 1822 году он написал своего знаменитого «Узника». Родилось ли это стихотворение после посещения кишиневского острога, как утверждают современники, или его первые строки возникли здесь, в нижнем этаже Инзова дома,— никто с точностью сказать не может. Известно одно, что генерал Инзов не однажды подвергал поэта домашнему аресту, что у дверей его в такие дни стоял часовой, и тогда «келья отшельника» воистину превращалась для него в каменный острог. Пушкин писал меланхолические послания друзьям, часто встречался с бади Тодором — дворецким наместника, у которого он учился молдавскому языку, и особенно нетерпеливо ждал писем из далекого Петербурга. Но почта приходила редко, и сам поэт слал на север письма, запросы и «бессарабские бредни», как он иронически называл новые стихи. В 1823 году в «Литературных листах» появилось одно из таких новых стихотворений. Называлось оно «Птичка». Поэт был счастлив, что при «светлом празднике весны» он мог даровать свободу хотя бы одному творенью — выпустить на волю птицу. Издатели постарались зашифровать автобиографический и политический смысл стихов коротким примечанием, а петербургские друзья поэта могли только посочувствовать ему: ни царский двор, ни сам император Александр ничего не простили Александру Пушкину и не мыслили даровать ему свободу. Пушкин как был, так и оставался вольнодумцем. Тайный агент из Кишинева доносил по началь-

ству, что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство».

Можно представить, как обрадовало Пушкина предложение его приятеля Константина Ралли поехать в кодры, в молдавские леса, в село Долну, которое принадлежало отцу Константина — помещику Замфираки Ралли.

Дорожную коляску мягко покачивало на выбоинах: лошади бежали ходко. День никак не разгуливался, и было такое ощущение, что вот-вот начнет накрапывать дождь, а он никак не начинался, и поэтому в природе все притихло, притаилось в ожидании.

Далеко впереди, на широкой, пустынной обочине, возникло что-то пыльное, медленно нарастающее; завиднелись верха повозок, стал внятнее лай собак, донесся нестройный гул, какой возникает в степи от скопища людей и животных. Оборачиваясь на коляску, с дороги сошла старая цыганка. Она отогнала в сторону ослика, из переметных корзин которого таращили любопытные глаза цыганята. Женщины шли за фургонами нестройной толпой; они сильно жестикулировали, переговариваясь между собой. Мелькнула ослепительная улыбка одной из них. Старик в рваных, измазанных дегтем портах согнулся в низком поклоне; хрипя, закосился коренник,— и снова зачастили пыльные орешники, снова дорогу окружила всхолмленная пустынная равнина. Но солнце уже прорвало завесу облаков, и, обернувшись назад, можно было видеть, как вольно шел по степи табор, как ярки были ковры на передках телег.

Разговор зашел о цыганах. Их походные кибитки тянулись по берегам Днестра и Прута, белели возле стен Аккермана, окутывались облаками пыли в Буджакской степи.

В самом Кишиневе цыгане ставили свои шатры на склонах Инзовой горы, возле дома полковника Салева.

Пушкин хорошо знал историю происхождения цыган: он читал записки английских путешественников, которые первыми в Европе доказали, что цыгане принадлежали к отверженной касте индийцев, называемых

нариа, что их язык и то, что можно назвать их верою,— даже черты лица и образ жизни — верные тому доказательства. Перед их приверженностью к дикой вольности были бессильны меры, которые в разное время предпринимались правительствами европейских стран: они кочевали в России так же, как и в Англии.

Однако Константин Ралли рассказал своему другу, что в Молдавии именно эти приверженцы первобытной свободы закрепощены, что они обязаны платить со своих подаяний и сборов дань супруге господаря. Во владениях его отца, Замфираки, было несколько таборов лесных цыган; они ведут более оседлый образ жизни, чем их степные собратья.

— А впрочем,— добавил он,— мы можем побывать у них по дороге из Долны в Юрчены.

В Юрченах у Ралли было что-то вроде охотничьего домика или лесной дачи, и здесь же по пути в Долну приятели условились, что непременно они проедут в Юрчены и, если понравится, проживут там несколько дней.

...Уже который вечер, едва густели сумерки, едва начинали светиться огни костров, поэта неудержимо тянуло вниз — туда, где у проселочной дороги, за крайними хатками Юрчен, раскинулся табор старейшины Булибаши. Сам Булибаша — величавый, степенный старик — встречал его неизменным «Просим!». Он немного говорил по-русски и был приветлив к молодому Пушкину той искренней приветливостью, в которой угадывается ум и немалый жизненный опыт. Но не беседы старика, не песни, не пляски обитателей табора влекли Александра. Влекла его Земфира — цыганка, дочь Булибаши.

В небольшом кольце взрослых, озаренных пламенем костра, боролись маленькие цыганята. Один пытался осилить другого с такой серьезностью, с таким усердием, что невозможно было не расхохотаться. И Пушкин хохотал от души. Он вспоминал, как и они, маленькие лицеисты, боролись на лугу и как слезы обиды и огорчения выступали у него на глазах. Какие это были славные, сладкие слезы! Может быть, с тех самых лицейских времен и не было у него на душе так вольготно, так легко, как сейчас в этом таборе, среди простодушной, говорливой толпы.

Александр быстро взглянул на девушку — и она поразила его,— нет, не красотой лица, хотя Земфира и была красива, а какой-то врожденной грацией.

В том, как она закинула руки за голову и рукава ее кофты свободно упали на плечи, как она с улыбкой, искоса посмотрела на него, он уловил главное в ней — свободу и естественность всей натуры, каждого ее жеста и движения.

Все разошлись. В продымленном котле побулькивало пшено. Земфира подкидывала в костер сухие ветки и тогда, при внезапных вспышках света, медно-красно отливали тяжелые монеты на ее груди, гуще падала тень от волос на смуглое лицо.

Табор затихал. Сквозь полотно ближайшей палатки желтело пятно светильника. Резко качнулся силуэт женщины: она успокаивала ребенка, а тот все никак не мог угомониться. Внезапно цыганка запела, и голос ее, доносившийся из-за полога, был глух:

Арде-мэ, фриже-мэ, —

пела цыганка.

Песня смолкла внезапно, как и началась. Но ее отзвук долго жил в настороженной тишине, не гас, не таял в ночном мраке.

Луна сияла в полную меру, и казалось, весь мир был напоен ее сухим льющимся звоном; это неумолчно звенели цикады. Бездну неба, поблескивающую звездами, теснили черные кущи садов, которые вплотную подступали к табору, окружали его безмолвным хороводом. По влажной от росы траве, то пропадая в тени деревьев, то снова возникая на полянах, далеко-далеко протянулся двойной след.

Пушкин не уехал из Юрчен ни через два, ни через три дня, как они договаривались с Константином Ралли. Не уехал он и через неделю. Обеспокоенный старик Замфираки дважды присылал нарочного из Кишинева: не случилось ли чего с молодыми людьми. Но Константин Ралли отписал отцу, что ничего с ними не случилось: «Александр Сергеевич просто-напросто сходит с ума по цыганке Земфире». Возвратившись наконец-то в Кишинев, в кругу семьи Константин рас-

сказывал, что Александр бросил его и поселился в шатре Булибаши... По целым дням поэт и Земфира бродили в стороне от табора, по целым дням поэт наслаждался вольной волей: не случайно Константин видел их держащимися за руки и молча сидящими среди поля.

Сам Пушкин, обычно словоохотливый и откровенный, по приезде из деревни не обмолвился о Земфире ни единым словом. Константин Ралли да и все его семейство объяснили эту замкнутость Пушкина довольно просто: не иначе как цыганка бросила своего вдохновенного поклонника, и Александр Сергеевич мучился теперь ревностью и тоской. Одно было достоверно известно: Земфира неожиданно исчезла из табора, а Пушкин напрасно искал ее по всей округе, ездил даже в Варзарешти. Однако и там ее не оказалось, благодаря, конечно, цыганам, которые успели предупредить своих соплеменников.

Примерно через год — в декабре 1823 года — Константин Ралли писал Пушкину в Одессу: «...цыганку Земфиру зарезал ее возлюбленный цыган...»

Еще в бытность Пушкина в Кишиневе его пребывание в цыганском таборе стало предметом пылких толков и пересудов. Степенное чиновничество не могло, конечно, простить ему независимости суждений, его вольномыслия, даже небрежности его наряда. В материалах к биографии поэта П. А. Бартенев пишет, что «досадно им было смотреть, как он разгуливает с генералами в своем архалуке, в бархатных шароварах и размахивает железною дубинкою. Вдобавок не попадайся ему, оборвет как раз...».

Куконицы — жены куконов, местных бояринов — без конца делились друг с другом догадками, предположениями и невероятными сведениями то про увлечение поэта гречанкой Калипсо Полихрони, то про вечера, проведенные в обществе Пульхерицы Варфоломей, то, наконец, про самую пикантную историю, про эскапад Пушкина с цыганкой Земфирой. А когда появилась поэма «Цыганы», без разговора о прелестной дикарке не обходилось ни одно чаепитие. Немало было язви-

тельных сплетен, и уже при жизни Пушкина возникали легенды о нем, так что современникам нелегко было отделить вымысел от правды.

В конце века самые фантастические россказни стали попадать и в печать. Так, Л. С. Мацеевич собрал воспоминания кишиневских старожилов о Пушкине. Большинство этих воспоминаний не поднималось выше обывательских анекдотов о великом поэте. Мацеевич записал, к примеру, рассказ некоего Шонина. Вот как выглядит предыстория «Цыган» в его изложении. Однажды, повествовал Шонин, Пушкин гулял в окрестностях Кишинева. Наперерез ему бросилось несколько взрослых цыган или мальчишек с целью ограбить или выпросить себе что-нибудь, что, впрочем, безразлично, меланхолически замечает Шонин.

Из дальнейшего сообщения следовало, что Пушкин якобы тут же, дошедши до дома Стамати, вбежал к нему и громко произнес: «Пера и чернил!» И здесь-то, торжествующе заключает повествователь, были написаны первые строки «Цыган».

Но своеобразный рекорд среди всех этих «историй» побила все-таки Елизавета Францева, опубликовав в трех номерах журнала «Русское обозрение» за 1897 год «семейные предания» — «А. С. Пушкин в Бессарабии». Под этим деловым названием скрывается многоречивая и многостраничная повесть.

По «семейным преданиям» Е. Францевой следовало, что не кто иной, как именно ее отец, г-н Кириенко-Волошинов, чиновник канцелярии наместника Инзова, записал одно «истинное» происшествие, случившееся в цыганском таборе под Кишиневом. Пушкин же, прочитав эту рукопись, сделал поэтическое изложение ее — «Бессарабские кочующие цыганы». Это изложение сохранилось в памяти Е. Францевой, его-то она и считает предысторией или «первым вариантом» поэмы «Цыганы».

Думается, г-жа Францева не постеснялась выдать за вновь открытую рукопись великого поэта собственные дилетантские упражнения в стихах и прозе.

На фоне всех этих «воспоминаний», «семейных преданий», «историй» только *записки Ралли-Арборе*, в отличие от других свидетельств кишиневских старожилов, вызывают полное доверие. Эти записки я и по-

ложил в основу рассказа о поездке Пушкина в Долну.

Сам автор этих записок был весьма примечательной личностью. Писатель, крупный революционный деятель, ближайший сподвижник Бакунина, Замфир Константинович Ралли-Арборе рано осиротел. Поэтому он составил запись семейных рассказов о Пушкине не со слов отца, Константина Ралли, того самого Ралли, с которым Пушкин ездил в Долну и Юрчены, а со слов своей тетки Екатерины Захаровны Стамо-Ралли, хорошо знавшей, как, впрочем, и все их семейство, высланного в Кишинев поэта.

Маленького роста, с выразительным смуглым лицом, прекрасными большими глазами, Екатерина Захаровна была умна и начитанна.

На одном из черновиков поэмы «Цыганы» есть рисунок табора: шатер, силуэт женщины, кормящей грудью, телега, бродячая собака. И, как ни странно, здесь же профиль нахмуренного, насупленного мужчины восточного типа. По словам Блока, Пушкин чувствовал «какую-то освободительность рисунка», машинально чертил то, чем был занят в данное время. Исследователи установили, что профиль на рукописи «Цыган» принадлежит Апостолу Стамо, мужу Екатерины Захаровны.

Тетка Замфира Константиновича Ралли-Арборе была несчастлива в браке. Ее муж, кишиневский чиновник, был намного старше своей молодой жены. Пушкин прозвал его «бараньей физиономией» (точнее, в переводе с французского, «баран-вожак»). В письме, адресованном кишиневскому приятелю Н. С. Алексееву и помеченном тридцатым годом, напротив, поэт с большой теплотой отзывался о самой Екатерине Захаровне как о женщине «милой воспоминанию». Все эти факты показывают, что, с одной стороны, творческая история «Цыган» более сложна, чем это принято думать, а с другой, что в период создания поэмы — в январе — октябре 1824 года — Пушкин думал о семействе Ралли, думал о тех непростых отношениях, какие сложились между ним и этим семейством.

Вот почему исследователь жизни и творчества Пушкина Петр Щеголев заметил, что «изо всех известных рассказов о том, как Пушкин бродил среди цыган, только от рассказа Е. З. Стамо-Ралли веет жизненной правдой».

Другое дело, что к толкованию фактов и к некоторым подробностям в рассказе Е. З. Стамо следует подойти с большой осторожностью. Например, Екатерина Захаровна говорит своему племяннику, что, даже спустя много лет, она хорошо помнит Земфиру. Вместе с тем она едва ли могла видеть цыганку, потому что после пребывания Пушкина в таборе Земфира внезапно исчезла и, как следует из письма К. З. Ралли, через год погибла от руки соплеменника.

Кроме того, Екатерина Захаровна, вольно или невольно, придала портрету Земфиры черты некой экзотической красавицы, дикарки («Одевалась Земфира по-мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку»), что вполне соответствовало ее представлениям о девушке из табора.

Не случайно также, что после того как Пушкин прислал своих «Цыган»,— «все мы,— рассказывает Екатерина Захаровна,— много смеялись над пылкой фантазией поэта, создавшего из *нашей* Земфиры свою свободолюбивую героиню». Неприязненно отнеслась Е. З. Стамо и к «неисправимому эгоисту» Алеко,— так на цыганский лад называет она Александра, которому вряд ли следовало идти в табор «наших бедных юрченских дикарей».

Вообще в воспоминаниях Екатерины Захаровны Земфира предстает этакой amoriete, а история взаимоотношений Пушкина с нею — «шалостью», забавным приключением молодых людей, приехавших рассеяться в родовое поместье.

Факты говорят о другом. Сам Пушкин — и это дважды подчеркивает Е. З. Стамо — не обмолвился ни единым словом о поездке в Долну и Юрчены. Зато в эпилоге к «Цыганам» можно встретить вполне достоверное автобиографическое признанье:

...Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями...

По выражению А. Слонимского, в «Цыганах» совершается драматический переход «от счастья к несча-

стью», как в греческой трагедии по знаменитому определению Аристотеля. Этот переход от счастья к несчастью подчеркнут не только судьбами Алеко и Земфиры, но и инструментовкой поэмы, ее звукописью, ее общим звучанием. Посмотрите, сколько веселого оживления, пестроты, сочности в первых главах поэмы, описывающих сборы табора в недальний путь:

Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Все скудно, дико, все нестройно;
Но все так живо-беспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег...

И как приглушены, как скорбны тона в последней главке: «...Поднялся табор кочевой с долины страшного ночлега. И скоро все в дали степной сокрылось...» Создается ощущение, что табор бесшумно исчез, как исчезает станица перелетных птиц в бескрайней голубизне неба. Не случайно возникает в воображении поэта и образ смертельно раненной птицы; одинокая кибитка, крытая убогими коврами, действительно издали напоминает птицу с перебитым, опущенным долу крылом.

Таков, по сути дела, и Алеко.

Если бы Пушкин только «развенчивал байроническую сущность героя», как и поныне толкуют «Цыган» школьные учебники, то этого образа — образа птицы, «пронзенной гибельным свинцом»,— в поэме не было бы.

Но поэма задумана как произведение о современном человеке и для современного человека, она задумана как произведение о трагическом несоответствии не только двух характеров, но и двух ступеней в духовном развитии человечества: с одной стороны, естественная «дикая» вольность Земфиры, с другой — романтическое свободолюбие Алеко, которое вбирает в себя всю современную цивилизацию, все ее достоинства и пороки.

Напрасно Алеко тешил себя иллюзиями, что только в опрощении, только в пренебрежении благами цивилизации и просвещения он обретет самого себя. Он бежал от «неволи душных городов», он чужд городской толпе, где его сограждане «любви стыдятся, мыс-

ли гонят», врочем, он чужд и толпе нищих цыган.

«Ты для себя лишь хочешь воли»,— пророчески говорит ему старый цыган. Крушение всех жизненных и нравственных принципов Алеко происходит не только из-за его врожденного эгоцентризма, не из-за дурных наклонностей, ослепления ревностью и так далее, но также из-за ложного, противоестественного положения человека в современном мире, которое заставляет искать его пристанища в первобытной среде, поддерживает в нем наивные иллюзии о «золотом веке» человечества.

В таборе Алеко изменился, но изменился он внешне, усвоив привычки окружающих, применившись к новым условиям жизни. Ему кажется, что он уже стал «вольным жителем мира», что он наконец-то обрел неограниченную духовную свободу, что его сын, как сказано в черновом варианте поэмы, получит «с даром жизни дорогой неоцененный дар свободы...». Но сущность Алеко осталась неизменной — он был и остается воплощением одиночества; свобода про себя и для себя — это еще не свобода. Он сам не хочет, не смеет додумать это до конца; он даже здесь, под пологом шатра Земфиры, «грусти тайную причину истолковать себе не смел».

Вот почему Алеко испытывает жгучую потребность в любви. И эта потребность в нем тем острее, чем острее возникает в нем ощущение собственной неустроенности, одинокости. Он жаждет любви как единственного и последнего средства духовного возрождения. Кроме того, любовь Земфиры для него — это путь к восстановлению неразрывных связей с людьми, с обществом, пусть даже в такой его примитивной формации, как цыганский табор,— это путь к действительной свободе.

Не кто-нибудь, а именно Земфира «в минуту разогнать умела» его тайную грусть, его задумчивость, вселяла в него чувство полноты жизни и счастья. Алеко — этому явному «антигерою» прошлого века — более необходима любовь, чем ей самой. Земфиру же любовь тяготит, она скучает с человеком, который сложен, непонятен для нее, как сложна и непонятна среда, которая породила тоску и страстную жажду свободы, испытываемых Алеко.

Мы любим горестно и трудно,
А сердце женское шутя,—

отнюдь не случайно сказано в черновиках «Цыган». Здесь — в этом противопоставлении двух мироощуще-

ний — и заключена драма любящих сердец. У Алеко даже расцвет его любви омрачен тяжкими предчувствиями, чувством непрочности счастья. Алеко молит свою подругу:

Не изменись, мой нежный друг!
А я... одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье!

Любовь Земфиры лишена такой трудной, горестной окраски: ей неведомо чувство неуверенности в любимом человеке, боязнь за него. Ведь для Земфиры любовь не является таким всепоглощающим чувством, такой роковой страстью, какой она является для этого пария в среде отверженных. Щедротами своей души Земфира делится радостно и простодушно, она вольна в своих привязанностях. Но как только любовь становится ей в тягость, не доставляет ей радости одарения — она покидает возлюбленного.

Стремительно, неотвратимо нарастает трагическая развязка. Вот почему Пушкин, когда поэма была уже завершена, в эпилоге счел необходимым еще раз подчеркнуть главную мысль:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под изодранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

«Смиренной вольности» бедных и, по существу, несчастных детей природы мало современному человеку. Не принесет ему счастья ни самоотречение, ни бегство в природу, ни погружение в «роковую страсть» — в любовь.

Только в тревогах жизни бурной, только в жажде деяния, достойного его самого, может обрести человек желаемое обновленье — таков философский вывод «Цыган», этой лучшей романтической поэмы Пушкина.

2

Я не знаю, кто из людей, причастных к литературе, удержался бы от соблазна побывать в местах, где Пушкин встречался с цыганкой Земфирой, где он познал любовь и долгую печаль? Я от такого соблазна не удер-

жался. И наша поездка в Долну и Юрчены навсегда останется живейшим воспоминанием в моей душе.

Помогли мне в этой поездке, составили компанию журналист Василий Широкий и поэт Виктор Кочетков, кстати сказать, пешком исходивший памятные пушкинские места... Почти полтораста лет минуло с той поры, как дорожная коляска с двумя молодыми людьми выехала за окраину Кишинева. Но и нам было отрадно покинуть раскаленный город, его проспекты, грохочущие от нескончаемого потока грузовиков, самосвалов, троллейбусов, чтобы повернуть на северо-запад — туда, где скрывалось таинственное для меня селение Долна.

Вот когда наконец-то я увидел настоящую Молдавию. По мере того как под колеса редакционной «Волги» бросались все новые и новые километры шоссе, один вид живописнее другого открывался нашему взору. Иногда казалось, что машина стоит на месте, а вся округа с полями подсолнечника и кукурузы, с дальними холмами и облаками медленно поворачивается вокруг своей оси, а в центре этой оси находишься ты, просто по-человечески обрадованный красотой Молдавии.

У всех у нас было такое приподнятое состояние. Я назвал бы его счастьем дороги... Когда ветер врывается в кабину и треплет волосы, когда мимо со свистом проносятся автобусы и грузовики, начинаешь особенно оживленно говорить, но не слушаешь ни себя, ни других, потому что все время замираешь от ожидания чего-то неизъяснимо прекрасного, что ждет тебя в конце пути.

— Вообще-то Молдавия — страна линий, а не красок,— неожиданно сказал Вася Широкий.

И как ни парадоксально было это определение виноградной, солнечной, коричнево-зеленой Молдовы, приглядевшись, нельзя было не согласиться с ним. Линии, плавные и мягкие, то сливались друг с другом, то разъединялись, образуя прихотливые узоры садов, пастбищ, склонов виноградников и водохранилищ. Позднее мне довелось повидать в республиканском музее пейзажи П. А. Шиллинговского, и я обратил внимание, что именно в непрерывно узорном ритме, а не в коричневых «жженых» тонах художник передал свое точное ощущение Бессарабии.

Внезапно кружение холмистых склонов замедли-

лось — машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и стала взбираться вверх по откосу: Долна!

Мы остановились возле белого здания, бывшей помещичьей усадьбы, и огляделись вокруг.

Если уподобить девственные кодры океану, то Долна похожа на рыбачий поселок, что приютился в глубине небольшой бухты. Вправо и влево от нас, вплоть до самого горизонта, застыли медленные валы холмов, а перед нами краснели черепичные крыши хаток. Селение было рассыпано в явно живописном беспорядке, который всегда поражает людей, выросших на равнинах. А над всем этим великолепием — купол тишины и покоя.

Мне довелось побывать во многих местах, связанных с именем Пушкина, и у меня создалось ощущение, что отпечаток гениальности лежит на самой природе, на ее величавости и простоте, что отнюдь не случайно именно в таких краях земли, как долнянские кодры, рождались великие творения ума и таланта.

В бывшей усадьбе, принадлежавшей когда-то семейству Ралли, теперь расположен музей.

Осмотр экспозиций занял у нас немного времени. Среди экспонатов, фотокопий рукописей поэта, прижизненных изданий, картин местных художников наше внимание привлекли иллюстрации к «Цыганам» народного художника СССР Ильи Богдеско. Иллюстратор не только нигде не погрешил против исторической правды и не только избежал слащавой «цыганщины», но, следуя вольнолюбивому духу поэмы, вынес действие на бескрайние просторы Молдавии. Природа в его рисунках — не фон, а соучастник событий, та стихия, в которой нашли недолгое счастье и гибель Алеко и Земфира.

Позднее Илья Богдеско рассказал мне, что по примеру Пушкина он увязался в давнем-давнем году за цыганским табором и прошел с ним немалую часть степной Молдавии, делая на ходу зарисовки и эскизы. Произошло это случайно: молодого художника привлекла красота цыганской девушки, которую, как он потом узнал, по странной случайности звали Земфирой. Но древнее поверье цыган запрещает рисовать человека. Это — дурная примета, человек непременно умрет. Тогда, чтобы в самых общих чертах схватить присущий *его* Земфире гордый и независимый нрав, Илья Богдеско пустился в путь с крохотным — из трех телег —

табором. Дорожные наброски и зарисовки пригодились ему позднее, когда художник приступил к иллюстрации пушкинской поэмы — давнишней своей мечте.

Мы вышли из музея. После полумрака и прохлады комнат особенно ярко блестела зелень лугов, густо синели напоенным зноем дали. Окруженные тишиной и величавым покоем, мы не сразу заметили гранитный обелиск, притененный старым каштаном. И, не будь с нами Виктора Кочеткова, мы прошли бы, вероятно, мимо него, допустив горькую ошибку!

Этот серый гранит имел прямое отношение к памяти А. С. Пушкина.

...Румынские оккупанты, незаконно захватившие Бессарабию в восемнадцатом году, пытались вычеркнуть имя Пушкина из сознания молдавского народа. Они изрубили топором надпись на памятнике поэта в Кишиневе. Сожгли Пушкинский народный театр, открытый к столетью со дня рождения поэта и известный под названием «Пушкинской аудитории».

Однако светлый облик Пушкина не померк в сердце народном. Осенью 1940 года, после освобождения Бессарабии, жители Ниспоренской округи первую свою сельскохозяйственную артель назвали именем Пушкина... Но деревенских активистов Пушкинского сельсовета румынско-фашистские каратели расстреляли здесь же в Долне.

...Мы стоим возле скромного обелиска. Узловат ствол старого каштана, развесист его зеленый шатер — благодатна земля, взрастившая его. Щедро полита она весенними дождями и кровью людскою. Тихо и солнечно вокруг. Так тихо, что на какое-то мгновение, кажется, можно услышать въявь голос поэта, который немного нараспев, на старинный лад читает бессмертные строфы:

Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ плаха славного мой след уединенный,—
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье...

3

В Юрченах — большом молдавском селе, утонувшем по гребни крыш в садах и виноградниках, мы долго разыскивали Павла Петровича Андриеша — директора местной школы и краеведа. В любом из нас жила тайная мысль: а не расскажет ли нам Павел Петрович что-нибудь новое о Пушкине и Земфире.

Кто-то показал на дом Андриеша. Притулившийся к крутому откосу, этот дом ничем не выделялся среди других юрченских домов с террасами, хозяйственными пристройками, гирляндами красного перца, лука и желтых табачных листьев, со всем тем давно обжитым уютом, который так привлекает заезжих горожан. Как и в соседних дворах, здесь торчали на кольях перевернутые горшки, сквозь зелень просвечивали дымчатые сливы, тяжело клонились долу шапки подсолнухов. Только, может быть, ниже над окнами опускался навес толстой камышовой крыши да поменьше, чем у других, были старинные переплеты рам. Павел Петрович был болен, и поэтому роль гостеприимной хозяйки взяла на себя его теща, Агафья Фоминична Палади. Мы поднялись по ступеням крыльца и прошли в одну из комнат. Толстенные балки потолка, маленькие оконца, ковры-килимы на стенах и на полу, да и все убранство комнаты, которое характерно для квартир сельских учителей, настраивало на неторопливый разговор.

Вот здесь-то нам по-настоящему и повезло.

— Вы знаете, а ведь по этим половицам ступал Александр Сергеевич Пушкин... И сюда к нему из табора приходила Земфира,— сказала нам Агафья Фоминична.

Можно представить, каким радостным и неожиданным для нас было это известие. В него не просто хотелось верить, в него невозможно было не поверить. Как сказал Александр Блок: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин». И приобщиться к этому веселому и светлому имени — счастье для любого. Это счастье мы находим не только в постижении поэтического гения Пушкина, но и в личных переживаниях, которые доставляют нам памятные пушкинские места. А здесь мы в некотором роде становимся первооткрывателями, мы узнаем какой-то новый штрих, какую-то новую деталь в биографии поэта. Здесь мы можем вволю помечтать, представить себе, как вот на этой скамье

сидел Пушкин, как он нетерпеливо ожидал Земфиру, как она входила в эти комнаты...

Но хотелось новых подтверждений, новых доказательств, что именно здесь жил Пушкин более ста пятидесяти лет тому назад.

— Когда-то Юрчены были небольшим хутором,— продолжала Палади,— и сюда летом приезжали господа помещики — отдохнуть, поохотиться в окрестных лесах. Наш дом был чем-то вроде охотничьей сторожки. Он — старый, очень старый: однажды мы затеяли ремонт, потребовалось продолбить балки — и дерево не могли взять железом: от старости оно стало крепким, как кость. Да, повторяю вам: в нашем доме жил Александр Сергеевич, когда он приезжал в Юрчены!..

Вскоре мне довелось узнать новые подробности из истории дома Андриеша.

«Дом, в котором мы живем,— писала мне в Москву А. Ф. Палади,— я унаследовала от своей прабабушки, которой в 1918 году, когда я прибыла в Юрчены, было сто лет. По ее рассказам, этот дом когда-то принадлежал помещику Ралли. В 1922—1923 годах в Бессарабии издавалась газета «Бессарабское слово» на русском языке. Вот в этой газете мы с мужем прочли также статью о том, что А. С. Пушкин был на хуторе у Ралли и ступал в нашем доме...»

Вот оно, «милое» поэту воспоминание о нем! Вот оно, живое предание, передаваемое из рода в род!

...Мы едем в Ниспорены, а потом обратно в Кишинев. Но у каждого такое чувство, словно здесь в Юрченах, под этой камышовой кровлей, мы оставили частицу собственной души.

Среди быстро сменяющихся впечатлений, которые дала мне поездка по Молдавии и придунайским районам Одессщины, пребывание в селе Долны и Юрченах оставило едва ли не самый сильный и глубокий след. Однако цель моей поездки вовсе не заключалась в сборе новых пушкинских материалов. Нет, все вышло, как говорится, само собой. Смутная мечта, жившая во мне давно,— посетить земные уголки, города и веси, где некогда жил Пушкин, привела меня в Кишинев. Отту-

да я проехал в село Долну, в Юрчены, а затем почти по пушкинскому маршруту — в Белгород-Днестровский (Аккерман), в Измаил, в городок Вилково, что расположен в самом устье Дуная, иначе говоря, в те места, в которых по преданию окончил свой век Овидий Назон.

Пестрая, случайная смесь путевых наблюдений, без которой не обходится ни одно путешествие,— все это заносилось мною в черновики. Мне хотелось воссоздать пусть мозаичный, пусть неполный, но по мере сил и возможностей живой образ Молдавии. И теперь эти молдавские записки были бы неполны, если бы я не рассказал о других памятных встречах, с другими людьми, одержимыми любовью к Пушкину, поэзии, искусству...

4

Нас шумно приветствовал седой человек, с синими, непривычными для молдаванина глазами. Заговорил он быстро и охотно, как будто давно ждал гостей. Это был художник Иаким Николаевич Постолаки. В его мастерскую мы зашли, как говорится, на огонек, но не раскаивались в этом, потому что сразу же попали в мир удивительный, в мир странный, где фантазия и реальность, воображение и жизненный опыт творят чудеса. Вообще мастерская художника прикладного искусства совсем не похожа на студию модного живописца, где многое выставлено напоказ, как будто для того, чтобы удивлять и поражать посетителей; мастерская художника-прикладника — это лаборатория, ибо сам он — вечный экспериментатор, исследователь, изыскатель, который проводит опыты, сравнивает образцы, отбрасывает одни, принимает другие и всегда руководствуется изречением поэта, высказанным в форме вопроса, но от этого не менее действенным и прекрасным: «Доволен ли ты сам, взыскательной художник?»

...На полках вдоль стен в хаотическом нагромождении стояли фигурки из глины, из гипса, из дерева, из древесных корней; кувшины, украшенные геометрическим орнаментом; плоски — молдавские плоские фляги для вина — с цветными ангобами; изделия потечной глазури и изделия глазури восстановительного огня; лежали папки с эскизами, рисунками, вырезками из газет...

От монументальных панно и цветных витражей до костюмов национальных ансамблей, от городских стендов до изящных безделушек — таковы масштабы деятельности художника-прикладника. И во всем, за что бы он ни брался, он должен проявлять художественный вкус, высокий профессионализм, а главное, верность национальным традициям и чуткость к веяньям века.

...По мере того как развивалась наша беседа, нам все больше нравился этот старый мастер, как бы изнутри озаренный воодушевлением, нет, пожалуй, следует сказать — восхищением перед своей профессией, перед своим призванием. Постолаки мог быть и рассерженным, и недовольным, но при этом всегда предельно откровенным, ибо разговор шел о проблемах прикладного искусства. Воспользовавшись паузой, я обратил внимание на одну необыкновенно выразительную майолику: это была фигурка девушки в ярком национальном наряде... Девушка в душевном порыве протягивала вперед руки, она то ли окликала кого-то, то ли прощалась навсегда..

— Ее зовут Мариула,— ответил на мой молчаливый вопрос Постолаки. И в свою очередь спросил:— Вам нравится она? Даже очень?.. Ну, это замечательно... Раз нравится, значит, доставляет приятное чувство. Доставляет наслаждение. А в этом я и вижу жизненную цель — даровать людям наслаждение... Ведь в своем доме, среди памятных сувениров, человек не будет держать вещь, которая бы его раздражала... Такого быть не может. Человек ищет такое, что радовало бы его. К сожалению, майолики у нас делаются чаще всего по поточному методу, и молдаванку с корзиной винограда невозможно отличить от украинки со снопом пшеницы... Говорят, что в таких майоликах безраздельно господствует современность. По-моему, в них господствует равнодушие и дурной вкус... Искусство малых форм не должно быть делом, измельчающим вкусы людей, оно должно быть в первую очередь искусством... Вот вам копия маленькой терракотовой скульптуры из древнего Херсонеса,— бог ты мой, да на одну эту головку «Веселого раба» можно смотреть часами!..

Постолаки помолчал. Его синие глаза горели прежним воодушевлением, а все мы, присутствовавшие в ма-

стерской, были не только согласны с ним, но и полностью разделяли его радости и заботы.

— Когда-то в молодости, в году тридцать седьмом, мне довелось принимать участие в оформлении румынского павильона на всемирной выставке. Жил я тогда в Бухаресте и мало что знал о Советском Союзе: ведь румынская реакционная печать предпочитала писать неправду о великой стране. И вот я никогда не забуду неожиданного, окрыляющего впечатления, которое произвел на меня советский павильон, а прежде всего вознесенная ввысь, напряженная, стремительная скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». К счастью, увидел я в ней не только современность, я увидел в ней будущее народа... И — прошлое его!.. Там же, на выставке, мне пришлось встретиться с югославским скульптором Иваном Мештровичем. Он также видел изваяние Мухиной; позже мне передавали его слова: «Друзья мои, верьте мне,— это великое искусство!..»

...Нечто памятное и важное открывалось нам теперь за каждым словом Постолаки. Происходило так потому, что он рассматривал привычные нам вещи и явления с иной стороны, что он ощущал их по-своему... При всем том еще и мечтал вслух: это были мечты художника, которые поддерживают желание что-то совершить такое, что никогда прежде не было по силам совершить.

— У Ивана Мештровича,— продолжал Постолаки,— можно найти немало библейских сюжетов. Но дело не только в этих сюжетах, не только в образах мучеников и апостолов православной церкви. Дело в том, что страдание — вот источник поэзии Ивана Мештровича. Но страдание особого свойства,— оно одновременно возвышает человека, воскрешает его из тьмы повседневных сует... Таково воздействие и скульптуры, и музыки, и поэзии... Он же, Мештрович, как никто другой, передал возвышающую святость всечеловеческой любви и особенно любви материнской... Вспомним его мрамор «Мать и дитя». Взгляд, устремленный вверх, исполненный ожидания, испуга, надежды, взгляд матери, на коленях которой распростерто обнаженное тельце ребенка. Таким человек вступает в жизнь, таким беспомощным и беззащитным он будет для матери всегда. Но для меня в этом мраморе запечатлен не только всечеловеческий, но и собственно-национальный

опыт скульптора. Я угадываю «праисторию» святой матери: набеги иноземцев, удары сабель, пожары, заунывный звон колоколов... Во всяком случае, все это я вижу, прозреваю в мраморе «Мать и дитя» или в его знаменитой скульптуре «Распятье». Вот они — эти чудовищно распухшие ноги Христа, эти тяжелые болты, вбитые в ладони, это изможденное, исстрадавшееся тело богочеловека — оно вопиет о боли, оно живой укор всем нам. Иван Мештрович не раз и не два обращался к образу Христа и всегда с великой самоотдачей говорил о его духовных, его физических муках. Здесь, в деревянной скульптуре, Мештрович остался верен самому себе. Но верной себе осталась и Мухина, которая передала в своих фигурах порыв к будущему, к нашему Завтра... И вот эту верность времени и себе сразу же подметил Иван Мештрович, который сказал: это — великое искусство... Именно таким, по-моему, и должен был язык современной пластики: не поучать, не наставлять должен ваятель, а кричать о всех страданиях человечества и радостях его.

Иаким Николаевич, видимо считая, что разговор на этом закончен, предложил выпить турецкого кофе, заваренного каким-то особым способом, известным, как сказал хозяин, лишь ему одному. Пока мы прихлебывали кофе из крошечных фарфоровых чашечек, пока говорили о каких-то необязательных вещах, я не удержался и взял в руки майолику Постолаки, поразившую мое воображение: во всем облике девушки было что-то, не подберу другого слова, неповторимо прекрасное.

— А почему свою майолику вы назвали «Марицула»?..

Иаким Николаевич вновь оживился при этом вопросе. Но ответил далеко не сразу. Вернее, он начал говорить как будто совсем о другом, об эскизах для танцевального ансамбля «Жок».

— Костюм — это наш язык! Мы можем выражать им свои чувства, как музыкант — мелодией, как скульптор — резцом. Иногда думают, будто для молдаван характерны контрастные тона и расцветки. В какой-то степени это верно. Однако традиционное молдавское убранство сдержанно и собранно во всем: в нем пре-

обладают белые тона,— даже вышивка на белоснежной сорочке может быть выведена белым шелком. И только безрукавка, которую вышивает девушка своему возлюбленному,— богата по выдумке, орнаменту, по цветам. Ведь девушка вкладывает в свой как будто бы «немой» язык узоров — любовь, преданность, страстность.— Иаким Николаевич сделал паузу.— И после этого мне говорят, чтобы я поучал народ красоте? Да мне, немолодому уже человеку, всю жизнь ходить у народа в подмастерьях, восхищаться искусством народных мастериц! Вот с какими мыслями я и приступал к созданию майолики: мне хотелось запечатлеть одаренность этой девушки, ее душевное богатство, ее красоту. Что же касается имени Мариула, то оно — из самых любимых, самых распространенных имен в Молдавии. Помните у Пушкина:

В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

— Вы, конечно, знаете,— как бы между прочим спросил Постолаки,— что молдавская девушка Мариула существовала реально и что именно ей посвятил Пушкин своих «Цыган»?..

Не скрою: последний вопрос Иакима Николаевича был для нас полной неожиданностью. Как?! Ведь совсем недавно в Юрченах старая учительница уверяла, что в ее доме Пушкин встречался с цыганкой Земфирой. А теперь, оказывается, существовала еще и Мариула? Нет, я лично не мог согласиться с такой версией... Я стал горячо убеждать Постолаки, что он не прав. В самом деле,— говорил я,— в эпилоге поэмы вспоминается имя Мариулы, но это еще ничего не значит. Просто такова была литературная традиция той эпохи. В духе этой традиции Пушкин, к примеру, называл себя Эмилием. Под именем Мариулы он мог скрыть подлинное имя девушки, которую встретил в таборе Булибаши. Имя Земфиры было важно скрыть еще и потому, что Пушкин знал — он не мог не знать — о снисходительно-ироническом отношении, которое вызывала его пылкая привязанность к цыганке со стороны близких ему людей. А ведь этими людьми были Екатерина Захаровна и Константин Ралли... Екатерину Захаровну безусловно задела любовь Пушкина

к Земфире, крепостной девушке ее матери. Вот она и принизила образ Земфиры, изобразив ее дикаркой, а всю историю как шалость повесы-поэта.

На самом деле все было далеко не так. Пушкин был потрясен известием о гибели Земфиры, об этом можно судить хотя бы по тому, что поэма «Цыганы» после этого известия дописывалась необычайно быстро...

Иаким Николаевич Постолаки выслушал мои возражения и все-таки не согласился с ними. По его мнению. имя Мариулы — не дань литературной традиции, а имя реальной девушки, которое и повторял Пушкин во время странствий по Молдавии. Кстати, об этой Мариуле, или Марионелле, сообщают в своих воспоминаниях Липранди и Тепляков. Что же касается Екатерины Захаровны Стамо, то ее отношение к Мариуле, если только бы она знала о ней, было бы нисколько не лучше, чем к цыганке Земфире. Уж таковы были сословные предрассудки, свойственные не одной этой образованной и умной женщине.

...Вот при каких обстоятельствах и совершенно неожиданно выяснилось, что Постолаки любит ранние поэмы Пушкина, что многие годы он запоминал все, что так или иначе было связано с великим поэтом... Как и всякий художник, работающий в прикладном искусстве, он нередко обращался к подлинным документам, к предметам быта и памятникам культуры прошлого. Ведь для художника-прикладника особенно важна бытовая сторона жизни: наряды, украшения, орнамент на одежде и многое другое... Откуда, например, берет узоры для своих эскизов художник? Да хотя бы с икон, называемых «парсунами». Такова «парсуна» Тудора Владимиреску, где он изображен в богатой, украшенной мехами и вышивками дуламе, своего рода длинном кафтане... Иногда можно что-то высмотреть на книжных заставках или на лубочных картинах, которые, кстати сказать, точно передают бытовой колорит времени.

И вот однажды художнику попалась лубочная картинка «Черная шаль», созданная по мотивам знаменитого пушкинского стихотворения. Постолаки заинтересовала история этого лубка, а соответственно, и стихотворения Пушкина, имеющего подзаголовок «молдавская песня»... В конце концов он открыл для себя нечто более важное — он открыл пушкинскую Мариулу.

...Когда вечерняя мгла спускалась на каменные храмы, стены которых, по молдавскому обычаю, были расписаны иконниками не изнутри, а снаружи, на дворцы и бедные хаты в магалах, пригородах Кишинева, когда затихал шум боярских рыдванов, щегольских колясок, чиновничьих бричек и крестьянских каруц,— горожане высыпали под сень уличных акаций. Под этой сквозной сенью медленно проплывали остроконечные шапки молдаван, красные фески греков, чалмы-тюрбаны турок, треуголки и кивера русских офицеров, шляпки местных модниц и тяжелые шали их родительниц, короче говоря, живописная, пестрая, нарядная толпа кишиневцев господствовала в эти часы на улицах бессарабской столицы. Пушкина и пленяла и раздражала эта толпа, хотя у поэта было уже немало знакомых, друзей, недругов, завсегдатаев аристократических салонов и офицерских бильярдных, вроде той, что находилась в «Зеленом трактире». В этом «Зеленом трактире» было также превосходное местное вино, там подавали местные блюда, турецкий кофе и шербет, там был оркестрик из дворовых музыкантов-цыган, но главное — там была Мариула... На открытой веранде, где в ветвях акаций и во вьющемся винограде горели плошки с огнем, где в эти теплые вечера было особенно оживленно и шумно, Пушкин ждал, когда появится Мариула. И она появлялась: ее огромные глаза, по восточному обычаю сильно подкрашенные, подведенные сурьмой, ее тонкие руки,— все было устремлено к нему... Оркестрик начинал мелодию. Сквозь глухие гулы барабана и меланхолические вздохи скрипок прорывался ее высокий голос... Много раз Пушкин слышал одну и ту же песню, знал от друзей ее перевод, но все-таки поражался тому, с каким непревзойденным чувством исполняла всегда эту песню девушка-молдаванка. В такие минуты душевного волнения он ощущал, как кровь приливает к лицу и холодеют пальцы рук; его потрясали эти муки любви, муки ревности. Так было и в тот раз, когда Мариула пела песню только для него: «...Я вытащил палаш из ножен и жестоким ударом повалил ее на землю... Я помню теперь ее мольбу. Открытые губы просили поцелуя, поцелуя просили в ту минуту... Но я молча вытер палаш черной шалью...»

14 ноября 1820 года Пушкин написал стихотворение «Черная шаль». В тот же вечер он прочитал его Мариу-

ле, а затем — в кругу знакомых офицеров — у генерала М. Ф. Орлова. Читал эти стихи он и в других кишиневских домах. «Черная шаль» стала мгновенно распространяться в списках, а после публикации в «Сыне Отечества», которым Пушкин остался очень недоволен из-за ошибок и исправлений,— ее знала вся читающая Россия. В скором времени «Черная шаль» была положена на музыку композитором Верстовским. Исполнял ее известный тогда певец Булахов. Публика была в восторге: обычно подобные «кантаты» исполнялись действующими лицами во фраках и с нотами в руках. а здесь,— после того как поднимался занавес,— представала комната, убранная по-молдавански; Булахов, одетый тоже по-молдавански, сидел на диване и смотрел на лежащую перед ним черную шаль. После музыкального вступления он начинал:

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

— Публика не без оснований считала,— сказал Постолаки,— что в самых звуках имени Мариулы поэту чудилась магическая власть и напевность. И трагизм, который есть и в молдавских дойнах, и в песнях цыган, блуждающих по вольным степям Бессарабии... Нет, совсем неспроста Пушкин, отправляя из Михайловского только что законченную поэму, дописал последнюю строфу:

...И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

...До полуночи продолжался разговор у Иакима Николаевича Постолаки о Пушкине и Мариуле, о молдавской музыке и поэзии, о прошлом и настоящем этой чудесной страны. Иаким Николаевич несколько раз приносил черный турецкий кофе, несколько раз мы собирались уйти, но никак не могли собраться. И вот теперь, когда я вспоминаю речи художника, его высказывания, весь его облик, я думаю о словах Родена: «Восхищение,— заметил великий скульптор,— это хорошее вино для благородных умов».

5

Всю жизнь меня тянет к воде, к водному простору — будь это Кубеноозерье, ненасытная для глаз го-

лубизна Байкала, медлительная Даугава или бурная Ангара. В дальних и близких командировках я стараюсь как можно быстрее выбраться из городской суеты, пройти к пристаням, лодкам, теплоходам, баржам, плотам, к свежему ветру, к тому особому миру, который всегда бодрит и радует бесконечным разнообразием и простором.

«Я никогда не чувствовал себя одиноким у реки»,— сказал как-то Хемингуэй, и с юношеских лет я познал на себе истинность этих слов: возле большой воды я тоже никогда не чувствовал себя одиноким. Напротив, каменные строения без реки, без водной глади кажутся мне какими-то однообразными, скучными. Они не остаются в памяти, вернее, не оставляют в душе столь сильный отпечаток, как города и селения, в которых есть какая-никакая набережная, какой-никакой причал, какая-никакая лодка и которых, к счастью, не счесть на нашей обширной земле. Но сильнее и неотвратимее всего меня влекут, конечно, великие реки России. Ожидание встречи с ними доставляет не меньше переживаний, чем встреча с чем-то давным-давно загаданным, заочно любимым, но знакомым лишь понаслышке.

И все-таки среди всех рек нашей Отчизны едва ли не самой сладостно-ожидаемой была для меня встреча с Дунаем.

«Ах, Ду́най мой, Дуна́й,— пела деревенская застолица в моем приозерном северном крае. Песня подмывала встать из-за стола, топнуть так, чтобы зазвенела посуда в горке, чтобы закачалась семилинейная лампа под потолком. И хотя значение слов песни давно стерлось, потеряло прелесть новизны, было в этом сочетании «Ду́най мой, Дуна́й» что-то разгульное, размашистое, что по душе русскому человеку, что живет в нем искони и неизменно тянет в чужедальние страны.

Там, за синими лесами, за широкими степями, за ясными зорями, протекал этот Дунай. Мало кому из моих земляков доводилось поглядеть на его вольные воды, на его грады и веси, испить его чистой воды. Только мой дед, бывший солдат-преображенец, раненный штыком под Плевной, смутно помнил переправу через Дунай, который всю жизнь он называл на старинный манер «Дунаеви». Это слово позднее я прочитал в исторических хрониках, где говорится, что славянское племя угличей — жителей угла — «сядяху по Днестру, присядя-

ху к Дунаеви». С тех незапамятных времен и летит молва по всем славянским землям о Дунае — таинственной и прекрасной реке древнего мира.

...Менялись сотоварищи Александра Пушкина в его странствиях по Бессарабии — то Константин Ралли, то И. П. Липранди, менялись виды природы — то зеленые кодры, то холмы Буджака, то, наконец, дунайские берега. И лишь тень Овидия была неизменной спутницей ссыльного поэта...

Первая книга, которую Пушкин попросил у Липранди по приезде в Кишинев, был Овидий во французском переводе. «Не знаю, читал ли он его прежде...» — меланхолически заметил Липранди. Пушкин читал Овидия — и во французском переводе и в подлиннике еще в лицейские времена. В мастерской классической древности, образцы которой осваивали не одни юные поэты-лицеисты, Публий Овидий Назон был нарицательным именем певца любви, любовного томления, любовной ревности, неги... И не случайно Пушкин в стихотворном послании из Царскосельского лицея признает с гордостью, что пиитические игры его старшего друга Батюшкова венчал «младой Назон». Правда, Батюшков, превосходно знавший древних авторов, в зрелые годы, в Каменец-Подольской крепости, замыслил элегию «Овидий в Скифии»,— и замыслил он ее не в любовно-элегическом, а совсем в другом ключе.

Он взял весьма любезный для русского сердца сюжет. Этот сюжет так нравился Батюшкову, что он почитал его счастливее элегии «Умирающий Тасс», над которой долго работал. Суть заключалась в следующем.

Некогда блистательный поэт-эпикуреец и кумир золотой молодежи Рима Публий Овидий Назон дни свои кончал на берегах Дуная. Римский император Август сослал его сюда, на границу со Скифией, и продержал в изгнании девять лет. Набеги кочевников на римские гарнизоны, стычки с местными племенами, ограбление купцов, междоусобицы — все заставляло легионеров «вечного города» жить в постоянной тревоге... Овидий Назон, с юности невзлюбивший военную службу, пребывал в тех гарнизонах в тоске и глубокой скорби. Особенно тягостно ему было в его почтенном возрасте

надевать тяжелый шлем, опоясываться римским мечом, вставать в строй при каждом известии о набеге. Напрасно он посылал в императорский Рим прошения, напрасно льстил Августу, в слезах восхвалял его добродетели и доблести. Хитрый и мстительный цезарь не ответил ни на одно из этих посланий. Овидий так и умер в изгнании и был, по преданию, похоронен в порту Томы, что располагался при самом устье Дуная. Очевидно, что факт пребывания Овидия, одного из великих поэтов древности, вблизи скифских, а следовательно, и славянских берегов служил неким предуказанием, неким предзнаменованием классического расцвета русской поэзии. Именно через лиру Овидия, его науку «страсти нежной», его «Понтийские элегии», написанные в изгнании, сокровища древнего мира как бы обретали вторую родину в стране полунощи,— в России... Увы, элегию «Овидий в Скифии» Константину Батюшкову так и не суждено было написать. Но Пушкин не напрасно клялся тенью Овидия, уверял читателей в том, что «издревле сладостный союз поэтов меж собой связует». Связуя имена Овидия и Батюшкова в лицейских стихах, с еще большим основанием и правом он соединял свое имя с именем древнеримского поэта здесь, в Бессарабии. Безусловно, что и сравнение северной столицы с Римом, русского царя с цезарем Августом напрашивалось, как говорится, само собой... Пушкин не преминул этим воспользоваться. Оценивая свою попытку освободиться из ссылки, он прибегнул к шутливой «тайнописи»: «О други, Августу мольбы мои несите! Но Август смотрит сентябрем...» Достойно сожаления,— писал Пушкин в элегии «К Овидию»,— что великий римлянин столь «малодушно посвятил» свою лиру бесчувственному Октавию.

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их...

Да, Пушкин понимал все, что творилось в душе Овидия,— ведь и его неудержимо тянуло в северную столицу, откуда, не вкусив сладостей литературных и светских, он был выслан на границу империи; ведь и он любил пушистые снега своей Отчизны, так же трепетно и сильно, как Овидий — тень наследственных садов в златой Италии... Но ради свидания с Родиной Пушкин ничем не унизил «ни гордой совести, ни лиры непреклонной».

При всем том Пушкин определенно знал, что не в Аккерман, как гласило предание, а в город Томы сослал Овидия надменный Август. И все-таки Пушкин не то чтобы искал Овидиеву тень на камнях Аккермана, на берегах Дуная, на улочках степных поселений, но как бы представлял его себе, домысливал воображением среди этих камней, этих откосов, этой базарной сутолоки. С большим любопытством он, например, обследовал развалины генуэзской крепости, возвышавшейся над черноморским лиманом и чем-то похожей на римскую цитадель: он побывал в башне, которую до сих пор зовут в народе Овидиевой. Он перечитывал вновь и вновь столь милые его сердцу «Понтийские элегии», а позднее записал свои впечатления: «Сколько яркости в описании чужого климата и чужой земли! сколько живости в подробностях! и какая грусть о Риме!..»

Все отмеченное у Овидия Назона было необыкновенно важно для самого поэта, для его виденья чужих нравов и чужой земли, о которой — пройдет время — и он элегически вздохнет!..

В конце декабря 1821 года, побывав в Бендерах, Буджаке, Пушкин прибыл в Измаил... Остатки измаильской крепости, штурмом взятой суворовскими войсками, произвели на него сильное впечатление: он поразился крутизне берегов, неприступности этих стен, а следовательно, и мужеству своих соплеменников. А поездка продолжалась уже вторую неделю. Во время таких продолжительных странствий, как отмечает Липранди, Пушкин имел обыкновение что-то писать на маленьких лоскутках бумаги, складывать эти бумажки как попало, рассовывать их по карманам, вынимать, перечитывать, что-то править и снова прятать. «Помню очень хорошо,— добавляет Липранди,— что он жалел, что не захватил с собой какого-то тома Овидия». Значит, и здесь, на виду поверженной дунайской твердыни, он думал об Овидии, ощущал его лиру в своих руках, пел изгнание и разлуку...

Если что и поражало Пушкина, так это странное несоответствие в их ощущениях; для сына солнечной Италии дунайские берега казались страной льда и снега; для Пушкина Дунай — благословенный юг, где

в декабре зеленеют луга, где приметно веет теплом и легкий морозец едва сковал закраины реки... В какой-то миг Пушкин вспомнил несмелые опыты Овидия: римлянин в первый раз неуверенно пытался пройтись по льду.

И тогда Пушкин сбежал с крутого берега, встал на лед, разбежался — и заскользил по тонкому прогибавшемуся ледку... Он вновь стал разбегаться: от его шагов в отдалении возник какой-то стонущий отзвук. Пушкин остановился. Отзвук пропал... Но едва он начинал ступать по льду, как эти отдаленные стоны рождались снова... Даже в минуты по-детски беспечной радости Пушкин не переставал думать о стихах и думать стихами. Едва их походная бричка тронулась дальше, как он извлек бумажные лоскуточки и на одном из них написал:

...по льду новому, казалось, предо мной
Скользила тень твоя, и жалобные звуки
Неслися издали...

6

Мое путешествие по Молдавии продолжалось третью неделю... Пользуясь этим благом или даром жизни,— размышлял я,— умеем ли мы в то же время пользоваться им как дорогим и неоцененным даром свободы... Не всей и не всякой, но хотя бы свободы перемещений во времени и пространстве... Как Пушкин... Даже тогда, когда он из простого человеческого любопытства взбирался на развалины крепости, скользил по льду дунайской протоки... Когда прошлое, настоящее, будущее — три цвета времени — создавали ослепительно-солнечный луч, игравший на льду, а затем мгновенно распадались на радужное трехцветье, окрашивая мир переливающимся, как кристалл, сиянием... И все же Пушкин называл этот дар неоцененным,— неужели он, гений русской поэзии, не оценил силу воображения?.. А может быть, другое: может, по сравнению со всеми другими благами жизни, свобода самопознания — духовная свобода была для него ни с чем не сравнимым, бесценным даром? И не этот ли дар завещал Пушкин «потомкам поздним»?.. Значит, мало ступать в пушкинский след, мало любоваться картинами пушкинской природы, наслаждаться звуками его лиры, надо

«вкушать даров» и этой свободы, как библейского мирра и вина, слаще которых для поэта были одни лобзанья...

Пассажиров ночного поезда Кишинев — Рени ожидала «ракета»... Первая остановка — в Измаиле... Пристань. Такси. Тесные улочки старинного городка. На тротуарах — тень акаций. В сквере — взметнувшийся конь и всадник в треуголке. При Пушкине памятника Суворову здесь не было. А жаль — он любил торжественно-гулкий державинский стих, любил его оду «На взятие Измаила»... А ведь всадник на коне — державинская ода, отлитая в металл. Всадник на коне, как я убедился вскоре, величественнее, чем крепостной ров на окраине города да обелиск возле него,— все, что осталось от измаильской твердыни. До отхода «ракеты»— семь минут... Такси домчало до пристани за пять минут... «Ракета» отчалила. Она следует до устья Дуная, до городка Вилково, о котором я был наслышан в Кишиневе. Может быть, поехать туда?.. Ведь мне говорили, что в Вилкове сохранился аромат старины, что там все осталось, как было во времена Пушкина, хотя поэт вряд ли туда заезжал, что самое удивительное в Вилкове — это каналы... В Вилкове нет улиц — вместо улиц каналы, по которым снуют рыбачьи лодки; там на каждом шагу встречаются горбатые мостики, серебристые ветлы образуют над головой зеленый шатер... Короче, Вилково — это маленькая Венеция, и не побывать там — все равно что не попробовать знаменитой дунайской сельди. После таких рассказов в воображении возникло нечто пышное, диковинное, вроде оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана», где есть и каналы, и гондольеры, и праздничный карнавал, и великое множество бумажных цветов.

А Дунай работал буднично, неторопливо, он поднимал на плечах караваны барж и самоходок, гнал вниз по течению речные трамвайчики, пенил усы быстроходных катеров.

Не был он ни светлым, ни голубым, а был серым от ила, прогретым солнцем и таким реальным, каким и положено быть земным реальным рекам.

Берега его обросли зеленой кипенью ветел, и, кроме этих ветел да редких пограничных вышек, ничто не останавливало взора. Временами «ракета» начинала подпрыгивать, как будто с ходу налетела на кочкастое поле, вода гулко ударяла о днище, но через мгновенье мерный рокот дизелей снова заполнял пассажирский салон, и берега текли с обеих сторон все так же однообразно и неостановимо.

Перед двухэтажным дебаркадером с приметной надписью «Вилково» крылатое судно сделало щегольской разворот и встало к причалу.

Вместе с толпой пассажиров я вышел на портовую площадь.

По преданию, первыми поселенцами Вилкова, обживавшими плавни и непроходимые камыши, были запорожские казаки. Ушли они на Дунай после того, как Екатерина II разорила Запорожскую Сечь, понастроили здесь куреней, стали промышлять охотой и рыбачеством. Потом в запорожских куренях и хатках-мазанках стали селиться пришлые люди — кто бежал от барщины, кто от рекрутчины, кто от религиозных притеснений. Особенно много было староверов. Они-то и придали Вилкову тот характерный старорусский облик, который действительно сохранился здесь по настоящее время.

Но первое, что я решил про себя в Вилкове, никогда не поддаваться избитым сравнениям и не именовать этот тихий городок «дунайской Венецией». В таких сравнениях есть претенциозность и пышность, а Вилково хорош сам по себе, он хорош как раз скромностью: каждый клок земли здесь отвоеван у плавней, обработан поколениями вилковцев. И теперь можно часами бродить по узким — в две доски — кладкам, сидеть под тенью серебристых ветел, переходить с одного горбатого мостика на другой, обгонять медленно плывущие лодки, груженные ракушечником и камышом, и в конце концов выйти прямо к Дунаю, вдоль которого растут все те же серебристые ветлы. Каждый шаг твой будет сопровождать шлепанье лягушек, мерное поскрипывание кладок на высоких опорах, любопытные взгляды прохожих. И только рыбаки, которых здесь множество, не будут обращать на тебя никакого внимания.

В этом городке ловят все. Здесь не увидишь девчонок, которые бы играли в классы или прыгали через веревочку: девчонки нянчат младших братишек и сестренок, но нянчат их весьма своеобразно — дают в руки камышовую удочку и с такой же удочкой садятся на кладках, на свайных причалах, а то и прямо на пороге своего дома. Мальчишки не расстаются с длинными снастями-«закидушками». Старухи ставят паруса, плывут осматривать переметы. Взрослые рыбаки уходят в море, служат мотористами.

Когда я проходил по центральной улице Вилкова,— а здесь есть и такая улица, частью мощенная, частью асфальтированная,— я обратил внимание на группы рыбаков. Было воскресенье, и местные жители, следуя давней-давней традиции, вышли на гулянье «в город». Шумел маленький базарчик. Перед беленым собором, открытым для прихожан, толпились старушки в темных одеяниях. К автобусной станции подходили рейсовые автобусы. Рыбаки стояли в вольных и как будто даже небрежных позах: их зюйдвестки, их широченные куртки и такие же широченные штаны являли собою вид живописный... А городок жил размеренной, спокойной жизнью, и в этой его размеренности, и в этом спокойствии было отрадно чувствовать себя своим, уже успевшим оглядеться и даже как-то привыкнувшим ко всему человеком.

...Хорошо просыпаться от сирены речного трамвайчика, выглядывать в окно номера, похожего на корабельную каюту, и видеть далекий, заросший кустарником берег. Хорошо еще и еще раз напоминать себе, что ты на Дунае и что тот, другой берег — румынский.

Хорошо мастерить нехитрую снасть, называемую «закидушкой», доставать у механика катера железную гайку, прилаживать крючки, копать червей, а потом день-деньской сидеть возле старой ветлы, закатав брюки, опустив ноги в теплую, мутную воду.

Хорошо думать, что ты уже разделался со всеми делами, нанес официальные визиты, побывал у председателя райисполкома, записал беседу с ним, узнал, что в ближайшие годы Вилково преобразится, что будут здесь построены бетонные набережные, воздвигнут стадион, упорядочена застройка.

Хорошо, наконец, почувствовать себя просто человеком, отпускником, как тот приезжий, что сидит в де-

сяти шагах от тебя на кладках и тоже время от времени таскает желтых сомят.

Ты предоставлен самому себе, ты вовсю пользуешься бесценным даром — свободой, и тебе вовсе не обязательно отмечать почти машинально, как сосед твой нетерпеливо смотрит вдоль кладок, как он, видимо, ждет прихода женщины, которая запаздывает, как она садится рядом с ним и улыбается его неловким движениям, когда он выбирает леску. Нет, она не повисает на его плече, не заглядывает пристально в глаза, а просто сидит рядом с ним.

И напрасно ты успокаиваешь самого себя, напрасно твердишь про себя как заклинанье, что, мол, «сердце в будущем живет — настоящее уныло: все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило...».

Твоя книжная премудрость мало помогает тебе.

Когда она, лучисто улыбаясь, оглядывается вокруг, больше всего тебе хочется, чтобы в этот момент леса зазвенела от поклевки крупной рыбы, чтобы женщина подбежала к тебе и, всплеснув руками, подивилась твоей невиданной удаче.

Но соседи встают и уходят, улыбчивые, оживленные, им, как и всем влюбленным, нужно одиночество.

Ты будешь видеть их силуэты на далекой песчаной косе, в алом блеске заходящего солнца. Ты будешь видеть их, как тех двух, что звали Александром и Земфирой, стоящих рядом, неразлучных, не расторжимых никакими силами на свете.

А Дунай, как будто даже выпуклый от половодья, будет катить волны мимо тебя, мимо вилковского дебаркадера и медленно терять золотистый блеск, густеть возле низко наклоненных ветел, отливать тусклой вороненой сталью, чтобы потом, глубокой ночью, разлиться безбрежной черной зарей. И когда по этой заре поплывут красные, зеленые, синие огоньки кораблей, тебе вдруг откроется сокровенная красота Вселенной.

ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ

Очерки и эссе

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Я не сразу полюбил стихи. Пожалуй, следовало бы сказать по-иному: лирические стихи, лирику в целом. И виновата здесь отнюдь не школа и не домашняя обстановка. Мне думается, что особая природа чувств, называемых также лирическими переживаниями, далеко не сразу становится доступной человеку... Все дальнейшие размышления на сей предмет были бы, вероятно, чересчур личными и субъективными, если бы они не отражали какие-то ступени, какие-то этапы понимания лирики теми людьми, которые эти этапы или не прошли, или, может быть, не уяснили до конца.

...Мне повезло в жизни на книги — они не были редкостью в нашем доме, они появлялись как бы сами собою, они были всегда, сколько я себя помню. Моя мать смолоду пристрастилась к чтению и сохранила эту любовь до конца дней своих. Но когда я был мал, она не покупала мне собственно детских книжек с картинками. Да по правде говоря, и достатки наши были не ахти какие, чтобы тратить на эти картинки добытый нелегким трудом заработок...

Среди родственников моей матери я больше всего любил ходить в гости к Елизавете Алексеевне Соколовой, окончившей до революции то ли прогимназию, то ли женские курсы и бывшей в тридцатых годах воспитательницей детского сада. Жила она в конце городского бульвара в мансарде с дочерью Ниной, моей ровесницей. Их дом — типичный деревянный особняк с деревянной же террасой и деревянными колоннами — таился во глубине двора между бывших служб и столетних вязов. Украшением дворика была клумба. В центре

этой клумбы стоял столб, который венчался оранжево-фиолетовым, необычайно красивым в своих отражениях и бликах шаром,— модной когда-то затеей прежних владельцев этого самого дворянского особнячка.

Пока мама с Елизаветой Алексеевной завершала долгое чаепитие, я, утонув в потертом кресле, раскрывал на коленях том баллад Жуковского... Мне почему-то всегда попадались такие старинные тома с золотым по красному фону тиснением, с плотной глянцевой бумагой, с портретом писателя, его факсимиле и множеством иллюстраций. Но однажды Елизавета Алексеевна позволила мне взять с собой другую книгу: внешне книга была совсем иной, в скучном бледновато-зеленом переплете с такой же скучной бледной виньеткой. Над виньеткой стояло одно слово: «Лермонтов».

Мое нетерпение было настолько велико, что на ближайшей же скамейке бульвара я наугад распахнул страницы и — попал на «Боярина Оршу»... Завечерело. Я еле-еле разбирал слова, но не мог оторваться от книги, в которой были только плотные, убористые — в две колонки — строфы стихов. Магическое действие напечатанного и магическое воздействие чтения на какой-то миг образовали волшебную взаимосвязь,— я перестал осознавать реальность, вернее, не она была для меня главным, а та внутренняя — полная красочных картин, голосов, криков, вздохов, стонов,— вторая реальность, в которой я обрел свое новое бытие. Не буквы, которые складывались в слова, и не слова, которые складывались в стихотворные строки, существовали передо мною — они как бы исчезли, как исчезают все шумы внешнего мира, как глохнут люди при внезапном грохоте или обвале.

Ни дома, ни в классе я не расставался с этой книгой. И чтобы заново испытать странное состояние, которое я не умел назвать и которое было наслаждением, воодушевлением, раскрепощением и еще чем-то таким, что напоминало настоящий сон, я предпочитал уходить на городской бульвар, где башни кремля и старинные — с «итальянскими» окнами — особнячки как будто помогали мне заново пережить лермонтовские поэмы — «Демона», «Боярина Оршу», «Песню про купца Калашникова», «Тамбовскую казначейшу», «Сашку» и даже юнкерские поэмы, прочитанные в приложении к однотомнику.

Незаметно для самого себя я подчас сворачивал во дворик Елизаветы Алексеевны, медленно проходил по дорожке, явно оттягивая тот момент, когда приближусь к цветочной клумбе. Теперь оранжевый шар был прямо передо мной. На его поверхности вмещалось все окружавшее меня: и дворик, и службы, и пристройки, и столетние вязы; но это был особый мир — очерченный шаром и все-таки бесконечный, плавно выгнутый и все-таки уходящий в глубину. Мир лермонтовских поэм чем-то напоминал мне этот сверкающий шар, который мог превратиться и в шаровую молнию, грозно, медленно, опасно проплывавшую над головой. Не случайно спустя много-много лет Ярослав Смеляков сумел выразить этот потаенный образ поэта следующей строкой: он, этот Лермонтов могучий, «как бы светящаяся туча, по небу русскому прошел».

Но — поразительно! — лермонтовская лирика не вызывала во мне того возбужденного интереса, который я испытывал, прочитывая его поэмы и драмы. Теперь-то я понимаю причину такого равнодушия, точнее — невнимания к лирическим стихам поэта. И дело, мне кажется, отнюдь не в одной лишь незрелости души, естественной для моего тогдашнего возраста... Нет, в поэзии для меня было важно, *о чем* написано произведение, была важна его сюжетная основа, его, попросту говоря, занимательность. С точки зрения этой занимательности и в какой-то степени повествовательности, правда, усиленных особыми свойствами стиха, я и подходил к Жуковскому, Пушкину, Лермонтову, Некрасову, а из зарубежных классиков — Байрону, Шиллеру, Гюго, Мицкевичу, Эдгару По, Лонгфелло. В собственно же лирических стихах, в «чистой» лирике надо было задумываться в первую очередь, зачем написаны эти строки, какие внутренние мотивы побудили поэта их написать, какие переживания он хотел выразить в слове. Постигнуть этот субъективный момент было неизмеримо труднее, чем вызвать в воображении сцены, эпизоды, картины, созданные эпической кистью художника.

Многоструктурность поэтической мысли мне стала открываться позднее, когда я понял, что этот род искусства призван не только, предположим, удовлетворять читательское любопытство. И внешняя занимательность — фабульность — вовсе не главный признак поэзии, которая воздействует на читателя и музыкой, и смыс-



ловой светотенью, и эмоциональным контекстом, и просто красотой образа. Конечно, этими свойствами обладает и эпика, но здесь они как бы растворены, как бы «притушены» в общем повествовательном строе произведения.

Менее систематично и пристально, чем поэтов прошлого, я читал современных стихотворцев, хотя и бывал на «верхотуре» — в комнатенке под редакционной крышей, где собирались члены местного литобъединения и где звучало множество «оборонных» стихов, навеянных творчеством Прокофьева, Асеева, Луговского, Щипачева, Светлова и других столичных поэтов. На этих многочасовых шумных сборищах я ни разу не встречал человека в свитере, в галифе и крагах, похожего то ли на авиатора, то ли на спортсмена. А жаль. Этим человеком был Леонид Мартынов, живший в ту пору на Власьевской улице в домике, похожем на особнячки, изукрашенные деревянными кружевами, о которых я уже говорил. Если бы состоялась такая встреча, я, может быть, по-иному бы оценил тогда современную мне поэзию, увидел бы ее столь же неисчерпаемые богатства.

...Восьмым классом закончилось мое «классическое» школьное образование. Вологда раньше других городов России стала прифронтовым городом: случилось это еще во время финской кампании, когда многие городские школы были превращены в госпитали для раненых и обмороженных, заняты воинскими учреждениями, тыловыми частями. Занимались мы кое-как, обычно в третью смену,— не хватало дров, керосиновых ламп для освещения классов. А в сорок втором году, едва вернувшись с «картошки» и проучившись в десятом классе месяц-полтора, мы уже примеряли военное обмундирование. Не доспорив о стихах Лермонтова, о статьях Писарева, о докторе Ломброзо, теория «гениальной личности» которого волновала наши юные умы, мы разъезжались в запасные полки, военные училища, спецподразделения. Наше поколение — «мальчики, рано начавшие носить оружие»,— редело, таяло, сгорало в танках, подрывалось на минах, умирало от ран в медсанбатах. Но оставшиеся в живых, возвратившиеся после госпиталя в строй, проходили суровую школу войны — школу неистребимой веры в родной народ, его историю, культуру, язык.

Послевоенный сорок шестой год я встретил в своем городке. Сначала ходил на костылях, потом — опираясь

на палочку, потом — просто так, как и все люди. И жить начинал заново, как и все люди.

Во время войны скончалась от тифа добрейшая Елизавета Алексеевна. Зеленоватый однотомник Лермонтова так и остался стоять на моей этажерке... Непрерывно подтапливая печь — торцы сырых дров шипели и пенились,— страдая от холода, угара, головной боли, я взялся перечитывать любимые мною поэмы — и не смог! Во мне все еще билось, дрожало, ходило ходуном пережитое на войне. А зима длилась и длилась так долго, что после лекций я невольно стал заглядывать в областную библиотеку, расположенную в бывшем Дворянском собрании. Там тоже было холодно: посетителям разрешалось сидеть в пальто. Курить мы выходили на парадную лестницу, обшарпанную, пропахшую хлоркой. Зато доступ к библиотечным фондам был свободным. И вот здесь-то, возле длинных стеллажей, я понял, как истосковался по книге, по ее виду, по разновеликим рядам корешков, даже по самому запаху пожелтевших страниц. И накинулся читать все подряд, без видимой системы, пытаясь хотя бы чтением восстановить в себе запас душевных сил.

...Как-то перелистывал я старый журнал, то был журнал тридцатых годов, бегло пропуская страницу за страницей. В конце, как обычно, шла критическая статья. В тексте — столбиком — стихи:

У меня к тебе дела такого рода,
что уйдет на разговоры вечер весь...

Странно!.. То же самое и я бы мог сказать, но сказано было лучше. Прочитал стихотворение до конца — и вернулся к началу. Было в нем что-то властное, что-то необходимое мне, вернее — не приукрашенное воображением, как стародворянский бульвар. Это был окраинный переулок, подобный какому-нибудь нашему вологодскому захолустью.

...Затвори свои тесовые ворота
и плотней холстинкой окна занавесь...

Как такового сюжета в стихотворении не было, да и не важен мне был этот самый сюжет. Словно кадры рваной киноленты, склеенной невпопад, теснились они в моей памяти, возникали вновь и вновь в миг внезапного, по-фронтовому тревожного пробуждения.

Критическая статья, в которой встретилось поразившее меня стихотворение, была мною изучена от корки до корки. В ней говорилось о молодых поэтах Борисе Корнилове, Ярославе Смелякове, Александре Шевцове и некоторых других. Естественно, что в послевоенном сорок шестом году я ничего не знал и не слышал о них: были на то, как говорится, особые обстоятельства.

И вот порой у меня возникало такое ощущение, что я все время ходил где-то возле необозримых просторов, видел отдаленный плеск солнечных лучей, но зачерпнул горсть холодной воды только сейчас. Наверстывая упущенное, я старался теперь не пропускать ни одной стихотворной строчки, где бы они ни появлялись — в газете, журнале, альманахе, сборнике, даже отрывном календаре. В первую очередь лирика моих собратьев-фронтовиков, решительно и напористо вступавших в большую литературу, стала для меня особым «личным» достоянием. Она-то, помимо всего прочего, и доставляла мне часы самопознания, необходимые человеку, побывавшему у жизни и смерти на краю. Да, именно так. Чем совершеннее были стихи, которые я находил в сборниках и журналах, чем сильнее в них выражалось чувство вероятного, того, что могло быть именно со мной,— тем охотнее я пользовался свободой сопереживания.

Ведь как и всякий читатель, я «примерял» к себе, к своему опыту, знанию жизни, мироощущению сказанное поэтом — и делал это непроизвольно, как бы отодвигая свое «неверие» на задний план.

И тогда-то лирика Лермонтова стала возвращаться ко мне, возвращаться в неведомой раньше глубине и силе поэтического чувства, мысли, которые — отзвуками — продолжали жить и в стихии современного стиха.

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть...

Да, теперь я понимал исходное чувство поэта: оно было в том, чтобы выразить наисложнейшее — человеческое в человеке, и не в каком-нибудь там прославленном герое Древней Руси, а в простом безвестном армейском офицере, покрытом окровавленной шинелью и мучительно-трудно ронявшем редкие слова: «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!» Эта лирика освещала мой внутренний мир особым светом духовности,

а освещая, творила его заново, приближала, возвышала до гениально-человеческого, что было, в сущности говоря, и вечно желаемым и вечно непостижимым. А ведь совсем недавно в моей угарной комнатке Лермонтов казался мне лишь памятью о нашей юности, когда история взыскующе и строго смотрела на нас из-под боярских шапок и позолоченных шлемов, когда мы остро чувствовали, какой тоской был томим Арсений, какую душевную рану таил новгородец Вадим, какой страстью был испепелен Мцыри. Чувствовали, но, увы, не понимали. И лишь сейчас я могу словесно выразить те давние чувства, так пылко и неосознанно волновавшие нас. Лермонтов был духовно нам близок тем, что он свершил великое открытие — открытие красоты свободы! Для его мятежной, мятущейся натуры, сдавленной жесточайшим режимом, для его душевных исканий свобода была высшей ценностью жизни, высшей ее красотой.

Что же касается других моих размышлений о свойствах и особенностях лирической поэзии, то одно сравнение и до сих пор не покидает меня. Как в зеркальном, мерцающе-оранжевом шаре, реальность оказалась замкнутой и в то же время бесконечной, спроецированной в глубину предметов, в самое средоточие их, где таилось мое «я», так и в лирике — в глубине замкнутого и бесконечного мира — непременно просматривается «я» художника, а стало быть, и твое собственное «я». Однако имеется здесь одно отличие, которое мне довелось уяснить несколько позднее. Оказывается, в произведениях художника важна такая природа чувств и переживаний, которые активно познаны, осмыслены, а точнее всего, «схвачены», сгущены в образе мысли. Вот почему в какой-то момент «я» художника сливается с моим «я», высвобождает внутренние душевные силы, отмывает волной новых впечатлений, эстетически радует тебя. Ведь лирика, как и эпика, и драма,— мир красоты, в ней есть нечто еще и «по ту сторону» слов, или, как говорят физики, «по ту сторону явлений». С годами я стал постигать и эту особенность лирической поэзии, ибо она была богаче, сложнее, тоньше «простого» чувственного восприятия текста, первоначальной оценки его по принципу нравится — не нравится. Вот почему вскоре моей повседневной потребностью, моей отрадой и мукой стало изучение поэзии как искусства слова, как вечно постигаемой и все-таки непостижимой до конца Красоты.

ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ

ГОРОД СТАРИННЫХ КУПОЛОВ

Для меня путешествия во времени — из настоящего в прошлое, из прошлого — в будущее, вероятно, не менее увлекательны, чем перемещения по воздуху, земле и воде. И «листать обратно календарь», как сказал Твардовский, бывает столь же отрадно, как отрадно видеть с борта «казанки» — этой алюминиевой ладьи XX века — быстрое течение присиненных далью лесов и пашен. Эти два «разряда путешествий» — во времени и пространстве — позволяют ощутить, как на иных северных раздольях устье одной реки, впадающей в озеро, становится истоком другой, — более могучей, более полноводной, — и как от века к веку, словно от устья к устью, ширится река народной жизни... И не только на наших северных раздольях, но и в исторической родословной исток — это всегда устье и устье — это новый исток.

Вот почему я начинаю у истока — и в прямом и в переносном смысле слова, начинаю с верховьев реки Вологды и города Вологды. Собственно говоря, исток реки теряется где-то в лесах и болотах возле деревни Удворино, в местности, называемой Сизьмой. Но только в самой черте города река становится судоходной; к осени же она настолько мелеет, что даже лодка-плоскодонка не всегда проплывет вверх по течению до Прилуцкого монастыря. Может, поэтому я люблю приезжать в Вологду в весеннее половодье. И нет, по-моему, лучше места в эти весенние дни, чем самый высокий крутояр на всем протяжении Вологды-реки, чем обрывистый берег возле Софийского собора: зовут его Соборная или Красная горка.

Знали наши предки с сыромятными ремешками на лбу, в домотканых портах и рубахах, — знали, где ру-

бить посреди «великого леса» первый «детинец», обносить его бревенчатым частоколом. Налево — за речным поворотом, за деревянными домиками, дальше к горизонту чуть угадываются башни Прилуцкого монастыря. Прямо — заречье, лодочная станция, старые березы, тусклые купола церквушек, дома с крытыми галереями и деревянной резьбой. Там улица Николая Рубцова, там, как сказано им в одном стихотворении:

Сады. Желтеющие зданья
Меж зеленеющих садов,
И темный, будто из преданья,
Квартал дряхлеющих дворов...

Направо — гранитные устои моста, Армейская набережная... Память подсказывает, что вниз по течению, за пристанью, пойдут заводские корпуса «Северного коммунара», пирамиды песка, склады, мастерские, ржавые остовы отплававших свой век пароходов и буксиров, штабеля леса — и так почти до самых кирпичных Лимендских заводов.

Что и говорить, вольготно раскинулась Вологда по берегам немноговодной северной реки. Тихие провинциальные переулки, старинные особнячки с облупившимися деревянными колоннами уступают место асфальтированным проспектам, новостройкам, новым скверам с молоденькими тополями и березками. Вольготно и здесь, на речном обрыве, где березы поблескивают глянцевой корой и где еще лежат под обрывом крупчатые заносы снега. Но пройдет неделя-другая, и однажды в ночи выстрелят в предрассветный сумрак резные листики — словно прозрачная, зеленоватая дымка поплывет над берегом, над домами, над высокой горкой парка. А сейчас ноздреватые глыбы льда то становятся стоймя, то, громоздясь, наползают друг на друга, и кажется, что это берег плывет вверх, туда, к прозрачным, подрагивающим в солнечном мареве далям. Не тяжелые, низко сидящие в воде льдины, не ледяная плита с прорубью, обсаженная полуосыпавшимися елками, стремительно проносятся у твоих ног, а ты вместе с берегом, с белыми, голубоватыми от тени стенами Софийского собора плывешь и плывешь вверх, за поворот, к красноватым прилуцким башням. От воздуха, от солнца, от запаха талого снега кружится голова. Подмывает тебя крикнуть что-то в это высокое, окропленное

теплыми лучами солнца небо, в эту весеннюю даль.

...Там, на заречной стороне, видно, как отдельные льдины вытолкало к деревянным заборам, где они так и будут лежать до середины мая. Мальчишки станут обивать их крошащиеся на тонкие лезвия бока, шоферы нещадно ругать раскисшую дорогу, пока солнце не растопит льдины и не сотрет их с берега. Но еще несколько дней будет темнеть грязное пятно среди молодой, буйно пошедшей в рост травы.

...Хорошо здесь, на Красной горке. Но почему, собственно говоря, на Красной, а не на Соборной?

Когда-то здесь, у архиерейского подворья, в соборах проходили пышные богослужения. Толпы богомольцев и нищих из дальних вологодских волостей стекались сюда в праздничные дни. Поодаль Соборной горки стояли мелочные лавчонки, балаганы, царевы кабаки. Голосили слепцы, вскрикивали пьяные. Городские обыватели ковыряли склоны, надеясь найти клады, якобы захороненные жителями в Смутное время или во время «панщины», как говорили в народе. Ползли темные вести «об адовой горе», где в каменных подземельях по ночам слышатся вой и стенание, о неком потаенном подземном ходе, который соединяет Прилуки с вологодским кремлем. Замшелые избы лепились по краям горки. Проулки были так тесны, что бабы могли передавать друг другу горшки на ухвате. И все это вековое, убогое называлось Соборной горкой. А название *Красная* горка хорошо не только своим созвучием с нашим временем. В сочетании этих слов — «Красная горка» — слышится глубокая *народная* языческая старина: в нем поют веснянки босоногие ребятишки; плетут венки девушки в домотканых сарафанах с медными пуговичками до подола; в нем плывут ладьи под белыми парусами; старики в островерхих шапках, вглядываясь из-под руки в речную даль, вздыхают: «Пришла весна-красна»... Красная — это еще и красивая, необыкновенно яркая, весенняя.

И вот на какой-то миг повеяло седой многовековой историей земли Заволоцкой... Так же ворочала ледяные

глыбы река, шипела битой хрустальной мелочью, заливала мелколесье, буйно разросшееся в заречье. Согнанные с Вожи, Сямы, Комелы, Тотьмы, Устюга мужики длинными обозами везли на дровнях известь, камень, кирпич, острили многоаршинные сваи, рыли рвы. Потому что, пишет летописец, «великий государь царь и великий князь Иван Васильевич в бытность свою в Вологде повелел рвы копать и сваи уготовлять и место очистить, где быть градским стенам каменного здания...» Берега речек Золотухи, Шограша, Содимки, которые Иван Грозный «повелел копати», дабы превратить их в глубоченные крепостные рвы, были густо облеплены работными людьми. Среди рубах и армяков мелькали рваные цветные халаты. Тысячи пленных казанских татар и «турок» (ногайцев и крымских татар) были пригнаны в Вологду по царскому повелению. Мерли они от непосильной земляной работы. Погребали их с тотьмичами и устюжанами в тех же земляных насыпях, которые они вместе, по цареву указу, отрывали. С тех пор народ и прозвал эти насыпи *Татарскими* горами.

Но особенно хлопотал и радел государь Иван Васильевич о строительстве нового храма Софии — Премудрости Божьей. Строился этот собор с великим старанием: «а сколько сделают, то каждого дня покрывати лубьем и другими орудии, и того ради церковь крепка на разселины»,— многозначительно замечает вологодский летописец. Иван Грозный нередко появлялся вблизи собора, наблюдая, как «наемники», то есть нанятые по царскому повелению каменщики, клали лепную церковь по образцу Успенского собора в Москве. Не раз уже задумывал царь Иван перенести в Вологду столицу первопрестольную, подальше от боярской смуты, поближе к торговым заморским гостям. Но помешало этому одно предзнаменование. Вот как о нем говорится в старинной песне:

...Когда царь о том кручинился,
В храме новоем похаживал,
Как из своду туповатова
Упадала плинфа красная,
Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,
В мудру голову во царскую...

Вологодским посадским и остальным людишкам

хорошо была известна ярость властителя, посему и «трясянулася» мать сыра-зе́мля «от того проклятья царского».

...Уже скрылись из виду стены недостроенного Софийского собора, вдоль колеистой дороги потянулись вековые болота, а царь Иван Васильевич был мрачен и неразговорчив. И только на седьмой версте он «проговорил», заговорил с сопровождавшими его опричниками. Здесь-то и возникло сельцо Говорово.

Вологодский летописец, пересказав легенду с «плинфой», по наивности своей, что ли, приводит более веские и правдивые обоснования поспешного отъезда Ивана Грозного из Вологды: «Того же году был на Вологде мор велик, и того ради великий государь изволил идти в царствующий град Москву, и тогда Вологды построение преста». Было заброшено возведение каменных стен и башен, осыпался и зарос травой крепостной ров на реке Золотухе, рассыхались у подножья Красной горки многовесельные ладьи, на которых помышлял царь-государь отправиться из Вологды в заморские страны через Холмогоры и Белое море, откуда не так давно приезжал к нему посол английского короля, капитан Ченслер.

...Здесь, на Красной горке, у Софийского собора, для возведения и росписи которого потребовалась жизнь двух поколений, особенно остро и глубоко думаешь о бессмертии человеческого деяния. В летописи подробно говорится о знамениях, сопровождавших строительство Софийского собора. Упоминается о многовесельных ладьях, на которых должен был плыть Иван Грозный по Сухоне и Северной Двине. Но нет, да и не могло быть в летописи имени тех, кто строил этот собор, имени работных людей, предложивших «ради того, чтобы церковь была крепка на разселины», укрывать кирпичную кладку на ночь, от мороза и непогоды, лубьем и рогожей. Простые каменщики, они знали толк в своем ремесле и знали дедовские секреты этого ремесла. Простые плотники, они воздвигали корабли, как «мера и красота скажут». Их трудами богатела и крепла Русская земля. Их мастерство, их чувство прекрасного дали им право сохраниться в памяти потомков.

...По царской прихоти было «Вологды построение преста». Она захирела, обезлюдела, и лишь недостроенный Софийский собор, да Татарские горы, да известна́я гора — гора извести, свезенной на берег реки, да крепостной ров возле каменных стен и башен напоминали вологжанам о начавшемся было расцвете города. Воеводами в Вологду назначались люди опальные, неумелые. «...Воеводским нерадением,— сказано в старинном документе,— сторожей на башнях, у снарядов пушкарей и затинщиков не было; а были у ворот на карауле немногие люди... а большие ворота были незамкнуты».

22 сентября 1612 года «в остатошном часу ночи» к городским заставам подтянулась конница. Не звякала конская сбруя, не поскрипывали седла, не громыхали о камень колеса единорогов: «польские и литовские люди, и черкесы, и козаки, и русские воры пришли на Вологду безвестно и город Вологду взяли и церкви божия опоругали, и город и посады выжгли до основания...»

С гиком, с посвистом пролетали всадники по темным, узким переулкам, бросали, раскрутив над головой, смоляные факелы в замшелые крыши: паны и воровские люди гуляли вовсю! На наплавном мосту, возле Красной горки, они зарубили окольничьего и воеводу Григория Долгорукова и дьяка Ивана Карташева. Перепуганные жители и остатки городской стражи заперлись в Софийском соборе. Разорители города по штурмовым лестницам забрались на кровлю и собор подожгли. Сотни людей погибли в пламени пожара. Через три дня, 25 сентября 1612 года, колонны воровских людей ушли дальше на север.

Сильвестр, архиепископ вологодский и великопермский, писал московским боярам: «А ныне, господа, город Вологда — женное место, окрепити для насады и снаряд прибрать некому; а которые вологжане жилецкие люди утеклецы, в город сходиться не смеют, а воевода Григорий Образцов с Белаозера со своим полком пришел и сел на Вологде, но никто не слушает, друг друга грабет...»

Горько причитали по убиенным и рвали на себе волосы женщины, смрадно чадило пожарище. «А все, господа, делалось хмелем: пропили Вологду воеводы» — таковы последние слова Сильвестра в его невеселой «отписке» в Москву.

Казалось, нужны были годы и годы, чтобы отстроился этот город на северной реке, чтобы крестьяне, ремесленники и другие жилецкие люди взялись за свои повседневные труды, срубили новые избы, замостили торцами улицы. И все-таки город возник на пепелище! Снова труд одержал победу над смертью и разорением. И подумать только, какой страстью к созиданию, работе, ремеслу должны были обладать вологжане, чтобы вынести все это — нашествия, моровые язвы, разрушения — и с превеликим упорством преодолевать «волока» на своем историческом пути, вновь и вновь возвращаться к опустевшим выморочным очагам!

...По Красной горке поползли длинные тени: завечерело. Софийский собор отступил куда-то вглубь, подернулся сумеречной тенью. Сквозь шум и шорох ледохода, сквозь посвистывание ветра ясно послышался перезвон курантов на соборной колокольне. Вечерняя заря выбросила в небосвод длинные малиновые перья. Стало совсем свежо в этом весеннем смеркающемся «городе старинных куполов», где

На заре розовела от холода
Крутобокая белая Вологда.
Гулом колокола веселого
Уверяла белая Вологда:
Сладок запах ржаных краюх!

МОЙ КОВЧЕГ

В стихотворении «Вологда», между прочим, была еще одна строфа, которую поэт Леонид Мартынов впоследствии снял. А жаль. В строфе говорилось о том, как «по той по реке Золотухе петухи плывут краснобрюхи...». И далее вновь следовал выразительный и многозначительный рефрен: «сладок запах ржаных краюх!»

Детство и отрочество мои прошли возле реки Золотухи, которая протекала в глубоком рву как раз под окнами нашего двухэтажного мрачного с виду кирпичного дома. Может быть, поэтому «оком духовным» я нередко видел: во рву плывут не хлопья банной пены, а расписные, словно краснобрюхие петухи, ладьи... Они

плывут издалека, может быть, от самых веденеевских бань; по бортам — щиты дружинников, паруса с изображением Ярилы, резные кормы и такие же резные высокие носы. Они плывут медленно, и отблески белых парусов падают на зеленоватую, отдающую болотиной воду.

Еще мне чудилось, что в верховьях Золотухи, а может, и Вологды или какой-то другой реки, но вернее всего Золотухи, находятся таинственные Волочанские болота. Называют их так потому, что в старину по этим болотам корабельщики волочили корабли, а затем спускали их на воду и плыли дальше. И вот однажды некий дружинный князь повелел протащить через болота золотую ладью: ее днище было оковано листами светлой меди, горевшей словно жар. Потому-то и получила эта ладья прозвище золотой... Князь спешил к своей нареченной, к своей невесте, с которой не виделся очень давно. Ладья же была тяжелой из-за медной оковки, из-за драгоценных кладей, из-за многих даров. Корабельщики не удержали ее на деревянных катках: веревки лопнули, катки проломились — и прекрасная ладья стала медленно погружаться в топи...

Скажу откровенно, подобные мечтания волновали меня, они порождали страстное желание побывать у истоков родных рек... Кто знает, рассуждал я сам с собою, может, я окажусь счастливцем, который увидит ладью и сделает историческое открытие?.. Правда, для путешествия нужна была лодка-плоскодонка, которая прошла бы по любым перекатам и мелям.

Почти в каждом дворе на берегах Золотухи умели мастерить такие плоскодонки. Делали их и у нас «ребята Клячины», братаны-подростки, жившие в семействе сапожника Клячина. По их примеру я сносно владел и пилой, и рубанком, и молотком, знал, как выстругивать, конопатить, заливать варом плоскодонную лодку.

А тут еще подоспели летние каникулы... На задворках дома, среди крапивы и прозрачно-бледной лебеды, была устроена судостроительная верфь. Материал доставался где угодно: доски отрывались от забора, вы-

таскивались из сарайки, приносились с реки. Были, конечно, и каверзы со стороны ближних. Когда готовая лодка лежала кверху днищем, озорная соседка Галка, вооружившись увеличительным стеклом, выжгла: «Плавучий гроб». Ярость моя не знала предела!..

Но что правда, то правда, поначалу лодка сильно текла: как только я спускал ее в Золотуху, она сразу же начинала тонуть. Несколько раз мне пришлось вытаскивать ее на берег, конопатить, заливать варом, прогревать паяльной лампой и снова красить. От этой повзрослому нелегкой работы я окреп, вытянулся ростом и стал иначе смотреть на все предприятие... Теперь уже свою лодку я мыслил золотой ладьей! И мечтал как можно скорее проплыть по реке Вологде под парусом... Не на веслах, как все, а под парусом; вверх или вниз по течению — это было уже безразлично. Прямоугольный парус из трех кусков холстины я сшил тайком от матери, которая дорожила и холстиной и, больше всего, зингеровской машинкой, которую я едва не погубил, пытаясь прострочить рубцы.

Наконец-то утро, о котором неотступно грезилось,— наконец-то это утро наступило... За ночь в лодку набралось совсем мало воды: значит, ее можно было пускать в плавание.

С непередаваемым волнением я сел за весла и стал править под высокую арку Каменного моста. Дворовая челядь стояла на берегу, небрежно и насмешливо заложив руки в карманы коротких штанишек... Но мой ковчег разочаровал их,— он оказался остойчивым и послушным сооружением, хотя — как вскоре выяснилось — и был отчаянным тихоходом. А на реке Вологде дул резкий верховой ветер; крупная зыбь зашлепала о борта плоскодонки. Покачиваясь на волнах, я поставил короткую мачту, насадил на нее рейку — парус развернулся, натянул концы бечевок, по-морскому, шкотов, и лодка сразу же прибавила ход.

Восторг, распиравший грудь, не позволил мне насладиться этой необыкновенной минутой. Смутно, словно сквозь сон, проплыли мимо деревянные опоры Красного моста, штабеля бревен у лесопилки, церковь во Фрязиновой слободе... За слободой я чуть было не наскочил на лодочника, перевозившего пассажиров с го-

родской пристани в заречье. И — повернул обратно. Но грести против ветра оказалось трудно: нос плоскодонки разбивал встречную волну, тормозил ее движение. И когда я доплыл до устья Золотухи, то кровавые мозоли покрывали ладони моих рук. И все же гордость свершенным кружила мне голову. Я теперь всерьез помышлял о плавании к верховьям реки... Увы! Через неделю мой корабль пропал: целые дни я обходил дворы на Золотухе и набережные на Вологде-реке. Все напрасно. Лодка пропала, как в воду канула.

В сентябре сорок пятого года меня откомандировали из саперного батальона, расположенного на Кавказе, в Москву. А поездом — от Москвы до Вологды — всего одна ночь. Соблазн был слишком велик, чтобы не рискнуть,— и я рискнул. Так впервые за все эти годы мне пришлось побывать в родном городе, обнять маму, попытаться встретить кого-нибудь из бывших одноклассников.

Мама моя почти не изменилась с того самого часа, когда на Ленинградском вокзале наша курсантская рота стояла у вагонов электрички и когда она прорывалась ко мне сквозь толпу. Во дворе дома были видны понурые лошади. Поленницы дров громоздились за забором телефонной станции. В бильярдной ДК раздавался стук шаров... Только сараи на задворках осели и покосились и обрывы Золотухи еще гуще заросли бурьяном. Да и весь город в целом показался мне постаревшим, вроде бы осунувшимся с лица, словно это был близкий человек, который перенес тяжелую болезнь и сейчас стал медленно поправляться. Одноклассников я не встретил: многие были убиты, другие лежали в госпиталях, третьи служили за тридевять земель. Два дня промелькнули быстро. Перед отъездом я пошел — по традиции — на Красную горку. Купалки и лодочной станции там уже не было. Но величественный ансамбль кремля с Софийским и Воскресенским соборами, с древним судным приказом, «цыфирней школой», с архиерейскими палатами в стиле барокко произвели впечатление на молодого офицера, совсем недавно повидавшего по воле военной фортуны и королевский Вавель в Кракове, и рыцарский замок в Недзлице, и Карлов мост в Праге.

Осмотрев архиерейское подворье и переправившись на лодке через реку, я медленно пошел вдоль Армейской набережной: здесь так же все для меня было интересно: узорная Сретенская церковь, «Свечная лавка», бывшие хоромы купца Витушечникова, изукрашенные гирляндами роз, медальонами и венками в оконных наличниках... Я дивился архитектурным богатствам набережной, которых не ожидал увидеть в родном городе — я думал, что их можно встретить где угодно,— в Кракове, Ченстохове, Братиславе, но только не здесь, не на набережной родной реки.

За Красным мостом спустился к воде и на песчаном плесе, среди множества лодок, присел на одну из них... Напротив меня, на другом берегу реки, виднелось здание Первой мужской школы. Вероятно, в школе прозвенел звонок: на берегу мелькали фигуры в форменных тужурках. Старшеклассники покуривали у забора. Ученики помладше забавлялись тем, что пускали по воде плоские камешки, считали «тарелки». Но здание школы, из которой я уходил в армию, было теперь отодвинуто куда-то далеко-далеко, оно виделось мне как бы в перевернутый бинокль.

Машинально я взялся руками за скамью лодки, на которой сидел. И замер: пальцы подсказали, что это дерево мне знакомо. Уже осознанными движениями я ощупал скамью, бросил взгляд на носовой брус: там должен быть врезан болт, скрепленный гайками. Я сам его нарезал в механической мастерской. Этот болт был на своем месте. Вот почему у меня возникало такое ощущение, будто лодка, в детстве сработанная моими руками, подымалась из глубин забвения, как золотая ладья из Волочанских болот.

— Вот так встреча,— наконец-то выдохнул я. — И так поздно!

Не детство, не отрочество, кажется — вся жизнь прошла с тех пор, когда я проплывал под парусом у деревянных опор моста... И так многое позабылось. Но видишь: все ожило, возродилось, воскресло, не для того ли, чтобы, воскреснув и возродившись, снова кануть в глубину времени и судьбы...

Хотя нет, легенду о золотой ладье, как выяснилось позднее, совсем непросто было забыть... То в Историческом музее мне бросился в глаза славянский челн, выдолбленный из черного днепровского дуба. То в «го-

роде стекольном» — в городе Стокгольме довелось увидеть корабль викингов, поднятый с морского дна. То узнать, что на Ильменском озере выловили тралом часть деревянной обшивки новгородской ладьи.

Значит, не я один мечтал найти золотую ладью. И не для меня одного эта золотая ладья стала символом красоты, которая лишь изредка открывается людям и тем самым становится все привлекательней, все загадочней для тех, кому не чужды высокие устремления души...

ОГНИ ЕЛЬМЫ

Заволочье... Земля Заволоцкая!.. В ослепительном сиянии солнца все прозрачнее, все зеленее весенняя даль. Она настойчиво манит к себе, зовет за черту горизонта... До навигации остались недели и недели, но нетерпение так велико, что ты все-таки идешь в конец Советского проспекта на пристань, вновь изучаешь и без того знакомое расписание, долго-долго сидишь на скамье, разомлев от теплыни и запаха масляной краски. Деревянная площадка перед зданием билетных касс пустынна. В киосках стекла завешены пожелтевшими газетами. Даже в заветрии от воды тянет холодком. Но запах свежей краски, дерева, речной воды, самый вид летнего расписания — все отрадно тебе, все служит приметой дальней дороги. Про себя ты давно обдумал и выбрал маршрут. Однако здесь, на пристани, на весеннем солнцегреве, тебя вдруг одолевают сомнения: тебе одновременно хочется побывать и там и там, повидать и Славянский волок и родное Кубеноозерье, Вытегру и Северную Двину.

Прямо перед глазами — фанерный щит: на нем плакатная схема речных путей Сухонского и Северо-Двинского пароходства. Вологда — самая южная точка треугольника, основанием обращенного к северу. Одну сторону этого треугольника образует река Сухона, волнистой линией пересекающая всю область с юго-запада на северо-восток. Другая сторона треугольника — реки и озера, соединенные каналами Северо-Двинской шлюзовой системы, а от пристани Топорня — великим Волго-Балтийским водным путем имени Ленина. Ты скользишь глазами по голубым артериям рек, по пятнам озер и водохранилищ, по прямым линиям каналов и

пытаешься мысленно представить этот путь. Из верховьев одной реки ты попадаешь в среднее течение другой, из одной безбрежной шири в другую... И одно воспоминание сменяется другим.

Дольше всего ты, конечно, задерживаешься на Кубенском озере, которое здесь, на схеме, похоже на голубую рыбину.

...Сколько раз ты приезжал сюда, на Кубенское озеро, в устье Ельмы, рыбачить. Рыбачить — это видеть небо и воду, уставать неимоверно, бросаться на сено и мгновенно засыпать. Как для Феди Протасова цыганская песня — это степь, это десятый век, это воля, так для тебя мельканье паруса в волнах Кубенского озера — это древние новгородцы, это твои деды и прадеды — рыбаки, это воля в том главном, изначальном смысле слова, в котором о ней сказано в «Живом трупе» Толстого или «Листригонах» Куприна.

Только здесь ты видишь, как огромно небо, как многослойны облака на закате, как черна вокруг вода, когда вечерним часом ты возвращаешься в устье реки. Только здесь тебе будут приветливо светить огни Ельмы, показывать путь и в непогоду, и в глухую полночь... Особенно ярок для тебя один огонек: он на самом мысу, или, по-местному, на кряжу. Там — твой дом, твой приют, твоя отрада... Только здесь ты можешь встретить и первый солнечный луч, когда останешься ночевать в озере, в лодке.

...Одно-единственное облачко — все в трепетных и нежных отражениях ранней зари — оттеняет светлую глубину неба. Минута-другая — на краю земли вспыхивает ярко-алый уголь... Этот уголь будет разгораться до тех пор, пока из багрового полымя не выступит солнце, странное, вытянутое в длину, непрерывно источающее волны алого света. И тут же на воде задрожит огненная дорожка. Она будет дрожать и рваться на короткие полосы, пока между темным берегом и солнцем не образуется разрыв, заполненный все тем же алым свечением. И чем больше этот разрыв, тем длиннее и длиннее пламенеющая полоса. В светлом небе пролетит бесшумно какая-то черная птица... Когда ты опустишь глаза, отблески раскаленной пламенной дорожки уже добегут до кормы лодки — солнце взошло...

У Константина Коровина, превосходного русского живописца, есть новелла, в которой он описал Кубенское озеро. Память о нем Коровин сохранил на всю жизнь. «Какая красота!— восклицал художник.— Далекий край. Россия... И какой дивной несказанной мечтой был в своем торжественном вещании тайн жизни». Мысль о том, что кубеноозерские дали — это торжественное и величавое вещание тайн жизни, приходит и тебе на ум, едва ты остаешься здесь с природой один на один.

В ясный полдень, если смотреть на озеро издалека, оно приобретает фиолетовый оттенок, а вблизи оно — густо-голубое, нет, густо-густо голубое, такое, что кажется, будто голубизна небес доведена до предельной силы и разлита вокруг тебя. Недаром говорят, по шкале голубизны,— а есть и такая шкала,— Кубенское озеро занимает одно из первых мест в России. Эта голубизна пропитывает тебя насквозь, проникает во все поры тела и рождает то чувство простора, без которого не может жить современный человек.

Бесконечный бег волн, крик чаек, посвист ветра вещает тебе о главной тайне жизни — о красоте, и этого вполне достаточно, чтобы ты обрел душевную целостность, гармонию, ощутил ее наяву, а не размышлял, не прикидывал про себя, на какой высоте замерли перистые облака — восемь или десять тысяч метров, как пишут в учебниках,— просто дивился белоснежным перьям, словно оброненным в полете лебединой стаей...

Рыбачить — это быть солнцепоклонником, жизнелюбом, нетерпеливо ожидать завтрашний день, верить в хорошую погоду, в счастье, в удачу, во все добрые предзнаменования и приметы, какие существуют в мире. Ведь к озеру привыкаешь, как к чему-то живому... Мой дед, Александр Александрович, в старости уже не мог рыбачить. Но он не находил себе места, если с утра не взглянул на озеро: каково оно сегодня, как выглядит, как ведет себя... Рыбачить — это обновляться духовно. Забывать свой возраст, свои немощи и недуги, не стонать, не жаловаться на невезенье, а всегда принимать выдумки — за правду, предания — за быль...

Мой старый дружище Владимир Алексеевич Красиков, что живет в заводском поселке с женой Катей, а по воскресеньям и со взрослыми детьми, приезжающими из Вологды, не раз говаривал мне: «Пошел тонуть,

дак — не ухай!..» Владимир Алексеевич — великий знаток лукавых и непривычных присказок, до смысла которых, пожалуй, и доберешься не сразу. Однако этот тайный смысл поймешь, если занят каким-нибудь рыбацким делом: выбираешь зацепившуюся за топляк блесну или ищешь старые мережки возле тресты... Вот тогда-то до тебя и доходит, что всякое дело надо делать безоглядно, а по словам моего друга — во всю прыть.

Сам Владимир Алексеевич любит озеро особой, я бы сказал, сугубо личной любовью: вряд ли кто из жителей Ельмы лучше его знает удачливые места, умеет оценить озерное приволье и раздолье. Но опять-таки без словесной суеты, без многословия тех людей, которые ладно баюкают, да сон не берет... Эта присказка — опять-таки из кладезя Владимира Красикова. От него же я услышал и многие другие были и побывальщины Кубеноозерья.

...Догнивают в прибрежных заводях рыбачьи лодки — «кареводницы» и «стружки», послужившие службу многим поколениям кубенских рыбаков. А славные же это были лодки. Я застал один такой дедовский «стружок»: днище выдолблено из распаренного ствола осины, борта обшиты тонкими досками, нос поднят высоко-высоко, чтобы не захлестывала озерная волна. И нигде ни одного гвоздя! А теперь моторка, летящая по воде с невиданной скоростью,— символ современного Севера. Телевизионные антенны на высоких шестах — повседневный быт кубеноозеров. Да и Большая дорога зарастает травою, потому что вдоль всего побережья прохлестнута новая автострада с бетонными автобусными остановками, мчащимися грузовиками, самосвалами, рейсовыми автобусами и легковыми автомашинами. Если раньше из уст в уста передавали слух о какой-то старухе, которая обыденкой — то есть «об один день» — могла сходить в Вологду, то теперь никого не удивишь, что ты побывал в городе и засветло вернулся домой: шестьдесят километров автобус проходит за полтора часа. Расстояния сократились. Время уплотнилось. Облик Кубеноозерья меняется на глазах. Оно становится одним огромным пригородом: автобусные остановки, новые дома, стеклянные чайные, линии высоковольтных передач — это приметы последних лет. Такие приметы

делают похожим Кубеноозерье на все другие районы Севера.

И все это, конечно, весьма отрадно. И было бы еще отраднее, если бы мы, справедливо восхищаясь новым обликом Кубеноозерья да и всего русского Севера, почаще вспоминали слова Пушкина: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Как жаль, что такого уважения к минувшему не хватает еще моим землякам...

СПАС-КАМЕНЬ

Издалека в синем просторе начинает маячить полуразрушенная колокольня. Потом обозначается берег; за курчавой зеленью — груды щебня и остатки стен Спасо-Преображенского собора, первого монументального собора в северной Руси. Его разрушили в тридцатых годах. А между тем с возникновением этого храма связано немало исторических сказов. Летопись гласит, что в тысяча двести шестидесятом году белозерский князь Глеб Василькович с дружиной своей направился в древнее Заволочье. На Кубенском озере ладейный караван разметала буря. Ладью самого князя Васильковича чудом выбросило на крохотный островок посреди озера. Во имя своего чудесного спасения князь и дал обет выстроить здесь храм Всемилостивейшего Спаса. Однако в народе говорили о спасении князя несколько по-иному. Будто он стал тонуть в высоких волнах и взмолился о чуде. И словно прислушавшись к человеческим воплям, озеро стало стихать, а воевода ощутил под ногами твердое дно. Дно все подымалось и подымалось, пока не стало островком в безбрежной пучине. «Камень спас!» — воскликнул пораженный воевода. Так и зовут с тех пор этот остров Спас-Камень.

В детстве я много раз проплывал мимо Спас-Камня на пароходе «Николай Чернышевский», бывшем «Св. Николае», который ходил как-то боком и был перегружен сверх всякой меры, а позднее — на речном трамвайчике, который стал курсировать здесь в послевоенные годы. И всегда при виде замшелых валунов, окаймляющих остров, старинных тополей и одиноко возвышающейся колокольни волновался непонятным мне самому волнением. Но в семьдесят втором году, памятном

всем нестерпимым зноем, дымом пожарищ и облаками, казалось, навсегда застывшими над северной Русью, я наконец-то вознамерился провести два-три дня на Спас-Камне, алкуя, как говорилось в летописях, прохлады, тишины и покоя.

Мы шли на алюминиевой моторке от Устья-Кубенского. Колокольня приближалась прямо на глазах; она словно вырастала из этой знойной мглы, сама такая же мглистая, похожая на мираж среди голубизны раскаленного июльского полдня. Несколько раз я щелкнул фотоаппаратом, надеясь и на черно-белой пленке запечатлеть воздушность и призрачность старинной колокольни. Но увы! Остров Уединения оказался миражем в полном смысле этого слова. У самых прибрежных камней покачивались моторки, надувные матрасы, камеры, виднелись головы купающихся. С площадки колокольни, на которой был установлен сигнальный фонарь, полуголые дети кричали что-то вниз и махали руками. Там и тут дымились костры... Но делать было нечего; я спрыгнул на гранит, обмытый водой, перетащил на берег тяжеленный рюкзак и связку удочек. А затем на этом же камне стоял и бездумно и бесцельно смотрел, как моторист Леня купается в крупно плещущихся волнах, как катера пролетают мимо островка, а иногда и заворачивают сюда, битком набитые отдыхающими, любопытствующими людьми.

«Искусства тяжкая дорога ведет к несбыточной мечте»,— несколько раз процитировал я самому себе в эти первые минуты пребывания на Спас-Камне. Жаркое небо было пустынно, и только над Устьем-Кубенским весь день неподвижно стыло одинокое облако, точь-в-точь похожее на атомный гриб... Этот апокалиптический гриб отбрасывал тревожную тень на моторки, снующие взад и вперед мимо островка, на сельские виды новленского — другого — берега, на всю озерную голубизну.

Раскаленные камни жгли подошвы ног, обутых в кеды. Да и вообще припекало так, что хотелось забраться куда-нибудь в тень от этой жары, преследовавшей меня на берегу. Еле передвигаясь, я вошел в заросли молодых тополей, где, отбиваясь от оводов, с превеликим трудом вскипятил котелок воды, заварил пачкой индийского чая и, постанывая от наслаждения, долго пил эту коричневую жидкость и никак не мог утолить

жажды. А потом, соскользнув с валунов, покрытых зеленой слизью, долго плавал в прибрежных водах, которые в такую жару показались мне коричневым тепловатым отваром.

Постепенно островок опустел, хотя звон лодочных моторов не давал забыться ни на один миг. Теперь к островку возвращались рыбаки, весь день тягавшие за собой «дорожки». Чтобы увидеть панораму озера и все краски, все переливы близкого уже вечернего заката, я поднялся на развалины Спасо-Преображенского собора. Его взорвали на кирпич, но, как видно, не смогли отломать от монолитов ни одного кирпича: рухнувшие стены так и лежали костром, напоминая о человеческом уме и человеческом безумии.

В общем, мысли мои были невеселыми, ибо этот захламленный, запущенный, задичавший островок, сама флора которого была уникальна, ибо, как мне говорили, сохранилась с ледниковой эпохи, сама история которого — вплоть до бесшабашно-прекрасного поэта Василия Сиротина — была удивительна и трагична, этот островок, отданный теперь на поток и разграбление племени «диких» туристов и рыбаков-любителей, сам взывал к спасению, к милосердию...

Но была ночь! Возле гулко и ровно гремящих камней я раскинул спальный мешок и залез в него, не задернув даже на груди молнии. Невдалеке пылал костер: люди с пламенными лицами сидели вокруг него. И, судя по всему, следовали современной пословице, которую я услышал в здешних краях: «Рыбалка — та же пьянка, но только в резиновых сапогах».

Я лежал безучастно в своем спальном мешке и смотрел прямо вверх. Высоко в небе одинокое светило двигалось какими-то странными рывками. Оно показалось мне спутником: я даже попытался определить направление полета. Но в этом полночном серо-сиреневом небе такими же странными толчками двигались и другие звезды. Может быть, это были толчки пульсирующей крови в голове, хотя я и не ощущал этой пульсации. А может быть, это порывы ветра колебали ивовый полог. Только звездный небосвод по-прежнему странно подрагивал над головой.

...Многим позднее обо всем пережитом на Спас-Камне я рассказал Леониду Николаевичу Мартынову, и не

только рассказал, но и привез ему осколок белокаменной капители Спасо-Преображенского монастыря. Леонид Николаевич был необычайно взволнован услышанным. Ведь и его кровно волновали судьбы древнейших памятников зодчества и архитектуры на русском Севере, где он в тридцатых годах прожил несколько лет и немало поездил в качестве разъездного корреспондента. Ко всему прочему, жена и верный друг Мартынова — Нина Анатольевна,— коренная вологжанка. Да и заглавная книга поэта — «Лукоморье» сложилась здесь, в городе старинных куполов, как называл Вологду сам Мартынов. Короче, было множество причин, по которым впоследствии я получил от поэта письмо. А в нем — стихотворение «Страж». И поскольку рассказ о поездке на Спас-Камень был бы неполон без стихов поэта и поскольку этим стихам присуще крайне своеобразное виденье мира, я приведу стихотворение «Страж» почти целиком.

Я,
когда нахожу черепки чаш
в чистом поле,
Думаю:
— Кто же им страж?
Вечность, что ли?
Я не говорю уж о позабытых буграх,
То есть о том, что никто не занят спасением
Тех курганов, где предков своих беспокоим
мы прах
По субботам и воскресеньям.

. . . . . .

А на Кубенском озере
Монастырь,
Превращенный когда-то
в начале тридцатых в маяк,
Рыбаки и охотники преобразили в унылый пустырь.
И на месте теперь уж маяцких, маячных развалин
Остается, печален, лишь черный, пожравший и
камень и пламень очаг.
Словом, —
Есть у Вечности что-то
Всепожирающее
В ясных ее очах,
Будто Вечность такой преотчаянный весельчак,
Что порой и заплакать от смеха охота.

...Грохот валов о камни, блеск пламени рыбацких костров, звезды, двигающиеся толчками,— все, все стало пропадать и меркнуть, когда голос моториста Ле-

ни — «Подъем!» — прервал мое долгое забытье. Его послал привезти меня с островка на «Большую землю» Николай Николаевич Трудов, мой добрый знакомый. Рев мощного лодочного мотора, броски на волнах — и стремительное ночное небо, упавшее перед нами на воду, — вот что запомнилось при возвращении на землю. Белая заря еле-еле занималась над горизонтом, когда мы вернулись в поселок. Грибовидное облако все еще стояло над ним...

ПУТЕМ ВОДЫ

А за Антонием озеро сужается, незаметно переходит в речку Порозовицу, в верховьях которой был один из самых знаменитых в старину волоков, — Славянский *волок*, просуществовавший вплоть до восемнадцатого века. Может быть, где-нибудь в этой местности были и свои Волочанские болота, по которым суда перетаскивали в Никольское озеро?.. А затем по речке Славянке спускали их в Шексну, плыли в Белое озеро или на Волгу?.. Ныне по старым каналам и шлюзам можно добраться до Топорни — *этого перекрестка водных дорог* всего русского Севера. Здесь заканчивается Северо-Двинская система, здесь проходит Волго-Балт. Позади остались башни и стены Кирилло-Белозерского монастыря, впереди — дорога на северо-запад — к Вытегре, на юг — к Череповцу. Когда-то по всему Белозерью жило северное племя весь, и сохранилась память о нем в названиях многих городков и сел. От этого племени произошло В е с ьегонск, Луко в е с ь. Череповец или Черепо в е с ь. Чери — рыба, еп — гора: череповесь — племя рыбьей горы. Но не рыбой, а железом прославилась эта местность в Древней Руси. Крестьяне умели плавить болотную руду-ржавицу. От этих-то судских, устюженских, череповецких домниц и шагнуло Заволочье к домнам-гигантам Череповецкого металлургического завода. От этих-то дощатых причалов, с которых на расшивы и беляны грузились железные поковки, и повел начало Череповецкий речной порт. Теперь прокат и сталь металлургического завода грузят на морские суда типа «Волго-Балт» и «Балтийск» и доставляют их в Гдыню, Росток, Хельсинки, Стокгольм... Акваторий порта бороздят «ракеты», катера и моторки. Ярко-оран-

жевые металлические бакены отмечают фарватер. На якорях, по морскому обычаю, стоят самоходные баржи, плавучие краны, двухпалубные теплоходы. Это — Волго-Балтийский водный путь. Выше плотины Череповецкой ГЭС — картина такая же: только, может быть, сожмется сердце, когда теплоход будет проходить среди полузатопленных, высохших, уходящих за горизонт деревьев.

...В топком устье Невы подымалась, росла новая столица Российского государства — город Санкт-Петербург. Для торговли с заморскими купцами, для собственных надобностей городу был нужен хлеб, корабельный лес, железо, пенька, пушнина. Но богатое лесом Заволочье и богатое хлебом Поволжье были отрезаны от Невы волоками и перекатами. В 1711 году в Обонежье пожаловал Петр Первый. Царь имел великое и полезное намерение использовать древний путь новгородцев, прорыть каналы, соединить Балтику — с Каспием, Неву — с Белым морем. В Петровой свите было немало знатоков инженерных сооружений, русских и иноземных «водяных дел мастеров». С ними-то и исходил Петр Первый водоразделы, побывал на волоках у Матко-озера, самолично проверил течение лесных рек. И повелел рубить просеки, ставить вешки будущего канала. Однако неотложные государственные дела отвлекли императора от его затеи. Просеки снова заросли мелколесьем. Проекты «водяных дел мастеров» затерялись в архивах.

Но полезное намерение Петра на забылось. Через сто лет, 21 июля 1810 года, по Мариинской системе, названной так в честь императрицы Марии, прошли первые суда. По тому времени это было грандиозное гидротехническое сооружение, которое на протяжении всего XIX века перестраивалось, совершенствовалось и еще в 1913 году на всемирной выставке в Париже было удостоено Большой золотой медали. Старая Мариинка через Онегу и Ладогу снабжала хлебом сначала Санкт-Петербург, потом революционный Петроград, потом осажденный, истекающий кровью город Ленина. Но уже в предвоенные годы встал вопрос о замене ее новейшей системой шлюзов и каналов. Весной 1941 года волжская вода заплескалась у причалов Череповца — это

к Ягорбе подошло Рыбинское море. Однако интенсивное строительство Волго-Балта было прервано войной и снова началось только в 1960 году, спустя сто пятьдесят лет после открытия Мариинки... 6 июля 1964 года между Пятым и Шестым шлюзами встретились два каравана судов: один шел со стороны Онежского озера, со стороны Невы, другой — со стороны Череповца, со стороны Волги. Так открылась первая страница в летописи Волго-Балтийского водного пути. Древние же волока на водоразделе Вытегры и Ковжи, которые я жаждал увидеть, стали историческим прошлым; сохранились они только в старых книгах да, еще, пожалуй, в названии самой земли Заволоцкой.

...Осторожно, как бы примеряясь и присматриваясь, белоснежный корабль входит в пятый шлюз. Многим ниже палубы — бетонный парапет, ограждающий канал, насыпи, карьеры, за ними — сельские дороги и леса. Да и вся земная окрестность видна тебе с палубы теплохода. Дух захватывает от этой лесной дали. Но через какое-то время бетонный парапет оказывается выше поручней, еще выше — теплоход, словно в грузовом лифте, медленно оседает вниз... Вскоре в гулком колодце закричат, замечутся чайки, засинеет клочок неба, мокрая бетонная стена с гидравлическими крюками-поплавками, к которым пришвартован теплоход, закроет все видимое пространство. На палубе станет сумеречно, сильнее запахнет водой и мазутом. Ты пройдешь на нос корабля, чтобы не пропустить момент открытия эксплуатационных ворот. Высоко-высоко над тобой — башни шлюза, словно надстройки какого-то высотного здания. За стеклами смотровой площадки ты силишься рассмотреть человека, который управляет этой сложнейшей гидротехникой. Но твое внимание отвлекают шлюзовые ворота: многотонная махина, запирающая выход из камеры, вдруг расходится — на палубе мгновенно светлеет; в широком проеме блестит вода, в отдалении виден караван судов, огни светофоров и просторная синева небес. В эту даль теплоход выходит торжественно и спокойно, как будто из устья реки, стиснутой отвесными берегами, в безбрежное море...

В Вытегре не сразу и разберешься, где город, а где пригородные поселки. От пристани — бетон, стекло,

цветники — автобус будет идти мимо новых кварталов, и ты подумаешь, что ты — в самой Вытегре. Но окажется, что это городок гидростроителей, что за стандартными домами есть и своя бревенчатая глухомань, и своя Красная горка со Сретенским собором, есть и река Вытегра, и остатки старой Мариинской системы, изрезавшей город во многих местах. В самом деле, старая часть города изрезана каналами, в ней все перемешано: купеческий особняк, напоминающий индийскую пагоду, стоит рядом с новой трехэтажной гостиницей «Вытегра», бараки тридцатых годов рядом с бывшими лабазами, лавками, лавчонками, с тем провинциальным захолустьем, которое не скоро вытравишь, не скоро перестроишь. Асфальтированное шоссе сменяется улочками, которые выходят в чистое поле; старый канал упирается в насыпь плотины, поддерживающей высокий уровень воды в Волго-Балте. И повсюду железные ящики, шкафы, бочки — в них местные жители хранят лодочные моторы и весла. А в это время по большому каналу, возвышающемуся над старым городом, тихо урча, проплывают грузовые и нефтеналивные суда. Они движутся почти бесшумно — с насыпи доносится только журчание воды да глухо отдаются удары дизеля, как удары турецкого барабана. И этот поразительный контраст бетонных башен Волго-Балта, нарядных теплоходов, большегрузных судов с полусонной Вытегрой, заросшей осокой, загроможденной лодками, отгородившейся от канала заборами и сарайками, никого не удивляет. К подобной чересполосице старого и нового уже привыкли, хотя и не смирились с ней: над бревенчатыми домами то там, то здесь возвышаются стрелы подъемных кранов, светлеют заборы, ограждающие стройплощадки и пустыри.

Побывать в городе Вытегре и не попасть на берег Онежского озера — все равно что не повидать в Вологде Софийский собор. Где-то здесь, совсем рядом, былинное озеро Онего, раскинувшееся на сотни квадратных километров... Итак, в дорогу!.. Моторная лодка петляет по руслу полноводной и глубокой Вытегры, сворачивает в протоку, пробирается в густых камышах и вылетает на простор озера Великого. Название-то чего стоит — Великое! Далеко впереди, за островками камыша,— холмистая гряда. Это — кенда, так вытегоры зовут песчаные дюны, поросшие сосняком. Снова про-

тока, снова шуршание тресты, снова кувшинки, цепляющиеся за винт,— и ты уже у цели. На песчаных буграх разбросаны изогнутые ветром сосны; за соснами что-то неумолчно и ровно шумит, хотя стоит безветренный, жаркий день. Нет, сосны так шуметь не могут, это что-то иное. Нетерпение охватывает тебя — скорее за бугор, к этому неумолчному шуму... Шаг-другой-третий — и ты замираешь, с трудом переводя дыхание: перед тобой голубая чаша, до краев наполненная солнечным светом. Ослепительно белый песок, гребни волн, силуэт теплохода на горизонте — и безлюдие, невероятное в наши дни безлюдие прибойной полосы... Идешь, идешь по приплеску, встретишь полузасыпанное песком днище *лодки, завал бревен-топляков, уголь, который горит* на белом песке как черный алмаз, но нигде не увидишь даже намека на человеческие следы. Это — Север, край земли Заволоцкой. Это — устье Вытегры, которого ты достиг, начав плаванье с верховьев реки Вологды. Не об этом ли ты мечтал в детстве, не к этим ли берегам стремился в студенческие годы?..

Шумят низкорослые сосны, зацепившиеся за песчаный обрыв, шумит прибойная волна... Этот шум и плеск встречал расписные лодьи ушкуйников-новгородцев, гребные галеры Петра Первого, беляны петербургских купцов, колесные пароходики акционерных компаний в начале века. Теперь этот шум встречает белоснежные теплоходы, курсирующие по Волго-Балту, нефтеналивные лихтеры, идущие в Гданьск, «метеоры», пересекающие Онежское озеро за два с половиной часа... И все-таки от первозданности земли и неба, воды и песчаных обрывов тебе становится удивительно легко и весело... Рубашка, брюки, ботинки, трусы — все летит на песок... Набежавшая ледяная волна окатывает с головой. Ты отталкиваешься от песчаного дна и плывешь в голубую безбрежность, пока хватает дыханья и сил...

...Вот, оказывается, на какие воспоминания может навести фанерный щит с изображением водных путей Заволочья!..

Как бы очнувшись от сна, ты встаешь с пристанской скамьи, еще раз подходишь к расписанию пассажирских

теплоходов, запасаешься терпением и выходишь на Советский проспект. Сирена речного буксира долго сопровождает тебя.

В ЛЕСАХ — ТОТЬМА

...И вот наступает час отплытия!.. Он всегда наступает, это час, и не в мечтах, а в действительности. Вещи заброшены в каюту, билет лежит в бумажнике — все в порядке. Ты плывешь до Устья-Вологодского, потом сворачиваешь не к Кубенскому озеру, не к Волго-Балту, а вниз по Сухоне — к Тотьме, Нюксенице, устью Юга... И будешь плыть все дальше на северо-восток, к Северной Двине и по Двине, мимо пристаней и селений, до устья Северной Двины, до Беломорья, называемого в летописях Соловецкой пучиной.

...Еще вчера в Вологде стояла солнечная погода. Над притихшим сквером, над зданием обкома партии, расположенным напротив сквера, носились стаи ласточек. И эти стаи, и яркий закат, полыхавший вдали, и купол колокольни Софийского собора — все было странно-умиротворенным, особенно странным и особенно умиротворенным после московской толчеи, очередей у билетных касс на Ярославском вокзале, приготовлений к отъезду и неизбежно связанных с отъездом волнений — отвыкает человек за время разлуки от многого и забывает черты родного города, которые, казалось бы, трудно забыть... А наутро — холодный ветер, облачное небо и уходящий дебаркадер с крупной надписью: «ВОЛОГДА». У самого борта — старая женщина в сером пальто, вязаной шали. Нет ничего дороже этой удаляющейся фигурки, с поднесенной к щеке рукой — так извечен материнский жест разлуки и безмолвной печали! Все шире и шире полоса чистой воды, все мельче фигурка возле борта — вот ее уже и совсем не видать...

Небольшой теплоход «Тарас Шевченко» медленно пробирается протокой, образовавшейся между штабелями бревен, бранд-вахтами, плавучими кранами, плашкоутами и буксирами. Многим из них идти по большим и малым рекам Заволочья, тащить плоты, снабжать самые отдаленные лесопункты продуктами, мануфактурой, машинами и стройматериалами, в которых повсюду большая нужда. Но сразу же начинается

деревня Турундаево с избами-пятистенками, резными карнизами, лодками, вытащенными на берег. И пошел теплоход кружить среди плоских, как гладильная доска, берегов, среди засиненных далью северных лесов. Иногда по берегу, обгоняя теплоход, пробежит трактор «Беларусь», сзади на прицепе, устроившись на груде сена, сидят девчата-колхозницы. Все в белых платочках, подвязанных под подбородком, все молодые, оживленные, довольные и собой, и трактористом, и даже погодой, которая к вечеру обещает быть еще сумрачней и ненастней. Это — Заволочье! Это — северная Русь!

После пристани Устье-Вологодское, мимо которой мы пройдем без остановки, река мало в чем изменится, хотя это будет уже река Сухона и местность будет называться Междуречьем.

Именно здесь, на пойменных лугах Междуречья, и берут начало молочные реки, которые на молокозаводах превратятся в знаменитое на весь мир вологодское масло...

К селу Шуйскому, расположенному при впадении реки Шуи в Сухону, теплоход подходит уже в темноте. Шуйское — центр Междуреченского района и первая остановка на пути к Тотьме. Отраженные рекой огни делают воду дегтярно-черной, а берег темным, неприветливым. Эти огни знобкими полосами пересекают реку... Скорей же спускайся с палубы вниз — там, возле машинного отделения, тепло и уютно. Ярко сияет красной медью кипятильник. От крана бьет горячий пар. Под ногами железный, истоптанный, весь в стершихся заклепках пол, иначе и не скажешь: бородавчатый пол. Лежат бухты толстых канатов, штабеля ящиков и еще какой-то поклажи.

Ах, как хорошо прижаться к теплому кожуху кипятильника и знать, что за бортом теплохода — черная вода, нудный дождь и сырость ночных низин. А здесь женщина кормит грудью ребенка, пьяный старик спит на ящиках, свесив руку, и парень с девушкой сидят в обнимку. Старуха, примостившись к канатам, покуривает дешевую папироску и равнодушно смотрит то на пьяного старика, то на обнимающихся парня и девицу. Из машинного отделения тянет теплом, запахом солярки. Там огромные и влажные от масла шатуны вращают гребной вал; машинист, протирая руки ветошью,

ходит возле шатунов: изредка в глубине трюма вспыхивает ослепительное пламя форсунки. И где-то совсем в другом мире, как будто бы даже в другом измерении, гудят ночные, непроходимые дебри Заволочья.

«А лесов-то тьма, а в лесах — Тотьма» — написал в одном из северных стихотворений Сергей Орлов. Строчка запомнилась, запала в память. И хоть поэт переставил ударение, ибо название городка произносится с ударением на первом слоге — Тотьма, а не Тотьмá,— прощаешь ему эту волность за хорошую рифму. Ведь в действительности Тотьма затерялась среди сухонских лесов — и в заречье леса, и за городом лес, и повсюду — тьма тьмы лесов.

Впервые Тотьма упоминается под именем посада Тодмы в новгородских хрониках. Сохранилась грамота князя Святослава: в этой грамоте говорится, что, дескать, жители посада Тодмы должны платить новгородскому епископу Нифонту дань в «два сорока куньих мехов». Но через столетие не одними драгоценными мехами прославилась Тотьма — вблизи нее были открыты соляные источники; тогда «у соли» возник посад Усолье, где выпаренная соль ссыпалась в рогожные кули и развозилась по всему Заволочью, принося не меньший, чем мягкая рухлядь, доход господам новгородцам. Этот посад и крепостица, возникшая позднее в устье реки, впадавшей в Сухону, и образовали нынешний город Тотьму. Столетиями не менялся ее облик, хотя она и выгорала множество раз и множество раз подвергалась опустошительным набегам воинственных иноземцев, в летописях называемых агарянами. И сейчас город Тотьма разделен низинкой, в которой протекает речка. Местные жители постарались переосмыслить непонятное им название этой речки...

Многие из здешних рек были местами обитания «чуди заволочьской», которая, по преданию, «в землю ушла»!.. Ушла в землю чудь заволоцкая, а как ушла и почему — никто толком сказать не может. Остались от нее только могильники да названия речек в глухих лесных чащобах, по-местному, суземах... А то или иное непонятное русскому крестьянину название переосмысливалось, связы-

валось с каким-то подлинным историческим событием, хотя, по правде говоря, к этому событию или случаю имело оно самое фантастическое касательство... До сих пор тотьмичи пересказывают приезжему человеку легенду, по которой царь Иван Васильевич Грозный повернул из Вологды не в Москву, а в Тотьму. Хотел он поехать еще дальше, но застрял возок в низинке, по которой протекал безымянный ручей. Подоспевшие мужики помогли кучерам вытащить возок. Выбрался царь-государь из возка, вознамерился было отблагодарить мужиков за помощь, достал кошель, развязал его... Да нечаянно обронил денежку. Скуповат был московский государь — искал, искал серебро, не мог найти... И тогда в сердцах воскликнул: «Пес с ней, с деньгой-то!» Вот откуда пошло название Песья Деньга.

Может, и не следовало бы пересказывать эту легенду, если бы не удивительная деталь. На ветхом домике, который стоит в пойме ручья, прибита проржавевшая табличка: «Набережная реки Песья Деньга». А между прочим, Иван Грозный дальше Вологды на север не заезжал, и правильное название речки Пес-Еденга.

...Шорохом старых берез встречает Тотьма теплоход «Тарас Шевченко». Дуплистые, развесистые, они придают удивительное своеобразие этому старинному русскому городку. Шорох берез смешался с шорохом дождя, который начался на рассвете и, не переставая, льет все утро. Возле деревянных тротуаров бродят вымокшие куры, горланят петухи. Разгоняя их, идут автомашины, спешат прохожие. На деревянных тротуарах — деревянные же заплатки. Вдоль улиц — деревянные заборы и деревянные домики с резными наличниками. Куда бы ты ни пошел, всюду тебя сопровождает запах мокрого теса и спиртовой запах корья — этот запах да цвет серебристого старого дерева и служат приметой большинства сухонских поселений. Конечно, как и всюду в Заволочье, в городе Тотьме заметны и новостройки, и новые предприятия местной промышленности. На месте бывших соляных варниц выстроены корпуса бальнеологического курорта. Как и в Кубеноозерье и в других районах области, над домами тотьмичей поднялись телевизионные антенны — вблизи от Тотьмы построен ретранслятор.

...А дождь, зарядивший с утра, то вроде бы приутихнет, то припустит сильнее прежнего. Может, пойти в местный краеведческий музей, о котором ты был наслышан раньше? Музей славится уникальным собранием старинных предметов крестьянского обихода — прялками, изделиями из бересты, вышитыми полотенцами, кружевами. Говорили тебе и о полном собрании картин известного русского художника Феодосия Михайловича Вахрушева, родившегося и прожившего большую часть жизни в Тотьме.

В краснокирпичном здании бывшего духовного училища — полумрак и музейная тишина. Уже в первых залах музея история Заволочья обретает наглядность и какую-то особую достоверность, убедительность. Вот ты читал про «чудь заволочьскую», писал о ней, а здесь, на стендах, представлена богатейшая коллекция шумящих подвесок и других женских украшений из чудских могильников. Их немало в здешних краях. Археологические раскопки, проведенные в разные годы, позволили приоткрыть завесу над судьбой этого таинственного народа. Ты вглядываешься в медные, позеленевшие подвески, видишь характерную трехчастную композицию на многих из них — две конские головки повернуты к центральному изображению языческого божества,— и перед мысленным взором встают обрывистые берега Сухоны, леса и леса, и даль реки, которая от устья к устью становится более плавной и величавой... Сменяются берега, густеют сосновые боры, и река Сухона катит свои воды уже не сквозь лесную чащу, а сквозь чащу десятилетий, которые слагаются в века.

А как хороши тотемские прялки!.. Ни одна из них не повторяет другую ни в рисунке, ни в узоре, а все наособицу, все с выдумкой... Многие из них венчаются тремя «городками» или тремя пологими выступами, за что на Севере их называют «башенными»: не от слова «башня» а от слова «баская», что значит красивая. Примечательно, что такие прялки с широкой лопастью и тонкой ножкой встречаются и чаще всего по берегам великого водного пути, которым новгородские корабельщики, ватажники и торговые гости ходили к Камню и Соловецкой пучине. На западе области — в Устюжне или на юге — Грязовце прялки имеют совершенно иную форму: ножка прялки массивна, она сужается в верхней части и завершается небольшим гребнем. А тотемские прялки неотличимы от

новгородских «лопасек», найденных при раскопках древнего Новгорода в слоях XII века. Вот она — живая связь времен. Вот она — история земли Заволоцкой... И здесь же, рядом с прялками, можно увидеть берестяные короба, жбаны, туески, даже берестяные сапоги...

На стендах — вышитые тотемские полотенца. Многие из них имеют полуметровые «концы»: тут и вышивка цветным гарусом, и старинные кружева, и редкостный по красоте и изяществу работы узор. Ты не можешь понять, что означает этот узор в целом, хотя и различаешь человеческие фигурки, фантастические изображения коней, повернутых к дереву, одновременно похожему на женщину с поднятыми вверх руками и со множеством мелких цветочков на подоле. Но ты чувствуешь, что сразу же попал в какое-то сказочное царство-государство, в котором обыкновенная березка преображается в царевну, крестьянский конь — в крылатую Сивку-Бурку, вещую Каурку, а рыбачья лодка — в расписную ладью. Несть числа подобным превращениям!..

Поэт Николай Рубцов, который, к слову сказать, в Тотьме написал свои лучшие стихи из книги «Звезда полей», чрезвычайно дорожил и этими чудесными превращениями жизненной прозы в поэзию, и этим «чувством древности земли». Без этого чувства, как полагал Рубцов, не может быть создана ни поэзия, ни истинная красота. Ибо красота, как легендарная золотая лодья, открывается человеку внезапно, она «мелькнет порой лугами, ветряками — и вновь закрыта дымными веками... Но тем сильней влечет она к себе!..».

Насколько неодолима влекущая сила красоты, насколько значительна ее роль в жизни художника, можно убедиться хотя бы в тотемском музее, где хранятся лучшие картины Феодосия Михайловича Вахрушева. Именно ему установлен бюст в городе Тотьме. Именно о нем тебе и была рассказана современная быль.

Феодосий Вахрушев — превосходный пейзажист. Почти все творчество он посвятил родной Сухоне, без конца создавая живописные полотна о рассветах и закатах, о солнечных и туманных днях на Сухоне,— реке, краше которой, казалось, он не знал ничего на свете. Среди этих

пейзажей, овеянных грустью или, напротив, жизнерадостных и счастливых, привлекает внимание единственный портрет женщины. Ее лицо нельзя назвать прекрасным — это скорее выразительное лицо. Карие глаза как бы обращены в глубь себя, они ищут ответ на какой-то мучительный, почти неразрешимый вопрос. Но почему этот удивительный по силе таланта, по художественному исполнению портрет оказался среди пейзажей? Кто эта молодая женщина?..

Звали ее Елена Михайловна Рябкова, и была она дочерью именитого тотемского купца. Молодой художник познакомился с ней незадолго до отъезда в Академию художеств. И влюбился, как влюбляются первый раз в жизни. По всему — девушка отвечала ему взаимностью. Таким трепетно и нежно влюбленным уезжал живописец-самоучка в Петербург. Годы не охладили чувства молодых людей. Но отец Елены Рябковой воспротивился браку, ведь по его представлениям Феодосий Вахрушев был нищим, непутевым человеком, он дерзнул просить руки дочери после возвращения из Петербурга, не имея за душой ни капиталов, ни званий, ни чинов. Купец Рябков был тверд в своем решении — он увез Елену из Тотьмы. Вахрушев никогда больше не помышлял о женитьбе. Но и Елена Михайловна не вышла замуж. Так и прожили они долгие годы в разлуке.

В 1957 году одним из рейсовых теплоходов в Тотьму приехала пожилая женщина. Приехала она из Ленинграда и несколько дней прожила в городе, никому не известная и никем не узнанная. А это была Елена Михайловна Рябкова. Перед отъездом она подарила местному музею свой портрет и уехала из Тотьмы, видимо, навсегда... Вот какова история портрета женщины с задумчивыми карими глазами. История печальная, как и всякая история истинной любви. Прослушав ее, хочется еще раз пройти по залам, в которых развернута экспозиция картин северного живописца... Постоять, подумать. И наконец понять, что сухонские пейзажи Вахрушева — это красота, которая представала порой перед художником лугами, ветряками, речными плесами и туманами низин... Это — его любовь, его нежность и тоска, его письма и дневники, короче, вся его жизнь. А жизнь до последнего часа была озарена необыкновенно сильным чувством, таким необык-

новенным и таким сильным, что кисти Вахрушева, кроме портрета, принадлежит изображение девы Марии, написанное им до революции и помещенное в актовом зале Духовного училища, изображение, в котором старые тотьмичи узнают черты Елены Рябковой. И ее портрет, и изображение девы Марии, и пейзажные полотна тотемского живописца — все вместе вызывает в душе невыразимые чувства. А не в этих ли чувствах заключена тайна тайн искусства, разгадать которую дано далеко не всем?..

ОПОКИ

...По Сухоне идет молевой сплав леса. Издали шестиметровые бревна, рассыпанные по глади реки, кажутся неподвижными и застывшими в хаотическом беспорядке. Но такое ощущение обманчиво — течение Сухоны с каждым километром все быстрей и стремительней. Небольшой теплоход «Лесков», который из-за мелководья курсирует только между Тотьмой и Нюксеницей, идет прямо по молевому сплаву. Железный корпус теплохода вздрагивает от глухих ударов, иногда замедляет ход: поперек судна встает бревно и тормозит движение. Но его вышибает из-под днища другое бревно — и так без конца. Рулевые в судовой рубке не обращают на сплав никакого внимания: привыкли. Они ведут теплоход по извилистому фарватеру, который в иных местах сужается до пятнадцати метров. На перекатах, или, поместному, переборах, лежат все те же бревна-топляки.

Ниже Тотьмы река Сухона совсем не похожа на ту медлительную величавую плавную реку, к которой привыкаешь в районе Междуречья,— здесь она порожиста и камениста. Берега ее обрывисты. Слои пермского песчаника и сухонского известняка образуют прихотливые изломы, рассекаются прибрежными оврагами, прорастают одинокими соснами, которые цепляются за обрыв и, кажется, вот-вот сорвутся вниз.

Возле пристани Игмас — крупная лесобиржа... Рабочие по настилу сбрасывают лес, вывезенный с лесопунктов в реку. Бревна, убыстряя и убыстряя вращение, с размаху падают в воду, вздымают каскады брызг, долго вращаются в воде и постепенно подхватываются течением. Отсюда начинается поток бревен, который

весь устремлен на северо-восток и северо-запад.

И Сухона, и все ее притоки — неутомимые реки-труженицы — работают на крупнейшие комбинаты страны — Сокольский, Коряжемский, Архангельский, на лесозаводы Котласа, на Ленинградский и Архангельский морские порты. Далек путь бревен к пилорамам... Велики и потери — как говорят, до пятнадцати процентов. Молевой сплав засоряет реку топляком, отравляет ее разлагающейся корой, создает неудобства для судоходства...

Положение дел может измениться только после строительства Велико-Устюжского гидроузла. Вот тогда-то и скроются под водой знаменитые сухонские перекаты, как скрылись древние волока в районе Волго-Балта. Шлюзованная лестница — ступень за ступенью — будет опускать большегрузные суда, буксиры с плотами, самоходные баржи из отдаленных районов Заволочья к Северной Двине, к Белому морю, к самому Ледовитому океану. А пока плоскодонный теплоход «Лесков» вздрагивает от удара тяжелого бревна, вставшего поперек течения, приметно сбавляет ход — бревно с плеском выскакивает из-под днища, все измочаленное о камни перекатов, изрубленное форштевнями проходящих судов.

...Казалось бы, глуше, чем Нюксеница — поселок районного значения,— место на земле и придумать трудно — связь с областным центром только по воздуху, а летом — с пересадками по воде. Но Нюксеница — вполне современный рабочий поселок. Как и Тотьма, этот поселок разделен речкой Нюксеницей на две половины, соединенные пешеходным мостиком. В старой половине умирают бревенчатые избы старинного присухонского села, в новой — все новое: и аккуратные ряды двухэтажных желтых домов, и здание столовой-ресторана с неизменной «Виолой», и поселковый клуб, и райком, и продуктовый магазин. Рядом с Нюксеницей — ее пригород, по-народному, Крысиха. В здешних местах у многих поселений сохранились два названия: одно — настоящее имя, другое — прозвище. Так, например, официальное название — Ананьевское, а прозви-

ще— Помелиха... Конечно, Крысихи и Помелихи — наследие дореволюционных лет. Однако не только ими богат был наш Север и раньше. Народ по-своему восхищался красотой и живописностью берегов Сухоны, величием лесных просторов. Наряду с Помелихой он говорил: Красавино. Теперь Красавино — текстильный городок, известный производством красавинских тканей, скатертей, полотенец и других изделий из вологодского льна. К слову сказать, помимо этого Красавина на Сухоне затерялись еще два поселения с тем же названием. Возле самой Нюксеницы есть слободка с красивым названием Березовая. Эта слободка исстари славилась мастерами-умельцами, резчиками по дереву... Резную прялку, солоницу, расписную дугу, а то и старинную братину, похожую на маленькую ладью, можно и теперь встретить в избах слобожан.

А Сухона в этих местах действительно красива. На берегах ее то сосновые боры, то березовые рощи, и похожа она чем-то на шишковскую Угрюм-реку. Чего стоит Опокский перекат! Вот река врезается в всхолмленную местность, поросшую густым сосняком... Отвесные берега на сотню метров подымаются то с правого, то с левого борта. Течение реки стремительное — это уже горная река, и закаменевшие обнажения берегов делают пейзаж почти что горным, непривычным для северной низменности. Пассажиры высыпали на палубу, чтобы полюбоваться этим чудом земли Заволоцкой. Еще раньше матрос предупреждал всех: «Сейчас будут Опоки! Выйдите, посмотрите. Берега там больно красивы...» Как он был прав, этот заволоцкий парень, сохранивший в душе любовь к родной Сухоне!.. Быстрое течение проносит наш теплоход мимо срезов, отвесно падающих к воде. Шум переката заглушает голоса. Блестят на солнце речные струи, свиваясь в серебристые жгуты.

И все бы было хорошо, если бы не тягостное впечатление, которое оставляют остатки бараков-времянок, вышек, деревянной шлюзовой камеры с проржавевшими воротами. Раньше проход через Опоки занимал много часов — колесные пароходы не могли одолеть течения, их тянули еще буксиры. Во время войны было предпринято спешное строительство обходного канала. Но не оказалось ни сил, ни техники, ни времени: недостроенную плотину в половодье разворотило баржей,

принесенной с верховьев, система шлюзования была нарушена и в конце концов разобрана на дрова. Так и остались эти деревянные ряжи, потемневшие от времени, забитые щебенкой, эти шлюзовые ворота, раскрытые настежь, эти следы бараков-времянок памятником нечеловеческих усилий и многих жертв. А Сухона стремительно бежит к новому повороту, несет наш плоскодонный теплоходик к городу Устюгу Великому — последнему крупному городу в пределах вологодского Заволочья.

«МОРОЗ ПО ЖЕСТИ»

Многим, вероятно, известна великоустюжская чернь по серебру, но мало кто знает о шемогодской резьбе по бересте. Еще меньше знают о сканных работах северных мастеров. И совсем мало кто помнит теперь о ларцах и сундуках, отделанных «морозом по жести», с потайными замками и секретами. А ведь эти ремесла и эти промыслы два столетия были сосредоточены в городе Устюге Великом. Вклад северных ювелиров, резчиков, сканщиков, шкатулочников в русское прикладное искусство признается всеми искусствоведами... Правда, в начале нашего века многие промыслы — и, в частности, чернение по серебру — испытывали пору упадка. В том же Великом Устюге остался один только мастер росписи по металлу — М. П. Чирков. Ему-то и обязана великоустюжская чернь своим возрождением, когда в 30-х годах была организована артель «Северная чернь» и когда Чирков воспитал целую плеяду замечательных мастеров. Он передал им дедовские секреты и художественные навыки изготовления черневых изделий. В последние годы стала возрождаться и шемогодская резьба по бересте. «Вологодские дарёнки» — коробочки, шкатулки, матрешки, подстаканники, украшенные берестяным орнаментом,— нашли себе покупателей и любителей сувениров. Но не всем промыслам в одинаковой степени повезло. Не повезло, например, ларцам с «морозом по жести».

...Еще с детства помнятся эти ларцы и кованые сундуки. Обивались они тонкой жестью с морозным узором, очень похожим на узор, которым изукрашивает стужа заиндевелые стекла. Узор этот не тускнел с годами, не стирался, потому что жесть, окрашенная зеле-

ным, голубым и желтым лаком, прокаливалась особым образом в печах. Сколько радости доставлял взрослым и детям такой чудесный ларец!.. Нужно было сначала найти ключик, потом потаенную замочную скважину, повернуть ключик — и услышать тихий мелодичный звон: только после этого ларец открывался.

И вот в руках старого-старого мастера этот ларец, как будто принесенный тебе из страны детства. Только это последний мастер на земле, и в руках у него — последний кованый сундучок с «морозом по жести». И тебе вспоминаются слова Сергея Залыгина, обращенные к нам, к людям, пишущим и путешествующим. Вот они, эти слова: «Видимо, наше поколение последнее, которое своими глазами видело тот тысячелетний уклад, из которого мы вышли без мало все и каждый. Если мы не скажем о нем и его решительной переделке в течение короткого срока,— кто же скажет?..» Действительно, кто скажет о девяностасемилетнем мастере-шкатулочнике Пантелеймоне Антоновиче Сосновском, если это не сделаешь ты или кто-то из нас?..

Длинной и пыльной улицей Водников ты проходишь к дому, где проживает Сосновский, коренной устюжанин и старожил здешних мест. Тебя встречает сам хозяин, почтенный старик, живой, подвижный и, видимо, привыкший к посетителям и гостям. Так оно и оказалось на самом деле. Поздоровавшись и усадив гостя за стол, Пантелеймон Антонович первым делом достает бумажную папку, в которой собрано множество грамот от музеев — Великоустюжского, Тотемского, Вологодского, Загорского, дипломов и почетных свидетельств, запросов от научно-исследовательских институтов, писем, частных просьб, вырезок из газет... Да мало ли что хранит эта папка, собранная за последние годы, когда интерес к изделиям народных ремесленников заметно вырос. А Пантелеймон Антонович охотно и вроде бы даже заученно начинает рассказывать о себе... Семья у них была большая, мать вскоре умерла — вот и пришлось робить с шести годов у мастера Булатова Петра Ивановича. Потом еще у двух мастеров робил. Потом женился. И тогда уже робил на винокуренном заводе по-кузнечному... Но в первую же получку предлагает мастер выпить. «Я на утечу от не-

го... Утянулся»,— дедушка Пантелеймон озорно улыбается. После завел себе кое-какой слесарный инструмент, кузницу смастерил, мастерскую в теплом чулане. И проробил ни много ни мало — восемьдесять пять лет!..

Тут Пантелеймон Антонович помолчал, пожевал губами и пояснил: «Мне всегда в жизни везло... На хороших людей везло»,— добавляет он. И только после этого, действительно замечательного признания почтенный мастер довольно живо встает из-за стола, опускается на колени, отмыкает замок кованого сундука собственной работы и достает оттуда небольшой ларчик. Это — его единственный ларец, потому что все другие или разошлись по музеям, или оказались в руках посетителей.

«Дедушка-прадедушка, сделай на память,— с мягким юмором поясняет Пантелеймон Антонович.— Сделаешь, подаришь... И опять без ларца».

...Когда возвращаешься от Сосновского по той же тихой улице Водников на дебаркадер, ты несешь в себе какую-то потаенную грусть. Почему возникло в тебе это чувство, ты и сам сказать не можешь. То ли тебя устыдили руки Пантелеймона Антоновича, проработавшие на этой земле едва не целое столетие. То ли виноват вид ларчика, который оказался скромней и непритязательней, чем ты ожидал. То ли удручает мысль, что это последний мастер, изготовивший последние шкатулки и ларцы. Ответить на вопросы трудно. Да и нужно ли на них отвечать?.. Только неприметно сквозь грусть и душевную смуту вновь пробились строчки Николая Рубцова, родившегося здесь, на Севере, и погибшего так безвременно и нелепо:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь...

И тебе от этих строчек становится как-то спокойнее, и ты шагаешь к дебаркадеру, на котором тебе нужно переночевать, а с рассветом плыть дальше уже не по Сухоне, а по Северной Двине.

ВЕЛИКОЕ УСТЬЕ

Возле города Устюга, о котором летописец сказал бы — «при граде Устьюзе», Сухона сливается с Югом и течет далее малой Двиной. Но только за Котласом, опять-таки при слиянии малой Двины и Вычегды, начинается полноводная красавица Северная Двина. От Котласа к Архангельску идут двухпалубные теплоходы, на которых все по-иному, чем на плоскодонном катере,— на нем ты приплыл в Великий Устюг. Там ты не знал, куда голову приклонить, а здесь — каюты отделаны красным деревом, шезлонги на верхней палубе, на мостике важные моряки с золотыми галунами... Да и Северная Двина становится все полноводнее и шире от поворота к повороту. Ручьи и реки вносят в нее свои светлые холодные воды, и при устье каждой реки стоят старинные поселения: то Усть-Вага, то Усть-Ваеньга, то Усть-Пинега — и так до самого Беломорья. Бесконечные песчаные отмели по берегам сменяются зарослями ивняка и ракитника, деревянные избушки — трубами лесозаводов, заливные луга — скотными дворами, леса — зданиями сельских школ и интернатов. А теплоход, подрагивая от работы турбин, бесшумно рассекает двинские волны и, после остановок у пристаней, как бы еще больше раздвигает берега... Хорошо и уютно в шезлонге с подветренной стороны. Это настроение тебе сопутствует потому, что этим летом ты можешь:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права...

Это — Пушкин, который сопровождает тебя в поездках на юг и в поездках на север, он один заменяет тебе книгу книг, он один думает, чувствует, выражает свои чувства точно так же, как это свойственно нам, людям второй половины двадцатого века. Об этом сказал Леонид Мартынов. И к сказанному присовокупил: все это — Пушкин, уходящий в грядущее! А поскольку в твоих дорожных записях есть и пути и перепутья поэзии, ее привалы и ее ночлеги, то не грешно высказать пушкинскими стихами то, что не всегда понятно тебе самому... Хорошо и уютно в шезлонге с подветренной стороны... В твоих дорожных записях собрана всякая всячина. И вот теперь, перелистывая тетради, ты замечаешь, что на виду у светлой дали иные из них читаются совсем по-иному. Ну, хотя

бы вот эта запись. Более ста лет тому назад «Вологодские губернские ведомости» напечатали статью о том, как было открыто великое устье — устье Северной Двины.

Все лето 1553 года в низовьях Двины бушевали бури. А вот утро 24 августа выдалось спокойным. Рыбаки, обрадовавшись тишине, собрались на промыслы. Как вдруг на горизонте показалось светлое пятнышко.

— Верно, опять буря хочет подкрасться к нам, — говорили промышленники, пристально вглядываясь в горизонт. Белое пятнышко делалось между тем все яснее и яснее, и вскоре уже можно было узнать мачты и паруса большого судна. Напуганные рыбаки стали собирать снасти. А иностранный корабль летел прямо на монастырь Св. Николая, и пришельцы знаками и телодвижениями давали рыбакам знать, что они не враги опасные, а мирные люди, отыскавшие здесь от страшной бури на море приют и спасение. Однако недоверчивые обитатели пристани монастыря Св. Николая, посчитавшие за чудо появление такого большого корабля со стороны северных льдов, держались от них на почтительном расстоянии. Корабль кинул якорь. Иноземцы спустили шлюпки, и тутто, убежденные в доброжелательстве, двинские рыбаки встретили радушно неизвестных моряков. Начался странный разговор: одни не понимали других, но заметно было, что приезжим хотелось проникнуть «внутрь земли». Чтобы исполнить желание гостей, их повезли в ближайший городок Колмогоры и уже там узнали, что это англичане, посланные от короля по делам торговым к великому государю Московскому, и что на корабле находится английский посол, капитан Ричард Ченслер. Только 15 марта 1554 года царь Иван Васильевич Грозный отпустил посла и гостей из Москвы. Они же, приехав, жили у корабля до лета, а потом отплыли в свою землю...

Белый теплоход рассекает гладь реки. По левому борту за кустами ивняка проплывает еще одна, вероятно, последняя перед городом деревянная церковь. Так оно и есть — это соборная церковь в селе Лявля, примечательный памятник деревянного зодчества в двинской земле. Срублена она восьмериком в 1587 году, то есть через тридцать четыре года после неожиданного и перепугавшего двинских рыбаков визита в устье Двины капитана Ченслера. Все ее старинное обличие как бы приближает к тебе то августовское утро, когда для рус-

ских торговых и военных кораблей открылся выход в Ледовитый океан... Село Лявля давно скрылось за кормой, а на горизонте в лучах восходящего солнца отчетливо обозначились корпуса Архангельского бумажного комбината. Как странно угадывать одну деталь за другой в этом современном пейзаже! И хотя по-прежнему пусты песчаные отмели, но мимо теплохода все чаще проскакивают катера, плывут вперед и все-таки отстают буксиры с длинными вереницами плотов. Приближение большого города теперь чувствуется буквально во всем. Правда, это всего лишь ощущение, а не знание, потому что ты впервые подплываешь к Архангельску и впервые видишь и эти отмели, и эту кромку леса, над которой, словно айсберги, подымают свои белые надстройки океанские лесовозы.

Плавный, едва заметный поворот реки — и уже другой лес возникает на горизонте. Лес — портовых кранов. Они возвышаются над россыпью домишек, будочек, заборов. А река уже охватывает все видимое пространство; ее светлая синева кажется беспредельной. И радостное и тревожное чувство рождается в тебе. Оно всегда бывает, когда впереди виднеется незнакомый город, который тебе предстоит открыть как новую землю. И к этой земле тебя, словно твоих отчичей и дедичей, новгородцев-мореходов на ладьях, распустивших паруса, выносит великая северная река Двина. Потом город станет привычен, будет исхожен, изъезжен на трамваях и автобусах, но пока он — весь в сизоватой дымке, пока он — неизвестность и догадка. На якорях стоят, а потом медленно разворачиваются — по ходу теплохода — океанские корабли: по флагам узнаешь французские, датские, шведские, западногерманские, бельгийские и, конечно же, английские суда. Все ближе и одновременно все выше подымаются пролеты автодорожного моста через Двину. Теплоход проходит главным пролетом — металлические конструкции нависают прямо над головой и теперь видны особенно хорошо. За мостом — причалы речного вокзала. Ты уже в Архангельске, ты в устье Северной Двины. К этому устью ты плыл много дней сначала по Вологде-реке, едва не задевая бортами своей плоскодонки за опоры Красного моста, потом по Сухоне, потом по Малой Двине и, наконец, по Северной Двине, которая несколько суток полноводно и широко набегала под тупой нос огромного судна. Слышен трубный глас сирены. Минута — и причальные концы полетят на пристань...

ЛАДОЖСКИЙ ВОЯЖ

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

1

На колесном пароходике, который летним днем 1872 года следовал от острова Коневца к знаменитому Валааму, было полно пассажиров разного возраста и звания. Погода — при легком ветре — выдалась солнечная, поэтому пассажиры разместились на палубе, стояли вдоль бортов, сидели кучками и вели неторопливые дорожные разговоры. Пароходик мерно покачивало на длинных волнах. Из высокой трубы валил густой черный дым, который стлался за кормой по воде, вспененной деревянными плицами и уходившей вдаль двумя белыми полосами. Чайки парили над палубой, как легкие парусники. Пролетали гагары, часто махая крыльями и напоминая тем самым тяжелые гребные галеры. Огненные блики солнца дробились на воде и, по мере удаления от пароходика, ослепительнее вспыхивали, сливаясь в светоносную полосу на горизонте.

Один пассажир — человек лет пятидесяти, в чесучовой поддевке и большом белом картузе,— стоял как-то наособицу. Облокотившись на фальшборт, он смотрел на воду сосредоточенным и отсутствующим взглядом. Как позднее о нем сказал А. П. Чехов, внешне этот человек походил на изящного француза и на российского попа-расстригу: из-под картуза виднелись длинные, иссиня-черные волосы, черты лица были крупными, глаза, когда он смотрел на палубную публику, пронзительными, даже — колючими. Этим пассажиром был писатель Николай Семенович Лесков, предпринявший поездку по Ладожскому озеру в силу своего неугомонного, «нетерпячьего» характера. Здесь, на воде, ему, страдавшему приступами сердечной болезни, дышалось легче, а на виду у безбрежной озерной дали думалось спокойней и свободней.

Бесконечный бег волн рождал в душе странные образы, пока еще смутные, неуловимые, но уже неотступные, и писатель радовался их неотступности, радовался их стремлению обрести собственную словесную плоть... Все новые гребни волн вставали и разом опадали за бортом пароходика, и каждая волна была целой жизнью, прожитой мгновенно, отдельно от других и вместе с другими, каждая пролагала путь среди случайностей и закономерностей и пропадала в солнечном мареве полдня. Облака, застывшие над головой, также принимали разумные очертания. И все настойчивее звучал внутренний зов: «Иван! Иван! Иди, брат Иван!» Почему Иван?— на это Лесков не мог бы ответить, но возглас был именно таким. И вот вместо озерного безбрежия уже возникал ковыльный простор, который волновался серебряным морем, гнал по ветру запахи степных костров и овечьих отар... И шел по этому серебристому морю, как Христос по воде, какой-то человек со странническим посохом, мечтая о покое и отдохновении от подвигов своих.

Что ж, ведь и Лесков не переставал искать этой мирной пристани для своей мятущейся, очарованной красотой и растравленной болью души. Почему бы не поискать этой пристани кому-то другому?.. Почему бы не возникнуть этому другому, словно гребню высокой волны, и не пройти мимо его пристального взора и не раствориться в других волнах, осыпанных солнечными лучами?..

2

Первым и непосредственным результатом этой летней поездки по Ладоге, а также посещения Коневца, Корелы и Валаамского монастыря явился путевой очерк «Монашские острова на Ладожском озере». Писатель считал этот очерк неудачным и позднее сильно недолюбливал его. Но главным результатом поездки был, конечно, не очерк, а повесть «Черноземный Телемак», которую, напротив, он до последних дней жизни высоко ценил и которой — уже под другим названием, под названием «Очарованный странник»,— была уготована долгая и счастливая жизнь в отечественной литературе. Правда, писатель сохранил очерковый зачин в повести, которая и начиналась со следующих слов: «Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле...

Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли...»

Очерк «Монашские острова» был опубликован в газете «Русский мир», а несколько позднее в той же газете была напечатана и лесковская повесть с посвящением С. Е. Кушелеву. К сожалению, публикации и того и другого материала предшествовала история, глубоко взволновавшая писателя.

Дело в том, что в январе 1873 года в «Русском вестнике» прошла повесть «Запечатленный ангел», листы которой, по словам современника, залетели так высоко, что настежь открыли писателю двери самых головокружительных петербургских салонов и гостиных. Успех «Ангела» был безусловным и в слоях более демократической, чем в этих гостиных, публики. Вот почему Лесков полагал, что новую свою вещь он напечатает в том же самом журнале. Однако 10 мая 1873 года он получил из редакции письмо, в котором излагался отзыв небезызвестного Михаила Никифоровича Каткова, редактора журнала, и отзыв этот был весьма категоричен: редакции «печатать эту вещь неудобно». Почему? Да потому, что редактору повесть кажется «сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных».

Итак, повесть, составившая гордость и славу русской классической прозы, была отвергнута, как говорится, с ходу. Вот и пришлось автору печатать «Очарованного странника» в ежедневной газете «Русский мир» с 15 октября по 23 ноября того же 1873 года.

Теперь, конечно, трудно определить, видел ли Николай Лесков среди пассажиров ладожского пароходика, бухавшего плицами по волнам, фигуру богатыря-черноризца, который сел на пристани Коневца и вскоре привлек к себе всеобщее внимание. Ибо выделялся он среди палубной публики и огромным ростом, и смуглым открытым лицом, и волнистыми волосами свинцового цвета — так странно отливала его густая проседь, считал нужным добавить писатель. Еще больше, чем обликом, среди путешествующих — людей заурядных или напыщенно-высокомерных — этот монах выделялся своим поведением: смелым и достойным, а главное, своей речью: складной, цветистой, захватывающей слушателей с первых же слов. По всем статьям монах был человек незаурядный, хотя и одетый в послушнический подрясник и подпоясанный широким монастырским ремнем. Писа-

тель выделил в нем прежде всего богатырство, его простодушие, его доброту. «Казалось — добавляет Лесков,— ему не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но если бы даже Лесков и видел среди пассажиров такого чудо-богатыря или, может быть, разговаривал с ним — все равно образ этого «очарованного странника» был бы обобщенным образом русского человека именно той России и той пореформенной эпохи, когда все только «переворотилось» и стало «укладываться». Вот почему трудно поверить, что Катков не ощутил этой былинной мощи, а почувствовал в повести только некий «сырой материал» для других образов. Скорее наоборот, Каткову, всегда стремившемуся к аристократизму, любившему людей родовитых и довольно беспомощно подражавшему их «метрдотельской, величавой наглости», как однажды едко заметил Лесков, претил именно стихийный мужицкий демократизм повести. Этот лесковский демократизм глубоко и естественно проявился в образе богатыря-монаха — бывшего дворового, бывшего консера, то есть знатока и ценителя лошадей, бывшего пленника, бывшего солдата и офицера, бывшего балаганного артиста, короче говоря, человека, бесконечного в своих превращениях и чем-то похожего на любимого народного героя, на Илью Муромца, которому на роду было написано много раз погибать и ни разу не погибнуть. Может показаться, что «очарованного странника», словно высокую озерную волну, гонит случайный ветер — ветер жизни, ибо сбывается и его пророческий сон, в котором было предвещано: «...будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь...» Однако Ивана Северьяновича Флягина — так звали лесковского героя — ведет вперед не славянская летописная буса-судьба и не фатум древнего Востока, нет, он — современник Лескова... И перед ним на грани жизни и смерти — то есть в пограничной ситуации, как бы мы сказали теперь,— полнее открывается и его собственная человеческая сущность, и подлинная сущность других людей. Кроме того, эта пограничная ситуация всегда требует от него выбора: жить по совести или жить по выгоде... Короче говоря, возникает множество проблем, которые в XX веке властно и многообразно заявили о себе почти во всех национальных литературах и важность которых безусловно ощущал художник-провидец Николай Лесков.

Вот почему какими бы свирепыми жизненными ветрами ни отдалялась от Ивана Флягина его последняя житейская пристань — островной монастырь, он всегда оставляет за собой право нравственного выбора и всегда находит неожиданно смелое решение. Ибо вся духовная и нравственная сущность этого человека зиждется на фундаменте человеческого достоинства и самоуважения. «Чести моей никому не отдам» — такой девиз выткан на пояске этого бывшего крепостного раба по рождению,— и сей девиз есть истинная путеводительная звезда Ивана Северьяновича, господина Флягина, вечного странника и землепроходца.

3

В двух повестях, написанных друг за другом, имеются черты родства и образно-стилистической общности. Во-первых, в произведениях нет заранее заданной нравоучительной тезы, а, напротив, основная мысль развивается вроде бы даже стихийно, она как бы вырисовывается из чувственного опыта рассказчика и подымается до высот бытийного уровня. Во-вторых, в странствиях и исканиях героев огромную роль играет магическое или, точнее, чудодейственное влияние красоты на душу человека, не лишенного восприимчивости и чуткости к этой красоте. Ведь и сам Николай Семенович любил повторять мудрый афоризм: «Жизнь хороша, потому что искусство прекрасно». И вот в соответствии с этой главной эстетической идеей он проницательно раскрывает душевный мир героев, каменщиков-старообрядцев, которые страстной любовью влюблены в древние иконы, чудным художником изукрашенные. На одной такой и самой почитаемой ими иконе был изображен ангел с огнепалящим мечом. Именно его лик запечатлел печатью некий высокопоставленный царский чиновник, запутавшийся в деле со взятками. «Помню только,— рассказывает один из героев повести,— что из-под печати олифа... струила вниз двумя потоками, как кровь, в слезе растворенная...»

В другом случае и в другой повести — это красота и столь же необыкновенный песенный талант цыганки Груши, покорившей и пестрое общество горожан, и более всех Ивана Северьяновича Флягина. Отнюдь не повторяясь, Лесков показал, что в судьбе простого чело-

века эстетическое потрясение может быть необыкновенным и что возникает оно как некое наваждение или, по Платону, как божественное безумие, которым и одержим мир. Вот почему воистину жизнь может быть хороша лишь в том случае, если искусство прекрасно!

4

Андрей Лесков, сын писателя и его биограф, в своей замечательной книге «Жизнь Николая Лескова» раскрыл неповторимую атмосферу, в которой формировалась повесть «Запечатленный ангел».

Среди самых сокровенных друзей маститого писателя, жившего по ряду причин довольно-таки замкнуто, был некий «художный муж», попросту сказать, иконописец Никита Саверьянович Рачейсков. Именно в его жаркой и душной мастерской и был сочинен «рождественский рассказ», каковой подзаголовок вначале имела эта повесть. Жил Никита Саверьянович холостяком на окраинной улице Болотной в двухэтажном домике, где и помещалась его иконная мастерская. Лесков любил — иногда один, иногда с сыном-подростком — приезжать к этому изографу, любил подолгу наблюдать, как в простой сатиновой рубашке и в очках с серебряной оправой он склонялся над дощечкой, хорошо пролевкашенной, с кисточкой в несколько волосков, и как он талантствовал этой кисточкой, то есть создавал образ богородицы девы Марии или какой иной шедевр «мелкоскопического письма». Любил писатель и разговаривать со своим другом об особенностях тех или иных иконописных школ: новгородской, или московской, или вологодской, или, наконец, строгановской, особенно почитаемой Лесковым. Короче говоря, вспомним изографа Севастьяна из повести «Запечатленный ангел» и убедимся, насколько полно и многообразно вошли в эту повесть жизненные впечатления писателя. Равно как и его многолетнее увлечение древнерусской живописью, книжной графикой, орнаментикой. Примечательна хотя бы такая деталь: у Никиты Саверьяновича Рачейскова были непомерно большие и черные, как грабли, руки, которым, однако, он был полный господин, по-другому сказать, держа крохотную кисточку в которых, он поражал своим талантством и соотечественников, и приезжих иностранцев.

А все-таки даже после того, как «Запечатленный ангел» был напечатан, писатель испытывал какую-то неуверенность: а исчерпал ли он до конца эту своеобразную артистическую натуру?.. Ведь он еще столько знал о ней. Например, когда у Никиты Саверьяновича случался «запойный выходец», Лесков увещевал своего товарища или внимал его покаянным речам и рассказам о похождениях с каким-нибудь очередным «гравэром». И знал, что во время таких «выходов» будто бы слышался изографу некий зов: «Никита! Иди, брат Никита!»

И вот когда Лесков на пароходике во время поездки по Ладожскому озеру раздумывал над новым «сюжетцем», он, смею полагать, мысленно возвращался на улицу Болотную, в полуподвальчик с двумя окнами, в которых, наверно, и сейчас ему была бы видна могучая фигура живописца, склонившегося над очередным творением. Были бы видны ему темные волнистые волосы, тронутые сединой, слышалась бы речь, степенная, негромкая, в раздумье растворенная.

Вот почему новый герой новой повести и получил имя Ивана Северьяновича. Получил он от Никиты Рачейскова не только отчество, руки, как черные грабли, но и удивительный дар рассказчика, неосознанный артистизм, и чуткость, и трепетность при встрече с красотою, будь это красота древлеписаной «рати небесной» или красота таборной цыганки, встреченной на городской окраине. Даже его, Никиты, возжелание сделать очередной запойный «выходец» перешло к Ивану Северьяновичу, который, как известно, во время такого «выходца» и попал случайно в некий дом, где было страсть как много людей и где он услышал, как поет Груша.

Однако, чтобы понять величие и красоту художественного дара Николая Лескова, необходимо еще ощутить удивительную орнаментальность его языка, притчевость вставных глав, вроде глав о странствиях Левонтия с Марком Александровым, необходимо, в конце концов, почувствовать и то загадочное, колдовское, неуловимо-странное обаяние, которое испытывает читатель и этих двух, и многих других лесковских произведений.

Красота подразумевает гармонию и стройность. Но Лесков не боится остроты и разорванности в своем творчестве. Напротив, он постоянно обостряет борьбу

тьмы и света, стихии чувства и здравого рассудка, причем эта борьба не стесняет свободный полет его фантазии, не отменяет наличия знамений, видений, пророчеств.

5

Искусство прекрасно, искусство спасительно для людей в том случае, если от него «чья-нибудь душа горит и мучается». Именно так сказала о своих песнях цыганка Груша его сиятельству князю, который один хотел наслаждаться и ее пением, и ее красотой. Искусство прекрасно и утешительно в том случае, *если оно является* самовыражением артиста во имя других и для других,— так могли бы мы продолжать эту мысль, если бы не опасались развеять удивительное обаяние прозы Лескова.

Вот и Иван Северьянович, который, по словам того же князя, настоящий, высокой степени артист, рассказывает на пароходной палубе незнакомым ему людям историю своей жизни. И в его рассказе есть лирическое самовыражение, что и в песнях Груши, «красой природы совершенством» которой он был потрясен и покорен. «Ужасно мне как понравилось»,— вроде бы простодушно говорит Флягин палубной публике. Но далее, может быть, инстинктивно, а может быть, в силу своей подлинно артистической натуры, он вспоминает песню «Челнок». Удивительно к месту, к этой обстановке, к этой безбрежной водной стихии вспоминает. «Начинала она,— мечтательно говорит Иван Северьянович,— так как будто грубовато, мужественно этак: «Мо-оре во-оо-о-ет, море сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна для меня». И опять новая образность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челноком»-то всколыхнула, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла-ла. Джа-ла-ла...»

И заключает Иван Северьянович дальше, что от одного

от этого видения на ее пение и на ее танец «все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти...».

Однако Лесков не был бы Лесковым, то есть писателем, в душе которого, по замечанию Горького, странно соединялись идеализм и скептицизм, мечтательность и трезвость, уверенность и сомнение, если бы сквозь это прекрасное наваждение, равное божественному безумию Платона, он не прозрел бы лик самой жизни, лик чудовищный и жестокий. Так, в начале повести «Леди Макбет Мценского уезда» есть сцена, которая овеяна любовным томлением и красотой тихой летней ночи: «Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны». Но, добавляет Лесков, в этом лунном свете все-таки «дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям». В конце повести, когда, увы, подобные темные желания приказчика Сергея и Катерины Львовны исполнились с невиданной жестокостью, писатель показывает долгий этапный путь, по которому бредут каторжане, и теперь все кругом было «до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, безлиственные мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона»...

Можно было бы привести и другой пример. Спустя какое-то время после песни «Челнок» и пляски Груши, когда все словно бы весь ум свой потеряли, Ивану Северьяновичу, обессилевшему в долгих скитаниях, то ли привиделось, то ли на самом деле увиделось в лесу, но только встретил он над речным обрывом свою названую сестрицу, свою потаенную и единственную в жизни любовь — Грушеньку. «...Вглядываюсь и дивлюсь,— рассказывал он пассажирам,— как странно она переменилась и где вся ее красота делась? Тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят... И личико в кулачок сжалось, и по щекам черные космы треплются».

Таким образом, отдаваясь свободному полету фантазии, писатель всегда словно бы предчувствует, что эта свобода не обманет его, что, напротив, она позволит ему еще острее, еще глубже выразить противоречия жизни — и ее реальную красоту и ее реальную жестокость. Ибо под пером Лескова именно из них, из этих противостояний, и

рождается та гармония гармоний и дисгармоний, которую еще древние философы признавали истинной красотой.

Добавлю также, что, по-моему, секрет удивительного обаяния прозы Николая Лескова заключается еще и в том, что он каждый раз выходит победителем из этой борьбы художественных контрастов, без которых «несть граду стояния», то есть нет его особого лесковского мира. А мир этот объемлет и голубые ладожские воды, и ковыльные Рынь-пески. В своеобразной атмосфере этого лесковского мира сторублевые бумажки могут обращаться в «белых лебедей», а таборная цыганка, купленная барином-князем и брошенная им, становится похожей на «подстреленного журавля».

Но Лесков не ограничивается одними этими народно-песенными образами. Нет, он останавливает наше внимание на такой, казалось бы, обыденной, прозаической детали, как крестовый шнурок на шее Груши... Князь дернул изо всей силы шнурок и задушил бы опостылевшую ему женщину, но шнурок разорвался... Князь, рассказывала Груша Флягину, даже весь побелел и шипит: «Зачем ты такие грязные шнурки носишь?» А я говорю: «Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

Здесь, в кратком диалоге, раскрывается, с одной стороны, жестокая и эгоистическая душа князя — «свистуна», а с другой — врожденная поэтическая натура Груши, которая и была продана таборными старшинами за баснословную в те времена сумму в пятьдесят тысяч.

Характерно, что Иван Северьянович, из любви к Груше принявший, как говорили раньше, на душу великий грех, казалось бы, достиг своей спасительной пристани — монастыря на Ладожском озере. Но и в этом убежище обездоленных он принимает новые страдания и новые муки. Вот почему Иван Северьянович пускается в неизведанный путь, ибо не может он делать себе «никакого стеснения». И теперь мечтает лишь об одном — вновь «амуничку надеть», чтобы, если война вскоре случится, помереть за Россию, за свой родной русский народ.

...На Валааме и до сих пор стоит высокая колокольня, с которой на десятки верст видно окрест. Вот с такой высоты, мне кажется, есть смысл оглядеть творческий путь

Лескова-художника, чтобы понять, почему Достоевский, который находился с ним в весьма сложных взаимоотношениях, упомянул о гениальности этого автора многих известных повестей и романов.

6

Прежними биографами уже отмечалось, что Лесков соединил в себе кровь четырех поколений: дед — священник из села Лески, бабушка, Акилина Васильевна,— из московского купеческого рода, отец, Семен Дмитриевич,— чиновник, «замечательный умник и дремучий семинарист», не чуждый, однако, литературных наклонностей и пристрастий... Мать — из орловских дворян Алферьевых, характером скорая и нетерпеливая. Однако прав Горький, что лишь пятое сословие — сословие крестьянское — оказало решающее воздействие на душевный и нравственный облик будущего писателя. Нянькою его была Любовь Онисимовна, бывшая крепостная актриса, за ним ходила дворовая бабка Аграфена и дворовый человек Храпошка, товарищами по играм и деревенским забавам были сверстники — дворовые мальчишки. Короче, это было то самое, как тогда говорили, простонародье, которое и формировало стихийный демократизм Лескова, его эстетический вкус, его чутье к меткому, сочному, ядреному русскому слову. Не случайно уже в зрелом возрасте писатель замечал, что он не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, нет, он вырос *в народе*... И когда ему впервые довелось прочитать тургеневские «Записки охотника», то он, по собственному признанию, задрожал от правды, представшей ему, и сразу понял: это и есть то, что называется искусством.

Однако далеко не одни радости являлись уделом хуторского паныча. Для его впечатлительной натуры особенно нестерпимыми были унижения и обиды со стороны богатых родственников, равно как и рассказы дворни о наказаниях крепостных людей, нищета и убожество окружающих селений, трагическое житие деревенских баб. С той ранней поры и начала развиваться в нем «мучительная нервность», от которой он страдал всю жизнь.

Орловские пожары, сгубившие имущество Лесковых, и смерть отца от холеры поставили семью на грань ни-

щеты. И вот шестнадцатилетний подросток — старший в многодетном семействе — начинает трудовую жизнь. Он переезжает в Орел, затем — в Киев, затем — в Пензу и, наконец, в Петербург, служит у англичанина Шкотта, своего дальнего родственника. И эта коммерческая служба требует от него беспрестанных разъездов по России — от Черного до Белого моря. Кстати сказать, его деловые отчеты, направляемые своему патрону, несли печать несомненных литературных способностей. Вот на эти-то способности и обратили внимание доброхоты, вроде писателя И. Селиванова, они-то и поспособствовали публикации его первых корреспонденций в газетах и журналах за 1860 год.

...Жители той или иной местности почтовые тракты еще с незапамятных времен называли Большой дорогой. Вот по такой Большой дороге скакали тройки курьеров, гнали колодников, шли артели работных людей — каменщиков и землекопов, толпы богомольцев, погорельцев, нищих. На дороге случались всякие «чудеса» и «дивеса». И в песнях пелось о дороге как о человеческой доле и судьбе, и в сказках рассказывалось о ней как о заветном пути в страну крестьянского благополучия — в сказочное Беловодье. Дорога как открытая книга — и пересказывали ее главы мастера плетения словесных кружев, вроде Ивана Северьяновича или старообрядца Марка Александрова. Как оказалось впоследствии, Большая дорога и Лескова учила по-своему мять и лепить слово, как мнет и лепит глину мастер-гончар, она обогащала его память выражениями, схваченными на лету, но основное — она учила в голосе толпы различать глубокие раздумья, угадывать ответы на коренные вопросы бытия.

Именно в шестидесятых и семидесятых годах подобное «чувство пути» стало едва ли не главным чувством многих беллетристов и поэтов, которые ощутили, как сдвинулась, как пошла голодная и нищая Россия в поисках хлеба и работы, в поисках своего счастья, своего Беловодья.

Может быть, с тех пор художественное время-пространство Николая Лескова от какой-то малой точки, подобной родному хутору Панино, и обрело тенденцию к внезапному расширению, к охвату все новых и новых пространственно-временных сфер.

Андрей Лесков на страницах своей книги рассказывает, что, уже будучи человеком весьма и весьма почтенного возраста, писатель нередко слышал восхищенные вопросы — откуда у него такое неистощимое знание своей страны и своего народа, такой неисчерпаемый запас впечатлений... И вот Н. С. Лесков, как бы озирая глубь минувшего и слегка постукивая концами пальцев в лоб, медленно отвечал: «Все из этого сундука...» И пояснял, что за годы странствий и разъездов по России сюда складывался багаж, которого хватило на всю жизнь и которого не найдешь ни на Невском проспекте, ни в петербургских канцеляриях или ресторанах.

Вот так и получилось, что самые любимые герои Лескова — это люди пути-дороги. Дорога для них — это сама жизнь, это — поиски смысла своих усилий и надежд. И хотя,— говорит очарованный странник Иван Северьянович,— «своего пути не обежишь», но никогда не надо отступаться «от дерзости своего призвания».

7

Однако путь-дорога в литературе для самого Николая Семеновича Лескова не была ни накатанной, ни прямой, ни ровной. Напротив, ему довелось терять не только свой путь, возвращаться назад и начинать все сначала, но временами и утрачивать спасительное ощущение дали народной жизни, впадать в безысходность, жестоко страдать от чувства вины и оскорбленного человеческого достоинства.

Казалось бы, его первые шаги на литературном поприще получили одобрение со стороны «Современника». В одном из номеров этого передового демократического журнала за 1862 год отмечалась незаурядная творческая сила молодого писателя, который отнюдь не исчерпал себя, а может быть, «и не нашел своего настоящего пути...».

Увы, последнее замечание «Современника» оказалось пророческим. Николай Лесков, выступавший под псевдонимом М. Стебницкий, был весьма плодовитым и близким к лагерю шестидесятников-разночинцев публицистом. Однако в «Северной пчеле» появилась злосчастная статья, в которой Стебницкий требовал от правительства расследования слухов о поджигателях-студентах. Современники увидели в этом выгодную для царизма версию

о том, что в петербургских пожарах были все-таки повинны студенты. Вот эта самая злосчастная статья, равно как и «антинигилистический» роман «Некуда» (1864) на долгие годы развели писателя — уже не Стебницкого, а Николая Лескова — с передовыми слоями русского разночинства. Насколько глубоко Лесков осознавал причины такого расхождения, насколько полно он принимал вину на себя, показывает его высказывание, сделанное много лет спустя. «Мы,— с горечью говорил Лесков,— не те литераторы, которые развивались в духе известных начал и строго приготовлялись к литературному служению. Нам нечем похвалиться в прошлом: оно у нас по большей части мрачно и безалаберно».

Теперь некоторые литературоведы, разгадавшие ряд «загадок» и личности, и повседневного окружения, и всего художественного наследия Лескова, склонны признавать, что многострадальное лесковское творчество даже в ту самую первоначальную пору все-таки не укладывалось в привычные схемы «антинигилистических» произведений и что русское освободительное движение, в том числе и в романе «Некуда», являлось для Лескова движением исторически закономерным, хотя и отмеченным печатью непреодолимого трагизма. Именно такую печать носит духовный и нравственный облик одного из главных героев романа — профессионального революционера Вильгельма Райнера, в образе которого видны определенные черты сходства с Рахметовым из известного романа Чернышевского «Что делать?». И все-таки личные «терзательства» Лескова были беспредельны. Они «засели» у него «в печенях» на всю жизнь.

Вообще довольно часто критики-современники, принадлежавшие к разным лагерям, видели в Лескове то, что было на поверхности или было художественным приемом, но не выражало его глубинную суть. Так, например, А. М. Скабичевский считал, что Лесков — всегонавсего «фотограф, лишенный дара обобщений и анализа».

Странно такое читать о Лескове, фантазия которого была столь яркой и прихотливой, а талант обобщать мелочи жизни находил выражение буквально в каждой его главе.

Подобные ошибки оказались свойственны критике и позднее, ибо судили эти критики Лескова по вульгар-

но-социологическим схемам. Однако талантливейший писатель, опираясь на личные впечатления и на всю толщу русской словесности от «Слова о полку Игореве» до Державина, Пушкина, Гоголя, Толстого, был подлинным художником-новатором или, по словам Горького, самобытнейшим писателем русским, чуждым каких-либо влияний со стороны.

Его поэтика — поэтика художника слова, предвосхитившая многие открытия писателей XX века. Я имею в виду не только проблему выбора, о которой уже шла речь. Сказовость, притчевость, параболичность, наличие образов-«перевертышей» и «ключевых» слов, гипотетический характер концовок, трагизм и ирония в решении основной темы — все эти и многие другие художественно-смысловые признаки нашей современной многонациональной прозы уже были «опробованы» и широко использованы Николаем Семеновичем Лесковым. Не случайно один из героев Василия Шукшина взывает: «Читайте Лескова! Лескова читайте!»

8

Любовь Николая Лескова к России, к русскому народу была безграничной. Но это была любовь требовательная, строгая любовь. Горький однажды сказал о Лескове, что «он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется «душой народа». Правда, Лесков никогда не льстил народу, не потрафлял ему в слабостях и дурных привычках. Наряду с великими предшественниками и современниками он утверждал в сознании широкой читательской публики те духовные и нравственные ценности, которые создавались из поколения в поколение людьми труда. И эти ценности не есть некий «невещественный капитал», который переходит к человеку безо всяких усилий с его стороны, по наследству. Нет, человек, вступая в большой и сложный, нередко — мучительно-противоречивый мир, должен был взрастить эти ценности в себе, нажить их в собственном душевном опыте... Таким образом, любовь Лескова к народу была не только требовательной, но и полемически заостренной в тех случаях, когда речь шла о «жизни без воли и направления». Еще острее сатира и сарказм, в равной степени свойственные Лескову, как лирика и юмор, были обращены против «меркантилизма совести», против «банковского

расчета», которые столь же ярко воплотились в образе Захват Иваныча или в образе того самого квартального, который часто «содействует» над русским мужиком нагайкой и плетью.

Жизнь таких людей — «безобразный мираж».

В противовес всей этой «банковской», убого-торгашеской, эгоистической жизни Лесков создает образы, исполненные благородства, доброты, человеческого обаяния, образы своих знаменитых «праведников» и «очарованных странников», вроде Ивана Флягина или Савелия Туберозова, «казака-дьякона» Ахиллы Десницына из романа-хроники «Соборяне» или однодума Александра Рыжова, поразившего горожан и даже самого губернатора Ланского тем, что он взяток никогда и ни под каким видом не берет.

В противовес всей этой застойной, обывательско-мещанской «тишине», казалось бы безраздельно господствовавшей над весями и уездными городками России, Лесков являет миру громкое уголовное дело Катерины Измайловой. Причем простонародную драму этой женщины, без *памяти влюбившейся в приказчика Сергея*, писатель обращает в высокую национальную трагедию, в которой перекличка с бессмертным шекспировским образом не кажется натяжкой или условностью. Именно этот трагический пафос, эту мощь и силу страстей ведущих персонажей в давней истории, случившейся в Мценском уезде, выразил Дмитрий Шостакович в опере «Катерина Измайлова», постановка которой и была осуществлена Большим театром.

В противовес всему этому миру, в котором труд на Захват Иванычей был проклятьем и мукой мученической, Лесков создает образы людей, в совершенстве владевших своим рукомеслом. К его самым значительным и художественно-впечатляющим творениям принадлежат те характеры, в которых проявилась талантливость русской натуры, ее прирожденная чуткость к красоте, тяга к раскрепощенному творчеству, к вольному труду. Причем потрясение этой зримой красотой сближает людей разного сословного положения и разных национальностей. *Ибо удивление перед возвышенным в жизни, в искусстве*, в рукомесле помогает человеку «выделаться в человека», если вспомнить здесь замечательное выражение Достоевского. Ведь красота — источник нравственной силы и здоровья для тех, кто не отступает «от дерзости своего

призвания». Глубокое потрясение от предивного художества испытывает, например, строитель каменного моста через Днепр англичанин Яков Яковлевич. Оглушительный бас Ахиллы Десницына, талант гримировщика Аркадия Ильина, искушенность в живописи изографа Севастьяна, влюбленность в красоту и стать диких лошадей Бакшея Отучева и Чепкуна Емурчеева — вот характеры, которые читателю незабываемы на всю жизнь.

Известно, что сказ о Левше возник из коротенькой притчи о том, как туляки английскую блоху подковали. И услышана эта притча была, может быть, от сестрорецкого инженера-оружейника в 1878 году, и походила она в чем-то на другую притчу, а именно на притчу о «немецкой обезьянке». Эта самая обезьяна прыгать прыгала, но садиться никак не могла, пока некий хитроумный московский меховщик не придумал ей хвост пришить,— тогда она взяла и села. Так вот из такой коротенькой народной притчи о блохе Николай Лесков создает произведение воистину бессмертное, как бессмертен, предположим, ершовский «Конек Горбунок». Правда, скептический, ко всему недоверчиво настроенный ум Лескова иногда видят в том, что, мол, хотя тульский Левша «со товарищи» и подковал блоху, но блоха-то после этого перестала танцевать «кавриль с верояциями». Отсюда вывод: мол, мастера-то оказались неучами — они вес «нимфозории» не учли.

Мне думается, более глубокое толкование лесковского сказа дано в одной из статей, опубликованных в связи со 150-летием со дня рождения писателя. Но вначале — небольшое отступление. По первому взгляду, совершенно непонятно, почему в конце повести говорится о поездке безвестного мастера Левши в Лондон и о его предсмертной заповеди, чтобы русские солдаты кирпичом ружейные стволы не чистили. Какая же здесь может существовать связь со стальной «нимфозорией»? А эта самая глубинная связь есть, и заключается она в том, что как бы тонко ни освоили ружейное дело английские мастера, которые для бахвальства и щегольства сумели создать заводную блоху, их умение может быть превзойдено умением тульских или тех же сестрорецких оружейников. Ибо вот так же эти оружейники могут ли-

шить могущества и прославленное иностранное оружие.

Прекрасные образы тульских умельцев, созданные гением Лескова, в дни Великой Отечественной войны действительно обрели новую жизнь. Новым высоким патриотическим содержанием наполнились и многие другие произведения писателя. Но таково уж свойство подлинно народного таланта: время раскрывает его блистательные грани и позволяет видеть то заветное, сокровенное, что скрыто в глубине. А эту глубинную суть, по-моему, полно выражают пророческие слова Льва Толстого: «Лесков — писатель будущего».

9

Осенью 1887 года писатель поселился на Фурштатской улице в Петербурге, на которой он жил и раньше, но только теперь в доме под номером пятьдесят. Поселился он на первом этаже, и окна его квартиры выходили в сад. По воспоминаниям современников, любовь к исключительному, пестрому, яркому, свойственная Лескову с молодых лет, своеобразно проявилась в убранстве его комнат, в обстановке, во всем облике этого нового жилья. Уже в передней бросалась в глаза вешалка с шубами и тулупами, со старинным азямом, в котором писатель ходил зимой. Под вешалкой — множество крепких и толстых палок, коллекцию которых он давно собирал. Но особенно своеобразным был лесковский кабинет. Во-первых, посетителей поражали старинные часы: их было множество — карманных и настенных, больших и маленьких, перекликающихся друг с другом разнообразным боем и звуками старинных мелодий. Кроме того, на окне висела клетка с певчими птицами, и перепархивание и пересвистывание этих птиц еще более оживляло этот отнюдь не чопорный, не кожано-диванный кабинет.

Над широкой квадратной софой, на которой, по обыкновению, полулежал Николай Лесков, среди бесчисленных портретов и картин выделялся образ богородицы с младенцем древнего строгановского письма, а также фотография суровой и резкой картины Николая Ге «Что есть истина?». Столь же поражающим всех посетителей был и письменный стол Лескова, на котором стоял портрет Л. Н. Толстого, лежали любимые книги, а в качестве пресс-папье для бумаг был использован массивный и вы-

серебренный якорь. О происхождении этого якоря писатель рассказывал забавные истории. Но кто знает, может быть, он напоминал ему о плавании по Ладожскому озеру-морю? Или цыганскую песню «Челнок»?.. Во всяком случае, якорь был чем-то дорог автору «Очарованного странника», поскольку всегда занимал почетное место среди других вещиц, среди затейливых резаков для резания книжных страниц и светильников с пестрыми абажурами.

В этой квартире Лесков прожил восемь лет. И шел ему теперь шестьдесят четвертый... Начали учащаться припадки застарелой сердечной болезни. Во время таких припадков дыхание становилось громким, руки — ледяными, и сам он, неистово-гневный, звал домашних, чтобы они хоть как-то облегчили его страдания. И все-таки более всего Лескова истощала его прекрасная, его неутолимая страсть — страсть к писательству, которая и доводила его до полного изнеможения. Долгими тревожными ночами слышался ему приглушенный и вроде бы отдаленный зов: «Николай! Николай! Иди сюда, брат Николай!»

Это подступала пора, когда Лесков уже пресытился «терзательствами» своей бурной, до предела напряженной жизни, когда он уже не мог работать ночи напролет, прихлебывать холодный и крепкий, как деготь, чай, непрерывно куря и расхаживая из угла в угол по кабинету. Подступала пора, когда он мечтал, чтобы «уплыть», как недавно «уплыла» его старинная приятельница — Татьяна Петровна Пассек.

Давным-давно исчезли с великих северорусских озер пассажирские пароходики, которые мяли своими деревянными плицами бурные воды и стремительные перекаты. Но тот самый пароходик, на палубе которого плыл Николай Лесков к знаменитому Валааму, по-прежнему живет, он живет в великолепной повести, созданной писателем, созданной, добавляю я, всей ранее прожитой жизнью и той самой незабываемой поездкой по Ладоге, по новгородскому озеру Нево, с которой и начался этот рассказ о замечательном писателе земли русской — Николае Семеновиче Лескове.

РЕКА ЖИЗНИ

АЛЕКСАНДР КУПРИН

1

«Устюжна железная, а люди в ней каменные» — такая пословица сложилась в Заволочье в те далекие времена, когда город на медлительной Мологе назывался не просто Устюжной, а Устюжной Железнопольской. И причиной тому явился, надо думать, не только замкнутый и твердый характер местных жителей, но и болотная рударжавица, которую здесь добывали едва ли не в каждой деревне. Эту руду копали на Железном поле, в старом и новом Загривье и во многих других поселениях, расположенных к востоку от Устюжны, пережигали в домницах в кричное железо — твердый, темно-синий сплав, а затем ковали из него гвозди, топоры, косари — тяжелые ножи-тесаки, пригодные для колки поленьев на лучину, и прочие нужные для крестьян изделия. Но не только крестьянский инвентарь умели делать устюжане. Во времена «панщины» расковщики-кузнецы лили ядра и пушки, катали дробь, изготовляли пики и бердыши, вооружали защитников Устюжны, которые прославились стойкой обороной родного города от шляхтичей и воровских людей, проникших на Север... Можно было бы вспомнить Северную войну, когда именным указом Петра I вблизи городка были построены Ижинский и Тырпицкий железоделательные заводы, когда кузнецы-умельцы ладили оснастку для российского флота и мушкеты для петровских полков. Можно было бы вспомнить войны с Наполеоном, нашествие двунадесяти языков на Россию...

Однако к началу прошлого века Устюжна превратилась в медвежий угол Новгородской губернии и оставалась такой долгие годы. Старинная пословица если и не позабылась, то, во всяком случае, была неузнаваемо переиначена местными жителями. И не кто иной, как Александр Иванович Куприн, желая воссоздать северную

глушь и сонную одурь уездного городка, в котором нет ни библиотек, ни концертов, ни лекций с волшебным фонарем, ни памятников знаменитым согражданам, а есть только субботние базары, мужики возле казенки да суровые и подозрительные мещане, на лету подхватил пословицу и однажды написал — здесь обыватели говорят о себе так: «Дома у нас каменные, а сердца железные».

Речь шла об Устюжне, хотя Куприн и не называл ее. К чему?..

По семейному преданию, род Батюшковых происходил от Батыша, татарского хана, влюбившегося в русскую боярыню и перешедшего на службу к московским князьям. Такова семейная легенда. Первое же достоверное сведение о сельце Даниловском («а в нем двор помещиков») засвидетельствовано Бежицкими писцовыми книгами за 1628—1629 годы. Изысканиями историков-краеведов, кроме того, установлено, что один из рода Батюшковых — Иван Никитич — получил подтверждение на право владения отцовскими поместиями в Есеницком стане, в том числе и Даниловским, еще в 1612 году. Подтверждение прав на владение землями и поместьями совпадает со временем «панщины»: надо полагать, служивые люди Батюшковы сыграли не последнюю роль в кровавых событиях Смутного времени. Да и в дальнейшем Батюшковы выполняли важные поручения Московского правительства и были участниками многих войн, которые вела Россия за свою независимость.

От Устюжны в Даниловское и дальше ходит рейсовый автобус: добраться туда легче легкого, как говорят в здешних краях... Дорога сбегает с одной возвышенности и неторопливо поднимается на другую, минует две-три крохотные деревеньки — в одной из них можно угадать бывшую земскую школу. Как угадать? Да по темным елям, которые окружают зданья деревенских школ на Севере. Такой обычай завели когда-то сельские учителя, ходоки в народ, цвет русской интеллигенции. Может быть, это Никифоровская школа? Нет, она осталась где-то в стороне...

Так, поскрипывая, покряхтывая, автобус идет от остановки к остановке, постепенно пустеет и въезжает в сос-

новую аллею: сосны приземисты, стары, они стоят редко, покосившись в разные стороны, обнажив потемневшие корни. Их хвоя желта, вершины опалены молнией, сучья обломаны ветрами.

Прямо на холме — Даниловское. Из-за разросшихся лип и вязов «господского дома» не видать. Вблизи — это типичнейший дворянский особняк с белой деревянной колоннадой, просторной террасой, вышкой — то ли для астрономических обсерваций, то ли для книжных уединений. Да и сам липовый парк, заглушенный зарослями бузины, запустевший, задичавший за долгие годы, с едва приметными аллеями, приятен для медленных прогулок и чтения любимых книг. Он тенист и прохладен, он таит в себе очарование старины и покоя, хотя и то и другое, может быть, только мечтание, мимолетный отзвук все тех же когда-то в юности прочитанных книг. Одно можно сказать — еще в начале века парк был именно таким: даже днем сквозь листву не проникал солнечный свет, и на аллеях было так сыро и темно, что вода в пруду, расположенном в центре, казалась совсем черной. А вот лет полтораста тому назад и парк и усадьба были совсем иными...

В 1815 году после долгого перерыва в Даниловское приехал Константин Батюшков. Его отец, Николай Львович, затеял в ту пору перестройку усадьбы. Пленные французы, находившиеся в Устюжне, построили в Даниловском новый господский дом, домовую церковь, напоминавшую костел, разбили парк по плану Версальского и посадили сосновую аллею, по которой теперь каждый день ходят рейсовые автобусы и пробегают совхозные грузовики. Посещение Даниловского не принесло поэту ожидаемых радостей, а оставило в душе печальный след — дела Николая Львовича были вконец расстроены, здоровье его сильно пошатнулось. Константин Батюшков приехал в Хантоново, в именье сестры — Александры Николаевны. Но и там был вынужден сразу же принять на себя хлопоты о закладе имения в опекунский совет. «Отчизны сладкий дым» горчил и туманил глаза навернувшимися слезами.

Опустим другие подробности из семейных хроник рода Батюшковых, хотя они весьма и весьма любопытны. Отметим только, что в середине прошлого века Данилов-

ское принадлежало сводному, по отцу, брату Константина Николаевича — Помпею Николаевичу, а затем его внучатому племяннику Федору Дмитриевичу Батюшкову... Вот с этого-то владельца уже порядком запущенного и бездоходного поместья и поведем речь дальше.

Профессор Федор Дмитриевич Батюшков — блестящий знаток русской и западной, в частности итальянской, литературы — был лишен практической сметки в житейских делах. Мягкий, обходительный, доброжелательный, он постоянно жил в Петербурге и редко приезжал в Даниловское: от ближайшей железнодорожной станции до имения надо было проехать девяносто с лишним верст. И по причине своей занятости в столице и по неспособности вести хозяйственные дела Федор Дмитриевич много лет сдавал Даниловское в аренду. Последний арендатор — священник из соседнего уезда — оказался человеком бессовестным и нечестным. Он не только вывез из господского дома обстановку красного дерева и карельской березы, бронзовую люстру, подсвечники, сервизы, горку с фигурками из старинного фарфора, но даже выкопал и перевез в свое имение белую акацию и все декоративные кусты... Однако Федор Дмитриевич не захотел взыскать с него убытки. Он был рад, что хотя бы осталась в целости библиотека, в которой немало книг было собрано его предками и которую он сам постоянно обогащал книжными новинками.

Федор Дмитриевич был хорошо известен в петербургских литературных кругах: с 1903 года он стал ответственным редактором популярного тогда журнала «Мир божий». Его известности в немалой степени сопутствовали также выступления в печати: он много писал о своих современниках — Леониде Андрееве, Бунине, Сологубе, Бальмонте, Андрее Белом...

После знакомства с Куприным еще в конце девятисотых годов он стал его ближайшим и преданнейшим другом. Примерно к тому же времени относится возникновение дружеских отношений с Александрой Аркадьевной Давыдовой — издательницей «Мира божьего» и ее приемной дочерью Марией Карловной, которая после смерти приемной матери приняла права наследства и взялась за издание этого журнала. Надо сказать, что молодая, блестяще образованная и при всем том деловая женщина

Мария Карловна еще при жизни матери обвенчалась с Александром Куприным, приехавшим из провинции в Петербург. Взаимоотношения этих людей становились, вправду говоря, все более сложными... Батюшков, благодаря душевной мягкости, обходительности, высокой культуре и эрудиции, имел большое влияние на Куприна. Но, в свою очередь, и Мария Карловна желала оказать на него не менее сильное и, по ее мнению, благотворное влияние. Она не то чтобы ревновала Федора Дмитриевича к мужу, но недолюбливала его, поскольку и свой литературный вкус, и свою деловитость ценила высоко. Не случайно в своих мемуарах единственное, что она могла сказать о Ф. Д. Батюшкове, которого знала много лет, это то, что он был сентиментальным. Может быть, из-за этой неприязни, а может, из-за недобрых предчувствий, но ранней весной 1906 года, когда возник обычный вопрос, куда поехать на лето, Мария Карловна с большой неохотой согласилась ехать в Даниловское.

...Уже не первый год Федор Дмитриевич настойчиво советовал своему другу побывать в устюженских краях, поохотиться в этом медвежьем углу, отдохнуть, пописать, присмотреться к нравам и обычаям жителей северной России, которой Куприн, несмотря на частые переезды и странствия, почти не знал. На такой поездке настаивали и другие друзья Куприна: петербургская богема затягивала его, а «эфиопы» — завсегдатаи литературного кабачка «Давидка», ставшего, по словам современников, резиденцией писателя, куда ему приносили даже ежедневную почту,— эти «эфиопы» мешали ему, льстили, кутили за его счет и оставляли мало времени для серьезных литературных занятий. Уставший от скандальных хроник в газетах, от непризнанных и погибших «гениев» из «Давидки» и «Капернаума», Куприн все же не особенно прислушивался к речам Федора Дмитриевича. В этих кабачках, где за рюмкой водки, соленым грибком и кружком дешевой колбасы можно было встретиться и с бывшим цирковым артистом, и ломовым извозчиком, и репортером «Копейки», и почтенным литератором, ему казалось, что он собирает необходимые ему наблюдения, изучает человеческие типы, или, говоря его же словами, совершает таинственное путешествие по извилинам чужой души... Отчасти это так и было. Но раздражительность, вспыльчивость и внутренняя опустошенность Куп-

рина становились все заметнее, неудовольствие Марии Карловны их образом жизни — все очевидней, а уговоры Федора Дмитриевича — все настойчивей. И так продолжалось до тех пор, пока писатель не решился и не сказал жене: «...Там хочешь не хочешь, а писать будешь. Поедем-ка туда, Маша».

Поскольку в Даниловском собирались провести целое лето, выезжали туда всем семейством со множеством вещей и всяческой клади. Помимо Марии Карловны, их трехлетней Лидушки, няни, брата Николая Карловича — дяди Коки, его слуги Якова Антоновича, матери писателя Любови Алексеевны, в Даниловское ехала и Елизавета Морицевна Гейнрих. Ехала на правах то ли гувернантки, то ли дальней родственницы, то ли сестры милосердия, ибо двадцатилетнюю Лизу Гейнрих связывало с семьей Давыдовых-Куприных, и, конечно, с Марией Карловной, многое, как, впрочем, многое и разделяло их. С каким-то странным упорством судьба заставляла этих двух женщин жить под одной крышей в кругу одних и тех же близких им людей, но жить и чувствовать себя совершенно различно: они постоянно пребывали как бы в двух измерениях. Даже внешностью разительно отличались друг от друга.

Мария Карловна являла собою тип светской женщины: она со вкусом одевалась, тщательно следила за туалетами, сама была высока, стройна, красива несколько самоуверенной и надменной красотой, которая дается воспитанием и природным умом. Эта светскость Марии Карловны сказывалась хотя бы в том, что она до конца дней своих запомнила мешковатый костюм, низкий крахмальный воротничок, желтый галстук-«пластрон», каких давно уже в Петербурге не носили,— весь этот наивно-провинциальный шик молодого Куприна при их самой первой встрече у издательницы «Мира божьего».

Невысокий рост, миниатюрность, изящность отличали Лизу Гейнрих от высокой и статной Марии Карловны. Ее лицо было бледно-матовым, с большими серьезными карими глазами и очень темными волосами. Она не то чтобы не следила за модой, но одевалась просто, и эта простота, и эта скромность ее платьев оттеняли ее своеобразную — как бы точеную — красоту.

По семейным преданиям, отец Лизы — Мориц Ротони был венгерский дворянин. Он участвовал в восстании мадьяров 1848 года, был ранен, скрывался, переменил

фамилию на Гейнрих, бежал в Россию, где долго жил в Оренбурге, затем Перми. Женился на коренной сибирячке, заимел большую семью, содержать которую помогало фотоателье: дело по тем временам непривычное и все-таки затеянное им. Старшая дочь Гейнриха-Ротони Мария, известная провинциальная актриса, вскоре сошла со сцены, став гражданской женой Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Она умерла на второй день после рождения дочери. На руках Мамина-Сибиряка осталась его новорожденная дочь Аленушка и Лиза Гейнрих, младшая сестра Марии. И вот тогда-то жизненные пути Марии Карловны и Лизы впервые скрестились. Дмитрий Наркисович отдал Лизу на воспитание Александре Аркадьевне Давыдовой, издательнице журнала и вдове директора Петербургской консерватории. Положение бедной воспитанницы было не очень-то завидным, но еще труднее ей было в семье Мамина-Сибиряка, который женился вторично. В довершение ко всему пошли сплетни, что Мамин неравнодушен к младшей сестре прежней жены. Лиза решилась на отчаянный шаг,— она поступила в Евгеньевскую общину сестер милосердия. А вскоре после начала русско-японской войны добровольно отправилась на театр военных действий... Бесконечные составы на транссибирской железной дороге, теплушки, заполненные ранеными, умирающими, больными тифом, дизентерией, даже чумой... Все это было так непривычно. И так страшно Лизе Гейнрих. Но ее жажда самопожертвования не знала предела... Маленькая сестра милосердия помогала больным и страждущим, чем могла. Она крепилась изо всех сил. И все-таки глубокая личная драма в Иркутске — первая любовь к человеку, который оказался недостоин ее любви,— едва не довела молодую женщину до самоубийства...

В тяжелом состоянии она вернулась в Петербург. Александра Аркадьевна Давыдова умерла. Мария Карловна уже несколько лет была замужем за Куприным. Их свадьба — а венчал молодых самый модный в Петербурге священник Григорий Петров — стала событием в артистической и писательской среде столицы. Но когда Лиза появилась в Питере, Куприны были в отъезде. Они не знали, что их дочь Лидуша, или Люлюша, тяжело заболела дифтеритом. На правах дальней родственницы и одновременно сестры милосердия Лиза день и ночь выхаживала Лидушу — и выходила ее. Возвращение к жизни

ребенка, которого, казалось бы, невозможно было спасти и которого полюбила Лиза, как-то неприметно помогло ей самой обрести душевные силы, поверить в себя и свое призвание — спасать близких, утешать их, жить только для них. Вот почему на предложение Марии Карловны поехать в Даниловское Лиза ответила согласием. Ее согласию был рад и Александр Иванович, который из-за неотложных дел отправился в новгородское поместье Батюшковых несколько позднее.

Плыл он от Рыбинска до Весьегонска и далее по Мологе до Устюжны на маленьком пароходике крестьянского общества. Десять лет спустя в рассказе «Груня», который писатель любил и неоднократно правил, с поразительной памятливостью он воссоздал детали этого путешествия. Конечно, не только из этой поездки, а из многих других, последовавших за нею, вынес Куприн запах машинного масла и краски от трубы, запомнил вид мужиков, которые сидели кружком на корме, ели руками селедку с хлебом, запивая ее водою, почерпнутой из-за борта пароходным ведром, и пламеневшей на небе вечерней зари, когда «в дальней темной деревушке все стекла горят праздничным красным закатом: точно там справляют свадьбу...». Он запомнил и простые разговоры пассажиров, их реплики о мастерах-черепанах, строивших барки-беляны, а летом спускавших их на Шексну, о пристанях, мимо которых проплывал пароходик. И возникал в его воображении образ Аграфены, попросту Груни, рассудительной и наивной, доверчивой и в чем-то лукавой, в чем-то себе на уме. Ее-то да еще красоту северной реки Куприн и противопоставил человеческой мелюзге, олицетворенной в образе петербургского сочинителя Гущина. Сей продукт окололитературной среды, которую Куприн глубоко презирал и превосходно знал по «Капернауму» и «Давидке», плывет в родные края «прильнуть к пуповине». Но ни живое чувство, ни простое человеческое слово не способны пробиться сквозь напыщенность и самовлюбленность Гущина.

Так всегда увиденное в жизни и примысленное к этим наблюдениям, возвышенно-лирическое и заниженное до иронии, до гротеска — взаимно переплетались у Куприна и образовывали сложную художественную ткань его повестей и рассказов. Этими же чертами отмечены произ-

ведения, замысленные в Даниловском или написанные там.

Едва Куприн приехал в Даниловское, едва он познакомился с ближайшими окрестностями усадьбы и устроил себе в башне для астрономических обсерваций рабочий кабинет, где плотники установили большой белый стол — такой стол был у него в Петербурге,— как поспешил сообщить другу:

«Дорогой Федор Дмитриевич,

у Вас здесь великолепно. Низко кланяемся Вам и благодарим. Реку ищу второй день, но не могу найти. Впрочем, не отчаиваюсь... Внизу цветет сирень, в саду кричат птицы — чудесно...

Жму Вашу руку. Ваш *А. Куприн*».

Несколько в ином настроении была Мария Карловна Давыдова-Куприна. В письме от 6 мая 1906 года тому же Батюшкову она жаловалась: «Если с Алекс. Ив. спадет «увлечение деревней» и он будет надолго уезжать или пропадать, по своему обыкновению, на целую ночь, то мне будет немного страшно. Полы трещат, всю ночь скребутся мыши, комнаты большие и пустынные — так и ждешь, что где-нибудь появится привидение».

Но «увлечение деревней» не спало с писателя ни в то лето, ни в последующие годы, хотя ради справедливости заметим, что мрачные предчувствия Марии Карловны подтвердились: «привидение» было в этом старом-престаром доме.

«...Пожалуй, во всем Устюженском уезде, — писал Куприн в «Завирайке»,— каждый мужик твердо знал и крепко верил, что в Даниловском доме на чердаке находится черный гроб, а в гробе этом лежит огромная страшная мертвая нога и что по ночам эта нога ходит по всему дому и горько плачет, взывая о погребении».

Эти россказни о мертвой ноге казались писателю смешными и вздорными, однако как-то, роясь на чердаке среди пыльного векового мусора и хлама, он наткнулся на солидный черный ящик с застежками, формою похожий на футляр для музыкального инструмента, а пожалуй, и на гроб. Футляр был тут же открыт: в нем лежала нога, но вовсе не мертвая, а искусственная, обтянутая превосходной голландской замшей. Тут же был найден и костыль к ней.

В чем же дело? Как попал этот черный футляр в дом Батюшковых? Как узнал его историю Куприн?

А все от того же Федора Дмитриевича — он-то и раскрыл секрет искусственной ноги и Куприну, и другим гостям даниловской усадьбы — среди них следовало бы упомянуть Ивана Бунина, правда побывавшего в Даниловском позднее, в декабре 1909 года.

Оказалось, что протез принадлежал Николаю Ивановичу Кривцову, участнику сражения при Кульме 18 августа 1813 года, герою Отечественной войны. В Кульмском сражении генерал Кривцов был тяжело ранен — лекари отняли ему ногу. Дочь Кривцова вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова, сводного брата Константина Николаевича, и после смерти отца отправила его искусственную ногу,— по своей странной прихоти,— в усадьбу родственников мужа, в именье Даниловское. Там этот предмет — в прошлом веке почти не было производства протезов — пролежал вплоть до Октябрьской революции. Коммунары, жившие в имении в голодные и трудные годы, нашли его, смекнули, что толстой замшей можно подшить не одну пару валенок, и пустили эту замшу в дело. Вот какое послесловие к истории с даниловским «привидением», иначе сказать, протезом генерала Кривцова, стало известно мне от Аркадия Васильевича Боброва, хранителя Даниловского музея. Сам же купринский рассказ «Завирайка» посвящен отнюдь не этой, на первый взгляд забавной находке на чердаке, а мужеству и верности охотничьего пса Завирая, спасшего от верной гибели собачонку Патрошку.

...Библиотека — вот что сразу же привлекло внимание Куприна в Даниловском: Александр Иванович любил читать запоем, забыв все и вся, а библиотека в этом смысле — немалый соблазн. Еще бы! Она собиралась Батюшковыми едва ли не полтора столетия, и числилось в ней несколько тысяч томов. В ней были сотни книг на французском и немецком языках, были книги по истории литературы и философии, книги с пометками Константина Батюшкова, книги, приобретенные его отцом, его братом Помпеем Николаевичем и внучатым племянником Федором Дмитриевичем. Но все-все в этом обветшалом доме погибало от плесени и сырости: и редкие издания, и старинная портретная галерея в двухсветном зале, и разбитые, с пожелтевшими клавишами клавикорды, и

разрозненная мебель полупустых комнат. Куприн не преминул отметить запущенность даниловского особняка. Но по-прежнему он дни и вечера проводил в библиотеке. Как-то, по воспоминаниям Марии Карловны, Куприн взял том Державина, захлопнул его и, сказав: «Открою что-нибудь наугад», прочел:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей...

— Какое великолепное стихотворение! — воскликнул Александр Иванович. — Звучное, торжественно-пышное и в то же время полное глубокого содержания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Все мне казалось мелким и некрасивым. «Река жизни» — так он будет теперь называться...

2

Лето выдалось жаркое, сухое. На деревенском пруду Куприн решил построить купальню. И построил ее с помощью даниловских мужиков: к купальне вели длинные мостки, перила оплетали березовые ветки...

Еще по росе, когда все кругом было сковано утренней дремой, когда солнце, едва поднявшись над лесом, осыпало усадьбу первыми лучами, Куприн уходил на пруд. Чмоканье мелкой зыби о настил, шлепки ладоней о воду, фырканье купавшегося человека — далеко разносились над прудом. После купанья Куприн растирался простыней, приглаживал стриженные ежиком, начинавшие седеть волосы, садился на мостки и блаженно щурился на солнце. В эти мгновения его охватывала необыкновенная радость жизни. Он вообще любил все плотское, телесное, земное особенной, может быть, языческой любовью. *Жизнь мудра,— думал он,— жизнь прекрасна. И надо* поклоняться жизни, славить, как славит ее мычание коров, топот стада по деревенской улице, визг ласточек, пролетающих над прудом. И верить свято, что все воскреснет — и чмоканье воды, и крик ласточек над водой, и чья-то блаженная истома в теле...

Пока Александр Иванович шел к дому, он жадно примечал стрекозу, неподвижно застывшую над кувшин-

кой, стожок свежего сена, белопенный, голубоватый, фиолетовый вал сирени, расплескавшейся по всей усадьбе. Он все примечал, вбирал в себя и ожидал от жизни дальнейших чудес и перевоплощений.

На открытой веранде сидела Лиза Гейнрих. Она шила, склонив голову над шитьем. Трогателен и наивен был кружевной воротничок, охвативший ее плечи. Свободны и ловки движения рук. Застенчивы девичьи ноги. Куприн был рад и этой мимолетной встрече, как будто венчавшей всю ту красоту, что ему довелось видеть с утра.

Жизнь в Даниловском шла спокойно, может быть, лениво от деревенского воздуха, деревенского молока, деревенской жары, непривычных для петербуржцев. Куприн, и никогда-то не любивший условности в быту, здесь дал себе полную свободу. Он ходил в просторной блузе, тюбетейке и каких-то шлепанцах на босу ногу. И блуза и тюбетейка делали ощутимее татарские черты его лица. Да и ото всей его плотной коренастой фигуры веяло древним Востоком. Это всегда чувствовали близкие ему люди. «Хозяин в тюбетейке, приземистый, как дуб...» — писал о нем Саша Черный. Сам Александр Иванович гордился татарским происхождением. И здесь, в Даниловском, в родовом имении Батюшковых он не прочь был вспомнить своих предков.

Его прадед со стороны матери — князь Куланчаков, происходивший из князей Касимовского царства, был пожалован поместьем в Наровчатовском уезде Пензенской губернии...

Впрочем, на этом воспоминания, исполненные почтения к своим предкам, пожалуй, можно было кончать. И начинать совсем иные. К моменту рождения Александра Ивановича от поместий и княжеского величия не осталось и следа. Но все-таки его мать, Любовь Алексеевна, урожденная княжна Куланчакова, унаследовала от родичей и гордость, и вспыльчивый нрав и передала все это своим детям. Она вышла замуж за мелкого канцелярского чиновника Ивана Ивановича Куприна, который в 1871 году скоропостижно скончался от холеры, оставив после себя большую семью без всяких средств к существованию. Мать переехала во Вдовий дом, в Москву... Саша, последний сын в семье Куприных, был определен

в Разумовский сиротский приют. «Поруганное» детство, юность, проведенная в казармах кадетского корпуса, молодость, прожитая в захолустном пехотном полку,— вот главное, что повлияло на характер Куприна и навсегда внушило ему отвращение к муштре, к чинопочитанию, ко всем формам унижения человека и ограничения его свободы.

Все светские ритуалы и обычаи, которые должен был выполнять Куприн в Петербурге, вызывали в нем озлобление: вольно или невольно это скрытое озлобление он переносил на свою жену Марию Карловну. А она не хотела или действительно не замечала, насколько тягостно было для Куприна это, как он грубовато говорил, «выдрючивание» перед богатством и знатностью других. Просто житейски он был довольно стихийной натурой. Но эта стихийность не была врожденным свойством, а скорее служила средством защиты самолюбивой и легко ранимой души писателя. Увы, Марии Карловне, вероятно, не дано было это понять.

...Куприну не сиделось в рабочем кабинете, созданном в пристройке для книжных уединений, так называемой башне. Он хотел осмотреть окрестности, познакомиться с лесниками, объездчиками, крестьянами, дворянами — вообще жителями деревень, окружавших Даниловское. Но мать — по привычке, выработанной во Вдовьем доме,— днями сидела за преферансом, благо на лужайке, под сиренью, стоял ломберный столик, а в ящике были щетки и цветные мелки. Ее партнерами стали Николай Карлович, Яков Антонович и кто-нибудь из домашних. Лиза сказалась нездоровой. Мария Карловна углубилась в чтение старых номеров некрасовского «Современника».

Но однажды после утреннего чая Куприн увлек ее рассказами об удивительном, почти первобытном устюженском Высоком лесе. Там ландыши, говорил он, ковром покрывают поляны, огромные кулики парят в воздухе, держа крылья неподвижно несколько секунд, тетерева тяжело и шумно взлетают из-за зарослей черемухи...

Правда, до Высокого было довольно-таки далеко. И когда они подошли к лесу, Мария Карловна откровенно устала; кроме того, она была раздражена дальней до-

рогой, зноем, от которого ее не спасал парижский зонтик, высокими зашнурованными ботинками, натрудившими ей ноги.

В отличие от мужа, Марии Карловне Высокий лес никак не понравился. Вместо чистых полян бросились в глаза завалы сучьев, переплетенных травой, вместо белой черемухи — болото, пахнувшее гнилью, тиной и сыростью, пронизывающей до костей. Больше совместных прогулок они не повторяли...

Рассказ «Река жизни», над которым Куприн работал в башне, был закончен. В середине июля Мария Карловна отправила его в журнал, присовокупив весьма сдержанный — в две строчки — отзыв: «...Заглавие несколько пышно, но рассказ удачен... Александр Иванович просит скорее набрать и выслать корректуру для правки».

А Куприн уже начал новый рассказ «Как я был актером». Впоследствии эта небольшая новелла стала подлинной жемчужиной в творчестве писателя...

Из окон башни, где работал Александр Иванович, виднелись вершины господского парка, крест домовой церкви, ограда кладбища, дальше — молодая рожь, ходившая под ветром волнами, деревеньки в кущах деревьев — и по всему горизонту леса. Засмотревшись в окно, Куприн вроде бы сбился с горько-иронического тона, в котором хотел выдержать повествование, вроде бы задумался о другом, о чем мучительно размышлял все это время... А когда вернулся к столу, то отодвинул черновик рассказа и взял чистый лист бумаги.

Он вспоминал необыкновенно важный разговор, который они вели здесь, в Даниловском, с Федором Дмитриевичем перед отъездом последнего в Петербург... Набросав краткое вступление, Куприн помедлил секунду и продолжил:

«Теперь о любви,— писал он.— Я раньше всего скажу, что никаким афоризмом этого предмета не исчерпать... Лучше всего определение математическое: любовь — это вечное стремление двух равных величин с различными знаками слиться и уничтожиться; прибавлю от себя — в сладком безумии... Но глубочайшая тайна любви именно и заключается в том, что в результате получается не 0, а 3. Любовь — это самое яркое и наиболее

понятное воспроизведение моего Я. Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность. Но в любви!..»

Федор Дмитриевич вряд ли получил это письмо — в конце июля он неожиданно нагрянул в имение. С его появлением круг знакомств стал расширяться. Первой и самой памятной для всех поездкой оказалась поездка на хутор Свистуны. На хуторе в летнее время жила Вера Уваровна Сипягина-Лилиенфельд, известная пианистка, профессор Петербургской консерватории. Федор Дмитриевич полагал, что там можно будет послушать настоящую музыку. И его предположения оправдались. «Аппассионата», которую Вера Уваровна исполнила с необыкновенным чувством, произвела на гостей глубокое впечатление.

Вернувшись в Даниловское, и Александр Иванович и Федор Дмитриевич до рассвета бродили по темным аллеям парка. Они говорили о музыке, о том, какая это великая и жестокая сила, как она помимо воли человека будит в нем забытые чувства и желания, заставляет страдать или плакать от восторга; они вспомнили Великого старика и его «Крейцерову сонату», вспомнили бедного питомца муз, который столь изощренно слышал музыку русской речи, что даже, потеряв рассудок, в безумии повторял страшные по смыслу и по той же изощренной звукописи слова: «И кесарь мой — святой косарь...» Увы! Батюшков навсегда забыл гармонию небесных сфер, что так чисто звучала в его прекрасном стихотворении «О память сердца! ты сильней рассудка памяти печальной...» Да мало ли еще о чем могла идти речь в эту лунную и тихую ночь, как будто созданную самим всевышним для бесед о музыке, о поэзии, о любви...

Скоро Федору Дмитриевичу Батюшкову потребовалось поехать в Кесьму, другое наследственное имение на другой стороне Мологи. Вместе с ним в просторном экипаже согласились поехать Мария Карловна, Николай Карлович, дядя Кока, и Яков Антонович, его неизменный компаньон.

3

...Над прудом густо вилась мошкара, резче, чем обычно, кричали ласточки. Разлохматившиеся по краям об-

лака то и дело заслоняли солнце. С башни было видно, как ветер волнами шел по кустарнику, трепещущая листва от ветра становилась матовой, а в парке что-то трещало и рушилось.

Весь день Александр Иванович часто спускался в библиотеку, брал какую-нибудь книгу, перелистывал ее, бросал, подымался к себе наверх. Затем снова спускался, заглядывал в комнату матери и опять подымался к себе. Ему как будто передалось тягостное напряжение и беспокойство, господствовавшие в природе... Лиза нигде не появлялась...

Тучи выше громоздились в небе, яснее слышались прежде отдаленные раскаты грома... Неожиданно Куприн различил легкие шаги на лестнице: это Лиза поднималась к нему. Она вошла, поставила на стол глиняный кувшин с крепким домашним квасом, который Александр Иванович любил отхлебывать во время работы. Лицо ее было бледнее обычного, но без следа тревоги или волнения. Напротив, доброта, всегда исходившая от нее так же просто, как свет и тепло, теперь была особенно ощутима в ее позе, жестах, глазах.

— Лиза!..— только и сказал Куприн. Лиза мгновенно поняла, что сейчас должно произойти что-то такое, что она невольно ждала с той самой памятной и давней встречи у Михайловского, когда молодежь так много пела под гитару и так тесно сидела на диване, похожем на старый почтовый дилижанс. Ведь именно тогда его мягкие глаза стали на какой-то миг еще мягче и глубже...

— Что вы делаете со мной?..— не сказала — выдохнула Лиза, ибо ее первым чувством был испуг — перед тем немыслимым и неизбежным, что должно было сейчас совершиться.

Ярко-белым трепетным блеском озарило башню, и немедленно угрожающий треск просочился откуда-то сверху, из клубящейся мглы, чтобы сразу же прокатиться с тяжелым грохотом по всему небу.

Ночью Куприн вставал часто курить возле окна. Розовело белое небо, поблескивала первая утренняя звезда, благодарно клубилась земля, освеженная грозовым ливнем. Потом он лежал с закрытыми глазами и все пытался вспомнить пушкинское подражание

«Песне Песней»: «Склонись ко мне главою нежной... главою нежной...» Дальше он забыл... С мыслью, что надо завтра бы найти стихи Пушкина,— с этой мыслью он и заснул предутренним неспокойным сном.

После грозы в даниловской усадьбе поселилось ожидание тревожных событий. И они не замедлили последовать.

Из Петербурга пришло известие: царское правительство закрыло журнал. Ф. Д. Батюшков, как ответственный редактор, будет привлечен к суду.

Яков Антонович чистил браунинг, с которым никогда не расставался дядя Кока, и случайно нажал на спуск. Он ранил себя, прострелив пулей бедро.

Елизавета Морицевна, без объяснения причин, выехала в столицу.

Александр Иванович стал надолго пропадать в Устюжине у своего нового знакомого — доктора Рябкова.

По всему было видно — пора возвращаться в Петербург.

Осень того же года тянулась необычайно долго. Поездка в Балаклаву, где Куприн приобрел участок земли с виноградником, поездка в Петербург, снова поездка в Даниловское...

Из Устюженского уезда Куприн писал Федору Дмитриевичу: «В Даниловском мне все-все напоминает лето и ее и Люлюшку. Ты ведь понимаешь всю горькую сладость и неисходную тихую печаль этих воспоминаний...»

Горевать Александру Ивановичу было из-за чего: Елизавета Морицевна исчезла бесследно.

Много лет спустя Ксения Куприна так писала в своей книге мемуаров: «Она была слишком честной, ей совсем не было свойственно кокетство. Разрушать семью, лишать Люлюшку отца казалось ей совершенно немыслимым, хотя у нее зарождалась та большая, самоотверженная любовь, которой она впоследствии посвятила всю жизнь».

Печаль Куприна накапливалась и, словно поток перед плотиной, разом прорывалась приступами гнева и ярости. В такие минуты он терял власть над собой

и бешеной скороговоркой говорил, говорил, говорил жестокие слова.

Однажды, когда Мария Карловна вернулась из театра с премьеры «Жизнь человека» Леонида Андреева, она застала дома Бунина и Куприна. Ссора началась из-за пустяка: зная болезненное самолюбие мужа, Мария Карловна стала расхваливать достоинства пьесы.

«Мой ответ взбесил Куприна,— пишет она.— Он схватил со стола спички, чиркнул, дрожащей рукой прикурил и бросил горящую спичку мне на подол. Я была в черном газовом платье. Платье загорелось. У Александра Ивановича начались приступы неврастении...»

Разрыв между супругами стал фактом, известным всему литературному Петербургу. Куприн снял номер в гостинице «Пале-Рояль»... Но, как бывало с ним в тяжелые минуты, начал сильно пить,— в окружении все тех же «эфиопов». Федор Дмитриевич, обеспокоенный таким поворотом дел, бросился спасать своего друга. Но прежде надо было разыскать Лизу Гейнрих. Он употребил все связи, все знакомства, чтобы найти ее следы. И в конце концов нашел в госпитале для заразных больных, за высокими стенами которого она решила добровольно себя заточить на долгие годы. Уговоры Федора Дмитриевича ни к чему не привели,— напрасно он убеждал Лизу, что разрыв между Марией Карловной и Александром Ивановичем неизбежен, что Куприн совсем потерял голову, что он погубит свой талант. Все было напрасно. Единственно, на что согласилась Лиза,— поехать в «Пале-Рояль» и навести в номере какой-никакой порядок. Однако вид стола, заставленного бутылками, вид какого-то «эфиопа», который спал на диванчике, вид самого Александра Ивановича, усталого, обрюзгшего, как будто изнуренного долгой болезнью,— все настолько потрясло Лизу, что о возвращении в госпиталь она уж не смела говорить. Лиза знала, что только ее любовь, самоотверженность, верность могут спасти, могут отвести беду от этого дорогого и отныне самого близкого ей человека. Куприн же с великим облегчением подумал: нет, он не ошибся в основном и неизменном Лизином свойстве,—

быть доброй, кроткой, милостивой ко всему: к цветам, к зверям, к рыбам, к предкам, к человеческим ошибкам и неловкостям. Ко всему! И ей — ах, как это прекрасно,— ведь ей это ничего не стоило.

В марте 1907 года Куприн с Елизаветой Морицевной Гейнрих уехал в Финляндию на отдых и длительное лечение.

4

Лето и осень Куприн снова провел в Даниловском. Но теперь он здесь был только с Лизой, с которой старался не разлучаться на долгий срок... В Даниловском все осталось по-прежнему: библиотека Федора Дмитриевича с окнами в палисадник, анфилада пустынных холодных комнат, старинный парк и даже купальня на пруду, которую так и не разобрали зимой на дрова. И все же думалось, что скромная природа Севера стала скромнее, а господский дом и господский парк — запущенней и глуше. Нередко лунными ночами, когда в тени от вековых лип и вязов было особенно томительно, особенно грустно, как от всякой большой красоты, уже не с Федором Дмитриевичем, а с Лизой Куприн бродил по тропинкам, заросшим травою. Обладая даром говорить ярко и живописно, он изнемогал от картин, рисовавшихся его воображению, от блеска золота, сверкания драгоценных камней и алого пламени одеяний. Именно Лиза Гейнрих возвратила Куприна к давней мечте: пересказать библейскую «Песнь Песней», воспеть самоотверженную любовь Суламифь, простой девушки из виноградника, к повелителю и великому поэту древности Соломону.

«Теперь роюсь в Библии, Ренане, Веселовском и Пыляеве,— сообщал он В. А. Тихонову,— потому что пишу не то историческую поэму, не то легенду... Что выйдет — не видно,— продолжал писатель с долей самоиронии,— но задумано много яркой страсти, голого тела и другого. «Аромат ноздрей твоих, как запах яблок. Не уклоняй очей твоих от меня, ибо они волнуют меня». И все в таком роде...»

Несмотря на шутливый тон письма, Куприн тщательно отделывал текст исторической поэмы, много-

кратно правил одни и те же главы. Он хотел создать гимн любви и красоте, он пересыпал речь блестками афоризмов, пышных метафор, велеречивых описаний древневосточных дворцов. Его ритмизованная проза звучала как стихи, но была по существу своему прозой.

«Так посетила царя Соломона... его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит — царица, потому что любовь прекрасна!»

Работал Куприн все в той же башне для астрономических затей. По давней привычке, он подходил к окну, бесцельно и бездумно смотрел на осенние пажити и перелески, на свинцово-сизую гряду облаков, залегших у горизонта. И по контрасту вызывал в памяти шершавые грубые камни Балаклавы, узкое горло балаклавской бухты, той самой, в которой Одиссей увидел кровожадных листригонов... Он вызывал в памяти длинную гору, увенчанную развалинами крепости, которую воздвигали генуэзцы. Вспомнились ему ограды, сложенные из плитняка, глинобитные стены домиков, увитых лозами винограда. Вот девушки в легких голубых одеяниях идут к каменному колодцу... Вот ослик, покачивая связку хвороста, подымается в гору...

Отсюда, из этой памяти, он черпал исторические подробности и самый фон легенды, без которых она действительно стала бы похожа на великолепную пустыню, а не на ту далекую каменистую землю, где жили, любили и умирали до него люди.

Верилось Куприну: создатель этой земли был великий художник, ибо провел он круговую черту по лицу

бездны! С тех пор любовь — это ослепительный круг, озаряющий все сущее и живое в мире; смерть — черный круг, обнажающий провал в небытие. В этом многоликом времени и пространстве вещество то рассыпается, то повторяется вновь. И человек то возникает под солнечным кругом, то исчезает в бездне небытия. Но из человеческого ума, вдохновения, таланта рождается, как из праха, новая Суламифь; она не боится смерти и не дорожит жизнью.

«Ложе у нас — зелень. Кедры — потолок над нами... Лобзай меня лобзаньем уст своих. Ласки твои лучше вина...»

5

Историческая поэма «Суламифь» была напечатана в альманахе «Земля» за 1908 год с посвящением И. А. Бунину. Как Куприн и ожидал, столичные критики *новую вещь встретили по-разному. Одни полагали*, что превосходному бытописателю Куприну не к чему было трогать «Песнь Песней»,— это, мол, и без него хорошо; что, написав свою историческую поэму, Куприн как будто удалился от запросов современности... Другие, вроде А. Измайлова, рассудили иначе: современное содержание поэмы они увидели в резком контрасте между стихийно-свободной, языческой страстью и пошлым суррогатом любви в современном мире. Эти критики, безусловно, оказались правы. Поэзия беззаветной любви есть у Куприна не только в его исторической легенде «Суламифь», но и в «Гранатовом браслете», «Леночке», «Трамвае»...

Однако надо сказать и другое, а именно: писатель до тонкости знал обывательскую психологию, знал способы и формы унижения человеческой личности, опошления самых высоких и благородных чувств. Вот почему в башне для астрономических затей им были исполнены вещи, различные по тематике, жанрам, стилю, но единые в одном — в верности «проклятым» вопросам эпохи.

Бывали у Куприна мглистые, вьюжные вечера, когда окаянная, мертвая, зеленая скука обволакивала его мозг и парализовала тело. Но большую часть пребывания в Устюжне и имении Батюшковых он был удивительно жизнедеятелен, энергичен. Теперь часто

выезжая в Устюжну — и не только в питейное заведение гостиницы «Орел»,— писатель принимал участие в различных начинаниях местной интеллигенции, например в любительских спектаклях. С неподдельным юмором он рассказывает в одном частном письме о таком спектакле: «Ставили мы здесь в Устюжне «Дядю Ваню». Я играл довольно скверно Астрова. Дама, игравшая со мной профессоршу, так испугалась дикого влюбленного пламени, сверкавшего из моих глаз, и сцены объяснения, что забыла роль и только порывалась убежать. Но я держал ее за талию как стальными клещами и шептал: «Ты придешь? Да?..»

Елизавета Морицевна, бывавшая с Куприным в Народном доме еще до премьеры, этот эпизод дополнила другими забавными штрихами: «Из озорства Александр Иванович вкладывал в поцелуй много пыла. Во время репетиции провинциальная дамочка в смущении воскликала: «Дайте атмосферу!! Мне не хватает атмосферы!»

По всему очевидно, что Куприн не был затворником в башне для книжных уединений, что его трогала, веселила, а подчас и гневила каждодневная жизнь устюжан. Куприн вообще намеревался написать о Даниловском цикл рассказов, такой же, как «Листригоны». И даже нашел название для этого цикла — «Уездный город». Его «писучий периуд», как он шутливо называл этот прилив творческих сил и замыслов, доставлял ему немало счастливых минут...

А сколько радости приносила Куприну охота с гончими на зайцев-беляков, медвежьи и волчьи облавы в густых лесах Устюжны! С каким чувством волнующей, приятной бережливости ступал герой рассказа «Черная молния» на ровный, прекрасный, ничем не запятнанный снег, мягко, упруго и скрипуче поддавшийся под ногою! И если обывательское болото, представленное в том же рассказе господами и дамами из устюженского «высшего круга», нашло в лице Куприна страстного обличителя, если образованные и необразованные мещане, у которых дома — каменные, а сердца железные,— платили писателю потаенной злобой, то сельские учителя, крестьяне, охотившиеся вместе с Куприным, сохранили о нем самую добрую память.

...В 1906 году в Никифоровской министерской школе была устроена елка в честь попечителя школы. На елку приехали Александр Иванович Куприн, Евсей Маркович Аспиз, балаклавский знакомый писателя, и еще кто-то из петербургских гостей. О. П. Мстиславская, молоденькая учительница, хорошо запомнила импровизированный детский спектакль на этой елке. Среди других номеров ученица Нюра Дмитриевская и мальчик-ученик прочитали в лицах басню Крылова и были с одобрением встречены взрослыми зрителями. Такова предыстория рассказа «Попрыгунья-стрекоза». Но рассказ — не документальный очерк, это — художественное произведение. Детская елка в Никифоровском послужила писателю канвой для горестных размышлений о разобщенности народа и интеллигенции, о той пропасти непонимания, которая разделяла тех и других.

В окружении бедных деревень, лесов, пашен, среди населения, которое говорило на непонятном, певучем, цокающем и гокающем языке, Куприна нередко посещали мысли о неизбежном крушении всего существующего миропорядка. Эта мысль и радовала и ужасала писателя. При виде обывательской трясины он страстно вопрошал: «Черная молния! Где же она? Ах! Когда же она засверкает?» И страшился грядущего возмездия, страшился многомиллионного великана, этого, как писал Куприн, ребенка и зверя, этого мудреца и животного. Вот почему «проклятая фраза»: «Ты все пела, это — дело, так поди же попляши», исполненная хором деревенских учеников, которые пришли в школу из глухих и заброшенных деревень, стала грозным предупреждением кучке интеллигентов, столпившихся в комнате, особенно приезжим господам, людям свободных профессий. В воображении одного из них и возникает символический образ великого и самого угнетаемого народа на свете — русского народа.

«Что нас связывает с ним? — думает рассказчик.— Ничто... Наша поэзия — смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись — для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наши богоискательство и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято в Параскеву Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане...»

И грянула революционная гроза, в огненном сверкании которой Куприну все чудилась коварная мужицкая улыбка — «так поди же попляши»,— чудилось возмездие за неисчислимые страдания, за ту духовную темноту и безграмотность, в пучину которых бросило народ самодержавие.

В конце 1920 года участнику революционных событий в Череповецкой губернии, крестьянскому ходоку Ивану Васильевичу Тимохину довелось побывать в Москве. Мало того — побывать, но и переговорить с Владимиром Ильичем Лениным. Тимохин рассказал Владимиру Ильичу о крестьянских думах и настроениях, постарался начистоту изложить просьбы крестьян.

— Ну, а теперь скажите,— внезапно спросил Владимир Ильич, выслушав ходока,— как у вас используются бывшие помещичьи усадьбы?

Тимохин ответил, что почти во всех организованы совхозы и коммуны.

Именно такая сельскохозяйственная коммуна и была организована в селе Даниловском, в бывшем имении Батюшковых, перешедшем в руки народа.

Куприн же, находившийся в то время в эмиграции, счел возможным и нужным сказать не о бессмысленном варварстве крестьян, не о разрушительных якобы наклонностях русских людей, как утверждали другие писатели-эмигранты, а об уважительном отношении устюжан к профессору Батюшкову, который скончался в 1920 году.

«Его очень любили простые люди,— писал Куприн.— Соседские с его бездоходным имением в Устюженском уезде мужики из Тристенки, Бородино, Высотина и Никифоровской, конечно, поделили его землю между собой... но все, как один, решили: «Усадьбу Федору Дмитриевичу оставить, старых лип не рубить, яблок не красть и, спаси господи, не трогать книг...»

Примечательно это крестьянское «спаси господи», передающее и отношение Куприна к устюженским крестьянам и отношение крестьян к книжным богатствам Даниловского имения.

«Последняя моя встреча с Федором Дмитриевичем,— продолжал Куприн,— была в конце 19-го года, на углу Садовой и Инженерной. Он шел в публичную библиотеку и остановился взять с лотка полугнилое

яблоко. Я спросил — зачем? «Это мой завтрак...» Он умер от истощения.

Целую землю, под которой ты лежишь.

А. Куприн».

6

...Куприн тосковал в эмиграции по Родине. «И так хочется,— писал он Илье Ефимовичу Репину,— настоящего снега, русского снега — плотного, розового, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном; снега, который так сладко есть, черпая прямо из чистейшего сугроба...»

Кто знает, может быть, в тот самый миг, когда складывались строки письма, Александр Иванович думал о Даниловском, о сугробах, засыпавших усадьбу, о мужиках, ходивших вместе с ним на охоту. В его рассказах эмигрантской поры немало превосходных описаний северной природы, немало обращений к «бывалому и бывшему», ко всему, что оставило в его душе глубокий след, навсегда отпечаталось в памяти. Не случайно Константин Бальмонт в стихах, посвященных Куприну, подчеркнул прежде всего эту — глубоко русскую — особенность его облика и его произведений:

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один,—
И Россию чуять ближе
Мне дает всегда Куприн...
Чиркнет спичкой он ли, я ли,
Две мечты плывут в окне,
Курим мы — и нет печали,
Чую брата в Куприне.
Так в России звук случайный,
Шорох трав и гул вершин
Той же манит сердце тайной,
Что несет в себе Куприн...

И если уж Константин Бальмонт, всегда мечтавший быть гражданином вселенной, пишет теперь, как он томится тоской по России, то что говорить о Куприне?! Ведь его сами писатели-эмигранты считали наименее приспособленным к жизни за границей.

...Все бедствия, мытарства, скитания по дешевым отелям и чужим квартирам разделяла теперь с Алек-

сандром Ивановичем его жена Елизавета Морицевна, или просто милая Лиза, как он чаще всего ее называл. Вместе с Куприным Лиза мечтала заиметь хотя бы маленький домик, только чтоб этот домик был подальше от уличного движения, от шума, от грохота, поближе к тишине, зелени, природе, без которых не мог жить Куприн. Иногда им удавалось снять такой домик...

На одной из фотографий парижского периода показан крохотный участок, отгороженный железной двухметровой оградой от улицы Монморанси, где Куприны прожили десять лет. Низ этой ограды для прочности еще обтянут металлической сеткой. Напротив — такие же ограды, отделяющие дома от мостовой. Куприн — в самом центре снимка, который сохранил и растерянный взгляд писателя, и недоуменно поднятую руку, и канцелярские ножницы; этими ножницами он намеревался состричь какую-то чахлую ветвь. Как ни бился Куприн вырастить цветы — ничего не получалось: зелень гибла в этих железных клетках.

Бывая на прославленных площадях и бульварах Парижа, сливаясь с толпой парижан, вдыхая бензинный угар, впечатывая подошвы ботинок в раскаленный асфальт, Куприн все время вынашивал слова признательности и любви к далекой Родине. Его всюду мучила «молчаливая тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России...».

Даже в письмах Александра Ивановича, обращенных к заграничным корреспондентам, он постоянно возвращается к мысли о России: то Куприну чудится совсем русская весна, тягучая, затяжная, медлительная; то он признается, что предполагал Атланту, город в США, каким-то провинциальным городишком, вроде Устюжны или Череповца; то, наконец, горько-горько пошутит: «Когда меня спрашивают: как поживаете? — я отвечаю: слава богу, плохо».

В рассказе «Завирайка», опубликованном в 1928 году в Париже, Куприн вновь припомнил лесную северную глухомань, семейные хроники рода Батюшковых, исторические легенды Железнополья, которые Александр Иванович знал со слов Федора Дмитриевича. И еще раз — с грустноватой усмешкой — описал он свое преж-

нее житье-бытье в старинном деревянном доме, построенном, как это ни парадоксально было признавать Куприну-эмигранту, — пленными французами... В этом доме отапливалась только одна комната, да и та отапливалась им самим. «Хотя,— с юмором добавляет Куприн,— я и сулил за пустяшную службу царскую плату, подумайте, целых три рубля в месяц».

Мелькнула и «черная молния» в одном из поздних стихотворений — «Розовая девушка». В нем — не скорбь и не гнев против всемирного мещанства, а отзвуки все той же северной провинции, но в элегическом, печальном тоне:

Ласточки веселые над пламенным закатом
Чертят черной молнией голубую даль.
Отчего ж душа моя печалью странной сжата,
Отчего мне вечера весеннего не жаль?
Ласкою мгновения я больше не обманут,
Знаю я, весенние вечера пройдут,
Улетят все ласточки. Все цветы завянут.
Розовые девушки состарятся, умрут.

...Не столь прямо и не столь непосредственно, но с тем же даниловским «писучим периудом» был связан и другой замысел Куприна. Писателю давно нравилась — в сравнении с «Суламифью» — библейская легенда о Рахили, о ее всепрощающей любви. Куприн с жаром откликнулся на предложение режиссера Туржанского написать киносценарий. Однако, написав первую часть, он быстро охладел к этой затее и никогда не возвращался к ней.

По прихоти судьбы даже здесь, в дальней дали, едва не произошла встреча Марии Карловны, вышедшей замуж в 1910 году за публициста и критика Н. И. Иорданского, с Елизаветой Морицевной и самим Александром Ивановичем Куприным. Дело в том, что муж Марии Карловны в 1923 году был назначен советским послом в Италию. Между Римом и Парижем завязалась оживленная переписка, главным образом по поводу дочери Лидии, которую когда-то в детстве звали Люлюшкой и которая к этому времени сама вышла замуж. Переписка также шла и о предполагаемом возвращении Куприна на Родину. А встретиться Марии Карловне с Александром Ивановичем довелось только 1 июля 1937 года в Москве. Они едва узнали друг друга — такой бурной, такой глубокой оказалась для обоих «река жизни».

УЗОРЫ СЕНИ МАЛИНЫ

СТЕПАН ПИСАХОВ

1

...А я ведь бывал в Архангельске, и не раз, и мог бы, наверно, заглянуть в деревянный домик с железными ставнями, где жил этот кудесник, этот сказочный старичок-лесовичок, с обвислыми, как бы моржовыми усами и пронзительно-острыми глазками, выглядывавшими из-под колючих бровей. Мог бы, да не догадался. И никто из архангельских знакомых не надоумил меня заглянуть на Поморскую, 27, где и пребывал до последних дней своей долгой, многотрудной жизни именно он, о ком здесь идет речь,— Степан Григорьевич Писахов.

Теперь мне посещение представляется совсем таким, каким о нем рассказал Владимир Личутин, в ту пору, то есть в конце пятидесятых годов, молодой архангельский журналист.

Прежде чем войти в дом на Поморской, надо было довольно основательно постучать в ставню. Постучать, подождать, чтобы наконец вышел дед в каком-то странном сюртуке. Дед стал бы довольно подозрительно вглядываться в твое лицо («кого это принесла нелегкая»), потом провел бы темным коридорчиком в комнату, где белел под потолком игрушечный белый голубь и где хозяин привычно погрузился бы в глубокое кресло, указав тебе место напротив.

Поначалу, вероятно, разговор пошел бы не очень-то складно, но дед не без простодушно-лукавой и наивной гордости мог сказать тебе, что достиг он «совершеннолетия», то есть только что переступил восьмой десяток, и теперь готовится к «зрелому возрасту», к своему девяностолетию. Если бы ты понравился хозяину дома, то он, между прочим, мог бы рассказать тебе свою любимую байку про баню, выплывавшую самоходом в море, а заодно удостоить высокой чести — показать

свои картины... Но вот здесь-то я и хочу прервать пересказ Владимира Личутина и взять слово самому. Поскольку картины Писахова я видел в Архангельске, и видел их в новом выставочном зале, где было не так-то много народу и где можно было не спеша переходить от одной к другой. Я довольно долго любовался серебристыми красками Севера, малиновыми зорями, ледяными глыбами, отсвечивающими на солнце, бронзовым стволом какой-то одинокой сосны, скрученной, но не сломленной зимними вьюгами... Короче говоря, я жадно впитывал эти пейзажи, лиризмом и душевной теплотой напоминавшие мне другого северного художника — Феодосия Михайловича Вахрушева, жившего в Тотьме и всю жизнь писавшего возлюбленную реку Сухону. Но если живопись Вахрушева, выдержанную в глубоко реалистическом ключе, я воспринимал как само собой разумеющееся явление, то здесь, в выставочном зале, я испытывал более противоречивые, более странные чувства, близкие, может быть, и к разочарованию. И вот почему. Еще с довоенных лет, еще вологодским школьником я хорошо знал Писахова как создателя книги знаменитых «Сказок», поразивших меня фантазией художника, его затейливой речью, его способностью мгновенно преобразить весь этот реальный мир во что-то сверхъестественное. Стоило мне взглянуть глазами Писахова-сказочника на какую-нибудь замшелую баньку, что «притулилась» к высокому береговому обрыву, как сразу же эта банька подымала из трубы дым хвостом и плыла в море-океян.

Правда, здесь же, в выставочном зале, я узнал, что за свои живописные полотна С. Г. Писахов еще в 1912 году был удостоен серебряной медали, что именно за пейзажи и виды Севера его называли «архангельским колдуном»... Многим позднее я узнал и другое, а именно узнал мнение самого художника, который пытался объяснить разительное несоответствие в своем художественном освоении Поморья, сразу же бросавшееся в глаза. «Я реалист,— твердо говорил он.— В сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю! В живописи я обязан быть правдивым. Поссоришься с Природой ради выкрутаса — Природа замкнется».

Заявление было сделано весьма категоричное, но, к счастью, не совсем точное. Ибо талант Писахова и теперь угадывается буквально во всем: в каждой его

картине, в каждой его сказке. Писахов и психологически, и социально, и художнически был достоверен и там и там, поскольку был един. Но он проявлял в разных искусствах разные грани своей богато одаренной натуры — и лирической, и едко-иронической одновременно. В целом же его творческое кредо заключалось в следующем: после долгих скитаний в молодые годы от Каира до Новой Земли Писахов пришел к выводу, что именно Север своей красотой «венчает весь шар земной». Певцом этой красоты родного Севера он остается на всю жизнь. Вместе с тем его бесконечно восхищает красота душевного облика северян, их быта, их жизненного уклада, красота их певучего, меткого, необычно выразительного слова. Если несколько перефразировать художника, то можно сказать, что, в свою очередь, глубоко народное, сказочное, северное Слово также венчает шар земной... Чистой случайностью можно признать тот факт, что Писахов в самые зрелые годы, как говорится, обрел себя в области литературы. Но не случайным было его стремление к самовыражению в слове, не случаен был его путь к той знаменательной встрече, о которой также следует сказать несколько слов.

2

В двадцатых годах в архангельской деревне Уйма жил Семен Михайлович Кривоногов. Правда, среди поморов был он известен под забавным прозвищем — Сеня Малина, поскольку имел «маливовы уста», иначе говоря, слыл превосходным рассказчиком нелепиц и небылиц. Например, он рассказывал о том, как «на корабле через Карпаты ездил...». Однако, не случись одной знаменательной встречи, его имя осталось бы в безвестности, подобно именам тех деревенских баешников и балагуров, которых артели промышленников-северян нанимали в зимнюю пору, чтобы коротать ночь где-нибудь на Мурмане или Новой Земле.

Но вот в 1928 году в Уйму приехал Степан Григорьевич Писахов, немало наслышанный от полярного капитана Воронина про Кривоногова и его небывальщины. Увы, только однажды они и виделись. Но именно после этой встречи в русской литературе появился Сеня Малина, непревзойденный мастер плести «разго-

ворны узоры» или, по словам его ехидной женки, «всякую несусветность». Вспомним, что сам Писахов был тоже говорун великий и выдумщик невероятных историй. Многие годы он, помимо полотен станковой живописи, мечтал создать что-то такое, что существовало бы «не в частом быванье, а в радужном сверканье», что надолго бы сохранило и чувство древности северной земли и ее вечную новизну. Ведь песней да сказкой мы себя, как лампой, освещаем, думал Писахов и предпринимал неоднократные попытки создать свой сказ в духе устно-поэтических традиций Поморья. Ибо с детских лет он обладал безудержной фантазией, которая не только радовала его, но и пугала: «...Легко уношусь в даль немыслимую, в даль минувшую. Порой страшно, ей-богу».

В 1924 году Писахов создал первую такую вещь, названную им сказкой,— «Не любо — не слушай...» («Морожены песни»). Однако встреча с Семеном Кривоноговым оказалась той счастливой звездой, тем мгновенным озарением, после которого насыщенный словесный раствор обрел новое качество и явил миру бесподобного Сеню Малину. Отныне от имени Сени Малины, жителя сказочной деревни Уйма, и повел свои повествования С. Г. Писахов. Этот его основной, хотя и не единственный, герой состоит в самом близком и кровном родстве с гоголевским Пасечником, лесковским «очарованным странником» и Левшой, некрасовским дядюшкой Яковом и многими другими славными наследниками мировой смеховой культуры.

Еще с середины прошлого века русский Север был знаменит олонецкими и беломорскими былинами, заговорами, плачами, причётами. Фольклористы собирали эти сокровища народного гения, популяризировали их. Однако наследие скоморохов, зазывал, баешников, поводырей ученых медведей, создателей балаганных представлений и «действ», восходящих к древнейшим языческим обрядам, к масленым играм, бывших чем-то «низким» и «площадным», наследие, которое определяет особое виденье мира русским народом, его особую эстетическую концепцию бытия, никак не учитывалось и не собиралось. Оно и поныне ждет своих исследователей, своих первопроходцев. Ибо эти неисчерпаемые сокровища и в наш стремительный XX век по-прежнему тлеют в книгохранилищах, в библиотеках страны.

Вот если бы не сказовое творчество Николая Клюева, Степана Писахова и Бориса Шергина, Василия Белова с его бесподобными «Вологодскими бухтинами» и Владимира Личутина с его узорочно-красочными повестями, то мы не имели бы счастья ощутить, почувствовать наяву, воспринять всем существом, что жива многовековая смеховая культура нашего народа, что вольная фантазия и добродушный юмор делают этот мир своим, как бы освобождают человека от всего ложного, омывают его волной веселья. Именно таков смех Писахова, который всегда победителен: его смех не просто отрицает, но и утверждает, не просто развенчивает, но и преобразует былых столпов и кумиров в «смешные страшилища».

Не потому ли Сеня Малина, герой произведений Писахова, в последние годы зажил новой жизнью, обрел второе рождение, ибо он, как и его славные предшественники, всегда необходим людям. Казалось бы, нет ничего проще всех этих северных бухтин, скороговорок, частушек-нескладушек. В равной степени, казалось бы, нет ничего проще и примитивнее Сени Малины. Однако этот с виду «простой» образ имеет родословную в несколько столетий, он — современник и Мамая, и «Наполеонтия», и чиновников старых дореволюционных лет, и рассвирепевших «инстервентов», которых ожившая телега Сени Малины загнала в болото. Он и наш современник, наш друг! Подобная историческая глубина этого образа делает его явлением сложным, многогранным. Следует заметить, что вообще реальность именно в сказках Писахова, всегда переиначивается, предстает как бы вывернутой наизнанку. Этот прием, свойственный гротеску, применялся прежде, например, в сказах Николая Лескова, теперь он широко применяется и в искусстве двадцатого столетия. Писахов сделал его основным и тем самым добился восприятия мира как некой невидали, некой небывалости. Этим мироощущением он щедро наградил своего героя... Дело в том, что природа Беломорья, суровые и трудные условия существования жителей Беломорья остались как бы за кадром и в живописи и в сказах С. Писахова. Но этот суровый реальный мир ощутим в качестве жизненной первоосновы, о которой знают и помнят все от мала до велика. Предположим, зимний лов трески в лютые морозы, в штормовые северные ветра

был для поморов и тяжелым и опасным. Писахов создает некий сказочный *тот* берег, где треска сама ловится, сама потрошится, сама в бочки ложится. Мало того, добавляет Сеня Малина, «котора рыба побойчей — выторопится да в пирог завернется... Хозяйки только маслом смазывают да в печку подсаживают». Вся жизнь Поморья «в бывалошные времена» была связана с добычей морского зверя и морской рыбы. Вот почему в нелепицах Сени Малины мечты поморцев связаны прежде всего не с хлебным раем, как в других местах России, а с раем пушным, птичным, рыбным, ягодным... И «рай» этот, оказывается, можно было создать в сказке-небывальщине, изукрасить им досуг, вдоволь посмеяться, обрести душевные силы для жизненной борьбы. Вот почему Сеня Малина постоянно летает в поднебесье, плавает по морю, колесит по земле — он добывает сказочно-великое количество рыбы, дичи, земных плодов... Причем Сенина добыча оказывается делом столь же приятственным, как парная в воскресной бане. Стоит лишь проявить сметку да находчивость. И Сеня Малина ухитряется, не слезая с полка́, выехать в море, наловить рыбу, по-новому, «по-банному», то есть обычной шайкой, заполнить уловом суда промысловиков, да еще «за дверну ручку» с баней попрощаться. Однако даже и это не предел фантазии рассказчика. С каждым новым словом он воодушевляется все больше и больше и создает воистину эпические сцены народных пиршеств, народных ликований. Простодушие рассказчика всегда лукаво, поскольку он знает, что ему верят с трудом, и это лишь увеличивает комизм ситуации: у Сени Малины на огороде выросла капуста, но не простая, а такая, что он одним листом дом свой закрывал. Трудно в это поверить. Но хитрый Сеня Малина ссылается на науки: «Учены всяки приезжали, диплом мне сулили. У меня и рама для него готова — как пришлют, так вставлю». После этого пояснения самые отчаянные маловеры были повержены в прах.

Но иногда начало писаховских сказок вполне обыденно, реально. Так, оказалось, что у кума Митрия Артамоныча ружье калибру номер четыре. А у Сени Малины самодельное ружье, но калибру номер два! И безустальный выдумщик с гордостью добавляет: «Как бы ишшо пошире, я бы в ствол спать ложился».

Но это лишь зачин. Сенино ружье никого не убивало, а только оглушало: утки это «оглушительно ружье» за пароходную трубу сосчитали да еще и подумали: труба эта в отпуску и по лесу как городска модница прогуливает сама себя. Травестированы Степаном Писаховым и сцены из жизни королевской семьи в Лондоне, куда предприимчивые купцы привезли «морожены песни». Эти песни напели жители Уймы и заморозили их на местном двухсотградусном морозе. Весь город был охвачен возбуждением. «Король и королева ночь не спали,— рассказывает Сеня Малина, — с раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила».

Но как бы ни были замысловаты, затейливы, безудержно-прихотливы народные нелепицы, Писахов никогда не забывает четких социально-нравственных критериев. Его герой — представитель трудового народа, он говорит о себе: «А нас, мужиков...» Он с особенной издевкой повествует о «начальстве», о чиновниках-полицейских, которые обирают народ, отнимают у него, у Сени Малины, его баснословно-богатые уловы. Однако при помощи того же «оглушительного ружья» старый помор отшибает у злодеев память и всяческое понимание, а после этого, как на заправской упряжке, на них же из лесу дрова вывозит. Да и «морожены песни» оказались столь удалыми, столь по-мужицки «весомыми», что когда они оттаяли, то королевская семья и все заморские купцы хоть нашему языку и не обучены, а все поняли.

Следует заметить, что в фантастически-замысловатом мире, где все «наоборот», а не как в пейзажах Писахова, психологический облик Сени Малины, казалось бы, было невозможно выразить без преувеличений и искажений. Однако в том-то и заключается «тайна» художественного таланта Степана Писахова, что в создании характера Сени Малины он оказался верен именно реалистическим принципам изображения, что Сеня Малина, вместе с его «антиресными небывальщинами», воспринимается как человек, которого ты когда-то хорошо знал или мог знать.

Без излюбленного краснословия, а вполне серьезно он говорит: «Я худого не выдумываю...» И добавляет: «...а норовлю, чтобы всем хорошим людям хватило да любо было». Об этих хороших людях он больше всего и печется, об их добром, веселом расположении духа

он и радеет. Зато откровенной издевке в сказках Писахова подвергается непомерное увлечение модой, пустословие, жадность, скупость, недоброжелательность, глухота к прекрасному в природе и мире. Примечательны в этом смысле его байки о городских и деревенских модницах, об одной уемской женке, прозванной в народе Перепилихой. Удивительно смешны эти байки!.. У Перепилихи голос был необыкновенной пронзительной силы. Она в лесу медведя этим голосом убила. Да и мужа своего пилила-пилила и пропилила насквозь, так что сквозная дыра в нем засветилась. Правда, это лишь присказка. А сказка — впереди. И чем дальше, тем свободнее фантазия, замысловатее образы, которые и делали сказки Писахова явлением уникальным, неповторимым... Доктор дыру осмотрел, велел деревянную пробку сделать. И вот с пробкой стал ходить мужик. «А как пробку вынет,— продолжал свою байку Сеня Малина,— дух через дыру пойдет и заиграет музыкой приятной. Перепилихин муж наловчился: пробку открывать и закрывать, и на манер плясовой музыки выходит. Его на свадьбы зовут заместо гармониста»... К слову сказать, слушатель мог усомниться в этой «музыке», но в чем он не имел права сомневаться, так это в том, что голос Перепилихи в конце концов был использован уемцами с «опчественной пользой»: Перепилиху послали в лес дрова пилить.

3

Почти в любой небывальщине Писахова имеется свой «секрет»: такими «секретами» обладали и знаменитые великоустюжские ларцы, обитые «морозом по жести». Чтобы открыть ларец, необходимо было отыскать шляпку гвоздика, нажать ее, а затем — обнаружить тайничок для ключа. Подобные «секреты» имеются почти в каждой сказке Писахова. И вот что интересно: в отношении к слову здесь особенно ярко обнаруживается высокий эстетический вкус и дар воображения художника-архангелогородца. Многие народные выражения и слова, к которым мы привыкли, которых в повседневной речи не замечаем, Писахов воспринимал как человек, наделенный особенно острым, «предметным» зрением. Например, существует общеобиходное выражение: «сморозить». Но для Писахова это слово стало

еще одним секретным ключиком, открывавшим заветный мир сказок и небывальщин. Писатель начинает варьировать эмоционально-смысловые оттенки этого самого слова «сморозить», чтобы постепенно воссоздать облик зимнего, заснеженного, сказочного Беломорья. Бывало, рассказывает Сеня Малина, девушки вечером выйдут на улицу, «песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтово отсвечивает цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумщицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят... Весной на солнышке песни затают, зазвенят. Как птицы каки невиданны запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!»

Действительно, краше этого описания северной зимы и весны «нигде ничего не живет!». Но с особенным наслаждением Писахов обыгрывал имя рассказчика — имя Сени Малины. «Пойдемте к Малининому дому в малиновом свете гулять!» — так решают девушки в сказке «Снежные вехи». А как объяснить, как истолковать словами и разумением главного героя те малиновые зори, которыми так славен русский Север?.. Ведь от этих зорь, продолжающихся с сумерек до утреннего света, по всей Уйме свет идет. И вот вновь помогает смекалка Сене Малине найти убедительный ответ. Да потому, говорит этот расторопный житель Уймы, что он самолично кустов малиновых на дно реки посадил. И эти малиновые кусты совсем по-другому в воде стали расти, чем на сухой земле: «...как ягоды поспевать начнут, так со дна реки малинова наливка подымается...» Правда, рассказчик тут же лукаво предупреждает: «...черпать эту наливку надо только поутру...» И далее следует пейзаж, характерный для Писахова художника-реалиста: «Солнышко чуть осветит, чуть теплом дыхнет, над рекой туман везде спокойный, а в одном месте забурлит, как самовар на том месте кипит,— тут вот и есть малинова наливка».

Даже по этому отрывку можно судить, насколько остро чувствовал Степан Писахов «секреты» зрительных впечатлений. Этот сильный малиновый цвет запечатлевается на сетчатке глаза, распространяется на всю деревню, на всю северную природу.

Уже в первой байке, опубликованной в 1924 году, Писахов пообещал читателям «всю сушшую правду»

рассказать про Архангельский край, про своих земляков-поморов. И если исходить из главных тенденций его творчества, то он сказал ту правду, которая тем-то и прекрасна, что она необычна и вместе с тем верна — верна по мироощущению, по пафосу, по идеалу. Потому-то и единственная книжка Писахова «Сказки» оказалась «томов премногих тяжелей», ибо в ней, в этой книжке, заложен заряд великого жизнелюбия, бодрости, веселья и столь же великой любви к родной северной Руси. Не случайно в день восьмидесятилетия писателя Леонид Леонов прислал телеграмму, в которой были такие слова: «Без Вас не мыслю Севера».

ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..

КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ

1

Один из героев Константина Воробьева, имеется в виду повесть «Вот пришел великан...», заметил, что написать книгу — все равно что прожить жизнь. Во всем соглашаясь с этим героем, я хотел бы добавить, что прочитать такую книгу — это все равно что заново прожить и чужую, и в какой-то степени свою собственную жизнь.

Именно с таким чувством я и читал повесть «Это мы, господи!..» К. Воробьева в конце прошлого года. И в процессе чтения ощутил, что прошедшее и настоящее, реальное и выдуманное, дозволенное и запретное сводилось опять-таки к одному большому, большому вопросу: как жить дальше?

Особенно острым было чувство личной «невиновной вины» перед всеми, кто был убит под Москвой, может быть, в тех самых истринских перелесках, в которых ты в прошлое воскресенье пробегал на лыжах или под осень собирал грибы...

А ведь в этих боях, особенно ожесточенных в конце ноября сорок первого года, как с документальной точностью показывает К. Воробьев, в этих боях, ставших поворотным пунктом во всей второй мировой войне[1], были еще и пропавшие без вести. Но о них почему-то думалось меньше. И вспоминалось меньше. До самого конца войны, до того часа, когда вдруг — всегда неожиданно — кто-то из них появлялся в поредевшем кругу твоих школьных товарищей, появлялся как-то незаметно, вроде бы стеснительно, вроде бы все с тем же чувством вины невиновной.

---

[1] Так оценивает сражение под Москвой гитлеровский генерал Блюментритт, ибо надежды вывести Россию из войны в ноябре сорок первого года провалились в самую последнюю минуту.

И ты был далек, конечно, от понимания того очевидного факта, что каждый миг, проведенный в окопах, а тем более — на нейтральной полосе, когда ты проделывал проходы в минных полях или резал ножницами спирали Бруно, мог быть и последним мигом твоего свободного существования. В такой же самой степени ты был далек в ту послевоенную пору от понимания важнейшего закона художественного творчества, что в литературе, как и в жизни, человек испытывает не одни возвышенные чувства героизма, самопожертвования, беззаветной храбрости и презрения к смерти, что вовлеченный в огненный вихрь боев человек в равной степени испытывает переживания и иного порядка, иного плана,— чувство страха смерти и неодолимой тревоги, самосохранения и вины невиновной перед всеми, кто был убит, был распластан на брустверах окопов или засыпан землей на артиллерийских позициях.

Тем более что авторы многих произведений, которые ты прочитал и по поводу которых было сломано немало критических копий, этих внутренних — трагических — состояний не касались совсем. Не чувствовали они и тех подробностей окопного быта, тех мельчайших примет каждодневного существования на «передке», которые помнишь и спустя десятилетия, но которые из своего редакционного «виллиса» они знать не могли.

А вот Константин Воробьев знал. Знал и чувствовал и это, и многое другое, что утратила твоя память или чего ты не пережил с такой силой и отчетливостью, как он. А ведь и для тебя шолоховская формула о том, как «безобразно просто» умирали люди в окопах, была формулой подлинного художественного изображения войны.

Насколько мне помнится, Константин Воробьев не попал ни в один из тех почетных списков, которые в нашем не таком уж и давнем литературном прошлом украшали страницы литературной печати. И все потому, что на его долю выпала судьба без вести пропавшего, судьба, всю тяжесть и все нечеловеческие мучения которой выразил еще восемьсот лет тому назад автор гениального «Слова о полку Игореве». Позволю себе процитировать его слова в современном изложении: «Уж лучше убитому быти, нежели полоненному быти...»

Пройдут годы, и ты узнаешь, что эти строчки древнерусского Бояна К. Воробьев избрал в качестве эпиграфа к своей юношеской повести «Это мы, господи!..». И тем самым как бы озарил незримым светом и тех мучеников, и

тех страдальцев, что гнали всадники по Дикому полю, и те колонны пленных, что растянулись по заснеженным полям Подмосковья в сорок первом году. И тогда плата за победу в сорок пятом преумножится, с учетом всех тех без вести пропавших, которые и пребывали веками в своем безвестном, в своем великом-превеликом множестве.

Из послесловия к повести «Это мы, господи!..», написанного Верой Воробьевой, можно узнать, что произведение это, казалось бы, навсегда было похоронено в недрах Центрального государственного архива литературы и искусства. Но — рукописи не горят! И вот спустя сорок три года со дня написания повести она появилась на страницах «Нашего современника», появилась, чтобы обжечь всех прочитавших ее огнепалимой правдой о жизни и смерти человека, о неслыханных страданиях, об испытаниях духа и плоти, которые выпали человеку двадцатого века и которые, оказывается, он смог выдержать.

Вот почему я хочу повторить, что когда мною, как говорится не переводя дыхания, была прочитана эта повесть, то неизбежно встал вопрос: как жить дальше?..

Ибо речь в этой повести шла, в частности, и о той политической доктрине, которая обрекала на мучительную голодную смерть одних людей и поила ядом расового превосходства других. Только не в качестве такой вот отвлеченной и не задевающей чувств политической доктрины выступало содержание этой повести, а в качестве эпизодов, сцен, образов, конкретных человеческих судеб и человеческих характеров, зримых до галлюцинаций. Вот почему надо было обдумать заново и довоенную юность и фронтовую молодость, надо было вспомнить и заново решить, почему мы были так легковерны, почему так охотно распевали песенки из популярных кинофильмов о том, что мы врага «разгромим малой кровью, могучим ударом». Почему слово «враг», каждодневно глядевшее на нас с газетной полосы, было обращено чаще не вовне, а внутрь нашего общественного бытия и нашего личного существования?..

То, что мы, сверстники К. Воробьева, были подлинными интернационалистами, что мы приветствовали друг друга возгласом «Рот фронт!», что безусловно верили в тех юношей, одетых в серо-зеленые шинели, которые сразу же повернут штыки против своих классовых врагов,— вряд ли об этом стоит подробно говорить. Важнее,

вероятно, сказать другое, что наше довоенное образование и воспитание несло на себе печать преимущественно гуманитарного, я бы сказал, классического образования и воспитания: ведь в наших школах, в наших университетах было еще немало учителей, преподававших в гимназиях или окончивших гимназии, имелось немало профессоров, обогативших отечественную науку открытиями из истории немецкой, французской, английской литературы. И не потому ли настольными книгами иных из нас были книги прозаиков и поэтов «эпохи Гете», Шиллера, Гельдерлина, Гофмана, Виланда, Гейне... «Голубой цветок» романтизма, пышно расцветший в произведениях этих художников, был дорог и нам, романтически настроенным юношам Страны Советов.

Вновь и вновь возвращаясь мысленно к той предвоенной эпохе, я думаю, что ореол романтически-возвышенного отношения к миру и не позволял нам до конца поверить в реальность той политической доктрины, которая уже овладела умами не только правящей верхушки Германии, но и миллионов, как у нас принято говорить, простых немцев.

Стоит вспомнить хотя бы совещание генералов, которое состоялось 30 марта 1941 года и на котором Гитлер заявил, что война против России — это не обычная война, а война двух противоположных систем. Речь идет о борьбе на уничтожение, говорил Гитлер. И подчеркивал, что на Востоке сама жестокость — благо для будущего.

Десятки миллионов людей, докладывал Гиммлер о плане «Ост», будут обречены на смерть.

Мы обязаны, указывалось в третьем документе, истреблять население. Это входит в нашу задачу...

Мне думается, что и сейчас, спустя сорок шесть лет после начала войны, с трудом осваивается зловещий и деловой тон этих документов эпохи.

Мне думается и другое, что эта политическая и военная доктрина, которая, казалось бы, навсегда была выжжена из тела Германии огнем «эрэсов» и развеяна в прах взрывами авиационных бомб, эта доктрина в несколько ином обличии все отчетливее стала проявляться в современной международной жизни.

Ведь привычным теперь оказывается для многих тот факт, что в американских супербоевиках постоянно имитируются оружие и военная техника, экипировка и обличие советских солдат и офицеров. Для чего? Для того,

чтобы отработать готовность убивать русских, жизнь которых, как внушает американским войскам соответствующая доктрина, не имеет никакой особой ценности.

Ах, как знаком, как до отвращения знаком нам, бывшим фронтовикам, этот тон личного превосходства и презрения к русским...

Вот почему мой первоначальный замысел — рассмотреть чисто художественные достоинства творчества К. Воробьева, выявить глубину его философско-эстетических взглядов — стал рушиться, едва я приступил к делу.

Ибо непомерные, можно сказать, библейские страдания и страсти, которые пережили его герои и которые выражены в самом названии повести, не должны повториться никогда! Довольно и нас одних!.. Мы все приняли на свои плечи — и за себя, и за тех, кому жить в двадцать первом веке.

2

И все-таки вопрос о том, как же безобразно простая, если вспомнить здесь Шолохова, реальность превращается в нечто художественно значительное, этот вопрос возникает и при чтении произведений К. Воробьева.

...Самое первое и, вероятно, сильное впечатление от произведений К. Воробьева заключается, пожалуй, в том, что все они созданы как бы на одном дыхании. Кажется, что творческий порыв, который испытывал художник, охватил его внезапно.

На самом же деле этому порыву предшествовали различные состояния души, в том числе и внутренняя тревога, а может, внутренняя обеспокоенность, когда человек, как говорится, не находит себе места... Следует сразу же добавить, что тревога, которую испытывал Воробьев, была реальной тревогой и реальным опасением, ибо могло так случиться, что его повесть окажется незаконченной. Да так оно и случилось на самом деле.

Как сообщает Вера Воробьева, вдова писателя, весной 1943 года группа партизан, сформированная из бывших советских военнопленных, была вынуждена уйти в подполье. И вот в литовском городе Шяуляе, в доме № 8 по улице Глуосню, один из членов партизанской группы — Константин Воробьев, находясь на конспиративной квартире, писал свое первое автобиографическое произведение, писал неистово, писал торопясь, спеша высказать

все, что он пережил за эти годы, что было не только его личной судьбой, но и судьбой его товарищей по плену.

Ведь если, как писал К. Воробьев, там, на фронте, едва ли не самой трудной победой была победа над собой, то здесь, в лагере для военнопленных, обнесенном колючей проволокой, эта победа оказалась почти невозможной, поскольку человеческая личность для того, чтобы выжить, должна была быть стертой, обезличенной, лишенной каких-либо волевых качеств и свойств. И были такие, что шли этим путем — путем утраты человеческого в человеке. Однако герои К. Воробьева, как из его предыдущих повестей, так и из повести «Это мы, господи!..», являют собою яркие и сильные характеры, которым чуждо противопоставление свободы и необходимости, которые внутренне свободны даже в условиях строжайшего режима гитлеровских застенков.

Итак, очутившись в плену, Сергей Костров (так зовут главного героя повести) познал все истины экзистенционального порядка. Пребывание в камере смертников дало ему возможность узнать, что свобода перед лицом смерти — это действительно глубочайшая свобода, но она предполагает в человеке смирение перед безнадежностью, отчаянье, возведенное в абсолют.

А между тем ядро свободы в том «да», которое человек говорит жизни, как бы ни были невыносимы и жестоки условия его существования. Вот почему бывший лейтенант Сергей Костров, а ныне пленник то одного, то другого, то третьего лагерей для военнопленных, внутренне понимает, что сама надежда на освобождение, на бегство из плена — созидательна, что эта надежда и сосредоточенность на одной мысли — бежать, бежать, бежать во что бы то ни стало — поддерживает его силы, укрепляет его дух там, где другие внутренне сдались, внутренне смирились, а значит, и обрекли себя на медленную и мучительную смерть. Таков саласпилсский лагерь командного состава «Долина смерти», что раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. К. Воробьев замечает, что в этой долине гитлеровцы создали непревзойденную систему поддержания пленников в полумертвом состоянии. Жуткой тишиной наполнены бараки, ибо друг к другу люди обращались шепотом. Сергей понимает, что это была последняя отчаянная и мучительная попытка сэко-

номить силы, сберечь себя для будущего. Но будущего без веры в освобождение, в отчаянную попытку всем вместе броситься на колючую проволоку, чтобы единицам спастись, такого будущего уже не было ни у кого, кто находился рядом с Сергеем.

...Осенью прошлого года вместе с группой участников семинара молодых критиков мне довелось побывать в Саласпилсе. И не огромное поле, на котором возвышались то гневные, то скорбные и, казалось, великанские фигуры — символы мучеников «Долины смерти», нет, не эти фигуры потрясли меня, а глухие, мерные, редкие удары метронома в глубине гранитного камня: казалось, там, в этой глубине, чье-то сердце отсчитывает последние удары. Чье сердце?.. Может быть, того полковника, с которым Сергей Костров говорил о побеге, а может быть, и моего двоюродного брата Виктора, что пропал без вести в начале войны?..

3

Творческий порыв, который переживал К. Воробьев на конспиративной квартире в городе Шяуляе, также был немыслим без внутренней свободы, без раскрепощения личности, без желания открыться миру, а стало быть, и открыть миру истину, которую не знал мир. Этот творческий порыв был бы немыслим, если бы К. Воробьев не мечтал запечатлеть в слове и внешнюю сторону событий и их внутреннюю суть, если бы он не думал об исторических путях России, если бы он не чувствовал новой России, зова ее заснеженных пространств и бедных селений. Там, на конспиративной квартире, он был внутренне раскован, а поэтому думал о самом главном: как запечатлеть в слове всю глубину и силу пережитого или, говоря библейским словом, всю меру страстей, выпавших на долю каждого в отдельности и всех вместе... Вот почему повесть К. Воробьева потрясает глубоким знанием, точнее — проникновением в душу человека XX века, оказавшегося, как говорят философы, в экстремальных условиях.

А условия эти менялись не только по степени все большей жестокости охранников-полицаев, конвоиров, тюремных надзирателей и просто солдат из фольксштурма,

для которых жизнь пленных — и каждого в отдельности, и всех вместе — не имела никакой особой ценности, эти условия менялись и по степени все нарастающей тревоги, полной неуверенности в грядущем дне.

Лирический герой повести Сергей Костров — образ, конечно же, автобиографический, однако повесть не дневниковая запись. Нет, ее экспрессивный, повышенно-напряженный тон сменяется тоном не то чтобы эпически спокойным, но вроде бы обезличенным, повествующим не об одном, а о всех сразу или, напротив, о ком-то одном, но никак не названном, не выделенном из массы. Иногда глава начинается с сообщения, лишенного субъективной окраски. Таков зачин главы второй: «Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.

Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани...

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти...»

И далее мелькнут то фигуры ефрейторов, укутавших головы онучами, то господ офицеров с муфтами в руках и покрытых кто персидским ковром, кто дорогим манто...

Описание зимнего отступления вражеских колонн от Москвы напоминает хрестоматийные картины Верещагина о потонувшей в снегах великой армии Наполеона. Но век другой и психология отступавших другая. «В эти дни немцы не били пленных,— как бы отстраненно замечает К. Воробьев.— Только убивали!» Вот почему немецкому автоматчику, выскочившему из колонны и возвращавшемуся из окрестной деревни с курицей под мышкой, трудно было заблудиться в заснеженных полях и перелесках. Пути отступления оккупантов были отмечены страшными указателями: «Стриженые головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дороги...»

Высокое художественное мастерство К. Воробьева сказывается в том, как точны его характеристики и всей массы пленников, растекающейся по дорогам Подмосковья, и отдельных, словно бы при вспышке «блица» выхваченных лиц и фигур. Таков оказавшийся рядом с Сергеем солдат, видимо, из старослужащих, Федор Никифорыч. Этот обстоятельный, запасливый, готовый помочь другому в беде человек гибнет на глазах Сергея, гибнет, как и многие другие, нелепо и страшно. Но если вспомнить о

том, что его участь была уже предрешена за тысячу километров в залах, украшенных фигурами средневековых рыцарей и гобеленами известных мастеров, то все, как говорится, встает на свои места.

...Итак, колонна военнопленных втянулась в какую-то небольшую деревушку. И тогда на крыльцо одной особенно ветхой и низкой избушки старуха вытащила большую корзину — нет, не картошки и не брюквы, а просто капустных листьев, вероятно, все, что у нее оставалось в ту голодную зиму.

«Как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода...» И вот тогда-то с противоположной стороны улицы раздалась дробная трель автомата. Старушка, нагнувшаяся было за листьями капусты, неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталась лежать без движения... А вслед за этой очередью конвойные тут же открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу... «Убили-таки, ироды!» — фразу, столь похожую на весь облик и на всю сокровенную суть свою, тихим и хриплым голосом произнес Никифорыч. А пленные, вновь построившись по пять в ряд, продолжали скорбный путь, оставив десятки убитых возле безымянной деревеньки. И вновь время от времени раздавались торопливые хлопки — то немцы пристреливали отстающих.

4

За колючей проволокой лагерей, то ржевского, то вяземского, то смоленского, то еще какого, для Сергея огромное значение приобрела необходимость выбора тех или иных способов существования. Причем перед этим выбором вставал каждый, оказавшийся в тех обстоятельствах, и каждый решал его по-своему. Тем более что страх смерти, которая всегда была здесь рядом, в условиях безвестности и безымянности, отчаяния и страдания, этот страх преодолеть было особенно трудно. Сергей видел это и понимал, но понимал совсем не так, как по ту сторону фронта. Тогда, размышляя о смерти, он уяснил себе, что в сущности «не боится ее, только... только умереть хотелось красиво!».

Нет, в плену, между щеголеватым и несколько бра-

вирующим своей храбростью лейтенантом и им, сегодняшним, умирающим от тифа под нижними нарами барака, была огромная разница. И вопреки всему, он был все тот же, что и там — на войне. Ибо, может быть, впервые так отчетливо понял и уяснил себе, что охранники безусловно могли манипулировать этими массами военнопленных, они могли морить их голодом, расстреливать, убивать, но они не могли совладать с внутренним миром отдельного человека, не могли предрешить его выбор, его стремление встать выше безнадежности, выше страха смерти, заведомо лишенной ореола какой-либо красивой исключительности. Вот почему рядом с Сергеем, как будто бы и случайно, а в действительности неизбежно оказывались люди, близкие ему по духу. Таков доктор Лучин, который угадал в тифозном больном личность, не сломленную в плену, таков и капитан Николаев, который постоянно выискивал, как он говорил, «великую возможность смыться». Ни тот, ни другой, ни третий не теряли надежды на «то самое», что никак иначе не обозначалось, но было понятно им всем.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что из пестрой и все-таки устрашающе однообразной толпы пленных, из соседей по вагонной полке или по нарам кровно близки, понятны, родственны были не одни лишь эти, в своем роде исключительные личности.

Нет, в плену переплеталось множество судеб, которые, все вместе и каждая в отдельности, свидетельствовали о том, что война — это народное бедствие, что война тяжелее всего и страшнее всего прошлась по городам и весям, где живут совсем-совсем простые люди. Таков подросток Коля из деревни Аксеновка, умирающий от гангрены. Сергей додумывает его страшную в обыденности историю. Ведь одно желание, одна предсмертная мечта — чтобы пришла к нему родная мать, принесла бы вареной картошки и хлеба, поскольку от лагеря военнопленных до родной Аксеновки всего-навсего шесть верст.

«Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной... и хлеба тоже...— думает в глубокой тоске Сергей.— Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном

платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным...»

Вот такие возвышенно-лирические и вместе с тем событийно глубокие и правдивые вставки в ткань повествования несут в художественной системе К. Воробьева огромную роль, ибо вновь и вновь возвращают нас к названию повести, выявляют в этом названии всю безмерную историческую глубину бедствий земли русской.

Примечательно и другое, что такой обнаженный лиризм отнюдь не снижает общего сурово-реалистического строя повествования. Вот к семи часам вечера выстроились за баландой люди, как пишет К. Воробьев, потерявшие человеческий облик, причем в этой очереди смешались все — и бывшие красноармейцы, и командиры Красной Армии, и глубокие старцы, и подростки, которых гитлеровцы загнали за колючку, страшась действий партизан. Конечно, можно было бы еще нагнетать подробности из лагерного быта, можно было бы прибегнуть к символике, как это сделал автор повести в главе четвертой: «Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы...» Однако обостренным внутренним зрением К. Воробьев видит и ту стихию, которая не то чтобы усмиряет эти призраки, но которая подымается над колючей проволокой, над всей землей как высокая волна народного горя. Это — за колючим заграждением мелькает разноцветное тряпье женщин и детей, пришедших сюда из ближних деревень, это — неожиданно вознесенный над толпой, над колючкой, над бараками причитающий голос: «Ии-и ты-и-и жа-а, мой родненький-и-й сыно-о-чиик...» Поразительна реакция на этот древний-древний и все-таки живущий сегодня песенный вопль. Какой-нибудь заросший бородой дядя, заключает К. Воробьев, прислушается, плюнет и скажет: «Тьфу ты, скаженная! Все нутро волокёть...»

Читая такие хватающие за сердце страницы, невольно вспоминаешь слова Горького о том, что Россия представляет собой страну, где отнюдь не только во имя свободы слова, а во славу и освящение страдания написаны были самые талантливые евангелия.

Что ж, может быть, автор повести «Это мы, господи!..» и был близок к этой идее; во всяком случае, он всеми силами души стремился к тому, чтобы русские люди пре-

одолевали взаимное отчуждение, чтобы даже непомерное страдание, даже непомерное горе родной земли сплачивало их, подымало их самосознание на новый уровень, помогало им «открыться». А «открыться» — значит быть предельно правдивым, искренним, обретшим истину и через страдание. Вот так вот и получается, что наше подлинное бытие — это бытие истинное, неотчужденное. К подобным выводам приходишь, когда в повести К. Воробьева встречаешь мысль об «интересах высшего порядка», которые ни в коем случае не должны противостоять и таким вот формам национального бытия и существования человека, которые в годину всеобщего бедствия народного, человеческого горя и страдания как бы обретали еще большую власть над душой отдельного человека и всего народа в целом. Только в свете такой философско-эстетической концепции К. Воробьева можно правильно понять его «жестокий» талант, перенести сцены, подобные той, что разыгрались в карантинном пересылочном пункте, который значился как каунасский лагерь «Г». В этом лагере не успели закрыться ворота, как в толпу пленных с нечеловеческим гиканьем врезались эсэсовцы: они убивали пленных остро заточенными железными лопатами. Таким варварским способом был убит капитан Николаев, которому лопата глубоко раздробила череп.

Естествен вопрос: нужны ли такие подробности в произведении? Нужны, если они не существуют самоценно, а влияют на общую идею. Общая же идея повести заключалась в том, что по восходящей линии шли не только муки мученические, которые претерпевали Сергей и близкие ему люди, по восходящей линии шли и его ожесточение и его мысли о побеге.

Мысль о «последней возможности» была все навязчивей, все неотвязней. И при первой же возможности Сергей бежит снова. И снова он пойман, и снова жестоко избит, и снова отправлен в штрафной лагерь.

5

Один из побегов, который Сергей совершил вместе с воентехником Ванюшей Рябцевым, совсем еще мальчиком, причем совершил особенно дерзко — из вагона, увозившего пленных в Германию, поначалу оказался удачным. И хотя надо было пройти сотни верст по сосновым борам и непроходимым топям прибалтийских болот, что-

бы дойти до родины, у беглецов не возникало сомнений — они одолеют эти пространства, лишь бы не наткнуться на фашистский патруль... В качестве оружия у них были только камни-голыши в карманах ветхой одежды.

И вот теперь как бы изнутри, как бы в самом сокровенном, открывалась беглецам жизнь лесных литовских хуторов, где женщины сокрушенно качали головой, глядя на босые ноги несчастных, где они, с риском для жизни, снабжали «пленчиков» едой. И когда были преодолены сотни километров, когда за Паневежисом и Даугавпилсом уже начиналась родная земля, Ванюша не вернулся из поиска — на хуторе оказался полицейский патруль. И вот тогда Сергей задумал сжечь этот хутор, хотя тут же мелькнула страшная мысль: «А если Ванюшка связан и лежит там... в доме?.. Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо! Я сам убью его!»

Какой бы смысл ни приобретали для нас сегодня эти слова, зная, что мог претерпеть изможденный голодом и страданиями юноша в фашистских застенках, мы не подвергаем Сергея за них нравственному остракизму. Ибо боль, подобная жгучему чувству вины невиновной, была настолько нестерпимой, что ничего другого в те роковые минуты он не мог придумать для облегчения участи своего друга.

И еще одно немаловажное соображение относительно подобных острейших морально-этических ситуаций, запечатленных в повести К. Воробьева, хотелось бы здесь привести.

Всем пафосом своего творчества писатель утверждал положение о том, что человеческая личность не должна рассматриваться как средство для достижения каких-то определенных, хотя бы и самых возвышенных, целей. Веление кантовского императива никак не противоречило морально-этическим принципам Сергея. Напротив, его готовность принять смерть первым, если эта смерть поможет другому обрести свободу, не подлежит сомнению. Жажда отмщения за муки мученические, которые они претерпели на мучительно-трудном и долгом пути к свободе, искупает его вину перед другом.

Вот так познание человека, распятого на кресте самых изощренных мучений и страданий, шло через личный опыт, через личное отчаяние и личную надежду на высшую справедливость.

Рассматривая все творчество К. Воробьева, важно подчеркнуть, что духовное самосознание его героев — Сергея Кострова, Кузьмы Останкова, Алексея Ястребова, Родиона Сыромукова — было неизменно озарено той «теплотой патриотизма», о которой писал Лев Толстой и которую им не могли бы заменить никакие казенные формулировки.

В повести «Убиты под Москвой» это внутреннее состояние по-своему определил Алексей Ястребов, когда он понял причины, из-за которых застрелился командир роты Рюмин. Да, это какое-то совершенно неизвестное ему прежде душевное состояние, похожее и на мгновенное оцепенение, и на внутреннее прозрение, без которого дальше было уже невозможно ни жить, ни умирать.

«Теперь,— думалось лейтенанту Ястребову,— все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это — бывшее, настоящее и грядущее — требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью».

На это сложное и в чем-то необычное мироощущение лейтенанта Алексея Ястребова во многом повлияло глубоко затаенное, сокровенное и внезапно озарившее его воспоминание детских лет. И не потому ли, замечает К. Воробьев, рядом с нею, то есть со смертью, в чем-то похожей на смерть капитана Рюмина, к нему приблизилось его деревенское детство: дед Матвей, Бешеная Лощина и другие приметы родины...

Вместе с тем, размышляя над художественно-эстетической основой творчества Константина Воробьева, нельзя не обратить внимания на некое противоречие, на некую дихотомию этой основы. Как уже говорилось, писатель преимущественное внимание уделяет таким вот человеческим чувствам и переживаниям, как безвестность, тревога, вина, предчувствие смерти и так далее. И при этом его главные герои, как правило, личности незаурядные, наделенные и силой воли, и силой воображения, не признающие чувства превосходства сильного над слабым и как бы правого над виновным. Не в этом ли секрет и личного обаяния этих героев и — в целом — сильнейшего художественного воздействия творчества

К. Воробьева на других. По-моему, те чувства, о которых шла речь, помогали художнику выявить и выразить в человеке нечто неуловимое, нечто не зараженное рассудком, нечто такое, что является духовным двигателем человеческой жизни. Вот почему сейчас, когда со времени написания повести «Это мы, господи!..» прошло больше четырех десятилетий, поражаешься бесстрашию Воробьева в изображении самых сложных, а подчас и отталкивающих сторон человеческого бытия. И в этом одна из причин поразительного эмоционально-эстетического воздействия его творчества на читателя.

Общеизвестно, что искусство есть одна из форм проявления истины. О красоте истины в художественном произведении, например, настоятельно советовал подумать Сергей Залыгин молодым писателям. Истинность всего, что вышло из-под пера К. Воробьева, по-моему, нельзя подвергнуть сомнению. Вот почему его проза производит такое глубоко эмоциональное и эстетическое впечатление. Ибо прекрасное и фальшивое — категории несовместимые. Ибо как раз своей высокой идейностью в том ортодоксальном смысле слова, в котором мы привыкли говорить об этой художественной категории, и примечательно творчество выдающегося русского советского писателя К. Д. Воробьева.

...Седьмого мая сорок пятого года в штабе дивизии мне был вручен приказ, который гласил, что отдельному взводу инженерной разведки 314-й стрелковой Кингисеппской дивизии приказано сопровождать колонну немецких военнопленных в направлении города Клотска. Под моим командованием в ту пору оставалось всего двенадцать разведчиков. Но приказ есть приказ, и я отбыл к месту назначения.

Площадь городка, на которой стояла ратуша, заливало море человеческих голов. Почему-то именно это мне и бросилось в глаза: куда ни посмотришь — везде серо-зеленые кепи с большими алюминиевыми пуговицами. Да еще непривычно расстегнутые, наброшенные на плечи либо подстеленные под себя солдатские френчи.

В дальнем углу площади виднелись трубы походных кухонь, и там толпа военнопленных была еще гуще и еще неразличимее. Вообще в этом скопище людей меня удивляло какое-то однообразие лиц и как бы отсутствующих

взглядов. И хотя я стоял с переводчиком и солдатами из разведвзвода отдельно от всех — никто не смотрел в нашу сторону. Но приказ строиться в походную колонну по пять человек солдаты бывшего вермахта выполнили привычно и вроде бы даже охотно. Однако когда голова колонны оказалась в открытом поле, то хвост ее все еще находился на ратушной площади... На мой вопрос: сколько в колонне людей — переводчик равнодушно ответил: «Около двадцати двух тысяч»... И это на двенадцать автоматчиков?! А что?.. Все равно войне конец. Да и куда они сбегут — здесь, где в сорок втором они сожгли деревню Лежаки и расстреляли всех ее жителей!..

Между тем колонна вытянулась вдоль шоссе, которое в низинках проходило по насыпи с белыми каменными тумбами по краям.

Палило солнце. Хотелось пить. Идти становилось все труднее. Однако первые пятерки, в которых солдаты подобрались рослые и сильные, взяли походный шаг. И я подумал, что стоит мне скомандовать через переводчика «Песню!», как немцы охотно запели бы одну из своих строевых. Вот был бы номер для наших встречных обозов!

...Через какое-то время ко мне подъехал на велосипеде связной и сказал, что в колонне есть отстающие. Сопровождать их отдельно! — единственное, на что я мог решиться до привала. И наконец — привал. Может быть, это и было село Железнице, через которое в марте сорок пятого года проходили «марши смерти» советских и по ских военнопленных?.. Ведь об этом знала вся окру поскольку местные жители рассказывали, что мимо них прошло четырнадцать «транспортов», то есть четырнадцать колонн военнопленных, и что все они были расстреляны в Горне Добре Воде. За два месяца до конца войны!.. Тогда-то мне и вспомнился плакат Геббельса, расклеенный по городам и селам Верхней Силезии: «Все в этой войне допустимо, недопустима только наша капитуляция!»

Мы дожидались отставших, среди которых мне запомнился один фольксштурмовец — высокий, сутулый, обросший седой щетиной, он подошел к привалу едва ли не последним.

За плечами старика высился огромный и, судя по

всему, тяжелый ранец. Через переводчика я попросил показать содержимое ранца — ведь впереди были десятки километров пути. И что же я там увидел? Деревянные подставки, чтобы было легче снимать сапоги (хотя старик оказался в армейских ботинках с крагами). Затем какие-то деревянные щипцы, плечики для одежды, баночки, заполненные крохотными окурками сигарет... И все это он потащит в Россию?.. «Безусловно!» — ответил мне переводчик, когда мы отошли от него.

Добавлю, что мне тогда же пришлось реквизировать несколько пароконных подвод для отстающих, чтобы движение колонны не выбивалось из графика. И еще одно. На последнем привале меня разыскал старый немец и протянул часы в дешевеньком металлическом футляре. Я повертел в руках этот футляр и вернул его пленному немцу.

Вот так мы и шли в направлении на город Клотск по прямому, как стрела, шоссе, на обочинах которого были свалены горы пехотного оружия всех систем и всех оружейных заводов Европы. Оружие, которое, как мне тогда казалось, не станет нужным больше никому и никогда...

ОЛОНЕЦКИЙ ВЕДУН

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Он жив, олонецкий ведун.

1

Первому сборнику Николая Клюева «Сосен перезвон» (1912) было предпослано небольшое предисловие Валерия Брюсова. И хотя существует мнение, что Брюсов в этом предисловии ничего не сказал по существу, а все только «по поводу», однако, на мой взгляд, именно брюсовская оценка Клюева выдержала испытание временем. К 1911 году сближение Клюева с русским символизмом достигло высшей точки. Об этом сближении свидетельствует и Сергей Есенин, который многим позднее грубовато, но верно по существу заметил, что Клюев, пришибленный блоковским «голландским» романтизмом, так и не сумел его преодолеть.

Другой признанный метр русского символизма Валерий Брюсов взялся написать вступительную статью к стихам малоизвестного тогда крестьянского поэта, поскольку он уловил в этих стихах главное: внутреннюю творческую свободу, непреднамеренность, как бы сейчас мы сказали, спонтанность его стихов. Брюсов нашел превосходную метафору творчества Клюева.

Можно посчитать чудом инженерной и архитектурной мысли многие западноевропейские парки, и в первую очередь Версальский, писал он, но «прекрасен и дикий лес, разросшийся, как попало, по полянам, по склонам, по оврагам. Ничего в нем не предусмотрено, не предрешено заранее, на каждом шагу неожиданности — то причудливый пень, то давно повалившийся, обросший мхом ствол, то случайная луговина,— но в нем есть сила и прелесть свободной жизни... Поэзия Н. Клюева похожа на этот дикий, свободный лес, не знающий никаких «планов», никаких «правил».

Далее, размышляя о взаимоотношениях поэта с чи-

тающей публикой, Брюсов подчеркнул, что поэзию Клюева «нужно принимать... в целом такой, какова она есть, какой создалась она в душе поэта столь же непроизвольно, как слагаются формы облаков под бурным ветром поднебесья».

Правда, далеко не всегда читатели и особенно критики следовали этому совету. Но даже в самые тяжелые для поэзии Клюева времена признавалась его исключительная изощренность в выборе изобразительных средств.

Сила и прелесть свободной жизни стиха, которая восхитила Брюсова, давалась Клюеву не просто. Чтобы достичь этой силы, этой красоты и одновременно этой лирико-психологической глубины, Клюев прибегал к условности, иносказанию, усиливал момент неожиданности в построении словоряда и стихотворения в целом, момент смыслового «разрыва» между строчками, широко используя библейские, старокнижные, народно-поэтические символы и ассоциации. Он безусловно верил, что душа познания мира таится в опыте мира, а мир познается в опыте души. Конкретно-историческая ситуация определила формирование именно таких его взглядов, всего его творчества как художника «порубежной» эпохи. Причем бóльшая и в художественном отношении значительнейшая часть его творческого наследия приходится на дореволюционный период.

Безусловно, что Клюев жил и творил в исключительно сложных условиях и выражал, по словам М. Горького, не только мистическое сознание, но и мистическую «власть земли» над душами русского крестьянства. Но безусловно и другое, что среда, в которой шло духовное и нравственно-эпическое формирование Николая Клюева, была в своем роде исключительной — среда раскольников, бунтарей, самосожженцев, приверженцев старотеческих заветов, странников, «бегунов», искателей земли праведной, обетованной.

При всем том необходимо еще подчеркнуть, что население северных губерний, откуда был родом Н. Клюев, «со времен «господина Великого Новгорода» вело очень подвижнический образ жизни и отличалось более независимым характером, чем жители коренных московских областей...». Г. В. Плеханов делает паузу и добавляет: «Независимость характера сопровождалась более высокой культурой».

Последнее обстоятельство нельзя забывать, когда обращаешься к таким крупным явлениям отечественной культуры, как Николай Клюев. Личность самого Клюева была не менее противоречивой, сложной, потаенной, чем жизненная среда, взрастившая его, оказавшая на его облик огромное воздействие.

Появившись в Петербурге в десятые годы и довольно-таки скоро получив там известность, чему способствовал успех сборника «Сосен перезвон», Клюев поражал окружающих несоответствием своей манеры поведения, своих привычек, своей одежды, всего облика господствовавшим в то время вкусам и модам. В его степенстве, в его внутреннем достоинстве, в его одежде многие видели иное — лукавство, неискренность, желание привлечь к себе внимание публики.

«Удивительнее всего,— пишет В. Г. Базанов,— что Клюева и Есенина за их крестьянское платье окрестили «пряничными мужичками», отзываясь о них иронически, если не с пренебрежением, тогда как к поэтам-декадентам, юродствовавшим и выкидывавшим разные коленца, относились довольно снисходительно, прощали им разные «чудачества», писали о них даже с некоторым любованием».

Но дело в конце концов не в этом вызове установившимся вкусам, которые Клюев нарушал и которыми пренебрегал, может быть, достаточно демонстративно. Дело в той последовательности, верности именно своему образу жизни, своим правилам, своим привычкам, которые Клюев сохранял при любых обстоятельствах и в любых условиях. Не потому ли с первых же шагов на литературном поприще и до конца дней своих Клюев был окружен молвою, окружен всевозможными слухами, толками и перетолками, которые в конце концов сложились в легенду о лукавом «ладожском дьячке». И не эту ли легенду поэт попытался опровергнуть в одном из своих зрелых стихотворений?

Меня Распутиным назвали
В стихе, расстригой без вины
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны.

Что души печи и телеги
В моих полуденных зрачках
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах.

Что-то очень близкое к ритмике и образному строю Василия Сиротина, поэта, сочинившего песню «Улица, улица, ты, брат, пьяна...», человека не менее запутанной и странной судьбы, видится мне в этих строчках. Ведь на долю Николая Клюева также с юношеских лет выпал «казенный дом», хотя и совсем по другим причинам. Вот что по этому поводу пишет Клюев: «Впервые я сидел в остроге 18-ти годов от роду, безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой. Начальство почитало меня опасным и «тайным». Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня и в ножные кандалы. Плакал я, на цепи глядя. Через годы память о них сердце мое гложет».

В материалах к биографии Н. А. Клюева, собранных в первую очередь краеведом А. К. Грунтовым, установлено, что действительно 25 января 1906 года Клюев был заключен в вытегорский острог, а затем переведен в петрозаводскую губернскую тюрьму, где он и пребывал до июля месяца того же, 1906 года. Заключен он был за принадлежность, как сказано в жандармском донесении, к «преступной организации, присвоившей себе наименование Всероссийского крестьянского союза», а также за распространение печатных «приговоров», то есть прокламаций, и за то, что на одном из сходов, обращаясь к крестьянам, он говорил: «Начальство ваше — кровопийцы, добра вам не желают и ничем вам не помогают, а только вас разоряют».

Согласно заключению уездного исправника, Клюев был признан «человеком крайне вредным в крестьянском обществе», а посему арестован и препровожден в острог.

Таким образом, архивные документы подтверждают участие молодого Клюева в революции 1905—1906 годов и подтверждают не только его «хождение в народ», распространение листовок и прокламаций революционного содержания, но и его тесную связь с активистами Бюро содействия Крестьянскому союзу.

Эти факты в биографии молодого Клюева важны хотя бы потому, что Клюев, выросший на русском Севере, где были живы поучения мятежного протопопа Аввакума, «Поморские ответы» старообрядца Андрея Денисова и многие другие произведения «отреченной» литературы, где дух раскола и сектантства, по словам В. И. Ленина, был проявлением «политического про-

теста под религиозной оболочкой», сумел подняться на новую, более высокую ступень социально-общественного самосознания, сумел уловить в ближайшем окружении и выразить тот политический протест, о котором говорил Ленин. Еще бабка Фекла, нянюшка и пестунья, певала над его зыбкой отнюдь не колыбельные песни: «Уж как девять ран умалилися, а десятая словно вар кипит». Запомнились Клюеву и частые посещения местного жандарма, гостя глумливого, куражливого. Этот жандарм кричал матери, принадлежавшей к старинному старообрядческому роду: «Вот ты где у меня сидишь! Раскольники и цареубийцы!»

И не такой уж случайной оказалась дружба молодого, умного, необыкновенно начитанного вытегорского крестьянина с членами Бюро содействия Крестьянскому союзу, а главным образом с петербургской семьей Добролюбовых — старшим братом Александром, известным поэтом-символистом, его сестрами — Марией, Еленой, Ириной... От Марии, например, Клюев получал прокламации; Елене он посвятил стихотворение «Ты все келейнее и строже...». Следует сразу же заметить, что, как и другие представители русской дворянской интеллигенции, сестры Добролюбовы в свое увлечение революцией вносили элемент жертвенности, а в отношение к народу — сострадания и преклонения перед великим страдальцем. Подобные религиозно-нравственные искания среди петербургской молодежи, безусловно, усилились в период реакции, когда, по выражению А. Блока, в России жилось «трудно, холодно, мерзко». Клюев, вступивший в переписку с Блоком в 1907 году, в новых письмах все яснее выражал надежду на то, что, может быть, и его адресату — мастеру, поэту — откроется «тайна преклонения не одной Красоте, которая с сердцем изо льда, но и Страданию».

Таким образом, преклонение перед страданием, перед самопожертвованием во имя других, которое и раньше было свойственно Клюеву, теперь стало определять пафос его творчества. Образ интеллигентной девушки, ушедшей в революцию, в народ, раскрывается во многих стихах, причем раскрывается на фоне массовых казней и расстрелов, звона кандалов и скрипа тюремных дверей, которые воцарились в России после поражения революции. Этот образ — трепетный, кристально чистый, неуловимый.

Ты все келейнее и строже,
Непостижимее на взгляд...
О, кто же, милостивый боже,
В твоей печали виноват?

И косы пепельные глаже,
Чем раньше, стягиваешь ты,
Глухая мать сидит за пряжей —
На поминальные холсты.

Она нездешнее постигла,
Как ты, молитвенно строга...
Блуждают солнечные иглы
По колесу от очага.

Зимы предчувствием объяты,
Рыдают сосны на бору;
Опять глухие казематы
Тебе приснятся ввечеру.

Лишь станут сумерки синее,
Туман окутает реку,—
Отец, с веревкою на шее,
Придет и сядет к камельку.

Жених с простреленною грудью,
Сестра, погибшая в бою,—
Все по вечериему безлюдью
Сойдутся в хижину твою.

А Смерть останется за дверью,
Как ночь, загадочно темна.
И до рассвета суеверью
Ты будешь слепо предана.

И не поверишь яви зрячей,
Когда торжественно в ночи
Тебе — за боль, за подвиг плача —
Вручатся вечности ключи.

Стихотворение это передает тягостную атмосферу того времени и страстную жажду молодежи правильно понять и разрешить проблему «интеллигенция и народ», которую мучительно обдумывал и Александр Блок, но в какой-то момент свернувшей в дебри сектантства, «скрытничества», предавшейся молчаливому отчаянию, уверовавшей в то, что только «подвиг плача» искупит их вину перед народом, позволит постигнуть «нездешнее». В среде, близкой Клюеву по Петербургу, эти настроения получили название «голгофского христианства или голгофского сознания». Голгофа начинается там, где начинается «за других» — гласила од-

на из первых заповедей этого нравственно-религиозного течения, которым в какой-то период был целиком захвачен и Николай Клюев. Вот почему, по одному весьма справедливому замечанию, понятие «сестра» в его интерпретации теперь приобретает обобщенное социально-религиозное значение: «сестра» и «брат» по борьбе и революционному кружку — это одновременно «сестры» и «братья» в религиозном смысле.

Жажда подвига во имя «братьев» и «сестер» именно в такой двойной интерпретации — вот что составляет внутреннее содержание многих стихотворений поэта, и в частности стихотворения «Любви начало было летом...», навеянного духовной близостью к одной из сестер Добролюбовых. Не без впечатлений, оставивших след в душе Николая Клюева во время его пребывания в тюрьмах, написаны и другие стихи этого периода. В них идея страдания «за земляков по крови и по духу», как идея душевного озарения, оказывается необычайно сильной.

Я надену черную рубаху
И вослед за мутным фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрёму паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,

Луговин поёмные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась —
Не вовремя косынька
На две расплелась!

По всему очевидно, что в поэзии Клюева постоянно слышатся отзвуки крамольных, кандальных, тюремных песен, имеющих многовековую традицию, восходящую к песням разбойничьим, холопским, разинским. Действительно, стихи Клюева продолжают эту традицию, но и порывают с ними по настроению, в котором нет стихийного протеста, а есть смирение и тоска несправедливо осужденного на казнь, есть безмолвная, беспре-

дельная, можно сказать, скорбно-приветная любовь к родной земле, родному краю.

Я молился бы лику заката,
Темной роще, туману, ручьям,
Да тяжелая дверь каземата
Не пускает к родимым полям —

Наглядеться на бора опушку,
Листопадом, смолой подышать,
Постучаться в лесную избушку,
Где за пряжею старится мать...

Безусловно, лирический герой именно таких стихотворений, в которых он проходит по миру «с молчаливо-ласковым лицом», в большей степени выражает умонастроения Н. Клюева, чем, предположим, его более ранние стихи, вроде «Где вы, порывы кипучие...». Ведь именно в эти годы Клюев вновь, как и в отрочестве, отправился в странствия по монастырям, по скрытням, по раскольничьим скитам:

С той поры я перепутьями
Невидимкою блуждал,
Под валежником и прутьями
Вместе с ветром ночевал.

Этот период жизни поэта мало освещен в специальной литературе, полон таинственных рассказов самого Клюева то о поездке в Иран, Индию и даже Восточный Китай, то о посещении Льва Толстого в Ясной Поляне. Достоверно известно, пожалуй, только о пребывании Клюева в Данковском уезде Рязанской губернии у хлыстов — так официальная церковь называла христоверческие общины. Там Клюев был Давидом, то есть писал духовные стихи, оттуда он и вынес свои «Братские песни». Высшим творческим взлетом Клюева, погруженного в нравственно-религиозные искания, мятущегося, странствующего по монастырям, следует признать стихотворение «Осенюсь могильною иконкой...», написанное в 1912 году. Однако и в новых стихах поэт не забывает братьев и сестер, заключенных в царские казематы по политическим мотивам, не забывает жертв массовых казней и посвящает одному из них «песню»:

Осенюсь могильною иконкой,
Накормлю малиновок кутьей
И с клюкой, с дорожною котомкой
Закачусь в туман вечеровой.



На распутьях дальнего скитанья,
Как пчела медвяную росу,
Соберу певучие сказанья
И тебе, родимый, принесу.

В глубине народной незабытым
Ты живешь, кровавый и святой...
Опаленным, сгибнувшим, убитым,
Всем покой за дверью гробовой.

Итак, можно воочию увидеть, что на «распутьях дальнего скитанья» Клюев оставался верен самому себе: он пел братство по крови и по духу, он был необычайно чуток к народной речи (что стоит хотя бы неожиданное словцо «закачусь»!), к певучим сказаньям старины. Это — с одной стороны. А с другой — для царского правительства он пребывал по-прежнему опасным и «тайным». Репрессии не замедлили последовать: «крайне вредного человека» поспешили заключить в данковский острог, а затем — в Харьковскую каторжную тюрьму. Потому-то многим позднее, в двадцатые годы, Клюев с горечью признавался, что мало хорошего он знал в жизни: деревня, приезд в город — и тюрьма...

2

Даже человек, который хорошо знает русский Север, очутившись в лесной чащобе, вряд ли сможет сразу одолеть ощущение какой-то древней тайны, древней волшбы, исходящей от этих замшелых стволов, еловых лап, зарослей папоротника, скрывающих промоины черной воды, в которых плавают такие же черные коряги. Кажется, вот-вот и ты увидишь:

У лесового нос — лукошко,
Волосья — поросли ракит...
Кошель с янтарною морошкой
Луна забрезжить норовит.

Всю творческую жизнь Николай Клюев был верен «лесному обету», но верен не белоствольным есенинским березам, а сумрачным, обонежским, потаенным елям.

О, ели, родимые ели,—
Раздумий и ран колыбели,
Пир брачный и памятник мой...

Дремучий еловый и сосновый сыр-бор клюевской поэзии поражает хитросплетениями ассоциаций, метафор, образов-символов, которые возникают как бы мгно-

венно и свидетельствуют, насколько неисчерпаемо воображение поэта, обширны его познания в области национальной мифологии и поэтических речений русского крестьянства. В клюевском лесу все реально и призрачно, все омыто волнами золотистого света и покрыто густой тьмой. Здесь воистину «на неведомых дорожках следы невиданных зверей», здесь можно встретить пень, похожий на лесового, ветхую часовенку, забытый скит, а самое главное и самое непременное — избу-пятистенку с коньком на крыше, резными ставнями, высоким крыльцом, избу, в которой вещая Пряха прядет нить человеческой бусы, или судьбы. Вот по этим-то дремучим чащобам, по этим золотистым — «нестеровским» — перелескам поэт-ведун, поэт-странник проходит с ясным взором; здесь он ищет душевное обновление, обретает новую веру в жизнь.

Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая, лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потемки дупел, синь живая!

Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам березы седовласой.
. . . . . .

Как сладко брагою лучей
На вашей вечере упиться,
Прозрев, что веткою в ручей
Душа родимая глядится!

Интересно отметить, что клюевская интонация, в которой слышится раскрепощенность, незлобивость, может быть, покаянность, интонация, особенно понятная в «век железный», оказалась столь «заразительной», что у многих поэтов сельского мира, и в первую очередь у Есенина, ее можно различить. Повторяю: не сходство отдельных строк и строф, не ритмическая близость, а интонация, самый строй речи, а следовательно — и строй души:

Глядя на кольца лычных прясел,
Я говорю с самим собой:
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,

Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.

Правда, почти одновременно с мотивами «скрытничества», «странничества», которые характерны опять-таки не только для Клюева и Есенина, но и для других поэтов сельского мира, именно в поэзии Клюева начинают развиваться прямо противоположные мотивы — мотивы «избяного рая». Этот «избяной», этот «запечный рай» как бы отстранен от «листопадной страннической дали», от лесных трущоб и дебрей с их духами и поверьями, которые напоминают о глубокой старине.

Я пришел к тебе убогий,
Из отшельничьих пустынь,
От родимого порога
Пилигрима не отринь.

Новые умонастроения Клюева в какой-то степени отражали и более широкий аспект его нравственно-философских взглядов. Не случайно он открывался в письме Есенину от 6 августа 1915 года: «...У нас на Севере — воля, озера гагарьи, ельники скитами украшены... О, как я люблю свою родину и ненавижу америку, в чем бы она ни проявлялась». Из сказанного очевидно, что в понимание олонецкой родины, северной избяной Руси Клюев вкладывал прежде всего чувство простора и воли. С другой стороны, с пришествием в лесные чащи, в озерные края всевозможных «америк» и «железных Варягов» эти просторы и эта древняя воля исчезнут: их заменит «каменная скука», стесненность, скученность больших городов. При этом, рассматривая проблему «цивилизация и природный мир» в стихах Николая Клюева, я бы не хотел упрощать ее. Скорее, наоборот. Мне хотелось бы сослаться на интересную мысль, высказанную А. И. Михайловым именно в связи с творчеством Н. Клюева.

«Реальный конфликт между природой и неумелым использованием современной техники,— пишет исследователь,— заставляет по-новому подойти к проблемам «природа — цивилизация», «деревня — город»; и в стихах о нечутком к красоте и к душе природы горожанине, который в «хвойный ладан дохнул папиросой и плевком незабудку обжег», мы теперь склонны увидеть не столько проповедь неприкосновенности патриархальной глухомани, сколько напоминание о хрупкости живого мира...»

В этом высказывании дан современный, именно экологический аспект проблемы, с которой нам придется встречаться и у Сергея Есенина и у других поэтов так называемого новокрестьянского направления.

Возвращаясь же к клюевскому «избяному раю», я напомню строки С. Есенина, который сказал: «Ты сердце выпеснил избе...» Действительно, Клюев своими «Избяными песнями» возвестил целую эпоху в развитии русской поэзии новейшего времени — эпоху любовно-пристального, возвышенного отношения ко всему родному — родному крову, дому, избе. Примечательно, что все это стало для него «училищем красоты», то есть главным признаком эстетического совершенства и эстетического освоения деревенской жизни. Клюев исходил из тысячелетней традиции русского народа, из глубокой языческой древности, когда «коньки» на крыше являлись вначале оберегами от лесных чудовищ и духов, а потом стали средством украшения жилища. Вот почему самоё избу — сруб, крышу, деревянные украшения, равно как и весь интерьер — цветные половики, лавки, полати, русскую печь с точеными печурками и теплым запечьем — Клюев не просто реалистически изобразил, но и возвел в высшую степень красоты и гармонии:

Беседная изба — подобие вселенной:
В ней шолом — небеса, полати — Млечный Путь.

Созданный им «избяной космос» эстетически открыл то, что прежде имело эстетически закрытый характер: я имею в виду традиционное описание жилища русского крестьянина как убогого, грязного, смрадного... Следом за Клюевым пошли другие поэты — С. Клычков, П. Орешин, А. Ширяевец, А. Ганин, но именно в творчестве Клюева впервые в отечественной литературе деревенский дом, конкретно — изба стала не только символом красоты, но и символом душевного здоровья, цельности человека.

От кудрявых стружек пахнет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тёпел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудянкой выпестрен конек.

(«Рождество избы»)

Этот «избяной космос» с годами трансформировался и явился уже в роли своеобразной философемы в творчестве поэтов послереволюционной эпохи. Предпочтительно эстетическое отношение к «избяному космосу», какое было у Клюева, сменилось нравственно-философским пониманием его. Деревенский дом стал средоточием ценностей личностного бытия человека, его вторым «я», его «магнитным полем». И этот магнит неизменно притягивает к себе человека в том самом мире, который, «как за бортом вода, ревет» (А. Твардовский).

Искусство слова,— по Клюеву,— это постижение, точнее, воспроизведение загадочного, неведомого, нездешнего.

Мы любим только то, чему названья нет,
Что, как полунамек, загадочностью мучит...

Он полагал, что поэт должен «тайной дохнуть на ресницы», чтобы приоткрыть красу «бездонной Руси». Конечно, необходимо расшифровать эту «тайну», иначе говоря, перевести в план логических понятий то, что поэт и не пытался выразить иначе. И тогда окажется, что стремление Н. Клюева представить повседневную деревенскую жизнь как часть вселенского бытия имело глубокие эстетические корни и обоснования.

Автор «Избяных песен» исходил из положения, что пришествие на Русь «железного Варяга» неизбежно, что во время этого пришествия произойдет «расколдовывание» природного человеческого мира, его рационализация, его демифологизация. Но поскольку именно поэзия хранит «седых веков наследство», то она и должна противостоять этому процессу «расколдовывания» мира, она должна заменить верования, которые постепенно стали утрачивать духовное и нравственное содержание, своими верованиями и ценностями. Ведь поэзия — это таинство, а красота — это Сфинкс. И только истинная душа, поэтическая душа может посмеяться «над правдой слепого рассудка». Судя по всему, Клюев страшился господства разума в поэзии, ибо разум обесценивает извечные духовные ценности, грозит поэзии отрывом от животворных, природных, а еще вернее, пантеистических источников.

От мереж осетровых и кетовых
Всплески рифм и стихов ворожба.

При том обостренном чувстве опасности, которая как будто грозит красоте — Сфинксу со стороны «железного Варяга», Клюева не покидало и другое — почти пророческое — чувство. Он полагал, что умозрительность, рассудочность, рационализм, а еще точнее, «каменная скука», свойственная XX веку, непременно вызовут к жизни свою противоположность — искусство, в котором все возрастающую роль будет играть «старорусская» эстетика, иначе сказать, «почва», «основа», «матерь-земля». Подобную диалектику безусловно учитывал в своем творчестве Н. Клюев, когда, с одной стороны, он видел, что в мире, уже подвергшемся разложению и распаду, людей «все реже чаровала волшба», а с другой стороны, человек все определеннее начинает понимать, что «до чудесного материка не доедешь на слепых колесах». Лишь поэзия, и конкретно поэзия самого Клюева, способна в этом «каменном аду», в котором «все цепче тревоги, нестерпимее страх», сохранить душу живу, показать человеку «чудесный материк».

Многих исследователей новокрестьянской поэзии остро волнует вопрос так называемой идеализации деревенского быта в творчестве художников этого направления. Действительно ли поэты, издавшие первые сборники стихов в сравнительно короткий срок — с 1911 по 1916 год,— показали идеализированный, сусально-романтический образ избяной России, или же в их опытах было нечто иное, было некое «зерно», которого не захотели, точнее, не смогли видеть критические «властители дум» в двадцатые — тридцатые годы. Так, например, о Клюеве по поводу стихотворения «В селе Красный Волок...» говорилось следующее: «Клюев с особым пафосом «развертывает» идиллические сусальные картины своей деревни, поэтизируя каждую мелочь в ней и превращая ее в совершенно особый мир».

По первому — и поверхностному — взгляду все так и есть: и идилличность, и поэтизация каждой мелочи, и ощущение особого замкнутого мирка.

В селе Красный Волок пригожий народ:
Лебедушки девки, а парни как мед,
В моленных рубахах, в беленых портах,
С малиновой речью на крепких губах;

Старухи в долгушках, а деды — стога,
Их россказни внукам милей пирога:
Вспушатся усищи, и киноварь слов
Выводит узоры пестрей теремов.

Однако А. И. Михайлов дает иное и, на мой взгляд, правильное толкование стихов подобного рода, равно как и мировоззренческих основ новокрестьянской поэзии. Дело в том, что Клюев и его собратья по перу, как уже говорилось, возвели в систему высших поэтических ценностей явления и предметы повседневного, извечного быта русского крестьянина, его крова, его труда и отдыха. «Это открытие эстетической стороны неприхотливого крестьянского быта в поэзии новокрестьянских поэтов,— пишет А. И. Михайлов,— и порождает определенную иллюзию его идеализации...»

Таким образом, суть вопроса заключается не в том, что новокрестьянские поэты сознательно «эстетизировали» детали крестьянского и близкого природе мира, о чем выше пишет А. И. Михайлов, а в том, что под их пером предметы быта и обихода, равно как и всякая деревенская природа, загорались особым эстетическим светом, становились яркими, красочными, метафоричными, совсем как на картинах родственных им художников — Малявина, Петрова-Водкина, Кустодиева. Способствовала этому и улегчающая душу, «освободительная» роль света, о чем писал А. Блок («...Разве не выход для писателя,— спрашивал А. Блок в статье «Краски и слова», — понимание зрительных впечатлений, умение смотреть? Действие света и цвета освободительно. Оно улегчает душу, рождает прекрасную мысль») и что в первую очередь было воспринято Сергеем Есениным, а за ним — многими другими, вплоть до Николая Рубцова.

Далее. Новокрестьянские поэты обновили понятия прекрасного и возвышенного, расширили и углубили критерий красоты за счет реалий современности. Для Клюева, например, какой-нибудь «рябой горшок» был многоцветней «златниц». И все-таки в глазах читающей России Клюев был только предтечей деревенской Руси, а ее подлинным певцом — Сергей Есенин. Почему же так случилось? Да потому, что глубинный смысл эстетических открытий, сделанных Клюевым, широкой публике стал понятен после того, как в печати появилось есенинское стихотворение «В хате».

По свидетельству современников, именно эти стихи произвели на них необычайно сильное впечатление: «...Ночью, уже ложась спать, я все восхищался этой «пугливой шумотой» и жалел, что не мог припомнить всего стихотворения,— пишет И. Н. Розанов. И заключает:— Такого изображения деревни я ни у кого из русских поэтов не встречал». Действительно, такого эстетически смелого изображения деревни, деревенского двора, деревенской избы, в которой даже «шелуха сырых яиц» кажется чем-то чудесным, чем-то таким, что и позволило взлететь в избе жар-птице красоты, осветить ее радужным сиянием, до Есенина, конечно, не было. Если не считать Николая Клюева, о котором здесь идет речь. Но уж так распределились их роли в истории новейшей русской поэзии, так сложилась судьба каждого из них, что Клюев оказался вторым не только за Кольцовым, но и за своим «меньшим братом», за Есениным, литературная судьба которого, как известно, также не была безоблачной и легкой.

3

Село Константиново, где в последний раз Есенин побывал в сентябре 1925 года, знакомо миллионам читателей не только по фотографиям, буклетам, книгам. И вряд ли найдется десяток людей, которым довелось повидать родной дом Николая Клюева. Из современных поэтов, насколько мне известно, добрался до этого дома один Н. И. Тряпкин. А ведь в Обонежье в летнее время ежегодно приходят экскурсионные и туристические теплоходы и до реки Андомы не так-то далеко...

Еще издали, с дороги, которая бежит верхом, посреди зеленой луговины нельзя не заметить одинокий заброшенный дом. Почему нельзя не заметить?.. По интуиции?.. Не знаю... Только такое чувство, что ты должен смотреть на него во все глаза. В том, что одинокий дом заброшен, нет злого умысла: просто до последнего времени здесь размещался сельмаг, о чем гласит проржавевшая вывеска. Но для магазина построили другое помещение, и вот дом стоит бесхозным, заросшим крапивой и ждет своей неведомой участи. Срублен он был в конце прошлого века плотниками Осипа Ивановича Великанова, занимавшегося в здешних краях лесным делом, и отдан в аренду акцизному управле-

нию. Сруб крепкий, на камнях-валунах, бревна рублены «в чашку», пазы проконопачены мхом, значит, на века. Короче говоря, «изба — колесница, колеса — углы...». Огляди еще раз этот дом и тогда, может быть, заметишь на бревнах зарубки: «По стене, как зернь, пройдут зарубки: сукресть, лапки, крапица, рядки...» Это названия зарубок, которые помогали плотникам считать венцы... А все-таки жаль, что дом, судя по всему, уже обречен: не сегодня-завтра раскатят его на дрова или просто сожгут, как сожгли по небрежению Алфимовскую церковь — «вторые Кижи». Правда, дом этот не назовешь памятником северного зодчества, каковым, к примеру, являются двухэтажные хоромы того же Великанова. Но ведь именно здесь, в этом доме, прошли детские и отроческие годы Николая Алексеевича Клюева. Почему же в наше время должны его раскатить на дрова? Стоял сто лет, может, простоит не меньше?.. Впрочем, довольно риторических вопросов. Не лучше ли обратиться к истории семьи, жившей в нем.

Семья Клюевых была приписана к крестьянскому сословью деревни Мокеевская Кирилловского уезда Новгородской губернии — ныне Кирилловский район Вологодской области. Однако крестьянством ни сам Николай Клюев, ни его отец, ни даже дед никогда не занимались. В свойственной поэту сказово-замысловатой манере повествует он про своего деда Тимофея, человека необыкновенного и по образу жизни и по ремеслу.

«Говаривал мне мой покойный тятенька,— пишет Н. Клюев в автобиографической заметке,— что его отец, мой дед, медвежьей пляской сыт был. Водил он медведей до ярмаркам, на сопели играл, а косматый умник под сопель шином ходил. Подручным деду Федор Журавель — мужик, почитай, саженью ростом: тот в барабан бил и журавля представлял. Ярмарки в Белозерске, в Кирилловской стороне до двухсот целковых деду в год приносили.

Разорение и смерть дедова от указа пришла. Вышел указ: медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить. Долго еще висела шкура кормильца на стене в дедовской повалушке, пока время не стерло ее в прах.

Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью, аукает в сердце моем, в моих снах и созвучиях...».

Отец поэта, Алексей Тимофеевич, волею обстоятельств избрал иной, можно сказать, прямо противоположный жизненный путь. Ни о каком скоморошестве или хождении по ярмаркам здесь и речи быть не могло. Алексей Тимофеевич долго пребывал на службе в царской армии, дослужился до чина фельдфебеля, вернулся на родину и взял в жены девушку из старообрядческой семьи. Где-то в девяностых годах прошлого века, может быть, после рождения старшего сына Николая, родившегося в 1884 году 10 декабря[1], он переходит на службу в акцизное управление, получает место, жалование в 28 рублей и квартиру при Желвачевской казенной винной лавке. Вплоть до 1915 года, когда торговля вином была ликвидирована, он живет здесь, в Желвачеве. После ликвидации лавки Алексей Тимофеевич переезжает в соседнюю деревню Рубцово, в которой и снимает избу у крестьянина Ф. Е. Овчинникова. Скончался А. Т. Клюев в 1918 году,— сын его, Николай, раздав и распродав домашний скарб, уехал обратно в Вытегру. Кстати, в официальных документах Алексей Тимофеевич именуется не иначе, как «сиделец казенной лавки», хотя, по существу, он был, если перевести все в план современных понятий, продавцом сельмага.

В письме к Николаю Клюеву от июля — августа 1916 года Сергей Есенин пишет о встрече с Алексеем Тимофеевичем: «Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прямо-таки передать тебе не могу. Вот натура — разве не богаче всех наших книг и прений?.. Есть в нем, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает... Нравится мне он».

Словесный портрет, созданный Есениным, соответствует фотографии Алексея Тимофеевича, которая хранится в Вытегорском краеведческом музее. На семейной фотографии — плотный, кряжистый, степенный человек, с короткой седой стрижкой и пристальным взглядом. От всего его облика веет какой-то земной силой, уверенностью в себе, непререкаемостью. Ничего характерно деревенского в нем нет. Не было этого и в убранстве квартиры Клюевых. По воспоминаниям современников, арендовали они сенокосные угодия да вскапывали приусадебный огород. Здесь опять-таки нельзя не обра-

[1]Об этом свидетельствует запись в метрической книге Коштугской церкви, Вытегорского уезда. Впервые опубликована А. К Грунтовым.

титься к Сергею Есенину, социальная среда которого была удивительно родственна и близка. Ведь и отец Есенина, Александр Никитич, с тринадцати лет работал в мясной лавке в Москве и вернулся на родину, в Константиново, только после революции. «Он не знал крестьянской работы»,— пишет об отце А. А. Есенина. В одном из разговоров с И. Н. Розановым Есенин коротко заметил, что, «как и Клюев, он происходит не из рядового крестьянства, *что так хотелось бы его критикам* (выделено мною.— *В. Д.*),— а из верхнего, умудренного книжностью слоя». И расхождения между отцом, Есениным, и сыном Есениным имели тот же характер, что расхождения между Клюевым-отцом и Клюевым-сыном. Об этих расхождениях, в частности, упоминает А. К. Грунтов, записавший рассказы жителей деревни Желвачево.

Итак, никаких богатейших деревянных хором, в которых прошло детство Клюева, в природе не существует. Для этого и надо было собственными глазами увидеть бывший желвачевский сельмаг, где в помещении квартиры Клюевых долгое время располагался склад, увидеть старую избу в Рубцове, подслеповатый домишко в Вытегре, доставшийся Клюевым от деда Тимофея и проданный в 1911 году. Все это надо было увидеть хотя бы для того, чтобы правильно оценить всю горечь и всю обиду, которыми пронизано одно любопытнейшее письмо Н. А. Клюева. Письмо относится к 1913 году. Адресатом была семья писателя С. А. Гарина, у которого в то время уже известный поэт останавливался во время своих наездов в Москву.

«В Москве,— писал Клюев,— я постараюсь не быть дольше, так как ни московская жизнь, ни люди не соответствуют складу души моей, тишиной, безвестьем живущей... Не хотелось бы мне говорить о том, «что по чужим углам горек белый хлеб, брага хмельная неразлымчива», так как чаще всего разговор об этом становится похожим на жалобу, но все-таки тяжко мне, дорогой Сергей Александрович... Живу я в деревне о 8 дворах, имею старых-престарых отца и мать, любящих «весь Белый свет», то-то бы была радость, если бы на этом Белом свете был для них *свой угол*, и их Миколаюшко не скитался бы на чужой стороне, а жил бы в *своей* избе и на своей земле, но все это дорогое и бесконечно родимое сломали тюрьма да нужда».

Далее Клюев замечает, что господам «с безукоризненными проборами», которые пишут захлебывающиеся статьи «про Надсона и мужичков», конечно, неинтересно знать, что «у этого Надсона нет даже «своей избы» — т. е. того важного и жизненно необходимого, чем крепок и красен человек деревни».

Последние слова Клюева вновь раскрывают то особое социально-бытовое значение, которое имеет для деревенского жителя «*своя изба*». Проблема своей избы, своего дома, которым *украшена и крепка жизнь человека деревни*, эта проблема, на мой взгляд, остается животрепещущей и в наши дни.

Итак, в Петербурге и в Москве Н. А. Клюев бывал только наездами. Но и в северной деревушке Желвачево поэт никогда не жил постоянно. Он приезжал, останавливался у своих родителей и снова исчезал на долгое время.

Вместе с тем в памяти старожилов Клюев остался не в качестве рафинированного «под Надсона» поэта или некоего носителя «крестьянского духа», наряженного в черный бархатный кафтан, цветную рубаху и желтые сапоги. Именно в таком наряде выступали они вместе с Есениным в Обществе свободной эстетики в Москве, что и засвидетельствовала газета «Утро России». Есенин подобные выступления определял одним словом — «подкладывать», значит потрафлять чужим мнениям и вкусам. Но только не в Желвачеве. Ибо, опять-таки по выражению Есенина, олонецкий знахарь слишком хорошо знал северную деревню, чтобы опускаться до роли «ряженого». Там, в городах, он ощущал на себе барски-интеллигентный, напыщенный и презрительный взгляд «поэтов-книжников», ощущал салтычихин и аракчеевский дух, который «не выветрился даже среди лучших из так называемого русского общества». Здесь, в Желвачеве, он был среди своих, деревенских.

Из позднейших воспоминаний Г. М. Ступина, жителя Вытегры, известно, что в разговорной речи Николай Клюев был заботлив, собеседника не перебивал, в друзья не набивался, не заискивал ни перед кем, держался с достоинством. Правда, проявлялась в нем временами непомерная гордыня, но он смирял ее подчеркнутой смиренностью и ласковостью. Клюев отнюдь не был прост в том смысле, в каком толкует простоту известная пословица. Он был, как говорится, себе на уме, был

от рождения талантлив и умен. Его замкнутость сказывалась в том, что любой разговор о женитьбе или о девушках как предмете женитьбы он стремился перевести в другое русло. Его витиеватая, медлительная, переплетенная бесконечной буквой «о» речь имела, по словам Н. М. Гариной, свой, «клюевский» оттенок и отпечаток. Эта речь не была стилизацией под «матушку-деревню», нет, такова была натура Клюева, его сущность, проявляющаяся в слове... В Желвачеве поэт любил бродить по живописным берегам Андомы, бродить в полном одиночестве. И никто не видел его за обычной крестьянской работой, но многие видели, как с сенокосных угодий приносил он целебные травы, сушил их, охотно давал советы другим, кому приспела нужда этими травами пользоваться.

О деревенской жизни в зимний период Н. Клюев рассказывает в письме, адресованном В. Я. Брюсову (ноябрь 1911 года):

«...И в настоящий вечерний час, когда на всем заревая желтизна, за обледеневшей околицей треплется ветром мшистая прадедовская рябина, сидя за пряжей, вздыхает глухая мать,— жалуется богу на то, что дочь ее «ушла в Питер», и захожий старик-ночлежник строгим голосом в который раз заводит разговор о том, как его сына Осипа «в городе Крамштате в двенадцать ружей стрелили», я простираюсь духом по лицу матери-России, от зырянских зимовий — до железных грохочущих городов».

Примечательно здесь все: и умонастроение молодого поэта-вытегора, и его мечтательность, его желание охватить мыслию огромные пространства России, и скупо написанный старик-ночлежник, и глухая мать за пряжей. Вскоре под пером Клюева этот последний образ станет образом эпической мощи, войдет в десятки стихотворений и возвысится, в конце концов, до символа самой России:

То вещая пряха — Россия
Прядет бубенцы и метель.

(Отзвук этого образа можно услышать в стихотворении Ярослава Смелякова «Пряха», написанном, кстати, тем же размером:

Прядет она ветер и зори,
И мирные дни и войну,

И волны свободного моря,
И радиостанций волну.
. . . . . .
Суровы глаза голубые,
Сияние молний в избе
И ветры огромной России
Скорбят и ликуют в трубе.)

Как уже говорилось, мать поэта, Парасковья Дмитриевна, происходила из старинной пионежской семьи, в которой были самосожженцы, как дядя поэта, «скрытники», жители выговских общин. Парасковья Дмитриевна отличалась чуткостью ко всякой рукодельной красоте — к пряже, ткачеству, вышивке и тем самым являла собою пример натуры одаренной, поэтической, противоположной Алексею Тимофеевичу, в характере которого было «много от дел мирских». А ведь Парасковья Дмитриевна понимала еще толк и в народной песне, знала множество причетов, плачей, духовных стихов, была ценительницей этих традиционных северорусских жанров. Вот почему глубоко прав Николай Клюев, который позднее говорил: «Грамоте, песенному складу и всякой словесной мудрости обязан своей покойной матери, память которой чту слезно, даже до смерти». Смерть матери, последовавшая 19 ноября 1913 года, произвела неизгладимое впечатление на поэта и еще острее, чем прежде, поставила перед ним «вечные» вопросы: что есть жизнь и смерть, что есть судьба, что есть человек в этом мире?.. «Избяные песни», в которых Клюев запечатлел свои нравственно-философские раздумья, по праву вошли в историю русской поэзии начала XX века и стали своеобразным синонимом творчества Н. Клюева. Этот цикл посвящен матери, Парасковье Дмитриевне, и с особой остротой дает возможность почувствовать духовную и эстетическую связь Клюева с народно-бытовым, народно-песенным укладом русского Севера, с неисчерпаемой сокровищницей «старорусской» эстетики, которую всему миру представили Ирина Федосова и Мария Кривополенова. Олонецкие плачи или «вопли» в исполнении Ирины Федосовой потрясали самую разнообразную аудиторию. Об этом рассказывает Максим Горький в очерке «На выставке»: «Раздается вопль и заставляет публику своей тоскливой, *невыразимо простой* и в то же время неуловимой ухом мелодией, рыдающей, полной страшной боли,— вздрогнуть. Слышен какой-то общий вздох».

Можно себе представить, насколько сильным было воздействие олонецких плачей на такую эмоциональную, эстетически восприимчивую натуру, как Николай Клюев. И не потому ли неосознанно поэт использовал многие приемы, свойственные погребальным плачам. И в первую очередь прямое обращение к умершей:

Сядь, моя жадобная, в сарафане сборчатом,
В камчатом накоснике, за послушный лен,—
Постучится солнышко под окошком створчатым,
Шлет-де вестку матушка с тутошных сторон...

Но, как бы перебивая самого себя, как бы очнувшись от странного наваждения, поэт заключает:

В домовище матушка... Пасмурной округою
Водит мглу незрячую поводырка-жуть,
И в рогожном кузове, словно поп за ругою,
В сторону то-светную солнце правит путь.

Именно в «Избяных песнях» с особенной художественной силой проявились многие мотивы «избяного рая», что было и художественно и психологически оправдано: ведь казалось, что в этом «избяном раю» царит незыблемый покой, уют и всякое довольство.

Шесток для кота — что амбар для попа,
К нему не заглохнет кошачья тропа:
Зола как перина — лежи, почивай,—
Приснятся снетки, просяной каравай.

У матери-печи одно на уме:
Теплынь уберечь да всхрапнуть в полутьме;
Недаром в глухой, свечеревшей избе,
Как парусу в вёдро, дремотно тебе.

Создается впечатление, что другого более яркого примера идеализации деревенского образа жизни трудно найти. Однако это лишь прием, свойственный народным вопленицам и плачеям: «Ты прощайся, милая-млада, со своим да домом благодатным, со своей да новой горницей, со своей да светлой светлицей».

И не только родные и близкие — вся природа, все предметы домашнего обихода мифологизированы в народных плачах; они одушевлены, они испытывают чувство глубочайшей скорби и тоски, совсем как у Н. Клюева:

Осиротела печь, заплаканный горшок
С таганом шепчется, что умерла хозяйка...

Между тем под покровом дремотности, незыблемости, благополучия кроется нечто тревожное, приносящее горести и боль... Это — «прожорливый рок». И это уже мифопоэтическое сознание поэта начала XX века, но не древней вопленицы или замечательной исполнительницы народных плачей, каковой была Ирина Федосова. Вот почему Клюев, воссоздав, казалось бы, неизменную обстановку деревенского дома, где «все по-старому», с внезапной болью, с тоской восклицает:

...О боже —
Завтра год, как родная в гробу!

4

Центральной фигурой «избяного космоса» Клюева, безусловно, является фигура Пряхи,— не вообще знаменитой клюевской «старухи», о которой справедливо пишет ряд исследователей, а именно Пряхи. И Пряхи как воплощения матери-земли, матери-хозяйки, наконец, как самой судьбы. Этот символический образ в творчестве Клюева восходит к реальному прототипу — такова его мать-рукодельница, мастерица, пряха. С другой стороны, в этой фигуре ощущается историческая глубина, ибо с языческих времен Пряха — символ продолжения рода, домашнего благополучия, очага и одновременно символ фатума, рока. Древнегреческие мойры, древнеримские парки, которые родились от Зевса и Фемиды, которые выступают то в обличии юных дев, то безобразных старух, не единственные мифы в мировом искусстве. Наряду с древнеславянской Берегиней, о которой еще пойдет речь, наряду с девой Обидой, упоминаемой в «Слове о полку Игореве», существовали и девы Судьбы. О них пишет А. Блок в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906).

С этой блоковской статьей, вероятно, был знаком Н. Клюев, который в следующем, 1907 году вступил с Блоком в переписку. Однако девы Судьбы как своеобразная народно-поэтическая трансформация Пряхи могли быть известны Клюеву и из других источников — из травников, сборников заговоров и заклинаний. А ведь именно эти заговоры и заклинания, по мнению Блока,

представляют не только исторический, психологический, но и эстетический интерес для современного человека.

Таким образом, идея «прожорливого рока», как магмы, клокочущей под коркой бытия, начала вырисовываться в творчестве Клюева одновременно с появлением образа Пряхи. Потому-то и тревожен сумрак «избяного рая», потому-то глухая мать за пряжей и полна тягостных дум. Образ Пряхи, в котором слились воедино деревенская тематика, старообрядческое «двуверие», символика «седой старины»,— этот образ поэт пронес сквозь годы своего сложного и противоречивого творческого пути.

Следует особо отметить, что предания и мифы, связанные с образом Пряхи, находятся в чрезвычайно тесном контакте с такими моделями мира, как, например, гигантское «вечное древо». Образ этого «мирового древа» является наиболее архаической и распространенной моделью космоса. Заслуживает также внимания,— отмечает Е. М. Мелетинский,— что с мировым древом часто совмещается антропоморфное божество. И в качестве примера он приводит египетскую богиню Нут, изображаемую в виде дерева.

В древнеславянской мифологии такой богиней-орантой будет Берегиня, как вполне обоснованно назвал ее Б. А. Рыбаков. Под этим именем на онежских, вологодских, архангелогородских полотенцах и прялках был запечатлен культ матери-природы. Конечно, в публицистике Н. Клюева можно найти образ «вечного древа», или, по Клюеву, «дерева Свободы», о котором пишет В. Г. Базанов. Однако художественный мир поэта организуется все-таки образом-символом Пряхи, ибо в этом образе ясно проступает главная идея женского, материнского начала мира, то есть идея, необычайно близкая всей художественно-эстетической концепции Клюева. Женское начало противостоит не только «прожорливому року», но и «железу», то есть дисгармонии, хаосу, разладу, господствующим в «каменном аду».

Символика Клюева, конечно, была подвержена видоизменениям, о чем может свидетельствовать ряд примеров. Когда Клюев хочет обозначить красоту «в ее чистом виде», дать аксиологическую оценку явления или предмета, он непременно обращается к образу Пря-

хи. За такими обращениями необходимо видеть более серьезный повод, чем, предположим, стремление приблизить свою речь к требованиям «старорусской» эстетики. Нет, суть вопроса заключается в том, что подобно Александру Блоку автор «Избяных песен» считал, что только в древнейших преданиях, легендах, заклинаниях, которые сохраняются в народной памяти, живет то единство прекрасного и должного, прекрасного и полезного, которое оказалось разъятым, расчлененным, разорванным в современном искусстве. Вот почему Николай Клюев черпал вдохновение из разнообразных источников, обогащал свои стихи богатствами «седой древности». Поэт справедливо полагал, что тоска народа по «матери Красоте» живет в мифах, преданиях, сказах, песнях, заговорах, живет она и в плотницком мастерстве, в ткачестве, в резьбе по дереву.

В двух программных стихотворениях «Плач дитяти...» и «Я — древо, а сердце — дупло...», помеченных 1916-м или началом 1917 года, красота девственной природы противостоит городской цивилизации, в которой «пляшет сталь и рыкает чугун». Пряха в последнем из названных стихотворений претерпевает разительную метаморфозу: она перестает быть животворящим началом в мире, где страдания «мать — сырой земли» усугубляются натиском «железа». Пряха в этом чудовищном мире становится столь же чудовищным символом смерти: она несет отмщение «железу».

То смерть за кромешным станком
Вдевает в усновище пряжу,
Чтоб выткать карающий гром —
На грешные спины поклажу.

Однако весна наступавшей социальной революции, весна всенародных торжеств и празднеств в сознании поэта опять-таки ассоциируется с древнеславянским образом Пряхи. И эта Пряха впервые в истории рода человеческого сметает противоречия между «живым» и «железным», между крестьянским и городским. Пряха скручивает в единую нить естественно-природное и людское:

Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.

И далее — совсем определенно и четко — сказано о

торжестве единства между городом и деревней, которое с таким воодушевлением славил поэт:

Товарищ ярый, мой брат орлиный,
Вперяйся в пламя и пламя пей!..
Потемки шахт, дымок овина
Отпились в перстень яснее дней!

Однако путь Н. Клюева в революцию не был прямым и неуклонным. Временами в нем возникал страх, что революционный вал сметет все прежние ценности «избяной России». В 1917 году не случайно он писал, обращаясь к Родине:

Есть слухи, что сердце твое раскололось,
Что умерли прялка и скрипки лаптей.

Клюев предостерегал своего «меньшого брата» от утраты человеческого, живого, интимного, всего того, что ассоциировалось в его сознании с берестяным, запечным раем:

Так не забудь запечный рай,
Где хорошо любить и плакать!

Конечно, Клюев не мог не понимать, что его олонецкая прялка, изукрашенная замысловатой резьбой, перестанет быть символом нового времени, что вместо заглавной фигуры Пряхи в мир вступает «некто Другой, кто правит огнем и мужицкой душой». А понимая все это и будучи не в силах преодолеть «застывший рисунок старообрядчества», Клюев воспринял революцию прежде всего с позиции «старорусской» эстетики: он хотел передать всем другим свое «ощущение революции как величайшей красоты, мировой мистерии». Вот почему и Есенин для него не только периода «Радуницы», но и «Инонии», «Голубени», «Сельского часослова» был «великим народным поэтом».

5

Творчество художников новокрестьянского направления не следует рассматривать в отрыве от общих процессов, захвативших поэзию начала XX века, а именно: возрастания элементов условности и «далековатой» ассоциативности, философичности (интеллектуализма), мифологизации, мелодизма, ослабления понятийно-логических связей внутри стиха. Заметно очень изменилось и

лирическое переживание, которое становится все более напряженным, «текучим» и — диалектика души! — прерывистым, которое уже нельзя считать «буквальным» человеческим переживанием, а только его экстрактом, сгустком, вытяжкой. Творчество поэтов новокрестьянского направления формировалось в русле этих все более очевидных изменений и этого нарастания новых качеств, свойственных стиховой культуре XX века. Вот почему поэты стояли не просто «с веком наравне», но в какой-то степени предвосхищали многие открытия стиховой культуры будущего, способствовали открытию новых горизонтов и возможностей русского стиха. Очевидно, что их доля в таком новаторстве была неравной, как неравен был их талант. Но если прибегнуть к аналогии, чтобы прояснить свою мысль, то можно сказать, что Николай Клюев был для Есенина тем же, чем явился Батюшков для Пушкина: Батюшков наметил то, что гениально осуществил Пушкин. Итак, напряженность лирического переживания, его текучесть, его прерывистость — все это вызвало к жизни формы, отличные от прежних, но иногда внешне и подобные прежним. Здесь поэзия пошла двумя путями: один из них — Маяковского, Белого, Цветаевой, Асеева, Заболоцкого, Мартынова... Основой сближения слов в стихе стало не столько их значение, сколько их фонетическое звучание, их интонация. Подобная, как пишет Н. Асеев, «перекличка» звуков из слова в слово, из строки в строку являлась «арматурой» стиха, хотя и приводила к ослаблению понятийно-логического строя. Стих в этом случае обретал динамизм, экспрессию, подвижность, поскольку освобождался от «наперед заданных» размеров. В качестве примера можно привести звукоряд Маяковского-кубиста: «Дорога — рог ада — пьяны грузовозов храпы». Или Марины Цветаевой: «Спорый бог, скорый бог, шпоры — в бок — бог». Другой путь, по которому пошла русская поэзия XX века,— это напряженность, яркость метафорического языка. Конечно, подобное разделение весьма условно, но ведь говорила же Марина Цветаева, что она пишет стихи исключительно по слуху, что изобразительность для нее ничто. В свою очередь Есенин, развивая теорию «органического» образа или, как в другом месте он сказал, теорию «поэтических впечатлений», утверждал, что поэт должен укрупнять, «удваивать» свои зрительные и чувственные образы, а стало быть, свой метафорический

язык. Поэт должен искать «образы двойного зрения», «двойного чувствования», каковыми и являются следующие есенинские строки: «Головы моей желтый лист». Исток такого многократно усиленного зрения и чувствования — в устной поэзии, в тех же календарных речениях, вроде «Марья зажги снега». Их так любил Есенин. Однако Есенин ни в коем случае не отвергал и звукопись во имя зрительности. Напротив, он всячески подчеркивал значение мелодизма, значение смыслового тире, когда слово не вписывается в строку, но «невидимо присутствует». И хотя в период острейших разногласий с Клюевым Есенин отрицал новаторский характер клюевской поэтики, в более спокойные периоды их взаимоотношений Есенин признавал, что Клюев талантливо золотит слово, прекрасно чувствует все его смысловые и звуковые оттенки, все значения.

Насколько проблемы новой поэтики носили глобальный характер, показывает ряд высказываний Поля Валери, который как поэт получил известность еще в конце прошлого века. Поль Валери считал интонационно-волевое усилие художника главным, в чем предвосхищал поэтов круга Маяковского и Цветаевой. Вместе с тем «демон» поэзии может быть покорен, если поэтическое переживание будет очищено от случайных человеческих эмоций и будет усилено, возведено «в квадрат», Ибо,— писал Поль Валери,— поэтическое переживание обладает одним исключительным свойством: оно «стремится *внушить* (курсив мой.— *В. Д.*) нам чувство некой иллюзии некоего мира — такого *мира*, в котором события, образы, существа и предметы, оставаясь подобными тем, какими заполнен мир повседневности, связаны в то же время непостижимой внутренней связью со всей сферой нашей чувствительности... С этой точки зрения мир поэзии обнаруживает глубокое сходство с состоянием сна или по крайней мере с тем состоянием, какое подчас возникает во сне».

Сходство поэтического переживания со сновидением, с состоянием сна, безусловно, признавали и русские поэты начала XX века, хотя, в противоположность Полю Валери, с его поисками «чистой» энергии интеллекта, они отрицали ведущую роль разума. Например, особое возбужденно-приподнятое состояние, которое обычно именуется вдохновением, Николай Клюев называл «дивным сном», «пророческой сказкой», «свирельной мечтой», а то

и «слепым безумием». При всем том сила внушения в стихах Клюева была необычайно велика. В ряде стихотворений он и не скрывал иллюзорности *созданного им* мира. Напротив, он подчеркивал эту иллюзорность, ибо в *созданном им мире* существует свое время и пространство, в нем предметы, вещи, реалии находятся в иной взаимосвязи, совсем как в настоящем сне. Временной и пространственный сдвиг особенно заметен в тех случаях, когда поэт как бы «волхвует», как бы «шаманит». И тогда вместо приземистого, немолодого, лысоватого сельского интеллигента он мгновенно превращается в «повесу-парня».

В настоящем разуверясь,
Стародавних полон сил,
Распахнул я лихо ферязь,
Шапку-соболь заломил.

Превращение поэта в Лихача-Кудрявича тем неожиданнее, что начало стихотворения ничем его не предвещает. Оно реалистично, буднично: «Прохожу ночной деревней, *в темных избах нет огней...*» А дальше все как в «дивном сне»: конь храпит дробовным зверем, скрипит ставня, появляется душа-девица... Но сладкие тени прошлого исчезают мгновенно, едва проходит этот странный «морок».

Обращаясь к историческому прошлому Руси, создавая виды северной природы, рисуя деревенские пейзажи, Клюев стремится к тому, чтобы ощущение призрачности, иллюзорности не пропадало. Напротив, он всячески усиливает *это ощущение* и достигает поразительного эффекта:

Еще бесчувственна земля,
Но проплывают тучи мимо.
И, тонким ладаном куря,
Проходит пажитью Незримый.

Его одежды, чуть шурша,
Неуловимы бренным слухом,
Как одуванчика душа,
В лазури тающая пухом.

Правда, для того чтобы достичь этой силы внушения, Клюев должен был видеть и ощущать окружающий мир не в «общем и целом», а в частностях, в деталях. И поэт обладал этим удивительным внутренним зрением, осязанием, слухом. Он даже перегружал стихи всевозможны-

ми «яствами», как перегружен был ими стол древнерусского боярина. Но все-таки Клюев презрел правила «хорошего» поэтического тона, он ввел в широкий поэтический обиход то, что даже Блоку казалось неэстетичным.

Разницу во взглядах на природу прекрасного Клюев отметил в одном из первых писем к Александру Блоку, хотя речь в данном случае шла не о Блоке, а о тех «книжных поэтах», для которых неоспоримо красивым было то, что, на его взгляд, было безобразно. И наоборот! Неэстетизм Клюева, о котором здесь упоминалось, был, конечно же, мнимым, поскольку поэт как коренной житель северной деревни превосходно знал «тайную» жизнь лесных обитателей, повадки и привычки всяческого зверья. Клюев цепко и памятливо примечал такое, что не могли увидеть другие, что невозможно было им увидеть. Например, ранней весной в окружающих лесах

Осинник гулче, ельник глуше,
Снега туманней и скудней.
В пару берлог разъели уши
У медвежат ватаги вшей.

В стихах «книжного поэта», например символиста Н. Минского или акмеиста Г. Иванова, невозможно представить себе таких медвежат *с такими* ушами. Для них эта подробность была бы некрасива, непоэтична. Не случайно даже Блок с неодобрением упоминал «клюевские» образы в сборнике стихов Дмитрия Семеновского — «телега — ржаная краюха», «мохнатый сноп», «парная весна», подчеркнув, что поэтическая страсть здесь обескрылена, что все это «мохнатое» и «парное» превращается во что-то «чувственное, похотливенькое, мужичье».

Что ж, в стихах поэтов новокрестьянского направления были свои крайности, был и вызов общепризнанному мнению. С таким внутренним вызовом Клюев мог сказать о себе: «Я, как невод, что лежит на мели, изъеден солью». Есенин в стихотворении «Мой путь» (1925) сказал еще резче: «И вот в стихах моих забила в салонный вылощенный сброд мочой рязанская кобыла».

Вообще поэты этого направления не боялись казаться «некрасивыми», «грубыми», «мужицкими», если дело доходило до основ их эстетического отношения к миру.

В полемике с «декаденщиной третьего разряда» Николай Клюев, предвосхищая излюбленный образ Есенина, писал: «И нечем голые колешки березкам в изморозь прикрыть». Такой же нажим на «бытовое», «мужицкое» имеется и в строках: «Курятник туч сквозит пометом голубиным...» Этот помет не лучше навоза как «медового раствора», который откровенно огорчил А. Блока. Крайности, как уже говорилось, были и у Клюева. Но как единое целое его поэзия покоилась на прочном многовековом фундаменте эстетических воззрений северорусского крестьянства, в формировании которых немалую роль сыграли повседневные трудовые навыки. Ведь не случайно вершиной красоты и святости для него, как и для любого крестьянина, был обычный, ржаной, испеченный в избе хлеб:

В ржаном золотистом сиянье
Коврига лежит на столе.

Вот эта крестьянская трудовая, демократическая «закваска» Клюева и распознается, угадывается буквально во всем. Взять, например, его стихи о природе. Родную северную природу поэт застигает как бы внезапно, как бы врасплох, и это позволяет ему показать, что в повседневном природном мире всегда происходит что-то существенное, важное. Оказывается, что природа, «переняв» трудовые навыки крестьянина, как бы «вторит» его заботам и трудам. Знаменитое озеро Лаче «ткет валы размашисто и хлябко». Солнце по утрам «стелет блесткие рогожи», а в ночном небе к звездной кузнице «для ковки плетется облачный обоз». Итак, природа — вечная труженица, работница в своем лесном дому. В этих трудах и заботах ее легче всего подсмотреть на Севере, ибо там все распахнуто.

За Онежскими порогами
Есть края, где избы — горы,
Где щетина труб с острогами
Застит росные просторы...

Нередко у Клюева встречаются забавные сценки из деревенской жизни, как бы разыгранные среди болот, лесов и пашен. Вот одна из них. Незадачливый март-портняжка «из плата выкроил зипун», но просчитался, наделал множество дыр, неправильно скроил полы, но зато «на воротник нашил галун». В другом стихотворении старичку-лесовичку справляются именины:

Пышней кулича муравейник,
А пень — как с наливкой бутыль.
В чаще именинник-затейник
Стоит, опершись на костыль.
Он в синем, как тучка, кафтанце,
Бородка — очесок клочок;
О лете — сынке голодранце
Тоскует лесной старичок...

Таким образом, лирика природы Н. Клюева вполне объективно свидетельствует о демократической основе его творчества, о его верном ощущении деревенского быта и жизни. Правда, в тех случаях, когда Клюев увлекался полемикой с «книжными поэтами», он мог допускать, и действительно допускал, погрешности против здравого смысла, шел на досадные преувеличения и срывы и во имя «природной первозданности бытия» отрицал самое искусство: «Олений гусак сладкозвучнее Глинки, стерляжья молока Верлена нежней...» С годами в таких полемически заостренных стихотворениях поэт стал повторяться, терять чувство меры, писать строки, которые смахивали на самопародию:

Вновь молюсь я, как ране,
Тишине избяной
И к шестку, и к лохани
Припадаю щекой.

В этих и других стихах из цикла «Спас» действительно становится «трудно дышать», как в чулане, наглухо закрытом, едва освещенном «в кромешный потемочный час». А если и дальше перефразировать поэта, то следовало бы сказать, что и «бездонная Русь» все реже глядела с его упорных страниц и все меньше была той дорогой красоты, которой надлежало идти поэту.

6

В годы революции и гражданской войны Николай Клюев жил в Вытегре; в доме Лопаревых он снимал две комнаты. Правда, и здесь, в родном северном городке, обывательские толки не оставляли его в покое. Рассказывали, например, что жилье Клюева было полно чудес, что солоница у него из дворца царя Федора, скатерть из хором бояр Годуновых, а стены сплошь увешаны иконами старинного строгановского письма. Толки толками, но жил Клюев в Вытегре трудно. «Письма он мне пишет

отчаянные,— говорил Есенин Р. В. Иванову-Разумнику.— Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду». Несмотря на давнюю распрю, Есенин попытался ему помочь и посылками и деньгами... Но как бы ни были тяжелы жизненные обстоятельства и бытовые условия, «вытегорский подвижник» вел воистину подвижнический образ жизни. Именно в Вытегре он развил кипучую литературную и общественную деятельность. Его публицистика, его статьи и стихи появляются едва ли не в каждом номере уездной газеты. Его выступления в Домпросвете, где местная интеллигенция устраивала концерты, никогда не проходили незамеченными. Напротив, спустя много лет о них вспоминалось с удивительной отчетливостью и зримостью. На одном из таких концертов Николай Клюев прочитал «Красную песню» — одно из лучших своих стихотворений, написанных в годы революции. Эти стихи были встречены аудиторией с интересом и подъемом. Но когда замелькали слова «народ-Святогор», «ризы Серафима», «Китеж-град», в зале стали переговариваться, шуметь. Редкие хлопки еще больше смутили устроителей концерта. И вот тогда-то произошло преображение Николая Клюева в излюбленный им образ Пряхи.

«Клюев,— пишет поэт Василий Соколов,— присел побабьи на скамейку, протянул руку к воображаемой прялке, а правую — к веретену и, поплевывая на пальцы, начал прясть. Мы увидели уже не его, а пряху, слышали жужжанье веретена. Минут восемь длилась сказка, и не исчезало видение, навеянное словами и перевоплощением поэта. Спасая ладонями уши от грома аплодисментов, он мелкими шажками убежал за кулисы».

Едва ли не бóльший успех среди слушателей снискал Николай Клюев, когда он выступал на митингах и массовках. По решению Вытегорского укома РКП(б) и Совдепа призывников, уходивших на борьбу с Юденичем, Клюев напутствовал поэтическим словом. Это было верное решение, поскольку поэт был вдохновенным пропагандистом и агитатором... Весной 1919 года, когда Юденич совсем близко подошел к красному Питеру и к Олонецкой губернии, Клюев мог о себе сказать такими словами: «...коммунист я, красный человек, запальщик, знаменщик, пулеметные очи».

А вот отрывок из его выступления, которое, по свидетельству местной газеты, произвело сильнейшее впечат-

ление на красногвардейцев, готовившихся к отправке на фронт: «Черные гады, обломки разбитых режимов, не торопитесь с ликованием победы. Только вчера еще вы ждали падения Пудожа, но красным порывом наши части отбросили врага на сотню верст с лишним, и вы на минуту прикусили язык. Сегодня вам снятся Юденич на белом коне в Петрограде, молебствия, крестные ходы и пение царского гимна... Ошиблись вчера, ошибетесь и завтра. Не видеть белым бандам красной советской столицы. Только через наши трупы войдут они в нее».

Впечатление от этих многолюдных митингов отразилось и в одном из стихотворений поэта:

Огонь и розы на знаменах,
На ружьях маковый багрец,
В красноармейских эшелонах
Не счесть пылающих сердец!

...Годом раньше у Н. Клюева возник замысел стихотворного цикла, посвященного В. И. Ленину. Тогда же большинство стихов было написано и опубликовано в двухтомнике «Песнеслов». Этот двухтомник вышел в Петрограде в 1919 году и поныне является наиболее полным прижизненным изданием сочинений поэта. Ближайший друг Клюева Николай Ильич Архипов передал через Н. К. Крупскую специально переплетенную часть «Песнеслова». На обложке значилось: «Н. Клюев. Ленин. Стихи». Любопытна и надпись, сделанная поэтом на обороте титульного листа: «Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги-матери, из русского рая красный словесный гостинец посылаю я — Николай Клюев, а посол мой сопостник и сомысленник Николай Архипов. Декабря тысяча девятьсот двадцать первого года».

Такова история этой небольшой книжицы, находящейся ныне в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле.

Замечание Сергея Есенина, что Клюев «поет Россию по книжным летописям», в общем-то точно передает атмосферу и формальные особенности этого цикла. Как и у других поэтов новокрестьянского направления, у Клюева больше, чем у других, например, у того же Петра Орешина, этот строй впитал рукописную и старопечатную культуру, характерными образцами которой будут сочинения протопопа Аввакума и «Поморские ответы» Андрея

Денисова. Не обошлось дело и без газетных речений того времени, без публицистики революционных лет. Все эти культурно-исторические слои можно найти в ленинском цикле. По жанру — это крестьянский сказ о Ленине, и весь пафос этого сказа выражен в строке: «Мужицкая ныне земля». С ленинским Декретом о земле связывали многие миллионы трудящихся крестьян надежды на будущее. Ленинский Декрет о земле был для этих масс главнейшим документом эпохи, равным в чем-то священным, праведным книгам. Как известно, предания о праведной книге и праведной земле широко бытовали среди русского крестьянства, в частности среди раскольников и сибирских переселенцев. В одном случае это было легендарное Беловодье, в другом — царство пресвитера Иоанна, в третьем — златокипящая Мангазея где-то за великим Пермским камнем, за Уралом. Эти предания и легенды, как воплощение заветных мечтаний труженика-земледельца, вызывали живейший интерес у русских поэтов — от Некрасова с его знаменитым Тарбагатаем до Твардовского с его не менее знаменитой страной Муравией.

Николай Клюев был одним из первых поэтов революционной эпохи, который сказал, что вековая мужицкая мечта становится явью. Он смело использовал монументальность летописей, мощь апокрифических сказаний, загадочность «отреченных книг», чтобы создать столь же величавый, монументальный и загадочный образ — образ Владимира Ильича Ленина.

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Всю многовековую историю России, изнемогавшей от иноземного ига, боровшейся с этим игом, призывает поэт в свидетели, чтобы благословить того, кто *первым* подумал о трудящемся мужике, о крестьянине, о жителе сельского мира. Клюев ждет своих последователей. И здесь, в этом же стихотворном цикле, он упоминает сборник «Ленин», который, по его твердому убеждению, станет истоком новой «стихотворной Волги».

Стихи Клюева интересны тем, что они основываются на главном переживании поэта — на чувстве вселенского размаха ленинских дел и предначертаний. Чтобы выразить это чувство, Клюеву было важно сблизить «несбли-

жаемое», сочетать несочетаемое: Сфинкса — с полярной тундрой, песчаные дюны — с жилищами эскимосов. И утвердить мысль, что во всем этом неоглядном мире «есть Москва — золотая башка», есть Ленин. Подобная всемирность, свойственная и прежним стихам Клюева, в новом стихотворном цикле нашла свое убедительное выражение. Революционная новь врывается во все уголки земли, как везде можно услышать «песни матросов про «последний, решительный бой...»

7

Конец двадцатых и начало тридцатых годов — это особая и, к сожалению, драматическая страница в биографии Н. А. Клюева. Поэт делает неимоверные усилия, чтобы творчески «перестроиться» (популярное тогда словцо), написать о новой, колхозной действительности, избежать привычных библеизмов, старокнижных речений, вообще архаичной лексики. Однако нельзя сказать, чтобы подобные попытки увенчались полным успехом. Это понимал и сам поэт. В его обращении к молодому современнику есть такие слова:

Недоуменно не кори,
Что мало радио-зари
В моих стихах — бетона, гаек...

Нет, себе в заслугу Клюев ставил другое — его мечта о мужицком «хлебном рае» воплощается в действительность, в реальность, и в качестве свидетеля этих разительных перемен он может призвать свой старый деревенский дом:

Порадуйся, мой старый дом,
И улыбнись скрипучей ставней,
Мы заживем теперь исправней...

Что же, в этом своем мироощущении поэт был прав. И он был прав вне всякого сомнения, понимая историческую роль своей поэзии. Еще в 1924 году Василий Князев в книге «Ржаные апостолы» провозгласил: «*Клюев умер. И никогда уже не воскреснет:* не может воскреснуть — *нечем* жить!»

Слова эти сильно задели Николая Клюева, ибо столь безоговорочное отрицание не только прошлого, настоящего, но и его поэтического будущего не приходилось

слышать. Он пишет ряд стихотворений, посвященных творческому труду, и в первую очередь «По жизни радуйтесь со мной...». Размышляя о существе творчества, о двадцати годах «словостроения», отданных литературе, Клюев приходит к выводу, что всегда вдохновляемый любовью к природе, деревне, «вещей пряхе — России»,

Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!

Вместо заключения

«На станции Тайга на вокзале осенью 1937 года умер от разрыва сердца большой и сложный русский поэт Николай Клюев. Его чемодан с рукописями исчез, и пока никто на свете не знает, что написал Клюев в последние годы своей путаной и таинственной жизни» (В. Чивилихин).

ДАР СЕВЕРА

АЛЕКСАНДР ЯШИН

Давно известно: хочешь узнать поэта — побывай на его родине. И не только побывай, но и посмотри на все его глазами, глазами художника. И тогда увидишь, что даже диковатый, лесистый, неприветливый Север — край удивительный и неповторимый по жизненному укладу, по красоте природы, по ее изобилию. Там если заря — то на полнеба, если дождь — то на неделю, если лес — то до края земли. Кинешь слово с лесной кручи — покатится эхо по лесам и перелескам, сгаснет далеко в заречной стороне. Простор! Зацветут льны — и сине-сине станет за околицей, словно выцветшее июльское небо отдало земле свою голубизну. А ударят морозы — и в обжигающем январском тумане будет медленно спускаться в лес огромное, немыслимо багряное солнце.

Не потому ли народная кисть взяла у северной природы краски — яркие, тона — контрастные, мотивы — замысловатые. Полотенца в деревенских избах расшиты такими петухами, что, кажется, вот-вот загорланят певуны с деревянных полочек и зеркал, где по обычаю висят холщовые убрусы — чудо женского рукоделья. В тех же деревенских пятистенках можно часами разглядывать кружевные подзоры, дорожки, накидушки, уголки, узнавая в них то заснеженный ельник, то морозный узор на стекле. А если запоют рукодельницы под сухую россыпь коклюшек «старинушку» о том, как трава-мурава «на белой заре голубеется, по чистому полю расстилается», то самый изощренный эстетический вкус не могут не поразить эти луга, *голубеющие* на заре... Любят на Севере красочный узор, любят и складную побывальщину, и меткое, в рифму, слово. Сказка, песня, частушка — в труде ли, отдыхе ли — звучат между де-

лом, сопутствуя человеку от колыбели до гробовой доски.

Правда, жизнь меняется стремительно, и теперь на свадьбах, народных гуляньях, в сельском клубе редко-редко услышишь «старинушку». Разве что старики вспомнят молодость да запоют. А запоют — загрустят, потому что много обид и горечи пришлось хватить на своем веку, и песня, как ничто другое, напомнит забытое, поросшее быльем. И поют они песню не под хитрый перебор гармошки, а под «губную музыку» — запросто так.

...Ехали на подводах, шли пешком молодые парни и многодетные мужики на войну с германцем — первую империалистическую войну. И рвалось из-под сердца невеселое:

Неужели, неужель
Оденут серую шинель?
Неужели серую,
Оставлю долю бедную?

Ушел вместе с другими рекрутами на царскую службу и Яков Попов — мужик из деревни Блудново, что затерялась среди лесов возле Юг-реки. Ушел воевать — не вернулся, пропал где-то на войне. Осталась жена вдовой-солдаткой, одной растить детей, одной управляться с крестьянским хозяйством...

Так начиналось детство Александра Яшина (Попова) — талантливого и своеобразного советского поэта. Пришлось ему ходить за бороной, ездить в ночное, вставать до свету по «губину», как на Севере зовут рыжики, грузди и сыроежки. Были свои радости, были и свои беды. Только, может быть, тише становилось дыхание, когда вечерами в гулком овине у жарко потрескивающей печки начинал какой-нибудь дед северную сказку. А на следующий день, возвращаясь из школы, Александр мог слышать, как его товарищи накоротке сочиняли бойкие частушки. Мог сочинить такую частушку и он сам. Эта традиция жива кое-где в вологодских районах и поныне: нехитрую запевку там может сложить или переделать по-своему почти любой.

Позднее, когда будущий поэт учился в Никольском педагогическом техникуме и напечатал несколько стихотворений в газетах «Никольский коммунар» и «Ленинская смена», он сочинил бывальщину про Арсеню-батра-

ка, который «за осьминку табака робил год у кулака». Эта бывальщина была сочинена в духе народного райка; она понравилась и пожилым крестьянам и молодым парням. Односельчане просили почитать ее вслух, удивляясь, что о таком близком, общежитейском можно рассказывать «складно»: Арсеню-батрака знала вся лесная округа.

Одно из самых первых стихотворений А. Яшина, опубликованных в газете (1929), называется «Вечером в поле». В этом стихотворении очевидна установка молодого автора на сельскую новь и одновременно его деревенская непосредственность.

Кони быстро пролетели,
Новым триером звеня.
Эти кованые трели
Сильно радуют меня.

Сборник стихов Александра Яшина «Северянка», изданный Гослитиздатом в 1938 году, появился среди многих поэтических произведений, посвященных советской деревне тридцатых — начала сороковых годов. Но «Северянка» не затерялась среди них, хотя в то время уже получили широкую известность и «Страна Муравия» Твардовского, и песни Исаковского, и «Полдень» Прокофьева. Читатели и критики сразу же оценили богатый северный словарь сборника, вольный, с неожиданными переходами ритм, а главное, сказочное ощущение Севера, присущее этой первой творческой заявке студента Литературного института: Александр Яшин жил в ту пору в Москве и учился в Доме Герцена, как по традиции звали особняк Литературного института.

Многие северные сказки и побаски Александр Яшин обрабатывал в соответствии с литературными вкусами своего времени, обогащал собственным видением жизни. В его стихах обнаруживались не то чтобы экзотика, но акцент на колоритных особенностях языка северян. Влияние Ильи Сельвинского, старшего друга Яшина и руководителя творческого семинара в Литературном институте, здесь бесспорно. Сам Илья Сельвинский, как известно, отдал дань языковой экзотике, «сказовости», в «Уляляевщине».

В таком «сказовом» ключе написано, например, Яшиным шуточное стихотворение «Вологодское новогоднее». Надо заметить, в ряде северных говоров звонкий согласс-

ный звук «в» произносится как протяжное «у». Вот на этой особенности разговорной речи и построено яшинское стихотворение:

С новой запевкой на Новый год
Девка на лавке веревку вьет.
Косы у девки до полу, до пят,
В ковте булавки — головки горят,
Брошка на ковте, пуговки в ряд,
Цветики на ковте...
Добер наряд!

В стихотворении «Вологда» Александр Яшин обратился к «старинушке», старинному распеву, историческому сказанию. Стихотворение это интересно опять-таки северным колоритом, обилием слов с округлым вологодским «о». Поэт как бы перевоплотился или органически вжился в образ деревенской старухи, напутствовавшей соседа перед дальней дорогой. Подобная эпическая «хватка» Яшина в известной степени предопределяла его путь к поэмам и особенно к поэме «Алена Фомина», написанной в послевоенные годы. Кроме того, былинный речитатив позволял молодому поэту воссоздать облик провинциального северного городка, облик мастерицы-рукодельницы Овдотьюшки.

Стихотворение разбито на две части, причем во второй части меняется и ритмика, и интонация, и образ самого повествователя. По словам этого повествователя, теперь в Вологде все по-иному; там живет не старопрежняя Овдотьюшка, а Евдокия — мастер-педагог в облкружевсоюзе и плетет она не «косорядку», а «новую тематику» для самого Внешторга; здесь улавливается отдаленная перекличка со стихотворением Леонида Мартынова «Кружева». Стихи же Александра Яшина заканчиваются лукавой усмешкой, как бы «примиряющей» эти две части: «Вологда теперь разбогатела, вологжане, брат, взялись за дело, только окать не перестают».

Следует заметить, что не все фольклорные жанры приходились по душе Александру Яшину. Крайне редко он обращался, например, к замысловатым небылицам, которые были характерны для старого Севера и которые привлекали внимание в тридцатых годах таких прозаиков, как Степан Писахов, или таких поэтов, как Александр Прокофьев, Леонид Мартынов, Сергей Марков, а в наше время — Василия Белова, написавшего известные «Бухтины». В небылицах, нелепицах, частушечных «нескладухах» все привычные реалии и предметы, все

понятийные и логические связи переиначивались, «перевертывались», приобретали, таким образом, нелепо фантастический — в подтексте — иронический характер. Достаточно вспомнить хотя бы такую «нескладуху»: «Сапожонки нараспашку, на босу́ ногу́ пиджак, подпоясался лучиной, вместо тросточки — кушак». В стихотворении «Присказки» Яшин дал образец такой иронической нелепицы, удивляясь вместе со слушателями, как «складно врет в делах бывалый дед»: дед рассказывает о том, как шли по лесу лешаки, «опираясь на кушаки, вилами азямы повязав, ноги в руки, на ремень глаза, дальнюю дорогу на плечо...».

И все-таки Александр Яшин, поэт ясного реалистического мироощущения, охотнее всего писал на основе современных, самых распространенных на Севере фольклорных жанров: частушек, запевок, присказок, побывальщин. Его близость художественному творчеству жителей Вологодчины, воистину драгоценному дару Севера, проявлялась в стихах, рассказывающих о девушке-колхознице Олене, «запечнице» Авдотьюшке, лирической героине стихотворений «Шла я нынче заимкой...», «Мета», «Слова-то красивого...», вообще в стихах, рассказывающих о новой доле и новой судьбе женщины-труженицы Севера. Всем строем своих стихотворений поэт стремился показать, как в вологодском крае «земля ложилась на счастливый путь».

Праздничность — вот что, с другой стороны, роднило «Северянку» с народной живописью. Яркость красок, сочность языка были заметны во всем: как в выборе сюжетов, так и в отдельных деталях. Если в деревне строили избу для молодоженов, то непременно «с целой выставкой резьбы». Если по-над берегом реки проходил парень, то «сапоги скрипучие на нем, поясок малиновый, неношеный». Если выходила «играть заиньку» молодица, то, оправив «широченные воланы, золотую карусель», она плясала так, что топнет раз — цветы раскинет, топнет два — косынка с плеч!

Стоило поэту заговорить о родной деревне, о северной Юг-реке — и тем же сказочным изобилием веяло от его строк:

Диким хмелем завито крылечко,
В рощах зверь непуганый, грибы,
Хоть ведерком черпай рыбу в речке,
Хоть лопатой ягоды греби.

Поскольку именно в «Северянке» непосредственнее и яснее всего обнаруживается воздействие северной песенной стихии на лирику Яшина, я хочу остановиться на этих фольклорных традициях подробнее. Дело в том, что заслуженный успех последних книг поэта как бы отодвинул в тень его прочнейшие связи с северным фольклором. А ведь они, эти связи, были, они обновлялись поэтом, они заново осмысливались им, как и вообще заново осмысливалась им связь с родным краем, со всей Вологодчиной.

Следует учитывать и другое: в большую литературу Яшин вступал в пору важнейших социалистических преобразований деревенской жизни: он, как сказано в одной из статей, «тематически почти целиком подчинил себя новой деревне». Вот почему, опираясь на частушку, припевку, побывальщину, он прежде всего хотел передать новизну бытового уклада северян, новизну их мироощущения, их характера, стремился подчеркнуть отличие, а не сходство между людьми старой и новой деревни. Его грани между старым и новым, между нашим «вчера» и нашим «сегодня» резки и определенны, хотя и не всегда оправданы с точки зрения сложнейшего взаимовлияния и взаимодействия между этим «вчера» и этим «сегодня». В последние годы жизни Александр Яшин стал более осмотрителен в «черно-белой» раскладке жизненного материала, что опять-таки соответствовало и поискам самого Яшина, и поискам других поэтов, особенно молодых поэтов-северян.

Лирический облик Яшина невозможно представить себе без «Северянки»: основа этой книги была порождена действительностью тридцатых годов, служила целям и задачам ускоренного преобразования северной деревни на новый лад. Немалый успех в те годы выпал яшинскому стихотворению «Олена», сюжет которого незамысловат: всех краше и наряднее на деревенском празднике Оленка.

До земли свисает шаль,
Шелковые кисти.
Поглядишь — горит душа:
Очень девка хороша,
Статна, голосиста!

Некий приезжий «ученый из района», которому приглянулась девушка-плясунья, стал всенародно восхищаться ее нарядом, шалью с кистями, цветастым сара-

фаном: «Старый Север,— говорит,— интересный,— говорит,— пережиток». Однако бойкая девушка так «отрезала» этому «ученому из района», что он не нашелся что ответить. Возмутило Олену мнение ученого, что ее наряд — мамашин: «в старопрежнее-то время и на свадьбе мне бы в этаком наряде не гулять бы». Шаль с кистями и цветастый сарафан девушка приобрела на собственные трудодни: «И чему таких ученых только учат?!»

Для Яшина важна не эта шаль, не этот сарафан, ему важны новые черты характера Оленки — ее боевитость, гордость полноправного труженика на родной земле. Итак, в старой деревне, если следовать подтексту стихов — простая крестьянская девушка, вроде Оленки, конечно, чувствовала бы себя стеснительно в разговоре с незнакомым приезжим человеком, тем более «ученым». И не случайно «запечница» Авдотьюшка, чья молодость прошла без радости, чье горе не знало меры, с удивлением думает об этой молодой поросли:

Ничего им, нонешним, не в диво:
Платья носят — синий шелк с отливом,
Для любой — гармошка на растяг.

Полнота жизнеощущения, чувство независимости от «власти» родителей, наконец, насмешка над казенным языком иных заезжих «ученых из района» — все это отличает многие запевки, распространенные на Севере в тридцатых годах. Стихотворения Александра Яшина «Мета», «Сватовство» и более поздние — «Бабы», «Телеграмма», «Хмель» и другие — полны именно такого лукавого юмора.

...В августе сорок первого года на ближних подступах к Ленинграду — под деревней Ямсковицы — батальон морской пехоты принял бой. Из окопчиков бойцам виднелось поле поспевающей ржи. Было оно опалено огнем, изрыто снарядами, исполосовано гусеницами немецких танков. Надолго запомнился Яшину и этот бой — первое фронтовое крещение — и это поле.

Рожь лежит: не ветром укачало —
Танки с глиною смешали рожь.

И чем ожесточеннее разгорались бои, чем туже затягивалось кольцо блокады, тем чаще в стихах и мыслях возникал образ родной стороны:

Ах, родина, лесная сторона!
Как все в сто крат для сердца стало мило,—
Брусника в чащах,
Рек голубизна —
Война все чувства наши обострила.

Просторны тесом крытые дворы.
В холмистом поле широки загоны.
Как многолюдны свадьбы и пиры,
Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!
Моторы в сизых ельниках стучат.
Плывет над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок...

Осажденный город Ленина — там, во время обстрела дальнобойными немецкими орудиями, «шарахаются бронзовые люди, живой проходит, не оборотясь»,— Волжская военная флотилия, Черноморский флот — этапы большого пути, пройденные фронтовым журналистом и поэтом Александром Яшиным. В спешке, в тревогах, в боях работать приходилось много, и, конечно, далеко не все выдержало испытание временем. Однако лучшие стихи из военных сборников «Красная горка. Балтийские стихи», «На Балтике было», «Город гнева», «Земля богатырей» являются живым свидетельством великолепного мужества моряков Волжской военной флотилии и бойцов Сталинградского фронта, как того и хотел их автор.

Характерно, что в большом цикле «Земляки», написанном на фронте, песенно-поэтическая стихия, свойственная и раньше поэту, проявилась еще ярче. Богатая словесная инструментовка стиха, равноударная рифма, звуковые повторы — все эти примеры его стихотворной техники находятся в самом тесном родстве с северной песней. Ему, наверно, не раз приходилось слышать в родных местах припевку «Эх, ноженьки...». В стихотворении «Далекие походы» Яшин своеобразно использовал ее:

Желтые дороженьки,
Далекие походы.
Ноженьки вы, ноженьки,
Ботинки-скороходы!

Замечу, что в творчестве Яшина более поздних лет языковая стихия претерпела значительные перемены: он стал сдержаннее, осмотрительнее пользоваться местны-

ми речениями, стал избегать диалектизмов: прелесть «неслыханной простоты» с годами открывалась ему все больше.

...Далеко от деревни Блудново, под Тихвином, остановилось наступление немцев, остановился огненный вал войны. Там выжгли и вырубили леса шквальные минометные налеты, искромсали землю тяжелые фугасы, затянули окопы ржавые болотные воды. А здесь на первый взгляд все осталось по-прежнему, как и до памятного июня сорок первого года: мирно курились трубы деревенских изб, скрипели колодезные журавли, плыли по большакам разбитые районные полуторки. И в то же время все по-другому, все строже, все напряженнее; ведь

...по какой дороге слезы
Осенним утром не лились.
В какой избе, в каком колхозе
Армейской клятвой не клялись?

Война пришла и сюда — фронтовым приветом, печалью похоронок, неустанной, не знающей ни края, ни меры работой на сельских нивах. Матери, жены, сестры приняли на свои плечи тяжесть военных лет и заменили бойцов, ушедших на фронт. Даже тот, кто весь свой век прожил, «белый свет не застя», кто всю жизнь стоял в стороне от общественных дел и забот,— даже тот включился в общий труд. Именно так случилось с бобылкой Настасьей, одинокой, безродной, «женщиной безвредной». Поэт пишет, что «спустя полгода Настю похвалили даже власти», и мы охотно верим этому.

Но что Настя! Александра Яшина волновал трудовой подвиг русской женщины, его тянуло к созданию ярких современных характеров. После демобилизации в 1944 году — из-за тяжелой болезни — он едет в Блудново, в родной колхоз «Красный пахарь», и там, по мере сбора материалов, у него начинает вырисовываться образ Алены Фоминой — колхозного организатора, человека, понявшего, что в наши дни «люди хотят полета, размаха, души во всем».

Образ труженицы-крестьянки вообще занимал большое место в сюжетной поэзии Александра Яшина. Многие его довоенные стихотворения показывали, как менялась «доля русская, доля женская».

Встречи с земляками обогатили творчество поэта так-

же новыми и, в частности, «чисто» лирическими стихотворениями. Правда, в любовной лирике поэт иногда варьировал один и тот же мотив: охотник, зверолов, человек неразговорчивый, неловкий в поступках, движениях, таит в душе глубокую нежность, он зовет возлюбленную в лесные края, где чувствует себя свободнее, где ему легче сказать слово любви. Однако и эта любовная лирика имела, условно говоря, эпические черты, она восходила к некрасовской традиции величавой славянки, воссоздавала образ русской красавицы, как бы перевоплощающийся в образ Родины — России: «Ты и Россия — для меня одно. Любовь моя верна и нерушима». Стихотворение «Что-то есть в тебе очень хорошее...» передает именно такую красоту и стать в духе некрасовских стихов:

Что-то есть в тебе очень хорошее.
На цветной сарафан гляжу,
Словно в юности по некошеным,
По заречным лугам хожу.
. . . . . .
Очень свежие, очень милые
Губ приподнятые уголки.
Вологодскою веет силою
От большой без колец руки.

Под окошком проходишь — рослая...
По душе мне такая стать.
Поглядеть на тебя, светлокосая,
Как на родине побывать.

...В 1945 году Александр Яшин вернулся в Москву для работы над большой поэмой, условно названной им «После войны». Жил он в Переделкине, в бывшей бане, перестроенной под студенческое общежитие, в котором имелась отдельная комнатка с кухней и верандой. Вот эту-то комнатку поэт и занимал со своей семьей.

Во время работы над поэмой Яшин довольно часто встречался с А. А. Фадеевым, читая ему отдельные главы, обсуждая общий замысел своего произведения. Как позднее рассказывал сам поэт, поэма начиналась со следующих строк:

По дороженькам знакомым
Отчей стороны
Возвращался к женке, к дому
Инвалид войны.

Душевная перестройка бывших фронтовиков, перестройка неизбежная в мирных условиях, осложнялась

тем, что многие из них вернулись с войны инвалидами — такова была идея этой многоплановой и большой поэмы. «Фадеев почувствовал подлинность характера,— писал Яшин,— жизненность ситуаций поэмы». К сожалению, это произведение Яшину пришлось «перерабатывать» и «перекраивать» несколько раз, ибо когда Алексей Недогонов напечатал «Флаг над сельсоветом», то выяснилось, что поэма Яшина, особенно в первых главах, чем-то напоминает недогоновское произведение. Подобные сюжеты и композиционные совпадения, по воспоминаниям Яшина, определялись просто сходством жизненного материала. Он взял поэму из «Октября» и попытался на первый план вывести образ Алены Фоминой. «К сожалению,— писал поэт,— от этой дополнительной работы поэма моя не сокращалась, а все больше разбухала. Ясность и четкость первоначального замысла исчезли. Постепенно наслаивалась неумеренная лакировка и все прочее. Это требовалось по тому времени».

Попутно с работой над поэмой «После войны» (впоследствии названной «Аленой Фоминой») Яшин создал ряд стихотворений, таких, как «Хмель», «Первый год весна, как чудо...», «Сама победа...» и другие. Нетрудно заметить в них общую приподнято-восторженную окраску.

Однако чувство открытого ликования (психологически понятное, оправданное временем — окончанием великой войны) грозило подзатянуться в стихах поэта, равно как изображение празднеств и гуляний стало все больше «наслаиваться» на изображение северной деревни. Яшин невольно заблуждался, когда считал, что только лирическая мажорность способна передать его радость победы, что только маршеобразной строфой он может увековечить подвиг колхозного крестьянства в дни войны. Чем сильнее было его стремление как-то приглушить мысли о лишениях и бедствиях, перенесенных деревней, тем чаще он прибегал в стихах к общим местам.

Как на праздник, все селенье
С песней вышло на поля.
Словно в первый день творенья,
Приняла зерно земля.

Правда, Яшин делает попытки разнообразить поэтическую палитру, выразить лирическое «я» правдиво и свежо. «Я опять на родине. Стреляный, бывалый. Нет,

не постарел я. На душе легко»,— писал он в сорок пятом году, зная и веря, что перед ним «берег настоящий», который всегда дает ему чувство обновления, душевной молодости. Возникали в нем по возвращении в родные края и такие наиглавнейшие для крестьянского сына вопросы: «Не разучился ль траву косить? Не разучился ль ходить за плугом?» Суть этих вопросов в том, что с утратой деревенских навыков можно утратить нечто большее — свои деревенские права, свою кровную принадлежность к людям сельского мира, которым по-прежнему приходится работать от зари и до зари. Все эти вопросы возникали не случайно, они свидетельствовали о внутренней неудовлетворенности поэта, о его жажде найти органический сплав между правдой жизни и правдой искусства. Но тогда — в обстановке победных реляций — эти вопросы еще только назревали в глубинах души художника.

«Первое послевоенное десятилетие,— пишет Ал. Михайлов в предисловии к избранным стихотворениям поэта,— не было самым удачным, самым благоприятным в творческом развитии Яшина. Внешне как раз все обстояло хорошо: поэт много писал и издавал, критика благоволила к нему, он не был обделен знаками высшего отличия в литературе». Однако, отмечает далее критик, «жизненные противоречия», уже обозначившиеся в военной лирике, словно бы потеряли свои очертания: поэт все сильнее стал осознавать разлад между словом и делом в своей жизни и творчестве».

С этим мнением нельзя не согласиться. Действительно, разлад между словом и делом поэт еще острее почувствовал во второй половине пятидесятых годов; этот разлад повлек за собою нравственный и творческий кризис, выход из которого был связан с обновленным чувством родины — своего Заволочья.

В то время для Яшина стало очевидно, что в угоду празднично-облегченному изображению быта северян, в угоду красочным, колоритным приметам растущего благосостояния деревни, даже больше — опережению хода самой жизни, которая не соответствовала застольным здравицам, а была трудна и сложна из-за постигших страну неурожаев, из-за обесценивания крестьянского труда, наконец, из-за тех самых «палочек», которые колхозники получали вместо полновесного трудодня, в угоду именно этим тенденциям, когда единичное, «выбороч-

ное» изображалось как массовое, повсеместное и обеднялся духовный мир человека, обеднялось лирическое «я». Сосредоточивая свое внимание на поисках примет и признаков, которые бы отражали исключительно новое, передовое, растущее и, прежде всего, новую профессию или специальность жителя сельского мира (агронома, комбайнера, шофера, тракториста), художник вольно или невольно терял интерес к главному объекту художественного творчества — к самому человеку.

Обо всем этом резко и самокритично рассказал Александр Яшин на Втором Всесоюзном съезде писателей в 1954 году. Именно выступление на съезде, равно как и последовавшие за ним произведения прозы и поэзии показали, что в поэте происходит мучительная переоценка ценностей, что многое — даже в собственном творчестве — он брал под сомнение, готов был отказаться совсем. Воскликнул же Александр Блок в минуту глубочайшего душевного кризиса: «Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда!»

Конечно, не обошлось дело без крайностей, без преувеличений собственных просчетов и ошибок на том историческом пути, на который добровольно вступило русское крестьянство в семнадцатом году и который оно совместно с рабочим классом, со всеми трудящимися страны отстояло в годы войны. Однако в требовательной атмосфере, сложившейся во второй половине пятидесятых годов, не одному Александру Яшину бросалась в глаза заданность многих произведений, посвященных жителям сельского мира, тенденция приукрасить или даже идеализировать нашу сельщину. Могло создаться впечатление, что действительно во всех деревнях «что ни день — гулянья, «волжские страданья», свадьбы да потехи, и в соревновании что ни день — успехи».

И вот тогда-то совестливость, яшинская совестливость, которая не только не облегчила, но и необычайно усложнила его литературное житье-бытье, эта совестливость и внутренняя партийная убежденность, присущая ему, человеку крестьянского корня, стала формировать новое отношение к жизни, новое понимание целей и задач поэзии вообще. Не случайно Яшин взывал к собратьям по перу, чистосердечно предлагал им: «Во имя грядущего нашего попробуем не приукрашивать ни мыслей своих, ни заслуг...» Стихотворение, так и названное

им «Торжественное обещание» (1959), содержало в себе и другой призыв — никогда «не изменять мечте», хранить любовь к красоте жизни, к душевной чистоте человека, его внутреннему богатству.

Лирико-публицистический пафос большинства новых стихов Яшина свидетельствовал о том, что центр тяжести в творчестве поэта неуклонно перемещался от проблематики социально-общественной к этическим, эстетическим проблемам и запросам дня. Деревенский мир стал для поэта тем кладезем нравственных и гуманизированных ценностей, без которых искусство слова неизбежно скудеет, мельчает, образует риторические пустоты. Яшин теперь сам иронизировал над теми стихами и кинофильмами, в которых «как на выставке дома — с росписью, точеные: не дома, а терема, крыши золоченые». В стихотворении с выразительным названием «Только на родине» Яшин писал, что Север ему по-прежнему дорог и мил своей природой — далями, зорями, реками, сказочными чащобами,— но дороже всего Север тем, что «нет нигде людей такой души и прямоты и силы, и девушек таких вот строгих, милых, как здесь, в лесах, на родине моей». Это был совершенно новый акцент в сельской лирике Александра Яшина.

Размышляя о северной деревне, поэт особенно сильно мучился тем, что на какое-то время нравственные принципы жителей сельского мира перестали быть его, поэта принципами, что на какое-то время он забыл завет матери-старухи: «Живи по чести, с совестью в согласье!» Когда он писал «про свадьбы да потехи», он не был в согласии со своей творческой совестью. Вот почему все чаще ему приходило на ум, что

...молодость на исходе,
И совесть велит:
«Не таи,
Держи ответ на народе
За все прегрешенья свои!»

И он держал ответ, он стремился жить по совести и писать по совести и напоминать другим:

Спешите делать добрые дела!

По многим стихотворениям, написанным в этот период, заметно, что Яшин сосредоточил внимание на по-

исках уже не столько предмета изображения, сколько себя, своей истинной сущности в поэзии. Он продолжал самозабвенно любить северный вологодский край, продолжал быть его певцом и художником, однако все чаще испытывал чувство вины перед земляками за легковесный стих, за малую социально-нравственную действенность поэзии:

Меня мужики называют своим поэтом,
«Как же так?
Ладно ли?» —
пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?!
Я сочиняю стихи
Про желтые листья...

Изменилась и форма лирических стихов Яшина — теперь все чаще он поверял мысли и переживания непосредственно, без обращения к традиционным девичьим «страданиям», частушкам и побывальщинам. Исповедальный тон лирики раскрывал перед поэтом новые возможности для выражения чувства, позволял ему, как говорится, в поэзии быть самим собой. И тогда обнаружилось, что родной Север влечет поэта совсем по-иному. Если в стихах довоенной поры поэта волновала и радовала живописная или во всяком случае колоритная красота северной деревни, если он был безоглядно захвачен бурными процессами коллективизации деревни, появлением новой техники и т. д., то теперь Север, не утратив, правда, сказочного очарования — «нехоженьми кажутся леса, бездонными — озерные затоны, неслыханными — птичьи голоса, невиданными — каменные склоны...»,— стал источником, к которому припадает житель городского мира, человек, возмечтавший найти в блудновских лесах нравственное обновление. Каждый приезд на родину убеждает поэта все больше, что

Бродить по сырой земле босиком —
Это большое счастье!

Желание отрешиться от повседневной городской суеты, скинуть надоевшую обувь, босиком пройтись по лесным тропкам — у кого не возникало такого желания! Но чтобы вкусить подобное счастье, не много надо: поехать за город, и пусть, как говорит поэт, «все лиш-

ние биотоки берет из тебя земля». Сложнее с другим, основным смыслом этих строк, которые дали название одной из последних прижизненных книг Александра Яшина,— «Босиком по земле». Здесь одним библейским посохом не обойдешься: ведь речь идет о полном раскрепощении и обновлении человека, о его стремлении приблизиться к матери-природе так, чтобы «обрести птичье зренье, недоступное людям». Поэта неудержимо тянет на Бобришный угор, где вблизи от деревни Блудново он выстроил охотничий домик, свою мастерскую, свою скромную обитель. Тянет его туда вовсе не прихоть; вдали от родных мест ему трудно живется, его измучили вечные «проклятые» вопросы:

То сердце живет с умом не в ладу,
То чувства не знают меры.

Поэт неохотно рассказывает о своей боли и беде, только иногда, словно сквозь стиснутые зубы, прорвется признание: «Трудно живу, молча живу, молчу до ожесточенья». Ему тягостно ворошить прошлое, пережитое. Это прошлое надо отсечь разом, как отсекает лесник сухую, омертвевшую ветвь. По крайней мере Яшин пытается это сделать: отсечь какую-то другую жизнь, непохожую на вольготное бытие в блудновских лесах. Вначале ему как будто удается это сделать — сумятица городских будней забыта, душа и глаза — настежь. Как язычник-солнцепоклонник, он славит чудо восхода. Не он один — все в блудновских лесах поклоняются солнцу, принимают его обличие: у рыжей волнушки «пушистая юбочка с оборками» стала походить на «солнечные протуберанцы», старый глухарь, распустив хвост, выдает себя за «восходящее светило». Поэт земным поклоном кланяется и глухарю, и северному солнцу-Яриле, и деревеньке Блудново за то, что в охотничьем домике он снова начал писать, а «это — хлеб для души!..». Целебная сила раздольных лесов и полей Севера вливается в его стихотворные строки:

Некуда больше рваться,
Не о чем тосковать,
С матерью буду встречаться,
С пением птиц просыпаться,
Жить, как учила мать...

Однако с самого начала настораживает настойчивость, с которой поэт пишет о своем счастье, некая непререкаемость его советов: стоит прикоснуться к девственной северной природе, как, по его убеждению, «добру откроется сердце и будет совесть чиста», как человек испытает обновление, освобождение от всех сомнений и тягостных вопросов. Этим советам, этим надеждам противоречит не кто иной, как сам поэт. Если в первых сборниках он принимал мир таковым, каковым этот мир ему хотелось видеть — по-северному красочным и праздничным,— если в природе он не искал ни забвения, ни утешения, если он не мучился вдали от Бобришного угора городской суетой, а больше всего несовершенством своего характера, своей натуры, то теперь перед лицом матери-природы он испытывал одно стремление, одно желание:

Мне, сильному, только добрей и проще,
И человечней хочется быть

Александр Яшин пытался не только вылечить душу «пустыней и отколом», он пытался «от чужих отмахнуться забот, ни за что не болеть». К счастью, эти попытки были заведомо обречены на неудачи — художник самозабвенно любил земляков, любил родную сельщину и признавался не однажды: «Тянет в простор полей с каждой весной упорней. Все-таки на селе все мои корни». Где бы он ни был — в Москве ли, в Сибири, на Алтае,— он не забывал своего Заволочья, переписывался с земляками, следил за новостями в жизни северного края, прочитывал произведения, выходившие из-под пера писателей-вологжан. И здесь, несмотря на временные перепады в настроении, Александр Яшин придерживался избранной линии жизни — спешил делать добрые дела! Он поддерживал первые выступления в столичной печати Сергея Викулова, дружески ободрил Александра Романова, предсказал Василию Белову, который начинал как поэт и даже издал сборник стихотворений «Деревенька моя лесная», будущность талантливейшего прозаика, дал рекомендацию для вступления в Союз писателей Николаю Рубцову, отметив, что для него поэтическое дарование Рубцова бесспорно.

В свою очередь писатели-земляки, особенно те, что вступили в литературу в шестидесятых годах, испы-

тали сильное влияние яшинской лирики, его склада ума и чувствования... Михаил Пришвин самое главное в писателе однажды назвал «творческим поведением». Именно творческое поведение Яшина оказало несомненное воздействие на литераторов-вологжан. В стихотворении «Последний пароход», посвященном памяти поэта, Николай Рубцов так и писал:

В леса глухие, в самый древний град,
Плыл пароход, разбрызгивая воду,—
Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, большой, на борт облокотясь,—
Он, написавший столько мудрых книжек,—
Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек.
И нас, пестрея, радовала вязь
Густых ветвей, заборов и домишек,
Но он, глазами грустными смеясь,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

Чувство глубокого уважения, которое испытывали к Яшину писатели-земляки, окрылялось тем непомерно важным и значительным в жизни любого, что — опять-таки по словам Яшина — «нежным и просторным добрым словом *Вологда* зовут». Яшин показывал пример не просто требовательного, но болезненно пристрастного отношения к себе как человеку и как художнику, он делал достоянием всех читателей и свои слабости и свои недостатки, он громко говорил «на миру» о том, что «нередко правдой поступался, не делал все, что сделать мог, и обижал, и обижался, помочь хотел, а не помог».

Конечно, литературная молодежь оказалась чрезвычайно чуткой к таким вещим интонациям в голосе поэта — она поняла и оценила правомерность такого предельно искреннего разговора о времени и о себе. Она поняла и оценила другое — трезво реалистический и одновременно заинтересованный взгляд на деревню, который был ощутим в новых яшинских книгах, обновленный и поэтому действенный пафос его любви к Вологде, ко всему русскому Северу.

Оглянувшись и передохнув в Блуднове, поэт понимал: «чужие заботы» — главное в его личной судьбе, в его поэзии. Нет, не до «сердечной лени», не до сладковатых сельских стихов, в которых рифмуется «речка —

овечка — местечка», было ему в родных местах. Из-за головотяпства руководителей разного масштаба «сенокосы на речке Козловке снова снег заметает» и снова

Веточный корм собирали молодки, бабки,
Вброд по озерам осоку серпами жали,
Травку таскали домой
по охапке,
по шапке...
А заливные луга
кругом
стоят, как стояли.

Подобные грустные стороны жизни северной деревни Александр Яшин видел сам, знал о них из писем мужиков, которые совершенно справедливо называли его «своим поэтом». Он с горечью, с возмущением писал об этих фактах не только в стихах, но и в газетных очерках и рассказах.

Но все-таки глубоко заблуждается тот, кто альтернативу «старое — новое» или «отсталое — передовое» посчитал бы теперь главной в творчестве Яшина. Вопреки резкой критике, прозвучавшей в нашей печати в связи с опубликованием «Вологодской свадьбы», поэт по-прежнему был внимателен к любым благотворным переменам, которые видел в обиходе вологжан. Например, стихотворение «В бору случилось невозможное...» рассказывает о том, как в глухой лесной деревушке появилось радио — «поет, играет, митингует». И родная небогатая изба, где поэт прожил столько лет, стала ему еще дороже — «снова верится и чудится, что жизнь идет не стороною; когда-нибудь, наверно, сбудется все остальное».

Однако Яшин не чуждался и северной старины, или, да простится мне редкое словцо, прежноты, если эта прежнота соответствовала его высоким понятиям о человечности, нравственной доброте и чистоте народа. Он замечает в жизни северян их традиционное гостеприимство, их отзывчивость и внимание к незнакомому человеку. По поводу приветствий — «Чай да сахар!», «Хлеб да соль!»,— которыми искони обмениваются на Севере люди, он размышляет в стихах: «Не от тяги к суесловью и сложилось не вчера это братское, с любовью пожелание здоровья, пожелание добра».

Итак, альтернатива его творчества была теперь не

во внешней, а во внутренней сфере. Любовь и равнодушие, искренность и лукавство, решительность и уклончивость — вот полюсы, между которыми возникала линия напряжения яшинского стиха. Его лирический герой — охотник, зверолов, бывалый таежник — раньше был образом довольно статичным. Теперь он обретает большую многомерность души. «Что я за человек? Счастлив ли я?» — такие вопросы постоянно встречаются в лирике Александра Яшина. Как житель Севера, царства хвойных и лиственных лесов, он любил все живое, любил жизнь, радовался птенцу, который «проклюнулся в пуще», и был потрясен смертью близкого человека, настолько близкого, что смерть эта на долгое время поселила в его сердце смуту и отчаяние.

Воскресни!
Возникни!
Сломалась моя судьба.
Померкли,
Поникли
Все радости без тебя.
Пред всем преклоняюсь,
Чем раньше не дорожил.
Воскресни!
Я каюсь,
Что робко любил и жил.

Лирика любви у Александра Яшина исполнена острого драматизма, благородства, душевного такта. Его любовь — это любовь, полная «разноголосицы и несусветицы», и одновременно это любовь, возвышающая человека, очищающая его, как в огненной купели, от всего ложного, недостойного в поступках и помыслах. Он передал свою муку мученическую в поэзии, пренебрегая заданностью, пренебрегая каким-либо логическим планом или расчетом. Его лирика, словно размывная северная ширь, создавалась «не половинчато, не в полдуши». В его характере яснее проступала истовость — он истово страдал и истово виноватился, он исступленно добивался правды и столь же исступленно обличал робость, нечестность, неправдивость в самом себе, а потом уже в других. «Ничьей любви до срока не сберег и на страданья отзывался глухо»,— исповедовался поэт в стихотворении, трагически названном «Отходная». Но вскоре, вступая в очевидное противоречие с самим собой, писал: «К чему раскаянье? Все было правильно.

Хоть все — нечаянно, все не по правилам...» Он жаждал одиночества, искал его, мечтал о нем как о целительной силе, но когда достигал того, чего добивался, то тяготился без друзей и близких: «Опять никто ко мне не постучал!.. Хотя б не в душу — в дверь...» В минуты раскаянья он думал: «Нет, ничего не поправится: из-под земли не явится, разве что не наяву. Так и живу. Живу?» И жил, и жаждал удивления пред красотой земли, где «все замерло в ожидании неведомых перемен».

Да, с точки зрения здравого смысла Яшин был непоследователен, но эта его непоследовательность, осознаваемая им, обернулась диалектикой живого чувства, которое и составляет сердцевину лирической поэзии, нашей русской отечественной лирики в особенности. Не от людей — к людям шел поэт всю жизнь, даже тогда, когда он уезжал на Север, на реку Юг, на Бобришный угор. Где-то, в тайное тайных своего сердца он уже подвел роковую черту, осознал, что неизлечимо болен... Но в стихотворении «О погожих днях и хороших людях» он говорит:

Когда меня сгибают неудачи,
растерянность душой овладевает,
бессонница и страх —
бывает все! —
Я вспоминаю о хороших людях...
. . . . . .
и мне становится легко на сердце,
ну, не совсем, быть может,
но спокойней,
и хочется еще пожить на свете,
полюбоваться небом и землей.

Так он продолжал любить, ненавидеть, смиряться и бунтовать, продолжал удивляться доброте своих земляков и красоте того апрельского бора, где весною «раздольно, разливно, заздравно, зазывно...».

Вот почему в лирике Александра Яшина я хотел бы отметить основное: чем чутче он прислушивался к биению своего сердца, тем очевиднее проступал в его стихах душевный склад жителей Заволочья, характер природы вологодского края, всей его красоты. Открывая себя в себе самом, Александр Яшин открывал и заветные тайники в сердцах односельчан: сердобольность и совестливость, вспыльчивость и отходчивость,

бунтарский дух и смиренность — все это переплавлялось в его душе в крепчайший сплав. И этот раскаленный сплав светился одухотворенностью, той самой, которую тщетно пытался постигнуть Яшин в прежних стихах... Будучи человеком, лишенным дешевого тщеславия, он писал: «Я обречен на подвиг, и некого винить, что свой удел свободно не в силах изменить». «Я обречен на подвиг...» — сколько стоит за этой строкой! Яшин понимал, что ноша, которую он принял на плечи, тяжела, что грести ему придется, может быть, и против течения, но,— говорит он,—

...этот трудный жребий
Приняв как благодать,
Я о дешевом хлебе
Не вправе помышлять.

Пожалуй, одно все-таки тяготило его: мысль, что он может показаться смешным, нелепым, как старомодный рыцарь. «Да нужен ли мой подвиг?» — это еще, как говорится, полбеды. «Ко времени ли он?» — вот вопрос, при отрицательном ответе на который могла случиться настоящая беда — ее не сумел бы одолеть даже такой твердый характер, каким обладал автор превосходных лирических книг «Северянка», «Совесть», «Босиком по земле» и «День творенья». Правда, время так и не развеяло эти опасения, хотя поэт до конца своих дней не смог избавиться от них.

...Родной Север одарил Яшина всем, чем мог. И горько становится при мысли, что сам поэт уже никогда не сможет «рассчитаться» стихами ни с Севером, ни с деревней Блудново, ни с Бобришным угором, где среди берез над рекою Югом он и был по завещанию похоронен.

ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

...Заседание конкурсной комиссии Литературного института имени Горького, состоявшееся в июне 1962 года, было вполне обычным рабочим заседанием: рассматривались десятки творческих работ, которые только что поступили в адрес института. Но именно на этом заседании была решена судьба рабочего-шлихтовщика Кировского завода, приславшего, как и многие другие, рукопись лирических стихотворений и краткую пояснительную записку к ним. В этой записке, между прочим, говорилось, что стихи, присланные в институт, написаны недавно, что они очень разные: «веселые и грустные, с непосредственным выражением чувств и формалистическим уклоном».

В конце пояснительной записки стояла подпись: *Николай Рубцов.*

Мнение рецензентов и членов конкурсной комиссии было единодушным: никому не известный ленинградец — настоящий поэт. Через два месяца, 23 августа 1962 года, Николай Рубцов был зачислен студентом первого курса. Правда, по его рукописи, сохранившейся в делах комиссии, было бы затруднительно предположить, что через пять лет имя Николая Рубцова будет известно не только в Москве и что его первая книга «Звезда полей» олицетворит собою «новую волну» в современной российской поэзии. Но его первое стихотворение уже появилось в апрельском номере многотиражной газеты «Кировец» за 1960 год. Называлось оно «В кочегарке». Дело в том, что матрос Северного флота, демобилизовавшийся год назад и поступивший после демобилизации на завод, был вначале направлен в кочегарку. Эти первые впечатления довольно живо отразились в его диалоге, не лишенном, правда, воз-

действия знаменитых теркинских диалогов: «Флотский, значит? — Значит, флотский.— Что ж, неплохо, коли так!»

В 1961 году в коллективный сборник рабочих поэтов «Первая плавка» уже вошло не одно, а пять стихотворений Н. Рубцова. Обсуждались его стихи и в местном литобъединении. Таким образом, Николай Рубцов не был «дичком», как многие другие, а прошел первоначальную стадию стиха в Ленинграде. Серьезное влияние оказал на него ленинградский поэт Глеб Горбовский. Еще больше он почерпнул из чтения книг, что ощущалось всеми, кто был знаком с ним в ту пору.

Однако институт, студенческий семинар Н. Н. Сидоренко, напряженная, насыщенная встречами и событиями жизнь столицы — все послужило толчком в тот самый момент, когда молодой поэт был на некоем распутье, когда он больше всего нуждался в этом толчке извне. Николай Николаевич Сидоренко — один из старейших московских поэтов — писал стихи в классической традиции. Эта традиция в поэзии молодых, начинавших с эстрады, в то время как бы отступила в тень, была как бы заглушена ударным, внетрадиционным или, по словам Асеева, неуспокоенным стихом. При сем надо отдать должное, что Николай Николаевич никогда не переоценивал личного творческого влияния на Рубцова. В отзыве, помеченном маем 1964 года, он писал: «Рубцов — художник по организации своей натуры, поэт по призванию... Но,— заключал далее руководитель семинара,— влиять на него не просто,— он сложившийся человек...» Рубцов был в ту пору действительно уже сложившимся человеком. Его выступления на семинарах неизменно вызывали споры и разногласия — равнодушных не было.

В ноябре 1962 года Рубцов представил для обсуждения свои стихи: «В гостях» («Трущобный двор. Фигура на углу...»), «Элегия», «Поэт», «Повесть о первой пивной» и некоторые другие. Студенты и руководитель семинара сразу же отметили необычность лирики бывшего матроса-североморца. Они увидели, что его лирический герой — человек трудной судьбы. Однако через все его «пивные», через его «трущобные дворы» и «матросов с кренцем» проходит любовь к человеку и боль за человека. Поэт болеет за людей не столь благополучных

биографий, как в стихах его товарищей. Во время выступления на творческом семинаре Рубцов еще раз отверг прямолинейность, отверг стихи, в которых заранее все ясно и в которых нет поэтического «почему?». Поэзия есть поэзия,— говорил он,— там, где ее нет, не к чему обманывать других, ссылаться на гражданственность и актуальность темы.

...Однажды на семинаре побывал Борис Слуцкий,— по традиции в институт приходили московские поэты, чтобы послушать студентов, поговорить с ними. Рубцов читал стихи. Они нравились Борису Слуцкому, который сказал: «Мне ближе всех Рубцов... Может, потому, что он старше других, а может быть и такая вещь, как талант».

В разговоре, возникшем в конце занятий, на вопрос: «Назовите любимых поэтов»,— Николай Рубцов твердо ответил: «Пушкин, Блок, Есенин,— и подчеркнул: — Из них — Блок».

Эта беглая запись в дневнике семинара чрезвычайно важна для выявления блоковских традиций в лирике Рубцова.

Суть дела в том, что поэзия Рубцова довольно определенно связывалась и связывается с музой Есенина. Отзвуки есенинской лирики, есенинской образности действительно слышны у Рубцова. И все-таки необходимо сделать одно уточнение. «Это не подражание,— справедливо говорил Н. Н. Сидоренко,— а национальное средство творчества, и тут Есенин в чем-то помог младшему собрату, в чем-то поддержал, утвердил его». В большей степени, чем Есенин, Рубцова в чем-то поддержала, утвердила поэзия Александра Блока. По воспоминаниям друзей, по записям в дневнике семинара, по рубцовской лирике очевидно, что в конце первого курса он переживает сильное увлечение Блоком — цитирует стихи, ссылается на творческий опыт, наконец, считает, что в произведениях его сокурсников нет «тайны жизни», а без нее, равно как и без достоверности чувств, нет и не может быть поэзии. Особенный отклик находило у Рубцова, например, такое важное высказывание Блока: «Действие света и цвета освободительно. Оно улегчает душу, рождает прекрасную мысль». Это был уже совершенно иной взгляд на искусство поэтического слова, чем тот, с которым Рубцов пришел в институт.

Быстрое возмужание Рубцова совпало «с настроением некоторой усталости от поэтических поз и манифестов», возникших в среде творческой молодежи в период шестидесятых годов, как об этом вполне справедливо писал Е. Сидоров. «Поэтические позы и манифесты» успели изрядно утомить читательскую аудиторию, скажу сильнее: они перестали вызывать доверие к личности поэта. Наступил кризис доверия. Внутренне Рубцов давно почувствовал, что дело в конце концов не в структуре строки, не в ее начертании, а в лирическом «я», в самой личности поэта, в полном доверии к ней со стороны читателей.

С другой стороны, в этот же период в русской современной поэзии заметно усиливается внимание к национальным элементам стиха, к его национально-исторической основе. И здесь культ Блока в студенческой среде и, в частности, в стихах и высказываниях Николая Рубцова является весьма показательным и характерным.

Все сказанное относится, конечно, и к литинститутским поэтам, среди которых новые веяния нередко оборачивались модой, но которые все-таки были необычайно чутки к современным формам общественного самосознания. Вот почему Николай Рубцов так болезненно реагировал на позу, на показной оптимизм, на лжегражданственность тех или иных товарищей по семинару. Это во-первых. А во-вторых, он, восхищаясь Блоком, пришел к убеждению, что сверхличное начало — основа стихов о России, что и через «тень возможно славить свет». Короче, на втором курсе его рвение к учебе заметно поубавилось, он стал пропускать занятия...

Николай Рубцов по натуре был скитальцем. В декабре шестьдесят третьего года он переводится на заочное отделение и надолго исчезает из Москвы. Впрочем, в студенческом общежитии на улице Добролюбова он появляется все-таки чаще, чем в аудиториях на Тверском бульваре. Позднее в институте узнали, что Рубцов почти всегда уезжал в далекое село Никольское Тотемского района, или в Николу, как он именовал это село в своих стихах.

«Когда я ушел на заочное отделение, я сразу же

отправился туда, в классическое русское селение, и с творческой стороны опять у меня все было хорошо»,— сообщал он в апреле 1965 года ректору института, профессору В. Ф. Пименову. Действительно, в одно лето 1964 года, проведенное в Никольском, он написал более пятидесяти стихотворений и, таким образом, создал основу «Звезды полей», вышедшей в 1967 году.

В стихах Рубцова, написанных в деревне, немало автобиографических черт. Вопреки общепринятому мнению, что поэт создает произведения легко и даже «бездумно» (в приливе вдохновенных чувств), Николай Рубцов дает понять, каких трудов стоит эта легкость и естественность стиха: «Окошко. Стол. Половики. В окошке — вид реки. Черны мои черновики, чисты чистовики». И далее: «Мне спать велят чистовики, вставать — черновики».

Необходимым и желанным был какое-то время для Рубцова этот его новый «заочный» образ жизни: «Все по душе мне — сельская каморка, осенний бор, Гуляевская горка, где веселились русские князья...»

Даже в тяжелые минуты, когда одиночество и заброшенность нестерпимо мучили поэта, он стремился успокоить себя:

Я не один во всей Вселенной.
Со мною книги, и гармонь,
И друг поэзии нетленной —
В печи березовый огонь...

Однако письмо на имя ректора института свидетельствовало о том, что жить Рубцову было все-таки трудно. Состоял он внештатным корреспондентом тотемской газеты «Ленинское знамя», ютился по чужим углам, не имел даже постоянной прописки... Правда, чтобы «сохранить поэтическое состояние», он был готов терпеть любые лишения и невзгоды, но иногда и его терпению наступал предел.

«Отсюда,— писал он в том же письме,— нелегко связываться с институтом, особенно в начале зимы, когда перестают ходить пароходы, а лед на реке еще долгое время стоит неокрепший, и поэтому по ней нельзя передвигаться на грузовиках, на подводах и даже пешком. И особенно трудно связываться с остальным миром в весеннее время, когда разливаются все реки и наступает полное бездорожье...»

Однако в начале лета — в пору тополиных метелей — Рубцов мог внезапно исчезнуть из Николы, чтобы появиться в Тотьме, Вологде, Москве, а то и в селе Красногорском Алтайского края, появиться, чтобы снова пропасть. Замотав на шее шарф, не обременив себя пожитками, он двигался в направлении, известном ему одному.

Блок как-то заметил: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и внешняя, является чувство *пути*». Это чувство владело всеми помыслами Николая Рубцова, подчеркну: чувство пути — значит чувство «расширения души» и, самое главное, постижения «тайны» жизни и красоты. Да, всю короткую жизнь он прожил так, «как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле — по селам и столицам!». Дух бродяжий, страннический сказался в его поэзии с той полнотой и глубиной переживаний, которая доступна лишь сильным художникам,— их-то и имел в виду Александр Блок.

Рубцов любил ходить пешком, налегке, без поклажи, любил облака над головой, кусты по обочинам, любил старые деревенские проселки, овеянные «сказками и былью прошедших здесь крестьянских поколений». Лучшие строфы его стихотворений рождались в пути, вбирали в себя встречи с жителями окрестных деревень, разговоры на случайном ночлеге, сельские виды, а главное — ощущение внутренней раскованности, вольной воли, которой, как и Блок, Рубцов дорожил больше всего.

Здесь каждый славен —
мертвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой...

Не потому ли при возвращении в родные места поэта охватывал непередаваемый душевный подъем: «Радуюсь громкому лаю, листьям, корове, грачу. И ничего не желаю, и ничего не хочу!»

Здесь следует подчеркнуть особо, что Рубцов был чрезвычайно внимателен, чуток к переменам в быту и жизни односельчан. Но поэт был далек от пейзанства, от благостного созерцания красот сельской жизни. Его зрение было обостренным и «фокусным»: он мог

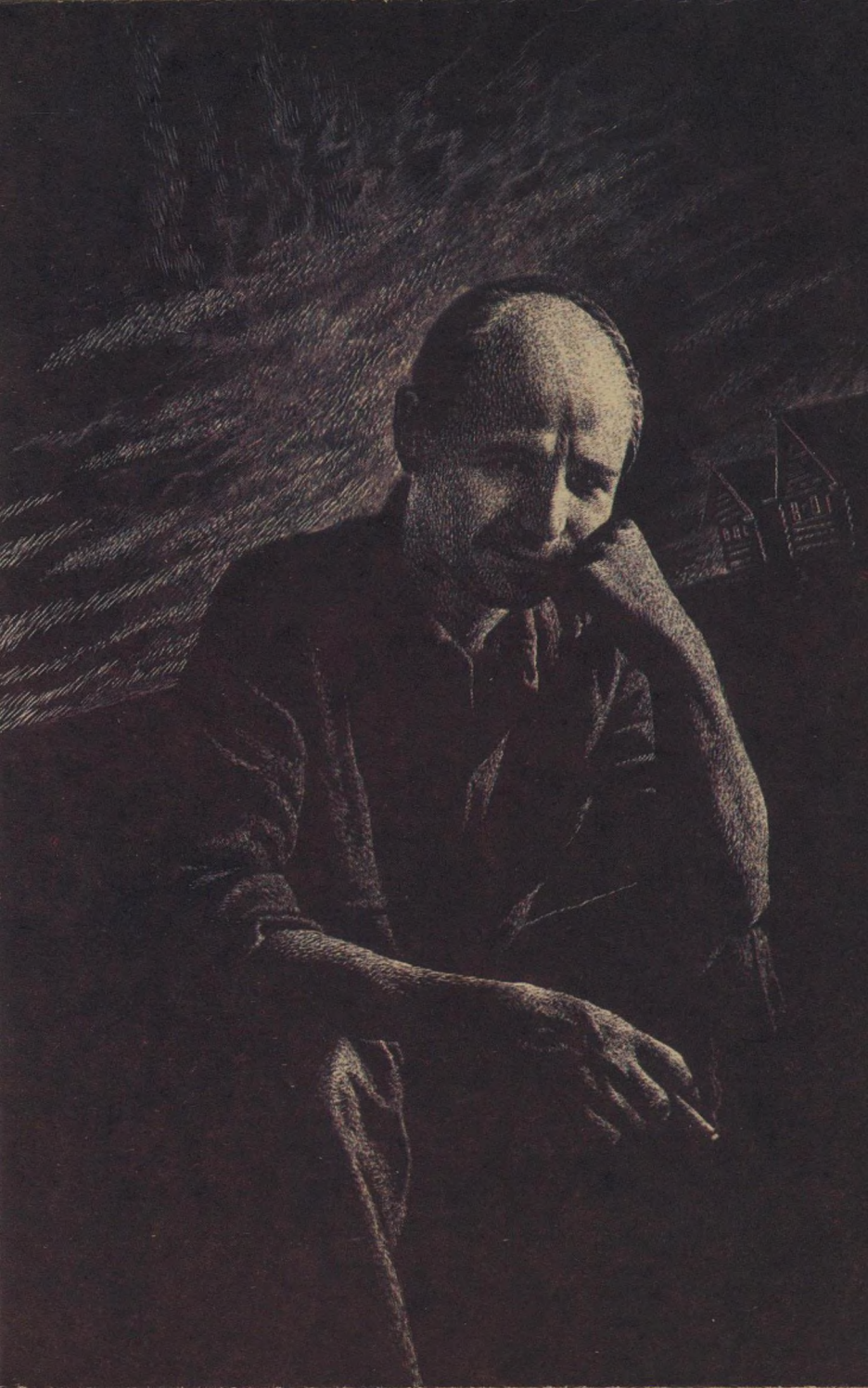
заприметить соседку, настолько дряхлую и старую, что на лице ее землистом «растет какая-то трава»; он мог ощутить «весь ужас ночи за окном», мог сказать:

Порой без мысли и без воли
Смотрю в оттаявший глазок.
И вдруг очнусь — как дико в поле!
Как лес и грозен и высок!

...Собственно говоря, село Никольское Тотемского района Вологодской области не было в прямом смысле слова родиной поэта. Николай Михайлович Рубцов родился в 1936 году в Емецке Архангельской области. Он рано осиротел. «Мать умерла. Отец ушел на фронт...»,— писал он в стихотворении «Детство» и с грустью продолжал: «Я смутно помню утро похорон и за окошком скудную природу».

После смерти матери, последовавшей в 1941 году, Николая Рубцова помещают в сельский детский дом в Никольском. «До слез теперь любимые места!» — вот чем стала для него Никола. Ибо там, в полевой и лесной глуши, в отдаленнейшем уголке России, слово «сирота» для всех ребят звучало «как-то незнакомо»... Окончание войны для детдомовцев явилось великим праздником,— у кого не таилась надежда на возвращение с фронта отца или старшего брата, кто не мечтал начать новую жизнь?! Действительно, «когда раздался праведный салют — жизнь распахнулась вольно и широко». Четырнадцатилетним подростком Рубцов покидает Николу, как ему казалось, навсегда, чтобы начать самостоятельную жизнь. Некоторое время он учится в лесотехническом техникуме, затем уезжает в Архангельск.

В дальнейшем Николай Рубцов переменил немало профессий — от моряка тралового флота до рабочего и сельского избача. Как я уже говорил, четыре года он служил на эсминце Северного Военно-Морского Флота, а перед поступлением в институт работал на Кировском заводе. Худощавый, низкорослый, немногословный, с пронзительными карими глазами, был Рубцов «отзывчив на доброе слово и доброжелательство»,— отмечает Н. Н. Сидоренко. Однако среди моряков «с кренцем», сезонников — «бичей», портовиков, лесозаготовителей, народа кочевого, буйного, он, по словам Сидоренко, «мало такого видел в жизни». Мытарства по общежи-



тиям барачного типа, кубрикам, углам, снимаемым у хозяев, трущобным дворам,— эти мытарства не могли не наложить отпечаток на его образ жизни и в студенческие годы... Но основным в Рубцове была, конечно, его талантливость, его, как говорили в старину, искра божья. В минуты воодушевления, особенно при чтении стихов, он преображался, светлел лицом, становился лучшим собеседником и другом. Он знал о своем таланте, вот почему в иные минуты бывал и едко-ироничным, и несдержанным, и резким в отношениях с окружающими людьми.

Рубцовская любовь к северной деревне была чувством зрело обдуманным, выверенным годами прожитой жизни. Нередко в тяжелую минуту он срывался с места и радовался «побегу в родные края», как сказано в черновом варианте стихотворения «На родину!». В зрелом творчестве он как бы подразумевал те невзгоды, причалы, штормовые ветры, которые остались позади, в бедовой юности. Он оставлял их «за кадром», он не упоминал о них или почти не упоминал в лучших стихотворениях, посвященных северной Руси. Но помнить об этих невзгодах и странствиях необходимо, ибо в противном случае может быть неверно понята эмоционально-нравственная и эстетическая атмосфера рубцовской лирики, его боль за человека, о которой с сочувствием говорили товарищи по семинару.

Вероятно, наиболее известным стихотворением Николая Рубцова является стихотворение с выразительным и в какой-то степени символическим названием «Тихая моя родина».

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.—
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос...

...Здесь я должен прервать стихотворную цитату. И вот почему. В лирике Рубцова, очевидно, проявилась

его главная особенность как поэта: говоря о предмете, он говорит о себе, высказывает свое внутреннее состояние. По сходному поводу В. О. Перцов, назвавший, кстати сказать, «Тихую мою родину» замечательным стихотворением, писал: «Не знаешь, что больше привлекает здесь: *зримость изображения или доверие* (выделено мною.— *В. Д.*), которое вызывает к себе художник. Но, вероятно, оттого, что одно так естественно слито с другим, забываешь, что это «слова».

Действительно, этими стихами Рубцов бесповоротно завоевал доверие читателя: ты забываешь, что это все «слова», ты начинаешь одновременно видеть и деревенскую школу, и купол полуразрушенной церквушки, и зеленый простор, но ты одновременно ощущаешь все, что пережил поэт, ты на миг как бы перевоплощаешься в поэта.

Вот почему с первого взгляда трудно заметить, что в стихах есть прием — ненавязчивый, музыкально-ритмический повтор: «Тихо ответили жители...», «Тихо ответили жители, тихо проехал обоз...» и снова: «Тихая моя родина...» Трудно, ибо стихотворение написано о самом святом, что может быть у человека,— о могиле родной матери, которую человек тщетно пытается разыскать. Николай Рубцов, повинуясь художественной интуиции, передает свое волнение, свою печаль тем, что внезапно он приглушает все внешние звуки: до него, разом оглохшего от воспоминаний, не доносится ни шорох листвы, ни грохот обоза на переправе, лишь зрение да осязание связывают его с этим полузабытым и родным миром. Не говоря прямо о чем-то брезжущем в тайниках души, возникающем из смутного образа матери, стоящем в конце пути, поэт обрывает стихотворение страстной, почти исступленной концовкой:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

...В ряде литературно-критических дискуссий стихотворение «Тихая моя родина» стало своеобразным условным знаком для обозначения тех поэтов и, в частности, Николая Рубцова, которые вступили в большую литературу в шестидесятых годах. В противоположность поэтам «деятельного крика», заявившим о себе с подмостков эстрады, этих новых поэтов стали именовать

«поэтами тишины». Вначале критики писали, что «художественный мир их (поэтов вроде Рубцова.— *В. Д.*) слишком уютен», затем — что их художественный мир преисполнен «покоя и тишины» и, наконец, что в этом мире господствует «неподвижность», «неизменность народной жизни», «извечность» и т. д.

Бесспорно, лирика Рубцова имеет свои художественные приемы, но бесспорно и другое: предвзято прочитав «Звезду полей», иные мастера критического цеха поспешили «втиснуть» поэта в подходящую историко-литературную модель, каковой и оказалось раннее славянофильство.

Напрасно поэт взывал: «Перед всем старинным белым светом я клянусь: душа моя чиста...» Его хвалили (были и похвалы в адрес «Звезды полей») и порицали за то, что являлось приемом, но не было лирико-философской основой творчества... Нет, у Рубцова не было ощущения родины, северной Руси как некоей «уютной тишины, как самоценного «покоя», не было лирического героя, жителя северных лесов, который включен в «естественный, веками устоявшийся порядок».

Не было всего этого, а было убеждение, что «мир устроен грозно и прекрасно», было постоянное чувство «грозового бытия». Даже пейзажная лирика Рубцова запечатлела множество картин летних гроз, наводнений, знобящих заморозков.

Внезапно небо прорвалось
С холодным пламенем и громом!
И ветер начал вкривь и вкось
Качать сады за нашим домом.

Изображение родной природы в рубцовской лирике всегда полно экспрессии, внутренней выразительности, силы, оно всегда соотнесено с его душевным состоянием, миром его переживаний и чувств.

А туча шла, гора — горой!
Кричал пастух, металось стадо,
И только церковь под грозой
Молчала набожно и свято.
Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

Конечно, поэт писал о тишине, но опять-таки исходя из общей художественно-эстетической концепции как

о предгрозовом или послегрозовом затишье, что соответствовало и его внутреннему состоянию, и его готовности принять любой удар судьбы. Николай Рубцов мог найти удивительно проникновенные слова для определения вселенской тишины, но он никогда не забывал сказать, что эта тишина лишь его предположение, что в действительности тишина чревата непокоем: в полуночных северных краях, писал он, «тихо так, как будто никогда здесь крыши сел не слыхивали грома».

Когда души не трогает беда,
И так спокойно двигаются тени,
И тихо так, как будто никогда
Уже не будет в жизни потрясений,

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

Зримая до наглядности лунная ночь слита с элегическим строем стиха, с самоуглубленным состоянием поэта, который вместе с тем чутко прислушивается к раскатам душевных гроз и в эти минуты затишья спешит всю душу потопить «в таинственном и милом».

Итак, стоило вникнуть в душевный мир поэта, вслушаться в интонации его голоса, как сразу обнаруживается внутренняя контрастность этого мира, соединение в нем, казалось бы, несоединимых начал: грозы и тишины, смятения и равнодушия, предметности и «тайны жизни», «тайны красоты», реализма и резкого преувеличения деталей.

Литературные критики, провозгласившие Рубцова «поэтом тишины», не учли глубоких нравственно-психологических истоков его творчества, не учли самого главного не только в его биографии но и в биографии его современников... Они не учли — войны!.. Да, минувшая война осталась вроде бы за «кадром» лирических стихотворений Рубцова, впрочем, как и его моряцкая и его рабочая юность. Но грозовое дыхание военных лет ощущается в поэзии Рубцова во всем — и в природе, и в облике деревни, и характере жителей Севера. По малолетству он почти не помнил и не знал войны, однако ее помнили и знали односельчане, помнил и знал народ. И гроза, пронесшаяся над русскими селениями, была для Рубцова не просто метафорической данностью, обозначением некоего условного потрясения сельской «тишины», она была реальной войной, реальным бедст-

вием, опустошившим деревни, оставившим после себя слезы и горе, обездоленное детство не одного Николая Рубцова. Особая проникновенность поэта в чужую боль, в чужие страдания, его способность сопереживать с другими — все это выявила вначале война, а затем бесприютная юность. Будучи не в силах избавиться от горестных воспоминаний, он тревожно прислушивался к гулу взрывов и пожаров, доносившихся то с одного, то с другого конца Земли, обращал свой взор к тысячелетней России.

Россия, Русь — куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,

Люблю твои избушки и цветы
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

Лирический герой Николая Рубцова — человек, который всю неистраченную нежность, трепетность, возвышенность сыновней любви перенес на образ Родины. С исступленностью, свойственной сердцу, которое испытало муки сиротства и одиночества, отчуждения и душевной замкнутости, поэт восклицал: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» И хотя вроде бы странна эта мольба: «Храни себя, храни!», обращенная к России, однако какая сила гражданского чувства таится в этих словах!

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы...

Эти стихи, вроде бы относящиеся к недавнему и более отдаленному историческому прошлому, стихи, ничего не говорящие о завтрашнем дне России, на самом деле представляют собою завет будущим временам, завет поэта, у которого из всех родных осталась одна Родина-мать.

Странствия Николая Рубцова по Заволочью позволили ему понять и почувствовать душу деревенских жителей, в разговорах которых таилась все та же забота о родной земле, о ее благе, что и в душе поэта. Хозяйка, у которой остановился на ночлег поздний

путник (стихотворение «Русский огонек»), поразила его молчаливостью, даже какой-то угрюмой отрешенностью: «...хозяйка слушала меня, но в тусклом взгляде жизни было мало». Эта отрешенность, эта глубоко затаенная боль деревенской старухи стала понятна заезжему человеку, едва он вник «в сиротский смысл семейных фотографий». Как много этих желтых снимков на Руси! Как много одиноких молчаливых вдов и матерей:

— Скажи, родимый,
Будет ли война? —
И я сказал: — Наверное, не будет.
— Дай бог, дай бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет...—
И вдруг опять:
— Не будет, говоришь?
— Нет,— говорю.— Наверное, не будет.
— Дай бог, дай бог...

И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.

...У меня не было частых встреч с Николаем Рубцовым,— слишком многое разделяло нас,— но мне доводилось слышать стихи в его исполнении... Читал он громко и, не подберу другого слова, напористо, не снижая голоса до шепота в самых, казалось бы, выигрышных местах. Но была в его чтении и какая-то странная замедленность, вернее, самоуглубленность, которая особенно проявлялась в стихотворении «Русский огонек». Это «дай бог, дай бог» слышалось, как эхо, бесконечное количество раз, но с каждым разом вдруг становилась отчетливее и виднее старуха, закаменевшая в горе, да и сам поэт, который не просто поддакивал хозяйке, но как бы погружался в бездну ее печали, всенародной печали, которой и он прежде не знал меры, не ведал глубины. Действительно, подумалось мне после того, как чтение было закончено, Родина потеряла миллионы своих сыновей. Погибли на кровавой ниве и близкие этой деревенской старухи, которая молчаливо таит от всех свою безмерную скорбь. Но старая женщина не очерствела, не ожесточилась, она открыла сердце случайному путнику, который зашел на огонек, как «снежный человек», она обратилась к нему с вопросом, кото-

рый все эти долгие годы неотступно мучает ее: «Скажи, родимый, будет ли война?..» Настолько было велико страдание этой безвестной старухи, что ей даже страшно подумать, что какая-то другая женщина может пережить такое...

На деньги же, предложенные за ночлег, она смотрит с удивлением: «Господь с тобой! Мы денег не берем...» Старая крестьянка учит поэта достоинству и, перефразируя стихотворные строки, учит его за все добро платить добром, за всю любовь платить любовью.

Вот так далеко не сразу раскрывается душевная красота жителей Заволочья: она неприметна равнодушному или ироническому взгляду. В другом стихотворении «На ночлеге» об этой душевной красоте не сказано вообще ни слова, но и здесь — в подтексте — мысль о родине, о северной Руси. Закаменел в своей обиде старик хозяин, хмуро принял нежданного гостя.

Есть у нас старики по селам,
Что утратили будто речь:
Ты с рассказом к нему веселым —
Он без звука к себе на печь.

Поэт, чуткий с детских лет к любой боли, несправедливости, обиде, понимает эту обиду своего народа, олицетворенную в образе сухонского старика...

Опять-таки мы не можем точно сказать, чем обижен старик — может быть, тем, что все его сыновья полегли на полях сражений и вот теперь он, одинокий, беспомощный, обиделся на весь свет... Поэт не задается подобными вопросами, он просто понимает душевное состояние сурового старика, который неотрывно смотрит в окно на осенние пажити... Угаданное родство душ, кровно-близкая им обоим картина поздней осени — вот что врачует душу поэта.

Ночеваю! Глухим покоем
Сумрак душу врачует мне,
Только маятник с тихим боем
Все качается на стене,

Только изредка над паромной,
Над рекою, где бакен желт,
Лошадь белая в поле темном
Вскинет голову и заржет...

Николай Рубцов не скрывает и не делает тайны из того, насколько важны, целительны для него подобные встречи. Его «побег в родные края» был обусловлен

прежде всего стремлением разобраться в собственном «я», ответить на «вечные» проклятые вопросы: что делать? как жить дальше? И в смятенную душу поэта ясность вносит деревенский пастух, встретившийся ему на каком-то сухонском перепутье: «А ты,— говорит,— полюби и жалей, и помни хотя бы родную окрестность...» Таким образом, жизненная программа Рубцова проявляется в этом сокровенно личном, по-блоковски пристрастном обращении к родной окрестности, к родным людям, которых надо любить и жалеть.

Вероятно, этот новый смысл он постигал интуитивно, вероятно, он не знал и не мог знать, что имеется давнее и довольно четкое определение существа искусства, которое одно способно «избавить нас в царстве прекрасного от обособления» (*Лессинг*. Гамбургская драматургия). Но в том, что только красота, заключенная в поэзии, обладает огромной притягательной, эмоциональной силой и избавляет нас от «обособления», то есть от одиночества,— в этом он был убежден твердо.

Характерно, что любовь к сегодняшней деревне, к ее людям, ко всему сельскому миру обострила в поэте чувство истока, «чувство древности земли», и, наоборот, исторические были и предания, вообще «достославная старина» — по законам исторической инверсии — не раз возвращали его к нашей современности.

Во время поездки на Алтай, в село Красногорское, Н. Рубцова не покидают мысли о славном прошлом русского народа, об особой миссии России, которая встала, по словам Блока, «меж дух враждебных рас — монголов и Европы» и спасла Европу от порабощения ценой невиданных жертв, страданий. Обращаясь к стихотворению «Шумит Катунь», я особо хочу отметить, что именно в этом стихотворении романтический и элегический строй размышлений Н. Рубцова оказался выраженным сильнее всего.

Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм...

Перед мысленным взором поэта проносятся исторические видения, оживают легенды о скифах и сарматах, возникают — отзвуками — картины татаро-монгольского нашествия.

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...

В контрасте «светлых русских деревень» и «черного дыма» пожарищ, которые оставляла за собой орда, можно уловить и явно современную окраску «чувства древности земли», можно заметить и определенную связь с натиском на Русь другой, не менее грозной вражеской силы...

Вместе с тем исторические элегии Николая Рубцова не хотелось бы сводить к одному мотиву, например возвеличения «воинских святынь». Да, он признавал права «достославной старины» на душу современного человека. Да, его увлекли исторические темы не только в «Катуни», но и во многих других стихотворениях, в частности «О Московском Кремле»: царский гнев Иоанна, грохот пушек Наполеона, бегство двунадесяти языков из России... Но все это было для него «земное». В своих исторических элегиях Рубцов был столь же определенен, как и в пейзажной лирике. Дело в том, что Рубцова никогда не покидало чувство скоротечности мира и его внутренне непостижимой красоты. Действительно, он признавал историческую обусловленность и закономерность в развитии событий, но такую закономерность, по которой «земное» неизменно перевоплощается в нечто идеальное, в некую «мечту», «грезу», «видение», или, как сказано в стихотворении «О Московском Кремле», в «сказочно-небесный мираж». Именно такая очищенная от «земного» историческая субстанция и вызывала в нем прилив необыкновенных, граничащих с экзальтацией чувств:

И я молюсь — о русская земля! —
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны...

Читая эти стихи, я еще раз убеждаюсь в том, что идеи Блока о провиденциальной роли России оказали самое серьезное влияние на талантливейших поэтов русского Нечерноземья и в первую очередь на Николая Рубцова. Даже больше: новый способ эстетического переживания истории да и самой нашей современности, присущий Рубцову, сформировался в первую очередь под воздействием Блока, а затем уже Тютчева

или Есенина. «Все так просто и, кажется, обыденно, а между тем в каждую страницу жизни вплетается зеленый стебель легенды»,— писал Блок в статье, посвященной жизни и творчеству Врубеля. Автор «Звезды полей», подобно Блоку, ощущал, чувствовал, различал «зеленый стебель легенды» во всем, что, на первый взгляд, казалось обыденным и простым,— в каменных городских «колодцах» и лесах северной Тотьмы, в полуразрушенных церквах Заволочья и деревенской избе, в которой живет «старик рябой». Поэт безусловно верил, что в мире есть место «недосказанному, неизвестному, непростому», что в конце концов «есть какая-то жгучая тайна в этой русской ночной красоте».

Почему же возникали мысли о таинственном и чудесном в природе, в человеческой душе у поэта Николая Рубцова, биография которого была предельно обнажена и предельно слита с грубой изнанкой жизни?

Суть дела в том, что поэт органически не принимал попыток обесцветить, обезличить внутренний мир человека, превратить личность в некий «кибер», в котором запрограммированы все человеческие страсти и чувства. Рубцов откровенно боялся утратить «возвышенную силу». «Боюсь,— писал он,— что над нами не будет возвышенной силы, что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом». Спасением для него была лишь вера в «грозовое бытие», в высокое, неразгаданное предназначение человека. Отсюда — из этой бесконечной веры — отчаянный вскрик: «Отчизна и воля — останься, мое божество!» Это — с одной стороны. А с другой — столь же органическая неприязнь, вернее, несовместимость с прагматизмом как устойчивой философией жизни: все утилитарное, плоскостно-очевидное, потребительское, все идущее «на пользу» вызывало в нем стихийный протест.

В сатирическом стихотворении «Фальшивая колода» поэт клеймит холодным презрением «молодых, но уже разжиревших людей», которые разговорами «на общие темы» прикрывают свой практицизм, «обмелелость душ». Резкой инвективой против духа этого же делячества и себялюбия звучат и следующие строчки из «философских стихов»:

Зачем же кто-то, ловок и остер,—
Простите мне,— как зверь в часы охоты,

Так устремлен в одни свои заботы,
Что он толкает братьев и сестер?..

Отдаленно здесь слышится клюевское обращение к «братьям» и «сестрам». Но у Рубцова иная задача: показать, что в «разжиревших людях» нет ничего человеческого, что они — сор земли. Высшим мерилом индивидуальности для Рубцова была нравственная и духовная глубина. «Я, как есть загадка мирозданья»,— восклицал он. Такой же загадкой, непознанной до конца тайной матери-природы являлась для него и тайна «звездных миров», а в человеческом обществе, искусстве, литературе — трагически предопределенная судьба Лермонтова, Есенина, Дмитрия Кедрина...

Конечно, там, «где поле и цветы», легче дышалось поэту, там он бывал почти что счастлив, ибо принадлежал самому себе. Но даже там, в Никольском, ему всегда не хватало чего-то, даже там он не мог порвать с «житейским», с «земным».

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

Эта связь была для Рубцова воистину мучительна и одновременно отрадна, ибо только она дарила ему «радость неземную», впрочем, как и поэзия, как и «красота былых времен». И первое, и второе, и третье являлось ему в потоке видений, было кратко по времени, но чудодейственно по обольстительному влиянию на человека. По Рубцову получалось так, что в «царстве прекрасного» человек живет духовно насыщенной жизнью, ибо пребывает в особом состоянии, чем-то напоминающем сновидение, погружается в стихию света и тени, времени и пространства, иначе говоря, в стихию сокровенных форм, в стихию господства творческой свободы. Взять хотя бы поэзию:

В душе огонь — и воля, и любовь! —
И жалок тот, кто гонит эти страсти...

Собственно говоря, и русский Север был дорог поэту тем же. «Звезда полей», горящая в таинственной и непостижимой вышине, касается своими лучами всех русских городов и весей, но «только здесь, во мгле заиндевелой, она восходит ярче и полней...».

Свою истинную сущность лирический герой Рубцова

находил во внутренней сосредоточенности, в том состоянии, когда «реальный звук, реальный свет с трудом доходит до сознанья». Если же этой сокровенной мысли найти световой эквивалент, то им было странное предвечернее, разлитое по многим стихам Рубцова. Освободительное действие света Рубцов ощущал с наибольшей полнотой и силой именно в неуловимом, зыбком переходе дня в ночь. Он писал: «И вот явилось просветленье моих простых вечерних дум». Было что-то импрессионистское в его северных стихах, для которых характерно неуловимое скольжение солнечных лучей из-за края земли. В таких предвечерних далях все казалось таинственным, все приобретало двойственный — реальный и призрачный — вид. Очевидно, что Рубцов любил «нахмуренное, с прозеленью небо», он любил предзакатность, которая умягчала душу и позволяла сосредоточиться на главном.

Слава тебе, поднебесный,
Радостный, краткий покой!

Рубцов шел на поразительное обновление языка, чтобы передать свое переживание природы: «Когда заря смеркается и брезжит, как будто тонет в омутной ночи, и в гробовом затишье побережий скользят ее прощальные лучи, мне жаль ее...» Обычно говорят: «брезжит» утренняя заря или рассвет, однако поэт не нарушил смысловых норм родного языка, ибо «брезжить» — это одновременно и слабо светиться, распространять слабый свет. С таких слабо светящихся, люминесцентных красок начинаются многие стихи Николая Рубцова. Мысль о том, что с человеком может случиться разное, что вот, кажется, «легка его жизнь», но вдруг проносится «скорая помощь» и сирена кричит «расступись!» — эта мысль о «прожорливом роке» возникает в его душе именно на закате.

В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез...

Ощущая освободительную силу красоты и этих «малиновых перьев», и этого вечера, и этих берез, и этой музыки, но все-таки боясь показаться сентиментальным, Рубцов внезапно меняет интонацию:

Нет, не все,— говорю,— пролетело!
Посильней мы и этой беды!
Значит, самое милое дело —
Это выпить немного воды,
Посвистеть на манер канарейки
И подумать о жизни всерьез
На какой-нибудь старой скамейке
Под ветвями больничных берез...

Нельзя найти более характерного примера, чем приведенный, когда свет действительно «умягчил» душу поэта, родил «прекрасную мысль». В. Кожинов, сославшись на автора данного очерка о Рубцове, впервые напечатанного в журнале «Москва» (1973, № 3), развивает это положение и справедливо отмечает, что стихия света в поэтическом мире Николая Рубцова имеет «непосредственную эстетическую *ценность*». А в следующей фразе уточняет: «ценность эта одновременно эстетическая и нравственная».

Предвечерность в стихах Рубцова еще сильнее, еще музыкальнее оттеняла настроение краткости «таинственного и милого», в котором душу «потопить не жаль». Эта предвечерность возникала чаще всего в тех лирических стихотворениях, в которых он высказывал предчувствие «уж далеко не лучших перемен». Почему в нем жило это предчувствие, трудно сказать. Но даже «молча веря в смертный рок», как юный Лермонтов (герой рубцовского стихотворения «Дуэль»), он не мог и не хотел «выглядеть страдальцем», он все трепетнее, все нежнее отвечал на звуки мира, откликался, говоря языком Блока, на гармонию высших сфер.

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня проносит
По всей земле надежда и метель,
Какую больше кто-то не выносит!

Когда почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой же белой горестной рубашке...

Этот мотив краткости земного бытия, это ощущение, что поэт — случайный гость в мире, устроенном «грозно и прекрасно», становился у Рубцова все более напряженным и внутренне драматичным. Как гасли последние отблески вечернего заката и все очевиднее был

«ужас ночи», так и в его лирике все больше усиливались мотивы щемящей неопределенности, грусти, тоски.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя...

...Весной 1969 года Николай Рубцов пришел на Тверской бульвар в Литературный институт, чтобы защитить дипломную работу. На защиту он представил сборник «Звезда полей», который по единодушному мнению членов государственной экзаменационной комиссии получил высшую оценку — «отлично».

Как и летом шестьдесят второго года, в скверике перед зданием института мела тополиная метель: поэт уезжал в Вологду, где он теперь жил и работал. А работал он много, работал с какой-то одержимостью. Иногда создавалось впечатление, что стихи рождались сами по себе, возникали мгновенно, как возникает диво цветка, родника, тополиной метели. Слова ложились на мелодию, звучащую неотступно в глубинах души, просто и непроизвольно, без каких-либо ухищрений.

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.

Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро!

Однако случалось и такое, что этот страшный белый-белый снег не врачевал, а бередил душу, внушал предчувствие страшного исхода...

Развязка наступила трагически быстро — в ночь с 18 на 19 января 1971 года Николай Рубцов «во время тяжкой ссоры был убит женщиной, которую собирался назвать женой» (В. Кожинов). После смерти поэта, о которой до сих пор свежи и горестны воспоминания, немало вышло его новых стихотворных сборников. И стало особенно ясно, что «грозовое бытие» Николая Рубцова было освещено проникновенной, нежной и грустной любовью к родному Северу, к матери-России. Эта любовь многообразно воплотилась в его элегических раздумьях, в его талантливых стихах. Проходят годы, а над горизонтом все выше подымается скромная звезда Николая Рубцова, его прекрасная звезда полей...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

...Казалось бы, трудно привести эту книгу, в которой различные исторические эпохи и различные человеческие характеры воплощаются в различных литературных жанрах, к общему знаменателю.

Однако сделать это необходимо хотя бы потому, что самосознание личности в процессе ее приобщения к исторической культуре народа — процесс наиважнейший.

Особенно в наше время, когда человек из познаваемого превращается в познающего и когда особенно актуальной стала ленинская мысль о приоритете общечеловеческих ценностей над задачами того или иного класса. Эти общечеловеческие ценности требуют, конечно, от каждого из нас самовоспитания, даже в какой-то степени — подвижничества; они требуют внутренней свободы, ибо только в этом случае эти ценности станут не отчужденными, а лично присвоенными, лично пережитыми. И только в этом случае они могут как-то осветить или прояснить человеку его существование, помочь ему проникнуть «вовнутрь себя», увидеть то, что скрыто временем или что время в нем не признает, не замечает. Но что — вместе с тем — роднит нас с нашими предшественниками и, хочется надеяться, будет роднить с далекими потомками.

Внешний мир изменился
Не настолько еще за полвека,
Чтобы в нем поместился
Весь внутренний мир человека —

так сказал Леонид Мартынов, философский склад мышления и чувствования которого, я надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений.

И еще одно положение хотелось бы здесь выделить: *без исторической памяти, без исторического воспоми-*

нания вообще немыслимо чувство прекрасного. Ведь главный секрет восприятия не только произведений искусства, но и живой природы, той самой, с которой мы составляем единое целое,— будь это кварталы высотных зданий, или северные лесные раздолья, или барханы пустынь,— заключается, пожалуй, в том, что она, природа, говорит нам больше, чем она есть в данный миг, если... Если эстетический мир человека достаточно богат, если произведения искусства научили его воспринимать и чувствовать красоту природы и красоту души человеческой.

Конечно, в этом восприятии, в этом чувствовании природы и всего окружающего мира особую роль играет та трепетная, та интимная, национальная нотка, которой еще Врубель — в своих гениальных «наплывах лиловых миров» (Блок) — придавал большое значение.

Вот почему, возвращаясь к сказанному здесь, следует особо подчеркнуть, что главный герой этой книги — Время. Время помогает нам от образов-символов, как бы дословно (буквально) обозначающих реальность, перейти к образам-символам как к художественной, «третьей» реальности, то есть реальности одновременно и понятийной, и художественно-личностной. Вот почему Время для автора книги является воспоминанием того, что могло быть, могло случиться, но не обязательно было или случилось, что воплотило в себе излом или изгиб или даже — разрыв бытия, но несло в себе свободу творческого самовыражения, являлось воплощением не только радости, но и тревоги, вины, беды, страха, отчуждения от всего, что другим родственно и близко.

Язык образов, метафор, символов, по крайней мере, удерживает нас в области конкретного, то есть в области, наиболее эмоционально и эстетически влекущей, действенной. Хотя, конечно, все дело можно представить гораздо проще: здесь проявились личные склонности и пристрастия автора книги, которые и подтверждают старое-престарое правило: только лично пережитая истина имеет право на существование.

Содержание

Берегиня 3

Часть первая. НОВЕЛЛЫ

Ласточки и купола 22
Старичок-лесовичок 25
Память сердца 33
Чудесный город 42
Соколёна 47
Барашки 51
«Ланчик» 55
Сей добро 58
Полет в грозу 61
Телеграмма 64
Вестник Победы 67
Страна Прометеев 72
Перынь 75
Посвящаю Карелии 87
Мальчик 92
Поющий автобус 96
Кижи 99
Деревянная песня любви 104
Берег Олешки 106
Крека 110
Пятница из Бросачихи 119

Часть вторая. ПОВЕСТИ

Дионисий 142
Мыза Лавола. *Повесть-воспоминание* 179
Янтарный путь. *Повесть-монолог* 219
Эти белые журавли. *Лирическая повесть* 271
Ляпун и Райда. *Историческая повесть о походе новгородцев в Заволоцкую землю в 1396 году* 296

Питомец муз 332
Пушкин и Земфира 363

Часть третья. ОЧЕРКИ И ЭССЕ

Сотворение мира 398
Золотая ладья 406
Ладожский вояж. 446
Река жизни. 465
Узоры Сени Малины. 492
Это мы, *господи*!.. 502
Олонецкий ведун. 519
Дар Севера. 558
Предвечернее Николая Рубцова 580
Вместо послесловия 602

*© «Москва», 1987, № 5.

Валерий Васильевич Дементьев

БЕРЕГИНЯ

Книга лирической прозы

Редактор *О. Голева*
Художественный редактор *О. Червецова*
Технический редактор *В. Соколова*
Корректоры *Г. Черепенникова, А. Володина*

ИБ № 4985

Сдано в набор 09.07.87. Подписано к печати 30.05.88. Формат 84x108/32. Гарнитура об. нов. Печать офсет. Бумага офсет. № 2. Усл. печ. л. 31,92. Усл. краск.-отт. 90,72. Уч.-изд. л. 31,95. Тираж 100 000 экз. Заказ 558. Цена 2 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Дементьев В. В.

Д30 Берегиня: Книга лирической прозы /Худож. Ю. Воронов.— М.: Современник, 1988.— 605 с.: ил.

В книгу известного советского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького, вошли повести, новеллы, зарисовки, эссе, посвященные прошлому и настоящему русского Севера, который автор хорошо знает и любит, суровым годам войны, народному искусству, литературе, древней и современной живописи. Героями произведений В. Дементьева являются замечательные люди русской земли: Дионисий, А. Пущкин, К. Батюшков, Н. Лесков, А. Куприн, Н. Клюев, С. Есенин, А. Яшин, Н. Рубцов.

Д $\frac{4702010200-222}{M106(03)-88}$ 129—88 ББК84Р7

ISBN 5—270—00—131—4

12